

Марат
КОНУРОВ

ДВЕ ТЫСЯЧИ
СТО ДЕВЯНОСТО ДНЕЙ
ТИШИНЫ

Сборник рассказов

УДК 821 (574)
ББК 84 (5КАЗ.-РУС.)—44
К 55

М. Конуров

К 55 Две тысячи сто девяносто дней тишины.
Сборник рассказов. -2010 г. 792 стр.
ISBN 978-601-7113-18-6

Самобытная, одухотворенная проза казахского писателя новой генерации Марата Конурова радует меня. Он мужественно и искренне пишет о жизни простых людей Казахстана. В этой книге впервые собраны все рассказы, написанные за десять лет. После прочтения буйных, чувственных рассказов из книги «Две тысячи сто девяносто дней тишины» их герои и события, описанные в них, еще долго живут в воображении. Это показывает силу и мощь истинного таланта писателя.

Роллан Сейсенбаев

УДК 821 (574)
ББК 84 (5КАЗ.-РУС.)—44

ISBN 978-601-7113-18-6

НЕ ПО ЗАКОНАМ ЗЕМЛИ, НО ПО НЕБЕСНЫМ ЗАКОНАМ

С любовью великой Он создал людей.
И ты возлюби Его жизни сильнее.
Люби, словно братьев, людей всех на свете
И чти справедливость всей сутью своей.

Абай

Неисповедимы пути Господни! Непредсказуемо возникновение в самом тёмном человеке присутствия Небесного Света, мерцания искры Божьей. Абсурдна жизнь вокруг нас, куда там Кафке?! Но у человека всегда есть выбор, он всегда может задать себе вопрос «С кем я?». Он всей своей жизнью отвечает на этот вопрос. Человек не монумент. Человек слаб. Человек жесток. Человек низок. Человек, находящий в себе мужество и силы — прежде всего духовные — для шага своего в сторону Небесного, всем людям завещанного, большинством преданного, прекрасен! Жизнь страшна. Поступки людей иной раз невозможно объяснить человеческими

категориями смысла — нет в них никакого разума, никакого сердца. Но, несмотря на это, в жизни всегда есть место чуду, промыслу Вышнему, и среди лиц, заплывших жиром, с глазами-щёлками (такие рисовать легко — круг и в нём чёрточки) мы вдруг — не чудо ли это?! — встречаем умное, доброе, прекрасное человеческое лицо и гораздо реже, но всё же встречаем иногда среди лиц самых разных — лики, светом небесным просвеченные насквозь.

Сказанное мной выше — ключ к верному прочтению рассказов Марата Конырова.

Богатейший жизненный материал, фантастические переплетения случайностей и закономерностей в непохожих друг на друга реалиях человеческих судеб, подключённость к лучшим гуманистическим традициям кругосветной классики, правильность гражданских позиций — основные черты творческого лица этого автора.

В возрасте пятидесяти трёх лет, без альпинистского опыта за плечами, Марат Коныров сумел покорить пик Мира и собирается в ближайшее время осуществить восхождение на пик Коммунизма. Многие годы жизни посвящены серьёзным занятиям каратэ. Сильный и мужественный человек не случайно своих положительных героев наделяет качествами, свойственными ему самому: они не проходят мимо слабых, нуждающихся в защите, они видят свои поражения, они не прячут голову в песок, подобно страусам, не пополняют собою многочисленное содружество околочиновных подхалимов нашего с вами времени. Времени непростого, времени, истово взывающего к человеческой порядочности, как и во все времена, во всех странах, требующей смелости шага в сторону удобного Богу от того, что угодно сильным сей брэнной, скоротечной, с рождения приговорённой к распаду жизни.

В рассказе «Камни очищения», в котором автор показывает жизнь «сильных мира сего», по сути — несчастных людей, страдающих от систематических обжорств, бесцельности своего существования, непринадлежности самим себе, играющих, словами Осипа Манделштама, услугами полулюдей и не являющихся людьми в полном смысле этого слова, Марат Коньров открывает перед читателем своё личное, им выстраданное жизненное кредо: «Я осознал главное предназначение собственной жизни: падать — чтобы подниматься, взбираться — чтобы проигрывать, идти к самому горизонту, потому что путь этот бесконечен!».

В этом же рассказе обратил на себя моё внимание своей совестью точностью образ личной несостоятельности: «И тут моему взгляду открылся невидимый снизу разрыв, зиявший полуметровой трещиной, на пути к победе. От него до вершины оставалось всего каких-нибудь три шага. Но если не перешагнуть этот разрыв, то сказать, что ты был на самом верху, будет обманом. Раскинутые по сторонам мои руки уже не напоминали мне крылья орла, как еще полчаса назад, а казались уродливыми палками огородного чучела».

Герой рассказа «Маленький человек» Кишкентай, нашедший десять тысяч долларов, не глядя на крайнюю нужду, размышляет так:

«В Коране написано: что один человек мучался в могиле из-за того, что при жизни, будучи арбакешем, вез чье-то сено и без спроса у хозяина взял соломинку, чтобы ковырнуть в зубах. И по этой причине он не мог найти покой на том свете, а я бессовестным образом присвоил себе бумажник с огромными деньгами и всю ночь строю планы, как и на что я их потрачу. Разве не собака я паршивая после этого и могу

ли я уважать себя, и могу ли я смотреть в глаза своему сыну, который вот-вот родится, и когда он достигнет совершеннолетия сказать ему, что я, его отец — честный человек?».

Этот рассказ напоминает мне притчу. Как и в любой притче, в нём присутствуют чудесные совпадения, как и в любой притче, в нём торжествует не логика человеческих расчётов, но свет небесной справедливости, милосердия, любви к человеку, что немыслимы без любви к Богу.

Мне нравится юмор Марата. Вот отрывочек из трагического рассказа «Ночь в Курметтах»:

« — Не может этого быть!

Мужик проворно, несмотря на то, что сам едва держался на ногах, схватил клячу за уздцы и повис на них:

— Тпру! Я же тебя по телевизору видел. А как ты здесь очутился?

— Да-а-а вот-т приехал, — промычал я в ответ, не успевая разгадать ситуацию.

— Так тебя же должны были расстрелять?

И тогда я догадался, что он смотрел мою картину, где герою, которого я играл, вынесли приговор, и он понял ее буквально.

— Мне заменили высшую меру на двадцать лет лагерей! — произнес я, принимая его восприятие.

— Так что, уже двадцать лет прошло? — лицо мужика покрылось испариной».

Отец главной героини этого рассказа Аси был энкавэдэшником, и из мести за причиненное когда-то им зло лихие люди изнасиловали его несовершеннолетнюю дочку, ту, которая исподтишка носила еду арестантам и несколько раз пыталась сбить тяжёлый замок с дверей, за которыми томились несчастные. Насильники сожгли сделанную Асей из тонких стволов и хвороста лесную хижину вместе с ручными зверушками,

их добрая девочка находила ранеными, вылечивала и приручала. Ася, от природы наделённая добрым сердцем, музыкальным талантом, благородством натуры, сошла с ума.

«От обиды за Асину жизнь в глазах защипало и выступили слезы. Оттого что ей нанесли люди такую рану, спалив ее мир, истерзав тело и навсегда умертвив душу. Было больно за детей, умирающих от СПИДа, за уход из жизни Великого Римского понтифика, за сожженный Ирак, за африканских слонов, истребляемых из-за бивней. Вся боль Земли сконцентрировалась в сердце в тот миг, и горячие слезы прорвали сдерживавшую дамбу, хлынув на подушку».

До глубины души поразило меня восприятие пушкинского «Пророка» главным героем рассказа «ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДЕВЯНОСТО ДНЕЙ ТИШИНЫ», поразило родственностью, почти идентичностью восприятия мною многих классических стихотворений в период жизни, когда я, по воле выпавшей на мою долю судьбы, два месяца обживал камеру смертника:

— Руки в «кормушку»! — прогремел приказ сквозь дверцу грохнувшейся со стуком «кормушки».

— Одеться можно? — с еще не гаснувшей надеждой спросил он.

— Не нужно!

Сердце его больно екнуло.

«Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, — прошептали губы вора беззвучно две строки из стихотворения Гения, со временем обретшие такую выпуклость и осязаемость, что иногда ему казалось, что эти две строки навалились на его худые плечи неподъемной тяжестью».

Хочу отметить, что и деревья, и травы, и пески, и воды, и облака, и ветер, и птицы, и рыбы, и

всезовозможное зверье — всё, без чего немислимо существование человека на земле, Богом данное ему природное окружение, вослед многим и многим классикам крутосветной, вневременной литературы (Джек Лондон, Киплинг, Томпсон, Айтматов) наделяются Маратом Коныровым человеческими качествами, прежде всего — мышлением и речью. Во многих рассказах Марата Конырова главные герои — братья наши меньшие. Благородство лошадей («Печаль о широкогрудом») является и примером, и укором людям, поражающим своей животностью. Рассказ «Огненный пёс» по своему воздействию могу сравнить с древнегреческой трагедией, хотя бы с «Антигоной» Софокла, героиня которой, нарушив приказ тирана, следуя небесному закону, похоронила останки брата и, заживо замурованная в пещере, наложила на себя руки, вот её последние слова: «Как терплю, от кого я терплю — лишь за то, что почитала богов почитаньем!».

Как это ни больно, но вслушайтесь, дорогие читатели, в окончание рассказа «Огненный пёс»:

«Все понимал старый пес Жолбарс, хотелось еще немного пожить, подышать этим воздухом, послушать на рассвете крики петухов, мычание коров, шум леса, до конца понять смысл этой жизни. Боковым зрением он следил за хозяином. Коробок тряся у него в руках и одна за другой ломались спички.

— Рохля, размазня, поджигай, тебе говорят.

— Прости меня, Жолбарс! — заплакал вдруг хозяин. Спичинка, наконец, вспыхнула, зажглась в его огрубелых руках, Жолбарс посмотрел хозяину в глаза, прощая его, он увидел, как крохотный огонек полетел прямо на него.

Он взорвался, точно порох, пламя мгновенно охватило его всего, сумасшедшая, никогда прежде не испытанная адская боль пронзила его всего.

Жолбарс взвыл так, что от его воя ужаснулось все живое в том лесу. Огненный пес, он мчался по лесу с огромной скоростью, колесо пламени, поджигая за собой вековые сосны, которые теперь нужны людям как горельник. И застонал лес, изгибаясь и корежась в бессилии, отдавая себя в жертву двуногим».

Марат Коныров не отделяет себя от своего народа, причём, являясь казахом по национальности, он по духу своему человек Мира в лучшем смысле этого слова: мировоззрение, в котором человек является человеком согласно своим человеческим качествам, таким как доброта, мудрость, мужество, справедливость, любовь к Богу, любовь к человеку, обнимает весь мир и мир плодит, миром по миру распространяется.

«Раздался взрыв. Рацию отбросило в сторону. Ротный упал навзничь. Иванов бросился к нему, приподнял и обрадовался, что тот приоткрыл глаза. По лицу капитана струилась кровь. Вся грудь была иссечена осколками и быстро темнела, набухая при ярком свете ракет.

— Ты прав, Вань-ка-а, — прошептал он. Его рот был в крови, она пузырилась у него на губах, — нации ни приче-м! — Ротный откинул голову, даже вся в крови, она была очень красивой». («Псковский десант»)

Светлая память о таких людях, как Шукшин и Высоцкий, Саин Муратбеков, Шакарим и многие другие, достойные равнения на них, — одни из героев рассказов Марата Конырова.

Писателя волнуют все проблемы мыслящих и чувствующих, «старающихся жить правильно» людей: плачевное состояние экологии, рост преступности, напрямую связанный с хищной сутью так называемой «рыночной экономики»,

развращение народного сознания, возникшее на фоне чрезмерного материального благополучия немногих одних и крайней нищеты — увь! — большинства других. Марат Коныров знает жизнь не понаслышке, без прикрас — неслучайно дух его рассказов призывает к торжеству прекрасного, прежде всего — в самом человеке.

В заключение своими словами озвучу гениальную мысль Иосифа Бродского: если бы власть предержащие воспитывались в духе классической литературы — не было бы ни фашизмов, ни коммунизмов.

Доброго прочтения!

Василий Муратовский.

РАССКАЗЫ

ДВОЕ ШЛИ ПО ГОРОДУ

Двое шли по городу, по вечернему городу. Он и она. Они шли и молчали. Все слова ими были уже высказаны. Так бывает, когда вдруг осознаешь, что все слова уже высказаны. И их не осталось. Не осталось никаких слов. Ни слов восхищения, ни слов утешения, ни слов оскорбления.

А ведь когда-то они говорили и не могли наговориться. Говорили до самого утра. И им было интересно говорить друг с другом. Доверять самые сокровенные тайны, самые свежие впечатления. Дарить друг другу свое миропонимание и мироощущение. Заглядывать друг другу в глаза — зеркало души, и видеть там собственное отражение. Видеть в них неподражаемую жажду общения. Они оба еще недавно напоминали неиссякающий источник. Из которого, словно путники, заплутавшие в безбрежной пустыне, они могли пить и пить, утоляя жажду впрок.

Нечего было сказать. Не было слов. А те, что были, застревали в горле. Им обоим хотелось выдавить их наружу, чтобы рядом идущий услышал их. Но они не могли. Их горла сдавил предательский спазм. Да и слова, что они пытались выдавить, казались им обоим ненужными. Они складывались плоскими и бесцветными. Это были не их слова. Совсем не такие, какими они пользовались, передавая свое восхищение друг другом. Те были высокими, как столетние пирамидальные тополя. Недостижимыми, как сверкающие вершины снежных гор. Неподкупными, как неувядающая слава. Необъятными, как Вечное Синее Небо. Ими они передавали свои самые нежные чувства, при помощи их расстилали, точно ковер, незнакомые миры. Посредством их доверяли сокровенные тайны.

Так куда же они подевались?

Почему же так создано человеческое дитя, что в одночасье его сердце перестает их рождать? Душа его замыкается, точно на нее навесили тяжелейший амбарный замок и он висит тяжким грузом, и не вынуть из нее теперь ни одного слова.

Двое шли по вечернему городу, молча, уже более часа. Мимо них с веселым шумом проносились красивые автомобили. Их обгоняли спешащие домой люди с пакетами в руках. Они шли вдоль расцвеченных витрин дорогих супермаркетов, одетых в изысканные одежды манекенов и сами, не замечая того, были похожи на них. Потому что манекены немые. Их сотворили в точности как людей. Придали им элегантную утонченность, тонкие, почти аристократические черты лица, надели на них «Пьер Карден» и «Хуго Босс». Но они не могли говорить. И в этом было их Великое Несчастье.

Кто-то однажды сказал мне, что манекены тоже хотят жить. Что они хотели бы ожить и стать людьми. Могли бы двигаться, пить капучино, целовать своих моделированных манекенщиц, наслаждаясь, как люди, сочной мякотью губ.

Если бы они, натерпевшиеся горя от своей обреченности наблюдать за вкусами человеческой жизни, вдруг ожили, то стали бы произносить друг другу самые красивые слова, какие только выдумал человек.

Стоя за прозрачными витринами по другую сторону жизни, они наполнились любовью. Они очень устали и им было уже невмочь стоять сутками без единого движения. Наблюдать за грустными людьми.

И вот один из них, вероятно, специально так скроенный создателями, широкий в плечах, с тонкой талией, одетый не по сезону в кремовую легкую курточку, неожиданно шелохнулся. Он сдвинулся с места. Это произошло с ним впервые с момента рождения. Все это время он глядел на прекрасную

девушку, стоящую напротив. Их и выставили в один день. Привезли в длинных ящиках, а когда вытащили на белый свет посреди огромного сверкающего зала, вот тогда они и увидели друг друга. И устыдились. Они оба были совершенно наги. Их положили на холодный мрамор, и они взирали один на другого, удивленно, доверчиво, открыто, восхищенно, ни разу не моргнув при этом. Целый день мимо них, взад-вперед расхаживали люди, рассматривая все, что угодно, не замечая безмолвных манекенов. Рядом с ними везли тележки, нагруженные всякой всячиной, и одна из них переехала запястье его спутнице. Он увидел, как у нее расширились зрачки от боли и хотел было возмутиться, но рот его был мертв. И она заметила этот его протест и в ее синих глазах засветилась Великая благодарность. Он был сработан в лучших английских формах и создан джентльменом и не мог не отозваться на это хамство.

Только к вечеру их принялись одевать. Всем распорядилась молодая энергичная особа. От нее несло дорогими духами. Настолько сильно, что ему хотелось отвернуться, невыносимо было вдыхать. Ему хотелось подсказать ей, что запах таких духов должен исходить едва-едва! Как дуновение ветра, как аромат цветущей где-то сирени, дикого меда и вызревших яблок. Но его поставили в рост. Теперь он сверху взирает на свою спутницу и стыдился того, что в первую очередь ему оказали внимание. Она же продолжала лежать. Эта яркая азиатка, с холеным белым лицом, сняла с плечиков тончайшей выделки рубашку, набросила на его голый торс и холодными пальцами принялась застегивать пуговики. По его телу побежали мурашки. Дева тем временем натянула на него брюки тонкой шерсти, бесцеремонно касаясь его сокровенного места, и его помимо воли бросило в жар. Ему

показалось, что на щеках у него проступил густой румянец.

Кожаный брючный пояс защелкнулся, подчеркнув талию, оставался только костюм. Но вот и он оказался на его развернутых плечах. Он видел себя в большое овальное зеркало и был доволен.

Теперь дева приступила к процедуре одевания его спутницы. Он незаметно опустил веки и долго стоял, не смея глянуть в ее сторону. Он считал, что процесс одевания и раздевания женщины священен. Наконец, когда все было закончено и красивая азиатка, внимательно оглядев их обоих, ушла, он распахнул глаза и поразился.

Его спутница была прекрасна! Изумительное, схваченное в поясе золотым шнурком платье выгодно подчеркивало все ее формы. Оно выделяло изящную благородную шею, совершенную грудь, длинные ноги.

Они оба поняли в тот миг, что уже любят друг друга!

Так началась их совместная жизнь. Целыми днями они любовались идеалом каждого. Из дня в день!

А по ту сторону стекла то беспощадно палило солнце, то занудливо долго лил дождь, то, словно сорвавшийся с цепи злобный пес, метался ветер. Когда было невыносимо душно, она хотела пить, и он видел, как губы ее становились сухими. Наблюдать это было невыносимо, и он тогда сильно страдал. Больше всего ему хотелось хоть на пару минут сойти с места, чтобы сбегать в киоск, что стоял напротив, и взять ей воды. В такие минуты он горько осознавал собственную обреченность и каждой клеточкой своей нематериальной души просил ее понимания. И она понимала его. Она справлялась со своим желанием, и тогда происходило чудо! Губы ее становились как прежде влажными и яркими!

Когда на улице шел дождь, ей становилось немного грустно и зрачки ее тускнели. Он тогда начинал ей рассказывать о том, как он ее любит и как верит, что рано или поздно они обретут способность двигаться и говорить. И тогда они уйдут отсюда. Навсегда! Что он мечтает, как у них будет свой дом с камином, и они вдвоем будут сидеть вот такими вечерами, крепко-накрепко обнявшись, и пить обжигающий, божественно вкусный глинтвейн. А когда за витриной завывал ветер и она зябко поводила плечами, то больше всего на свете ему хотелось укрыть ее своей курточкой. Весь этот мир, что он ежедневно видел и наблюдал за стеклом, ему хотелось подарить ей одной, единственной! Он глазами, взглядом пел ей песни, и она внимала ему своими дивными синими глазами. Он читал ей придуманные им фантазии, пытался веселить ее и это не всегда, но удавалось.

Двое шли по городу и молчали. Не было у них больше слов друг для друга. Каждый думал о своем!

Он о том, что у него не закрыты дела по бухгалтерии, что у него много врагов, что ему так и не удалось купить понравившийся джип, что никак не удается пробиться в элиту и еще многое, многое, многое....

Она о том, что он стал совсем не тот, скучен и не интересен, и сетовала на себя, что смогла так ошибиться в нем. Ее терзали заманчивые предложения, перспективы успешных, еще крепких мужчин. Ей надо было определяться с собой, со своей жизнью. Потому что молодость уходит, как тают вешние снега. Не успеешь оглянуться, и станет уже поздно. Так бывает, когда неожиданно опускаются сумерки и сразу становится поздно! А думаешь, что еще не вечер!

Ей совсем не хотелось что-либо говорить ему. Кончились те ласковости, те нежности, те необычайно красивые фразы, от которых хотелось кричать и петь на весь белый свет. Было

немного печально, но по большому счету, ерунда!

Они еще совсем недавно наговорили обоюдно столько гадких слов, их уста смыкались и размыкались, выпаливая с такой поспешностью, точно они торопились, что не успеют.

Куда только все девалось?

Она отбросила назад непокорную прядь. Ему это ее движение показалось дерзким вызовом.

— Ну и черт с тобой! — промелькнула в его голове злобная мысль. Она нечаянно споткнулась, но он даже не протянул ей руку, чтобы подхватить.

А когда он, прикуривая на ходу, вдруг неловко обронил зажигалку, она презрительно хмыкнула.

— Неуклюжий! — подумала она.

В развлекательном парке бешено крутились карусели, ярко светящиеся аттракционы взмывали под самое темное небо и стремительно падали вниз, и тогда все в округе, перекрывая шум машин, разрывалось сумасшедшим визгом. Кому-то в этот миг было необычайно весело.

— Ничего, это им сегодня радостно, завтра тоже будет не до смеха, — злорадно представил он.

— Разве такой красавице, как я, нужен он? Его даже на карусель не затащишь! — ожесточенно накручивала себя она.

Они проходили мимо витрины гипермаркета и внезапно залюбовались необычными манекенами. Им обоим показалось, что они живые. Настолько их неподвижные лица были одухотворенными. Двое, не договариваясь, помимо своей воли, замедлили шаги. Их взоры устремились к манекенам. Они долго и пристально рассматривали красивых — парня и девушку.

«Господи, как же они любят друг друга! Их взгляды сочатся кристаллами непередаваемой любви, нежности, восхищения!» — проскользнуло в ее красивой головке удивление. На долю секунды она даже поразились этому своему открытию.

«А она ничего, — искренне восхитился он, — будь она живой, можно было бы флиртануть!». Но ему тоже показалось, что между этими двумя неподвижными фигурами существует какая-то незримая связь.

«Что только не померещится! — возмутился он. — Им на роду суждено торчать тут за стеклом, потому что они бездушные манекены, а мы люди... люди... люди...!».

От поразившего их открытия двоим на минуту вдруг захотелось поделиться этим и простить друг друга. Их руки чуть было не потянулись навстречу, а в глазах стало нарастать Великое прощение. Но в тот же миг в головах обоих промелькнула мысль, что все тогда надо вновь начинать заново и тут же всякое желание в них пропало, погасло, едва народившись!

И они оттолкнулись упругими ногами от асфальта, на который падали блики неоновой рекламы и, даже не глядя друг на друга, хотя бы в последний раз, не сказав напоследок какие-то добрые слова, ушли в разные стороны! В разные стороны! В разные стороны!

Они расходились, и расстояние между ними увеличивалось все больше и больше. Но в то же мгновение стороннему наблюдательному глазу явилось чудо! За прозрачным стеклом витрины два манекена, парень и девушка, вдруг шагнули навстречу друг другу.

Вы видели когда-нибудь такое? Нет? Оттого и не верите мне! А я в тот миг, оказался тем самым сторонним наблюдателем.

Два манекена, парень и девушка, крепко обняли друг друга, легко ступили сквозь толстое витринное стекло и, взявшись за руки, заскользили по вечерней улице, невесомой, почти воздушной походкой.

САНЬКА — ЗОЛОТАЯ РУЧКА

Узкая тропинка дачного поселка раздваивалась змеиным жалом. Одна уходила вверх по косогору, другая скрылась за поворотом.

Я остановился в раздумье, куда же мне повернуть?

Та, что стремительно падала к речке, показалась таинственней. И я пошел по ней.

Из-за увитого диким виноградом забора донеслись голоса. Я сбавил шаги и прислушался. Два голоса принадлежали юношам, третий оказался девичьим. Голоса юношей были чисты и задорны. В девичьем едва заметно дрожали согласные, но смех был звонким, переливчатым, привораживающим. Было трудно разобрать слова, о чем они говорили, и тогда я, поднявшись на цыпочки, заглянул за забор.

Они сидели вокруг крохотного бассейна, болтая ногами в воде и чему-то весело смеялись. Взгляд мой точно прикипел к юной девушке. Она подняла тонкую, белую руку и откинула за плечи тяжелые волосы. Я был сражён!

Это была Санечка!

Отчего, я и сам не знаю, замирает сердце, когда я случайно оказываюсь тайным свидетелем кусочка чужой жизни. Эти трое молодых людей были настолько увлечены собой, настолько беззаботны, что наблюдать за ними оказалось очень забавным.

Стоять на кончиках пальцев оказалось неудобно и мне временами приходилось опускаться, чтобы дать ступням передышку.

Да, это же Санечка! Хотя нет, та Санечка уже давно умерла на «зоне»!

Я опять приподнялся на носки и вгляделся в лицо девушки. Оно было прекрасным. Роскошные темные волосы обрамляли точно высеченное из белого мрамора лицо. На высокой шейке поблескивала граненная золотая цепочка.

Снизу послышались чьи-то шаги. Я осторожно выглянул из зарослей и увидел тяжело поднимающуюся по тропинке женщину. Мне пришлось замереть в своем укрытии. И в тот миг я услышал такое, от чего мое сердце замерло.

— Саня, прыгай первая! — юноша предлагал кому-то прыгнуть в бассейн.

— Я отдам тебе пальму первенства! — рассмеялась девушка.

Женщина прошла мимо, и я смог вновь подняться над забором. Теперь я знал, что ее тоже зовут Саней! И это подействовало на меня магически, теперь я не сводил с неё взгляда. Я почти не разбирал слов, произносимых юношами, её призывных ответов, точно замороженный следя за тем, как смыкаются и размыкаются ее полные нектара губы.

Тот же изящный носик, те же ослепительно белые, точно крупные алмазы, зубы. Она была Санечкой! Той, которую я когда-то знал, в пору своей далекой молодости! А главное, тот же самый, идущий изнутри, расплескивающийся смех, которым Санечка очаровывала глупых, доверчивых продавщиц.

Я вспомнил теплый летний вечер, толпу нарядно одетых людей у кинотеатра и два голубеньких билета на фильм в своей руке. Я ждал девушку, но её всё не было, хотя уже прозвенели два звонка, возвещавшие о начале картины.

И вдруг чей-то грудной голос вырвал меня из плена досады.

— Нет ли у вас лишнего билетика?

Я поднял лицо и увидел Санечку. Её серые обволакивающие глаза оказались прямо, напротив.

— Есть, — пролепетал я.
— Продайте мне, — попросила она.
— Возьмите так, — я протянул ей билет.
— Ну, спасибо! — она скрылась в дверях, мелькнув алой плиссированной юбочкой, а я, точно околдованный омутом ее серых глаз, остался топтаться перед входом. Но вдруг до меня дошло, что остался всего один билет, и я тоже заторопился в зал.

В зале было темно, я спотыкаясь, на ощупь отыскал свое место.

Санечка сидела, положив ногу на ногу. В темноте, отчетливо проступая, белели ее колени. На экране шли титры, а я искоса, боковым зрением наблюдал за ней.

Она была старше меня. Лицо её было безупречным и строгим. Она, не отрываясь, глядела на экран, а я не сводил с нее взгляда.

От неё ко мне шла какая-то неведомая, поступательная сила и я терялся в догадках.

Это был фильм «Волчья яма», в двух сериях. На экране разворачивалась судьба парня — сироты, которого втягивали в преступную жизнь. На экране разыгрывались любовь и трагедия, назревали беды. Незнакомка, казалось, целиком была поглощена фильмом, как вдруг к концу второй серии неожиданно склонилась ко мне и спросила:

— Проводишь меня до дома, а то я одна боюсь?

Я вспомнил эту фразу настолько отчетливо, что от волнения нечаянно наступил на сухую, лежавшую под ногами ветку, тут же громко хрустнувшую.

Однако юноши в саду не обратили внимания на звук, но Саня вскинула голову и посмотрела в мою сторону. Некоторое время мы глядели в глаза друг другу. Так мне казалось, хотя, конечно же, она никак не могла бы разглядеть меня в толще зарослей.

Но её серые глаза жгли — прожигали, и я уже явственно услышал голос Санечки, той, другой, из улетевшей куда-то молодости. Точно он прозвенел колокольчиком прямо над ухом.

— Ты проводишь меня до дома?

Я и теперь не знаю, в самом ли деле отчаянная воровка Санечка боялась темноты, или же она хотела немного поразвлечься?

Бывает, что сильным людям нравится подчинять своей воле других, более слабых.

Возможно, Саня сразу почувствовала, что я оказался в волшебном плену ее очарования.

А я и вправду уже был влюблен в неё, и когда закончилась картина — я, словно теленок на привязи, потянулся за ней.

Толпа зрителей ринулась к выходу. Я зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь ненароком не задел Саню плечом. И когда мы оказались на улице, она повернулась ко мне и спросила:

— Тебя как зовут, рыцарь?

Онемевшими губами я невнятно пробормотал своё имя.

— А меня зовут Саня!

— Саня?

— Да, Саня! А что..?

— Да нет, ничего...

— Ты хотел спросить, почему такое имя?

- Да... Вернее нет...
- Мой отец ждал сына, а когда родилась я, он назвал меня Саней.
- А — а — а! А потом у твоих родителей ещё были дети?
- Нет. Я одна. Теперь уже и их нет.
- Умерли?
- Отца в зоне забили «менты», а мать, мать умерла от передозировки.
- Как это от передозировки? — спросил я.
- Мать кололась. Ну и лишнее вогнала... Сердце не выдержало.
- Мне стало не по себе, словно я вторгся в чужую, скользкую жизнь.
- Да ты не пугайся, рыцарь, со мной такого не произойдет. Я, если и колюсь, то только для кайфа, дозу свою знаю.
- Ее откровение поразило меня, и я не знал, как мне реагировать. Решил выждать паузу.
- Мы шли по ночной улице городка. Редкие прохожие оборачивались Сане вслед.
- Ты видел, как он «сдал» «мусорам» своего пахана?
- Кто?
- Герой фильма!
- Он ведь не родной ему был.
- Не в том дело! — в голосе Сани зазвучала досада. — «Сдавать», это вообще мерзко, подло!
- Просто он хотел жить честно, не хотел быть преступником.
- А ты честный, да?
- Не знаю, смотря с какой стороны посмотреть...
- Ну, вот, например, я что-то совершила, а ты узнал об этом. Ты бы меня «сдал»? Я молчал. Мне было трудно. Всё принимало крутой поворот.
- Ну, например, ты увидел, что я что-то украла...

— Где украла?

— Ну, к примеру, в магазине... Ты бы «сдал»?

— Нет.

— Вот видишь? А почему бы ты не «сдал»?

— Ты мне нравишься...

— Да? Правда?

Санечка прижалась спиной к забору. Она вдрут притянула меня к себе и поцеловала в губы.

Точно ушат кипятка вылился на моё тело, я весь задрожал.

— А губы у тебя вкусные, — призналась она. — Возьми меня под руку.

Я взял Саню под руку, и мы зашагали дальше. Я не чувствовал под собой асфальта, мысли в голове сталкивались, точно льдины во время паводка, и гулко ухали. От её руки шло тепло и передавалось мне.

Она напоминала мне статуэтку, дорогую статуэтку, выточенную чьими-то искусными руками.

— Ты кем работаешь, рыцарь?

— Я в шахте, на проходке.

— А я воровка.

Я сбавил ход и приостановился.

— Я Санька — Золотая ручка. Как я краду, так могла красть только она.

— Кто она?

— Сонька — Золотая ручка! Была такая! Ещё давно, во время царя. Она была красивой и крадала в ювелирных магазинах.

— А ты где крадёшь?

— Я? — Саня испытывающе взглянула мне в глаза.

— Ты.

— Я краду одежду. На нашем, воровском языке, это называется «отворачивать».

— Как это «отворачивать»?

— Я «отвертчица». Я захожу в магазин, и пока мой подельник отвлекает расспросами продавщиц, я беру что-нибудь ценное и выхожу.

— А если тебя остановят и обыщут?

— Не остановят.

— Почему?

— Потому что я Золотая ручка. Хочешь посмотреть, как я это делаю?

Я молчал. Я чувствовал, что лечу куда-то в глубокую, тёмную бездну.

— Или ты боишься?

— А чего мне бояться?

— Правильно! Чего тебе бояться? Ты будешь стоять в стороне, будто зашел в магазин за покупкой. И осторожно смотри, как я это делаю. Вот и всё.

— И всё?

— И всё! Ну что, рыцарь, пойдёшь?

Она опять глядела оценивающе.

— Пойду!

— А мы уже пришли. Вот здесь я живу.

В освещенном окне я увидел промелькнувший силуэт мужчины.

— Там кто-то есть, — прошептал я.

— Это Майданюк. Мой любовник.

Я опешил.

— Глупый. Ты мне понравился, такой чистый, весь такой правильный. Да ты не бойся, пойдём, я тебя с ним познакомлю.

— Не пойду, — заупрямился я.

— Трусишь? — Саня так искренне удивилась, что мне стало неловко.

— При чем здесь страх? Просто ты целуешь меня... потом зовёшь знакомиться со своим любовником.

— Пошли, рыцарь, потом поговорим, — Саня взяла меня за руку и увлекла за собой.

Майданюк оказался высоким, кудрявым муж-

чиной. Обнаженная, узкая грудь его была разукрашена безукоризненной работы татуировкой.

Он улыбнулся при виде Сани и дружелюбно протянул мне руку.

— Виктор, — назвал он своё имя.

Санечка гибко, точно кошка, изогнулась, потянулась, поцеловала его в губы и резко обернулась ко мне. Её серые глаза искрились.

— Это мой рыцарь! Он дал мне бесплатно билет, а потом охранял до дома. И я его за это поцеловала в губы.

И опять, во второй раз, меня точно ошпарили кипятком. Мой мозг отказывался что-либо понимать.

Майданюк рассмеялся и легонечко хлопнул меня по плечу.

— Проходи, братан, не стесняйся. Санечка иногда шокирует своими выходками. Но она дальше поцелуев никогда не пойдёт. Просто ей по жизни не хватает адреналина.

Он усадил меня в старое расшатанное кресло и пододвинул сигареты.

— Закуривай!

— Уколешься? — спросил он Санечку.

— Кубик, не больше. — Санечка стояла перед зеркалом, расчёсывая свои изумительные волосы. Она чувствовала, что я внимательно наблюдаю за ней и потому не спешила. Движения её были наполнены грацией и пластикой.

Майданюк достал из шкафа маленький пузырёк из-под пенициллина, наполненный тёмной жидкостью. Он набрал крохотный шприц и обернулся к Санечке:

— Санечка, готово!

Саня, не глядя на меня, подошла к нему и доверчиво протянула руку.

Майданюк осторожно потрогал пальцем выступавшую на сгибе локтя голубую венку и пережал ей ладонью предплечье:

— Сожми кулак.

Саня сжала свой маленький кулачок, Майданюк мгновенно ввёл в венку конец длинной иглы и надавил на поршень.

Белая кожа лица Сани мгновенно порозовела. Майданюк выдернул шприц, Саня шагнула к столу и взяла сигареты.

— Не испугался? — спросила она меня.

— Да нет...

— Сейчас будем пить шампанское. — Витя, принеси бокалы, — скомандовала она. Дальше всё происходило, как в тумане. Я глотал большими глотками пузырящееся шампанское, беспрерывно затягивался сигаретой и, уже не скрываясь, любовался Санечкой. Она отхлёбывала из высокого бокала и говорила:

— Мы с Витей вместе уже пять лет крадём.

— А до этого? — зачем-то спросил я.

— А до этого Витя сидел, и мы не были знакомы с ним. Я краля одна. Но одной сложно. Когда красивая девушка заходит в магазин, продавщицы не спускают с неё глаз.

— Санька-золоторучка! Таких, как она, на весь Союз может несколько есть, — проговорил Майданюк с гордостью.

Что-то очень нежное, по-отцовски заботливое, едва заметное слуху и глазу, крылось в словах и движениях Майданюка. Какие-то нотки в его голосе подрагивали, то вздымаясь, то опускаясь до полупшепота, точно он не настаивал на своей точке зрения, а просто был ею горд! Он ухаживал за ней как за распалившейся дочерью, как за юной сестрёнкой, как за самой своей любимой женщиной! Его не смущало признание Санечки, что она поцеловала незнакомого парня, что привела его в дом. Он воспринимал это как часть ее мира, мира ее желаний и не смел позволить себе подумывать о ней плохо, даже на короткое мгновенье.

Он бросал ей в бокал крохотные кусочки шоколада и наблюдал за тем, как они, вращаясь, медленно всплывали наверх.

— Санечка, — говорил он, — гляди, нас ждет фарт!

— Фарт — птица капризная, — отвечала Саня.

— Она любит тебя, — настаивал Майданюк.

— Как же меня можно не любить, ведь я самая красивая. Во всем преступном мире нет меня красивей!

Я возвращался домой в полном смятении. Чужая, полная загадок жизнь, с которой я случайно соприкоснулся, ошеломила меня. Я столкнулся с неведомым мне миром, о котором ранее думал с презрением, брезгливостью, но личность Санечки растворила меня, и не было сил отказаться от влияния ее чар.

— Это блажь! — бормотал я, одиноко шагая к дому. — Просто приключение!

Но я знал, что завтра снова пойду к ним, чтобы видеть их лица, говорить с ними, наблюдать за их отношениями.

Какое-то неподвластное, неведомое ранее чувство уже влекло меня, подавляя всецело волю сопротивляться!

И теперь, спустя два с половиной десятилетия, я испытывал то же самое чувство, глядя на незнакомую мне Саню!

Солнце уже опускалось к горизонту, вечер серел на глазах, а я не мог уйти, будто меня пригвоздили к моему убежищу.

— Что же я испытываю? — спрашивал я себя. — Почему не уйду? Почему так дрожу, вглядываясь в прекрасное лицо незнакомки?

— Налейте шампанского, — потребовала она, и юноша, сидевший с ней рядом, бросился исполнять просьбу.

Другой юноша, кучерявый, робкий, протянул ей спелый, сочный абрикос.

— Возьми, Саня!

— Я красивая? — спросила она

— Ты самая красивая, — юноша сбился с тона, а затем добавил — на нашем курсе!

— Во всем институте! — потребовала Саня, не прекращая болтать ногами.

— Во всем институте, конечно!

— Во всем городе, да?

— Да, во всем городе?

— Скажи, что во всей стране!

— Конечно! Во всей стране!

— Вот видишь, а ты говоришь на курсе! — Саня задорно расхохоталась, и я тоже невольно улыбнулся.

Саня соскользнула в воду и тут же выскочила из нее с громким возгласом.

— Ух! Ух, и ледянучая!

— Она же проточная, Саня! Родниковая!

Саня взяла с поручня махровое полотенце и стала прикладывать его к телу. Темнело. На фоне загоревшихся фонарей она казалась богиней, сошедшей с неба. Ее фигура напоминала дорогую, хрупкую статуэтку.

— Я пошла в домик, — сказала она и скрылась из вида. Юноша тотчас вскочил с места и побежал вслед.

Мне оставалось только уйти. Я вышел из своего укрытия, нашарил в кармане сигареты и закурил.

Первой в магазин «Одежда» вошла Саня. За ней через минуту вошел Виктор, следом потянулся и я. Две толстые продавщицы вполголоса о чем-то говорили между собой. Я сделал вид, что рассматриваю вещи, а сам краем глаза следил за Саней.

Она шла вдоль рядов, увешанных пиджаками, кофтами, на мгновение останавливаясь, точно оценивая достоинство вещей, и тут же передвигалась дальше.

Я видел, как Виктор взял в руки костюмную пару, подошел к продавщице и стал что-то выяснять у нее. Он показывал ей изнанку костюма, зачем-то выворачивал рукава, указывая на швы, набросил его себе на грудь.

Лицо Саньки напряглось, она сделала какое-то быстрое движение. Вторая продавщица тут же направилась к ней, и тут мои нервы не выдержали напряжения. Мне стало страшно за Саню.

— Женщина! — окликнул я идущую к Санечке напарницу продавщицы, — подойдите, пожалуйста, ко мне! Да, да, ко мне!

Продавщица резко сменила курс и направилась в мою сторону.

Тем временем Саня двинулась к кассе, где Майданюк заседал на хлопающую глазами женщину.

— Халтурщики! Вы посмотрите на качество ниток...

— Я что ли его шила? Повесь на место и иди своей дорогой, черт кудрявый! — взорвалась тетка на кассе.

— Ха-ха-ха-ха! — задорный, грудной смех Сани подстегнул кассиршу.

— Целых десять минут машет тут руками!

Майданюк, недовольно бурча себе под нос, пошел вешать костюм. Я слышал голос Санечки, обращающийся к кассирше:

— Попадаются такие зануды, не обращайтесь на них внимания! До свидания!

— До свидания! Так ничего не подобрали себе? — спросила тетка на кассе.

— В следующий раз! До свидания!

— До свидания! Заходите, через пару дней новый товар подвезут.

Санечка доверчиво, с глубокой благодарностью взглянула на толстуху и обезоруживающе улыбнулась.

— Обязательно зайду!

— Что вы хотели спросить? — рядом со мной стояла напарница.

— Да я хотел узнать, нет ли у вас футболок?

— Чего-чего?

— Футболок!

— Парень, здесь магазин готовой одежды, а не трикотажа. Футболками мы не торгуем.

— А-а-а! Ну, ладно! — я наострил ноги в сторону кассы. Проходя мимо толстой тетки, я чувствовал, как напряглась моя спина. Санечки словно не было и в помине. Я слышал за своей спиной голос кассирши:

— Повесил на место?

— Да.

— Ну, иди себе с миром.

— Швы кривые, нитки гнилые, пуговицы держатся на честном слове.

— Иди, иди уже!

— Полный бардак, а не магазин, надо бы в книгу жалоб написать!

— Иди, иди... книгу жалоб ему!

Я шел по улице, стараясь не оглядываться. Было ощущение, что вот сейчас кто-то схватит меня за руку и крикнет:

— Держи вора!
— Держи, держи вора,
Поймать его пора,
Но всем известно,

Что не пойманный, не вор! — напевала Санечка, примеряя в своей комнате роскошную норковую шубку.

— Как же тебе это удалось? Я же видел, что в твоих руках ничего не было, Саня! — Я был изумлен!

— Но всем известно, что не пойманный не вор! — дурачилась Саня перед зеркалом.

— Так хорошо? — она натягивала полы переливавшейся серебром шубки и, вытянув вперед ножку, словно балерина на сцене, делала па.

— А вот так! — Санька грациозно прошла по комнате, развернулась в мою сторону и произнесла, нет, проворковала:

— Перед вами прелестная шубка из последней коллекции, «отвернутая» красавицей Санькой — Золотой ручкой, не далее как сегодня утром, в магазине «Одежда», которая нынче же уйдет в «яму» к «барыге», не более чем за... За сколько, Витя, мы ее скинем?

Майданюк отложил сигарету и оценивающе поглядел на Саню.

— Граммов двадцать «беляшки», я думаю, дадут, — выговорил он.

Я чувствовал, как по ложбинке, между лопатками, змейками заскользили холодные струйки пота.

«Что они за люди?» — раздумывал я.

— Продавщиц ведь теперь посадят за недостачу!

— Всех нас когда-нибудь посадят, мой рыцарь, — Саня приблизилась вплотную, и я увидел как скачут бесовские, бесшабашные искринки в ее серых глазах.

— А ты молодец! Вторая тетка шла ко мне, что-то она заподозрила. Ты ее вовремя отвлек.

— Я испугался за тебя! — пробормотал я и не успел закончить, как Саня накрыла мой рот теплым, влажным поцелуем.

Майданюк хмыкнул и деликатно отвернулся.

— Это тебе на долгую память, мой рыцарь! А теперь возвращайся домой! Иди! А не то пропадешь со мной, ни за грош стинешь!

— А как же ты, Саня? — вылетело у меня.

— Я не для тебя! Уходи, мой рыцарь, и забудь все, что ты видел.

— Иди, иди, ты хороший парняга! В натуре! — напутствовал Майданюк.

Я поплелся к двери, оглянувшись на Саню и вышел.

Через год или два я получил конверт, в котором был тетрадный лист в клеточку, и на нем всего одна фраза: «Завтра суд! Саня!».

На суде она держалась с вызовом, дерзила судьбе, смеялась над одураченными продавщицами, кокетничала с прокурором. В мою сторону почти не смотрела. И только, когда судья дочитал приговор и конвой стал выводить ее из зала суда, сторбившаяся под тяжестью срока, упавшего ей на плечи, Санечка грустно взглянула на меня. Ее прежде сочные, в одночасье выцветшие губы едва заметно дрогнули.

— Десять лет! — стучало у меня в мозгах. — Десять лет!

Когда я выходил из здания, Санечку грузили в «черный воронок». Рослый «мент» с кобурой на поясе учтиво подал Сане руку, но она сделала вид, что не заметила ее.



Саня скрылась в утробе «автозака», а я, укрыв лицо ладонями от горя, упиваясь слезами, спотыкаясь, побежал прочь.

— Держи, держи вора, поймать его пора! — отчетливо слышал я слова песни, затем голос Сани строго спросил меня:

— А ты бы меня «сдал»? Вот видишь!

Чем дальше я отходил от давшего мне приют убежища, укрывшись в котором я наблюдал за незнакомой мне девушкой Саней, тем сильнее от внезапно нахлынувшей тоски сжималось сердце. Непосильный груз навалился мне на плечи, и стало вдруг нечем дышать. Теплый летний воздух показался мне липким и темным, я стал задыхаться. Все вокруг наполнилось давно забытым, а, может быть, и никогда неизвестным мне прежде, странным смыслом. Внезапно я почувствовал себя заблудившимся в огромном, чужом саду ребенком, и оттого мне захотелось сесть в траву и захныкать. Да, да, захныкать, как в детстве!

Я понял, что очень и очень устал, от этой бесконечной дороги, временами пролежавшей среди топей, буреломов, утопавшей в пыли, тащившейся по выбоинам и колдобинам. От дороги, называвшейся жизнью, промелькнувшей и скрывшейся где-то за поворотом, подобно алой Саниной юбочке, оставив на губах вкус полынной горечи.

А сколько ее еще оставалось?!

Поверьте! Я не мог не вернуться! Не мог! И тогда я развернулся и снова направился к знакомой теперь даче. Ничего в округе в ту секунду не изменилось, но только сердцу моему тут же стало легче стучать, и по жилам веселее заструилась кровь.

Мне несказанно повезло! Когда я, скрытый темнотой, вновь подошел к домику, я увидел Саню, стоявшую одиноко на резном миниатюрном балкончике, устремившую взгляд в сторону чернеющего горизонта, где погромыхивало и в темном небе зачинались всполохи.

Она была прекрасна в белой облегающей блузке и коротенькой, кокетливой юбочке, не скрывающей длинных, упругих ног.

Стояла редкая в природе тишина, ни дуновения ветерка, ни щебетания птиц, ничто, ничто не напоминало о присутствии на планете Земля еще кого бы то ни было, кроме нас двоих — меня и Сани!

Так и стояли мы, еще долго думая каждый о своем, я, глядя на нее, а она на горизонт! Вдруг где-то в глубине комнаты послышался звон хрусталя, и знакомый юношеский голос позвал Саню:

— Санечка, идем пить шампанское!

Тонкая фигура Сани оторвалась от перил, она отступила на шаг, и, вдруг подняв руку, помахала ею.

Саня ушла, я тоже потащил свое брненное тело к дальним мерцающим огонькам, тщетно пытаюсь разгадать последний Санечкин жест.

Кому она махала? Далекому горизонту? Или все-таки мне?

18 июля 2009 г.



НОЧЬ В КУРМЕТТАХ

Вот уже минуло два года с той ночи, как со мной произошел этот случай. Я пытался забыть о ней, но позже приучил себя к мысли, что это был всего лишь сон, приснившийся под утро, в странной избе старой Люции. Но события той ночи продолжали будоражить память, и я осознал неизбежность пересказа этой невероятной истории. Как разархивируют файл в компьютере, так поневоле я стал восстанавливать в собственной памяти ушедшие, стирающиеся слова, одежды и лица. И сегодня, с раннего утра, прежде чем приступить к рассказу, мне пришлось зайти в крохотный магазинчик и купить там у юной продавщицы с десятков коричневых яиц. Негромко, нервно покашливая, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, я ожидал, пока нерасторопная девушка упакует мне покупку. Движения ее были плавными, задумчивыми, она, забывая о своих обязанностях, занималась самолюбованием, точно в это мгновение стояла перед зеркалом и расчесывала свои роскошные волосы.

— Вы очень торопитесь?

— Как вам сказать? — не мог же я, право, рассказать ей о том, что меня ожидает рассказ.

В квартире, на деревянном подоконнике, в целлофановом мешочке сохранилось немного вчерашнего черного хлеба, порядком подсохшего, но еще не растерявшего своего запаха.

Я торопился, движения были суетливыми. Так к предстоящей операции готовится хирург, уже решивший в уме, что он будет резать, но прежде чем приступить, отхлебывает чай, обжигая губы, всматриваясь в себя со стороны.

Вот и я поставил на огонь кастрюльку и опустил в нее два яйца. Два, чтобы не переест, так как переевший рассказчик непременно утерять остроту,

но двух теперь хватит, не отрываясь, довести до конца повествование. Пока весело булькает закипающая вода, я беру пылесос и вычищаю циновки на полу, вытираю многодневную пыль с рабочего стола и усаживаюсь полдничать. Я механически жую, запивая холодным чаем, потому что образ Аси уже по крупiciцам восстанавливается, вырисовываясь в глубинных недрах мозга.

Возникли ее глаза, нависшие надо мной, проснувшимся от безотчетного чувства присутствия рядом человека. Теперь я уже не могу оттягивать время и, смахнув со стола яичную скорлупу, бегу в ванную. Тщательно умывшись, насухо вытерев каждый из пальцев, шествую к столу, беру стопку чистой бумаги.

Я попал в Курметты случайно. Крохотный горный аул, забытый людьми и Богом. С высоты окрестных вершин он напоминал сбившийся в кучу гурт белых овец, разделенный синей ленточкой Чилички.

Говорят, что когда-то аул был многочисленным, разноразличным. Тогда здесь располагался леспромхоз, и сваленные вековые ели отсюда сплавляли до самого Бартогоя. Тут жили ссыльные чеченцы, спецпоселенцы-староверы. Несколько изб русских мужиков-лаптежников стояли обособленно, а множество казахских мазанок беспорядочно разбросались вдоль змеящейся белопенной реки. Выше по Чиличке, на территории сейсмостанции, болтались геологи, золотодобытчики и еще разный люд. Я всматривался в голые отвесные южные склоны, на которых крупными валунами едва заметно передвигались коровы, паслись низкие, мохнатые лошадки.

Вечером, когда багровое солнце стало закатываться за одетые в снежные малахаи зубья дальних вершин, отчетливо вырисовался забор аульного кладбища, наполовину в ссохшихся

деревянных крестах. Аул медленно погружался в оцепенение сна. Он теперь замрет и до утра будет находиться в тревожном забытии. В потрясающей сознание графике застыли безмолвные горы, и казалось, что жизнь здесь остановилась навсегда. Лишь звуки струящейся реки возвращали к надежде.

Старик с испещренным морщинами лицом подошел и встал рядом. Он попросил сигарету и потом долго рассматривал ее, словно бы увидел чудо в своих заскорузлых ладонях. Он и рассказал мне о жутких страстях, бушевавших тут прежде, в многострадальном Курметты.

— Лесосплавищики был народец крутой, — говорил он, — после выпитого спирта они брали топоры и шли рубить чечню. И сыны Кавказа не сдавались! Потому как нечего было им терять, после того, как привезли их сюда умирать.

— Не бывать семи смертям. А одну! Уж если она пришла, надо встречать достойно, — размышляя и я, глядя в изрезанное глубокими бороздами лицо старика.

— Энкэвэдэшники подзуживали сплавщиков. Все ваши беды от староверов, говорили они, стравливая людей, — старик продолжал свой рассказ. Видно было, что ему давно уже хотелось рассказать об этом кому-нибудь чужому, заезжему.

— Корову украли? Никто иной, как чечня! Шел народец лихой в ночь черную, беспросветную!

Я представил, как в темноте отсвечивали стальные жала топоров. Как навстречу гибели выходили сыновья из народа далеких гор, с длинными ножами в руках. Как желтой гиеной надрывно хохотала смерть и вытекала на холодную землю из остывающих тел горячая кровь.

— Утром на полutorке приезжали уполномоченные и начинались допросы. Затем писались петиции в район: Ссылные чеченцы занимаются воровством скота у местного населения.

Прикомандированные вступились за русскую прослойку. Произошла драка с применением холодного оружия. Три человека ранены, один убит.

— Откуда вы знаете подробности? — спросил я у старика.

— Я в те годы работал шофером в районном НКВД, — признался старик.

— А-а-а-а! — протянул я и пошел своей дорогой. Шагал и раздумывал о жизни. Я раздумывал о том, что у каждого своя ПРАВДА в груди. О том, как рушились судьбы, как рождались дети, как раскручивалась послевоенная судьба. Одна на всех! Большая судьба советского человека.

Мы шли рысью, по узкой тропинке, протоптанной конями табунщиков. Из ноздрей лошадемок, точно из прорвавшихся труб котельной, валил горячий пар и растворялся в настоящем хвоей, густом воздухе. Внизу, под крутым обрывом, голубела, отсвечивая замерзшим льдом, река Шелек. Серое небо сплошь окутало дальние суровые горы. Но вот кони вынесли нас за поворот, и тотчас взору представилось широкое урочище, искрящееся девственным снегом. Он хрустел под копытами, подчеркивая морозность короткого зимнего дня.

Дюйсенбек, трясясь в седле, жаловался на жизнь. Я же пытался размышлять о предстоящих съемках.

— Я тебя поселю у соседей напротив, — заявил он, — нормальная семья, татары. Только Ася у них смотри, того...! — он покрутил пальцем у виска.

Но я не обратил внимания на его слова. Я вообще лишь делал вид, что слушаю его. На самом деле раздумывал о своем.

Клячи бежали шибко. Ощущение было такое, будто невидимый отбойный молоток яростно дробил мой таз.

Наконец, вдали показались шиферные крыши домов. Это были Курметты.

Сидеть в седле было уже невыносимо. Боль, точно штырем, пронзала все тело. Я без конца перекаладывал таз то на одну, то на другую сторону седла и нахлестывал животину камчой, добиваясь от нее мягкого хода. Но проклятая лошаденка либо вовсе теряла ход, либо переходила на рысь, от которой мышцы мои, разрываясь, стонали. Передние лопатки клячи горбами перекатывались под седлом, каждый шаг ее добивал меня. Но оставалось немного, нужно было призвать волю. Вот уже по обе стороны заснеженной дороги, покрытой местами застывшими коровьими лепешками, потянулись домики. Дом Люции приближался с каждым шагом.

— Вон и сама Люция! — обрадовался мой спутник, — ты езжай прямо к ним, они предупреждены... — заявил Дюсенбек и завернул лошаденку в свой двор.

Я увидел спускающуюся мелкими шажками к реке старуху со скрещенными руками за спиной. Из ворот вышла еще одна, с пустым ведерком, подвешенном на изгибе локтя.

В памяти, точно предупреждение, всплыла старая песня:

— Едет цыган на коне верхом,

Видит девушка идет с ведром.

А ведро пустое, нет воды,

Значит, не миновать ему беды...

Я натянул поводья, заставляя клячу остановиться. Закурил сигарету в ожидании, пока старуха наполнит ведро. Она поднималась в гору настолько легко, что мне стало стыдно за свою нетерпимость к боли.

Прямо на меня, шатаясь из стороны в сторону, шел пьяный деревенский мужик, в рваной, стеганой телогрейке и выцветшей лыжной шапочке на голове. Ноги его, обутые в высокие резиновые сапоги, то и дело разъезжались в снежном месиве, но он упорно собирал их и продолжал путь, не отрывая от меня глаз. Он глядел пристально, сощулив веки, и время от времени мотал головой, точно отмахивался от назойливой мухи. Видно изображение всадника на лошади двоилось у него в глазах, и тогда он встряхивался.

— Что же это за явление? — удивленно подумал я, как вдруг, не дойдя до меня всего пару шагов, мужик так громко вскричал, что кляча подомной шарахнулась в сторону.

— Не может этого быть!

Мужик проворно, несмотря на то, что сам едва держался на ногах, схватил клячу за узды и повис на них:

— Тпру! Я же тебя по телевизору видел. А как ты здесь очутился?

— Да-а-а вот-т приехал... — промычал я в ответ, не успевая разгадать ситуацию.

— Так тебя же должны были расстрелять?

И тогда я догадался, что он смотрел мою картину, где герою, которого я играл, вынесли приговор, и он понял ее буквально.

— Мне заменили высшую меру на двадцать лет лагерей! — произнес я, принимая его восприятие.

— Так что... уже двадцать лет прошло...? — лицо мужика покрылось испариной.

— Да нет, раньше вышел... — ляпнул я, чтобы прервать нелепый разговор, хотя было забавно наблюдать за ним. Я потянул узду на себя, трогая клячу.

Вот, наконец, приглушенно цокая копытами, кляча ступила внутрь обширной изгороди. Я вознес

хвалу Аллаху и высвободил ногу из стремени. Она висела плетью, никаких сил не оставалось для того, чтобы слезть с клячи. Когда я перебросил ее через седло и ступил на землю, боль пронзила тело так, что из груди невольно вырвался крик. Она разрывала меня. Суставы выламывались в коленных чашечках, я сделал шагок и пошатнулся, меня повело в сторону. Я шел в том положении, в котором сидел верхом, на полусогнутых, широко расставленных ногах. Изувеченное длительной ездой тело стеноло, вызывая к состраданию. Я направлялся к входной двери, напоминая себе космонавта, ступившего на лунную поверхность.

В прихожей, едва потянув ногу вверх, чтобы развязать шнурок, почувствовал, как тысячи игл пронзили спину. Дальше все происходило словно во сне, при замутненном сознании. Я потянул концы злополучных шнурков зубами, притаив дыхание. Наконец, сняв куртку, доковылял к топчану и медленно, долго опускался на него, а когда поднял голову, наткнулся на четыре круглых черных глаза.

Трехлетняя Ясмин и полуторагодовалый Ринат внимательно наблюдали за моими действиями. Малыш сделал попытку влезть на топчан, но ему не удалось занести колено. Топчан был высоким для него. Мне хотелось протянуть руку, чтобы помочь, но она не подчинялась мне. И тогда из глаз хлынули горькие слезы бессилия из-за собственной слабости.

Униженный, я принялся обводить взором незамысловатые предметы убранства и неожиданно для себя вздрогнул. С портрета, висящего на противоположной стене, точно просверливая рентгеном, в лицо мне впился старичок, похожий на гномика, с жиденькой бороденкой. Голову старичка покрывала мирная голубенькая тубетеечка, из-под потрепанного лапсердака

выбивалась рубашонка в мелкую клеточку. Весь его портретный облик словно говорил: «Я — не простой человек!».

Его колющие глазенки, напоминавшие маленьких паучков, готовых мгновенно спрятаться, поразили меня. В один миг стало душно, точно воздух улетучился из комнаты, и я сдвинулся на другой край топчана, пытаюсь сместиться с линии пронзавших меня буравчиков. Но не тут-то было, они нагнали меня и там. Превозмогая боль в мышцах, я вновь переместился, смещаясь с оси, и несмело поднял глаза на портрет. Колющий взгляд старичка продолжал буравить, от него было невозможно скрыться. Тело мое словно оледенело, и я не мог шелохнуться, прикипев взором к его надсмехавшимся зрачкам.

Я не помню, сколько прошло времени, как старая Люция позвала меня к столу.

Она была сутулой, с крючковатым носом, синими навывкат глазами и бесцветными губами. С головы старухи, свисая набок, чудом держался сбившийся коричневый платок, невообразимо завернутый. Весь ее вид напоминал вышедшую из книги народных сказок Бабу-Ягу, с крепкой, живительной энергией в старческой груди. Обращали на себя внимание удивительно сильные руки, которыми она без труда переставляла полные ведра, большие чугунки с булькающим варевом.

Сидя у весело мерцавшего огня в печи, после долгой, утомительной езды, любопытно было наблюдать за чужим миром, о существовании которого еще час назад я и не подозревал.

Приползший на кухню полуторагодовалый Ринат грыз вынутый им из ведра ком угля, а трехгодовалая Ясмин размеренно била его по голове пустой пластиковой бутылкой.

Вошла ширококостная, плечистая женщина, отряхивая с валенок налипший снег. Грубые, почти

мужские черты лица ее были словно высеченными из камня. Казалось, оно никогда не знало улыбки, а губы — жарких девичьих поцелуев. Мощными руками она стянула с плеч мешок с картошкой, вынула из кармана замызганный пряник, разломил его напополам и протянула детишкам. На меня она даже не взглянула.

— Невестка, — сообщила мне Люция, и, словно решив, что я не понял ее, добавила — сына жена...

— Садитесь к столу, — пригласила старуха. Я не стал отказываться и с готовностью придвинулся.

Изголодавшийся организм вынудил забыть правила такта и зверем наброситься на нехитрую домашнюю снедь. У жаркой печи завязался простенький разговор. Вдруг в кухню ворвалась худенькая старушка, по возрасту, на глаз, вровень с самой Люцией, и стала громко матерно ругаться.

Она поносила весь белый свет, проглатывая от негодования окончания слов, и мне казалось, что вот теперь она ударит меня, отчего шея улиткой невольно втянулась в плечи.

— Ася, моя дочь, — произнесла Люция, — ну иди, успокойся, успокойся!

— Что с ней? — осторожно спросил я.

— Ой! Балам! Это давнишняя история, — Люция тяжело вздохнула, разглаживая передник руками.

Я видел, что ей трудно говорить об этом. Раздирающим меня любопытством я разбередил ее старые раны. Мне еще хотелось многое спросить, но я не осмелился.

— Пейте, пейте чай!

— Нет, спасибо, мне бы лечь. Я очень устал.

— Конечно, без привычки столько проехать на коне! — участливо вздохнула Люция и отправилась стелить постель.

— Целыми днями она ходит к реке, все ей кажется, что вода может кончиться навсегда... вот беда какая, а ведь еще совсем молодая, — грустно произнесла Люция, известив, что постель готова. Я пожелал старухе спокойной ночи, и она негромко вздохнув, что-то пробормотала, отправляясь спать.

Я остался сидеть, продолжая размышлять об услышанном, не замечая течения времени.

Тихий шорох оторвал меня от моих мыслей, я поднял голову и увидел Асю, прислонившуюся к дверному косяку и внимательно наблюдавшую за мной. Ася прошла мимо на кухню и, зачерпнув кружкой из ведра, стала пить, не отрывая взгляда.

Она была одета в выблекшую рваную кофтенку, цвет которой трудно было угадать в тусклом свете. Жиденькие волосья на маленькой головке сбились в кучу, а ужас в ее глазах, никак не тающий, заставлял ежиться.

Дверь в дом распахнулась, выпуская клубы белого морозного пара, и в комнату ввалился уже знакомый мужик, заорав с порога на бедную Асю.

— Стаскивай валенки! Эх, мороз, мороз, не морозь меня!

Споткнувшись об мой изумленный взгляд, он икнул, глаза его на миг просветлели, и алкаш дико вскричал:

— Ма-а-а, тащи водяру, он из зоны освободился, надо обмыть...

Я глубоко вздохнул, как вдыхает в себя воздух ныряльщик за жемчугом перед погружением, оттого что пьяница оторвал меня от созерцания.

В этот миг я поразился Асе. Лицо ее перекошилось от обиды, и я почувствовал, что ей было стыдно за брата, это повисло в воздухе.

— Вот тебе и сумасшедшая, — промелькнула мысль в голове.

— Ложись спать, а то я возьмусь щас за ухват... будет тебе водяра... — вскричала из соседней комнаты старая Люция и скорее уже для себя стала громко бормотать — О, Аллах, за что ты нас караешь?

— Видал? Первая красавица была в ауле, на домбре играла и пела, что до утра заслушивались ее. А нынче дура! — он присвистнул сквозь прокуренные зубы.

— Меня Рашидом зовут.

— Давно с ней это случилось?

— С сумасшедшей-то...? — отмахнулся Рашид. — Девчонкой построила себе хибару в лесу и каждый день в нее ходила...

— Из чего построила? — спросил я недоуменно.

— Да из мелких деревьев, хвороста. Этого добра здесь хватает. Вымазала крышу глиной, нанесла в него своих любимых кукол и целыми днями там пропадала...

Рашид тем временем разлил по стаканам дешевую водку, принесенную ворчащей Люцией, и продолжил:

— Она вообще-то с детства была чокнутой... арестованным паханом людям по ночам жрачку носила...

— Как это...?

— Пахан мой энкавэдэшником был, самым главным здесь в те годы...его все боялись...

— Ненавидели, — подумал я.

— Он кого-то сажает, чтобы утром в район угнать, а эта всю ночь пытается замок сломать, сколько раз ее на том ловили...

— Как это угнать? Ты, наверное, хотел сказать увезти?

— Не-е-е, ха-ха, в том-то и дело, что угнать, я хо-ро-шо помню, их гнали, будто скотину, впереди себя, со связанными руками, и камчой, камчой... хе-хе-хе...

— Но разве могла бы девочка сломать замок?

— Потому и говорю, с детства того... А утром, как тех в район увезут, она от тоски уходила в свой дом и там на домбре сочиняла плаксивые песни...

Мне в голову неожиданно пришла мысль и висела на самом кончике языка, едва не срываясь.

— Вот ты, Рашид, кем ты хотел стать...?

— Я-то? — Рашид почесал затылок и ответил:

— Я хотел в органах работать.

— А почему не стал?

— А кто возьмет? Пахана к тому времени убрали, да еще и эта дура тут...

— Так она что, так и не вышла замуж? — спросил я.

Пьяный брат Аси посмотрел на меня, словно и я был умалишенным.

— Кто же ее тут возьмет?

Вкуса водки я не ощущал, оттого что почувствовал развитие необыкновенной истории. Так происходит с борзыми, внезапно почувавшими запах лисицы и уже скулящими от нетерпения броситься в гон.

Рашид тем временем, притулившись за столом, уснул, пристроив голову в тарелку с овсянкой. Пришла Ася, приведшая себя в порядок, и села напротив, не сводя с меня странного взора, от которого становилось не по себе.

С ладно причесанными волосами, в мятой, но чистой белой блузке, с бусами из крупных синих горошин на шее, она была пугающе невинной. От нее пахло кремом, которым она догадалась намазать истресканные руки, и дешевым одеколоном. Ася даже не забыла выкрасить тонкие, словно бы припечатанные от многолетнего молчания, губы. Я осмелился поднять на нее взгляд и поразился перемене. Ее глаза наполнились непонятным мне особым смыслом, изливающим ясный свет. Лишь две глубокие складки, сбегające

от нервно вздрагивающих ноздрей к подбородку, портили ее. Но, несмотря на это, она выглядела куда как лучше, чем в момент сквернословия. Она теребила край блузки и отчего-то сильно волновалась. Я терялся в догадках. Вдруг Ася сунула руку в карман юбки и вынула забытые мной на топчане фотографии.

На них я стою на самом краю знаменитой Потемкинской лестницы, на фоне белоснежной парусной яхты, уже отходящей от причала.

На других вплотную ко мне стоит молодая женщина в красивой одежде — это актриса.

В первое время я оторопел и не мог выговорить ни единого слова, но вскоре оправился, выдавливая из себя: «Что ты, Ася?».

— М-м-м-м, — слова застряли у нее в горле от волнения. — Это ты! — произнесла она радостно, будто я был ее брат или близкий ей человек. Она еще раз взглянула на фотографии, и неожиданно взгляд ее погрустнел.

Может быть, она подумала, что никогда ей не доведется, отдавшись во власть идущему с моря легкому бризу, любоваться со ступеней Потемкинской лестницы белоснежной яхтой.

— Это в городе Одессе? Ты знаешь, где это...? — ляпнул было я и тут же осекся от нелепости своего вопроса. Мне стало обидно за нее, еще не старую женщину, судьба которой оказалась столь безжалостной.

— Говорят, ты здорово играла на домбре?

Ася радостно закивала головой и, соскочив с места, резво умчалась в другую комнату. До моего слуха донеслось шипение Люции и ответное злобное Аси. Я клял себя. Ася появилась, держа в руках потрепанный инструмент с треснутой декой. Смуженно улыбаясь, она склонилась над ним и после долгих раздумий, натянувших мои нервы до предела, осторожно тронула струны.

Асины пальцы пробежали по ним, но дека сорвалась с ее худой коленки, и звук оборвался. Я очень устал, и единственной моей мечтой в тот вечер было добраться до постели, но не хватало смелости отстранить ее и уйти. Этого я не мог сделать.

Позабыв о моем присутствии, Ася увлеченно тренькала, то улыбаясь, и тогда на лице проступала осмысленность, то вдруг оно преображалось, становясь злым, на глазах обезображиваясь.

Наблюдать за этими переменами было страшно, но и любопытно. Наконец, когда она вовсе заразилась своей игрой, я тихонько выскользнул и, бесшумно ступая, добрался до заветного топчана. Лишь только стоило измученному телу распластаться на чужой простыне, а голове коснуться подушки, как я отключился, оставив позади бранные дела и переживания.

Не знаю, сколько я спал, пребывая в неге теплого, милого сна? Как вдруг каждой своей клеточкой я почувствовал чей-то пристальный взгляд и оттого сон мой слетел, а веки приоткрылись. Слабый лунный свет едва проникал сквозь давно немытые стекла и растекался по комнате. Размытые тени скользили по выбеленным стенам, и ощущение чего-то смутного, холодящего кровь, вползало в замеревшее сердце.

Вначале я услышал сдерживаемое хриплое дыхание, затем разглядел нечеткие очертания человека и подумал, что это мог бы быть проснувшийся Рашид. Но уже через мгновение, к своему ужасу я разобрал обнаженный силуэт Аси. Она, склонившись, всматривалась в черты моего лица, и ее костявое тело, нависшее надо мной, напоминала стрелу крана.

Такие изможденные тела я видел на фотографиях узниц Освенцима. Но, к моему немому восторгу, едва развитые, прежде незаметные под старой кофтенкой ее груди оказались совершенной формы.

Губы мои онемели, в горле пересохло, а руки похолодели. Тысячи мыслей пронеслись в голове, и я не смел пошевелиться, притворяясь спящим. Вдруг неподвижная фигура Аси маятником качнулась в мою сторону и я понял, что она намеревается лечь рядом... !!!

Я был поражен!

Ася подняла угол одеяла и беззвучно опустилась на край топчана, точно она была невесомым гусиным пером. В тот миг я совершил для своего замершего сознания открытие, которому и сам поразился. Я подумал, что, возможно, так к человеку приходит смерть и лежит с ним рядышком в сомнении, уносить ли ей эту Жизнь? Не теряя самообладания, я продолжал наблюдение. Сквозь ресницы очертания ее тела были словно в расфокусе.

Из глаз Аси заструились холодные слезы, едкой кислотой обжигая мне грудь. Хотелось вскричать и броситься вон из этого жуткого дома, но жажда познания развивавшихся событий, точно цепью, приковала к постели. Она, словно иступленная, принялась целовать мое тело и тогда, чтобы не видеть ее лица, я перевернулся на живот, уткнувшись в подушку. А она гладила мою спину, едва касаясь пальцами кожи.

— Бедная женщина, так никогда и не испытывшая мужской любви, страсти, — подумал я.

В темноте передо мной проступило уставшее лицо Люции, с мутными слезами на глазах, падавшими на замызганный передник.

— Какие злые люди! — произносила она. — Мой мужик в НКВД работал в свое время. Потом его уволили... Он занялся пчелами, развел улья... и больше никого не обижал. Несколько лет прошло с тех пор, как он ушел из органов... Но враги, видно, остались, они подкараулили Асю, когда она

пришла в свой домик, и там ее изнасиловали. Так они хотели через нее отомстить мужу. Но они еще и сожгли тот домик, в котором сторели все ее любимые зверушки. Она ведь их собирала по всему лесу и лечила.

Там зайчика найдет с поломанной лапкой, там ворону с перебитым крылом, белочку вынет из капкана...

Все эти зверушки никуда не убегали, были ручными и верили Асе, садились ей на руки, с ладони у нее ели... Она кинулась в огонь, чтобы спасти их, но уже упала крыша... а зверушки там кричали, пищали, после этого она стала заговариваться, а потом и вовсе тронулась умишком.

Колечками, эпизод за эпизодом, вся моя жизнь, от самого детства, оживая в памяти, побежала перед глазами.

Я увидел толпу босоногих мальчишек, подбрасывающих вверх подносы, наполненные землей, и счастливо ржущих в круговерти пыли.

Оседлавших тонкие жерди деревенских пацанов и других, гоняющих перед собой велосипедные колеса. И мать, громко зовущую:

— Цыпа, цыпа, цыпа... — сыплющую крохотным пушистым цыпятам толченые яйца. И отца, ловко манипулирующего деревянным челноком с шелковой нитью, вяжущего рыбацкую сеть.

Две шеренги мальчишек и девочек, кричащих хором:

— В кандалы закованы,

— Спасите нас!

— Кого из вас?

И рассыпающийся бусинками стройный порядок, взрывающийся девчоночьим визгом, топотом ног, мятежными вскриками. И себя в той шеренге, несмелого, все нутро которого молило:

— Только бы не меня!!!

Лару — дочь сельского фельдшера, с миленькой ямочкой на подбородке. Веснушчатую Валу, дочь солнца, отличницу и любимицу класса, вокруг которой хороводом вились девчонки.

Я вспомнил свою робость среди дерзких аульных пацанов, грязных, босоногих, с обглоданными бараньими костями в руках, вопрошающих:

— Кого бить будем? Его?

— Только бы не меня!!!

Замутненным сознанием мне все-таки удалось нащупать корни своей нерешительности, и тогда я вспомнил взгляд Аси на фотографии, переносясь в счастливые моменты жизни.

Я почувствовал, как тело мое обнимают ласковые морские волны, учуял запах каштанов, услышал шум прибоя, звуки шарманки. Вспомнил свою упругую походку по песчаному берегу, ощутил горячий золотящийся песок на босых ступнях и увидел на горизонте, слившимся с морем, десятки шаланд, с белыми, словно крылья чаек, раскинутыми парусами.

Все смешалось и проступило в сознании гигантским полотном абстракции: красивые города, большие машины, яркие женщины, льющееся через край шампанское, горящий Грозный, треск автоматов, надрывный гул танков, обращенные к затянутому дымом небу мольбы матерей.

От обиды за Асину жизнь в глазах защипало и выступили слезы. Оттого что ей нанесли люди такую рану, спалив ее мир, истерзав тело и навсегда умертвив душу. Было больно за детей, умирающих от СПИДа, за уход из жизни Великого Римского понтифика, за сожженный Ирак, за африканских слонов, истребляемых из-за бивней. Вся боль Земли сконцентрировалась в сердце в тот миг, и горячие слезы, прорвав сдерживавшую их дамбу, хлынули на подушку.

Наступало утро. Где-то за стеной похрапывали кони, закукарекал первый петух, замычали недоенные коровы, откуда-то из-за речки донеслось блеянье овец.

Никто из нас не произносил ни звука. Мы оба плакали.

Слезы Аси лились на мою спину, и она была мокрой от них. Мне было обидно за нее, за то, что злые люди убили ее огромный внутренний мир и за себя, не нашедшего душевной теплоты отозваться на ее ласки.

Я даже не почувствовал как она вспорхнула с моей спины, лишь только услышал как протяжно, точно застонала, скрипнула половица и, подняв голову, увидел согнутую, тонкую спину уходящей Аси. Она ступала так, словно бы вновь уносила свою безрадостную судьбу с собой.

За окном уже светало, и предутренний свет струился в комнату, охватывая ее обнаженную фигуру, с торчащими острыми лопатками. Она скрылась за дверным косяком, напоследок сверкнув желтой пяткой, которая раскаленной тамгой до сих пор жжет мое сердце.



ТРИ ДНЯ С РОЛЛАНОМ

Настоящему писателю и прекрасному человеку Роллану Сейсенбаеву.

В овальный шанырак юрты струилось бездонное голубое небо. Я лежал на свальной старой кошме, изумляясь этой невиданной доселе красоте. В знойный полдень в выгоревшей, рыжей, июльской степи не было слышно ни единого звука. Даже вечно грызущиеся собаки хозяина-ширакши мирно подремывали. И только найденный в степи волчонок скалил не отросшие клыки и беззвучно утробно урчал, а беркут с перебитым крылом бросал грозный клекот и гневно поблескивал глазом.

Степь изнемогала под лучами безжалостного светила и тихие, едва слышимые посвисты сурков казались волшебными аккордами невидимого инструмента.

Я размышлял. Теперь уже не вспомнить о чем, но отчетливо помню, что размышлял. Глядя во влекущую, уносящую ввысь воронку голубизны, вряд ли я мог обременять себя мыслями ничтожными, потому как сам взгляд сквозь шанырак возвышает всякого, устремившего в него свой взор. Возможно, я думал о литературе, о казахской литературе. Скорее всего, о ней я и думал, восхищаясь титанами — Абаем, Шакаримом, Жусупбеком Аймаутовым, Магжаном Жумабаевым, Сакеном Сейфуллиным, и любимыми мною современниками — Олжасом, Оралханом Бокеевым и, конечно же, Ролланом Сейсенбаевым.

Я пытался охватить то, что невозможно охватить — их громадность!

К тому времени я издал в Петербурге небольшую повесть и увесистый роман, о художественных достоинствах которых мог только догадываться.

Путь мой в литературу был извилистым, и я казался себе в НЕЙ гостем непрошенным, а потому и неожиданным. И оттого пребывал в растерянности, будто бы влез в чужую квартиру тайком через форточку.

Я мечтал хоть одним глазом увидеть Оралхана, поговорить с ним, почувствовать ток его крови по жилам. Его «Отзовись, мой жеребенок» будоражил мой рассудок настолько, что временами я терял Само Притяжение Земное. На каком-то подсознательном уровне я чувствовал, что сердца наши бьются в унисон и то, что трогает и волнует его, трогает и волнует меня.

И еще я знал, что рано или поздно я увижу Роллана. Герои его романа «Трон Сатаны» Аблай и Гюрза были сродни не только мне, те же ценности двигали Павкой Корчагиным в «Как закалялась сталь». Я верил в нашу встречу, знал, что на земных бесчисленных дорогах, мы обязательно пересечемся.

Хотя жизнь носила меня, точно перекаати-поле швыряя из одного города в другой, из страны в страну, с юга на север и с севера на юг.

Словно сама судьба вела меня к чему-то значимому, испытывая в стылых таежных буреломах, вихряных Майкудукских схватках, гибельных зарешетчатых подвалах.

Где-то очень далеко возник звук, точно в юрту залетел крупный шмель. Я вслушался. Звук увеличивался, набухая, пока не превратился в гул приближающейся машины. Точно стальной ерш пронесся по венам, обдавая жаром, осеняя, что в этой машине едет Роллан.

Возможно ли подобное, спросит кто-то? Оказывается, возможно. Это когда ведет тебя рука Всевышнего к важной встрече как к новой точке отчета, к новой вехе.

Я слышал, как машина, вплотную подъехав к дому ширакши, остановилась и из нее вышли

люди. Послышались слова приветствия, среди которых я различил три голоса, один из которых принадлежал самому ширакши. Второй был моложе, и речь его показалась мне обыденной, но третий голос мгновенно насторожил, он мог принадлежать только Ему, Роллану.

Он был негромким, но волнующим, проникновенным и обаятельным, но более всего емким. Говорил Роллан на особенно чистом казахском, как может говорить только человек, знающий и ценящий высокое значение каждого из произносимых им слов.

Я взволновался и не знал, как мне следует поступить, выйти ли из юрты и дать салем, или же подождать, как дальше станут развиваться события?

— Приехали совершить жертвоприношение нашему Великому Баба, — говорил невидимый мне из юрты Роллан.

— Очень своевременно вы приехали, вовремя! — засуетился добрейший старик-ширакши.

— Ни о чем не беспокойтесь, жертвенного барана мы привезли с собой. А кто поселился в юрте? — спросил Роллан, сетуя, что закончились сигареты.

— Это писатель, книгу здесь пишет, говорит, что у нас хорошая энергетика, — зачастил ширакши.

Я услышал, как шаги Роллана стали приближаться к юрте, и вышел ему навстречу.

— Ассалам алейкум, Роллан-ага, у вас закончились сигареты, возьмите у меня, — произнес я.

Мастер ничуть не удивился тому, что я назвал его по имени, словно ничего и не произошло.

Но мы оба почувствовали, как наши — его и мое биополе — соприкоснулись и заструились рядом, параллельно друг другу, невидимо переплетаясь.

Он оказался среднего роста, подвижный, высокий лоб его глянцево поблескивал на солнце, на светлом лице лучились карие глаза.

Весь его вид говорил о том, что передо мной человек деятельный, энергичный.

Мы двинулись в степь. Я рассказывал о себе, он внимательно слушал, не перебивая. Речь моя напоминала исповедь, оттого что многое тогда корежило, выворачивало сознание, это был период поиска.

Я признался об этом Мастеру. Я доверил ему святая святых, впуская заглянуть в свою настороженную, изболевшуюся душу. Одно только слово, одна невольная улыбка, и она готова была захлопнуться подобно створкам раковины и уже надолго. Я признался Мастеру, что одинок, хотя окружают меня много людей!

Мы шли и слушали степь, каждый думал о своем. Где-то на дальних холмах, подчеркивая горизонт, громоздились бельги-тасы. Солнце понемногу скатывалось из зенита, очертания отрогов Шынгыс-тау казались выкрашенными фиолетовой краской.

— Там, — вымолвил Мастер, словно вытолкнул мешавший его груди воздух, — в глубине этих гор, без суда и следствия был застрелен Великий Шакарим. Последние годы Великий Забытый — Умытылган жил в одиночестве, предаваясь размышлениям, стихам, переводам... Они приехали неожиданно и велели ему ехать с ними в районный центр. Великий Шакарим-ата, несмотря на то, что ему уже минуло за семьдесят, поехал впереди. Они выстрелили в спину, затем забросили тело в сухой колодез. Тридцать лет пролежало оно на дне колодца, пока не вышел из тюрьмы его сын Ахат, и не поднял тело отца. Тридцать лет боялись поднять его тело из колодца казахи. Это что за страх такой? — спросил меня Мастер, — это что за народ?

Я не знал, что ответить. Я молчал, потрясенный услышанной историей.

Мое откровение в один миг вдруг растворилось и стало таким крохотным, что я устыдился за него.

— Даже будучи глубоко одиноким, Великий Забытый-Умытылган Шакарим-ата не был одинок, потому что знал, что творит не ради кучки отщепенцев, готовых затоптать простых, бедных людей, но ради своего народа!

Цари на войско не жалеют трат,
Готовят войны к выгоде своей,
Один другого истребить хотят,
Народ же шлет под пули сыновей.

Слова сильны бессмертием своим,
Они губить не станут никого,
Нет веры наслаждениям земным,
Нет вечного под небом ничего.

Зачем мне царство? Я б его не взял.
Что делать с ним? Ведь смерть все заберет.
Но если бы мой смертный час настал,
Мои войска бумага стережет!

— Что могло бы быть, если бы не убили Шакарима-ата? — спросил я.

— Народ уже в то время стал бы просвещенней, — ответил Мастер.

— Но всегда, во все времена казнили философов, ученых, поэтов и других передовых людей.

— Вероятно, это происходило и происходит, оттого что у них невероятно высокая планка нравственности. Они люди духа, святости, их душа чиста и непоколебима, — у Мастера ярко вспыхнули зрачки.

— Значит, гибель Шакарима-ата, — это результат классовой борьбы? — уточнил я.

— Большевики хотели построить общество, в котором все были бы равны. Без господ и рабов. Шакарим также мечтал об этом. Но он видел, как на местах конкретные люди используют власть для продвижения собственных интересов.

— Значит, он боролся с конкретными людьми?

— Да, он боролся с проявлением их низменных интересов в ущерб народу. В своих стихах Умытылган срывал маски с растлевающих местных партийных деятелей, тупиц, оголтелых рабов системы.

— Но чего он мог бы добиться в этой борьбе? На место обличенных и смещенных неизбежно пришли бы другие. Они оказались бы такими же. Это равносильно гребле против течения, сколько не греби, лодка будет оставаться на месте.

— Но так сотворен человек. Бог создал Добро и Зло. Семена их он посеял в душах людей. Оттого одними из них движут силы Добра, другими Зла. Одни сотворены, чтобы быть разрушителями, другие — созидателями. И так будет всегда.

— Выходит общество непорочных людей невозможно?

— Но ведь ты сам это знаешь.

— Знаю. И оттого мне грустно.

— Не надо быть идеалистом.

— Если не быть идеалистом, существует опасность съехать на рельсы Зла. Кто определил нам, что Добро лучше Зла?

— Каждый человек определяет это для себя сам.

— Человек слаб и может ошибиться.

— Пророк Мухаммед подарил людям священный Коран. Иисус завещал Евангелие.

— Но сколько различных течений в исламе! Всевозможных сект в христианстве! Они не могут

разобраться между собой. Сколько крови пролили крестоносцы? Сколько ее выпустили османы в стремлении обратить в ислам армян? И это лишь частица истории. Что остается человеку?

— Человеку остается искать себя. Находиться в Вечном Поиске, — в уголках губ Мастера от горечи сказанного образовались глубокие складки.

— Ты бередишь мне душу, — промолвил он.

— Но вы писатель, ориентируясь на ваши книги, люди соизмеряют себя.

— Ты тоже писатель. Не надо снимать с себя ответственность.

— Перед нами еда, лучшие куски ее манят к себе. Где найти в себе силы, чтобы отказаться от них?

— В себе. Все силы в тебе. В сердце твоём, брат!

— Но не каждый это может! Бывают просто слабые люди, бывают чревоугодники, они ни за что в жизни не отдадут лучший кусок.

— Когда ты отдаешь его, начинаешь себя уважать, что сумел покорить свое чрево.

— Я думаю, что писатель обязан быть идеалистом, иначе он не имеет права проводить эту грань, между Добром и Злом.

— Вот оттого он и обречен на одиночество, — тяжело вздохнул Мастер.

Мы стояли, подставив себя легкому степному ветерку, и ощущали громадность мира и крохотность самих себя.

Мы познакомились в эпицентре Евразии, у устремившихся к бесконечному синему небу мавзолеев Великого Абая и Шакарима, олицетворявших светочи знаний и мудрости земли казахской. Эта встреча была предписана нам судьбой, чтобы встретились два человека, оба уставшие на извилистых дорогах жизни и, взглянув

друг другу в глаза, пожали руки. Так на бескрайних просторах степи пересекались прежде батыры и поэты и, разглядев в пытливых глазах нечто понятное им одним, поворачивали коней и ехали дальше рядом, держа вровень конские головы.

Это был наш первый разговор об одиночестве.

Мастер справлял тризну по ушедшему в мир иной Папе Иоанну Павлу Второму. Он уже пятый день поминал его. Знал об этом лишь я.

Сутки назад мы сели за стол. Тосты были густые, подобно шубату в чашах. И все пили на равных, говоря о возвышенном. Мастер все больше слушал.

К концу дня кто-то стал половинить. Еще позже только чокались и отстраняли рюмки в сторону. К концу суток, к ночи, у всех уже слипались глаза. Я продолжал держаться, точно в глухой обороне где-нибудь под Курской дугой. Черета выпитых бутылок росла в геометрической прогрессии. Но конца затянувшемуся застолью не предвиделось.

— Выпьем, — предложил Мастер в очередной раз, но поддержать его бодрствующие уже были не в состоянии.

Тогда и он поставил рюмку на стол. Она переливалась недопитым содержимым на мраморной поверхности, словно в ней колыхался божественный напиток. Все молчали, и он молчал.

А мне отчего-то было важно то, что он сейчас произнесет.

Взоры всех были прикованы к недопитой рюмке, точно с ней были связаны предстоящие слова.

Но он молчал!
«Служил я, спать не ложась,
Служил я днем, не садясь,
Проливая красную кровь свою,
Понуждая струиться свой черный пот,
Народу тюрков отдавая силу и труд», —
неожиданно процитировал он, вычеканивая
каждое слово.

И опять все молчали. И я молчал. Но я
размышляла об его интонации. Для меня была
важна интонация, слог!

Все молчали! А я нарушил молчание:

— Чьи это слова, ага? — спросил я за всех.

— Это слова Великого Культегина, — ответил
задумчиво Мастер.

— Есть ли среди вас хоть один, кто так же, как
Великий Культегин, станет проливать свой черный
пот и свою красную кровь ради своего народа?

— Ой, ага, что вы говорите? Мы, все здесь
сидящие, готовы следовать заветам нашего
предка, — горячо заговорили присутствующие.

— Вы говорите правду? — тихо, почти
шепотом спросил Мастер.

— Ага, почему вы говорите так тихо, нас
никто не подслушивает, — спросил красивый
джигит.

Может быть, он хотел отличиться. Или же
действительно понять, с чего вдруг Мастер
заговорил вполголоса. Всякое ведь бывает!

— Жаным! — произнес Мастер, — в Великой
степи всегда говорили негромко, но слова,
сказанные тихо, летели далеко и были отчетливо
слышны, не забывая об этом, если можно —
попросил он мягко, но настойчиво.

В наступившей вновь тишине назойливо
жужжала поздняя зеленая муха, кружа над
переливающейся гранями рюмкой.

— Вы видите, как нас раздражает громкое жужжанье этого Божьего создания? А если бы она летала беззвучно, возможно, мы бы примирились с ней, — в голосе его прорезались новые, доселе незнакомые мне интонации, он неожиданно стал декламировать Махамбета:

— Обманный, обманный, туманный, туманный

Забрезжил над Родиной день окаянный,
С небес пало солнце лепешкою рваной,
И пир оборвался кровавый и бранный.
День рухнул с копыт — большегрузный верблюд,
Когда верблюжонком кровавое солнце
Валялось неузнанное посреди блюд,
Обедков и трупов, и мусора груд.
Невинные девы ударились в бзд,
У всех караванов расселись арканы,
И бросились вьючные звери в туманы,
Обманут был даже обманщик и плут.
Зарезали лучшего! Полный сундук
Нарытого золота выплеснут в море,
Полопались слабые скрепы подпруг —
Не сон, о не сон — разливанное горе.
Туманный, туманный, обманный, обманный,
Клонился к концу смертный день окаянный.
Ты рухнул, наш тополь, корнями наружу,
Ты взрыл нашу почву, ты клятву нарушил,
Ты вышел из боя и горы обрушил.
Не слыхано было далеких убийц,
Теперь ликовали друзья их из местных —
В историю мира не впишут тех лиц —
Их много, их пропасть бесславных, безвестных.

— Мастер точно бил кувадой, высекая искры из стальной наковальни. И опять все молчали. И я молчал.

— Великий Махамбет принял свою смерть в глубоком одиночестве, — произнес он, и я

почувствовал, что не просто Он сетует на злую судьбу, так несправедливо поступившую с бунтарем, а сам он также одинок, как он, как я!

В глубинах моего мозга, набухая, вырисовалась картина: окруженный со всех сторон войсками, предателями, распустивший остатки преданных ему джигитов, выбившийся из сил батыр уснул под одиноким дубом. Он спал, и ему снилось, что его отделенная от тела голова летит над степью. С высоты полета она видит крохотные аульчики — жидкие глиняные мазанки, пастухов в рваных халатах пасущих байские табуны, караваны верблюдов, тянущиеся к святому Туркестану, и понимает, что ничего они с Исатаем не смогли изменить среди сородичей-казахов. И от горькой обиды из глаз его хлынули слезы и прозрачным дождем потекли на землю.

Батыр проснулся в испуге и тут же почувствовал, как что-то омерзительно скользкое ползет по его телу. Он приоткрыл веки и увидел необыкновенно крупную змею с застывшими, немигающими, холодными глазами. Она глядела ему прямо в глаза.

Левой рукой он мгновенно схватил тварь за голову, а правой, выхватив кинжал, одним взмахом отрубил ей отвратительную башку. Он вскочил на ноги. Тело змеи еще продолжало извиваться в рыжей пыли, батыр размахнулся и с отвращением отшвырнул далеко от себя разинутую для укуса пасть.

Верный конь батыра пасся недалеко от дуба. Батыр легонько присвистнул, и конь подбежал к нему. Он тяжело поднялся в седло и только тогда понял, что сон его был вещий и сейчас он поедет на свою погибель.

Все за столом молчали, и я молчал.

Говорить было нечего, я размышлял о печальной судьбе великого Махамбета, бунтаря, акына.

— Сколько же надо этой желтой степи жертвоприношений? — в полной тишине спросил Мастер, — разве ей недостаточно Абая, Шакарима, Биржана, Чокана, Магжана, Сакена, Балуан Шолака, Мади? Эта Великая степь похоронила Великих завоевателей, и она же вскормила Величайших воинов, мыслителей. Что за карма у этой степи? — вновь спросил Мастер и снова не услышал ни слова в ответ.

Сидевшие за столом подремывали, не утруждая себя глубокими мыслями, и внимание их было рассеянным. Они раздумывали над тем, как бы им улизнуть, исчезнуть.

— Среди огромного наследия Великий Абай оставил нам «Книгу слов», я прочту вам одно из них:

— Хотя живу, живым себя не чту
С досады ль на кого, или иной причины.
От посторонних горечь ту
Скрываю под смирения личиной:
Смеюсь, — не радуюсь, сержусь — а гнева нет,
Слова мои мне кажутся чужими,
Тепло не греет, тускл белый свет,
И мысли стали, будто не моими.

В дни молодости я не допускал
Что можно свой народ когда-нибудь оставить,
Любил и верил, высший смысл искал...
Такую старость мог ли я представить?!

Мечтал их образумить, обучить...
Узнал людей, — угасла та надежда.
Все бросить, на чужбине жизнь влечить
Нет сил. Отчизна — не одежда.

Все чуждо. А в груди лишь пустота.
С единственной надеждой умираю:
Что это все был сон, обман и суета,
Лишь затяжной пролог, тоннель от ада к раю...

То, что я понял в ту минуту, поразило меня. Я ясно узрел, как переплетаются состояния Великого Абая, Роллана и мои собственные. Вся боль, все обиды, все, с чем не согласен человек слова, слилось в один звонкий ручей и потекло в надежде на дни лучшие, где бы не стало бедных, больных, убогих!

Не в силах оставаться за столом, от нахлынувших мыслей, я встал и незаметно вышел. Долго я бродил в окрестностях юрточного городка, пока не утомился, а когда вернулся, то заметил, что гостей уже след простыл.

Мастер сидел одинокий. Он был похож на стареющего беркута, сидящего на бельги-тасе и думающего одному ему ведомую думу.

Ни слова не говоря, я прошел и сел неподалеку от него.

— А где ребята? — разорвал я молчание.

Мастер словно очнулся.

— В бою не предают! — промолвил и окинул пустым взглядом юрту, — они уехали, их, вероятно, ждут Великие дела.

— А нас одиночество! — подумал я про себя.

Мастер поднял голову и пристально посмотрел на меня, словно угадывая мои мысли.

— Мы не одиноки, за нами наши читатели.

— Но я все же часто чувствую себя одиноким.

— Я отвечу тебе словами одного из самых Великих сынов казахской земли, — проговорил Мастер, — когда рухнул СССР, я вернулся в Казахстан, долгое время слонялся здесь без дела. Затем пришло озарение. Я понял, что должен направить все силы на то, чтобы представить культуру страны, ее лучших сынов и дочерей за рубежом. Я уехал в Лондон и открыл там Дом Абая. Так вот, на открытие в Лондон, прилетели сановитые чиновники, и среди них

был прославленный таэквондист, один из лучших сынов нашего народа Мустафа Озтюрк. Это был роскошный казах, сильный и удивительно добрый. Случилось так, что Мустафа выпал из моего поля зрения и остался одинок. Он сидел в кресле, не подавая виду, до тех пор, как я заметил его одиночество.

Он не торопился занять место за столом повыше, попочетней, тогда как другие шумно рассаживались за щедрым банкетным столом. Это был поистине поступок, присущий только очень уверенным в себе людям.

Я подошел к нему, принес извинения за то, что не уследил и оставил его одного. И тогда он произнес слова, которые до сих пор жгут мое сердце.

Он сказал: «Ага! Батыра одиночество красит!».

Как это было сказано! С каким достоинством! Ведь человеческое достоинство все равно, что вода в кувшине, его надо нести осторожно, чтобы не расплескать. Так что ты не одинок брат, за тобой твои читатели!

Во второй раз я был поражен поведенной историей, а самое главное — открытостью и искренностью Мастера.

Осень была в самом разгаре. Листва на деревьях, выкрашенная разноцветными красками, казалось, горела, переливаясь в уходящих теплых лучах солнца.

Невидимые глазу паутины витали в плотном воздухе, навевая тихую грусть.

Молодая мама толкала впереди себя коляску, весело щебеча с чадом, предрекая неразумному все

блага земные. Стайки юных студенток, беззаботно смеясь, перебежали дорогу, ослепив белыми сильными бедрами. Я молча им позавидовал, осторожно прислушиваясь к заскрежетавшему и защемившему сердцу. Проклятое сердце все чаще и чаще в самые неурочные часы капризничало и требовало к себе внимания.

Я осторожно перевел взгляд на Мастера. Он тоже глядел вслед веселой стаике. Возможно, вспомнил юношеские годы, стройотряд, где был командиром всегда в гуще народа.

Пронзительно и визгливо рывкнул сигнал автомобиля, вырывая нас из плена коллизий, жестоко возвращая в действительность. На челе Мастера, словно бусинки пота, медленно стала проступать печать одиночества, и я стыдливо, словно меня уличили в подглядывании, потупил взгляд.

И тут я почувствовал, что Мастер прочел мои мысли. Это его качество всякий раз поражало меня и в то же время пробуждало любопытство.

— Ты вновь захандрил, брат? — спросил Мастер.

— Ага! — я кивнул головой. — Ничего не могу с собой поделать. Как нахлынет! Будто волной накрывает. Сразу же хочется чего-нибудь крепкого, очень крепкого. А иногда на глазах выступает горькая влага. Вроде люди кругом! И любимая ждет! И краски природы такие яркие! Но вдруг становится нечем дышать и воздух, кажется, можно резать ножом! Почему так, Мастер, а-а-а?

Он молчал и упрямо шагал вперед. Я видел, как медленно набухает синяя жилка на его высоком лбу. Так скачет отбившийся от табуна одинокий вольный жеребец к самому краю горизонта. Он уже боками проваливает, но не прервет сумасшедшего галопа, потому что задался целью доскакать до манящего полукружья Земли. Там и только там возвышается

Истина, ради которой тысячи ступивших на зыбкую тропу Творчества брели одинокие, выстроившись в бесконечную череду.

— Однажды я приехал на Казанский вокзал в Москве, — заговорил он. — То было время, когда я еще совсем молодым обосновался в Москве и работал секретарем Союза писателей СССР. Так вот, до поезда оставалось еще немного времени, и я попусту бродил по перрону вокзала. Вдруг мое внимание привлек сидящий на лавке человек азиатской национальности. Рядом с ним на асфальте стояла початая бутылка водки. Я подошел к нему и узнал Великого Мукагали-ага! Это был Мукагали Макатаев.

Я поздоровался и назвал Мукагали-ага свое имя. Он безгранично обрадовался и обнял меня.

— А что же вы сидите один? — спросил я его.

— Как хорошо, что ты мне встретился, — произнес в ответ Мукагали-ага.

— Ты знаешь, где находится памятник, Великого Сергея?

— Какого Сергея? — переспросил я в недоумении.

— Э-э-эй! Сергея Есенина, — выпалил он в досаде.

— Конечно, знаю.

— Тогда повези меня к нему. У меня есть, что сказать этому русскому парню, — попросил Мукагали-ага. Я взял такси, и мы поехали.

На площади, у памятника великому русскому поэту, вот как сейчас гуляли молодые мамы с колясками, неподалеку прогуливался парный милицейский патруль.

Мукагали-ага и я вышли из машины и направились к памятнику. Мукагали-ага продолжал держать в руке бутылку с водкой за горлышко. Я не отважился сказать ему, что это опасно, то было время, когда за распитие

спиртного в общественном месте могли привлечь к штрафу или же забрать в отделение.

Мы подошли к постаменту памятника. На голове поэта, воркуя, сидели два голубя. Мукагали-ага подобрался, глаза его сузились и загорелись ярким огнем.

— Кыш! — махнул он рукой, и испуганные голуби взметнулись ввысь, беспорядочно хлопая крыльями.

Боковым зрением я следил за идущим мимо нас милицейским патрулем.

Мукагали-ага обошел вокруг памятника Есенину один круг, второй, пошел на третий, вызывая мое недоумение и привлекая заинтересованные взгляды сидящих на лавочках людей. Наконец, он остановился лицом к лицу с Есениным и громким голосом выпалил в отчаянии:

— Ах, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей!
Түстім-ау сергелдеңге мен де сендей,
Аулаққа, тым аулаққа кеттің білем,
Жаны ашып, ақыл берген елге сенбей.

Шаршағанда шырағым шарап ішіп,
Саған ұксап менің де жанады ішім,
Құлағыма сыбырлап, «Құран» оқып,
Иектейді мені де «Қара кісі»

Мен де сендей, Серега, қунадамын,
Жыр азабын тартамын, тіл азабын.
Туған ауыл, туған жұрт қайда барсам,
Қайда барсам — қасымда Рязаным!

Я на секунду оторопел, а Великий Мукагали-ага, не обращая внимания на спешащий в нашу сторону патруль, опрокинул в рот горлышко бутылки и в один миг вылил в себя содержимое.

— Вот теперь можно ехать, Роллан-жан, — сказал он и вздохнул так облегченно, будто исполнил самое главное в жизни дело.

— От патруля мы сообща отбились, но этот случай оставил мне на сердце глубокий шрам. Вот так встречаются два поэта и неважно, что один из них у пьедестала, а другой стоит на пьедестале. Они равны перед собственной совестью, брат! Потому что знают, что не врут своему народу в творчестве, которое им послал БОГ!

И вновь, уже в третий раз, поразил меня Мастер рассказом об одиночестве. Он, словно величайший художник, наложил всего один точный мазок на полотно моей мятущейся души, и оно тут же преобразилось, стало целостным, законченным. А взбаламученная душа вдруг стала удивительно послушной и устало замерла, постепенно светлея, светлея, светлея. Точно искусный врачеватель, он раз за разом отпаивал меня одному ему известными элексирами, вливая в меня новые силы.

Одиночество перестало быть страшным, но все отчетливей становилось неизбежным.

Я прикрыл глаза и отчетливо увидел бредущую длинную вереницу людей, ступающих босыми ногами по обоюдоострому лезвию. С душ их стекали капельки крови и летели на белый снег. Все они были глубоко одиноки, сутулы, словно несли за спиной неимоверно тяжкий груз, а вокруг них на всем обозримом пространстве шли бесчисленные толпы, и всякий озирался и тыкал в них пальцами, а многие смеялись и швыряли снежками.

Шли Сократ, Платон, Аристотель, сгибаясь под тяжестью «Короля Лира» шел Великий Шекспир, за ним с «Евгением Онегиным» Пушкин, с пулей Мартынова в груди упрямо шагал Лермонтов, за ним Бальзак, Гумилев, Лондон. Мне показалось, что его под руку поддерживал Мартин Иден.

Сжавшись в комочек, шагал Хемингуэй, создавший «Снега Килиманжаро», «Старик и море», и я явственно услышал голос мальчика: «Что у тебя на завтрак, старик?».

— Чашка желтого риса с рыбой.

В крестьянских лаптях, в холщовой рубаше, подпоясанной веревкой, тащился великий Толстой с «Анной Карениной» в руках, за ним Есенин, Маяковский, Тургенев, Достоевский, Набоков, Бунин с «Темными аллеями», Жусупбек Аймаутов, Султанмахмут Торайгыров, Сейфуллин, Магжан, написавший в ночь перед расстрелом:

«Слышишь, судьба,
Не хочу подаяний,
Полною мерой отмерь мне страданий,
В огненном вихре сжигая дотла,
Так, чтоб из глаз моих соль потекла!».

Обняв свою домбру, ковылял полный трагизма Биржан-сал, за ним тянулся Шукшин, сказавший: «Милые, милые люди, как я люблю вас!», опираясь на гриф гитары с порванными струнами, шел Высоцкий, чуть поодаль, отставая, тянулись Леня Филатов, Фонвизин, Тютчев, Шолохов. Их было тысячи! Вслед за Гербертом Уэлсом и Бернардом Шоу, высказавшем в сердцах, что он готов сжечь все свои девяносто книг, потому что на Земле по-прежнему продолжают рваться бомбы, словно сомнамбула, двигался Уильям Сароян со «Случайными встречами». Подняв к небу «Книгу Слов», шел печальный Абай, за ним с развевающейся широкой бородой несгибаемый Шакарим-ата, припадая на одну ногу, шел Мухтар Ауэзов, за ним яростный Мукагали, больной раком Саин Муратбеков.

Все они направлялись к манящему полукружью горизонта и словно выходили из кадра — исчезали, а за ними шли новые и новые, и вереница эта не имела конца!

И вдруг я услышал проникновенный голос, читающий отрывок из жгучей прозы «Честь»:

— А кочевье шло и шло, все дальше удаляясь от родного аула. Плачут старики, ибо нет у них больше надежды быть погребенными в родной земле.

Молодые упрямо сжимают губы, ибо им пока не дано понять, что это означает — потерять Родину! — это был голос Мастера. Моего доброго брата Роллан-ага. Это был голос мужественного казаха, безраздельно любящего свой народ, свою Отчизну, свою степь — истинного гражданина Дешти-Кипчака, настоящего Мастера.

Алматы, сентябрь, 2009 год.



Моей любимой маме Мараи посвящаю

КОГДА СНЕГ НА ЗЕМЛЕ НЕ НУЖЕН

Сумерки выдались темными. Из-за дальних холмов тянул холодный ветер, беспощадно срывая с сырых тополей последние листья. Черные, будто обугленные ветки, стыло телепались, издавая смутные шорохи. Небо, казалось, исчезло, слившись с подступающей ночью, и растворилось в ней. И если бы не редкий свет в окнах, не грустный лай дворняжек, можно было подумать, что все вокруг умерло. Аул судорожно погружался в сон, но в каждом доме кто-то не спал, прислушиваясь к воющему, мечущемуся от дома к дому ветру. День ушедший не дал ответов, но принес кучу новых вопросов, еще более безысходных. Вновь по степи катились тревожные дни.

Старуха Калампыр, как всегда в это время суток, лежала на своей узкой железной кровати и незрячими глазами глядела в потолок. Она давно привыкла к темноте в глазах и поэтому всегда забывала включать в комнате свет. Но зато в свои девяносто лет она сохранила поразительный слух и тонкий рассудок.

«Почему-то не слышно Айбара?» — протаскилась в ее мозгу тянущая мысль, но тут же другая, наплывшая сверху, еще более беспокойная, заслонила первую. С раннего утра, как только, отряхнувшись от сна, ее мозг заработал, она жила в тяжелом предчувствии и, не понимая, откуда ожидать беду, злилась на себя. Несколько раз в течение дня она выходила на улицу и подолгу стояла у калитки, вслушиваясь в слабую толкотню аула. Старый пес Айбар, волоча за собой цепь, подходил к ней и стоял рядом.

В дальнем конце улицы, в доме взбалмошного алкаша Казыбека, взблеяли и тут же смолкли худые овцы. Видимо, он в сердцах запустил в них что-то тяжелое, даже глупые бараны боятся его. Да что бараны, высушенная, словно корень саксаула, жена Батима уехала в райцентр к родичам, чтобы не мозолить ему глаза. Потому что вот уже два месяца, как он пьет, а когда человек пьет, то разве же до овец ему.

Чьи-то легкие шаги на мгновение остановились напротив нее, и усиливающийся, промозглый ветер защелкал платьем женщины. В том, что это была женщина, Калампыр не сомневалась, но она по запаху определила ее молодость. Айбар не взаял, а даже вильнул обрубленным, тугим, точно палка, хвостом, задев голень старухи, чем очень ее рассердил.

— Эй, что с тобой, собачье дитя? Кому это ты виляешь хвостом? Если бы та, кто остановилась, была достойным человеком, она бы в первую очередь поздоровалась со мной!

Калампыр услышала быстрые, уходящие шаги, но не стала кричать вдогонку, ее самолюбие было утешено. Она направилась в дом, перебирая в уме десятки вариантов, размышляя над тем, почему не зарычал чертов пес. Она искала ответа.

Так сложился ее ум, особенно после того, как она ослепла. Старуха знала, что Айбар никогда не ест из чужих рук, он берет пищу у нее или же ее внука. А это значит, что та, на которую он не зарычал, была близка к Ардаку.

— Чья же она дочь? — стала размышлять Калампыр. Внук ничего о девчонке ей не рассказывал, он вообще стал замкнутым в последнее время.

— Видать, достается ему, моему бедному жеребеночку! — прошептала старуха.

В раздумьях она погрузилась в прошлое, в которое, словно в путешествие, отправлялась

ежедневно, и, увлекшись воспоминаниями, оторвалась от действительности.

Калампыр вспомнила свою ненаглядную Ботакоз, единственную дочь, и ее отвратительного мужа Есжана. Сгинула в городе, закатилось ее солнышко, так и не успев понять, что такое материнское счастье.

«А ведь уезжала в город, переполненная надежд и мечтаний! И откуда же на пути ей встретился тот напыщенный барчук? Уж лучше бы она вышла замуж за свою ровню. Все же не зря из глубины веков дошла до них поговорка, что если даже байский сын будет криворотым, то, как ни крути, он все равно будет прав!».

Так и получилось с ее единственной дочерью, с ее кровинушкой, родной Ботакоз.

Вначале шло все честь по чести: приехали сватья, сытые, на собственных машинах. Привезли согласно традициям подарки: ей, близким родственникам, но уже тогда она заметила, как они морщились, словно от зубной боли, при виде ее скудного хозяйства. Хотела шепнуть Калампыр Ботакоз о ее поспешном решении, да давний друг — сверстник Боранбай отговорил ее тогда. Сколько времени прошло с тех пор, а он, бедняга, до сих пор стесняется глаза поднять на нее. А уже и жизнь прошла! Насколько, оказывается, длинна человеческая память!

Как только родила Ботакоз крохотного Ардака, так и пошло в их с Есжаном жизни все наперекосяк. И уже, конечно, виной всему был новоиспеченный зятек. Да и сватям не угодил кровинушка Ботакоз, стали они ее со света сживать и сынку своему лить в уши, мол, не пара она тебе, отпусти ее с миром. А вскоре так и случилось!

Осталась одна ее доченька с ребенком на руках, ютясь в тесных общежитиях, и все скрывала

от нее, от родной матери, правду. Стыдилась бедная!

Говорят, на двух работах работала, едва поспевая за нуждой, как ее, переходящую дорогу, и сбил пьяный водитель.

С тех пор она и воспитывает внука Ардака одна.

Да не пускает его ни в какой город. Провались он пропадом, город! Прожила же она, Калампыр, без города девяносто лет, и ничего, не умерла.

Ойбай! Уже ведь поздно и ужин давно остыл на столе, а ее жеребеночка все нет и нет. Ведь он, даже если и задерживался, то все равно забегал ее попроведывать и успокоить. Где же он?

Откуда ей было знать, что в эту самую минуту ее внук выкопал то, чего ему лучше бы и не надо было находить!

В полутьме, точно в преисподней, при тусклом свете керосиновой лампы, едва освещавшей узкий забой, мелькали человеческие тела. Надсадные выдохи, вылетающие из глоток, сопровождались глухими ударами железа. Слышались звуки обваливаемой руды и крепкие ругательства. Звякнув, прямо в луч света на почву полетела кирка, и кто-то в забое радостно воскликнул:

— Вот это удача!

Тут же, следом за первой, на свет вылетела другая, и на стене, преломляясь, появились две изогнутые тени.

— Что, бычок?

— Ка-жет-ся, д-д-а...

Из черноты показались две пары ног в стоптанных бутсах, а еще через мгновение проступили обнаженные потные торсы.

Перепахканное лицо парня склонилось над черной ладонью, на которой, завораживая, лежал кусок желтого металла. Худое, гибкое, змеиное тело второго парня просунулось над его плечом, и в продолговатых глазах сверкнул лихорадочный алчный блеск.

Еще днем старуха Калампыр в сопровождении Айбара ходила по улице, томясь от дурных предчувствий, в надежде встретить его. Старый пес беззлобно ворчал, когда видел, что старуха сбивается с пути и может наткнуться на острые колья заборов. Как назло, Калампыр не встретила никого из дружков внука, никого.

«То отбою от них нет, а то днем с огнем их не сыщешь».

Она специально никого не спрашивала об Ардаке, чтобы не подумали люди, будто выжившая из ума старуха только тем и занята, что ищет по аулу взрослого джигита, своего внука.

Сколько же раз она говорила ему, чтобы он оставил свое занятие.

Разве доводило кого-нибудь на этой земле золото до добра?

С тех пор, как начался этот проклятый капитализм, так и полезли местные парни в заброшенные шахты за желтым металлом. А что им еще делать? Как выживать?

Еще долго Калампыр прислушивалась к звукам за стенами дома, вновь и вновь забываясь и улетаая в далекие воспоминания. Неожиданно она развернула лежащую на подушке голову к окну и напряглась, вслушиваясь в завывания ветра. Она отчетливо расслышала, как один за другим раздались несколько сухих, словно удары бича о

землю, щелчка. Изборожденное морщинами лицо старухи исказилось и превратилось в гримасу тревоги. Она придала им значение, потому что жила лишь звуками и невольно подумала об их происхождении.

«Откуда бы им взяться, похожим на удары бича пастуха Сакена звукам в нашем дворе?».

Он то уж, наверняка спит, прижавшись к теплому боку своей толстячки Замзагуль.

Сквозь вой ветра раздался летящий из горла, сквозь оскаленные клыки грозный рык, а через секунду послышались звуки борьбы собаки и человека. Только Айбар мог так яростно терзать, не на жизнь, а на смерть. И еще один звук бича вспорхнул приглушенно, будто им не успели как следует размахнуться, а следом послышался не визг, но стон верного пса, короткий, как всхлип.

— Бул не? Что это? А-а-а?

Старуха проворно, точно ей не было девяносто лет, поднялась с постели и вытянула вперед руки. До ее слуха донеслись убегающий топот и звук упавшего на крыльцо тела. Калампыр обеспокоенно повернулась в сторону двери и замерла. Кто-то точно поскребся в нее, и она, звякнув металлическим крючком, с протяжным скрипом распахнулась в комнату.

Калампыр прожгла страшная догадка. Разомкнув слипшиеся от волнения губы, она прошептала:

— Ардак, внучек, ты? Я слышала удары бича во дворе.

В ответ донеслось лишь шарканье тела об пол и сжатый выдох из легких.

— Проклятое золото, — отчетливо произнесла Калампыр, — в тебя стреляли! Куда они в тебя попали, жеребеночек мой? Я иду к тебе, сейчас, сейчас...

Старуха сорвала с постели простыню, только вчера ею постеленную, сделала шаг, другой,

вытянула руки, точно пыталась обнять воздух комнаты и вдруг присела возле тела внука. Она осторожно ощупала его голову, лицо, шею и коснулась груди. Пальцы старой Калампыр наткнулись на горячую липкость.

Губы старухи жутко изогнулись в кривой судороге, веки дернулись в желании пролить горячие слезы, но она взяла себя в руки и прикусила губы зубами.

Подобно опытному хирургу, она продолжила ощупывать и то хмыкала, то затаивала дыхание, а когда перенесла коричневую ладонь на спину, вдруг облегченно вздохнула:

— Навылет. Обе пули навылет, это хорошо, — подумала она и приложила к ране край простыни.

«Вот опять приходится возвращаться к прошлому, — мелькнула в ее голове мысль, — прошлое не отпускает. Сколько их прошло через мои руки в годы войны, когда я была санитаркой, раненных, простреленных! Теперь вот и до моего жеребеночка добрались свинцовые осы!».

Внук Ардак в миг ее кратких раздумий протяжно застонал. Она почувствовала, что он теряет последние силы, но теперь она точно знала, что надо было делать, и больше не отвлекалась.

Калампыр расслышала как прямо под ее пальцами, там, где были входные отверстия ран, булькнула кровь. Вытянув простыню на ширину рук, она стала рвать ее на длинные полосы. Затем потянула неподатливое, тяжелое тело внука на себя и, оперев его спиной об свою острую коленку, начала перевязывать.оборот за оборотом Калампыр пеленала грудь Ардака, облакая ее в тряпочный панцирь. На лбу и верхней губе старухи проступили капельки пота от напряжения.

— Тауба, тауба! Что руки мои еще сохранили силы, иначе как бы я смогла помочь моему жеребеночку?

Она туго затянула конец тряпки на узел и опустила Ардака на спину. Калампыр не прекращала беззвучного бормотания, со стороны могло казаться, будто она что-то напевает. Скользнувшие по бедрам парня кончики пальцев нервно остановились, точно обожглись. Еще одну кровоточащую рану обнаружила старуха. Она не стала подниматься на ноги, а поползла на четвереньках к шкафу и достала из него пахнущую улицей свежевystиранную простыню. Но как она не силилась, ткань не рвалась, и тогда ей пришлось вцепиться в нее стертыми за долгую жизнь, затупившимися зубами. Наконец, Калампыр победила неподатливую материю и вернулась к внуку. Перевязывать ногу оказалось легче. Когда все было закончено, она сидела посреди комнаты, прямая и страшная, с окровавленными руками, с беспорядочно разбросанными седыми волосами. Калампыр напряженно думала. До ее сознания внезапно дошло, что убийца внука может вернуться, и тогда она принялась поднимать свое старое, но вдруг налившееся силой тело. Она быстро выставила вперед ногу, оперлась об нее руками, затем подтянула другую и разогнула заостеневший с годами позвоночник.

Мелкими шажками Калампыр направилась к висящему на стене запыленному ружью. Почти безошибочно старуха нащупала приклад и сняла оружие с гвоздя. Она подержала его в руках, словно бы взвешивая, затем полезла под кровать и выволокла оттуда промасленный деревянный ящичек.

Скрюченные пальцы Калампыр сдвинули крышку и вынули две темных латунных гильзы. Калампыр разломила ружье и принялась вталкивать

в стволы тяжелые цилиндрики. У нее тряслись руки, потому что она расслышала лай соседской собаки и до ее слуха донеслись шаги. Она торопилась, и один из патронов никак не хотел влезать в ствол. Но вот, наконец, когда взведены были курки, она наполнилась решимостью оборонять внука. На лице ее резко обозначились скулы, а вечно прикрытые веки вдруг распахнулись чернотой пустых глазниц, зияющих даже в темноте комнаты. Держа оружие наперевес, Калампыр поспешила к двери и накинула крючок на петлю.

В дверь постучали. Калампыр направила ствол и требовательно спросила:

— Кым бул? (Кто это?)

— Это я, Куралай, дочка Сыздыка.

— Если ты и Куралай, так что же?

— Апа, я услышала, что в вашем дворе были выстрелы. Не случилось ли чего с Ардаком?

— А тебе что за дело до моего внука?

— Апа, — молодой голос за дверью дрогнул и зазвучал надтреснуто.

— Апажан, что с ним?

— Не дождетесь, собачьи дети, его смерти. Вначале убейте меня! — прошептала Калампыр, губы ее вздрогнули от обиды.

— Апажан, вам нужна моя помощь?

— Ардака нет дома, он еще не приехал, — Калампыр машинально стала врать, — а твоя помощь разве может пригодиться такой старухе, как я? Иди домой и не беспокой меня больше. Ночь на дворе.

Калампыр услышала, что ноги девушки нерешительно двинулись в сторону калитки, хрустя мелким щебнем.

Еще долго она стояла, прислушиваясь к обманчивой тишине, как неожиданно заторопилась. Решение в ее мозгу вызрело мгновенно, и она прочувствовала его также, как тусклый свет луны,

затоплявший комнату. Единственным спасением для ее любимого внука могла послужить редкая в этих местах трава — кара щоп!

— Кара щоп, кара щоп! — стала бормотать Калампыр и, не выпуская из рук оружия, поспешила в конюшню. Сонный гнедой, которого Ардак любовно готовил к кокпару, насторожился и тревожно всхрапнул. Но, учуяв запах старухи, успокоился, позволяя ей отвязать себя. С большим трудом она надела на него хомут, затем в поисках упряжи стала ощупывать руками стены конюшни, и вдруг уперлась шеей в леденящее жало.

Калампыр замерла и осторожно оттянула голову назад.

«Литовка», — догадалась она, но не испугалась, а взяла ее и засунула за иссохшийся сундук.

— Апау! Это я, Куралай, — раздался тихий шепот с порога.

— Ойпырмай! Ну, чего тебе настырная девчонка?

— Вы хотите увезти Ардака, но без меня вы не найдете дорогу, апа.

— Э-э-э, молодая, глупая! Ты думаешь, я выжила из ума? Ради спасения внука я разыщу по запаху то, что мне необходимо ...

Куралай приблизилась к старухе и осторожно коснулась ее плеча.

— Апа, я поведу гнедого, — ее голос был тверд.

— Хорошо. Тогда помоги мне запрячь его.

Гнедой заупрямился, не желая становиться под дугу, но легкий шлепок Калампыр по морде заставил его подчиниться.

С низкого неба за действиями юной девочки выпученно наблюдала холодная луна, а усиливающийся ветер терзал ветхое платье вцепившейся в узды Калампыр. Наконец, закончив запрягать,

они, истратив все силы, волоком вытащили тело Ардака и подтянули его к арбе.

— Япырау, какой же он тяжелый, — выдохнула Калампыр, призывая на помощь аруахов.

— Апа, я сильная, я тюки с сеном вилами поднимаю, сейчас, я только хорошенько ухвачусь!

Калампыр слышала рваное дыхание девчонки, тянувшей тело внука вверх, и, как могла, помогала. Откуда в ее немощных руках появилась такая упругость?

Но вот им удалось перекинуть раненого через борт арбы и уложить на дно, застеленное соломой.

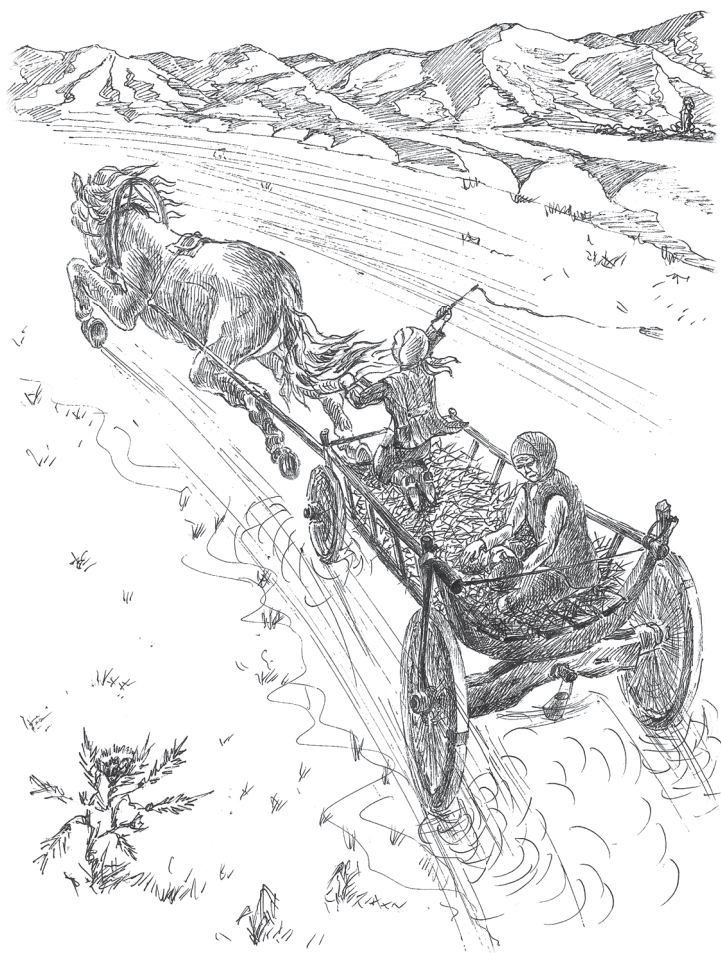
Ардак невнятно простонал. Боль внука резанула по сердцу старухи.

Они еще долго возились со скользкой от крови собакой, а когда уложили и ее, обе облегченно вздохнули.

— Беги в дом и собери теплые вещи, а мне дай в руки мылтык.

— Я мигом, апа! — Куралай метнулась к дому. Калампыр занесла ногу через борт арбы и стала устраиваться на передке. В ее седой голове, нарастая, вызревал план спасения внука. Она увезет его и спрячет на дальнем кыстаке старого чабана Боранбая. Он никогда никому не сболтнет про Ардака. Под его внимательным оком и рос Ардак, помогая ему пасти, и поэтому бездетный Боранбай любит ее внука. Там, в тех краях, растет трава — кара щоп! Если приложить кара щоп к ране, она остановит кровь, обеззаразит ее и постепенно затянет. Только вот, кроме ее самой, эту траву никто не сумеет отыскать, даже старый Боранбай.

«А эта девчонка, похоже, равнодушна к Ардаку. Это она сегодня днем останавливалась напротив нее. Вот почему Айбар вилял хвостом», — догадалась Калампыр.



«Пусть поможет мне, а там видно будет. Проклятая слепота!» — с горечью вздохнула Калампыр и вновь насторожилась.

Хрустнула веточка, раздался легкий шорох.

— Куралай, это ты? — старуха вновь напряглась.

— Я это, апажан, я все взяла, можно ехать.

— Тогда клади собранное в арбу и веди гнедого. Да иди быстро, иначе мы потеряем моего жеребеночка! Аттенай, аттен! Была бы я зрячая, сама бы отомстила за кровь внука, — вырвалось из нее в сердцах.

Куралай потянула за узду, и гнедой подчинился. Он шагнул вперед, натягивая заскрипевшие оглобли, арба тронулась с места, качнув назад сухое, словно у высохшей мумии, тело Калампыр.

— Танир жарылкасын! Пусть благословит нас небо, — прошептала она.

Холодный ветер, метавшийся в аule между редкими домами, в степи вовсе остервенел. Калампыр слышала, как, словно обрывок паруса, щелкает широкое платье идущей впереди девчонки.

«Бедная, зачем она-то вошла в мое горе?» — протаскилась мысль. Калампыр пожалела ее.

— Куралай! — позвала она ее негромко.

— Что, апа?

— Куралай! Между тобой и Ардаком что-то есть?

— Что вы имеете в виду, апа? — голос Куралай осекся, а может, ветер унес окончание фразы, но старуха продолжала допытываться.

— Я спрашиваю, у тебя с Ардакжаном что-то есть?

— Нет, апа, ничего у нас нет. Он даже иногда меня не замечает.

— Тогда почему сегодня, увидев тебя, Айбар завилял хвостом? Это ведь ты останавливалась напротив меня?

— Как вы догадались, апа?

— Я хорошо чувствую запахи. Твой запах ни с чьим другим не спутаешь. Ты пахнешь свежестью. В нашем ауле мало кто так пахнет, — заявила старуха.

Чувствовалось, что Куралай смутилась, она долгое время ничего не отвечала.

Налетевший ветер грозил принести с собой снег, его близкое дыхание уже разлеталось по степи. Калампыр сползла на дно арбы и набросала соломы на тело внука. Ардак невнятно стонал, пес Айбар хрипел, собираясь вот-вот покинуть безжалостный мир, щелкало платье Куралай, а упорная старуха на ходу арбы палила кошму.

Это был старинный тысячеletний способ кочевников обрабатывать раны паленой кошмой. На ветру кошма быстро тлела, пальцам Калампыр становилось горячо. Она притушила ее, сунув под ступню, обутую в резиновую калошу, а затем, оторвав от нее кусок, прижала к груди Айбара. Калампыр осторожно втирала стореvщую шерсть прямо в рану бросившегося на защиту хозяина пса. Он напрягся от боли, тело его стало твердым, будто камень, но через мгновение оно вновь расслабилось, и Айбар стал издавать тонкие звуки. Бедный пес жалился.

А арба тем временем быстро спускалась к реке. Гнедой, почувствовавший холодную воду, заупрямился, не желая входить в нее и, невзирая на окрики Куралай, стал зашагивать вбок, грозя перевернуть арбу.

— Подожди, Куралай! Так он не пойдет! Влезай-ка сюда на передок, я сама...

Калампыр, не выпуская из рук вожжей, спустилась на холодный, влажный песок и стала продвигаться вдоль оглобли к морде гнедого. Она коснулась ладонью его упругой шеи, дотянулась до ушей и, притянув голову к себе, подула в них воздух.

— Муздай су жылы болады, кулыншагымызды апара жатырмыз, — прошептала она в потное, нервно стригущее ухо коня, — холодная вода станет для тебя теплой, ведь мы везем нашего жеребеночка.

Калампыр произнесла так, не отдавая себе отчет, что в эту минуту она не разделяла себя с Куралай и с гнедым. Все было подчинено одной Великой миссии, миссии спасения!

И гнедой, этот вечно упрямый конь, понимающе тряхнул мордой, сверкнув глянцевочерным зрачком и ступил в ледяной, густеющий поток. Калампыр только и успела стать ногой на конец оглобли, где она соединялась с арбой. Река мгновенно взметнулась к самому брюху гнедого, он вздрогнул так, что в его судорогах забились арба и гнедой громко, перекрывая шум реки, тоскливо заржал.

И калоши, и даже длинный подол платья старухи погрузились в воду, и ногам Калампыр стало холодно.

— Апа, сейчас она хлынет под Ардака, — молящим голосом вскричала Куралай в отчаянии, но старуха властно ее одернула.

— Не кричи, не призывай несчастий, мы уже переехали глубокое место.

И действительно, беспроглядная свинцовая река, подступившая к самому дну телеги, резко отступила, гнедой пошел шибче и вскоре вытянул арбу на усыпанный галькой берег.

— Апа, как же вы узнали, что мы переехали глубину? — Куралай была в очередной раз поражена провидением старухи.

И Ардак, и старый пес Айбар, оба лежали в коме, находясь на грани жизни и смерти. Никто из них не издавал ни звука, и старуха Калампыр, точно капитан на мостике, не отрываясь, всматривалась вперед, словно могла там что-нибудь видеть.

Она тянула в себя запахи далекого кыстака и сердилась оттого, что их так долго не было, догадываясь, что проехали всего половину пути.

— Куралай, посмотри, справа от нас должен проступать горбатый холм Ольген-кулан.

— Да, апа, я вижу его.

— Чу! Апырай, можешь ты прибавить ходу? — стала поругивать гнедого Калампыр.

Ночь вдруг стала рассеиваться, разлетаясь клочьями сгоревшей бумаги в разные стороны, и из-за горизонта неожиданно вырвалось воспаленное, блеклое солнце. Калампыр вновь потянула в себя налетающий холодный воздух.

— Куралай, жаным, надо очень торопиться. Совсем скоро выпадет снег, и тогда трава каращоп потеряет свою живительную силу. Бери вожжи и гони эту нерасторопную животину.

Куралай выхватила из рук старухи негнущиеся брезентовые вожжи и, стоя во весь рост, принялась нахлестывать ими коня. Гнедой перешел в галоп, а Калампыр застывшими, фиолетовыми губами, молила Всевышнего, чтобы проклятая арба выдержала, не развалилась.

На фоне вырастающего полукружья светила, от края к другому его краю, летел запряженный в арбу гнедой конь с тонкой фигуркой, размахивавшей руками. Наконец, вдали забелели выкрашенные известью стены кыстака, и чуткое обоняние Калампыр выхватило запах горьковатого дыма.

— Кизяком топят Боранбай, — догадалась она, как будто в этих безлюдных краях было другое топливо.

Старый Боранбай давно уже овдовел, с тех пор, как похоронил свою мирную, как и сам, старушку. Но он упорно не возвращался в аул, проводя лето на джайляу, а зиму в кыстаке. Никогда люди не слышали от него ни единого скверного слова, ни резкого окрика, ни сердитого

высказывания. Даже с бестолковыми овцами он не ссорился, а коней понимал как никто другой. Гнедой сбавил ход и теперь бежал рысью, это чувствовалось, потому что арба дрожала, словно в приступе лихорадки. Залаяли и рванулись навстречу непрошенным гостям собаки Боранбая, как вдруг внезапно стихли. Калампыр поняла, что из дома на улицу вышел сам хозяин. Куралай резко натянула вожжи, гнедой остановился, будто вкопанный, но еще некоторое время переступал копытами, уводя арбу куда-то в сторону.

— Тпру! — воскликнула обессиленная девочка. Калампыр почудилось, что в ее голосе зазвенели льдашки и она от всего сердца пожалела упорную юную спутницу. Про себя она и думать забыла, хотя ее высохшее тело уже утратило чувствительность.

— Бореке, тырымысын? Ты жив еще, мой давний друг? — спросила Калампыр в морозную стылость и тут же услышала в ответ:

— Что случилось, Калеке? — но неожиданно голос хозяина пресекся, видно, он рассмотрел под ворохом соломы безжизненную голову Ардака.

— Поднимайте его и несите в дом. Куралай, не стой, будто твои ноги приросли к земле, — властно вскричала Калампыр.

— Бореке, вам я довезла своего жеребеночка, он всего на один шаг от смерти, если уже не умер.

Она слышала, как двое завозились у арбы, как хрустнула когда-то могучая спина старого Боранбая под тяжестью тела Ардака и, как скрипнув, распахнулась входная дверь в дом.

Калампыр, ни разу не споткнувшись, семенящими шагами проворно прошла к крыльцу и, наткнувшись ладонью на грудь Куралай, пробормотала:

— Быстро вскипяти воду и промой его раны. Бореке, они и Айбара, пса нашего, прострелили, занеси позже и его. Я потороплюсь в степь, чтобы

успеть отыскать кара щоп, тогда и появится надежда на спасение.

— Поторопись, Калеке, твой внук еще дышит, но ангелы смерти уже кружат вокруг него, — проскрипел голос старого чабана.

Калампыр выслушала Боранбая. Она знала, что опытный, перевидавший на своем веку многое, ее давний друг, сделает все, как надо. Она застегнула камзол на все пуговицы и, раскинув руки в стороны, будто бы собиралась взлететь, пошла прямо в степь.

Кара щоп в этих местах могла расти в глубоких трещинах, на склонах сопок, под которыми укрылся от буранов кыстак Боранбая. Но ужас ситуации был в том, что живительная сила травы мгновенно погибает, как только на нее упадут первые хлопья снега.

Так распорядилась природа, и с этим нельзя было ничего поделать!

Хотя именно в предзимье она набирает самую свою могучую целебность, но вот только беда, в эти дни ее тяжело учуять.

А без этого, ей, слепой старухе, ее не найти! Калампыр шла по степи с широко разбросанными руками, временами останавливаясь, жадно втягивая в ноздри воздух.

Она была похожа на бездомную борзую, чувящую близость длинноухого зайца и оттого глубоко тянувшую в себя запахи замеревшей округи.

Но, к ее отчаянию, ни один запах, похожий на запах кара щоп, не достигал ее обоняния.

— Девяносто лет прожившую, почему меня не заберет на небеса Всевышний, вместо моего единственного внука, моего жеребеночка? Где же ты, кара щоп? Где ты?

Отчаянию Калампыр не было предела!

Она бежала по степи, даже не падая в момент, когда спотыкалась о сурчиные норы. Уже пря-

мо в лицо ей дохнул упругий ветер, несущий снег, и из глаз Калампыр рванулись две светлые дорожки.

— Аттенай! Аттен! Аттен! Всю жизнь бродит по степи этот бестолковый зрячий Боранбай и не знает, где растет кара щоп, аттенай, аттен! — взъерилась Калампыр.

Вдруг по ее лицу скользнула шаловливая улыбка, и неисчислимые морщинки на долю секунды распрямились и разгладились от крайнего напряжения. Она втянула в себя целую порцию дурманившего аромата кара щоп и закружилась на месте от счастья.

Такой счастливой она себя еще ни разу не ощущала за свои долгие девяносто лет! Это мечущийся преследуемым вором ветер швырнул в нее нужный запах, да такой насыщенный, но в следующую минуту он изменил направление и унес его вдаль. Калампыр долго стояла на месте, покручивая головой из стороны в сторону, проклиная судьбу, наконец, собралась и споро пошла. Она прошла не больше ста пятидесяти шагов, зигзагами меняя направление, и была похожа на безумную, как вдруг опустилась на землю и поползла на коленях.

Вот и она, трещина с неровными, затвердевшими краями. Калампыр упала на край и стала нервно и быстро тянуть в себя запахи. А они тянулись густо навстречу ей, из самого дна ее, и тогда она стала спешно стаскивать с себя ватный камзол. Старуха сорвала с головы платок и накрыла им редкие, уже клонившиеся к земле драгоценные стебельки. Камзол тоже разлетелся в ее руках и опустился рядом с платком и в этот самый миг, на коричневое лицо Калампыр упала первая снежинка. Словно жирные мухи на падаль, они понеслись по косой, откуда-то из-за сопки, и теперь спешно покрывали седую голову старухи и расстеленные по земле ее тряпки.

— Ха-ха-ха-ха! Ох-ха-ха, ай да молодец Калампырка, ай да молодец! Успела, успела! Кара щоптын жапырагын, жинап апарам кулыншагыма, кайнатып берем ем кушин, кулыншагым турып кетеды, апырау, апырау-у-у! — то ли бормотала, то ли напевала она — листья черной травы собираю и вскипачу, напою ее живительной силой своего жеребеночка, он выздоровеет и поднимется на ноги, апырау, апырау-у-у! — в словах ее литаврами звучала бравурность Величайшей победы жизни над смертью.

Калампыр, стоя на коленках, сунула руки под платок и, нащупав стебли, стала быстро их рвать. Вскоре она сдвинулась к отяжелевшему под влагой камзолу и также тщательно выщипала под ним все до единого стебелька. Ветер внезапно утих, но зато снег повалил с неба крупными, тяжелыми хлопьями, преобразая степь до самого горизонта. Калампыр все еще прилаживала листик к листику и прятала их себе за пазуху. Она знала, что вся округа сейчас покрывается белым саваном и успокаивается, точно понимает, что теперь ей предстоит в нем пребывать до самой ранней весны.

Калампыр напрягла волю и, собрав последние остатки сил, быстро пошла на запах дыма, неся за пазухой Великую траву кара щоп. Трава дремала в тепле ее старого тела, такая нужная для спасения ее единственного внука. Она расслышала топот копыт, храп гнедого и скрип арбы, это за ней торопилась юная девочка Куралай.

— Аллах мне послал эту девчонку, непременно спасем и внука, и пса, — пробормотала Калампыр и впервые за последние несколько лет рассмеялась так беззаботно, словно ей было не девяносто лет, а всего лишь шестнадцать.

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

(рассказ)

Кишкентаем его нарекли родители. Он оказался десятым в семье ребенком. Старший брат по имени Жунус скончался, едва ему исполнилось девятнадцать. Настоящим батыром он был. Рослым, плечистым, смуглолицым, с узким прищуром глаз, напоминающих бойницы. Но Аллах не дал ему долголетия. Застудил в буран легкие и слег. Он растаял, точно снег в яркий весенний день. А вскоре и одна из сестер, Саатанат, ушла из жизни. Но оставшиеся три брата и три сестры, слава Аллаху, были живы и здоровы. Родители, давшие им жизнь, уже ушли в мир иной, оставив аманат поддерживать друг друга.

Думали ли они, какую уготовят ему судьбу, назвав его любовно Кишкентаем. Такое они дали ему имя, как самому последнему, самому маленькому. А он и вправду вырос маленьким. Обделил его Бог ростом. Даже в свои тридцать со спины он казался худеньким мальчиком лет двенадцати. Сколько же пришлось выстрадать из-за этого. В детстве мальчишки обижали, в юношестве ни к одной девчонке не смел приблизиться, в армии всяк пытался накинуть на него узду. Но зато в ауле его любили. В любом дворе ему наливали полное деревянное кесе шипучего кумыса. И всегда приговаривали: пей, авось, вырастешь еще. И он пил, и украдкой, по несколько раз в день висел на любой перекладине, в надежде вытянуть свой куцый позвоночник. А ночами к нему приходил один и тот же причудливый сон: огромное поле забрызгано охапками ярко-красных цветов. Он идет под руку с милой девушкой, у которой на щечках рдеет румянец и при смехе возникают ямочки. В этих снах он вышагивал высоким

и стройным, как Жунус, его ушедший брат. А когда просыпался, то с горечью обнаруживал, что это был всего лишь сон.

Даже в тридцать он никак не мог примириться с несправедливостью природы. Да еще братья, в желании обустроить его судьбу, привезли в город. И в ауле было не сахар, а здесь уж вовсе. Братья сами выживали в городе, как могли. Один из них торговал чужим цементом из контейнера, другой ишачил на стройке, вкалывая до седьмого пота, третий стал перекупщиком скота и считался удачливым. А сам Кишкентай бегал по базару с тачкой в руках и кричал на весь кривой ряд: «До-ро-гу, до-ро-гу, до-ро-гу!».

За эти годы он всем примелькался, и уже никто не обращал на него внимания. Ну, бегаёт среди кривых рядов маленький человечек, смешной и безобидный, угрожающе грохоча своей тачкой. Но зато он всегда под руками, как только возникает нужда перевезти груз. Стоит только крикнуть во все горло: «Кишкентай, Кишкентай!».

А если он не появлялся вовремя, так ругались на чем свет стоит: «Где его носят черти, этого недоноска?».

Люди, работающие на базаре, злые, холодно равнодушные к чужой проблеме, целыми днями переминают в карманах замусоленные пачки денег. От этого они находят удовлетворение. От этого в их рысьих, узких глазах мелькают всполохи оргазма. А зрочки так и бегают в поиске жертвы: кого бы надуть? А покупатели все торопливые, озабоченные: как бы не попасться на удочку базарных мошенников да купить подешевле, чтобы сэкономить и еще приобрести какую-нибудь китайскую тряпку.

Вот только женщины к нему относились ласково, видно, так уж устроено женское сердце, жалеют они маленьких. Завидя его, потного,

в коротких штанишках и выпетшей, бывшей некогда коричневой рубаше, они звали Кишкентай на чай, а то и водки предлагали выпить. А уж самые бойкие шутили с ним зло, отпуская сальные шутки, задавая постыдные вопросы.

— Для нас всех самая большая загадка, что у тебя там в штанах? Неужели он такой же маленький, как и ты?

— Бедненький, если он такой маленький, то его же никак не почувствуешь! Ха-ха-ха-ха! — заливались бесовские бабы, вгоняя его в краску.

— А ты попробуй, если не почувствуешь, значит, и греха не было! Ха-ха-ха-ха! — отзывались другие и нарочито стыдливо прикрывали лица платком.

Кишкентай не злился, он понимал и прощал их и даже искренне жалел.

— Разве легко им таскать из Китая огромные клетчатые сумки, словно выюнные верблюды, пусть же пошутят, уймут боль сердца. Над кем им еще шутить, как не над ним? Дома-то вряд ли им до шуток, ведь и постирать надо, и еду приготовить, и прибраться, и еще ночью мужу угодить. Эх, нелегка эта штука жизнь! Для одних она точно вечное испытание, когда для других вечным праздником проходит.

Кишкентай с некоторых пор изменился, словно постиг тайную мудрость жизни, стал терпеливым, смиренно снося удары судьбы. Если бы не бросающиеся в глаза, торчащие из-под коротких штанов грязные ступни, то можно было заметить, что его большие карие зрачки взирают на мир, излучая добро. Потому что у него появился наследник, великий наследник! И вовсе не обязательно понимать так, что раз наследник, значит, должно быть наследство! Ведь наследством может быть и доброе отношение к людям, и трудолюбие, в конце концов, и забота о ближнем.

Каждое утро он соскальзывал с кровати, боясь потревожить сон любимой крохотной своей Айбикеш, данной ему Богом. Наскоро сполоснув лицо и прихватив корку хлеба, он совал ступни в расхлябанные сандалии и изо всех сил торопился на базар. Там ждала его успевшая отдохнуть за ночь тачка, его кормилица. Он успевал приметить ее, едва выйдя из-за угла. Она лежала на боку, прикованная цепью к столбу, в том самом положении, в каком он оставил ее вчера.

— Бедная моя! Легко ли быть прикованной к столбу всю ночь. Сегодня воскресенье и базар будет напоминать пчелиный улей, вот уж достанется тебе на орехи, — рассуждал он и ловил себя на этой мысли, поражаясь ей, потому что говорил с тачкой, точно с человеком. Кишкентай неторопливо отстегивал цепь и доставал из тайника банку с салидомом.

— Сейчас я смажу ось, в этот раз не пожалею его и тогда колесу твоему станет легко крутиться, — приговаривал он любовно. Он тщательно осматривал ручки и слегка потряхивал ими, проверяя как плотно и удобно они садятся в ладони.

Но сегодня был понедельник и базар не работал. С утра его маленькая, посланная Богом женушка, затеяла мазать времянку, и надо было помочь ей. Он уже накопал и замесил ей глины с соломой, изрезав босые ноги, и теперь щепкой выковыривал ее из-под отросших ногтей. Кишкентай не уставал любоваться своей маленькой шустрой женой. И никогда при этом не забывал о том, как долго ему пришлось обходиться без женщины. Крохотную Айбикеш словно прислало само небо, сжалившись над его одиночеством. Она, невзирая на маленький рост, оказалась бойкой, кипучей женщиной, деятельной, чего ему всегда не хватало. А главное, у нее не было комплексов из-за роста. С тех пор, как она появилась в его судьбе, он и сам точно

вырос в собственных глазах. Айбикеш с первых дней их совместной жизни забрала инициативу в свои руки.

— Сколько же мы еще станем жить на земле твоего брата, пора и совесть поиметь. У них же своя семья, а мы с тобой должны открыть собственный шанырак. Должны детьми обзавестись. Куда ты меня приведешь из роддома? Ступай к акиму и проси, даже если придется тебе стать на колени, участок земли. Будем строиться. Вначале времянку воздвигнем, а после, со временем, глядишь и дом отмахаем.

Но аким его и слушать не стал, отмахнулся точно от назойливой мухи, дескать, не морочь мне голову. Их аким еще тот хмырь, важный, того и гляди, лопнет от спеси. Сел в лупоглазый «Мерседес» и укатил, оставив Кишкентай в клубях пыли с разинутым ртом. Он так и стоял некоторое время, забыв его закрыть, в раздумьях о том, что он скажет своей маленькой Айбикеш. Ведь она велела ему стать на колени, если потребуется.

Кто-то тронул его за плечо.

— Разве так решается вопрос? Если наш уважаемый аким станет с каждым тратить свое драгоценное время, когда же ему заниматься государственными важными делами? Эти вопросы для уважаемого человека я решаю. Тебе земля нужна, как я понял?

— Да, земля! — быстро закивал головой Кишкентай, туго соображая, откуда этому незнакомцу стало известно о его беде.

— Так вот, — незнакомец, ловкий, видно, человек, слегка приобнял Кишкентай, но так доверительно, что у малыша лицо полыхнуло пламенем, — так вот, принеси денег, надо же ублажить гневного басаке и будет тебе земля. Шесть соток я тебе решу, будь спокоен.

Кишкентай в ту минуту глядел на незнакомца глазами человека, которому явилось чудо.

— А сколько надо денег? — спросил он, едва раздвигая пересохшие губы.

— Три тысячи.

— Я прямо сейчас могу отдать их, — произнес Кишкентай и полез в карман за деньгами.

— Э-э-э, да ты впрямь, как кишкентай бала! — расхохотался незнакомец.

— Долларов. Три тысячи долларов надо дать. Убери свои мятые тенге, жене мармелад купишь.

— Но у меня нет трех тысяч долларов. Я на базаре тележку толкаю, перевожу грузы, — взмолился Кишкентай.

— Тогда и земли нет, — возмущенно отрезал незнакомец, — интересные люди, приходят и требуют, словно отец им оставил в наследство землю.

Кишкентай почувствовал, что сейчас незнакомец уйдет и тогда он не сможет показаться своей Айбикеш. Она просто заест его, со света сживет. А ведь было у Кишкентай великое богатство, о котором никто не знал. Было, да сплыло! Ни единому человеку он и рта не открыл о нем, даже крохотной своей Айбикеш. Все-таки есть преимущества и у его работы. Видно, сжалился Всемилостивый над ним и направил его по кривому, самому нелюбимому им базарному ряду. Как всегда он толкал перед собой тележку и кричал незлобно, а по привычке: «До-ро-гу, до-ро-гу, до-ро-гу!».

И вдруг прямо по курсу он заметил лежащий на земле раздутый от денег бумажник. Правое колесо тележки катилось точно на него. Чего только не промелькнуло в его голове за то короткое мгновение? Он украдкой быстро мотнул головой во все стороны и уловил, что в воздухе не пахнет тревогой. Никто из снующих людей не собирался вскричать по поводу пропажи бумажника. Каждый торопился, погруженный в свои заботы. Колесо тележки уже почти наезжало, а Кишкентай еще раз успел оглядеться, точно вор. Оно наехало

на бумажник, и он физически ощутил его раздутость, потому что ручка тележки дрогнула в его руке. За день она десятки тысяч раз колотится в его ладони, наезжая на камешки, пустые пластиковые бутылки, но в этот она дрогнула по-особому. Сердце Кишкентая екнуло и мелко забилося, а на лбу высыпали крупные капли пота. Колесо тачки перевавилось на асфальт, выдав слышный только ему одному стук, показавшийся раскатом грома. Оно перечертило кожу бумажника грязным следом, как бы ставя на нем штамп нового владельца. От этой мысли ему сразу стало легче, и он, толкнув ее еще на полметра вперед, нагнулся за находкой. Он услышал, как хрустнула его натруженная за день спина, и сухо щелкнули колени. Локоть тоже предательски затрещал, точно трещотка, выдавая всему миру его намерения. Кишкентаю показалось, что в миг, когда он разогнется, на него будут глядеть все многочисленные обитатели этого кривого ряда. Он уже предвидел, как искривятся в ненависти их рты и из них станут вылетать истошные крики: «Держи вора!». Но не поднять бумажник он теперь не мог, он был послан именно ему. В недрах его напряженного мозга метеоритом промелькнул вопрос: «Доллары или тенге?». Он еще успел подумать об этом и даже пожалеть о том, если окажутся тенге. Кишкентай расторопно в уме прикинул, сколько бы в нем могло оказаться денег. Кругом все было тихо, хотя никак нельзя было назвать тишиной сутолоку базара. Воздух был наполнен шумом шагов сотен ног, выкриков, вопросов, ответов, хлопаний, бульканий и еще миллионами, ставшими привычными для его уха звуков. Но в момент, когда Кишкентай нагибался, стояла особая, как ему казалось, тишина. Заглубелые пальцы коснулись кожи бумажника и, словно лебедка, потянули его вверх. Краем глаза он успевал разглядывать чьи-то мельтешащие

ступни, одновременно не выпуская из вида свой бумажник. Ноги людей мелькали, не задерживаясь ни на мгновение, и это был хороший признак. Стоило бы каким-нибудь ногам остановиться, будто вкопанным, и сразу же стало бы ему ясно, что кто-то обратил на него внимание, или что вообще теперь для него смертельно, заметил свою пропажу. Но нет, ноги двигались, ступая с пяток на носки, отрывались от асфальта в заданном им ритме. Он кинул бумажник себе за пазуху и тут же взмок, почувствовав еще сохранившееся на коже чье-то чужое тепло. Кишкентай воровато завертел головой по сторонам, и она мотнулась, подобно воздушному шарiku на веревочке, на его тонкой, изрезанной ранними морщинами шее. Ни один человек не обращал на него внимания, и только здоровенный бугай, споткнувшись об его кормилицу-тачку, выругался и мимоходом дал затрещину. Удара Кишкентай не почувствовал, вернее, никакой боли не было, оттого что мозг оказался на тот момент перегруженным. Но это призвало его к действиям, и он бешено заорал тонким голосом на весь кривой ряд:

— До-ро-гу, до-ро-гу, до-ро-гу!

Вынуждая людей сторониться, он толкнул тачку вперед и в тот миг впервые за всю жизнь почувствовал себя победителем. Бумажник выпирал из-под рубахи и Кишкентай втянул в себя слипшийся от голода живот так, что он прилепился к позвоночнику.

— До-ро-гу, до-ро-гу, до-ро-гу! — в голосе Кишкентай звенели литавры, и люди расступались, и он в первый раз за все эти годы, казавшиеся ему унижительными, почувствовал себя хозяином этих крашенных, кривых рядов.

— До-ро-гу, до-ро-гу, до-ро-гу!

Зайдя за угол, Кишкентай посадил тачку на цепь, приковав ее к столбу, и подумал мудро: «Завтра

тоже будет день, и я должен работать на маленького Кишкентай, который уже подает признаки жизни в животе у его крохотной Айбикеш».

Подтянув повыше короткие штанишки, он быстро и беззвучно заскользил мимо рядов на затаенном дыхании, и ему казалось, что он не идет, а струится, подобно воздуху. Путь к дому, к которому он ежедневно едва тащился, еле передвигая усталые за день ноги, пролетел, как одно мгновение. В бумажнике оказалось целых десять тысяч долларов и еще небольшая сумма в тенге. Он снова взмок и метнулся к щели в стене сарая, боясь, что его крохотная, кипучая Айбикеш, посланная ему Богом, кинется искать мужа. Кишкентай, спрятавшись за сеном, долго копал ямку для бумажника, выстилая дно рубероидом. Он любовно обернул бумажник целлофаном, чтобы в него не попала влага, а поверх замотал липкой лентой. Кишкентай уложил его на самое дно и прикрыл кирпичом, а уж потом завалил землей и утрамбовал так, словно и никогда это место не было тронуто. Сюда, в этот клочок земли, он только что закопал свое счастье. Кишкентай чувствовал себя невыносимым богачом и теперь потерял покой от неожиданно свалившегося богатства. Никогда прежде он не держал в руках таких огромных денег, и оттого мозг его завертелся, подобно электрическому счетчику, принося невероятные страдания. Всю ночь он ворочался, точно его досаждали бесчисленные блохи, чесался, пытаясь унять зуд тела, возбуждаемого скрипучими, как колеса его тачки, мыслями. И каких только их ему не приходило, они атаковали его бедный темный мозг, подобно стае летучих липких противных мышей, и никак ему не удавалось отмахнуться от них. Его крохотная жена, данная ему Богом Айбикеш, уж насколько терпеливая, смиренная женщина, и та не вытерпела и под утро надерзила в сердцах:

— Что ты возишься, точно мышшь на сеновале, или тебя одолевают великие мысли об устройстве нашего бестолкового общества? Таким, как мы, на роду написано утешаться тем, что имеем, и только тогда Аллах, сжалившись, может, отпустит и нам кусочек счастья. А может, ты ненароком влюбился в одну из торгашек и места себе не находишь?

Ничего не ответил ей Кишкентай, только замер, уподобившись мумии, и до самого засеревшего рассвета лежал без движения.

Вначале промелькнула мысль поделиться с братьями, ведь им тоже приходится нелегко, но он тут же отбросил эту шальную идею в сторону. Затем он попробовал просчитать предстоящие покупки своей крохотной, данной ему Богом Айбикеш, и эти подсчеты чуть было не свели его с ума, потому что сумма денег стала стремительно уменьшаться. Себя он в расчет вовсе не брал, потому что привык довольствоваться малым. Он стал размышлять о том, что бумажник мог потерять такой же, как и сам он, несчастный человек, копивший их неизвестно сколько лет, и теперь он бьется, словно рыба в кручине, от постигшего его несчастья. В недрах усталого, изможденного с момента находки мозга протащи́лась тупая мысль: отнести его обратно на базар и сдать в стол находок. Но неожиданно она улетучилась в сторону, а на ее место заступила злая, злорадная, и тогда он принялся беззвучно хихикать. Он представил себе жирного типа с раздутыми от чрезмерного поглощения бешбармака щеками, облившегося липким потом, обнаружив пропажу. Верно, он посетил базар, чтобы купить своей тощей любовнице с цепкими круглыми глазами норковую шубку, иначе, зачем было ему тащить сюда такую уйму денег.

— Гад такой! Жены ему не хватает, Богом данной, — зазверел Кишкентай.

Но и эти мысли рассеялись так же быстро, как и навалились.

— Нет, видимо, их потерял человек трудолюбивый, потому что доллары пахли потом, или это ему показалось? — но, явившись, эта мысль-блоха, теперь не покидала его.

— Не будет мне удачи, на чужом несчастье своего не построишь! Еще отразится проклятье этого человека на маленьком Кишкентае, который уже скоро должен явиться миру.

Кишкентай засопел и захлопал глазами, на которых выступили слезы бессилия. Он осторожно повернул голову и скосил взгляд на мирно спящую Айбикеш, по лицу которой скользнул первый луч солнца, забравшийся в их шаткую временку. Кишкентай поднялся с постели столь бесшумно, точно он состоял не из плоти, а только из духа и также беззвучно выбрался на улицу. В сарае было еще темно, сюда мало просачивалось света, но он и без него знал все тут на ощупь.

Он копнул раз, другой, еще терзаемый раздумьями, затем принялся копать решительно, и вскоре утрамбованная им на совесть земля открылась, обнажая его тайное захоронение. Из глаз потоком хлынули сдерживаемые им горькие слезы и потекли прямо в рот, и Кишкентай, не стесняясь самого себя, пил их, точно воду, смачивая ими пересохшее от волнения горло. Не утирая влажных век, он вынул бумажник и трясущимися натруженными руками сунул его за пазуху. Кишкентай вышел со двора и заскользил вдоль стены. На вопрос вышедшей из сеней, крохотной, посланной ему Богом Айбикеш:

— Ты куда так рано? — он ответил коротко, рублено: «На базар!».

В это утро дорога тянулась как никогда долго, и в глаза ему бросалась невидимая прежде грязь

округи: скошенные заборы, банки из-под пива, пакеты, некогда содержавшие сок и всякое другое, как нарочно подчеркивающие беспросветность его жизни. Он тянул свое тело, шаг за шагом заставляя его следовать за ногами, и мозг, его бесхитростный мозг, дико возмущался принятому решению. Он готов был взорваться в черепной коробке и единственный раз, единственный раз не подчиниться ему. Он шел и ругался сам с собой и был похож на умалишенного:

— В Коране написано: что один человек мучался в могиле из-за того, что при жизни, будучи арбакешем, вез чье-то сено и без спроса у хозяина взял соломинку, чтобы поковыряться в зубах. И по этой причине он не мог найти покой на том свете, а я бессовестным образом присвоил себе бумажник с огромными деньгами и всю ночь строю планы, как и на что я их потрачу. Разве не собака я паршивая после этого и могу ли я уважать себя, и могу ли я смотреть в глаза своему сыну, который вот-вот родится, и когда он достигнет совершеннолетия, сказать ему, что я, его отец — честный человек?

Так он бормотал до самого базара и только у серого бетонного забора неожиданно остановился, застыв, точно статуя, от простой мысли, не приходившей ему до этого в голову.

«Что же я стану делать с этим чертовым бумажником? Если положу на то место, где нашел, то его может поднять первый, кто увидит. А если отнесу в стол находок, то разве не может такого произойти, что меня же и обвинят в краже?».

От этих мыслей голова у Кишкентая распухла, и он принялся стелать, обхватив ее двумя руками.

— Что с тобой, малыш? Что ты стонешь, точно потерял свое счастье? — чей-то басистый мужской голос мгновенно отрезвил его. Кишкентай

осторожно оторвал ладони от головы и взглянул на человека, потревожившего его. Перед ним стоял пожилой казах с загорелым коричневым лицом и широченными развернутыми плечами, на каждое из которых можно было усадить по Кишкентаю.

— Видно, совсем тебя жизнь довела, раз ты в такое раннее утро изводишься! Да! Нелегко жить на земле маленьким людям, таким, как ты и я, — произнес незнакомец и удивил Кишкентая.

— Вы-то не маленький человек, с вашей силой на тигра можно выходить, одолеете, это я не угадал ростом....

— Э-э-э! Разве дело в росте, дорогой ты мой! Дело-то вовсе в другом... Может, я и неправильно выразился, ты уж не сердчай на меня, я хотел сказать, что трудно жить на земле человеку честному... И опять я что-то не то несу... Со вчерашнего дня, как потерял проклятый бумажник, я совсем стал заговариваться...

Кишкентай встрепенулся, услышав про бумажник, и взгляд его стал буравить незнакомца, будто шило.

— Вы потеряли бумажник?

— Да. Будь он неладен. Жене ничего не сказал, чтобы не расстраивать ее, а сам спозоранку приехал сюда, а для чего и сам не ведаю... Эх! — вздохнул незнакомец, — собирал, копил эти деньги, скот зарезал и сдал, чтобы покупки сделать детям. У меня ведь четыре сына и дочь-красавица...

— Какого цвета ваш бумажник?

— Да черный он... был...

— А где вы его потеряли?

— Ну, пойдем покажу, хоть этим утешусь...

Незнакомец повел за собой Кишкентая между кривых рядов. Они прошли мимо прикованной тачки, завернули за угол и вышли к месту, где вчера Кишкентай обнаружил находку.

— Где-то в этом месте, потому что, когда я шел вон там, он еще был при мне...

Кишкентай без всяких раздумий сунул руку за пазуху и вынул оттуда черный бумажник.

— Вот он, я его вчера здесь нашел. Он вот тут лежал. Я в этих рядах толкаю тачку, перевозжу грузы и вдруг вижу, он лежит...

Незнакомец взял из рук Кишкентай бумажник и открыл его, все деньги были на месте.

— Так чего же ты стонал, малыш? — спросил он.

— Я мучался от того, что решил вернуть его хозяину...

Немало повидавший на своем веку незнакомец раскрыл рот от удивления, да так и опустился на корточки. Кишкентай сел рядом. Незнакомец обнял его за плечи, и неожиданно его мощное тело затряслось, содрогаясь от немого плача.

Так и не отомкнул в тот день свою тачку Кишкентай от столба, а ушел домой, утешив незнакомца. Не взял он и денег у него, как только тот не пытался сунуть ему часть их в карман. Зато возвращался с гордо поднятой головой и не замечал текущих мимо дорогих джипов, «Мерседесов», а раздумывал о сыне. Еще издали он увидел свою крохотную, данную ему Богом Айбикеш, вздумавшую с утра залезть на козлы, чтобы подмазать отвалившийся угол. Она интуитивно почувствовала его приближение и обернулась, а, увидев мужа, расцвела вся и ступила мимо доски. Не успел и охнуть Кишкентай, как Айбикеш полетела на землю, да прямо на острые вилы, валявшиеся там со вчерашнего дня.

— Мой сын! — что было силы вскричал Кишкентай и рванулся к жене.

— Ничего, ничего, все хорошо, я успела вернуться... — в волнение, обхватив руками живот, шептала Айбикеш.

— Ты побег и вызови скорую помощь, пусть они отвезут меня в больницу...

Кишкентай бежал, размазывая льющиеся слезы по щекам. Он решил, что не станет жить, если с крохотной, данной ему Богом Айбикеш что-нибудь случится.

Когда он вернулся домой вместе со скорой помощью, то еще во дворе его встретил тонкий, пронзительный крик новорожденного. Он ворвался в их с Айбикеш хижину, точно чумной, и после никак не мог вспомнить, как держал на руках крохотное существо со сморщенной пипулькой между ног и кричал во весь голос: «СЫН! СЫН! СЫН!».

Да! Он этого не помнил, помнил только счастливые и смущенные глаза Айбикеш и ее перепачканные в крови ноги. Кишкентай кружил вокруг своей временки и смеялся, забыв обо всем на свете, без конца повторяя слова: ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ! ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ! ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!

На той собрались все его братья, их жены, торгашки с базара. Во дворе накрыли длинный стол. И чего только не было на дастархане! Он был буквально завален всякими вкусностями. Чуть поодаль, в казане, булькала и пенилась шурпа, и по всему двору разносился запах свежей баранины. А в самый разгар тоя вдруг, откуда ни возьмись, появился тот самый незнакомец, ведя в поводу красивого, нежного белого жеребенка.

— Этого жеребенка я дарю твоему сыну в честь его рождения, и пусть он вырастет таким же честным человеком, как его отец.

Он подошел к Кишкентаю, по-братски поцеловал его и передал ему в руки кожаный повод.

ПЕЧАЛЬ О ШИРОКОГРУДОМ

(рассказ)

— Раз в сто лет происходит такое чудо — словно бросая слова в пустоту, произнес старый табунщик Манай, неотрывно вглядываясь подслеповатыми глазами в сторону далекого горизонта.

Что он там высматривал, на краю плоской, желтой степи, оставалось загадкой. Возможно, пытался определить по плывущему к закату светилу погоду назавтра, но может быть что-то иное.

Низкорослый, гривастый иноходец под ним, застоявшись, то и дело переставлял ноги, вызывая недовольство седока.

— Уй-й!

И я тоже, как и старый Манай, вцепился взором вдаль, позабыв обо всем: о городе, где меня ждали нескончаемые дела, вечных долгах, о сценарии, которому в последние дни отдал столько сил.

А из-за наших спин, оттуда, где пасся полудикий табун, раздались вырывающиеся из десятков лошадиных легких тревожные всхрапы, и донесся шум разрастающейся битвы.

Я развернулся в скрипучем седле и увидел яростный бой двух могучих жеребцов. Старый, в шрамах гнедой пытался укунить за шею широкогрудого, с белыми чулками, вороного соперника, поднявшегося на задние ноги. Широкогрудый был моложе и злей, каждый удар его острых копыт с высоты обрушивался точно на голову гнедого.

В стороне от дерущихся металась молодая пенногривая кобылица, нервно кося глазом в сторону старого Маная, точно взывала его рассудить спор разгневанных самцов.

— Они забьют друг друга насмерть! — воскликнул я, обращаясь к старику, но табунщик не шелохнулся, продолжая глядеть вдаль.

Я вновь крутнулся в седле и то, что мне довелось увидеть, навсегда поразило мое сознание.

Еще долгие годы потом я буду продолжать видеть эту картину: Широкогрудый опустил на землю передние ноги и долгим, укоризненным взглядом пронзил замеревшего Гнедого. Его крупные черные глаза глядели на соперника, не мигая и не отрываясь.

Весь табун, замерев от страха, наблюдал за молчаливым противостоянием двух жеребцов.

Наконец, не выдержав взгляда Широкогрудого, Гнедой украдкой покосился на облюбованную им кобылицу, затем в сторону притихшего табуна и стыдливо отступил.

Не желая подставлять бок сопернику, пригибая по-волчьи к земле шею, он отступил несколько шагов назад, затем резко прыгнул вбок и помчался к табуну.

Гнедой с разбега лягнул двух, еще не набравших в полной мере сил жеребцов, кунул парочку зазевавшихся кобылиц и погнал многочисленный гарем к зарослям густого тальника.

Солнце уже наполовину утонуло за линией горизонта, Манай шевельнул поводьями, и гривастый жорга ретиво побежал вслед за убегающим табуном.

Я потрусил вслед, удивляясь тому, что грузная спина старого Маная почти не колышется на ходу низкорослой лошадки, он точно бы сросся с ней. Широкогрудый с подругой остались на поляне, и хотя Пенногровая заметно обеспокоилась, Широкогрудый не повел и ухом.

На следующий день я уехал в Семей, а затем в Алматы, и в потоке стремительных дней в памяти все поистерлось.

Но слова старого Маная порой вновь и вновь всплывали в глубинных недрах мозга и становились навязчиво выпуклыми.

— Из тысяч лошадей рождается одна такая, как Пенногвивая, которая, подобно женщине, влюбляется в единственного избранника и следует только за ним. Ни одного жеребца она к себе не подпустит, уж лучше умрет.

— А Широкогрудый? Он отвечает ей верностью?

— Хе-хе-хе, в том-то и дело! Только вдвоем и дни вместе резвятся, и ночи коротают, а как милуются, смотреть страшно, потому что совсем как люди! А видел бы ты, как она подолгу смотрит в небо, так и кажется, что сейчас у нее вырастут крылья и она взлетит!

В ту звездную ночь в предгорьях Шынгыс-тау, недалеко от колодца, со дна которого тридцать лет зывали к людям бранные останки Шакарима-кажи, я услышал полную грустной философии историю Широкогрудого.

Хмурый, неразговорчивый Манай долго раздумывал, точно взвешивал, стоит ли пришлому незнакомцу поведывать рассказ.

Но когда я поправил огонь костерка и, оказывая ему внимание, налил из торсыка в выщербленную кесе кумыса, старик заговорил.

Он начал так, словно бы услышал мой вопрос, хотя я не произнес ни слова, держа их за зубами, несмотря на то, что мне не терпелось расспросить о красавце Широкогрудом.

«Говорят, что он родился от какой-то чемпионки, а отцом его был привезенный из государства Агылшын великолепный производитель. Он рос в неге, в частной конюшне одного бизнесмена в окрестностях Алматы. Широкогрудый вырос и стал побеждать на всех праздничных байгах, принося славу хозяину.

Потом на него положил глаз один важный чиновник, а как раз в то время бизнесмен что-то выпрашивал у вельможи. Тот намекнул, что не прочь

заполучить себе чемпиона и последний, недолго раздумывая, преподнес Широкогрудого в подарок.

Вот так он стал кочевать из одних рук в другие. У того чиновника его забрал другой, выше рангом, затем он попал к какому-то министру, и все было бы хорошо, не порви он сухожилие на ноге и не надорвись здоровьем. Кривая его судьбы покатилась вниз, и он стал собственностью нашего акима. Аким привез его в табун, который я пасу для него, но эти звери не приняли Широкогрудого, он для них оказался чужаком. Ведь эти кони полудикие, и хотя они не были чемпионами, но от волков отбиваются со всей дерзостью.

Несколько молодых жеребцов напали на Широкогрудого и сильно его побили, но чемпион есть чемпион, не уступил и дал сдачи. С тех пор так и сосуществуют: Широкогрудый пасется отдельно. Но вот уже с год, как в него влюбилась Пенногривая, и теперь они не расстаются ни на минуту. Дважды забирал ее хозяин и увозил в аул, но она рвала недоуздок и наутро вновь объявлялась рядом с Широкогрудым.

Уже вся округа судачит об этом, да и я, наблюдая за ними, поражаюсь, ну все прямо как у нас! Порой так милуются, что грех признаться, я сам так в молодости приударивал за своей старухой. Никогда Широкогрудый не ступит в воду первым, до тех пор, пока не утолит жажду Пенногривая, а уж как он выщипывает ей чертополох из гривы, так этому вообще только можно дивиться.

Но с некоторых пор Гнедой обратил внимание на Пенногривую, точно ему в табуне кобылиц мало, он хищный, даже если всех перепробует, все равно норовит свое сделать, лишь бы растоптать честь Широкогрудого».

Старый Манай продолжал говорить о конях так, словно бы они были люди, и мне оставалось только изумляться.

— Ты не увидел начало сегодняшней драки. Обычно Гнедой начинает приставать к Пенногривой ближе к закату, когда наестся досыта и наберет избыток сил. И чем же закончился бой?

— Я впервые такое увидел, аксакал, — начал я, — Широкогрудый так посмотрел на Гнедого, что тот попятился от него!

— А-а-а, значит, до самой печенки пронял он чемпиона, — улыбнулся Манай, — ну что ж, будет знать, как отнимать последнее.

— Да, все живые существа в природе живут по инстинкту хищников, — обронил я на свою голову.

— Настоящие хищники — люди! Знаешь ли ты, как убили Шакарима-кажи? Его выследили вот в этих горах и застрелили в спину, а потом бросили тело в засохший колодезь. Сгубили всех его детей, а тело старца запретили хоронить, вот где хищники!

И разве теперь не то же самое происходит? Ради власти и денег поедают друг друга, а, добравшись до жирного куска, так разьедаются, что скоро полопаются от чревоугодия.

— А как же произошло, что никто из людей не отважился похоронить кажи?

— Страх, сынок, страх. Два чекиста-казаха разыскали его и повезли в город. По пути они выстрелом в спину убили девяностолетнего Шакарима, и это случайно увидел мальчик, сын чабана. Он привел своего отца к этому колодезю и показал, куда бросили тело кажи. Но отец запретил сыну кому бы то ни было рассказывать об этом.

Но со всякой тайны с годами спадает завеса. Ставший взрослым тот мальчик все же рассказал о колодезе, но еще многие годы суждено было лежать останкам кажи на дне...

— Одного я не могу понять, просто никак не укладывается в голове, как казахи могли

поднять руку на такого великого человека, своего соплеменника. Неужели же они не предполагали, что их род будет проклят, и на потомках будет лежать печать проклятия?

Табунщик лежал на войлочной конской попоне и так же как перед закатом неотрывно глядел в продырявленное крупными звездами небо. Блики огня плясали на его выдубленном лице, изламываясь в глубоких морщинах, и он казался мне частью ночной степи.

— В христианской книге проклятье лежит на предателе Иуде и все там написано для предостережения людей, так ведь? Но все равно продают люди друг друга, — вымолвил Манай задумчиво, — Вот ты писатель, почему же ты не пишешь об этом?

— Я пишу, пишу, только не всегда удачно, возможно, не нахожу нужных слов, — было стыдно слышать этот укор из уст простого табунщика.

— А что теперь будет с Широкогрудым? — спросил я.

— Аким держит его как производителя.

— Но разве он не знает, что табун его не принимает?

— Нет, он об этом не знает, я ему не говорю об этом, — ответил Манай.

— Почему же?

— Я не хочу. Мало ли что взбредет ему в голову. Я столько коней перевидал за свою жизнь, но вот как-то незаметно привязался к Широкогрудому, сумел он мне внушить уважение к себе, — табунщик помолчал, затем как-то грустно выдохнул, и столько было отчаяния в этом выдохе!

— Вы о чем-то вздыхаете, что вас мучает?

Старик не ответил, налетающие порывы ветерка взвихрили снопы искр и подняли пламя кверху, делая его синим, и тогда темнота на мгновение отбросилась назад, выхватив из ночи,

прислонившиеся друг к другу головы Широкогрудого и Пенногривой. Голова Пенногривой была картинно задрана кверху, а взгляд устремлен на мерцающие светила, и что она могла там видеть, осталось для меня вечной загадкой.

Старик молчал, а я продолжал глядеть в темноту, в сторону влюбленных, в ожидании нового порыва. Сквозь треск пожираемого огнем валежника слышно было, как влюбленные обмахивают друг друга хвостами, трутся шеями и переступают с ноги на ногу.

Где-то вдалеке ухнула сова, и тут же притихшая степь наполнилась стрекотаньем и обеспокоенным шелканьем невидимых птиц. Высокие травы покорно стелились под дуновением ветра, издавая причудливый шелест, и казалось, что это шуршит нежный пух перины под тяжестью навалившихся на нее тел.

Эта ночь мне казалась магической, и отчего-то чудилось, что она уже была в моей жизни, что уже такая же тонкая, тихая грусть переполняла когда-то грудь целиком без остатка, но мысли мои прервал клекочущий, словно клекот орла, голос Маная.

— Меня печалит Пенногривая, — вымолвил Манай, — вот уже больше года она с ним, но не может понести от Широкогрудого, видно, подпортили в скачках молодца, что стал он не способным быть отцом. Аким уже несколько раз спрашивал, не жеребая ли Пенногривая?

— А вы? Что вы ему говорите?

— Я? Я вру! Несу всякую чушь. Одного ему не говорю, что у нее любовь с Широкогрудым, да все же слухи об этом просачиваются.

— Вы чего-то опасаетесь?

— Какой же ты глупый, писатель, ты ничего не понял из всего, что я тебе рассказал о его судьбе.

— Манай-ага, не сердитесь на меня, я ведь человек городской, откройтесь до конца, — призвал, почти взмолился я.

— Э-э-э, — опять было завелся старик, но передумал и стал говорить тихо, чуть не шепотом. И только тут до меня дошло, что он всерьез опасается, чтобы его не услышали влюбленные кони.

— Я думаю, это жук-министр его надорвал. А когда ему об этом доложили, он его и подарил кому-то ниже себя рангом за какую-то услугу. А тот, кому он его подарил, разнюхав суть дела, сделал то же самое, и так Широкогрудый подарком скатился к нашему акиму.

— А что же ваш аким?

— Ты видел его? Нет. Никогда не встречался? У нашего акима от бешбармака глаза в щели превратились. Он даже на деньгах цифр не различает.

— А как же он знает их количество?

— По запаху, — Манай раздражительно сплюнул в темень, и я побоялся более пытаться его.

Но старик уже не мог остановить поток гнева и продолжил сам:

— Как только до него дойдет, что Широкогрудый не способен быть производителем, он его пустит на мясо. Вот какая беда!

Не могу же я рассказывать этому обжоре, что он любит Пенногривую и никого к ней не подпускает. А так бы вон Гнедой ее обрюхатил бы, да и молодые жеребцы не упустили бы шанс.

Я сидел, точно пораженный током, меня трясло, несмотря на близость огня. Я подумал об этой ситуации, о жестокости мира, о безвыходности Маная и обреченности Широкогрудого и Пенногривой.

Сидя под огромным, окутавшим степь, точно бескрайнее одеяло, небом, я почувствовал, как от обиды за свои ошибки вдруг защипало в носу.

Я вспомнил свою Пенногривую, далекую, исчезнувшую в закромах памяти, невыразимо красивую девушку из Баку.

Вся моя жизнь, заставившая нахлебаться горького, могла бы сложиться иначе, если бы я, подобно Широкогрудому, не оказался выхолощенным. Выхолощенным отсутствием советских дензнаков, называемых рублями.

Я тогда в третий раз полюбил. Первые две любви заставили меня страдать, потому что оказались безответными. Но третья, третья моя звездочка по имени Светлана была словно создана для любви, для меня, для нашего счастья!

У нее были длинные белые пальцы и огромные черные глаза, в которых я тонул. Она была чудным неземным созданием и оттого, не задумываясь над своими желаниями, увлекала меня, солдата, за собой в дорогие рестораны.

Она водила пальчиком по страницам меню, а я незаметно для нее совал руку в карман и на ощупь перебирал немногочисленные купюры. Я знал достоинство каждой из них и мгновенно, со скоростью отличника по математике складывал цены вслед за ее заказами. Я любил ее, а себя презирал за бедность, но стоило ей произнести слово ВСЕ, а мне сложить ИТОГО и убедиться, что денег хватает, как я тут же становился счастливейшим из всех живущих.

А потом, напившись ее сладких поцелуев, я бежал пустынными, темными улочками старого города, прячась в тени пирамидальных тополей, и молил Всевышнего, чтобы он уберег меня от встречи с военным патрулем. И когда одна часть мозга думала о патруле, то другая усиленно работала над тем, что бы умыкнуть назавтра в каптерке, чтобы продать и выручить деньги.

Я боялся, что она в какой-то миг прозреет и поймет, что я безденежный простяга, будущее

которого окутано туманом безнадежности, в то время как она была перспективной дочерью ректора института. Я боялся этого, липкий пот струился по моей спине, по желобку между лопаток, но я всегда помнил великую заповедь Чингисхана: никогда не показывать, что у тебя нет денег.

Многое, многое забылось из того прошлого, помнятся только отдельные слова, вылетавшие из прекрасных уст, до сих пор жжет кожу, словно только что ее коснулись пальцы любимой, и рассыпавшиеся на белоснежной подушке густые, иссиня-черные волосы до сих пор воспроизводятся памятью.

А в эту ночь я вспомнил, как ее огромные глаза доверчиво взирали на меня снизу, и острая боль, точно ножом, рассекла мое давно обесчувствовавшее сердце.

Как же я ее потерял?

Потерял, потерял! — ухнула ночная сова.

Да! Потерял, как и многое другое, невосполнимое. Но я помнил, как готов был отдать ей свое дыхание, нести на руках, плыть за ней по морю до самого края, туда, где оно касается солнца, наполнить собой каждую ее клеточку, но я уехал, получив штемпель дембеля в военном билете, а ее предал, оставив.

Разве теперь имело смысл будоражить память, вспоминая, как она трогала руками ночные, дремотные кусты, как шуршала под босыми ногами округлая галька, как теплая пена волн омывала наши ступни, как в свете лунной дорожки на темной воде, словно маленькие лодочки, показывались две белые чайки.

Но никогда мне не забыть кишащий, точно муравейник, Бакинский вокзал, запах жарящихся шапшлыков, огромные фуражки-аэродромы на головах усатых азербайджанцев, скрип тачек носильщиков и ее причудливо выкрашенный

ноготь мизинца, которым она нервно корябала мою татуированную кисть.

Она тогда спросила меня, когда я вернусь, хотя точно знала количество дней, которые мне оставалось дослужить, но так созданы женщины, им необходимо услышать.

Я ответил ей, что никогда и никому ее не отдам, и что в целом мире не будет счастливее нас, что брошу к ее ногам все богатства и красоты земли, что мы объедем ее по всем меридианам и на каждой долготе и широте будем вместе, держась накрепко за руки.

Когда зеленый состав тронулся, я с качнувшейся подножки увидел, как из уголка ее губ потекла тонкая красная струйка, и отчего-то подумал, что это от жары потекла помада. Я тогда не знал, что помада не тает, а это она прокусила губу от сжавшего ее сердце недоброго предчувствия. Я тогда не догадывался о том, что женщины тоже умеют любить, потому что слушал только собственное чувство.

А главное, из-за чего и по прошествии времени мне хочется быть, словно одинокому волку в темном лесу, это то, что еще пять лет после моего отъезда она ждала меня, надеясь на чудо! И это с ее неземной красотой!

Приедь я к ней даже через пять лет, она бы меня приняла и простила!

Я и теперь, прожив полвека на земле, не могу уразуметь чего-то очень главного!

Под стук сотен алюминиевых чашек по традиции я отнес бачок с грязной посудой в окно посудомойки, обнялся с сослуживцами, поднял чемодан и прошел через КПП части. Денег в кармане было только долететь до дома, и когда я в иллюминатор смотрел на щедрую азербайджанскую землю, нисколько не сомневался, что скоро вернусь за ней. Но!

Вот она штука жизнь!!!

Ночь окутала степь беспроглядной чернотой и если бы не крупные звезды в небе, да фигура старого Маная, покачивающаяся из стороны в сторону, да похрапывание коней, можно было подумать, что наступила вечная темень, а свет и жизнь исчезли навсегда.

Мы расстелили одеяла и улеглись спать. Манай скоро захрапел, а я еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в мигающие звезды, и на мгновение мне показалось, что я чувствую дыхание земли. Грудь сжало так, будто кто-то невидимый накинул на нее стальной обруч и постепенно, безжалостно стягивал.

Все неисполненное, не свершившееся, рухнувшее под непреложностями жестокой жизни, общим комом обиды поднялось к самому горлу и выкатило из глаз две горячие, жгучие дорожки.

Наутро я уехал, напоследок обняв старого табунщика, вынуждая тем самым и его вымолвить несколько добрых слов. Новые дела ждали меня, и, казалось, новые свершения!

Что можно поделать, если так нелепо устроен человек, что кажется, будто за следующим поворотом откроются ему новые Истины!

Будто все неизведанные человечеством тайны отворятся именно ему, и что он, и только он, избран САМИМ в качестве помеченного, его Божьим Перстом.

Алматинская осень еще только вступала в свои права, и только первые паутинки парили в воздухе, а огромные вековые карагачи все еще крепились, не желая сбрасывать зеленый наряд, продолжая бороться за веселый праздник лета.

Еще некоторое время я пребывал в той самой неторопливости дней и ночей, в какой пребывал в степи рядом с Манаем, как незаметно погрузился в водоворот суетности большого города.

Я закрутился так, что из памяти безжалостно выкорчевались и старик-табунщик, и Широкогрудый, и Пенногривая, да что там, даже святые воспоминания о далекой Светлане из еще более далекого Баку.

На передний план вновь выплыли деньги, проклятые деньги, которых всегда не хватает, как патронов в пылу жаркого боя. И опять ты весь в ожидании: новых идей, чьих-то ответов, приездов, звонков, назначений, обещаний и денег, денег!

Так пролетела осень, потянулась выматывающая душу зима, и снова я замер в ожидании весны, а вместе с ней наступления чуда!

И тут мне позвонили и сказали, что старый табунщик тяжело заболел и уже не встает. Наскоро собравшись, я выехал в аул Маная. Дорога была неблизкой, еще только начавшие таять снега обнажили черные проплешины земли, а низкое небо словно предвещало дурные известия.

Скрипучий, разваливающийся на ходу автобус все-таки довез меня до аула табунщика.

В доме Маная было бедно и тихо. Осторожное мяуканье худого котенка да позвякивание цепи, волочившейся за дряхлым псом, порой перебивали хриплые стоны, вырывающиеся из груди табунщика.

После того как я поздоровался с домочадцами и рассказал им о себе, меня провели на тор и усадили на кошму, около лежащего на полу под ватным одеялом Маная.

На низеньком столе вперемежку с белыми квадратиками сахара и дешевыми карамелями зажелтели свежее испеченные баурсаки. По просторной комнате разлетелся запах надоевшего молока и душистого индийского чая. Худенький котенок устроился у меня на коленке и принялся отслеживать путь баурсаков от стола ко рту.

Лишь дважды я выходил на воздух из низенького дома, все остальное время проводя

рядом со старым табунщиком, как вдруг, ближе к вечеру, он поднял набрякшие веки и оглядел сидящих людей.

Некоторое время он молчал, словно оценивая силы и время, отпущенное ему Всевышним, затем отчетливо произнес:

— Выйдите все, пусть останется писатель.

Никто не возразил ему, старуха-жена табунщика да несколько аульчан тут же поднялись с места и цепочкой потянулись в другую комнату, словно радуясь появившейся возможности размять затекшие ноги.

— Сядь ближе! — приказал Манай, я мгновенно передвинулся.

— Спасибо тебе, что нашел время приехать.

Я хотел было сказать, что счел это своим долгом, однако старик остановил меня жестом руки.

— Выслушай меня и не перебивай, у нас мало времени... Всю жизнь я пасу лошадей, — произнес Манай безо всякого вступления. — В жаркие дни и холодные ночи, под палящим солнцем и ледяными ливнями, в сумасшедших буранах спасал табун от волков. Денег не нажил, а не то выкупил бы у нашего акима Широкогрудого и Пенногривую. Пусть бы они коротали свой век в любви.. — старик замолчал так же неожиданно, как и начал.

— Аксакал, вам сейчас нужно думать о своем здоровье, зачем вам печалиться о Широкогрудом и Пенногривой, — ляпнул я и тут же устыдился произнесенного.

— Я думал, ты умный, а еще писатель! — с таким сожалением выдохнул Манай, что впору было провалиться сквозь землю.

— Ты, видимо, ничего не понял в тот день, когда Широкогрудый дрался с Гнедым. Он ведь отстаивал право на любовь, на жизнь! — старик помолчал, набираясь сил для продолжения монолога. —

Гнедой своими повадками похож на нашего акима, все ему мало. А Широкогрудый одного только хотел — любить, заботиться о Пенногровкой, наслаждаться жизнью, а они, что сделали они!

Я пребывал в недоумении, смутно догадываясь, что произошла чудовищная несправедливость, которая и выбила старика из седла, но продолжал молчать, опасаясь вновь вызвать его гнев.

— Эти изверги зарезали Пенногровую на согым, — заплакал старый Манай и так сильно раскашлялся, что на звуки его кашля вбежала старуха.

— А Широкогрудый пропал. Скорее всего, его съели волки. В тех краях, куда он ушел, охотилась одна стая, во главе с хитрым вожаком. Я называл его Толстым Загровкой. Он, видимо, и загнал Широкогрудого, другой бы не смог! — из глаз старика лились слезы, он договаривал слова, отворачивая лицо от ладони старухи, которой она пыталась накрыть ему рот.

Старуха окинула меня таким злобным взглядом, что я невольно попятился к двери. Сухими тонкими руками, поражая неведомой силой, она приподняла тело непослушного мужа и взбила под ним подушки.

— Писатель, обещай мне, что ты напишешь о них, — разрываясь от кашля, прохрипел старик.

— Я напишу, обязательно напишу, аксакал! — выкрикнул я уже в дверях и, смущенный, вышел прочь из дома.

На дворе смеркалось, у большого казана толпились незнакомые женщины, снимая с поверхности булькающего варева пену. Пахло горящим кизяком, от группки мужчин доносились невнятные обрывки фраз.

Звонкий, идущий из груди плач вылетел из полуоткрытой, ведущей в дом двери, и тут же в унисон ему завывала старая дворяня.

— У-а-а! Неге кеттин, айтар созинде айталмай, каншама калыкка кутип турган — ау, кетип калдырдын мены жалгыз сорлатып — ау!

(зачем ушел, не высказав последних слов застывшему в ожидании их народу, ушел, оставив меня одну горевать!), — слова старухи волнами скорби неслись и неслись из дома.

Женщины мгновенно, точно давно ожидали момента выпустить наружу зажатую внутри боль, заголосили и, отбросив домашнюю утварь, со всех ног помчались к старухе, мужчины тоже заторопились к ней.

— О, жалган дуние! Мине, Манай да кетты. Енды бизге канша уакыт калды дейсын? — произнес один из стариков вопрошающим тоном.

— Ким биледы? Бир Алла гана биледы! — ответил ему другой смиренно.

Потрясенный случившимся, я растерялся настолько, что прошел в дом вслед за стариками. Через плечо стоявшего впереди джигита я увидел желтое, словно пергамент, лицо Маная с уже наложившейся печатью смерти, развернулся и быстрым шагом пошел прочь из комнаты.

Куда я шел тогда, спотыкаясь о неровности, спроси меня теперь, я не отвечу, помню лишь то, что хотелось бежать подальше от аула, в темноту ночи и там дать волю нахлынувшим чувствам.

Долго я бродил по степи, уйдя от крайних домов так далеко, что редкие огни их скрылись за холмами.

У скалистого подножья одного из них глаза мои различили глубокую расщелину, куда я и втиснул уставшее обессиленное тело и незаметно для себя уснул. А когда первые лучи солнца обдали меня, продрогшего от холода камней, утренним теплом, и я открыл глаза, то увидел пасущийся совсем близко табун Маная. Он не подозревал о моем присутствии, и лишь старый Гнедой косил

в сторону диким взглядом и тянул ноздрями густой утренний воздух. Я узнал его по исполосованной длинными белыми рубцами спине.

«Это он не давал покоя погибшему Широкогрудому», — вспомнил я и от переполнившей меня злости швырнул в Гнедого увесистый камень.

Надо было возвращаться в дом Маная, где могли меня хватиться. С трудом я вытянул тело из тесной расщелины и побрел в направлении аула.

Многое из тех дней, проведенных в ауле Маная, выпало из памяти, раздробилось, но навсегда в ней запечатлелся рассказ аксакала, сверстника усопшего.

— Который год Пенногровая не могла понести от Широкогрудого, а Гнедого она к себе не подпускала, и как раз в прошлом декабре приехали люди от акима и увезли Пенногровую в аул.

Когда ее грузили в кузов машины, она упиралась и не хотела идти, но людям акима удалось затянуть ее. Широкогрудый несколько раз бросался на них, пытаясь освободить Пенногровую, но его самого избили и отогнали в сторону.

Он скакал за грузовиком километров двадцать, а когда он переезжал вброд реку, прыгнул вслед за ним с обрыва, но не смог подняться, сильное течение понесло его вниз. Он появился в ауле, когда Пенногровой уже спутали ноги и повалили на землю.

Как она ржала! Как ржала! Она звала его на помощь, а может, прощалась с ним, кто знает? За семьдесят лет я никогда не видел ничего подобного.

Широкогрудый попытался было кинуться ей на помощь, но его опять пбили и накрепко привязали к столбу. Аким стал кричать на помощника, чтобы

быстрее резал и помощник со злости рванул длинным ножом ее горло.

— А что же Широкогрудый? — спросил я одеревеневшим языком.

— А что Широкогрудый? Тебе доводилось видеть, как плачут кони? Так вот, Широкогрудый плакал. Он стоял и плакал. Такие дела, джигит. И Манай сразу после этого слег. Хорошо, что он так и не узнал, что произошло с Широкогрудым, — произнес аксакал.

— А что с ним случилось? — спросил я, не в силах умолчать, чтобы не раскрывать перед ним тайну Маная.

— Он пропал. Несколько дней его искали, а потом нашли обглоданные волками кости и череп с оскаленными зубами. В эти дни другие лошади не пропадали, значит, это был он. Он ведь после того, как Пенногривую зарезали, весь опаршивел от тоски. Его отвезли в табун, там его, ослабевшего, сильно покусал Гнедой, побили кони. Он вернулся в аул и несколько дней ходил от дома к дому в поисках пищи. А кому нужно кормить акимовскую лошадь, и так в тот год была нехватка кормов. Так, кто лепешку подаст, кто, сжалившись, бросит навильник сена. А ведь коня надо еще и поить. Тогда он снова ушел в степь, да так и сгинул, — закончил печальное повествование аксакал и вновь произнес, — хорошо, что Манай об этом не узнал, он уже не вставал к тому времени.

Речь аксакала доносилась до моего слуха, точно через ватный тампон, и становилась все глуше и глуше.

Воображению предстала жестокая и страшная картина: в огромной, без конца и без края развернутой ночной степи, подвергнутой сумасшедшему круговертному бурану, шатаясь из стороны в сторону брел Широкогрудый.

Прежде любимая, напоминавшая разноцветный ковер степь, теперь казалась гигантской заледеневшей плоскостью, раскачивающейся над бездной, на громадных, уходящих в стылое небо столбах.

Прежде лоснящаяся шерсть его была забита снегом и свисала клочьями, застывшая колом грива напоминала иглы дикобраза, из обледеневших ноздрей, точно из паровозных труб, валил пар, а в подернутых пеленой глазах льдинками плавала невообразимая печаль.

Острые ребра выпирали сквозь кожу, а несущаяся белая масса забивалась во впадины между ними, оттого он был похож на гигантского полосатого зверя, невиданного доселе в этой округе.

Сквозь бесчисленные, мелькающие, бьющие в морду снежинки, прямо по курсу Широкогрудого зажглись две пары желтых огоньков.

Широкогрудый остановился. Он давно уже сбился с дороги, ведущей в табун, и потерял ориентиры оставшегося где-то далеко аула, и теперь он и сам не знал, куда направлять ему свой путь.

Да и нужно ли ему возвращаться к людям, убившим его единственную любовь?! И тем более в табун, где царили первобытные законы диктата силы, и где его и Пенногтивную ненавидели и завидовали им, и где их считали разрушителями Векового лошадиного табу на изъявление чистых чувств.

И пока эти стусившиеся от мороза мысли тащились в его стилой голове, у самого горла сухо щелкнули изогнутые клыки, и отвратительный волчий запах осквернил утонченное обоняние Широкогрудого. Широкогрудый поднялся на дыбы, скалывая с хребта и боков пластины тонкого льда и увидел, как тощая, плюгавая волчица скользнула ему под брюхо. Со всей силы



нанес он удар изломанным с острыми краями копытом по ее омерзительной башке и раскроил ее напополам. Он не стал провожать взглядом ее полет, но злорадная мысль все же успела промелькнуть в мозгу: не рвать тебе сегодня моего мяса и не глотать его кусками, проталкивая в утробу и никогда уже больше не рожать тебе хищных волчат.

Вдруг заднюю ногу пронзила боль, словно в нее одновременно вонзились несколько острых стрел, и тут же полоснуло чем-то по брюху, а желтые огоньки спереди надвинулись так близко, что он различил серые шкуры врагов.

От осознания того, что пришла его погибель, тоскливо засосало под ложечкой, и была нестерпимая боль в животе, но в пылу боя он даже не почувствовал, что один из врагов уносит его внутренности.

Крупный зверь с толстым загривком упруго оттолкнулся от сугроба и прыгнул, и в этот раз не промахнулся, точно бритвой, рассекая горло Широкогрудого.

Из раскроенного разреза рванулась алая кровь и полетела вдаль под порывом налетевшего ветра, мешаясь с хлопьями снега.

В голове Широкогрудого затуманилось, он еще стоял, качаясь, ловя ногами промерзшую степь, словно моряк во время девятибалльного шторма палубу, и вдруг рухнул, опрокидываясь на спину.

В последние секунды своей жизни Широкогрудый увидел торжествующую морду Толстого Загривка, подошедшего к нему вплотную и заглянувшего в его уже стекленеющие зрачки. Душа Широкогрудого рвалась из его измученного тела, чтобы взлететь вверх, в нависшее небо, и оставить внизу взбесившуюся равнину, с ее злыми табунами, хищными людьми и ненасытными зловонными волками.

Последняя его мысль была о красавице Пенногровкой, доведется ли им встретиться там, куда она подолгу всегда любила глядеть, задрав свою точеную головку?

Широкогрудого не стало!

— А где же теперь ваш аким? — спросил я, едва выговаривая из-за высохшего от волнения горла.

— Эх, сынок! Где же ему быть? Жив, здоров, как бык, сидит у себя в райцентре, в акимате, в кожаном кресле. Разжирел еще больше, от глаз одни щели остались, — в сердцах ответил мне старик.

С

КАМНИ ОЧИЩЕНИЯ

или про то, как чиновники

тащили камни

Как-то летом я приехал в Семей к своему другу Ерболу. Надо сразу рассказать о Ерболе. Он чиновник и партаппаратчик. Невысокого роста, с небольшим кругленьким брюшком. На мой шуточный вопрос, почему оно такое скромное, отвечает честно и серьезно — оно будет расти согласно табели о рангах, то есть занимаемой должности. Ербол общительный, хлебосольный, сыплет анекдотами, словом, рубаха парень, свой человек.

И вот, Ербол мне говорит:

— Поехали, Марат, отдыхать в Баянаул, там замечательная природа и, вообще, у казахов эти места считаются святыми.

Там есть ущелье, где в битве с джунгарами погибло казахское войско, — высказал он веский довод.

Мое воображение мгновенно вырисовало этот гибельный бой: ржанье коней, блеск кривых сабель, свист стрел, глухие удары копей, пробивающих кожаные щиты.

Мысленно я уже принял решение посетить ущелье, принести туда цветы и прочесть там молитву.

— Нам составят компанию несколько уважаемых людей, — добавил Ербол.

— Кто они?

— О! Это большие люди! Серьезные посты занимают! — закатив глаза и тыча пальцем к небу, весело промолвил Ербол.

— Ну, хорошо, едем, — недолго размышляя, согласился я.

Утро следующего дня пролетело в сборах.

К дому Ербола подъезжали машины. Из них выходили солидные дяди с не менее важными женами и проходили в просторный двор, к накрытому по-походному столу.

— Келиниз! Кириниз! Есик ашык! — тараторил без умолка Ербол.

Он стал представлять меня гостям:

— Бу кысине зовут Маке, меним жолдасым! Жазушы, писатель!

Надо заметить, что на казахском Ербол объяснялся немногим лучше меня, и я отчего-то испытывал неловкость за его косноязычность. А значит, и за свою. Я тогда по наивности не знал, что разбавлять казахскую речь русскими словами у чиновников считалось особым шиком.

Настроенные на отдых агашки выглядели благодушно. Их жены вовсе чувствовали себя, как дома. Они основательно устроились на торе и зацакали языками, словно сороки.

— Так-к-к! — произнес один из агашек, смуглый, с круглым, плоским лицом, на котором поблескивали два хитрых глаза, — начнем наш поход с жуз граммов?

«Его очень удобно рисовать», — подумал я, — «надо просто очертить круг и уже готово лицо».

Смуглого агашку Ербол величал Дарибай-ага, остальные, бывшие с ним накоротке, называли его Даке. Надо сказать, что сокращения имен Даке, Заке, Баке, Калыке, Ореке — гениальное изобретение казахов.

Так вот, Даке меня сразу же поразил своей наблюдательностью. Его масляные зрачки панорамой скользнули по моей фигуре и ушли дальше, выше по столу, к тору, где воссели его друзья, но я понял, что он успел сделать обо мне вывод.

«Профессиональное», — решил я.

- Значит, Маке, Алматыда турасын?
- Да, я живу в Алматы, — ответил я.
- Ну, кадай жизнь на юге?
- Ничего, красивый город, хорошие люди.
- О чем пишешь?
- Да так, о жизни...
- А-а-а! Партия заманында я там заканчивал

институт, — произнес Даке и остальные агашки тут же подключились к разговору.

— Замечательные были времена! — восторженно взмахнул руками Ореке.

Ербол представил мне этого симпатичного седоватого человека как Орынбая-ага.

— Экзамены, сессии, лекции, зачеты... — в настроении Ореке зазвучали ностальгические нотки.

— Билемиз гой, как ты сдавал те экзамены, казы чемоданами возил преподавателям, — Даке не преминул подковырнуть Ореке.

Ербол тем временем успел разлить гостям водку и вино.

— Гэ-гэ-гэ, — точно гусь, прогоготал властный мужчина с бесчисленными оспинками на лице.

— Калыке, ты вот смеешься! Но ты же сам все время просыпал пары! Потому что до полночи стоял под балконом у нашей женге, — речь Даке вилась тонкой змейкой, вкрадчивые интонации были плавными.

— Гэ-гэ-гэ, — снова выдал порцию смеха Калыке, — да, были такие ночи, стоял и пел серенады.

— Ал, уважаемые мои друзья, поднимем наши чарки перед тем, как отправиться в дорогу, чтобы было веселей ехать, — высказался опытный тамада Даке.

Пока мужчины и женщины чокались, обремененный дорожными хлопотами Ербол, пользуясь моментом, выскользнул за ворота.

— А куда ему было деваться, я ведь была первой красавицей на курсе! — гордо заявила о себе высокая, моложавая светлоликая казашка в спортивном костюме — Кульпаш, жена Калыке. До этого она мирно вела беседу с маленькой, юркой женщиной, супругой Даке.

— Ай, сен осы Мэри Кейды, откуда ты берешь Марьям?

— Разве ты не знаешь? Из Алматы маган специально с фирмы присылают.

— А маган доченька Лондоннан привезла такой набор, пре-ле-сть! Если бы ты видела, Марьяш!

— Алмадын ба с собой?

— Ой, побоялась в дороге потерять. Я этой косметикой пользуюсь только в особых случаях, вот, например, когда Сара Алпысовна келгенде, помнишь, она приезжала весной? Калыке же организовывал прием в ресторане, она сидела на торе, а я по правую руку от нее. Так вот, о кысе сразу же обратила внимание на мою косметику. Где говорит, вы, дорога Кульпаш, ее приобрели? — быстрая речь супруги Калыке напоминала скорострельную стрельбу из пулемета «Максим». Опытная Кульпаш с любопытством метнула пару острых стрел в мою сторону. Взяв многозначительную паузу, она успела бросить взгляд на задумчивую Дамеш, жену Ореке, чтобы оценить, какое впечатление на нее произвел рассказ. Но Дамеш, похоже, мало трогали косметические успехи подруг.

— Дамеш, ты о чем-то задумалась! Нет, так не пойдет, раз уж мы собрались ехать на отдых, давай оставим все эти битпейтин проблемы. Ореке, ну повлияйте на свою ненаглядную, совсем она молчаливая, уж не влюбилась ли, пока вы с мостом через Иртыш возитесь?

Довольная собственной шуткой, Кульпаш рассмеялась — ха-ха-ха!

— Хи-хи-хи, — поддержала ее подруга Марьяш. Ореке в ответ улыбнулся, обнажая полоску золотых зубов:

— Дамеш, не сдавайся!

— Да вот, задумалась о предстоящей школьной реформе, — просто ответила Дамеш, вызывая еще больший смех спутниц.

Дамеш под стать мужу, с благородным лицом, на котором застыл отпечаток недюжинного ума.

— Вам бы только посмеяться, — незлобно пожурила она подруг.

— Что же, теперь Марьяш как врачу надо размышлять о проблеме СПИДа? — пропела Кульпаш.

— Тьфай, тьфай, Кулеке, о чем это вы перед отдыхом заговорили, пугаете нас с Калыке, — пошутил Даке.

— Не напугай вас, так вы только и будете, лежа на пляже, глазеть орыстардын кыздарына, на русских девчат.

— Ох, и острый у вас язычок, Кулеке. Уж я то вряд ли кого-нибудь могу заинтересовать, разве что Калыке у нас еще хоть куда, — подсластил пилюлю Даке для грозного Калыке.

— А что? Я еще в силе, но русские девочки не в моем вкусе, я люблю озымыздын, своих, черноглазых.

— Ай, глядите на него, куда его понесло, еще из дома не выехал, а уже нос воротит. Смотри, а то приедешь домой, а чемодан у порога стоит, — не унималась слегка задетая за живое Кульпаш.

Вошел Ербол и учтиво нагнул голову.

— Агашки, женгелер, машиналар стоят на старте, можно выезжать.

— Ал, кеттик, поехали, встаем, — задвигался Калыке.

— Калыке, а стремennую? Нельзя в такую дорогу нарушать обычай, — запротестовал Даке.

— А Ореке, неге ничего не говорит? — спросил Калыке к Ореке.

— А что тут говорить, наливай да пей, Даке прав, нельзя без стременной, ведь мы же кочевники, — спокойный, уравновешенный Ореке начинал мне нравиться. Он вел себя с достоинством, не пытаясь льстить могущественному Калыке.

— Видите, я прав, Ореке меня поддержал. Ереке, наливай, братишка, — Даке заулыбался во весь рот.

Ербол учтиво принялся разливать по рюмкам и бокалам.

— Ал, давай, за хорошую дорогу! — Калыке поднял рюмку и махом опрокинул ее в рот. Даке зацепил истекающий желтым жиром кусочек казы вилочкой и преподнес его Калыке.

Я успел подумать, что в самом этом движении было заложено чинопочитание, табель о рангах, и что-то еще очень тонкое, чего я не смог разгадать. Я мало что смыслил в восточном искусстве интриг.

— Рахмет, Даке, — Калыке с достоинством спрятал казы за губами и прищурил от удовольствия глаза.

Следуя пословице, «впрягся в арбу, тяни изо всех сил», я лихо опрокинул в себя содержимое стопки, и, когда ставил ее на стол, успел поймать скользнувший по мне взгляд Кульпаш.

«Что это она меня так рассматривает?» — забеспокоился я, но все уже поднимались с мест, и мне пришлось тут же забыть о своих опасениях.

Выезжали на трех машинах. В первую, рядом с водителем, уселся Калыке, Кульпаш устроилась сзади. Во вторую села семья Даке и Ореке. А замыкал крохотную колонну я, на своей машине. Ербол поехал со мной.

Вскоре наша кавалькада выехала за город и потянулась в сторону Павлодара.

Водитель передней машины, в которой ехал Калыке, вел быстро, ловко срезая углы на крутых поворотах, и езда получалась живой.

— Кем работает Калыке? — спросил я Ербола.

— О-о-о, Калыке — доверенный человек акима области, возглавляет региональный штаб партии. В прошлом, еще с советского периода в больших креслах сидел, одним словом, в нашем городе, он глаза и уши самого акима, уважаемый человек!

— А-а-а, — понимающе протянул я, — а Даке?

— Официально Даке является начальником налогового комитета, но дело не в этом, он владелец компании «Алтын»!

— А что это за компания?

— Компания «Алтын» добывает золото. У них стоит швейцарское оборудование. Он настоящий богач!

— Понятно, хотя я ничего не смыслю в добыче золота.

— А Ореке у нас главный архитектор. Его супруга Дамеш завуч школы.

— Это я уже понял. А что тебя связывает с этой компанией, Ербол?

— Я живу в этом городе, Маке. Эти люди здесь самые уважаемые, без них никуда.

Общаемся, вместе в сауну ходим, бешбармачим, иногда кыздармен проводим время, а больше не стеймиз?

По обе стороны дороги тянулся красивый сосновый бор, настоящий хвоей воздух точно искрился, был чист и прозрачен, и было приятно от мысли, что тебя ожидают новые впечатления.

Ербол принялся рассказывать о своих планах, заботах, а я незаметно для себя втянулся в собственные мысли, к которым так располагает

дорога. Серый асфальт стремительно летел под колеса автомобиля, и казалось, что жизнь бесконечна, как эта лента дороги.

Вдали, на самой опушке бора, показались две нарядные белые юрты. Поравнявшийся с ними автомобиль Калыке включил поворотный сигнал и стал съезжать вниз на проселочную.

— Ох, Калыке, не забыл, все помнит, все держит под контролем! Здесь такой кумыс подают Маке, закачаешься!

— Я так давно не пил настоящего степного кумыса, — пожаловался я, — в городе он разбавленный, невкусный.

— Вот сейчас попробуешь! — Ерболу было приятно чувствовать себя хозяином и покровителем гостя.

Я остановил машину у второй юрты и вышел вслед за Ерболом. Стояла такая тишина, что хруст веточки под каблуком Ербола слышался точно лязг затвора.

— Входи, Маке, в юрту, — Ербол отворил створку двери, пропуская меня внутрь.

Наша компания уже расположилась вокруг низкого круглого стола. Пожилая казашка подавала кумыс в больших керамических кесе.

Мы с Ерболом устроились с края стола и принялись пить кумыс. Он действительно оказался выше всяких похвал, густой, пахнущий полынью и степными травами, но в то же время сладкий, как мед.

Я с удовольствием выпил кесе и попросил еще. Хозяйка взяла из моих рук сосуд и вновь его наполнила. А когда я подносил его к губам, то снова поймал на себе пристальный, изучающий взгляд Кульпаш. Заинтригованный, я не стал отводить глаз, продолжая глотать из чаши, и в этот раз внимательно разглядел ее лицо.

Белую, словно молоко кобылицы, кожу лица обрамляли черные волосы, из-под разлетевшихся

бровей в упор на меня глядели два темных, бархатных зрачка, а сквозь наполненные алым соком губы ослепительно белели зубки.

— Какая она красивая, — поразился я, — а в молодости, видно, на самом деле слыха первой красавицей.

«Ее поступь сродни поступи чистокровной степной кобылицы, движется так, что не расплещет и чаши, наполненной священным кумысом. Ее ступни крохотны, а маленькие ладони нежны, пальцы длинные и нервны, перси туги и округлы, стан тонкий, а бедра широки. Высокая шейка гордо возвышается над миром, а взгляд темных глаз может принадлежать только людям с чистой, благородной кровью!» — я сложил эти точеные фразы, покапил кумыс.

Запутавшись в мыслях, смутившись от их яркости и искренности, я встал и вышел из юрты, забыв поблагодарить хозяйку.

«Разбалованная дамочка, предвкушающая получить изюминку даже в такой поездке», — промелькнула ядовитая мысль и тут же угасла, как гаснет тень в самой гуще леса.

Мои спутники стали выходить из юрты и вновь рассаживаться по машинам, но теперь они сделали рокировку.

Калыке забрал к себе Даке и Ореке, Кульпаш вместе с Марьяш впорхнули на заднее сиденье второй машины, а благородной Дамеш ничего не оставалось, как сесть рядом с водителем. Перед тем как Кульпаш захлопнула дверь, я услышал ее звонкий, рассыпчатый смех, угасший в салоне.

Мы с Ерболом опять замкнули колонну.

Эта дорога и по прошествии времени остается в моей памяти как одна из самых моих насыщенных поездок, быть может, оттого, что я никак не могу забыть те камни очищения, как я их называл для себя, но, может быть, причина кроется в красавице Кульпаш?

Да! Грустно было бы думать, что не сложившийся роман с Кульпаш тут не причем, и в то же время уверяю вас, я сел писать лишь с целью рассказать вам историю о том, как чиновники тащили на гору камни очищения.

Всегда есть опасность скатить рассказ в беллетризованный, поэтому я сознательно уйду от описания, как комфортно устроилась наша компания в коттеджном городке на берегу озера Жасыбай, и как потянулись делегации провинциальных акимов и прочих чиновничков к дому Калыке.

И все-таки мне не уйти от искушения, чтобы не рассказать о подношениях нашему грозному вельможе: там были и расшитые замысловатыми узорами чапаны, и искусно отделанные камчи, и высокие сафьяновые седла и, наконец, золотистый в яблоках конь. Но все же в сердцах надо высказать, что распорядок дня моих спутников складывался просто катастрофически и ужасал меня.

Итак, они просыпались не раньше полудня и, выполнив утренние процедуры, слетались на обед. Затем жидкой гусиной цепочкой тянулись к пляжу на озеро Жасыбай и, уподобляясь каспийским тюленям, блаженно раскидывали свои тела на песке. Только Дамеш все время утыкалась в книгу и что-то увлеченно читала, а энергичная Кульпаш никак не могла смириться с тем, что остается в бездействии. Она вставала и уходила гулять вдоль берега или брала катамаран и уезжала на нем далеко, аж на самую середину.

Я же, изучая округу, ухитрялся находить себе новые и новые занятия, порой опасные для жизни.

В окрестностях Баянаула располагалась гора Булка. Издали она напоминала отшлифованный до блеска батон, на котором не виделось и выступов, чтобы цепляться за них при подъеме.

И дернул же меня черт, попробовать покорить Булку!

Не откладывая эту идею в долгий ящик, я принялся уговаривать Ербола:

— Ну, ладно, они! Но ты же бывший спортсмен, каратист, как же мы уедем, не покорив ее вершину?

И он на удивление легко сдался. Видно, ему тоже надоела однообразность времяпровождения коллег.

Еще было раннее утро, когда мы добрались к подножью Булки и стали осторожно карабкаться вверх. Подъем оказался сложным.

Я понял, что несколько погорячился при расчете своих сил, но отступать перед Ерболом было нельзя! А главное, я чувствовал, что эта экспедиция станет достоянием всей нашей компании и, струсь я сейчас, придется стогать от стыда под острыми, насмешливыми взглядами Кульпаш. Ербол давно уже спустился обратно вниз и теперь слонялся, не решаясь оставить меня одного, на горе. Ему удалось преодолеть одну треть пути, как примерно в одно время со мной он понял смертельный риск этого мероприятия. Как человек рассудительный, он вовремя благоразумно отказался от восхождения.

— Зачем мне это нужно, Маке? Коттедж у меня есть, карьера движется успешно, любовница, Слава Богу, есть, для чего мне погибать на этой каменной глыбе? Ты как хочешь, а я буду спускаться вниз.

— Ладно, иди! — крикнул я сверху.

— А что я скажу нашим? — прокричал Ербол, видно, его все-таки мучали угрызения совести.

— Так и скажи, что бросил одного в горах, — ответил я и тут же почувствовал прилив сил от сказанного.

Так бывает, скажешь и все — понимаешь, что теперь уже ни за что не отступишь!

Я видел, как он удалялся в направлении городка, а я полез дальше и потратил на это много времени.

Чем ближе я подбирался к закругленной вершине, тем сильнее сатанел усиливающийся ветер, и порой мне казалось, что вот-вот он сдует меня с горы, точно пушинку. Двигаться к ней можно было только плотно прижавшись спиной к скале, а ширины выступа хватало всего на половину ступни!

И тут моему взгляду открылся невидимый снизу разрыв, зиявший полуметровой трещиной, на пути к победе. От него до вершины оставалось всего каких-нибудь три шага. Но если не перешагнуть этот разрыв, то сказать, что ты был на самом верху, будет обманом.

Раскинутые по сторонам мои руки уже не напоминали мне крылья орла, как еще полчаса назад, а казались уродливыми палками огородного чучела.

В голове, нарастая, взбухли мысли о собственной глупости и такие же бичующие упрямство, предательски призывающие отступить.

Ноги от страха точно приросли к камню, и сдвинуть их хотя бы на дюйм влево или вправо оказалось выше моих сил. Я стоял, боясь шелохнуться, и на мгновение задумался о том, на сколько меня так хватит?

Мелко дрожали колени, хотелось закрыть глаза и прыгнуть вниз, потому что веры в груди уже не оставалось. Но отчего-то было важно сделать этот полет красивым, и я всерьез стал раздумывать над тем, как правильно оттолкнуться, чтобы полететь с раскинутыми руками.

И вдруг я увидел внизу машущую мне руками женщину. С высоты она казалась крохотной. Но я узнал ее! Это была Кульпаш. Она махала мне. Она призывала меня держаться!

Я снова посмотрел на разрыв, на вершину и понял, что не смогу преодолеть эти три шага. Надо было возвращаться, я проиграл бой с самим собой.

У меня нет фотоснимка, нет видеозаписи, но кто бывал в тех местах, или же, как и я отправлялся на покорение Булки, тот поймет меня. Я и сейчас порой ловлю себя на мысли, что вновь и вновь в моей бедовой жизни возникают схожести с тем днем, и я снова, как и тогда, не могу сдвинуться с места ни на один дюйм.

Когда в голове проступила ясность, вместе с ней вернулась способность двигаться, и я осторожно передвинул ногу влево. Это был шаг к возвращению! Я подтянул правую, вновь передвинул левую и снова подтянул правую. И так шаг за шагом, вновь прошел самый опасный участок коварной Булки.

Спускаться дальше стало легче, а если смотреть снизу, то, возможно, оттуда, казалось, что и вовсе легко.

Как бы там ни было, но мне удалось спуститься и встретиться с Кульпаш, так же, как и я, искавшей себе приключений.

— А я встретила Ербола, и он мне сказал, что ты полез на Булку. Ну, и как она?

Я глядел на нее и не знал, что мне ответить. Сказать ей правду? Или махнуть рукой, мол, ничего в ней нет интересного?

Но я увидел в глазах Кульпаш, что вопрос был задан ею для проформы, а на самом деле, будучи умной женщиной, она все поняла.

— Наверху страшно, — признался я.

— Я все видела, — сказала Кульпаш.

— Оставалось всего три шага до вершины, — вымолвил я.

— Ничего, в следующий раз одолеешь, сегодня был ветер.

Я поразился ей и устыдился себя, оттого что, как выяснилось, я ни черта не понимаю в людях, и эта самая Кульпаш, казавшаяся мне изнывающей от скуки самкой, оказалась тонким, чувствительным к чужой боли человеком.

— Наверху сильный ветер, — повторила она снова, предоставляя мне возможность для маневра, чтобы изыскать причину неудачи.

— Да, на вершине сильный ветер, он почти сбрасывал меня, — произнес я, принимая пас.

Мы пошли по узкой тропинке вместе. Я шел и недоумевал, какого черта я позволяю себе любоваться чужой женой, женой чиновника, который, как выясняется, глаза и уши акима и он же, стоявший в собственные студенческие годы до полуночи под ее бетонным балконом.

Какого черта!?

Но мы медленно шли и о чем-то говорили, и я чувствовал, что в нас обоих произрастает поразительная гармония.

Я, наверное, опять отвлекся от главной истории с камнями, возникшей случайно за традиционным совместным ужином, и, честное слово, совсем не намеренно. Просто Ербол, смеясь, исповедался о своем монологе мне: и про коттедж, и про любовницу, вот только про карьеру не вымолвил ни слова.

Мои знакомые принялись восхищаться мною, а я вспомнил о святом ущелье и тут же откровенно сделал им предложение:

— Наш отдых подходит к концу, а мы так и не посетили ущелья, в котором погибли наши предки.

— Ох, и правда! — пожалел Калыке.

— Да, что правда, то правда! — обескуражено поддержал его Даке.

— Прележали, словно тюлени, не отводя взгляда от русских девок, — искусно изображая

возмущение, стала гнуть излюбленную тему Кульпаш.

— А мы завтра с утра и отправимся, не так ли, Маке? — уверенно заявил Ореке.

Он все больше и больше нравился мне. Независимый, умный, образованный, интеллигентный, и жена у него Дамеш была ему под стать. В них обоих чувствовалось много большого, человеческого.

— Конечно, надо завтра идти, — обрадовался я.

— Тэ-эк-к, значит, постановили, завтра с утра идем в ущелье, алыс па оно?

Тут Ербол подхватил разговор:

— Да нет, Калыке, что такое для вас несколько часов ходьбы. Ведь вы бывший спортсмен.

— На такое дело решаемся, надо срочно это решение обмыть! Давайте выпьем, и сразу же все станет ясно, — засмеялся Даке.

Все с шумом задвигались, выпили и продолжили обсуждение.

И вдруг я возьми и произнеси невесть откуда пришедшую в мою бредовую голову идею:

— Но мы не можем прийти туда с голыми руками!

Головы присутствующих тут же взметнулись, и взгляды их перекрестьями застыли на мне.

— Что вы хотите этим сказать, Маке? — недоуменно спросил Даке.

— Наши предки погибали с одной мыслью, что когда-нибудь их потомки придут на это место очищенными от всего скверного и прочтут во имя их молитву, — меня, что называется, понесло по бездорожью.

— А что это значит — очищенными? — пожал плечами Калыке с видом человека, итак согласившегося на жертвоприношение, но столкнувшегося с тем, что кому-то этого, оказывается, мало!

— Очищенными — это значит, что-то загадать и выполнить.

Я чувствовал, что сейчас запутаюсь сам, и стал лихорадочно объяснять, взывая о поддержке у разумного Ореке.

— Маке имеет в виду, что надо сделать нечто такое, что могло бы искупить нашу вину перед духами предков, — проговорил Ореке и замолчал.

Его не понял никто, даже я, потому что он нагородил высоченного до самого неба, что меня в мыслях отбросило к распятому Иисусу Христу!

Я бросился спасать положение и принялся объяснять при помощи жестикующий:

— Как уже всем известно, наш путь состоит из четырех этапов. То есть нам надо преодолеть первую гору, спуститься с нее и подняться на вторую, и только спустившись со второй, мы окажемся в нужном нам ущелье. Там и находится место гибели казахского войска в битве с джунгарами! Мы сделаем так! Всякий из нас у подножья первой горы выберет понравившийся ему камень и понесет его до конца нашего путешествия. Он и станет камнем очищения для каждого перед нашими великими предками. Ведь ни для кого не секрет, что все мы грешные тем, что пьем, едим, гуляем за счет предков, которые отвоевали нам нашу независимость и такую территорию, — с интуицией минера я понял, что попал в самую точку.

Женщины глядели на меня, раскрыв рты, точно я, по меньшей мере, был новым пророком.

— Мы придем к ним не с пустыми руками, а каждый со своим камнем очищения, которые сложим в кучку и прочтем над ними молитву. Это и станет нашей данью их Великим деяниям!

Все молчали и переваривали. Так, словно переваривали бешбармак.

Выручила меня красавица Кульпаш.

— Маке правильно, мудро говорит. Не зря Ореке его сразу же поддержал, — дипломатия Кульпаш в очередной раз меня поразила.

— С утра выступаем, — принял окончательное решение Калыке, — нечего здесь городить и размышлять.

С тем и разошлись. Мы с Ерболом сразу легли спать. Только мне не спалось, и я вышел из своего коттеджа на улицу. Ночь была светлой, ясной. Высокое небо устилали бесчисленные звезды. Я сидел с задранной головой, размышляя о них, как услышал рядом с собой осторожный шорох и опустил взгляд.

Передо мной стояла Кульпаш. Неожиданно она опустилась, взяла мои ладони в свои, и нежно их поцеловала. Ураган, буря, смятение, какими бы эпитетами не награждал я те вспыхнувшие чувства, которые мне привелось испытывать, но не скрою того, что я затрепетал, словно робкая лесная лань. Впервые меня взволновала особа, равная мне самому по возрасту, но занимающая ступеньку выше по социальному статусу, все же она была женой всемогущего Калыке.

Мы целовались, словно сумасшедшие, будто изголодавшиеся путники, будто жаждавшие воды бедуины, будто наши огрубевшие пальцы никогда прежде не ласкали человеческого тела.

На мгновение взгляд мой уперся в подмигивающие мне с высот светила, и в одночасье стало мучительно стыдно перед ними, за себя, крадущего тепло чужого, не принадлежащего мне тела.

Я с трудом оторвал от себя ее ищущие руки и убежал в ночь, словно мальчишка, побоявшийся своей первой женщины. Как я мог объяснить ей, что козь завтра мы идем к месту гибели наших предков в битве с джунгарами, я должен быть чистым телом и душой.

В ту ночь я не вернулся в коттедж. Я провел ее лежа на деревянной скамье, на террасе у здания музея.

Наутро мы позавтракали с Ерболом у себя в доме и, снарядившись, вышли на улицу. Наши спутники уже прохаживались вдоль своих заборов, чувствовалось, что они немного нервничают. Кульпаш не было видно.

— Ну, Маке, ты заварил кашу. Как бы мне потом не пришлось ее расхлебывать, — стал сетовать осторожный Ербол.

— Не переживай, они тебе еще сто лет благодарны будут. Ведь что они видят в своей жизни, кроме бешбармаков? А если дойдут туда, сами себя уважать станут.

— Ладно, посмотрим, — успокоился Ербол.

Мы поздоровались со всеми.

— Ну что? Попутного нам ветра в спину, — сделал попытку пошутить Калыке.

Надо отметить, что и речь моих спутников в то утро изменилась до неузнаваемости, теперь они выбросили из лексиконов казахские вставки, и говорили просто на русском.

Вот с такой благородной целью мы и покинули коттеджный городок, направляясь прямо к озеру, которое нам предстояло переплыть на лодке.

Ербол и я сели за весла.

Лодка уверенно рассекала голубую водную гладь, и вскоре мы очутились у самого подножья горы. Мои спутники покинули плоскодонку и с ходу принялись бродить по берегу в поисках подходящего камня.

— Такой камень пойдет? — спросил у меня Калыке, точно я был назначен цензором или прокуратором. В руках у него был крупный, увесистый камень.

— Да, это тот, что нужен, — ответил я глубокомысленно.

Другие, глядя на грозного Калыке, не осмелились подобрать камни меньшего размера.

Я выбрал для себя самый большой камень, какой только нашел на берегу, весом около пуда. Он лежал наполовину в воде и был угловатым, с выступающими острыми гранями, режущими ладони.

Вскоре все, вооружившись камнями, направились в гору. Подъем оказался крутым.

Я шел впереди, остальные, вытянувшись гуськом, карабкались с видом людей, обреченных по чьей-то злой воле на бесчисленные страдания. Солнце уже поднялось в зенит, а мы преодолели только половину пути. Густой кустарник рвал одежду, идти с каждым шагом становилось все труднее. Я оглянулся назад, мои спутники обливались потом, их футболки были насквозь мокрыми. Позади меня боролся с подъемом Ербол. За ним по проложенной тропе, скользя кроссовками на мокрой траве, поднимался Калыке, вслед за ним Ореке и замыкал колонну Даке. От напряжения его узенькие глазки превратились в щели и совсем скрылись на безусом, плоском лице, что казалось, у него их никогда и не было. Я почувствовал, что силы их на исходе и стал весело насвистывать.

— Я, пожалуй, возьму камень поменьше, — выкрикнул Калыке и тут же к нему, изнемогающему от усталости, бросился Даке. Он схватил небольшой камешек и протянул его всесильному чиновнику:

— Возьмите вот этот, у вас же больное сердце!

Калыке молча взял камешек и стал карабкаться дальше. Мы продолжили взбираться. Когда я оглянулся в следующий раз, то заметил, что в руках у Даке уже не тот камень, что он нес вначале. Ореке и Ербол мужественно терпели. Мой камень оттянул мне все руки. Хотелось выбросить его и поднять другой. Мысли, наслаиваясь одна на другую, злобно шептали мне в ухо: «Разве есть разница в величине

камня? Важно дойти и принести туда любой камень! Вечно ты вляпаешься со своими фантазиями!».

Но я продолжал идти. Соленый пот уже не просто выступал, он струился по лицу, телу, сбегал к животу. До вершины оставалось совсем немного, как боковым зрением я увидел, что и Ореке нагнулся к земле.

«Берет камень поменьше», — подумал я и не ошибся. И Ербол, дабы не выглядеть «белой вороной», не подчеркивать свое физическое превосходство, не выпячиваться из стаи, отбросил свой камень и поднял другой, маленький.

«Ербола можно понять, они бы ему не простили большого камня», — подумал я, напрягаясь изо всех сил.

Но вот мы на вершине горы. Вымотанные чиновники разжали руки и мокрые от пота камни выпали на землю.

— Уф! Наконец-то! — вымолвил Калыке.

— Да-а-а! — только на это междометие и хватило сил у Ореке.

— Вот так, ты придумал затею, Маке! — в голосе Даке сквозило с трудом скрываемое раздражение.

Калыке неотрывно вглядывался в выступающую впереди громадиной, поросшую лесом гору.

— Это что же получается, нам надо спуститься вниз, подняться на ту гору и снова спуститься? Так что ли? — спросил он.

— Да, — ответил я, с волнением проталкивая слюну в горло. Я боялся, что сейчас они развернутся и пойдут назад, туда, где сытно и тепло и горит свет, и к их услугам исполнение всех их прихотей!

— Не могли они погибнуть в этом ущелье! — вырвалось в сердцах из уст Даке. Все промолчали.

— Но мы не успеем довести дело до конца. На этот подъем у нас ушло почти два часа, пусть полтора часа уйдет на спуск, еще два на подъем

и также полтора на спуск, в итоге уже наступит вечер. А в темноте мы заблудимся и не сможем вернуться назад. Нас станут искать, и не позже чем завтра наше путешествие обрстет сплетнями на каждом языке! В нашем положении мы не можем себе этого позволить. Маке, вы должны правильно понять нас, — произнес речь разумный Ореке, и я понял, что он высказал мнение всех здесь собравшихся.

— Маке, Ореке умные вещи говорит, не надо упрямиться, надо возвращаться. В следующий раз сходим.

Это произнес мой осторожный друг Ербол.

— Правильно говорит братишка Ербол, в следующий раз сходим! — Даке несказанно обрадовался.

— В конце концов, мы можем прилететь сюда на вертолете, — привел убийственный довод Калыке.

— Вот это дело, на вертолете прилетим! — еще сильней возбудился Даке.

— А как же камни очищения? — вырвалось у меня.

— Да причем тут камни? Что они дают? Это же твои придумки! Привезем имама, это будет больше значить, чем эти камни! — с измотанным Калыке было опасно и невозможно спорить.

— Хорошо, идемте назад, — уныло произнес я, — но только я свой камень отнесу обратно и положу на то же самое место, откуда я его взял.

— Что же, это дело твое! Давайте, возвращаемся! — Калыке развернулся и стал спускаться. Остальные двинулись вслед за ним. Мне ничего не оставалось, как уныло поплестись в хвосте.

Но камень свой я не бросил, подумав о том, что если я его верну на то же место, то словно бы и не было попытки дойти до места гибели казахов.

Надо отметить, что для человека очень важно возвращаться с победой, а у меня в течение

короткого времени образовалось уже два поражения в схватке с самим собой.

Выяснилось, что путь под гору дается намного легче, и осторожный Даке даже осмелился плоско пошутить:

— Ах, Калыке, лежали бы вы сейчас преспокойно в объятьях вашей красавицы женге! Черт нас дернул сюда тащиться?

Но ему никто не ответил, каждый думал о поражении. А мне отчего-то было неприятно слышать разыгравшуюся фантазию чиновника, всего две встречи с Кульпаш начисто разбили мою казавшуюся устойчивость в качающемся мире.

Я нес свой камень, а чиновники уговаривали меня бросить его.

— Странный ты человек, Маке, необузданный в своих фантазиях, что тебе в камне этом?

Камень я все же донес до места на берегу, откуда я его изначально вырвал и положил в ту же самую выемку в земле, так же, наполовину в воду. Но выемка в душе от этого не исчезла.

Обратная дорога на лодке казалась мне нескончаемой, мокрые весла тяжеленными, вода черной, а не голубой.

На традиционный ужин я не пошел, сказавшись больным, а ночью, как только Ербол уснул, выскользнул из коттеджа, завел машину и уехал домой, в Алматы.

Перед тем как включить скорость, я еще долго глядел на темное окно Кульпаш, раздумывая над тем, чем она занимается в это время, думает ли обо мне?

И вдруг почти с материальной выпуклостью я осознал главное предназначение собственной жизни: падать — чтобы подниматься, взбираться — чтобы проигрывать, идти к самому горизонту, потому что путь этот бесконечен! И я тронул машину!

ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДЕВЯНОСТО ДНЕЙ тишины

Моему другу Айтану Мотыщцу посвящаю

В коридоре ни единого звука. Тишина. Сюда, в дальний блок изолятора, не долетали даже отголоски жизни из зоны. Толстый лист металла, наваренный поверх насмерть замурованного окна, к ночи всегда начинал загадочно мокреть. Влага собиралась в капли в причудливых разводах ржи, и тогда поверхность листа превращалась в сотни человеческих зрачков, полных слез. Капли-слезы висели всю ночь, точно не смели вытечь на выщербленный, бетонный пол до утреннего квакуна. А как только он, чудившийся чьим-то мучительным стоном, едва проникал сквозь толщу стен, они словно по команде вытекали. Так повторялось изо дня в день, все две тысячи дней. А сегодня вдруг капли не вытекли, а застыли, превратившись в ледяные бусинки, а зрачки на металле заиндевели.

И еще потрескивание камеры наблюдения, не отключавшейся все двадцать четыре часа, сегодня странно напоминало стрекот сверчка.

«Сверчок, а был ли он в его жизни? Был ли?».

От дальней стены до стальной двери с «волчком» пять шагов. Пять!!! Когда ему становилась невыносимой эта цифра, он суживал шаги, и тогда их становилась шесть. Но потом, натакиваясь на мысль, что Шесть — цифра дьявольская, принимался вышагивать широко и они сокращались до четырех. Так он пытался разнообразить расстояние.

Он был неистощим на выдумки, выстраивая себе планы на неделю, месяц и даже год.

Ставя перед собой цель, он тут же приступал к ее осуществлению. Так, тренируя силу воли, часами стоял с закрытыми глазами, обратив лицо к «камере», чтобы его могли видеть «наблюдатели», по три, затем четыре, пять, шесть и, наконец, семь часов, без единого движения, поражая нечеловеческой выдержкой своих мучителей. А чтобы все это время не пропадало даром, в лабиринтах мозга устраивал себе олимпиады, с немыслимыми вопросниками, перечисляя ханов-чингизидов от Великого Рыжебородого до Аблая, чемпионов мира по шахматам от Вильгельма Штейница, Ласкера, Капабланки, Алехина до нынешнего Вишванатана Ананда, членов Совнаркома от Ленина до Куйбышева, государства мира вплоть до микроскопической Гамбии.

Высокий, худой, ссутулившийся от постоянного давления черного потолка камеры, он напоминал собой дервиша, пересекшего пешком безводную Синайскую пустыню. Но на пепельно-сером лице его, точно собственной, отдельной от брэнного тела жизнью, жили поразительные карие глаза, наполненные лихорадочной жаждой познания, одному ему известной, до конца не сформированной философией, фанатичным желанием заглянуть за самый край мироздания.

Ничего больше запоминающегося не было на этом измученном теле, разве что выцветшая от авитаминоза и оттого выблекшая татуировка на голени, но и она теперь выглядела чужой, не его.

За две тысячи дней, проведенных в одиночной камере, вор научился точно определять время суток, по чиху или кашлю в коридоре распознавать заступившего на смену «попкаря». Время от времени возникавший из трещины в полу таракан Аркашка приносил в его жизнь оживление. Он радовался насекомому и принимался вести с ним долгие разговоры,

пытаясь проникнуться чужой тараканьей судьбой, и в последнее время стал декламировать ему стихи. И порой вору казалось, что Аркашка замирает в волнении от льющихся неторопливо рифм и даже в знак одобрения с довольным видом пошевеливает длинными усами. Хвостик от воблы, попадавший ему в баланде, предварительно слизав синеватые крохотные кусочки, он оставлял для него и с любовью наблюдал за тем, как последний с воодушевлением ползает по рыбьему хребту. Несколько дней подряд он пытался высчитать, сколько же километров он отшагал по своей камере за долгие две тысячи дней? Как вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что сделать это очень непросто, несмотря на то, что в школе он был отличником по математике.

«Господи! А ведь и школа была в его жизни!

Карябать на стене не положено, да и нечем, и проклятое «око» не дремлет, бдит».

«Сатанинское достижение техники! Прежде «попка» раз в полчаса, притаившись, заглядывал в «волчок». Но ведь тридцать минут — это целая вечность!

«Целых «тридцать» можно быть предоставленным самому себе, но теперь с установкой этого проклятого оптического «глаза», я никогда не остаюсь наедине с собой», — так размышляя он, сбиваясь с мысли, в последнее время он всё чаще стал сбиваться.

Да, он несколько дней высчитывал. В среднем в день он бил «пролетки» по восемь, иногда девять часов. В минуту по семьдесят шагов от дальней стены до стальной двери. Четыре тысячи двести шагов за один час и тридцать три тысячи шестьсот за восемь часов, то есть за день. Хотя, конечно, цифра была условной, потому что в иные дни он «тусовался» по десять, по пятнадцать часов подряд, это когда сидеть или лежать было невозможно. Можно было сойти с ума!

Но в дни, когда плохо себя чувствовал, ходил меньше, а последние приступы астмы так доконали его изнеможенный организм, что он с трудом таскал свое тело к «параше». Но с упорством обреченного продолжал шутить, остря сам с собой: «Кто сказал, что я здесь один? Нас тут трое — Я, «парашка» и таракан Аркашка!».

Считать в уме было трудно, негде записать исходные, так вот оказывается — в месяц он «наматывал» один миллион восемь шагов!

Пять дней подряд он пытался умножить эту цифру на двенадцать месяцев. В итоге его сумасбродная настойчивость привела к желаемому результату. За один год своей камерной жизни он «накручивал» двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шагов. А это значило..., О Господи!!!

Это значило, что за шесть лет одиночного заточения он протопал ни много ни мало, а семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят шесть шагов. И когда ему, наконец, удалось разделить эту умопомрачительную цифру на одну тысячу, а именно, столько метров в одном километре, то в его воспаленном мозгу вызрел фантастический километраж в семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть километров!!!

«Так какова же окружность Земного шарика по экватору?» — задался он вопросом к себе. Отчего-то в голове занозой засела уверенность, что она составляет сорок тысяч и если это было так, значит, за эти годы он обогнул ее почти что два раза.

Да, это было так! Он мысленно воссоздал глобус и увидел себя вышедшим из лагеря и зашагавшим легкой, упругой походкой прямо к экватору.

Путь его пролегал на юг и был прямым подобно полету стрелы. Он прошагает сухие, желтые степи Сары-Арки, перемахнет Алатау, страну кыргызов, пересечет гряды седого Памира, переплывет мутный Пяндж и вступит в страну

талибов, где придется балансировать на волосок от смерти. Но за эти годы он поднаторел в толковании Священной Книги — Корана, и это давало ему шансы на успех, оттого-то он и надеялся добраться до Пакистана, где, словно в огромном котле, смешались народности, верования, нравы, темпераменты!

Распутывая толстых, сонных змей, выглядывая в знойном мареве проступающие очертания редких поселений, ему предстояло шагать каменистой почвой недоброжелательного Ирана. Но его давние друзья-курды помогут перемахнуть Суэцкий канал, и тогда перед ним расстелятся знойные, одуряющие пески Египта. Пирамиды промелькнут, точно кадры немого кино, и Африка замелькает со скоростью пленки, включенной на перемотку: Судан, Чад, Камерун, Нигерия, с неповторимыми по красоте просторами саванны, полными диких зверей и птиц.

И вот он на берегу океана, названного за неукротимый нрав Тихим, в Сиере-Леоне!

Гигантские волны катят свои воды к скалистым берегам. Все шторма будут его, все тайфуны, ураганы, смерчи! Все он перенесет, тысячи раз на нем будет сохнуть мокрая от пота рубаха и его взору предстанут Суринам, Венесуэла, Колумбия, Эквадор!

Он завершил Круг, проплыв мимо Хонсю, Хоккайдо, истоптав не одну пару ботинок в Индонезии, Сингапуре, пробороzdив Индийский океан, и вышел к величайшей на планете горе — Килиманджаро! Это он опоясал планету теми самыми шагами, которыми бил «пролетки» в этом каменном мешке. Опоясал!

Но нет же! Он все это время «сидел»! А Земля продолжала крутиться! И его камера крутилась вместе с Землей, и эта опротивевшая стальная дверь, и «попка», что на коридоре!!!

Вору на мгновение показалось, что и стена, и потолок, и пол, вздрогнули, а затем медленно поплыли вокруг своей оси, увеличивая вращение, и вот он уже висит вниз головой!

Но вниз головой к чему???

— А-а-а-а!!! — закричал он, — к че-му-у-у?

Он рухнул на бетон и стал царапать его ногтями.

«Как же много я потерял, и как много мог обрести, если бы все эти годы шел вокруг «шарика». Пересек бы пустыни, переплыл моря, перемахнул через горы, прошагал саванны, верхом на жирафе, с сиськастой туземкой!».

Стоп! Стоп! Стоп! Вот об этом он запрещал себе думать! Потому что становилось невыносимо больно.

В конце коридора возникли шорохи. Он мгновенно застыл и превратился в оцепеневшее изваяние. Он вслушался в них не только ушами, но и всеми порами усталого, измученного тела. Он ждал их весь день, безошибочно зная, что это произойдет сегодня. Он правильно расшифровал посланные ему знаки: заледеневшие капли-слезы и застрекотавшую сверчком технику.

У него еще оставалось немного времени, ровно столько, чтобы успеть вспомнить, и он усилием воли сумел взять себя в руки.

Итак, в детдоме у них была печь, большая круглая печка, топившаяся углем. Но никогда ему не доводилось слышать за ней сверчка. А вот в день, когда в актовом зале прошел суд, где на скамье подсудимых остриженный наголо сидел он, четырнадцатилетний, и судья вынес приговор, в наступившей тишине он ясно расслышал его стрекотню.

Кривая усмешка на веснушчатом лице Лизы, школьной его любви, так и застыла в укорищенной гримасе:

— Тоже мне, капитан дальнего плавания!

Он ведь ей все уши прожужжал про водоизмещения судов, остойчивости, кренах, шпангаутах и еще куче ненужной ей чепухи. А главное, обещал показать ей море, которое он нарисовал в ее тетради синим карандашом, и алое солнце, тонущее в горбатых волнах. И еще из «малолетки» уже поднаторевший в длинных письмах продолжал вешать ей «лапшу на уши» про далекие страны, где мужчины ходят в сомбреро с револьверами в кожаных кобурах, таверны со створчатыми дверьми, пахнущие вареными крабами и текилой, и верных женщин с большими, как у нее, глазами.

В чем он не обманул ее — так это в дальнем плавании, потому что «плавать» по лагерям ему пришлось долго и далеко, до самого Крайнего Севера... до этой последней камеры.

Из шума выделялись неясные обрывки фраз, приближающийся топот ног, слышалось бряцанье оружием.

Он все понял. Они шли за ним. То, чем пугали его люди в штатском, должно было произойти сегодня, сейчас.

Жалко стало, что не удалось домыслить концепцию спасения Балхаша. Он размышлял об этом много дней и ночей, потому что любил это озеро, так хищнически нынче уничтожаемое, а прежде вольное, полное дичи и рыбы. У него не было ни ручки, ни бумаги, он не мог изложить свои мысли в рукописном виде, но был убежден в том, что Балхаш необходимо возвращать под опеку государства.

«Частники погубят его», — размышлял он уныло.

— Руки в «кормушку», — прогремел приказ в проем гроыхнувшей дверцей «кормушки».

— Одеться можно? — с еще не гаснувшей надеждой спросил он.

— Не нужно!

Сердце его больно екнуло.

— Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, — прошептали губы вора беззвучно две строки из стихотворения Гения, со временем обретшие такую выпуклость и осязаемость, что иногда ему казалось, что эти две строки навалились на его худые плечи неподъемной тяжестью. Так же, как тот путник, он чувствовал себя полумертвым, бессильным и опустошенным, находившимся на самом раздразе внутренних утрызений, с великим трудом порой волочащим свое тело по камере, которую он давно уже с тоской в голосе величал пустыней. Не нажив за свою разбросанную жизнь ни земных благ, ни несметных сокровищ, он понял, что его время пришло, и сегодня он будет принесен в жертву на алтаре темного царства, называемого преступным миром.

Где-то глубоко в сердце что-то предательски дрогнуло, заскребло, защемило и потекло в душу, сумрачную, одинокую, сиротливо сжавшуюся.

И она, загнанная в угол, потерявшая надежду на спасение, вдруг пришла в ярость, зароптала от безысходности и обреченности своей, утерав веру в заботу Творца о своём творении. А ведь он был так привязан ко всему земному, ко всему греховному: роскошным казино, волооким девкам-русалкам, тугим пачкам «баксов», а главное, власти, страху, внушаемому им окружающим.

Ему показалось, что он тронулся с места, что двинулся к двери, он даже ощутил, как напряглись его мышцы и ступни ног согнулись в подъеме,

но на самом деле он все еще продолжал стоять на месте.

— Руки в «кормушку», арестант! — захрипел чей-то голос, неприятный, лающий.

Да как же там дальше? — в отчаянии воскликнул он, внутренне взрывая память мозга, ставшего вдруг неподвластным, будто эти строки могли спасти его или же отдалить его гибельный час.

— И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими, как сон,

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, — забормотал вор быстро-быстро, так скоро, точно мог не успеть их произнести и тогда случится непоправимое.

Тысячи, тысячи раз он произносил их, но ни разу еще серафим не являлся к нему, а в этот раз, в короткое мгновение он увидел его прямо перед собой — белого-белого и поразительно красивого, благородного, настоящего посланника Творца.

— И их наполнил шум и звон, — еще быстрее забормотал вор. — И внял я неба содроганье, — Ты будешь казнен за свои грехи! — услышал вор голос прекрасного серафима и содрогнулся его жестокости. Он призвал на помощь державшийся на грани помешательства рассудок и нашел в себе силы шагнуть. Для него было важно сделать этот шаг, потому что в том шаге теперь уместалась вся его прошедшая жизнь и не сделай он его, то оказалось бы, что он трус и тогда все прошлое потеряло бы смысл.

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход, — он заставил себя идти, хотя на самом деле он всего лишь тянул ноги по бетону, а железная дверь неожиданно стала

увеличиваться в размерах, пока не заполонила все пространство перед ним.

— И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

Он приник к стальной двери и просунул кисти в отверстие. Сухо щелкнули металлические наручники, больно, безжалостно сдавив суставы.

— И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрая змеи

В уста замершие мои, — скороговоркой протараторил вор, заглушая скрежет замка. Дверь распахнулась. Он обернулся. На пороге стояли трое громил в масках с автоматами наперевес. Из-за их спин выглядывал незнакомый ему «попка». На лице «попки» лежала печать равнодушия.

«Ты поедешь со мной? Не оставишь меня одного?» — мысленно успел спросить он серафима, но ответа не расслышал.

Передний громила сделал шаг и набросил ему на голову черный мешок. Его бесцеремонно схватили под руки и быстро, почти бегом повели по коридору. Память на всякий случай автоматически фиксировала повороты, количество ступенек вверх.

Они пробежали четырнадцать шагов по двору и его с разбега закинули в «бусик», то, что это был «бусик», он понял потому, как протащились по полозьям дверь.

Чей-то голос скомандовал:

— Поехали!

Автобус резво тронулся с места и выехал из зоны, не остановившись даже на «вахте».

«Все продумали, до мелочей», — догадался он, и сердце его снова торкнулось в груди, при мысли, что на всем белом свете никто, никто не сможет ему помочь. Стало невыносимо тоскливо.

Он почувствовал сигаретный дым, и ему нестерпимо захотелось курить.

«Ах, если бы не наручники и не повязка на глазах! Тогда бы он поборолся за свою жизнь! Можно бы одним рывком упасть на руль и направить автобус на «таран» в идущий встречный большегрузник. А так! В таком положении ничего не сделать! Эх!!!».

Ехали долго, он чувствовал, как скрипит снег под колесами автомобиля.

«Раз не дали одеться, значит, везут кончать!»

Сейчас завезут подальше от дороги в лес, в этих подмосковных краях вдоль трассы раскинуты множество березовых колков, и там наступит конец.

А может, все-таки нет! Еще не все? Вдруг его везут в столицу к какой-нибудь важной шишке?».

От волнения стало зябко и неожиданно затошнило. Он вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Словно от странного предчувствия, ставший его постоянным спутником голод скрутился где-то в лабиринтах кишечника и утих в ожидании.

Он давно уже позабыл вкус нормальной пищи. За две тысячи дней ему ни разу не передавали передачу с воли. Но если бы случилось чудо, и она оказалась в его руках, он бы ни за что не стал ее есть, потому что еще в начале своего заточения, наложил жестокое табу на то, чтобы даже думать или мечтать, или хотеть этого. Потому что знал, как быстро привыкает человеческий желудок к хорошей, вкусной пище.

Конвоиры ехали молча, лишь водитель чему-то ругнулся, и вновь в салоне наступила тишина.

«Жалко, что матери не успел поставить надгробный камень», — протащилась, простонала мысль.

Перед тем как «сесть» в этот раз, ему удалось разыскать ее могилку, заброшенную, с покосившейся, почерневшей от дождей и солнца доской в изголовье.

Он совсем ее не помнил, но иногда ему казалось, что он знал ее. И хотя у него никогда не было ее карточки, она представлялась ему высокой, стройной, с черной, тугой косой до пояса и отчего-то босоногой, бегущей посреди пенящегося ковыля.

Откуда-то из глубины изболевшегося сердца, словно осевший давно ил, стали подниматься к горлу чистые слова, сложенные им самим:

Так получилось, не успел проститься,
Терзает запоздалая вина.
Минувшее, увы, не повторится,
Лишь память сохраняет письмена.
Сестрица-ночь, позволь мне возвратиться
В волшебный мир чарующего сна,
Где лучшее из прошлого мне снится
И ждет меня старушка у окна.

Жесткий, колючий волосок от мешка вместе с вдохом влетал ему в нос и отвратительно щекотал внутри, добавляя горечи к смертельному путешествию.

Машину резко качнуло, и он сильно ударился боком.

«Свернули с дороги», — осенила мысль.

Эта мысль ужаснула его, потому что последняя надежда погасла, точно свечка, задутая на продувном ветру.

Теперь они ехали, пробиваясь через сугробы. «Бусик» швыряло из стороны в сторону, и его мотало, словно тряпичную куклу.

Неожиданно автобус встал будто вкопанный.

«В перемет влетел», — догадался он.

— Сука, в перемет залетел, — раздался голос, который мог принадлежать водителю.

— И что ты предлагаешь? Пробуй на реверс!

«Бусик» взвыл и дернулся назад, но колеса с чудовищной скоростью просвистели на месте.

— Давай вперед! — прохрипел тот же голос.

— Д-д-даю!

Машина вновь взревела и скакнула, но напрасно, перемет насмерть вцепился в технику.

— Раскачкой! — не унимался хриплый.

Но все было бесполезно, «бусик» встал.

— Надо толкать! — безапелляционно заявил водитель.

— Толкать? А где были твои глаза, когда ты в перемет влетал?

— Вы мне дали маршрут, и я ехал по нему, — огрызнулся водитель.

— Маршрут? Закопать тебя вместе с ним, — вырвалось из булькающего горла «хрипатого».

Раздался громкий хлопок, напоминающий удар ладони по плечу, и тут же ответ звереющего хрипача:

— Да ладно, какая разница, все равно через минуту хлопнем его!

— Я всегда говорил, что ты мудила законченный, никогда не скажи гоп, пока не перепрыгнешь!

— Фули ты все учишь, — взвился, беленея от злости, голос «хрипатого».

— Не ори! Выходи, давай, толкать будем, — скомандовал голос старшего.

— Че выходи? Тогда и его выводи, хоть напоследок польза от него будет.

«Какая же сволочь этот «хрипатый», полный отморозок! Надо же додуматься, чтобы я своим убийцам толкал этот гребаный автобус!», — все внутри вора вскипело и заклокотало от бессильной ярости, требуя выхода.

— Тебе надо, ты и выводи! — безразлично произнес старший.

Чувствовалось, что ему неприятна вся эта процедура возни с приговоренным неизвестным арестантом, к которому он лично ничего враждебного не испытывал, просто он должен сделать свою работу и быстрее вернуться домой.

«Дома, наверное, его ждет жена с наготовленными пельменями, а дети ожидают папу, чтобы показать ему выполненное домашнее задание», — подумал вор.

Сильный удар прикладом автомата в плечо опрокинул его на пол.

— Поднимайся, скотина, выходи автобус толкать, — голос «хрипатого» остервенел.

С трудом собрав больные колени вместе, вор разогнул спину и выпрямился во весь рост в полной темноте.

Стоять в кромешной тьме, ничего не видя, перед разгулявшимся в безнаказанности извергом было страшно. Связки в коленках отказывались держать их, и они предательски подгибались, но он усилием воли напряг мышцы и вынудил суставы выпрямиться. Он ждал еще ударов, но их не последовало.

— Еще раз коснешься меня, сука, я тебя и на том свете разыщу! — произнес он отчетливо, чеканно.

В салон «бусика» залетел противный, колющий ветер. Он почувствовал его на своей неприкрытой тонкой, лагерьной курткой с надписью «изолятор» на груди.

— Что ты сказал? Ты хоть понял, воровское отродье, что я тебя привез сюда на «исполнение»?

— Я давно все понял, хрипатый. Делай быстрее свое дело, у тебя уже пуля в стволе притомилась, — голос его чуть заметно дрогнул, потому что именно в эту секунду он отчетливо, до ослепительного врыва в мозг осознал собственное положение.

— Оставь его, пошли толкать! — заревел медведем голос старшего. Застучали тяжелые каблуки по полу «бусика» и пол взметнулся вверх, освободившись от громадной тяжести тела выпрыгнувшего на снег «хрипатого».

— Р-р-раз, два, взяли!
— Р-р-раз, два, взяли!
— И-и-р-р-раз!
— И-и-р-р-раз!

Двигатель надсадно подвывал, но все было тщетно, колеса вхолостую шлифовали снег.

Он прислонился головой к обивке и стал тереться в надежде зацепить ткань мешка обо что-нибудь острое. Но напрасно, поверхность обшивки была гладкой. Тогда он упал на пол и стал ощупывать головой окружающие предметы. Наконец, он уткнулся в выступивший из гнезда шуруп, и плотно прижавшись к нему, потянул с себя мешок, втягивая голову в плечи. Мешок сполз с лица, и он увидел резанувший глаза свет.

Он поднялся и сел на сиденье. Спиной к нему, выглядывая в полуоткрытую дверь, жал на газ водитель, одетый в теплую, камуфляжную куртку.

Он осмотрелся по сторонам. За окном уже серело и буранило, справа простиралась занесенная сугробами степь, ни огонька, слева березовый колок.

«Тут, в леске, они хотят кончать меня», — подумал он. — «Бежать! Но как!», — руки в наручниках за спиной затекли, он их почти не чувствовал.

«Если бы удалось сбросить «браслеты», тогда можно было бы прихватить «водилу», зацепить его ствол».

В это самое время «бусик», словно разгадав дерзкие мысли арестанта, легко освободился из плена и плавно выехал из перемета. А в голове вора, словно потемневший от лет медный набат, зазвучал голос серафима:

— Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

«О, Аллах, да ведь серафим здесь! Он где-то рядом, но я его теперь почему-то не вижу! Видно, он не показывается мне из-за моих грешных мыслей «прихватить» водилу, но ведь я должен как-то защитить жизнь мою? Ведь это он диктует мне эти строки Гения.. Но для чего? Может он хочет *убрать из меня все грешное, открывает мне глаза, уши, даёт мудрый язык, думающее сердце, но почему же так поздно? И зачем оно мне сейчас?*

В голове вора завихрились, завертелись и вызрели тексты:

«Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника.

И коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен».

«Но если грех мой очищен, значит, они не убьют меня? А если убьют, то они твари подколодные!» — воскликнул про себя вор, и тут же услышал ясно в ответ:

«Бог не желает этого ожесточения твоего, но предвидит его, таящегося в глубине сердца, и ускоряет Суд!».

— Я вывожу его! Уже темнеет. Давай здесь его и кончим! — услышал он голос «хрипатого».

Сердце вора трепыхнулось и стало вместе с кровью толчками выбрасывать в пульсирующий мозг строки письма Господнего: « .. и ушами с трудом слышат, и очи они сомкнули, и не уразумеют сердцем...».

Громила возник в дверном проеме, и они встретились глаза в глаза.

Щеки «хрипатого» покраснелись от напряженных усилий, с узкого лба струился мутноватый пот. Бесцветные зрачки с красными прожилками на мгновение расширились, «хрипатый» суетливо

схватился рукой за свою маску и спешно натянул ее себе на лицо. Он бросился к арестанту, схватил его за шиворот и поволок к двери.

— Ведите в глубь леса! — скомандовал старший.

«Хрипатый» подтолкнул арестанта в спину стволом автомата.

— Пошел!

Вор пошел в сторону колка, по щиколотку проваливаясь в снег. Он шел и глубоко дышал, втягивая в себя пьянящий, густой воздух, наблюдая за тем, как с каждым шагом приближаются березы.

«Замерзли!» — подумал он. — «Все в природе зимой застывает в ожидании весны. Жаль, что не успел перевести оставшиеся шесть строк из «Пророка» великого Пушкина».

Вот уже два года прошло с тех пор, как он, прежде не владевший родным, казахским языком, взялся за перевод «Пророка» с русского на казахский.

Работа осложнялась тем, что некуда было записывать переведенные строчки, была лишь книга Гения, да еще и зрение подводило.

Предыдущим сроком врач поставил ему диагноз — отслоение сетчатки! — и все не нашлось времени, будучи на свободе, сделать нужную операцию.

Поэтому он изобрёл схему, сложную, но единственно верную в его положении. Он прочитывал фразу из общего текста, затем разбирал в уме смысл каждого слова. Он настырно искал потаенный клад в них, придавая им порой по несколько осмыслений. И только удовлетворившись, начинал выкладывать ее уже в переводе. А когда окончательно убеждался в том, что фраза уже никогда не выпадет из его памяти, переходил к следующей, но перед тем вновь,

вслух цитировал предыдущую, четко, с хорошо выверенной дикцией.

Так изо дня в день, черепашными шагами, он перевел от фразы первой до фразы двадцать четвертой.

А теперь вот, когда оставалось досидеть всего сто девяносто дней и перевести оставшиеся шесть фраз, расстояние до берез сократилось в каких-нибудь тридцать шагов. Вся его прошлая и настоящая Жизнь приняла другой отчет времени, Будущее должно было исчезнуть, раствориться через несколько минут.

Перед глазами потекли участливые лица друзей, малютки-дочки, разбросанные, точно изогнутые крылья чаек, черные брови жены, лица коллег-воров, из тех, кто был близок ему по духу.

Он оглянулся назад. Громилы в масках с автоматами наперевес гуськом тянулись следом по снегу, ступая нога в ногу.

— Волки! — подумал он с тоской.

Он уже шагал среди берёз, глазами выискивая ту, единственную, к которой бы ему прислониться спиной. Взгляду приглянулась высокая, прямая, вытянувшаяся к небу березка, с тонкой, белоснежной корой, и как показалась ему, немного озябшая!

— Сейчас я отопрею тебя, насколько успею, — прошептал он и, сделав еще несколько шагов, подошел к ней вплотную, а затем развернулся и плотно прижался спиной.

От берез падали длинные, прямые тени, и его прижавшаяся к дереву фигура тоже отбрасывала ее. Он с болью подумал о том, что когда его убьют, от него не останется и этого загадочного отображения, потому что оно исчезнет вместе с ним.

Где-то далеко от этого колка его жена, наверное, расчесывает дочурке шелковистые волосы перед

сном, рассказывая на ночь добрую сказку, и на ее вопрос о папе, украдкой, смахнув набежавшую слезу, с запинкой отвечает:

— Папа в море, он ведь у нас... капитан дальнего плавания! Но он скоро, уже совсем скоро приедет...

Где-то рождались и умирали, новобрачные спешили в постель к ласкам в своей первой брачной ночи, политики плели хитрые, точно паутина, интриги, мчались по ночным автострадам шикарные автомобили, а кто-то с протянутой рукой стоял на обочине дороги, в надежде на подаяние.

— Не я первый и не я последний! — подумал он, — такая уж мне выпала карта.

Громилы подняли автоматы.

«но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остаётся корень их, так святое семя будет корнем её», — он и сам не понял, что произнес про себя в уме, но осознал, что подумал о чем-то НЕЧТО важном напоследок, а скорее всего он подумал о дочке, лицо которой он и не смог бы вспомнить, знал только, что она стала еще забавней.

— Мешок надеть? — спросил старший как-то просто, по-бытовому.

— Нет! Не нужно! — покачал он головой.

— У нас это идет как акт милосердия, чтобы не так страшно было, — почти добродушно и опять буднично пробасил старший.

— Это вам должно быть страшно, я людей в своей жизни не убивал, — ответил он.

— У нас работа такая. Готовсь! — скомандовал старший.

Громилы передернули затворы.

«Израиль не будет истреблён окончательно, но возродится, подобно срубленному дереву, сохраняющему в корнях силу жизни для новых побегов», — пронеслись в мозгу строки писания,



и, не желая оставаться в нем, через секунду убитом, понеслись вдаль, за застывший перелесок. Так ему показалось. Он вскинул голову и посмотрел в три черных, холодных отверстия.

— «Старшой»! Был приказ поставить его на колени! — заартачился «хрипатый». Он никак не хотел униматься.

— «Старшой»! На колени я не встану, имей это в виду! — непоколебимо вымолвил обреченный.

— Встанешь! Еще как встанешь!

«Хрипатый» нажал на курок. Автоматная очередь прошла поверх его головы. Две срезанные тоненькие веточки с замерзшими, крохотными почками упали на сугроб к его ногам.

Он посмотрел на них, еще миг назад живших на теле матери-березы, а теперь умерших и сиротливо лежащих на девственно белой поверхности, чуть колыхаясь под порывами ветра, грозящего унести их в безвестность, и сердце вора наполнилось необъяснимой жалостью к ним.

Загрохотала вторая очередь, за ней третья, четвертая, горячие пули пели прямо у лица, и он чувствовал их обжигающий жар, но не отрывал взора от веточек. Они словно давали ему силы, потому что хотелось сжаться в комочек, упасть, поползти, зареветь громко навзрыд и биться в истерике головой о снег! Потому что ему не хотелось умереть вот так же просто, как эти беззащитные веточки.

И он выстоял! Он продолжал стоять прямо, сожалея, сочувствуя собственному телу, подвергнувшемуся на протяжении двух тысяч дней и ночей страданиям, унижениям, голоду, холоду, тишине, а теперь вот расстрелу, и все это из-за нерадивости хозяина.

Телефонный звонок, раздавшийся посреди колка, резанул его сердце страшней, чем выстрелы. Он оказался совсем чужим, посторонним и даже

отвлекающим и оттого досадным звуком и для убийц, и для жертвы.

Но он звонил настойчиво и надрывно!

— Алло! — пробасил «старшой» голосом заспанным и недовольным, как человек, которого разбудили во время чуждого, светлого сна.

— Да, да, слушаю! — «старшой» как-то бочком угловато, кособочась побежал по лесу кругами и вплотную приблизился к расстреливаемому.

— Плохо слышно, осподин енерал! Отставить исполнение? Как отставить? Еще раз повторите приказ, тут метель, плохо слышно. Понял! Вот теперь все отчетливо понял, повторяю:

— Отставить исполнение, вернуть на место! Есть, осподин енерал!

«Старшой» остановился напротив него и устало стянул с себя маску. Он, шатаясь, шагнул к арестанту и положил ему руку на плечо.

— Ну, брат, ты в рубашке родился! Видишь, звонят из столицы, из самого верха! — тут он закатил глаза к небу, на котором не было ни единой, даже самой тусклой звездочки, будто бы им было стыдно проступить на нем, чтобы не видеть происходящее внизу, на земле.

— Одним словом, поехали назад, — вымолвил «старшой», выдохнул, выталкивая застоявшийся злой воздух из груди, и уже вовсе мирно произнес:

— Ну и нервы у тебя, парень, до тебя с одним тут... были... так он, обмочился... бедный!

— Ха-ха-ха-ха! — заржал «хрипатый».

— Ты, злобный пес! И не приведи Господь нам с тобой пересечься! — тихо предостерег вор злодея.

«Старшой» с улыбкой подтолкнул его легонько рукой, и они мирно потянулись из леса, точно лесорубы, возвращающиеся после тяжелой работы.

Позже, когда они возвращались в «бусике» назад, в зону, «старшой» потянул его на заднее сиденье.

— Руки тебе не могу расковать, будет нарушением инструкции, а вот сигаретой угошу. «Старшой» оказался крепким мужиком лет сорока с обыкновенным лицом, с глубоко посаженными в глазницы глазами серого цвета, незлыми, но скорей безучастными, и все же искорка крестьянского любопытства с присущей ему хитринкой промелькнула в них.

— За что тебя они? — он ткнул пальцем в направлении потолка «бусика», — хотели «списать»?

— За то, что я вор, — ответил он неохотно.

— Законник что ли?

— Угу.

— А зачем тебе оно надо? Что оно дает?

— Это моя судьба, Вам этого не понять...

«Старшой» прикурил сигарету и сунул ему в рот.

— Кури. Такое пережить. Как зовут-то тебя?

— Это неважно, зачем нам знакомиться?

— И то правильно. Ладно, сиди тут, — мужик поднялся и прошел к своим товарищам.

Когда автобус въехал в озаренную фонарями, точно гирляндами, зону, уже окончательно стемнело. Тем же быстрым шагом, почти бегом его провели в камеру и закрыли за ним дверь.

Он стоял посреди каменной своей пустыни, обводя взглядом унылое жилище с нехитрыми, знакомыми пожитками, как вдруг почувствовал, что сердце его радостно встрепенулось при виде томика Гения.

Не переведенные шесть фраз:

— Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей», — точно впечатались в него каленым железом и теперь нестерпимо жгли внутренности, но вор вдруг громко и счастливо рассмеялся.

После всего, что произошло с ним, он отчетливо понял, что он всего лишь простой смертный, и такие страдания не могут пройти для него бесследно. Он понял, что все эти замороженные годы он томился от бездуховности своего сердца и, если ему суждено будет вернуться к своим прежним земным благам, он уже не сможет жить той, обычной, беззаботной жизнью. Он чувствовал, как в нем, набухая, словно тесто, поставленное в жаркую духовку, зарождалось начало Воскрешения другого человека, Всепрощающего!

Сто девяносто дней проскрипят, проноют, будто зубная боль. Каждый прожитый им день будет состоять из тридцати трех тысяч шестиста шагов, а месяц из одного миллиона восьми. И за оставшееся, отмерянное приговором время, будет суждено прошагать ему, еще ни много ни мало, а шесть тысяч триста восемьдесят четыре шага или шесть тысяч триста восемьдесят четыре километра.

А потом наступит для него долгожданная, вымученная свобода, и он будет счастлив, деля радость с друзьями, маленькой дочкой, верной женой и никому, никогда не расскажет о том дне.

Пройдут годы, и однажды, будучи на охоте, им с «хрипатым» суждено будет встретиться в голой, желтой, безлюдной, ветреной степи.

Пытаясь срезать крюк, он заблудится на змеистых степных дорогах, и неожиданно увидит невдалеке пылившую, одинокую машину. Нажав на газ, он легко преодолеет расстояние, разделявшее их, и нагонит потрепанную, выдавшую виды «Тойоту». Лицо водителя покажется

ему очень, до боли знакомым, он напряжется и вспомнит все до мелочей.

Тот тоже все вспомнит, и с мольбой взглянет в глаза вора и, осознавая свою безысходность, молча опустит голову. Голубые, потертые джинсы на нем стремительно потемнеют от несдерживаемой в страхе за свою жизнь жидкости.

— Прости! — хрипло, на выдохе попросит гигант.

Вор с отвращением отвернется, сядет в джип и нажмет на газ.

«Хрипатый» посмотрит на свои набухшие штаны, переведет взгляд на шлейф пыли, поднимающийся к небу, и будет глядеть до тех пор, пока пылевой столб не рассеется у горизонта.



АСЫКИ

Белое солнце, казалось, решило сегодня изжарить все живое в этой забытой богом стороне. С тех пор, как с лица земли исчез аул, степь тут оскудела и гляделась бессмысленной. Унылая, тихая и заброшенная, она покорно плавилась в низвергнутом на нее зное. Давно куда-то разбрелось зверье, откочевали веселые сурки, и только одинокая серая гадюка притянула к себе зоркий взор сидящего на вершине каменного балбала черноголового беркута.

Некоторое время он не сводил с нее взгляда, наблюдая за тем, как она ползет прямо на него, но прилетевший издалека новый звук отвлек его внимание.

Взбивая ленивую, легкую пыль по степи медленно тащилась машина.

Старый беркут стал с любопытством наблюдать за ней. Из задней двери на землю осторожно ступил человек с палочкой в руке.

Он долго стоял неподвижно, точно превратился в такой же камень, на котором сидел беркут, игривый ветерок, словно перебирая, играл длинными, ниспадавшими на плечи редкими белыми прядями старика и высекал из его глаз скупую, неподдельную влагу.

Наконец, он едва заметно шевельнулся, сдвигаясь с оси, а затем робко, будто это был его первый в жизни шаг, шагнул в направлении птицы.

Старик двигался очень медленно, заметно припадая на одну ногу, отчего фигура его перекашивалась, а свободная рука вскидывалась вверх, будто взмахивала, что глядящему на него неотрывно беркуту, казалось, что он зависает в дрожащем мареве, в попытке оторваться от земли.

А в машине сидевший за рулем верзила вдруг широко зевнул и, сморщив лицо, будто хлебнул ядовитого зелья, недовольно проговорил:

— Станный какой-то он. Всю дорогу молчит, ни единого слова не вымолвил. Куда едем, зачем? — ничего непонятно.

— Шеф приказал, чтобы я берег его, как зеницу ока. Говорят, что он очень богат.

— Как его зовут? — спросил водитель телохранителя, широкоплечего парня с печатью интеллекта на лице.

— Рене, — отозвался телохранитель, — Рене Лекрер.

— Так это же французское имя! — воскликнул удивленный верзила.

— А он и есть француз.

— Да какой же он француз? Чистой воды кочевник!

— Да, по национальности он казах, и причем из этих мест, но он уже много лет гражданин Франции и соответственно имя у него французское.

— Да... Загадочный старик, — произнес водитель.

— Вообще-то, жизнь у него сложилась не сахарная.

— Ты откуда знаешь о его жизни? — удивился парень за рулем.

— Знаю. Я читал его досье. Шеф мне дал изучить.

— И что же в нем интересного?

— В тридцать седьмом году перешел границу и ушел в Китай. Оттуда он перебрался во Францию. Работал в угольной шахте на севере Франции, а когда ее оккупировали немцы, он оказался в рядах французского Сопротивления. Воевал, пока Францию не освободили союзные войска. Дальше в его биографии белое пятно, а в пятидесятых

годах он обнаруживается в качестве моряка, на рыболовецком судне, плавающем под английским флагом. Далее идет информация, что он зарабатывал себе на жизнь боксером в дешевых кабаках.

— Как это?

— В те годы в портовых городах Англии, в кабаках, устраивали боксерские бои, где бойцам неплохо платили, так вот старик там подрабатывал.

— А дальше что? — с нетерпением спросил заинтригованный верзила.

— Дальше в досье написано, что он был надсмотрщиком на сахарных плантациях на Кубе, затем его занесло в Сьерре Леоне, там он занимался контрабандой алмазов и стал капитаном у бандитов. В досье особо отмечается, что старик наш отличается великой кровожадностью и чрезвычайно подозрителен.

— Ого!

— Вот тебе и ого!

— Так сколько ему лет?

— Восемьдесят.

— Да-а-а, видать, помирать приехал...

— Нет. Он еще тебя переживет. Это старый волк. Он и в тюрьме сидел. Сейчас он владелец нескольких алмазных месторождений в Африке, имеет сеть ювелирных магазинов во Франции, Англии, Бельгии, Германии.

— Ничего себе! Вот тебе и старик!

— А ты говоришь!

— А лопату для чего он велел положить в машину?

— Для чего-для чего, поживем — увидим.

Как ни медленно шел старик к балбалу, пока двое сопровождавших его парней обсуждали его прошлое, он вплотную подошел к сидящему на камне беркуту и вновь застыл, словно вкопанный.

Человек и птица внимательно рассматривали друг друга. Немало повидавший за свою жизнь старый беркут еще не встречал на своем пути такого странного человека, столь смело глядевшего бы ему в орлиные очи.

На старике была необычная для этих мест одежда. Длинная бледно-голубая рубаха на нем спускалась до самых колен, белые мятые штаны лежали на мягких молочных мокалинах, голову прикрывала легкая голубая шляпа с широкими полями, а с сухой морщинистой шеи до самой груди свисали крупные бусы из мутных белесых алмазов. Инкрустированная дорогими камнями, сверкавшими больно для глаз, палка старика тоже притягивала к себе взор птицы. Весь вид беловолосого человека говорил умудренному опыту беркуту, что он его не боится, и тогда он решил, что ему благоразумней будет покинуть этот нагретый на солнце камень и с высоты понаблюдать за тем, как станут развиваться события дальше.

Птица с шумом расправила широкие крылья, еще раз, напоследок, внимательно вгляделась в зрачки старика, и не увидев в них испуга, легко и плавно взмахнула, взмывая в обжигающий воздух.

Старик неподвижно остался стоять у каменного балбала. Он слушал тишину степи и размышлял о бренности жизни.

К этим тягучим, надсадно звенящим в голове мыслям натолкнул его этот затерянный в степи идол, с незатейливо вырезанными на нем чертами человеческого лица.

Сколько веков он стоит так?

Рене помнил, как он, будучи еще маленьким, босоногим пацаном, прибегал сюда всякий раз, когда его мальчишескую грудь волновали не имеющие ответа многочисленные вопросы.

Вот и тогда он стоял напротив этого застывшего во времени идола и так же, как и теперь, напряженно размышлял.

Жизнь, его жизнь прошла, улетела под колеса мчащегося под гору поезда, того самого, по крыше которого он бежал, перепрыгивая с вагона на вагон, уходя от преследования его беспощадными черными бандитами. Тогда он и повредил свою ногу, что, впрочем, не помешало ему иметь много красивых женщин, белых, желтых, черных и даже краснокожую индейку, приехавшую откуда-то из резервации в кишаший людьми Нью-Йорк.

Всю свою жизнь, состоявшую из стремительно меняющихся полос: полоса светлая, полоса черная, Рене отдал стремлению стать богатым и, наконец, к концу жизни стал им.

Он богател, затем разорялся, вновь обретал золото, камни и снова пускался в бега, уходя от закона, контрабандистов, сотни и сотни раз рискуя своей головой, оттого и ставшей такой выбеленной. И вот он теперь, впервые за шестьдесят минувших лет, вернулся на ту самую землю, над которой когда-то ему перерезала пуповину мать и на которую пролилась его невинная кровь. Здесь он впервые поднялся на шаткие ножки, тут, в этой степи, его подхватили, взметая кверху, сильные отцовские руки и усадили в седло. Вон там, в той стороне, если он не ошибается, в старые времена, раскидавшись вольно, пестрел его аул. Где бы он не был, повсюду, куда забрасывала его судьба — самой величественной музыкой — текли чередуясь, в его уши ржанье далеких коней, блеянье овец, сердитые выкрики табунщиков, лай аульных собак и ласковые, идущие к нему через годы окрики матери, спасающие его от опасности.

Опасность потом стала его привычным образом жизни, его вечно преследующей тенью. Но тогда, тогда он, стараясь не расплескать,

брал кумыс, налитый в большое деревянное кесе из пахнущих теплом материнских рук и пил его большими, жадными глотками, а мама ему говорила, точно ворковала слова нежные, какие позже он слышал только от своей возлюбленной Арай. Она желала ему жизни белой, подобной кумысу в чаше, без невзгод и страданий и чтобы она могла бы передать эстафету заботы о нем девушке с белым характером, которую он когда-нибудь полюбит. Он засыпал усталый у нее на коленях, видел чудесные, разноцветные сны и был необыкновенно счастлив от своей надежной защищенности.

Позже, через много лет, в чужих странах он будет слышать режущие его слух звуки и невыносимо страдать от них: дикого хохота обезьян, протяжного рева слонов, отвратительного визга шакалов, могучего рычания львов — но всегда их будут перекрывать чарующие звуки вечернего, дремотного аула и вот этой самой степи, тогда еще удивительно многоголосой.

— Ну, скажи же мне, камень-балбал, ты видел на своем веку множество людских судеб, видел тумены воинов, идущих на край света покорять другие народы. Они привязывали к длинному хвосту лошади безвольных рабов, приторачивали к седлу корзины, наполненные золотом, так разве же я делал в своей жизни не то же самое? Скажи же, ну почему ты молчишь? Ты зриаешь на меня с укоризной, той самой, которая и так изгрызла мое сердце на протяжении этих долгих восьмидесяти лет, которая, словно червь, источила всего меня изнутри, заставляя всякий раз леденеть кровь, при мысли, что умру, так и не узнав главную свою тайну. Я ведь только за этим притащился сюда, чтобы собственноручно разрыть тайник и взглянуть, убедиться, что напрасно поедал себя, будто каннибал-самоед, и длинными, душными

африканскими ночами кусал свое тело до боли и хрипел от бессилия. Ну скажи мне, балбал, скажи, не щадя моего самолюбия, что я человек, ради золота покинувший отчий дом, возлюбленную и потративший во имя возлелеянной гордыней мании разбогатеть собственную жизнь, достоин жалкого презрения! Я так и не обзавелся детьми, потому что ни разу никого не полюбил так, как когда-то полюбил свою Арай, да и какая она моя, просто я с годами так привык ее называть, потому что от этого мне было немного легче.

О, Аллах, даже хадж, совершенный мною в Святейшую Мекку, не принес мне желанного покоя, видно, нет его для меня на земле, столь тяжки мои грехи! Их мог бы простить мне только один человек — моя мама! Но ее уже много лет нет в живых, равно как и отца и других моих родичей и соплеменников. Не погонись я за богатством, не поставь перед собой этой навеянной шайтаном цели, я бы прожил свою жизнь в объятьях любимой Арай, родил и воспитал детей, продолжая род атыгаев, собственноручно предал земле маму.. Эх! — старик Рене почувствовал, как по щеке его катится скупая слеза.

Ему стало стыдно перед собой, и он принялся ругать себя и стыдить.

— Надо же, вместо того, чтобы благодарить Всевышнего за то, что он предоставил мне эту возможность на закате лет побывать в родных краях, прослезился, подобно женщине, оставшейся без мужа, подобно верблюжонку, потерявшему мать, подобно жеребенку, отбившемуся от табуна!

Он достал из кармана дорогую трубку, вырубленную из драгоценного самшитового дерева, и сунул ее в рот. Вот уже два года после совершения хаджа он перестал дымить, но от приобретенной в бытность им моряком привычки вертеть в руках трубку, так и не смог отказаться.

В тридцать седьмом он ушел из дома, темной ночью попрощавшись с Арай и закопав в землю золотые асыки. Он выкопал на углу дома небольшое углубление в земле и положил туда завернутые в тряпицу, отлитые из чистого золота заветные асыки, доставшиеся ему через седьмое поколение по принципу от отца к сыну.

Но как же это было?

— Арай! — сказал он ей. — Моя любимая Арай, слушай и не перечь мне, я кладу в землю эти два золотых асыка как залог нашей чистой любви друг к другу. Я клянусь тебе, что где бы я ни был, буду любить тебя и рано или поздно, если буду жив, обязательно вернусь сюда и раскопаю их. Если асыки будут лежать на месте, я буду знать, что ты меня все еще любишь и разыщу тебя! Но если ты когда-нибудь разлюбишь меня, тогда сама раскопай в этом месте и возьми их оба себе, потому что без твоей любви они мне не нужны.

Рене вдруг явственно услышал прошелестевший в ушах тонкий, чистый голос Арай, прозвучавший много-много лет назад:

— Ты все же уходишь, не передумал?

— Нет, не передумал. Меня впереди ждут далекие страны, я стану богатым, а потом приеду за тобой и заберу тебя отсюда.

— А что же будет с твоими родителями? Они же иссохнут от тоски...

— Ничего, поначалу, конечно, мама будет плакать, но потом привыкнет. А отец, он же мужчина и потому поймет меня, — так и сказал он шестьдесят лет тому назад в ночи.

— Нет мне прощения! — Рене скрипнул зубами так сильно, что в ушах его словно лопнула пленка, и он вновь услышал ее просьбу, нет, не просьбу — мольбу!

— Не уезжай, мой любимый, не бросай меня одну!

Через две недели после того, как он тайно пересек границу Китая, арестовали его отца, который, как позже, через годы узнал он, так и сгинул в подвалах НКВД. А мама, мама в слезах, в тоске провела отпущенные ей судьбой годы, и, как ему удалось выяснить, умерла вскоре после разразившегося в ее жизни горя!

Рене задрал голову кверху и увидел над собой медленно плывущие в синеве неба облака и старого беркута, парившего над ним, широко распластав крылья.

— О жалган омир-ай! — прошептал он. — Жалган дуние! Ким билген козимнен осылай козимнин жасы емес, кан агады деп? Ким билген, осылай картайган итаяк секильды шал болып елиме келем деп? О, дуния! — плакал навзрыд Рене. Рот его искривился, побелевшие губы судорожно хватали воздух, а из глаз неудержимо текли и текли горячие слезы. Но вдруг он передернулся всем телом, что было силы, тряхнул головой и в тот же миг на лице его не осталось и следа от слез и переживаний, оно вновь стало холодным и надменным.

— Прощай, балбал! — произнес Рене негромко. — Сегодня ты стал очевидцем моего позора, моих слез, но это были слезы, копившиеся в груди шестьдесят лет, больше ты их не увидишь. Прощай, балбал!

Рене развернулся и зашагал прочь твердыми и широкими шагами.

— Во, старик возвращается! — воскликнул водитель.

— Не вздумай болтать лишнего, — предупредил телохранитель.

— Кажется, теперь и я стал что-то понимать, — не унимался сидевший за рулем парень, — видать, он как уехал тогда, так вот сегодня только и объявился здесь.

— Так я же тебе говорю..!

— Интересно, куда он теперь прикажет ехать?

— Увидим.

Рене влез в салон и концом палки тронул телохранителя.

— Едем! — приказал он, — вон туда! — он указал прямо перед собой.

Водитель запустил двигатель, и машина тронулась с места. Ехали недолго.

Рене внимательно вглядывался в степь, что-то бормотал про себя, озабоченно стучал концом трости себе по ладони и вдруг приказал остановиться.

— Вот тут! Останови!

Он вышел из машины и принялся расхаживать по степи, отыскивая только ему известные приметы. Он поднимал голову и глядел в сторону оставшегося позади балбала, затем двигался прямо на восток, возвращался назад и шел к западу и вновь возвращался. Так продолжалось около двух часов, и все это время удивленные водитель и телохранитель молча наблюдали за ним. Старый беркут неустанно продолжал выписывать огромные круги над стариком, как вдруг камнем стал падать на землю, и его увеличивающаяся тень заставила старика Рене вздрогнуть и отпрянуть в сторону.

Беркут сел у кромки заросшей старым чиём полянки и, раскидав крылья, все еще гневно клекотал, сверкая очами.

Рене некоторое время оторопело глядел на птицу, а затем повернулся и пошел к машине.

— Дайте лопату! — коротко приказал он.

Водитель, торопливо обежав машину, достал из багажника новую, сверкающую под солнцем лопату с отполированным черенком и протянул ее странному старику.

Рене взял инструмент и вновь, как и у балбала, двинулся прямо на птицу.

— Всевышний делает мне знак! О, Аллах, как же ты могущественен! Послав мне этого старого беркута, ты ведь с точностью указываешь мне, то самое место, куда я закопал асыки.

Он еще что-то, не переставая, бормотал, но, подойдя к беркуту, неожиданно резко выбросил из груди гортанные звуки: «Гху-гху- гху!».

И птица, точно выполнив главную, порученную ей миссию, покорно отошла в сторону, а Рене, не обращая на нее внимания, воткнул лопату в землю и принялся копать.

Утрамбованная дождями и выдутая ветрами земля была твердой, и он прикладывал немало усилий, чтобы углубиться в нее. На голубой рубашке вдоль спины, увеличиваясь, проступила темная полоса от пота.

— Я тебе говорю, он клад выкапывает! — воскликнул водитель.

— Не ори!

— Да, голову даю на отсечение!

— Не волнуйся, за этим дело не станет, если хоть один волосок его.. — телохранитель неожиданно прервался, он увидел, как старик наклонился над ямкой и что-то достает из нее.

В руках Рене возникла истлевшая, потерявшая цвет, свернутая тряпица, в один миг всколыхнувшая всю его застарелую память.

— Она! — пробормотал он — Это она! Она! Она!

Рука Рене, державшая сверток, затряслась крупной дрожью, точно он держал оголенный провод в ней, глаза расширились, соскользнувшая с головы шляпа покатила к нему под ноги, но он не замечал ее или не обращал на нее внимания, как вдруг тряпка выскользнула, и на землю полетели два тускло сверкнувших асыка.

— О-о-о-о! — закричал Рене и, рухнув, словно подкошенный на траву, стал кататься по ней взад-

вперед, точно перекасти-поле, а затем принялся кувыркатся через голову.

Пораженные парни, весь день готовые, казалось бы, ко всему, увидев эту картину, оторопели. То, что им привелось теперь наблюдать, отняло у них, здоровых, крепких молодых, всякую выдержку, и они сидели с открытыми ртами.

Рене подполз к асыкам и собрал их в ладонь. Он сидел на земле и неотрывно глядел на них.

— Арай! Арай! Арай! — беспрестанно повторял он ее имя. — Значит, ты все эти годы продолжала меня любить, даже когда уже никакой надежды не оставалось! Но разве такое возможно? — спрашивал Рене сам себя.

— Стало быть, возможно! Что ты можешь знать о женской любви, старый, гнусный червь! — ругался он. — Я найду ее! Я знаю, что она жива. Я ее найду! О, моя Арай! — стонал Рене, избивая при этом землю.

«Геленваген» остановился у перекошенного, вросшего в землю домика, с низкими, у самой травы, окнами.

Из машины долгое время никто не выходил. Но чувствовалось, что из-за тонированных стекол джипа за домиком ведется непрерывное наблюдение.

Вдруг дощатая дверь домика отворилась, и на пороге возникла высокая, стройная старуха, в белом платке на голове и длинной светлой юбке.

Черты лица ее, несмотря на возраст, еще не потеряли былой утонченности, а кожа сохраняла свежесть и белизну.

Она внимательно принялась рассматривать незнакомую машину, как неожиданно утратила интерес и стала удаляться.

И тогда из машины вышел Рене.

— Арай! — окликнул он ее.

— Арай!

Старуха оглянулась на призыв и вгляделась в незнакомца с палкой в руке. Она изучала его столь тщательно, что Рене было впору провалиться сквозь землю. Всю свою неудавшуюся жизнь перебрал он по косточкам за эти мгновения и, не выдерживая более напряжения, охватившего его, сдвинулся с места и направился к ней.

— Арай, это же я! Ты не узнаешь? — сокрушенно воскликнул он.

— Ерден! — прошептали истонченные губы старухи, и щеки ее стали пунцовыми.

— Мен билдим сен келетининде, мне бугин тус кордим! (Я знала, что ты придешь! Я сегодня сон видела).

— Арай! — Рене подошел к ней и опустился на колени. Он сидел перед ней со склоненною головой, и с высоты своего роста Арай видела, как содрогается его напряженная спина.

Она бросилась к нему с широко раскинутыми руками:

— Тур, ойбай, Ерден, тур! (Вставай, ойбай, Ерден, вставай!). Разве к лицу мужчине опускаться на колени перед женщиной, если только она не его мать! Поднимайся, идем в дом!

В голосе Арай звенели повелительные нотки. Она подняла Рене-Ердена под руки и повела его в распахнутую дверь.

Они сидели у окна, и Рене-Ерден бессознательно наблюдал за тем, как водитель протирает лобовое стекло машины. Мысли в его голове отяжелели и с трудом шевелились. Все слова, что он произносил вслух многие годы для этого случая, вдруг потеряли всякое значение, и теперь он размышлял над тем, что у него в Москве важные переговоры, и ему бы следовало поторопиться с возвращением. Его



планы с открытием в столице салонов возвращались к нему теперь с отчетливой ясностью. Он стал с умилением думать о тенистых аллеях Булонского леса, Мон-Мартре, любимой кафешке Ля-Шантре, своей вилле, о своих пятнистых охотничьих собаках, конях, привезенных им из Англии для разведения породы, о новой горничной, еще юной, но которая уже не прочь улечься в его одинокую постель, и усмехнулся человеческой непостоянности. Надо же! — подумал он. — Столько лет идти мысленно к ней как к божеству, преодолевая нищету, вонь дешевых портовых таверн, гибельные океанские шторма, уносить ноги прочь от воя полицейских сирен, возвращаться к жизни после ранений от осколков немецкой мины и пуль свирепых колумбийцев и теперь, когда она здесь, на расстоянии протянутой руки, искать причину, как бы ему поприличней распрощаться и быстрее уехать...

Ага! Вся причина крылась, оказывается, всего-то лишь в его неограниченном самолюбии, потому что всю жизнь его мучал вопрос, забыла она его или нет? А когда выяснилось, что она ждала его, интерес к ней тут же угас, будто он наткнулся на пересохший родник.

— Как ты жила все эти годы? — спросил он.

— Жила как все, вместе с народом.

— Ты хочешь уколоть меня, но не стоит этого делать, я уже сам съел себя и то, что ты видишь, это уже не я, а всего лишь мое тело, — на выдохе произнес Рене-Ерден.

— А знаешь, когда ты назвала меня по имени, я растерялся, ведь так меня никто уже не называл целых шестьдесят лет. Меня зовут Рене Лекрер.

— Не знаю, как там тебя зовут, хоть ты и машешь своей сверкающей палкой, но для меня ты как был Ерден, так им и остался, — произнесла сердито Арай. — Ты уже жалеешь, что проявил слабость и позволил себе приехать

ко мне. Женщины стареют быстрее, чем мужчины, хотя я же вижу, что и ты внутри весь изъеден, точно тебя выгрызли черви, но все еще продолжаешь хорохориться.

— Раньше ты не позволяла себе таких вольностей в разговоре со мной, — заметил Рене-Ерден.

— Раньше! — усмехнулась Арай, — ты о каких годах ведешь речь? Адамнын кумыры отте! (Человеческая жизнь прошла!). Первые годы, как ты уехал, я в мыслях называла тебя своим торе (господином), но постепенно, с годами стала позволять себе вольности, ругая тебя последними словами, а теперь вижу, что понапрасну ты растерял свою беспутную жизнь, и оттого злюсь на тебя пуще прежнего.

— Ты мне не ответила, как ты жила и почему ты не вышла замуж?

— Навел все справки обо мне! Молодец какой! Вот и не вышла, потому что была тебе верна, и оттого моя седая голова так и осталась неприкаянной. Одна я живу.

— Но ведь ты нуждалась в деньгах, я знаю. Вот же я вижу, у тебя в доме хоть шаром покати. Почему же ты не взяла асыки и не продала их, чтобы потратить деньги на нужды. Так и пролежали они в земле! — с досадой произнес Рене-Ерден.

— Ай-яй-яй! Какой же ты! Совсем усохли твои мозги.. Золото, золото! А что это такое — золото? Кому оно нужно, если за этим нет любви, нет счастья, если твой народ недоедает, продать его и уплетать за обе щеки, спрятавшись под подушкой? Или оно вечное и не имеет свойства заканчиваться? Только любовь людей не иссякает, запомни это, Рене или как там тебя! — гневно выговорила Арай.

Небо над селеньем то опускалось низко, накрывая его темными тучами, и тогда становилось

в округе черно, хоть глаз выколи, то, наоборот, оно словно поднималось кверху и тогда все прояснялось и проступали белесые стены близлежащих домов.

Ветер приносил из степи тревожные звуки: где-то далеко всхрапывали кони и обеспокоенно ржал недремлющий жеребец, охраняющий свою единственную кобылицу, и еще доносились какие-то неясные, загадочные шорохи.

Всю ночь в покосившемся окне тускнел желтый подслеповатый свет. Телохранитель трижды выходил из машины, на цыпочках подкрадывался к двери и слушал рокочущий голос старика.

Исповедь Рене-Ердена длилась до рассвета. Арай терпеливо внимала и, когда уже совсем рассвело, наливая ему в кесе который раз подогреваемый чай, спросила прямо:

— И что же теперь? Уедешь?

— Да, Арай, поеду в Москву, — ответил Рене-Ерден, честно глядя в глаза Арай, — у меня есть планы, которые я намерен осуществить, но не прогоняй же меня так скоро. Дай мне отдышаться! Я ведь вот-вот рухну наземь, как конь, проскакавший в байге и на финише выдохшийся.

Я сейчас буду говорить, а ты слушай и не перебивай! В моих мечтах о тебе ты оставалась все той же красавицей, какой я тебя запомнил и чей образ хранил в памяти всю свою жизнь. Где бы я ни был: в Китае, Испании, Франции, Америке, Африке! Но когда я разглядел тебя, конечно, немного разочаровался, так уж устроены мужчины.

На лице Арай не дрогнул ни один мускул. Она глядела на человека, перед ней сидящего, совершенно спокойно, можно даже сказать, изучающе. Точно она пыталась постичь немыслимую для ее ума истину — когда-то, очень и очень давно, она провела рукой по небритой, обрастающей еще первым пушком щеке и смахнула бегущие в рот

слезы. А он шагнул в темноту и пропал на всю ее жизнь! Тысячи восходов всходили и опускались тысячи крошечных, непроглядных ночей. Бушевали над многострадальной землей Казахстана бесовские бураны и лили свинцовые дожди! Точно посланная Иблисом катилась по Казахстану всепоглощающая, алкающая человеческой крови, ненасытная машина репрессий тридцатых годов. Затем война! И она, красавица Арай, работала, не разгибая спины с восхода и до заката, чтобы помочь изнемогающему фронту, и так — годы! А потом, казалось бы, можно вздохнуть полной грудью, перевести дыхание, но не тут-то было, похоронила престарелых родителей и снова впряглась в хозяйственное ярмо. Она, Арай, пережила сталинщину, хрущевщину, брежневщину, горбачевщину, и теперь продолжает жить, точно на ней, словно на древнем пергаменте, собиралась эпоха начертать все свои корявые письмена! Да, за что же ей такое наказание!!! За что?!

И вот теперь, когда она мудро и спокойно вошла в старость, появляется он, который отнял покой ее сердца на всю ее жизнь и задает нелепый вопрос: почему она не продала асыки?

О, Аллах, лучше бы я умерла раньше этого дня и унесла в могилу его прежний образ!

Вспышками кривых, яростных молний металась гневные, справедливые мысли в голове Арай, но вдруг в мозгу ее внезапно все стихло, и наступила полнейшая тишь. Это было чудом!

Одна за другой, тихонько нарождаясь, стали прозревать мысли другие, отличные от прежних. Она подумала о том, как невыносимо устал этот хорохорящийся старик, и какой он прошел немыслимый для живого человека путь!

«Ишь ты, как сказал: Америка, Китай, Африка... Бедный мой! Где только его, оказывается, не носило! И как же он выжил? Ведь Африка, это

там, где живут черные, как печная сажа, люди? О Всевышний! Тауба, тауба!» — прошептала Арай.

Еще она с благодарностью оценила то, что он в голой степи каким-то чудом разыскал закопанные шестьдесят лет назад, злополучные асыки.

«Значит, это правда, что он любил всю жизнь! Бедный, бедный, несчастный мой Ердэн...!» — покачала она головой и, не произнеся ни слова, шагнула решительно к еще теплой печи. Крепкой рукой сняла она с плиты кумган, поставила перед ним большой медный таз и налила в него воду. Осторожно Арай стащила с Рене-Ердена мокасины, сняла носки и опустила его ноги в теплую воду. Прозрачной водичкой она принялась омыwać многострадальные ступни своего любимого. Рене-Ердэн не сопротивлялся, он боялся дышать!

В комнате висело молчание, и было слышно волочение цепи соседской собакой. Внезапно, разрывая сокровенную тишину ночи, сонно, точно с перепуга, заголосил первый петух.

— Я сейчас понял, что люблю тебя еще больше, чем прежде, и хочу у жизни попросить только одного, — прошептал Рене-Ердэн.

— Чего же?

— Умереть на твоих коленях.

Хлопнула дверь джипа, это напрасно прождавшие Рене всю ночь водитель с телохранителем, скрючившись на сиденьях, улеглись спать.



ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

«Пазик» неспешно скрипел по старой, затвердевшей степной дороге.

Вокруг, насколько хватал глаз, тянулись выветренные такыры со скудной растительностью, едва покачивающейся от неуютного ветра. Природа была однообразной, воздух в салоне удушлив, как и густые, словно кисель, мысли, от которых хотелось встряхнуться.

Азамат сидел на заднем сиденье и терпеливо смотрел в окно, оглядывая расстилавшуюся степь, и не видел никаких признаков близкого жилья.

«Значит, ехать еще долго», — решил он и устало откинулся на спинку.

А «Пазик» тем временем вскарабкался на невысокий холм, с вершины которого открывалась панорама сгрудившегося внизу городка.

«Наконец-то» — обрадовался Азамат. Мысли его вздернулись, точно на них набросили узду, и вновь поскакали галопом.

«Где я стану ее искать? Что я ей скажу? Примет ли она меня? Может, уехать назад?»

Автобус тем временем прокатился по грязной с выбоинами улице с теснившимися по краям мазанками и застыл у скособоченного каменного здания с надписью «Автовокзал». Пассажиры засуетились, потянули за собой огромные клетчатые китайские сумки и стали расходиться, на ходу разминая затекшие после долгой езды ноги.

Азамат закурил сигарету, сунул руки в карманы пальто и зашагал по кривой улице. В полной сумбурных мыслей голове так и не высветился план поиска.

Вечерело, тянуло предзимьем, одиночеством и отчаяньем.

— Простите, а где здесь... — он споткнулся и упал, больно ударившись об бетонный бордюр.

— Твою мать!.. — выругался он, распекая себя.

— Под ноги смотреть не пробовали...? — раздался девичий голос.

Он вскинул голову, намереваясь выпалить что-нибудь резкое, той, что сумничала, и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Шолпан. Азамат прикрыл веки и вновь раскрыл глаза, Шолпан не исчезла.

— Шолпан! — пробормотал он.

— Ты и здесь меня нашел? — в наступавших сумерках было видно, как она с досады зло дёрнула длинными черными бровями. На белом мраморном лице отчетливо проступили пятна гнева.

— Я искал тебя, всюду искал.. мне сказали что ты уехала в какой-то брошенный город, — поднимаясь на ноги, шептал Азамат, боясь, что либо добавить, и, наконец, вовсе умолк в страхе.

— Что тебе надо? Ты что, совсем тупой? Неужели не ясно, что у меня к тебе ничего нет и быть не может? Что ты преследуешь меня?

— Шолпан, не кричи на меня, пожалуйста. Разве это моя вина, что ты мне нравишься? Может быть, мне самому уже впору лучше умереть, чем так жить, каждую минуту стораю от мысли, где ты, с кем? А может, ты нуждаешься в моей помощи, а меня нет с тобой рядом! Что же мне делать?

— Навязался на мою голову! Я что тебе мама, сопли утирать?

— Не надо мне сопли утирать, я не такой уж слабый, каким кажусь тебе.

— Ладно, пошли, не стоять же нам здесь! — произнесла она равнодушно, несколько поостыв.

Они зашагали по тротуару, два человека, два чужих друг другу человека.

Он шел, затаив дыхание, боясь задеть ее случайно локтем, чтобы снова не разбудить в ней ярости.

Улица была безлюдной, лишь далеко впереди маячила какая-то пара. Они молчали. Она еще не отошла от душившей ее злобы, Азамат размышлял над тем, с чего бы начать разговор. Каждый шаг давался ему с трудом и больно отдавался в мозгу, ухая, словно в пустом ангаре.

— Зачем только мы встретились, — размышлял он и тут же, спохватываясь, разворачивал мысли вспять, — все равно я добьюсь того, что она полюбит меня. Просто она знает, что красива и воображает! От женихов у ней нет отбоя, а я, кто я такой для нее? Видишь, как говорит, сопли мне надо еще утирать! Вот заработаю денег на Севере, возмужаю, вернусь совсем другим и тогда... тогда сразу женюсь на ней. Никому ее не отдам, пусть хоть на куски меня режут, хоть в огонь бросают, никому!

— Я здесь работаю инженером, живу в вагончике, сейчас ты его увидишь.

— В вагончике? — чуть было не слетело у него с губ, но Азамат вовремя опомнился.

Тротуар закончился, они очутились на окраине городка. Впереди, на ржавых, залежалых рельсах, брошенных прямо на землю, стояло множество вагончиков на колёсах.

К каждому такому вагончику была пристроена сколоченная наспех дощатая верандочка из грубых, неотесанных, некрашенных горбылей с деревянной лестницей.

— Вот мой Тадж-Махал!

Они подошли к развалюхе, с выгоревшей на солнце зелёной краской и поднялись по шаткой, скрипучей лестнице, которая тут же, отзываясь, застонала — запела на все лады.

В передней комнате громоздился ветхий старинный диван, переживший не одно поколение хозяев, полочка для посуды, стол, в углу, на печи, вразброс немытая посуда.

Азамат украдкой оглянулся. Вторую комнату, отделенную от первой фанерной перегородкой, украшал шифоньер с наполовину оторванной дверцей, цветной портрет Шолпан на фоне бескрайнего синего моря и двуспальная кровать с никелированными шарами. Окна вагончика были заклеены старыми газетами.

— Удивляешься? Думаешь, отчего дочь богачей забралась в эту дыру? Тебе этого не понять.

Она грустно улыбнулась ему.

Шолпан порывисто прошла к полке и достала крохотный шприц. Одним движением она задрала рукав свитера, оголяя белую руку.

— Накрой ладонью вену! — приказала она.

Азамат был поражен. Он не знал, что она наркоманка.

— Да не так! Нажми сильнее!

Шолпан резко ввела иголку в венку и выдавила содержимое.

Лицо ее порозовело, злые искорки в зрачках растворились, растаяли и она стала еще красивей, чем прежде, что-то в ней проступило обычное, доступное, человеческое.

— Раздевайся, сейчас я приготовлю суп, — она включила электроплитку, поставила на неё кастрюлю с водой, вскрыла пачку китайской лапши, выставила два больших мутных стакана под чай и высыпала на стол конфеты.

— Как ты меня нашел? — безразлично спросила Шолпан.

— Твоя мама сказала, что ты здесь. Она просила меня, чтобы я уговорил тебя вернуться домой.

— Не теперь! Не теперь! Я должна сама решить, как мне жить дальше. Понять, чего я хочу от жизни!

— Разве тебе плохо дома? У вас такой роскошный дом..

— Ты глупый, потому что нищий. А нищий размышляет приземленно.

Азамату стало больно и обидно выслушивать хамство, и он решил больше не терпеть.

И все же, сдерживая себя, мягко произнес:

— Ты права, нищий думает о хлебе насущном.

— Как видишь, я свой хлеб тоже зарабатываю сама.

— Но все же, хоть ты, как говорится, из белой кости, а грубиянка, но вот мама твоя, воспитанный человек.

— Мама, да! Мама! Она переживает за меня, — голос Шолпан дрогнул, видно, вспомнила мать.

Она принялась разливать по тарелкам жиденький суп.

Азамат откусил черного хлеба и осторожно отхлебнул. Суп оказался пересоленный, очень пересоленный, но он продолжал есть.

— Я ведь люблю тебя, Шолпан! — неожиданно произнес он, откладывая ложку.

В воздухе повисло молчание, только было слышно жужжанье бившейся о стекло поздней мухи. И вдруг Шолпан громко разрыдалась, взрывая тишину, и он растерялся настолько, что и не знал, что ему предпринять.

Она плакала, уронив голову на грудь, и в ту минуту показалась ему такой одинокой и незащищенной, беспомощной, брошенной, а вся ее злость показной, защитной реакцией, что Азамат мог бы, не задумываясь, тут же умереть за нее.

В темное окно монотонно постукивал сгибающийся под злым ветром одинокий куст со свернувшимися от первых заморозков листьями, они были всего вдвоем, на целой земле, и оттого в груди Азамата проснулась и затеплилась тихая надежда. Что-то необъяснимо нежное заструилось по сердцу, сладенько заняло и на секунду ему

показалось, что в груди у него мелодично зазвонил крохотный колокольчик.

— Пожалуйста, перестань, не надо.. .

— Ты даже не представляешь себе, я ведь храню на сотке все твои разговоры, что ты мне скидывал на почтовый ящик, глупая я, прости меня, Азамат, — она безутешно продолжала плакать.

И он осмелел, услышав ее откровенное признание, впервые произнесенное этой гордой, неприступной красавицей, мелкий озноб заколотил его тело.

— Хочешь, я возьму тебя на руки, покружу как в детстве кружил тебя отец, — прошептал Азамат и, перегнувшись в поясе, поднял её, невесомую, пахнущую родным запахом, и стал кружить в тесной комнатке, кружить до тех пор, пока у него самого не закружилась голова, и тогда он положил ее на кровать. Он целовал её плачущую, такую любимую и дорогую, сушил губами её слёзы и целовал в шею, щёки, губы.

А руки Шолпан судорожно тянули пуговицы на его рубашке, и ее гибкое, сильное тело прижалось к нему так, что у него сперло дыхание. Ничего он не видел перед собой в тот самый миг, ничего, кроме крупных, прозрачных слез, в которых отражался он сам.

Она сорвала с него рубашку, с себя блузку, юбку и в какой-то лихорадочной горячке забралась под жёлтое в шахматную клетку одеяло по самый подбородок, и прикрыв длинными ресницами глаза, призвала: «Скорей, скорей!».

Старая, выдавшая виды кровать заскрежетала, заворчала под тяжестью молодых, сильных, жадных до любви тел.

Она улыбалась ему, обнажая белоснежные зубы, обнажая его взору ямочки на щеках, и эта улыбка разжигала в нём ещё большую страсть. Он просил, чтобы она всегда улыбалась, говорил,

что ей идёт улыбка, а не злость, прижимался к тугим, налитым грудям, еще три часа назад бывшим недостижимыми для него, и гладил, гладил черные волосы, рассыпавшиеся по подушке, сводившие его с ума и понимал, что все в его жизни теперь перевернулось. Ему казалось, что он летит в пропасть, и тело его отчего-то вдруг стало невесомым, но полет этот был столь завораживающим, что он боялся прервать его и вместе с тем цепенел от жути разверзнувшейся бездны.

Азамату казалось, что он мог бы целовать ее без счета, всю свою жизнь, ни на секунду не прерываясь, любить её, наконец-то, ставшую такой доступной, близкой, страшился всякого шороха, леденя при мысли, что кто-то может нарушить обретенный ими мир, ставший в одночасье прекрасным, и чем глубже осознавал это, тем сильнее инстинктивно прижимал её к себе, шепча путанные, бессвязные слова.

Этот кто-то громко постучал в дверь, заходившую на дряных петлях. Азамат мгновенно встрепенулся.

— Кто это?

Стук повторился, на этот раз ещё громче и настойчивей.

— Лежи, я сама открою.

Она поспешно запахнулась в домашний уютный халатик, сунула ноги в тапочки и белая от гнева, точно на битву, поспешила в веранду.

Азамат слышал, как лязгнул засов, и в натопленную комнату ворвался колючий, холодный ветер, тут же пробравшийся к его горячему телу.

— Ты не одна, пусть он выйдет! — услышал он требовательный мужской голос.

— А ты кто такой, чтобы мне приказывать? Ты холуй моего отца и не больше того.

Послышалась возня. Это Шолпан пробовала закрыть дверь, но натолкнулась на сопротивление невидимого мужчины. Азамата, словно пружинкой,

выбросило из кровати. Он нырнул в рубашку, выпрыгнул в брюки и рванулся к двери.

— Не ходи!

Но он уже был на улице. Перед ним, щеря в улыбке зубы, стояли два могучих парня.

— Ты кто? — спросил один из них.

— Я Азамат. А вы кто такие?

Сокрушительный удар вырвал у него из-под ног землю, и темное небо обрушилось ему на голову. Азамату показалось, что все звезды с неба сорвались в тот миг со своих мест и полетели прямо в него.

Его били страшным боем, а он все пытался найти точку опоры на земле, чтобы подняться, а когда нашел, то разогнулся страшный, безмолвный, готовый на смертный бой.

Шолпан слетела с лестницы и, запрыгнув одному из верзил на спину, вцепилась зубами ему в шею, так, что тот заорал от нестерпимой боли.

— Не трогайте его, сволочи, не трогайте! — кричала она.

И они отступили перед ее яростным натиском, сделали шаг назад и скрылись в темноте, словно растворились.

Шолпан взяла Азамата за руку и повела вверх по ступенькам, ее трясло всю, словно она держала в руках оголенный электрический провод:

— Какие же они жестокие, звери! Это мой отец их прислал, чтобы они следили за мной.

Она усадила его на стул и заметалась по комнате в поисках йода, ваты, бинта.

— Не надо! Я просто отмою кровь..

— Но у тебя рваная рана на лице.. — Шолпан присела у его ног, глаза ее были полны жалости и участия.

— Сильно больно?

— Терпимо. Давай успокоимся, мужчину шрамы украшают.

— Ну, я им устрою! Подонки! Лакеи!

Было далеко за полночь. Азамат и Шолпан лежали, тесно прижавшись друг к другу, сплетаясь точно ветви одного дерева. За окном стояла безмолвная тишина, и на душе у Азамата, несмотря на пережитое, было тихо и уютно. Глубокая рана болезненно саднила, ныли разбитые ребра, а они болтали о различных пустяках. Шолпан без умолку говорила, рассказывая о работе, о каком-то смешном парне, о своей новой подруге. Азамат молча слушал свою любовь, время от времени прикасаясь губами к её все еще пылающей щеке, желая убедиться, что все происходящее не сон, приснившийся ему, а явь. Волосы Шолпан, надушенные, обволакивали его пьянящим ароматом, дразнили его своей интимной разбросанностью, и он, измотанный переживаниями уходящего дня, незаметно для себя заснул.

Проснулся он от мутного света, проникавшего сквозь черные строки газет, открыл глаза и позвал Шолпан. Шолпан не было, он взглянул на часы, стрелки показывали четверть второго, на столе лежала записка «Ушла на работу, завтрак на столе. Целую. Шолпан».

— Целую. Шолпан. — перечитал он вслух последние ее слова и поцеловал записку. Он потрогал рану, она запеклась и затянулась тоненькой корочкой.

Азамат похлебал вчерашнего супа и снова улёгся в постель, согревшись, он тут же погрузился в сладкую негу.

Разбудила его Шолпан.

— Вставай, засоня! Уже вечер! Бр-р-р, на улице холодища!

— Замёрзла?

— Ага! — она засунула руки под одеяло и положила ему на грудь.

— Шолпан, — нерешительно начал Азамат.

— Да-а! — мягко, словно кошка, промурлыкала Шолпан.

— Тринадцатого ноября, через два дня, я должен уехать.

Но она не слушала его, смеялась и пела «Мы навеки вместе теперь...

— Шолпан, выслушай меня, я еду на Север, документы уже готовы.

Шолпан осеклась, прервала пение, и, как показалось ему, перестала дышать, она смотрела на него удивленно, непонимающе и даже с долей абстрагирования.

Ему почудилось, что воздух в комнате накалился в одно мгновение, будто все происходило не в продуваемом дощатом вагончике, а в знойной пустыне Сахара. Они оба молчали, и тишина все больше и больше наполнялась невидимой гремучей смесью, готовой вот-вот взорваться и уничтожить, выместить из прошлого вчерашнюю ночь. Он ждал, когда она заговорит, и боялся, трепетал в ожидании её слов.

— Зачем же ты приехал? — брови Шолпан изогнулись.

— Я не мог уехать, не увидев тебя, это было важно для меня.

— Ты возник из ниоткуда, забрался в мою постель, а теперь извещаешь о том, что должен уехать.. Вон! — взорвалась Шолпан.

— Вон!

Расстроенный Азамат принялся одеваться, но Шолпан упала ему на грудь и стала шептать быстро-быстро:

— Не уезжай, не уезжай, давай жить вместе, здесь!

— Шолпан, я не могу остаться, я должен ехать. Я хочу заработать денег и вернуться к тебе

достойно, иначе твои родители всю жизнь будут считать меня жалким приемышом.

— Что тебе до моих родителей? Что? Тебе с ними жить или со мной? Я тебя в обиду не дам! — заявила она.

— Шолпан, я мужчина, и должен обеспечить себя и тебя.

Шолпан нервно расхохоталась.

— Обеспечить меня? Да что ты себе напридумывал, мальчишка! Отец мне в приданое отдаст два-три миллиона «зелени» и не нужно совершать никаких глупых и ненужных никому подвигов. Понимаешь?

— Шолпан! — умоляющим голосом произнес Азамат. — Я буду звонить тебе каждый день, затем приеду в отпуск.

— Звонить! Да разве в звонках дело?

Шолпан обессиленно рухнула на стул.

— Ну что ж, уезжай, я тебя не держу!

Долгое время они сидели безмолвно, тикали мерно безучастные часы, отсчитывая минуту за минутой. Азамат нервно тербил бахромую одеяла и кусал себе губы до боли. Наконец, Шолпан, взявшая себя в руки, тихо произнесла:

— Я хочу подышать воздухом.

Азамат помог ей одеться, накинул пальто, и они вышли на улицу.

Кружился и медленно падал, искрясь в свете редких, уличных фонарей белый, пушистый снег. Летевшие ему в глаза прошедшей ночью звезды сегодня были притихшие, точно им было неловко за свою вчерашнюю неласковость. Справа, над полуразрушенными постройками, скособоченным ковшом набухала Большая Медведица.

— Азамат, видишь качели? Я хочу, чтобы ты меня покачал!

Они взобрались на шаткое сооружение, грозящее развалиться, и Азамат что было сил

начал раскачиваться. Ветер бил в их ставшие в одночасье беспечными молодые, счастливые лица, и в морозном воздухе звенел её рассыпчатый смех и, улетая, пропадал где-то во враждебных переулках.

Прошел ещё один день!

Шолпан приходила с работы, мыла посуду, доставала с полки привычный суп из концентратов, затем отбрасывала его в сторону и начинала готовить фасоль с мясом. Комната наполнялась вкусным запахом дозревающей пищи, женского тепла и начинала сочиться неповторимым уютом зачинающейся жизни человеческой пары.

Азамат сидел на диване и неотрывно смотрел на нее. Он никак не мог взять в толк, как ему казалось, своей бестолковой головой, ее поступок — зачем ей, единственной дочери очень богатого человека, была необходима такая жизнь? Испытать себя?

В большом эмалированном тазу шипела, переливаясь радужными цветами, пена. Шолпан сутилась, подкладывая свежие поленья в печку, которые вчера наколот Азамат, выжимая его выстиранную рубашу, и всё это время, не умолкая, рассказывала ему о каких-то ничего не значащих пустяках, словно страшилась наступления тишины. Ему нравилось наблюдать за тем, как она хозяйничает. Он обвел взглядом обе комнатки и отметил про себя, что они стали выглядеть веселей, обрели жилой вид, с той поры как он появился здесь.

И невольно прокралась предательская мысль: «А почему бы мне не остаться с ней, здесь, где все так мило и приятно, где тебя любят. Зачем ему ехать куда-то в неизвестность, куда Макар телят не гонял?».

Но он тут же испуганно оттолкнул эту мысль и теперь старался больше не подпускать ее к себе. Шолпан закончила стирку и устало опустила руки.

«Хозяйка!» — Азамат шагнул к ней и нежно обвил ее руками.

Так прошел еще один день, предпоследний в их жизни!

Снова они лежали в постели, за окном догорал закат и на стене, над их кроватью, на смешном ветхом плюшевом коврикe с изображением пруда и двух лебедей, затухая, умирал солнечный зайчик.

Он попытался обнять её, но она отстранила его руку.

— Не надо, Азамат! — в её голосе звенело отчаянье, она вдруг глубоко вздохнула и запела: «А любовь у нас с тобой была не длинной, может, просто не дождались мы любви!».

Азамат лежал, не смея шелохнуться, а Шолпан продолжала петь: «Не грусти, мой неверный мальчишка, ты ни в чём, ты во всём виноват». Остаток ночи Азамат провел в оцепенении.

Проснувшись, Азамат испуганно взглянул на часы, было около 9 часов, он отодвинул край шторы, за окном стояла густая ночь, осторожно, чтобы не разбудить Шолпан, он соскочил с постели и закурил сигарету.

Шолпан лежала, слегка откинув голову, волосы ее мягко раскидались по подушке, обвиваясь вокруг шеи, рот был мило, совсем по-детски приоткрыт, она дышала ровно и тихо.

Азамат бережно укрыл ее одеялом, она проснулась, некоторое время молча глядела на него, потом вдруг совсем по-матерински притянула к себе и поцеловала.

— Азамат, мне будет не хватать тебя всю жизнь, — произнесла она пророчески.

На вокзал они пришли, когда до прибытия поезда оставалось пятнадцать минут. В кассовом зале Азамат протянул деньги пожилой кассирше: «Один билет!».

Они поспешили на перрон. Азамат взглянул на билет и с досады чертыхнулся.

— Тринадцатое число, тринадцатый вагон, тринадцатое место! — пробежал он глазами по билету.

От этого дьявольского совпадения чисел на него повеяло холодом, он задрожал, словно лань, стоявшая перед ружейным дулом.

— Замерз? — спросила Шолпан.

— Н-нет.

Скрипя и лязгая, подошел поезд, Шолпан торопливо обняла его.

— У нас еще есть время, — произнес он.

— У нас уже нет времени, — помотала она головой.

Строгого вида проводник недовольно забурчал: «Поезд ждать не будет», — и деликатно отвернулся.

В это время вагон качнуло, и он медленно поплыл вслед за тепловозом.

— Прощай, Азамат! — прошептала Шолпан.

Это ее «прощай» больно резануло разболевшееся вмиг сердце, и боль стала вкручиваться куда-то вглубь, корежась и выгибаясь. Азамат запрыгнул на металлическую ступеньку, не отрывая взгляда от Шолпан. Колеса громыхали, выбивая ее последние слова:

— Прощай, прощай!

Шолпан стояла высокая, красивая, гордая и одинокая, и он почувствовал себя самым распоследним дезертиром, бросившим свою судьбу одну, на пустом, ветреном перроне, оставившим свой рубеж, на котором он должен был стоять насмерть!

Прошел ровно год с того дня, как они расстались. Было утро тринадцатого ноября, привезли на вездеходе свежую почту, желтую прессу.



Золотари сели на снег перекурить, полистать сплетницу, посквернословить. Задымили папиросы, потек по кругу чифирбак с черным, словно деготь, напитком по татуированным рукам, опрокидываясь в кривые, сведенные от холода рты.

— Ну, нифига себе они дают, эти олигархи! — воскликнул бывший зэк Ключва.

— Чего там? Знакомую букву нашел? — подковырнул его тоже бывший расстрельник, суровый, справедливый авторитет Никанор.

— Да вот, посмотри, мне бы такую свадьбу закатили, я бы тоже жанился, гы-гы-гы, — заржал он.

— Рылом корявым не вышел, — вновь поддел его Никанор.

— Азамат, тут про твою землячку...

Азамат подошел к Никанору и взял у него из рук толстую газету. Со страницы в развевающейся свадебной фате на него взглянула газетная Шолпан, держащаяся за руку молодого лысеющего мужчины. Она была словно прозрачной от окружавшего ее лоска, и ему показалось, что она струится над палубой, точно воздух. Искусный фотограф снял их на борту шикарной белоснежной яхты. На заднем плане проступали холеные лица с бабочками на сытых шеях, в белоснежных смокингах. Шрам от рваной раны на лице Азамата набух и густо побагровел.

Азамат выпустил газету из рук и зашагал в глубину кричающей, промороженной тайги. Из-за спины доносился голос никак неуминавшегося Ключвы:

— Ну, ни хрена себе приданое, два миллиона баксов!

В тайге, скрипя выстывшими стволами вековых елей, крался к завершению две тысячи девятый год.

ИРГИЗ

В пустынных землях между Актау и Уральском, за крохотным холмом, сиротливо приютился городок Иргиз. Несколько кривых улиц все еще населяют люди. Другие, давно разрушенные, могли бы служить декорациями к жутким голливудским ужастикам. Люди здесь уже давно безработные. Промысел крепких мужчин — лихой налет на проезжающие фуры.

Жизнь стариков, детей и женщин беспробудна.

За толстым слоем мохнатого инея, покрывшим стекло, как всегда в это время года, бесновались жуткие ветра.

Боран просыпался долго, мучительно. Сознание в его пьяном мозгу просыпалось и вновь улетало, проваливаясь в черный тартар. Неясные обрывки полусна, полудремы, возникали и исчезали. Видалось, что какие-то люди окружили его и требуют страшного, ужасного и от этого он ощущал себя в безвыходной ситуации. Хотелось бежать, куда глаза глядят, но вокруг кольцо сжималось, и деваться было некуда. Он тонко чувствовал леденящий холодок под сердцем, и становилось тоскливо от безысходности. Мерзкие, заросшие щетиной образы, щерили зубы и подбирались с каждым полусагом все ближе. Он уже чувствовал зловонное дыхание, идущее из их алчущих ртов, словно бы они хотели разорвать его на части. Почему-то всплыл Самат, его десятилетний сынишка.

И тотчас стало невозможно дышать, от обиды, заполнившей некогда могучую грудь.

И в миг, когда шансы его свелись к нулю, он явственно почувствовал осторожное прикосновение к плечу.

Да, несомненно, это было наяву, но не во сне. Боран спохватился и приоткрыл набрякшие веки. Сын Самат стоял босиком на холодном полу. Сквозь дырку в сатиновых трусах просвечивала покрытая пупырышками, ставшая «гусиной», розовая кожица с синими прожилками. Воздух в доме отдавал льдом и стылостью.

— Сейчас, сейчас, я сейчас, еще немного, и я встану, — пробормотал Боран, а сам мыслями унесся к уже затирающемуся в памяти, образу Бибы.

Бибиханум! Высокая, тонкая в поясице, с черными, как ночь, глазами, с косой ниже пояса.

Тут же до боли свело зубы и захотелось стонать.

Биба! Бархатистые, густые ресницы. Белые руки с тонкими пальцами. Тугие груди, как два степных кургана.

Он стал вспоминать, краем глаза видя, как Самат прошлепал в свой угол и влез под стеганое одеяло.

Так продолжалось уже два года. С тех пор, как ушла Биба. Каждое утро.

Надо было вставать, но сил не было. Вставать, это значило, расстаться с ее образом. А ему хотелось еще повспоминать о ней.

В последнюю их ночь, вернее, в раннее утро, вернувшись, как обычно с ночного грабежа, он бесцеремонно разорвал тихий сон Бибы

и сразу полез рукой в промежность горячих ног. Она недовольно отодвинулась на край кровати, но он тут же зажал ее мертвой хваткой, и, дыша перегаром, навалился всем телом, разрывая колени в разные стороны. Заскорузлым пальцем, ощущая упрямые волосики, он проник в самую щель и почувствовал, что оказался в ней непрошенным. И это еще сильнее возбудило его. Он приник к ее рту и втолкнул в него свой язык. Биба сжала зубы и прокусила до боли. Он мгновенно вырвал его и вонзился в непокорную. Да! Он вспомнил слова пьяного Курмана:

— Возишься со своей цацкой, будто со святой!

— Ты о чем? — спросил он тогда удивленно.

Никогда еще Курман не осмеливался противоречить ему, да еще что-либо говорить в адрес его жены. Но в последнее время, после того, как он стал водиться с молодым и сильным Еркином, Курман, которого он, можно сказать, выкормил, стал задираться, специально вызывая его на скандал. На скандал, в который уже давно готовился вклинить Еркин и только ждал подходящего случая. Все-таки слишком высок был авторитет у Борана среди грабителей Иргиза.

Это соперничество с Еркином началось не вчера. Проморгал он, как в семье подслеповатого Жанабыла вырос волчонок. Помнится еще, когда тот был совсем сопляком, Боран как-то послал его за водкой, и тогда Еркин воспротивился.

— Не пойду! — заявил он.

— Почему? — удивился Боран.

— Я тебе не шестерка!

— Ах, ты щенок!

— А ты взрослый пес, и если тронешь меня, я тебя подстерегу пьяного и зарежу, как барана.

Друзья не дали тогда избить его за такую дерзость, а жаль. Отговорили они:

— Ну что ты, Боран! Разве тебе к лицу бить какого-то пацана. Все знают, что ты самый сильный и смелый. Будь выше этого!

А теперь вот наступили такие времена, что незаметно выросший Ёркин, собрав вокруг себя таких же дерзких парней, вооружил их и встал поперек дороги. Словно кость поперек глотки.

В последнюю их стычку Боран предложил ему делить проезжающие «КамАЗы» поровну.

Пока Ёркин согласился, а как будет дальше, Боран не знал.

Так вот, этот собачий сын Курман что-то намекал ему о Бибе. Мол, она не такая, как ему кажется, и строит глазки проезжающим камазистам.

Боран быстро задвигался на ней вверх-вниз, а потом, словно сорвался с цепи, стал буквально терзать ее сонную плоть. Он до боли сжимал ее упругие груди в своих крепких кулаках. Кусал длинную, белую шею. Втыкался в нее так, словно хотел пробить насквозь.

В углу тогда заворачался Самат, и она, все еще не сдававшаяся, тут же обмякла, и он еще долго, может быть, целый час мял, комкал тело жены.

«КамАЗы» всегда проскакивают через Иргиз в промежутки с раннего утра и до обеда, в то время, когда их с Ёркином банды после ночных преследований все еще спят мертвым сном.

И он спал. Согласно образу жизни, сложившемуся вот уже как пятнадцать лет.

С тех самых пор, как их страна обрела так называемую независимость. С тех самых пор, как они чудовишным образом оказались выброшены на задворки судьбы. С тех пор, как распался их прежде процветающий совхоз, и все население Иргиза в один день стало безработным.

Спал Боран, и не знал, что его Бибы, его любимой Бибы, которую он любил некой, странной любовью,

уже нет с ним. Нет ее и с Саматом, его сыном. Пока он спал мертвецким сном после безуспешной ночной охоты и пьянки, от злобы за пустую ночь, его Биба сбежала, даже не взяв с собой узелка из дома. Она бросила сына, их маленького сына, восьми лет и его, всегда думавшего, что на всем свете нет мужчины, равного ему.

Она убежала с проезжающими дальнотойщиками. Просто села к ним в салон и уехала. А он, когда проснулся, заорал похмельным голосом:

— Биба! Би-ба, твою мать!

Но в ответ стояла тишина, лишь за окном слышно было, как бродит на цепи собака.

— Биба! Твою мать! Все кости ломаю, где тебя носит?

ТИШИНА! ТИШИНА! ТИШИНА!

Скрипнула дверь, и в проеме застыл заплаканный Самат.

— Пацаны сказали, что мама уехала.

— Куда уехала, ты что, спятил?

— Пацаны сказали, что она сказала, что уехала навсегда.

— Как это навсегда? Какие такие пацаны? Где они, я их матерей в гробу видел!

— Она вчера весь вечер плакала и обнимала меня и говорила, что не сможет жить без меня и не хочет больше жить с тобой и ей некуда пока взять меня, и я ничего не понял и уснул, не дождавшись тебя.

Боран поднялся на кровати с раскрытым ртом, забыв, что сидит перед сыном обнаженный, и в его гудящую голову с трудом уместалось то, о чем ему рассказывал сын.

Вдруг он соскочил и как был, на голое тело накинув овчинный полушубок, сунул в глубокий карман двуствольный обрез и, распахнув дверь, выпрыгнул прямо в наметенный за ночь сугроб.

Он бежал широким шагом к своей изношенной «НИВЕ». Из кармана выпал обрез, и он успел

на ходу, не давая ему упасть в снег, подхватить и запрыгнуть в салон. Чертыхаясь, он заводил ее, и, когда она, наконец, завизжала, ревя, точно дикая свинья, Боран воткнул скорость. Машина рванула с места и помчалась между безлюдными домами, вздымая из-под колес снег.

Он жал на газ так, как никогда еще не давил, даже в ночных гонках за протащившейся фурой.

Дорога от Иргиза до Актау в триста пустынных километров, построенная еще в Советскую власть, теперь состояла из четырех глубочайших впадин колеи. По одной из них ехали в направлении Иргиза, по другой из него. А вернее было бы сказать, что по одной прорывались через Иргиз, а по другой уносили из него ноги.

Не зря ведь за полсотни верст до Иргиза какие-то умники установили щиты с зловещими надписями: **ДОРОГА В АД — УДАЧИ, БРАТ!** На этом участке дороги фурам грозило разграбление, а водителям — пинки, тумаки, а может, и жакан, жакнутый из двух стволов.

Это в том случае, если они не подчинятся их требованию — остановиться!

Тогда они беспощадны и жмут на курок! По баллонам, по салону, по окнам, со стороны степной, похожей на тело больного оспой, дороги.

А как иначе их остановить? Ведь не понимают по-хорошему! Жалко им что ли груза коммерсантов? Почему бы тем не поделиться, толстопузым? Сами-то они не рискуют ездить с «КамАЗами». Всю ответственность возложили на бедных водителей. Им, конечно, тоже надо жить, их ведь ждут-не дождутся семьи, в надежде, что они привезут деньги, но тут уж кто кого! Кто умнее, хитрее, отважнее, дерзче, тот и пан! На то и степь! Проклятая и воспетая!

Боран летел по колее, если только эту скорость можно было назвать полетом. А так называли!

Потому что скорость сорок километров в час в этих местах называют — бешеной. А, вообще, эти триста километров фуры едут двое суток, и он теперь попробует их догнать, беглецов! Уж он-то знал нравы проезжающих дальнобойщиков. Никто из них ни в жизнь не возьмет попутчицу за просто так. Только за плату! И только, если она женской породы, и расчет только собственным телом, вернее, собственной щелью.

Так говорят люди. А в том, что говорят люди, всегда есть правда. И иначе, зачем им, мужикам, их гроши? У дальнобойщиков в карманах водятся деньжата. А вот баб, тех нет по многу дней, и между ног у них от этого порой аж дымится!

И камазисты — сволочи, и сами они — сволочи и коммерсанты, что посылают их везти груза — сволочи, и участковый их, один на весь Иргиз — сволочь, и, вообще, весь этот мир состоит из сволочей, кроме его сына Самата! Сука! Биба! УБЕЖАЛА! Догоню, порву всех.

В воспаленном мозгу Борана уже явственно рисовалась картина: благополучно миновавшие Иргиз водители уже где-то встали на прикол, выпили водки, заели холодной колбасой, а теперь один из них, пропахший солярой, притянул ее к себе и лезет под вырез платья. Там, под вырезом, находится сказочное богатство, какое они даже не в состоянии по-людски оценить. Хотя на мгновение оценят. Потому что ее степные курганы невозможно не оценить. Они сейчас упрутся в волосатую грудь и тогда другой, тот, что помоложе, дернет ее за ноги. Кто в этой дикой пустыне станет нянчиться с бабой? Особенно, если она такая лакомая, как Биба. Тот, молодой, сорвет с нее трусики и станет держать ее за ляжки, пока ею не насладится пожилой. А только потом заберет ее в спальник. И потом всю дорогу, до самого Актау, будут пользоваться ее, меняясь по очереди.

И она, моя дура, разве же этого не понимала, когда садилась в салон к ним.

Ведь все понимала, а села. Боран и не думал, что он сам стал причиной этого жуткого ее бегства. Он и не думал, что чего-то недодавал ей. Может, ласки, может, любви, настоящей, не той, что дарил ей после разбойных ночей. Он знал только одно, что она была его женой. Что он одевал ее лучше всех в Иргизе. Что в доме его был большой телевизор, какого ни у кого не было.

Значит, она поехала искать лучшей доли и ради этого сейчас раскинула перед грязными камазистами свои упругие смуглые ноги?

СМЕРТЬ и только СМЕРТЬ! И им смерть и ей смерть! Боран был страшен.

В этот миг низ машины рвануло так, что показалось, «Ниву» разорвало на части. Это он зацепил мостом по острому краю колеи. Чертыхаясь и проклиная все на свете, Боран остановил автомобиль и вылез из него. Сумасшедший ветер разрывал пуговицы на полушубке и полы его разлетелись в разные стороны. Ледяные струи ударили в голое тело и пронзили его сотнями длинных, острых игл. Боран запахнул полушубок и полез под днище машины. Из разорванного моста на стылую землю вытекало горячее, черное масло.

— У-а-а-а-а-а! — заорал, плотно прижав голову к тому, что называлось асфальтом, Боран.

— У-а-а-а-а-а-а! — Биба! Будь ты проклята, и мать твоя, и отец твой, и дед твой, и бабка твоя, и все родственники твои, и весь род твой продажный, и пусть не будет им покоя ни на том, ни на этом свете, и если кто из них уже в земле, чтобы они там все перевернулись вниз лицом от позора за свою дрянь, Бибу! У-а-а-а-а-а! Ой, как больно, Биба! Ой!

Боран соскочил с земли и выдернул из кармана не вылезавший обрез, одновременно спустил оба ство-

ла, заряженные крупной картечью, в лобовое стекло. Оно покрылось сеткой трещин, точно зад немоощного старика, и тогда он в прыжке ударил его ногой.

— У-а-а-а-а! Он заряжал обрез и стрелял в воздух, по машине, в ее бока, делая их похожими на решето.

Когда патроны закончились, Боран, перехватив его за ствол, точно дубиной, расколотил им всю «Ниву».

ВСЕ! ВСЕ! ВСЕ! Уймись! Это сказал он себе. Все. Надо уняться. Его практичный мозг включился в работу и стал размышлять над тем, как ему теперь выжить и не околеть в этой чертовой пустыне. Уж он-то знал, что значит остаться в ней одному. Все же он в горячке пролетел не менее сорока верст. А пешком не дойти. И машины у него теперь, можно сказать, что нет. А значит, надо идти. Немедля. Боран забросил обрез подальше от «Нивы», и, запахнувшись, пошагал в сторону Иргиза.

Ветер нестерпимо жег колени. Это было самое мучительное и с этим нельзя было что-либо сделать. Оставалось только терпеть. Боран запел. Во всю мощь своих легких:

— Колда болган кусты мен, тусенбедим, ой!

Ушупкеттэ, ай, яй, яй, тастап кетти... петь было невозможно, ветер рвал гортань.

Боран стал вспоминать. Когда это было? Они с Бибиханум, с яркими весенними цветами, шли, взявшись за руки, по улице их чистого городка Иргиз. Вся жизнь казалась тогда прекрасной, и солнце, заливавшее улицу, воспринималось просто как часть этого счастья. Он работал тренером, учил ребят борьбе, и у него были способные ребята. Целыми днями он был на ковре, а потом торопился домой, убыстряя шаги, потому что в новом доме его ждала Биба.

Что же стало потом? Как все произошло? Почему их городок, прежде залитый солнцем, стал

обезлюженным и мрачным, точно кладбище? Все прихватизировали те, кто оказался ловчее, кто был ближе к власти. Они пихали себе в рот жирные куски и никак не могли насытиться. Все развалили, а сами с детьми своими уехали из Иргиза, оставив им разваленный город, без тепла и света. И тогда к нему пришли его ученики и сказали:

— Бореке! Вы наш учитель, нам нечего есть, и в наших домах нет ни денег, ни одежды, ни лекарств. Что нам делать? Мы не можем уехать из города, потому что у нас старые родители. Как нам жить?

Долго размышлял Боран, и так мля ситуацию и эдак, и о себе думал, и о них, и о тех, кто, наворовав денег, уехал, и поглядывал на Бибу, ожидавшую ребенка, и, наконец, решился и позвал своих учеников.

— Жизнь загнала нас в угол, — сказал он, — если я не пойду с вами, вы пойдете без меня. И тогда многие из вас пострадают. Потому что вы еще молодые, горячие. У вас нет другой дороги, чем та, которая ведет «КамАЗы» через наш городок. Будем считать их караванами, как в старину. А в старину все караваны платили дань, таким, как мы «аламанам», за проезд. Вот и пусть платят.

— Пусть платят! — воскликнули ученики. Так они стали грабителями, а он их главарем.

И покати́лась жизнь перека́ти-полем, да все кубарем, прыг да скок и самое главное — вовремя «соскок». Вооружились дедовыми одностволками, стали рыть засады, обзавелись мотоциклами и на ходу фуры накидывали на дверь стальной трос. На ходу фуры заскакивали в нее и сбрасывали на землю добро. Неважно, что это было, потом, все потом, потом делили поровну, и атаману выделяли еще одну долю. Таков был закон, который они приняли. А непокорным стреляли по колесам, по стеклам, выбрасывали их из машин и забирали товар целиком и зарывали его в пустыне. А приехавших на «разборки»

тоже встречали горячими жаканами. И так стала литься первая кровь. Она страшна, пока первая, а потом ничего, привыкаешь. Вот уже без малого пятнадцать лет она льется на растресканные земли пустыни, и ничего. Правда, и его самого уже не раз дырявили. Биба выхаживала. И тюремный двор он уже видал сквозь мелкую решетку. Ничего! Зато когда вышел, был овеян славой и встречали его как пахана. Черт! Из нормального тренера превратился в пахана. А его красивые, молодые ученики — в прокаленных ветрами, с задубевшей кожей, одетых в невиданные бушлаты, с обрезами за пазухой, бездушных аламанов.

А что сделаешь, это жизнь! Она понеслась вскачь, в бег, влет.

Боран шел и шел, и не чувствовал колен и собственного тела.

Как он дошел, добрался, он и не помнит. Помнил лишь одно, как тепло растекалось постепенно по истрадававшемуся телу, когда он раз за разом выпил три стакана водки. Только тогда оно стало отходить, и сразу вспомнились Биба и Курман, и Еркин, с которым неизбежно предстояла война, потому что он постарел, точно волк-Акелла, и теперь должен уйти, чтобы уступить более молодому и удачливому. Но нет! Он этого не сделает.

Потому что в нем живут великий дух и честь, и пусть прольется кровь, и, может, суждено ему погибнуть, но он не уступит. Посмотрим еще, кто кого, молодость или опыт? Дерзкое, яростное сердце или давно оледеневшее, с тех пор, как не стало Бибы, умершее! Посмотрим!

Боран притянул к себе Сандугаш.

— Ты мой сундук с золотом! — объявил он ей, — наливай, я едва не умер!

Боран чувствовал, что его уже забирает, и в его пьянеющем мозгу фурией протащилась мысль, что

не стоит напиваться. Люди Еркина только и ждут, когда у старого волка обмякнут зубы. Но он тут же отбросил ее в сторону и поднял стакан.

Потом сквозь мутное сознание он чувствовал тело сундучки, степнячки, пустынки Сандугашки. Ее длинные ноги, словно змеи, скользили по нему, а губы плотно припечатывались к его рту, и он был в ней. Говорят, что Еркин тоже бывает в ней, и ему стало интересна ее оценка, кто ее лучше обрабатывает? Сундучка считалась подругой «аламанов» или пустынной Муркой, которой с куража несли долю, ведь она была наводчицей, и, кроме того, красивой девкой. Но спала только с ним и его соперником, Еркином. А рядовые «аламаны», соблюдая ранги, даже не пытались к ней лезть.

Да! Два года, как он попеременно с Еркином, спит с Сундучкой. Точно, прошло два года!

Борану усилием воли все-таки удалось отмахнуться от воспоминаний и подняться. В доме был ледник. Надо было разжигать печь или ждать, пока придет истопник. Начинать стряпню или ожидать, когда появится тетка. В гудящей голове пронеслось вчерашнее признание заезжего камазиста, что Биба работает секретарем их шефа.

Он стал бить по умывальнику. Но вода в нем оказалась замерзшей. Ударил посильней, и корка льда лопнула. Стал намыливать лицо и вспомнил, что на сегодня назначена их дуэль с Еркином в пустыне. Они встретятся у знака: **ДОРОГА В АД — УДАЧИ, БРАТ!**

И будут там стреляться.

— Прямо как Пушкин и Дантес, — усмехнулся он. — Непонятно, для чего он назначил стрелку именно там, ведь это далеко от города. Или они что-то значат для него? Может, символы какие? А может, это он их установил, дурацкие знаки?

Черт знает что! — мысли в голове, напоминали осевший набок сарай.

Кто-то коснулся его бока. Боран повернул лицо и увидел Самата, стоявшего босиком на холодном полу. Сквозь дырку в сатиновых трусах проглядывала «гусиная», покрытая пупырышками, розовая кожица с синими прожилками.

— Аке! Я поеду с тобой! — вымолвил сын.

— Ты что! Куда ты поедешь? Ты знаешь, куда я еду?

— Знаю.

— Куда?

— Ты едешь к знаку. Ты сегодня будешь стреляться с Еркином.

У Борана дрогнула рука, держащая бритву. По глянцевой поверхности кожи потянулась струйка.

— Ты не бойся, он в тебя не попадет.

— Почему? — спросил Боран осевшим голосом.

— Я буду держать кулак сжатым, молиться буду. Ты лучше его стреляешь. Ты попадешь в него.

— Но тогда выходит, я убью его.

— Аке, у тебя нет выбора, или ты его или он тебя. А когда ты вернешься, «аламанить» в ночи мы будем ездить вместе.

Вот так сказал ему, его десятилетний сын, Самат.

ТАК МЫ ЖИВЕМ

Я гнал машину по выжженной в это время года безжалостно палящим солнцем срединной степи. Здесь редко встретишь какое-нибудь поселение, настолько пустынные эти земли и только там, где асфальтовое шоссе приближается к железнодорожной ветке, порой с трассы можно разглядеть несколько скученных, выцветших домиков. Меня всегда удивляет эта сгуртованность таких поселений и возникает вопрос: отчего бы им не раскинуться просторней друг от друга, ведь земли вокруг — до самого горизонта. Но нет, они и здесь прильнули изгородь к изгороди, и я делаю заключение, что это происходит из-за банальной лени казахов. Ведь стоит построиться чуть поодаль, то возникнет целый воз неудобств, и даже будет трудно накричать на соседа из-за того, что его телка вытоптала картофель. Никакие голосовые связки не выдержат такой нагрузки и, если учесть, что казахи не любители кричать, а все больше они ворчунны, то станет ясным это желание лепиться. Такие дома все схожие, точно близнецы, и около всякого копейка запремого, почерневшего сена и скелет проржавевшей техники без резиновых покрышек, на одних осях. Кучка сиротливых овец да с пяток грустно мычащих коров навевают уныние и призывают к размышлениям над осознанием смысла человеческого бытия. Легкий ветерок едва треплет белые султаны вольного степного ковыля и приносит из необразимого далека протяжные ноты неизвестных мелодий дальних холмов. Они настолько древние, согбенные от времени, перевидавшие бесчисленные войны и примирения, веселые коши, смертельные набеги, людские надежды и отчаяния.

Так вот, в один из таких знойных дней угораздило меня пересекать Бетпак-далу с центра на запад и случилось моему автомобилю поломаться. Это самое неприятное, что может

произойти с человеком в моем положении посреди безбрежной степи, и вдруг, к неопишуемой радости, у кромки горизонта я разглядел парочку сбившихся друг к другу домиков. Взметнувшийся градус настроения вызвал желание насвистывать беззаботную песенку и весело жать на газ, направляя предательскую технику к спасительным островкам. Из ближнего дома вышел мужчина с загорелым лицом кирпичного цвета и, приставив ладонь ко лбу, взялся рассматривать приближающуюся машину. Коровы прекратили жевать и тоже от скуки подняли головы, а бестолково рассыпавшиеся овцы от испуга стали сбиваться в кучу.

— Ассалам алейкум, ага, — вежливо поздоровался я, — здоров ли ваш скот, как поживаете?

— А что это ты моим скотом интересуешься, уж не вор ли ты?

— Ну что вы, ага, разве воры ездят на машинах посреди дня? — я попытался отшутиться, — вижу, коровки вес набрали, бока гладкие и овечки ленивые от сытости.

Так было всегда, когда путник натыкался на одинокую юрту, прежде чем начать рассказ, что привело его к чужому порогу, должен поинтересоваться вначале о состоянии скота и лишь потом о здоровье людей.

Без скота в степи смерть!

— Не пялся на моих овец, глазишь еще, лучше вон любуйся соседскими.

— Разве благополучие его скота не радует вас, ага? Ведь вы только одни и живете посреди этой выжженной пустыни.

— Эй, ты кто такой, чтобы учить меня уму-разуму? Я тебе задал вопрос, а ты мне так и не ответил. Зубы мне заговариваешь. А как вынесу сейчас берданку, и поглядим тогда, как станешь говорить.

— Наверное, вы правы, ага наш разговор отчего-то сразу пошел не в то русло. Я еду по трассе, и у меня сломалась машина, и мне бы только ключи, чтобы кое-чего отвернуть.

— Откуда у меня ключи, если их нет у тебя, — так ответил он мне, и я застыл от изумления. Он был прав.

— Ага, а вы не могли бы их взять у вашего соседа, я вон вижу, у него трактор стоит у дома.

То, что я называл трактором, оказалось грудой металлолома, но в моем положении было глупо привередничать.

— Я с ним уже два года как не разговариваю, так что иди и сам проси, а ко мне больше не приставай!

Так мне ответил казах, и я понял, что многое изменилось в природе моего народа, и мне стало больно и стыдно и жалко этих двух неуживчивых людей. Я уехал. Так и не стал заходить в другой дом, оттого что хватило и одной выслушанной глупости.

Я тогда не предполагал, что это был лишь признак раковой метастазы, впоследствии охвативший сознание людей, и вот сегодня в сауне услышал такой разговор:

— Че там? Правда, что эти двое, которых нашли на Бутаковке сожженными в джипе, люди олигарха?

— Да не, то не они, а те, которых убили...

— Говорят, они евреи...

— Один из них...то ли Тар, то ли Торковский, то ли Тартаковский, стройкой занимался...вывезли его, приставили пистолет к голове и потребовали два миллиона.

— И че?

— Ну, он позвонил кому-то, туда приехал один из этих и ему отдали, что собрали.

— А сколько собрали?

— Миллион семьсот тысяч в долларах.

— Нормально.

— И че дальше?

— Эти их лишили жизни и сожгли. А потом между собой... и своих же из пистолетов в джипе...

— А как установили, что они, это они?

— Пепел отправили в Израиль и там установили.

Кто-то на выходе произнес:

— Дураки, нет, чтобы пепел развеять.

Я вспомнил тот далекий, знойный день, два сиротливых дома в степи и ясно увидел кирпичного цвета лицо неласкового казаха, а в ушах чеканно зазвучали его слова:

— Не пялся на моих овец, сглазишь еще, любуйся соседскими.

— Я с ним уже два года как не разговариваю, иди сам проси, ко мне не приставай.

Тогда я и понял, какими были они, убившие Шакарима и Магжана, и сердце, еще минуту назад стучавшее гулко, неожиданно замерло.

Рассыпая смех, семидесятилетний Николай Иванович повествовал грустную историю, но так весело, что все смеялись, а задуматься над ней оставили моему читателю.

— Сплю я и слышу во сне, что струится вода, и, дурак старый размышляю себе, что вода к деньгам. Просыпаюсь и явственно слышу журчанье воды по стене, а я только на днях закончил ремонт, и оттого меня пронзил ужас.

И, правда! По стене моей бедной спальни льется водица. Я соскочил с кровати и по лестнице вверх, а там, в дверь уже колотит соседка...

— Ох, Николай Иванович, залила эта сука, залила меня всюшеньки, открывай, гадина, душу из тебя выну...

— Трах-тах-тах, трах-тах-тах, — тарабанит, значит, она в гневе, а дверь такая вся исшарпанная и еле дышит, к ней постоянно пьяные мужики ломятся. И тут она распахивается, и на пороге предстает в синей кофте, а ниже без ничего, девка в умат. Я гляжу ей промежду ног и забыл про свою стену в спальне.

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — летит из сауны гогот.

— И че дальше?

— Послала она нас с соседкой куда подальше, но кран все-таки закрыла, и мужик какой-то из ванны орет: «Люся, бля, хера ты с ими базаришь!».

— И че?

— Да ниче, сию с расстройства пузырь открыл и пью, значит, а тут звонок, с Америки друг звонит. Я ему давай рассказывать, а он мне говорит: «У нас в Америке в таких случаях приезжает полицейский и сразу выписывает штраф, а как не уплатит, то ее выселяют...».

— От это правильно ... — подал кто-то голос.

— А ты что же?

— А что я? Пузырь допил и спать лег, че с ней скандалить? Ментов вызовешь, так они за то, что их ночью побеспокоил, еще тебе же анаши подсыпят и посла денег сдерут, а с нее что, ну, разок трахнут, вот и все дела. В КСК пойдешь, потом целый год надо доказывать им цену обоев и клея, и сам рад не будешь...

«А я стонал, в углу болотной выпью», — слышались мне строчки Высоцкого, из пор выступали бусинки пота не от жара, но от грусти нашей жизни.

На углу улиц Фурманова-Курмангазы было оживленно в этот полуденный час. Припарковав машину, я направился к павильону, торгующему дорогими напитками. Из головы не выходили суждения парильщиков, все еще шальной, я вошел в салон и замер от пересыпанного феней диалога прилично одетых молоденьких ребят. Паренек с косичкой, перехваченной у затылка пестрой лентой, говорил так быстро, что я едва успевал за его мыслью.

— Это его фишка...мы загрузили Рому по полной и сказали, чтобы откатил полтинник уе за комп, а не то через НЕТ выкатим компру на пахана...

— Он хотел нас кинуть, да не тут-то...

— Да черт он в натуре, у нас и на его машку компа, где она шпилится с чуваком из Казкомерца...

— Это с тем, у которого навьюченный «линкольн»?

— Ну да... нам так и надо мазу держать, чем наглей, тем круче...

Шагнув сквозь услужливо распахнутые перед ними двери, они неторопливо направились к стоявшему прямо на проезжей части огромному джипу. Они чувствовали себя хозяевами жизни. Я остановился у бюста Фурманова, глядя им вслед, не смея сдвинуться, точно сам я окаменел, и на секунду мне показалось, что комиссар втянул в себя плечи, скукоживаясь от страха.

В желудке остро засосало, словно в него уже несколько дней не попадала пища, и мучительно захотелось закинуть чего-нибудь съестного в эту вечно голодную топку.

В полуподвальной кафешке было пусто, и только за дальним столом проглядывалась скупающая парочка.

Смутленькая официантка, окинув меня ленивым взглядом, неспешно занялась макияжем. Она неторопливо подкрасила губки, подвела реснички, и, видимо, решив, что я выдержал экзамен на стойкость, направилась ко мне.

— Вы уже выбрали?

— Давно...

— Делайте заказ.

— Мне бы вот этот стейк...

— Минут через двадцать...

— Хорошо, а пока, если можно, чай с лимоном...

Не удостаивая меня ответом, смутлянка царственно удалилась, поигрывая бедрами, точно шла по подиуму конкурса мод от «Коко Шанель».

Я глубоко задумался над собственными фразами, гадая, отчего мы, делая заказ, так выражаемся:

— Мне бы вот этот стейк, если можно, чай с лимоном...

Мысли мои тягуче устремились вверх, словно бы радуясь освобождению из черепной коробки и, переплетаясь с сизым дымом сигареты, утекали за толстые стены неприветливой кафешки. Было ощущение неприкаянности или ненужности обветшавшей вещи, настолько обтрепанной, что ни у кого она уже не вызывает интереса, подобно телепающемуся на ветру старому дождевику, что порой набрасывают на пугало.

Так происходит с лакированными кузовами прежде шикарных машин, оказавшимися на свалке за ненужностью и ржавеющими под морозящими дождями, превращающимися в жалкое, ничтожное зрелище. Можно бы сравниться и со старой клячей, некогда бывшей горячим искрометным скакуном, нетерпеливым, желанным крутошеими кобылицами, но со временем истаскавшимся, истершим прежде глянцевые копыта. Такой

грустной конягой, с замутненными, уставшими глазами, даже с некой застывшей тоской, как следствие жизненной усталости...

Я ощущал себя рыбацкой шхуной, отданной на разведение соленым водам, книгой, некогда напечатанной на белой меловой бумаге, наполненной непередаваемой страстью, волшебством чувств, теперь же пожелтевшей и утратившей привлекательность, попавшей в руки хмурого истопника.

Моя крашенная официантка скрылась за дверью, ведущей на кухню, и надолго пропала из вида, предоставив мне время поразмышлять над странной мыслью, что у бедных людей в нескончаемых заботах быстрее ветшают и души. Они истаскиваются, точно вещи, протираются до дыр, и сквозь них начинает проистекать усталое равнодушие. Ведь души тоже изматываются от вечной борьбы с хамством, ложью, проворством и потрясающей алчностью богатых. Изможденные, они смиряются, точно заржавевшие листы на ветру, колыхаясь в грустном ожидании резкого порыва, чтобы оторваться и полететь на затоптанную землю, где будут тихо страдать, испуганно наблюдая за суматохой. И совершенно не ясно, отчего все так устроилось, что поделилась жизнь на блеск и нищету, богатых и бедных или же так создано, чтобы испытать людей еще в этом мире? Было состояние болезненности, точно я пребывал на сыром, колючем сквозняке и хотелось мечтать о теплом, пустынном, необитаемом острове.

Наконец-то, прерывая мрачные мысли, которые могли завести в непролазные дебри, к неопишуемой радости, высветившись лучиком надежды, появилась официантка. Она поставила на стол плетеную корзиночку с хлебом, тарелку со стейком и, забыв о чае с лимоном, выжидающе остановила на мне скупающий взор.

— Если бы вы еще дали мне вилочку, — попросил я, оглядывая приборы, и виновато, по-песьи, заглядывая ей в накрашенные глаза, осмелился пробормотать об отсутствовавших салфетках.

Когда, покончив с едой, я вышел под проливной дождь, ноги неожиданно понесли меня куда-то в хмарь и непогоду, мимо припаркованного автомобиля.

По асфальту, обдавая без всякого угрызения совести зазевавшихся прохожих грязной жижей, оголтелой стаей неслись машины и уносились прочь, потому что эта штука совесть мешает жить нормальному человеку. Но вот дорогой «Лексус», обрушив на меня каскад воды из набежавшей лужи, резко остановился и в образовавшийся проем опустившегося стекла высунулось мрачное лицо с нестертыми заботами.

— Хочет извиниться, — подумал я и устыдился, что создал проблему водителю. Я был внутренне готов простить его, ведь так мы поразительно устроены, что у нас от проклятья до милосердия всего один шаг.

— Эй, ты! Это что за улица?

Он застал меня врасплох, что я, размазывая по куртке грязь, растерянно выкрикнул:

— Не знаю! — стесняясь слабой своей ориентированности, вместо того, чтобы высказать ему, какой он ..удак!

Автомобиль рванул с места, поднимая в воздух, скопившийся на асфальте ливень, и я восхитился проворству, с каким успел отпрыгнуть в сторону, напомнив себе стремительную африканскую импалу.

Гул многолюдного вокзала то и дело разрывался пронзительными криками мешочников и, словно в растревоженном улее, в воздухе проносились хлесткие, как удары камчи, возгласы:

— Асия, кайдасын? Калып койма, Асия!

— Дорогу, дорогу, дорогу-у...!

— Ойбай! Ойбай! Калдыбай келды ма?

В баре два парня с мольбой в голосе упрасивали недоверчивую молодую барменшу дать им в долг выпивку. На синих куртках переносчиков грузов оранжевыми буквами были вышиты шанырак юрты и надписи, напоминающие древнеримские клейма рабов — Жук Тасушы. И мне, наблюдавшему эту картину, мерещилось, будто я слышу, как в их головах гудит, словно в стальных трубах нетопленных печей. Сквозь звон собираемых уборщицей пустых бутылок донесся потеплевший голос девушки, согласившейся плеснуть им дешевого белого пойла.

На перроне хилая бабушка наливала в грязную урну воду и, запустив в нее руку, выскребала щеткой черные стенки. Я казался себе инопланетянином, нечаянно оказавшимся в эпицентре земных страстей, и оттого во рту появился нездоровый, солоноватый привкус разочарования.

И надо же, стоило мне завернуть за угол, как я наткнулся на весьма идиллическую картину, какую не сыщешь в другой раз, если специально посвятишь этому время.

На снегу, привалившись к металлической ребристой стене киоска, на корточках сидел мужчина и мирно дремал, едва слышно похрапывая. Легкая струйка пара вылетала из хрипящей гортани и растворялась в сыром, промозглом воздухе дня. Серебрящаяся щетина покрывала его утомленное лицо с темными кругами вокруг глаз и пустым провалом беззубого рта, застывшего точно в беззвучном крике. Паутинка неглубоких морщин разбегалась по низкому лбу, опускаясь к губам и огибая их, сплеталась вокруг скошенного подбородка.

Безуспешно засовывая крупные татуированные кисти в узкие раструбы одежонки, он явно не мог

предположить ситуацию, в которой находился, и оттого с отчаянием замерзающего продолжал бороться за остатки жалкого тепла. Вся поза человека с опорожненной бутылкой водки, зажатой между колен, была настолько гармоничной, что оставалось невольно поражаться тому.

В старой заскорузлой шинельке, картузе с опущенными ушами он напоминал потерявшего боевой дух солдата вермахта из романа Ремарка «На западном фронте без перемен». Просто вымотался человек на войне, и не осталось в нем больше сил, ни духовных, ни физических.

Но перебитый в бою нос так жадно тянул в себя загазованную хмарь, что никак не стыковался с безжизненным, утеревшим надежду лицом.

Рядом с ним, обнявшись, словно родные братья, лежали еще двое: патлатый в кожаной куртке, вельветовых китайских джинсах, башмаках на толстой подошве и другой, в рваных брюках и ботинках на босу ногу. Эти двое казались срезанными в атаке одной автоматной очередью бойцами и рухнули так, будто патлатый жаждал закрыть босоногого грудью. Неожиданно босоногий заскреб беспомощно ногой, в попытке опереться на нее, но она предательски скользила по снегу, не давая ему точки опоры. Бессильной рукой он безуспешно толкал патлатого в ту самую грудь, в надежде скинуть его задеревеневшее и ставшее в одночасье грузным тело, но сорвал лишь вязаную шапочку с головы. Он уже хрипел, задыхаясь в агонии, и из зажатого телом спасителя рта вырывались булькающие, похожие на звуки кипящего самовара, звуки.

Громко, на весь перрон зазвучала речь диктора, объявлявшего, что поезд на Защиту сформирован с головы, а не с хвоста, протяжно закричали и заметались грузчики с надписями — Жук Тасушы, а вокзальная проститутка с фиолетовым лицом принялась терпеливо торговаться с приезжим.

Сегодня я попутным грузом получал через проводника московского поезда собственную книгу, вышедшую в России. Мое нетерпеливое состояние легко было объяснить предстоящей встречей с ребенком, ваявшимся душными алматинскими ночами. Ведь ни для кого не секрет, что момент появления книги, это и есть явление миру ребенка, чистого, не замаранного, не осмеянного, святого.

Переполненный самыми высокими чувствами, дождавшись, пока выйдут пассажиры, я представился проводнику.

— Вы должны передать мне посылку из Петербурга.

— А, это вы? Сейчас, сейчас, я вам ее вынесу, она в целости и сохранности.

Перевязанная крест-накрест шпагатом, посылка с книгами еще хранила целомудренный запах типографской краски.

— Возьмите, это вам за труды... — я протянул проводнику купюру невысокого достоинства.

— Нет, что вы! Мне уже заплатили отправители.

— Тем не менее. Не отказывайтесь, пожалуйста, мне хочется вас отблагодарить.

Седой проводник трогательно расшаркался, прежде чем принять деньги.

Я испытывал то самое удовлетворение, какое испытываешь, сделав кому-то очень приятное, но не успев и повернуться, как наткнулся на людей в форме.

— Таможня. Что у вас в посылке?

— Да собственно ничего особенного, здесь книги.

— Мы вынуждены изъять их у вас.

— На каком основании?

— Это контрабанда.

— Да, помилуйте! Какая же это контрабанда?

Старший сотрудник, повернувшись к своему

коллеге приказал, точно отрубил:

— Изыми деньги у проводника и оформи как получение взятки на рабочем месте.

Бедный проводник стоял, сломавшись в пояснице, точно на его плечи легла тяжеленная плита, и верно проклинал меня со злосчастной купюрой.

Я должен был что-то предпринять и спасти несчастного человека.

— Давайте отойдем! — предложил я старшему таможеннику.

Он великодушно позволил взять себя под локоток и отвести в сторонку.

— Слушаю вас.

— В посылке книги. Они вышли в Петербурге, и я их автор...

— Это неважно... кто автор, это контрабанда.

Он с особым удовольствием давил на корень слова «банда», и меня уже стало потряхивать от этого нажима.

— Хорошо, сколько вы хотите, я заплачу?

— Подумайте сами, сейчас мы изымем ваши книги, которые вам, как автору, наверное, не терпится заполучить, я понимаю вас... затем мы оформим протокол, и вы должны будете заплатить штраф, а, может, вас вызовут в суд...

— Сколько? — я чувствовал, как в аортах вскипает и пузырится кровь — этого хватит? — я протянул ему купюру значительно более высокого достоинства, нежели проводнику.

Служивый неторопливо оценил ее и, напирая на мое благородство, потребовал:

— За проводника не станете платить, он ведь из-за вас пострадал?

Боковым зрением я успел увидеть, как напрягся последний.

— Держите, это вам за него.

Я взял из рук таможенника посылку и, сплюнув ему под ноги, отправился прочь. Мне не было жаль

денег, было чертовски досадно, что вымогатели в погонах испортили встречу с книгой.

В тесной комнатке с выцветшими обоями, на старом продавленном диване, выбившемся из сил, мне удалось забыться в тревожном сне на остаток ночи.

Снился катящийся вниз тяжелый военный автомобиль, за которым я бегу, трясясь от страха и пытаюсь запрыгнуть в него на ходу. Какие-то солдаты проносились мимо меня с носилками невообразимого хлама. Я слышал их разговоры про неопознанные предметы и приказ ложиться головой вниз.

С удивлением обнаружил на теле камуфляж, в руках лоскутное пестрое одеяло и отчетливо увидел появившийся в небе молочно-белый шар, с круглым поясом вокруг, летящий прямо на меня. Поспешно спрыгнув с подножки и спрятав голову под одеяло, я чеканил слова молитвы, но когда осторожно высунул ее, то увидел что их видимо-невидимо. Они летели один за другим, превращаясь во множество странных парашютиков невиданных форм и проплывая надо мной, спускались к земле, теряясь из вида на улицах города. Огромный, безрукий, полунагой урод в набедренной повязке, с непомерно толстыми ногами, страшно ворочал единственным круглым глазом на жутком в язвах лице в поисках меня. Я накрылся с головой одеялом, не давая себя обнаружить, и существо прошагало мимо. Их было множество, двигающихся, заполняющих собой пространство, и я в ужасе раздумывал над тем, отчего люди не принимают мер? Существа втягивались в золоченое элитное здание, и оттуда один за другим, начинали вылетать их же собратья.

Они дрались внутри смертным боем, и вся округа наполнилась их жуткими звериными воплями. Хватая жадно воздух легкими, я вбежал в один из дворов и наткнулся на безмолвно кричащих об этих уродах людей, пытающихся укрыться в мрачном доме, с огромными пустынными комнатами. По улице, бешено храпя на скаку, неслись табуны диких коней, и начиналось невообразимое.

Небо белело, словно затягивалось молоком, по нему, будто в гигантском шоу, метались красные лучи, и я с ужасом понимал, что наступил конец света. В страхе за сына я беззвучно кричал и успевал думать о том, что все люди на планете в отчаянии, никто не хочет умирать. Но вдруг отчетливо увидел неких важных сытых господ, равнодушно наблюдающих за картиной вселенской катастрофы. Это были непомерно разбогатевшие, и считавшие, что крах не коснется их особ, а небо тем временем затянулось белым, и лишь узенькая полоска еще продолжала синеть, оставляя крохотную надежду.

Я проснулся и долго лежал без движения. Холодный, омерзительный пот струился по телу, медленно возвращая замутненное сознание к яви. Было очень страшно от осознания нашей жизни, потому что сон мой был с глубоким смыслом и, как ни странно, я разгадал его, еще находясь в его власти:

— Тяжелым автомобилем, в который я пытался запрыгнуть на ходу, вероятно, было явление, называемое рыночной экономикой. Невообразимым хламом, от которого спешили избавиться солдаты, была армия. Нагих уродов с единственным круглым глазом мой утомленный мозг ассоциировал с алчными чиновниками. Они смертным боем дрались за право находиться в золоченом здании. А толпы безмолвно кричащих людей, конечно же, были народом.

— Что же, неужели все так плохо в жизни или я рисую себе ее такой, ведь есть же и веселое, забавное, милое, наконец.

Неожиданно в воспаленном мозгу, набухая, точно дрожжевое тесто, стал нарастать мой вчерашний смех, перекрывший лязг вагонов, гул голосов, и я все вспомнил.

История, пришедшая мне на ум после стычки с таможенниками, заставила оглушительно громко расхохотаться, подобно человеку, сошедшему с ума.

Услышанная мною в живописнейших предгорьях Алатоо от прекрасного рассказчика Даулета, добрейшего актера с удивительно мягким нравом, что кажется, он не способен обидеть и мухи, она была поучительной.

Чтобы читателю было понятно, почему это должно было произойти с Даулетом, надо непременно поведать и всю предысторию. Огромного роста, крутой сажени в плечах, Даулет статью и мощью напоминал древних кочевых батыров. И взгляд двух черных глаз, глубоко сидевших под выпирающими мощными надбровными дугами на его лице, не сулил ничего приятного всякому. Если отталкиваться от знаменитой теории Ламброзо, станет ясно, отчего для розыгрыша избрали именно его. Весь его вид рисовал безжалостного громилу, которому не составляет труда переломать руками хрупкие человеческие кости.

Итак, в одной крупной корпорации возникла идея разыграть весеннюю первоапрельскую шутку. Наняли ловкого пройдоху-сценариста, и он быстренько сообразил, как обустроить веселую хохму. Даже сам инициатор не мог

предугадать, как повернется история, и она, подобно выпущенной стреле, вышла из-под контроля и приняла уродливые формы.

Собрание Совета директоров было назначено на полдень. Одетый за счет компании в дорогой бежевый костюм, Даулет стоял, оперевшись руками об мраморный подоконник, рядом с председателем, хозяином роскошного светлого кабинета.

На вымощенную кирпичиками стоянку один за другим въехали презентабельные автомобили: «Кадилак», «Майбах», «Бэнтли».

— Гляди и запоминай! Тот господин, что вышел из «Кадилака», директор нашего завода по производству спиртных напитков. Он верен мне. Болтают, что подворовывает негодяй, ну, без этого не обойтись...

Господин из «Майбаха» — навязанный мне директор сети супермаркетов. Он протеже одного человека, которому я кое-чем обязан, и потому пользуется своей привилегией. Совсем отбилась от рук подлец в последнее время. Надо с ним определенно что-то решать, — председатель разнервничался и стал комкать руками крепко надушенный носовой платок.

Видно, в ту минуту он представил себе миг, когда сможет измять судьбу ненавистного ему подчиненного, точно эту тонкую ткань. Заметив опущенный взгляд Даулета, он смутился и продолжил свои характеристики.

— А эта дама из «Бэнтли» очень крутая. Свои первые деньги она заработала на аферах. «Швыряла» банки, компании, брала предоплаты, которые не возвращала, столько россиян «побросала».

Из сверкающего лаком «Бэнтли» услужливый водитель выпустил на свет изящно одетую, еще не старую женщину с признаками светского шарма.

— Сука еще та! — пробормотал председатель. — Ну что ж, действуй как договорились, а я, как только представлю тебя, удалюсь, и буду наблюдать за всем по монитору.

Господа директора входили в кабинет важно, умышленно не удостоивая Даулета вниманием, хотя не замечать громоздящегося, нависающего над полированной поверхностью стола амбала было невозможно. Каждый из них едва скользнул по нему поверхностным взглядом, ровно по пустому месту, раздумывая про себя:

— Это что еще за хмырь?

Они по очереди подходили к председателю и подавали ему руку. Преданный господин из «Кадилака» постарался подольше задержать свою кисть в ладони у шефа, пытаясь подобострастно заглянуть ему в глаза, в надежде отыскать объяснение внеочередному созыву. Крутая дама растянула покрытые перламутровой помадой губы, выдавливая из себя милую улыбку, но красивые глаза ее продолжали оставаться холодными. Навязанный председателю господин едва заметно кивнул головой с холеной прической и развалился в глубоком велюровом кресле. Возникший за его спиной помощник подал ему толстую ароматную сигару и щелкнул сверкающей никелем зажигалкой.

— Уважаемые господа! Я собрал вас для того, чтобы сообщить, наша совместная работа закончилась с сегодняшнего дня.

Головы собравшихся вскинулись вверх, с лиц слетела напускная безмятежность, а в глазах нарисовались выпуклые вопросительные знаки.

— Мне предложили работу в правительстве, и я вынужден был согласиться. Каждый из вас является держателем определенного пакета акций нашего процветающего холдинга. Мой пакет продолжает сохраняться за мной. Но как

вы знаете, есть и главный держатель акций, находящийся ныне на ответственной должности, в аппарате президента страны. Он прислал на мое место своего доверенного человека, с которым я хочу вас познакомить. Он назначен Председателем Совета директоров. Прошу любить и жаловать!

Красивая секретарша, вошедшая забрать бумаги, споткнулась на каблучках, оторопев от услышанного, и с лица ее медленно схлынул алый румянец. Охваченная пульсирующими отчаянием мыслями, она заметалась по кабинету в раздумьях над дальнейшей своей судьбой.

Даулет медленно поднялся из-за стола во весь свой огромный рост и навис над сидевшими директорами, точно грозовая туча, еще через мгновение готовая пролить черный ливень.

— Я хочу поблагодарить коллег за нашу совместную работу и хочу сказать вам, что мы многого добились вместе, но теперь я должен покинуть вас, — произнес с ноткой сожаления председатель, умышленно неторопливо собирая портфель змеиной кожи и в наступившей тишине щелчок замка на пряжке прозвучал, словно хлесткий выстрел. Присутствующие вздрогнули и переглянулись.

Ни на кого не глядя, председатель величаво удалился, по-саdistски предвкушая предстоящее наслаждение.

Он притворил за собой дверь, и в кабинете наступила полная тишина. Даулет, следуя сценарию, всматривался в усыпанные бриллиантами механические часы на своей кисти, предоставляя директорам возможность оценить количество каратов. Наконец, он заговорил.

— До вас обязательно дойдут слухи о моем криминальном прошлом, ведь вы, как только выйдете отсюда, броситесь собирать информацию. Не тратьте напрасно времени, — снисходительно

выговорил Даулет, — в начале девяностых я начинал с рэкета, — он помолчал в ожидании эффекта и затем продолжил:

— А теперь вот дорос до Председателя холдинга. Прежде чем собрать вас сюда, я внимательно изучил досье и должен сказать, что вполне вероятно, мы с вами не сработаемся. Например, вы! — Даулет указал пальцем на директора завода спиртных напитков, — у вас на производстве все нормально, все работает тики-так, но... есть главное но!...

Даулет молчал, наслаждаясь видом напрягшихся директоров:

— И это но... заключается в том, что вы человек только что сменившегося председателя. А это значит, я вам не смогу доверять... да, да, да!

Председатель, сидя в кресле, глядел в монитор и видел, как напрягся водочник. На его сытом лице проступили багровые пятна, и председателю показалось, что в эту минуту он слышит скрип мозгов человека, которого считал преданным себе.

Узкие глазки-щелки водочника сузились еще больше и стали напоминать бойницы. Водочник лихорадочно метался в мыслях: «Надо же, еще час назад я считал себя процветающим человеком. Придумать, что-то придумать... ведь если этот верзила сейчас ляпнет о моем освобождении от должности, потом все станет поздно и тогда...!».

Ему стало страшно: «Тогда выявятся все мои махинации, и еще хорошо, если украденные деньги заставят просто вернуть, сексуальная помощница тут же отвалит, и я останусь, как прежде со своей противной женой, которая, кроме как нарядами из бутиков, ничем больше не интересуется».

По лбу водочника потек пот: «Как на меня глядят эти суки, они ликуют, но ничего, еще не вечер, я постараюсь вывернуться и тогда мы еще посмотрим... Эх! Если бы у меня было немного больше времени...

— Вам неправильно доложили, вернее, исказили информацию обо мне... вернее... я не был, не был предан бывшему председателю, вернее... я просто честно работал и хочу вам сказать, что внутри нашего Совета директоров... вы можете целиком рассчитывать на... на... мою преданность... вот!

— Вот сука! — взвился председатель от негодования и выплеснул коньяк из рюмки, прямо на экран монитора.

Даулет рассказывал по кабинету и монотонно продолжал говорить:

— Несмотря на то, что вы являетесь держателями пакета акций холдинга, вам прекрасно известно, в чьих руках находится контрольный пакет и кто по-настоящему хозяин, — он помолчал, предоставляя возможность присутствующим полюбоваться его широкой спиной, в этот миг, как казалось директорам, заслонившей им само солнце. — Я знаю прекрасно, что вы воруете. А это значит, что вы обворовываете его! — Даулет пальцем показал куда-то вдаль, за окно, где виднелись белоснежные вершины далеких гор. — И за это будет спрос.

— А теперь, что касается вас, — Даулет остановился напротив господина из «Майбаха». — У вас упали продажи, нет приличной рекламы, ваши супермаркеты не наполнены ассортиментом, а вы с утра до вечера торчите в горах и пользуете молоденьких сотрудниц, — голос Даулета был полон негодования. — Вы прекрасно знаете, по чьей просьбе вас здесь содержали на должности директора сети наших супермаркетов. Но это ваш прежний председатель был в долгу, а теперь у вас есть шанс пополнить ряды безработных...

— Что вы себе позволяете, кто вам дал право так го-во-рить... со... мной? — господин из «Майбаха», начавший свое возмущение так резво, по мере надвижения на него огромного Даулета, стал заикаться и сбавлять тон, пока не замолчал вовсе.

Даулет словно случайно положил на его хлипкое плечо широкую ладонь и отчетливо проговорил:

— Еще не таким будет разговор. Одним словом, я могу вам дать шанс, если вы выполните три моих условия. Расскажите о ваших махинациях с прежним председателем, возьметесь за работу надлежащим образом и ... перестанете красть.

Даулет нажал кнопку вызова секретаря и попросил один чай для себя. Он пил, шумно прихлебывая, не сводя пронзающего насквозь взгляда с коллег и видел, как они съежились, с них спала спесь, с которой они час назад вошли в этот кабинет. В воздухе стояла напряженная тишина, и был слышен стук острых каблучков секретарши в приемной.

— Верочка, вы дорожите вашей работой?

— Конечно, Даулет Смагулович!

— Вас устраивает ваша зарплата?

— У меня хорошая зарплата, Даулет Смагулович!

— Будет еще выше, намного ... выше.

— Спасибо, Даулет Смагулович!

— Вы поедете сопровождать меня в поездке по объектам, а потом мы с вами поедem ужинать, — безальтернативно проговорил Даулет по системе громкой связи, — предупредите ваших родных, что вы вернетесь поздно, но... может быть, вы задержитесь до утра... работы очень много. Вы меня поняли?

В системе громкой связи возникла тягостная пауза, и директора стали нервничать. Они понимали, о чем говорит похожий на Кинг-Конга новоявленный шеф, знали, что Верочка была пассивей прежнего председателя и в страхе, что она откажется, безмолвно молили бога.

— Хорошо, Даулет Смагулович! Я вас поняла! — прозвучало в микрофоне, и директора облегченно перевели дыхание.

— У-у-у, гадина! — простонал у монитора председатель. В сценарии не было этого эпизода с Вероникой, но Даулет стал импровизировать. Словно гигантская кобра, он впился взглядом в даму из «Бэнтли», дожидаясь, пока банкирша не заерзает в кресле.

Она то деланно улыбалась, то сникала и съеживалась, то неожиданно принималась поправлять изящные локоны.

— Пока не перегонят мою «коляску» из Астаны, мне не на чем передвигаться по городу. Я вдруг подумал, не одолжить ли мне ее на время у кого-нибудь из вас? Как вы думаете?

— Возьмите мой «Кадилак», вам понравится, уверяю вас.

— А мне кажется, что вам больше к лицу будет «Майбах»... вы такой ...видный.

— Говорят, выслушай женщину и сделай наоборот, спросим у Верочки, ей теперь придется много времени проводить со мной.

— Верочка...

— Слушаю вас, Даулет Смагулович!

— Тебе какая «коляска» нравится больше: «Кадилак», «Майбах» или... какая машина у вас? — бесцеремонно спросил Даулет у банкирши.

— «Бэнтли».

— Или «Бэнтли»?

— Ну... наверное... последняя.

— Значит, «Бэнтли»?

— Да, Даулет Смагулович!

— Пожалуй, я остановлюсь на вашем «Кадилаке», потому что испытываю к вам... особое доверие, — Даулет доверительно наклонился к водочнику.

— Дорогой шеф! Спасибо за доверие, я вас не подведу...

Председатель недоумевал, почему актер не добывает надменную банкиршу, ерзая в нетерпении увидеть ее истинную сущность. Ему и в голову не могло прийти, что Даулету неожиданно стало

противно глядеть на этих людей, именно поэтому он вдруг направился к двери и вышел, громко ею хлопнув. Директора не смели шелохнуться и продолжали пребывать в позах застывших манекенов. Председатель выбежал из своего укрытия и побежал по коридору мимо выскочившей вслед Вероники. На лице красивой девы был написан ужас, она оказалась самой прозорливой и в одно мгновение обо всем догадалась. Вылетевший пулей на улицу председатель успел заметить, как Даулет втиснул свое крупное тело в проржавевший «Жигуль» и махнул водителю рукой. Впервые за время работы в холдинге председателю расхотелось являться в свой кабинет, и он медленно побрел вдоль улицы, не обращая внимания на сеющий с нависшего неба мелкий дождь. Его яркий галстук, точно в отчаянии, трепыхался на ветру, пытаясь сорваться и улететь, а он продолжал вслепую тащиться, размышляя над пережитым.

Было уже далеко за полночь и утомленный дневными страстями, я, наконец, мирно задремал, в надежде приятно провести остаток ночи, но, еще только окунаясь в негу сна, увидел на своем теле чешуйчатое пятно. Такое пятно могло бы быть от загара и удивленный неожиданным открытием, я стал ковырять его ногтем, тянуть за края. Вскоре моя кожа стала отделяться от тела целыми пластами, и я безжалостно отдирал ее широкими лентами, с груди, живота, бедер, брезгливо отбрасывая в сторону.

Это во сне отражались страхи одного прожитого дня, от которых я и стал избавляться, переполненный раздумьями над тем, как мы живем?



ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ УСЕНА

ВСТУПЛЕНИЕ

Высоко в небе летел журавлиный клин, и на всю притихшую местность в серых вечерних сумерках разносился их призывный и тоскливый переклик. В воздухе плавала невыразимая грусть, а внутри прохладного ветра скользила незримая тупая боль; наметавшись между горой, стенами мечети и сырými домами, она возвращалась назад к безмолвной толпе и большой, скорбной юрте. Люди вскинули головы и, как бы не были переполнены горем их сердца, удивились поведению птиц; небесный караван тем временем, изменив курс, стал разворачиваться, опускаясь все ниже к земле. Никогда еще люди не видали такого; их языки приросли к небу и в горле каждого застыли возгласы удивления.

Черный вожак рассматривал в открытый шанырак запеленованное белым саваном тело мужчины-воина; запрокинувшись на левое крыло, он стал пикировать на юрту. Вслед за вожакom, непрерывно горлая, снизилась и вся стая; испуская звуки птичьего сострадания, летая по кругу на фоне алого заката, они казались вспыхнувшими. Такую картину наблюдали немало выстрадавшие на своем веку люди из народа кыргызов; не в силах больше видеть этого, мужчины опустили к земле тяжелые, точно вырубленные из стволов карагачей, головы.

Ты явился в мир, когда твоя изможденная Кыргызия уже оплакала своих убитых, сгинувших на войне сыновей. Когда в глинобитных домах далеких айлов начали вспыхивать яркие

лампочки и раздаваться первые за долгие годы девичьи песни.

В миг, когда сонный аил разбудил твой тонкий, захлебывающийся детский плач, в унисон ему вознеслись над землей еще тысячи плачей таких же крошек.

В ту ночь была большая работа БОГУ; его Божественное предопределение коснулось всякого, рожденного в ту ночь. И уже под утро, потому что пока не застал новорожденных рассвет, должна была предопределиться каждому его земная судьба, доложили уставшему от нелегкой ночи БОГУ, что в крохотной, горной стране родился малыш. Лишь на долю секунды прикрыл глаза БОГ и увидел ясно твою судьбу и оттого негромко вздохнул грустно, да, грустно, затем взмахнул рукой и велел записать ангелам в толстую книгу СУДЕБ:

— У него будет десять жизней! Он умрет за свой народ.

Так сказал БОГ и отправился на покой и забыл про тебя, потому что с утра его опять ждали Великие Дела.

Но началась твоя, Усен, жизнь!

Ты сосал разбухшую от молока материнскую грудь. Ты издавал первые, странные, не похожие на язык людей, полужвериные звуки. Еще только ползавшего, тебя усадили на коня и мужчины рода смеялись, глядя на то, как ты плачешь, намертво вцепившись в конскую гриву. Потом, по колено утопая в грязевой жиже, ты стал ходить в свою первую школу, первую, потому что их у тебя будет много, да, много. Но это все потом, позже, будет, произойдет...

Так вот ты рос, рос и никто в аиле, даже родители, даже земляки, не знали, что тебя ожидает, ожидает; не знал и ты, а в книге Судеб была расписана твоя судьба, судьба, Усен.

Нагретый солнцем поезд готовился к отправлению; проводники нетерпеливо поглядывали на часы; в вагон цепочкой, один за другим входили военные в камуфляжах. Реплики их звучали коротко, увесисто; прощались сдержанно, точно подтверждая свой статус.

Площадь качнулась, искривляясь в мутном, вагонном стекле и потащилась прочь; взору явилась неприглядная грязь вдоль полотна, дорогие джипы, несущиеся по асфальту. В купе, перестукиваясь, звенели бутылки; доносились звуки булькающей жидкости, разливаемой по стаканам, громкие, бравые тосты. Там военные пили за армию, жен, любовниц, единство народа; из репродуктора бальзамом лились нежные переборы домбры, воспроизводя звуки чарующей степи.

Девушка в красной, глянцевої курточке, белом картузе на красивой головке, вошла в вагон и растерянно принялась озираться. Тугая попка в обтягивавших штанах испуганно завертелась по узкому проходу; в момент, когда она развернулась, удалось вблизи рассмотреть её лицо. Оно было прекрасным: нос, губы, глаза, лоб — все черты. Как человек при виде изысканного блюда исходит слюной, так я глазел на неё, рассматривая все ее достоинства. Высокая грудь, выпирающая через тонкую куртку, сильные бедра, примагничивали взгляд. Но более всего желанными были губы, сочные, полные горячей крови.

Девушка засекла луч моего рентгена и смело взглянула. Взгляд излучал мощный импульс, ошпаривая, точно кипятком; я почувствовал, как по телу пробежала крупная дрожь.

В проходе, позади красавицы, возник мужчина с портфелем из телячьей кожи в руках. Крупный нос, широко расставленные мелкие глаза, светлые

усики, презрительно оттопыренная губа, все детали лица не давали сомневаться в его национальной принадлежности. Он подошел к облюбованной мной красавице, что-то бросил ей в ухо, тихое, заманчивое, обнял в месте, где на талии заканчивалась курточка, и повел ее по проходу.

Военные тем временем напивались со стремительной скоростью; вспыхнувшие словесные перебранки, высокие ноты их голосов, грозили перерасти в мордобой. Они наперебой говорили, что людей искусства необходимо собрать в единый полк, скомандовать им смирно и перед всяким поставить приказ.

Суть приказа сводилась к постановке задачи снимать хорошие фильмы, писать высокие книги, играть великие роли. А иначе всех их на «губу», на марш-бросок или в корпус мира, в бушующий Ирак.

Они так решали под перестук колес, точно теперь им самим предстояло отправляться на передовую, под канонаду орудий, свист снарядов.

В купе негромко играла музыка, во фляжке оставалось вино; отхлебнув, я уставился в окно, точно в большой экран, и увидел белый дождь. Он летел над землей, точно не желал ложиться на нее и неожиданно мне стало больно.

Я вспомнил Усена, с кем бражничал и ношничал, и так ясно осознал, что никогда больше не увижу его.

Мне не доведется обнять его, выплакаться и переброситься единым словом. Больно было так, что щипало в глазах; мысль о друге, ушедшем теперь в иное измерение, сражала меня насмерть. Я подумал о том, как бы он подошел к «лакированной курточке» и произнес нечто такое, что на мгновение нам стало бы весело.

Степь, побитая дождем, все еще серебрилась за окном, как мимо, оглушая, пронеслись ржавые

вагоны товарняка. Картина одинокого всадника, вид редких домиков с черными крышами, резанули по сердцу, и пришлось опять приложиться к фляге.

Я почувствовал, что злюсь на эту негодническую жизнь, забравшую у меня друга, оставившую сиротеть в колыхавшейся утробе вагона, одного.

Унылое стадо, бредущее к сиротливому дому; одинокий ишак на привязи за бетонным забором; стайка уток, вдоль сверкающих нитей магистрали; градус настроения, стремительно летящий вниз, и рука, на ощупь тянущаяся к фляге.

Острроверхие купола мазаров с полумесяцами по углам; оранжевый «Москвич», тележка на резиновых колесах, ржавеющий остов комбайна, потемневшая копна сена — но нет друга!

Даже тот мужичок с узким прищуром глаз, с набрякшими веками, с заветренной кожей, живет свой век, накрепко вцепившись корнем саксаула в желтую степь. Он идет вдоль пролетающего состава, на ходу запахивая шубейку — не зная о моей утрате!

Друг навсегда упокоился под двухметровой толщей земли. Она спрессуется от дождей, ветров, снега. А он не успел передать эстафету тяжкого бремени земной жизни — сыновьям.

Первая жизнь Усена

Сквозь тяжеленные, бархатные шторы на арену цирка вынесся могучий белый конь с тонким, хрупким юношей, вытянувшимся свечкой на красном чепраке. Его расшитая золотом сафьяновая обувь сверкала, отбрасывая искры тончайших лучиков.

Он казался бесстрашным Манасом на сказочном Ак-кул-ате. Еще не вторгнутым в пучину боев, ещё чистым, невымаранным, блистающим, прекрасным.

Ярко освещенный круг примагничивал. Он притягивал к себе из темноты зрительного зала тысячи блестящих от восторга взоров.

Белый конь скакал, раздвигая мощной грудью воздух цирка, стусившийся от эмоций. Он шумно вбирал в себя частицы человеческой энергии и большим глазом косил на седока, вытворявшего немислимые пируэты.

Темные кудри юноши на скаку развевались; упругое тело, изгибаясь, ныряло в опасное пространство между стремительно мелькающими ногами коня, вновь оказываясь в седле, он, торжествуя, вскидывал руки, а зал взрывался аплодисментами.

— Хоп! хоп! хоп! — вскрикивал юноша, поднимая на дыбы ослепительного жеребца, и конь перебирал точеными копытами в воздухе, точно прощался с благодарными зрителями.

Начиналась жизнь, переполненная удалью, вспыхивающими неоновыми огнями, шумом огромного мегаполиса.

Рельсы стали разбегаться в стороны, точно пьяные дружки во время драки. Взору представились бетонные остовы, некогда служившие, и теперь брошенные. Все говорило о том, что жизнь серая, безрадостная, безысходная.

И разноцветные кусочки целлофанов, зацепившиеся за кустики, трепетали точно маленькие флажки. Зеленоватое перекасти-поле, катящееся по рыжей дороге, гонимое степным ветром, на удивление, повторявшее все её изгибы, подтверждало бренность жизни; вылетев к мутной реке, оно с размаху бросилось в воды и исчезло в пенящихся бурунах, точно не катилось, не жило.

Вторая жизнь Усена

Между первой и второй время несется стремительно, так летит хрупкий плот между гибельными, острыми, словно бритва, скалами, в белопенной, холодной, увлекающей в свои толщи воде.

Но вот у тебя и сын! Твоя красавица жена-актриса, позабывшая от любви все на свете и ринувшаяся в безумный водоворот, принесла первенца, и ты, прискакавший к порогу на взмыленной лошади, вскинул крохотный сверток на прямые руки, и громко, во всю мощь легких засмеялся:

— Ха-ха-ха-ха! Это мой Ниязбек! Ниязбек! Ниязбек!

Ты был счастлив Усен!

На деревянном блюде исходила паром баранья голова, прохладный кумыс лился в раскрашенные древними узорами кесе, и все тебя любили, а старые, дошагивавшие свой жизненный путь аксакалы, одобрительно клекотали, точно орлы, глядя на твое счастье, Усен. А из-под белоснежного жаулыка молодая жена посылала нетерпеливые, острые, точно стрелы, быстролетающие, жалящие медом любви, взгляды. И ты распухал от гордости, но как подобает мужу, воину, с достоинством потчевал старых и молодых, ибо древние заслужили, а юные еще были в пути.

Время, уподобившееся тулпару, несло тебя вскачь, влет, вмах, и однажды ты рухнул на пыльную, желтую землю от сочившейся ядом черной весты, которую принесли тебе женщины рода.

Твоего первенца Ниязбека поразила в грудь коричневая жирная змея, выпустив в мягкое тельце заряд смерти, и теперь он лежал на пороге уже холодеющий, собираясь переправиться через реку жизни, чтобы ступить на берег смерти.

— Не-е-е-т! — взревел ты настолько безумно, что дрогнули окрестные холмы, и рванул к нему, на бегу выдергивая из голенища сверкающий канжар.

Одним взмахом отхватил ты пораженный, чернеющий, оскверненный кусок детской плоти, а затем, наступив на гадину, взял уползающую, извивающуюся, изворачивающуюся в руку и отсек ей голову. Твой первенец выжил тогда, хоть и потерял много крови, но выжил и ты, Усен, то была твоя вторая, вторая жизнь!

По закатанной асфальтом привокзальной площади ветер гонял пустой бумажный мешок. Одиноким урюком пробил гудроновую толщу и теперь густо цвел розовыми цветами как упрек глупым людям. Посреди мечущихся торговцев, бетона зданий, железа вагонов, он тянулся вверх, олицетворяя Вечную Жизнь. Сине-красный целлофановый мешок летел по хмурому небу, точно бумажный змей, пока не зацепился за провод, тянувшийся над составом. Он долго трепыхался на нем, с высоты наблюдая за безумием человека.

Смутлого худенького парнишку в бейсбольной кепке, с лотком багровеющих яблок на руках, ярый «мент» толкал в сторону пристройки с надписью «Полиция». Юноша упирался ногами. Острые лопатки впивались в грудь служивого, юнец, пытаясь улизнуть, отшучивался, широко улыбаясь, но служивый был непреклонен; они скрылись в дверях.

Все смешалось: пассажиры, торгаши, проводники, вояки. Из распахнувшихся дверей выскочил паренек без лотка и со стертой улыбкой, а так больше ничего в ту секунду не изменилось в мире.

Только крупная черная ворона, пролетая над вагоном, увлекла за собой мешок; тот оторвался

от провода и полетел с ней рядом, словно ему надоело наблюдать за людской суетой.

Плавню протекли мимо серые домики, заборы, собака с подбитой ногой, и вдоль окна зазеленела степь.

Я устал от коллизий, измотался, изболелся и незаметно тихо уснул.

Снилось мне, будто Усена схватили какие-то люди и под угрозой смерти, спрашивают у меня, снять ли с него скальп. Я малодушничая, оттого что сам хочу жить и предаю моего друга. И будто Усен просит меня: «Не надо, мы же с тобой друзья!».

Снилось мне, будто эти же люди хватают, скручивают в бараний рог меня самого, ибо недаром было сказано: «не рой яму другому». Люди, скрутившие меня, спрашивают Усена: «Снять ли с меня скальп?».

Мой друг отвечает им: «Побрейте его наголо, а потом снимите, и я из его кожи сделаю замш для протирки очков».

Я кричу, умоляю друга:

— Ведь мы же с тобой были как братья!

Я вырываюсь, бегу, запрыгиваю на коня, бью его плеткой, но он застыл!

Конь высокий, хороший, но он не скачет. Тогда я вновь бегу... со всех сторон меня окружают ...

Я вскакиваю в ужасе, ударяюсь головой о верхнюю полку и понимаю, что нахожусь в вагоне.

Третья жизнь Усена

А в третьей ты расхаживал с огромным, изумрудноглазым, мягкоступающим снежным барсом-ирбисом вдоль улетающей к серому парижскому небу Эйфелевой башни, зеленостелящихся под ногами лугов Елисейских Полей, сверкающего, древнеуставшего Лувра.

Вы были схожи с ним изяществом, грацией, силой, вынуждая многое выдавших на своем веку парижан расступаться, и, когда оголодавшие, делили вы пирожки с начинкой из ливера, из уст сентиментальных девиц, летели возгласы упоения, восхищения, очарования. Так и не объявился шейх, посуливший вознаграждение за ирбиса, которого ты собственноручно заполучил в ледниковосверкающих, крутогибельных, остромаящих отрогах Алатоо, ни в тот день, ни в другой.

Обнявшись, точно братья, вы забывались в тревожном забытии, под гулким мостом на берегу мутной Сены, и знаменитые парижские бомжи выглядывали из-за быков, не решаясь приблизиться к вам, хищноспящим.

А наутро, лишь только сиреневые лучи брызнули на булыжные откосы, освещая вас, бездомных, брошенных, опасных, вооруженные ажаны наставили стволы, и дальнейшие ваши судьбы оказались в руках Всевышнего — ибо только он один Ведает!

Это могло приключиться только с тобой и только с Тобой, потому что это была твоя третья жизнь Усен — вся на крутых виражах!

Майский день несет над изгибающейся железной гусеницей темные ошметки рваных туч. Молодые яблоньки за окном, вчера еще стоявшие с набухшими почками, сегодня скукожились. Сжавшийся воздух, кажется, можно резать ножом. В одночасье дышать становится нечем, теперь его надо тянуть, всасывать. Повлажневшая газета неожиданно оставляет на руках кривые, черные отпечатки.

На выпуклости ладони, расплываясь в складках, отпечатывается слово «КИРГИЗИЯ».

Поезд назойливо тянется в глубины центральных земель. Он грохочет, переполашивая желтую и плоскую, как доска, степь, с горбатыми холмиками по линии горизонта.

За окном купе выгоревшая земля местами очерчивается полосами зеленых побегов молодого саксаула. Кусты легонько, едва-едва шевелятся; обдуваемые невидимым глазу ветром, они напоминают мою рваную память. Рваную, оттого, что она тоже полосами. И там, где она зеленеет, там еще в запутанных лабиринтах теплятся воспоминания. А где пылится, подобно выдудой степи за стеклом, там она уже мертва.

На горизонте большими красными валунами движется стадо коров. Посреди него на низенькой, приземистой лошаденке тащится пастух.

Эту картину я уже где-то видел. Возможно, что в Эрмитаже, в залах голландской живописи.

Но вот широкий язык Балхашских вод разрывает выжженные, выломанные, изогнувшиеся квадраты такыров.

А по черной нитке асфальта стремительно несутся куда-то одна за другой три серебристые машины. Куда? За долларами? За мечтой? За судьбой?

Моя кровоточащая рана, Усен! Человек с обожженным лицом, живыми, мудрыми глазами и необъятной, как земли казахов, душой.

— Мой капризный друг! — называл он меня по-доброму, в желании сделать мир краше и ярче.

Золотой, преданный Усен... Усен... Усен.

Четвертая жизнь Усена

А в четвертой ты горел, Усен! То был трюк, множество раз опробованный, сделанный, совершенный, но твой ученик всполыхнул, словно спичка, и не было у него шанса, тогда бросился ты, подминая своим телом жадноалкающий, ненасытнопричавкивающий, утробновзвихряющийся огонь. И Человек победил, потому что была любовь!

Ты обгорел, обуглился, архангелы Азраил и Джабраил уже утягивали тебя к мосту, что тоньше человеческого волоса, за которым отворялись Врата, пробитые заклепками из тел грешников, как раздалось:

— НЕТ! Он еще не свершил предназначения! Оставьте!

Это изрек тот, у кого Девяносто Девять Имен! Так было в четвертой!

Мимо поезда, размахивая крыльями, летит крупная, черноглазая, целеустремлённая, дивно-прекрасная белая чайка.

Я стал думать, может, она — это Усен; он догоняет бегущий, скрежещущий, громыхающий поезд, а иначе, зачем бы ей заглядывать в окна, летящие, мелькающие, как если бы не искать в них, любимого, меня.

Пятая жизнь Усена

— Ты прыгнешь, Усен? Сможешь?

— А что тут прыгать?

— Сто сорок метров. Никто не прыгал на коне в воду с такой высоты! — страшили, нагнетали, совращали режиссеры.

— Не было Усена Кудайбергенова, — его крик-ответ разнесся, повис, застыл в воздухе, тумане, паре, идущем от лакированной поверхности озера.

Всадник на гнедом коне отделился от вертикального, отвесного, смертельного края скалы и картинно повис в межжизнь и межсмерть. Он казался парящим сыном, сыном, сыном бога ...

И еще долго опускался, долго... Точно раздумывал мучительно: стоит ли, надо ли, разрывать, взрывать, растревоживать чудесную, сверкающую гладь?

Так было в пятой!

Ах, эти сочные, кирпичноцветные, жаркие, благоухающие, ароматные кусочки баранинки, нарезанные на плоский, как лезвие стилета, шампур; я снимаю с него их пальцами, обжигающимися, вспухающими и кладу тебе в рот, рот...

— Вкусно? А-а-а! Тает во рту? А-а-а! Растекается? А-а-а! Это я готовил. Для тебя, тебя, брат мой Усен! — произношу я слова сладкие, сахарные, тянучие, испытывая удовольствие от того, что говорю их другу, другу...

Шестая жизнь Усена

Это был твой день, Усен! Ты стал джигитом, и многое свершил, прославляя страну предков, отработав в сотнях кинокомпаний мира, закаляясь в батальных сценах, сам стал похожим на пропыленного, изможденного, изрубленного римского легионера.

Ты брал крепости и сжигал их, меняя доспехи, латы, щиты, копья, давал роздых коням и снова мчался, обгоняя ветер, перепрыгивая через рвы, трещины, пропасти.

Три тысячи всадников, закованных в железо и бронзу, осаживали гневающихся, рвущихся, грызущих удила дикоглазых, пенногривых, шелкохвостых скакунов.

Так хотел ты, и они роняли на сапоги с изогнутыми кверху носками мутный пот в ожидании боевого урана: — ХАК! А когда усталое солнце, расплываясь, тонуло за кромкой безжизненных холмиков, ты с лязгом вырывал из затесневших ножен клинок и на обожженном лице волчьими искорками вспыхивали красные зрачки.

— ХАК!

Пылали старинные крепости и падали, взметая к седым облакам хлопья гари, дыма, сгоревшей домашней утвари. Но то были твои крепости, Усен!

Ты их строил для кино, вкладывая в них деньги, силы, ярость, чтобы завтра же сжечь, проломить, завоевать их стойкотерпимых, верномученических, памятнопавших!

А тогда был юбилей! За спиной полвека, всего полвека, полвека... И было празднество... И тебя окружали те, кто был храбр, честен, предан... и тебя они любили! Ты въехал в притихший, затаившийся, умолкнувший зал на крупном, нервно вздрагивающем, беспокойном коне и принял сверкающезолотой, жалащеалчущий, обоюдоострый меч из рук передающих. Приподнявшись в стремених и оглядев свой народ, ты вдруг взмахнул им и он, пролетев грозно по воздуху, воткнулся в глянцевый, отсвечивающий, скользкий паркет, долго вздрагивая, точно его била дрожь.

— Мне не нужны почести, если народ мой не сыт и дети его не кормлены и скот его захирел! — произнес ты в горечи.

Так было в шестой!

Вдоль вагона на станции Сары-Шаган, что раскидалась для чего-то в этом безлюдном месте, вразвалку на кривых, согнутых, выгнутых наружу ножках, в красном платье и черной жилетке, с подносом, полным жареной, коричневой, пропитанной жиром рыбы, вышагивает старушка. Она не старушка — это тетя, пожилая тетя, похожая на старушку.

Всю её жизнь, думается мне из вагона, можно было бы уместить в крохотную тачку с колесиками. Но она идет, шагает, ползет вдоль состава и продает, предлагает, навязывает свою добычу, достаток, рыбу, рыбу...

Вслед за теткой с выгоревшим дочерна лицом тащится пес, черный с подпалинами, с высунутым языком, длинным, жаждущим, розовым, влажным...

Седьмая жизнь Усена

Так было во все времена, когда на твой народ обрушивался враг, лучшие из мужей выходили навстречу, чтобы отвести беду от старослабых, сиродинок. В многострадальную страну Кыргызов вошел Намангани Джума, в окружении бесстрашных, неподкупных воинов Аллаха.

Усен, ты собрал ополчение из верных джигитов и выступил на защиту. И оказался в плену. Но равный уважает равного и, оказав почести, тебя отпустили.

Так было во все времена!

Но разве народ, это только бедные, голодные, безработные, обездоленные? Нет! И толстолоснящиеся, чревоугодничающие, похотливожаждущие — это тоже часть народа! Ибо он их вскормил, не ведая, что себе на беду.

Так было во все времена!

И вот, когда ты вернулся из плена домой, то с удивлением обнаружил, что шанырак твой рухнул, кереге развалились, и через босага перешагивают чужие нечистые галоши. Жена-актриса в страхе бежала в невидимые, далекие страны, спасая деток, но и это не все, ведь судьба не посылает беды по одной...

Твои враги состряпали против тебя обвинение, арестовали и посадили в зиндан, требуя шакальемерзко, лисьельство, чтобы ты оговорил одного из лучших сынов народа Кыргызов, Кулова.

Но разве мог бы ты так поступить, даже если бы они осыпали золотом в твой вес и подарили джайлау с пятьюстами юртами? Нет!

То была твоя седьмая жизнь, Усен, Усен!

У синей кромки, прикрывшись холмом, белыми квадратами разбросалась деревушка. Разбросалась. А ей бы струдиться поближе, собраться, схороводиться! Миром легче беду переломить...

Поезд трясется на стыках рельс, раскачивая мысли; я вижу посреди голубой глади вод горбом, упреком выпирающий каменистый остров. Вдоль берега, покачиваясь в утлой лодчонке, плывет рыбак.

Ах, если бы это был он, плывущий вдоль желто-зеленых камышей. Мне захотелось крикнуть в окно:

— Усен! — и выпрыгнуть на ходу из поезда. Помчаться, что есть силы к моему другу, да, да, и обнять его так, чтобы затрещали косточки, косточки...

Ах, как бы разыграла душа, душа, смеялась бы и плакала, утопая в мутных слезах, слезах ...

Восьмая жизнь Усена

Тюрьма начинается с ворот! Вот и для тебя распахнулись, проскрипели, прозвякали на все лады врата в ад, придуманный человеками для человек... Для тебя, Усен, жирнощекие, вислопузные, толстозадые, худшие из народа кыргызов уготовили средневековый зиндан, отняв у Джигита не только волю, пение птиц, топот копыт, но и сам бездонносиний, золотолучающийся, ласковоманящий небосклон, небосклон... Они, эти увешанные лжеорденами, обремененные лжегосударственными заботами лжекыргызы бесновались, видя тебя униженного, растоптанного, но не коленопреломленного! Так в брошенном, пустом, продуваемом доме веселятся шайтаны, пируя на своем бесовском празднике, исполняя ритуальные пляски.

Вот они открывают рты, полные острых клыков, высовывают раздвоенные змеиные жала, пытаются ужалить тебя сильнее, обидней, смертельней, и, видя, как не ломается твой закаленножелезный, человеколюбивый, вольновыросший дух, обливаются зеленой, гадкой, слюной, слюной... Ах, эти бесы!

Тишина бывает разная. Суровая тишина седовласых вершин, упоительная тишина вечнозеленого леса, милая сердцу тишина вольной степи и мертвая тишина одиночки зиндана... а-а-а, — вырвется из горла, и звук возвращается обратно, обратно...

Один в одиночке в одиночестве... Только тараканы рядом, безобидные и тоже голодные...

Ты стал наблюдать за ними долго, упорно, внимательно и вскоре стал различать их по окраске, по сломанному усiku, по кривой лапке, но еще позже ты сделал открытие, да открытие...

Одни из них были: веселешуршащие, смелоупрямые, правдостойкие, другие: жаднотрусливые, лизоблюдохитрые, толстопротивные...

И тогда ты отловил тех, других, и посадил в банку и дал им имена-клички толстолоснящихся, тревоугодничавших, похотливожаждущих и присвоил им их должности и читал им собственнособранных бессмертных солдат:

— Воин Я! В бой идущий,
С голыми руками, против негодаев,
Силы не равны, их слишком много,
Но дух мой стоит миллионов,
Перо — мой меч, разящий наповал,
Слова мои — бессмертные солдаты,
Беспощадно буду бить
Двуличных лицемеров власти,
Их не спасет ни сатана, ни дьявол,
Ни прокуроры, судьбы, ни «менты»,
Ни депутаты, ни их законы,
Рано или поздно они обречены,
Когда идут мои бессмертные солдаты!
Чтоб защитить многострадальный мой народ,
Которому суждено счастливо жить от Бога,
Гонимый ветром перемен,
Вне власти негодаев,
Закрыв глаза во тьме ночной,
Иду по тонкому канату,
Протянутому над Бездной,
Меж небом и землей,
Зажав в кулак свою судьбу,
Что служит гласом. Жизнь иль смерть?

Решается в момент,
Шаг за шагом удаляюсь
От берегов родного края,
Свои зовут: Вернись назад,
Иначе нет пути обратно,
Враги бросают камни, чтоб сбить меня с пути,
Когда другие от души протягивают руки,
И вот стою над пропастью,
Качаясь на ветру, с вопросом:
Куда идти? Назад, вперед?
В рай полететь?
Иль в ад сорваться?
Куда укажет Бог?

Девятая жизнь Усена

Ты подошел ко мне пружинистой походкой.

— Это Усен, — сказали мне.

— В зиндан, куда тебя заточили, я так и не доехал!

— Все позади...Теперь я уже на свободе... — засмеялся он.

Этот смех перевернул мне душу. Я почувствовал, что ты станешь мне братом и нежно обнял тебя за плечи.

— Мы с тобой одной крови. Ты и я! — сказал я взглядом.

Да, да, да, так бывает, происходит на этой земле. Пыльной, выжженной, каменной. Неожиданно проклевываются две веточки, тонкие, нежные, незащищенные. Они сплетаются, превращаясь в единый ствол. Он становится крепким и тянется к чистому, голубому, бездонному небу.

Но вот ствол рассекли на две части. И теперь вторая половина истекает соком, слезами, ядом, точно дерево анчар. А первая умерла, разохлась, искрошилась, извелась, да, да извелась...

Моя половина ствола опаленная, обугленная, разбитая, безжалостной судьбой-молнией, торчит ныне из земли, точно гнилой, источенный, изъеденный из десны, зуб, зуб...

В этом месте воды балхашские простерлись, разлились, разбросались широко, широко, до самого горизонта, горизонта... Они сини, гладки, безмятежны, равнодушны, холодны и, к моему ужасу, одиноки, одиноки...

Теперь и моя жизнь пустынная, нескончаемая; унылая, да, да, скорбная...

Оттого что не явит она мне вздымающегося, как тот остров из воды, горькотюремного, яркосмеющегося Усена, Усена...

Не явит, не явит, а мне все кажется, что он едет в соседнем купе или где-то сейчас на съемках, падает с лошади, падает, падает... Он придет в предрассветный час, когда я буду в сладкой, молочной, розовой неге сна, сна...

А тогда я позвонил к нему и сказал: мне плохо, худо, тяжело, постыло...

— Утром ты будешь спать, я постучусь! — донеслись, прилетели, проскользнули, колечками его слова, слова, такие большие... Утомленный бессильной борьбой со своими чувствами, я спал (так спят младенцы, наевшиеся сладкого, материнского молока), когда он постучал в дверь.

Будто не лежала между нами черная ночь, ночь, триста тысяч метров пути, а он на рассвете постучал, постучал...

— Что так рано? — бухнул я спросонья и устыдился, поразился глупому своему языку, заслуживающему чтобы отрезать его, отхватить, вырвать.

— Я только уснул, — закончил бессовестную речь жалкий розовый кусок мяса, ядовитый...

— Ты ложись, поспи, я прилягу у ног твоих... — сказал он и свернулся листочком, опавшим с дерева, дерева...

Когда шла твоя десятая жизнь, Усен, проходила, пробегала, просачивалась, утекала, мы с тобой о том не знали. Не знали, не знали... Пили красное вино, оно отражало нас в алом цвете, а мы смеялись, да, смеялись...

Ты шутил красавицам вслед; раздаривал синеоким, волооким, влекущим девам комплименты; рассыпал их охапками ярких, ароматных цветов, да, рассыпал...

— У всех ярких женщин ямочки на щечках и брови вразлет и глаза большие, точно телескопы, и губы, наполненные соком, соком и челка отрезана наискось, — говорил ты девушкам пламенеющим, гордодерзким.

— Берегите молодость, цените, дарите её мужчинам, а не то она завянет, распылится, осыпется...

Мы не знали! Разве могли мы знать?

Ах, если бы я обладал даром Нострадамуса, Ванги, Ванги!

Разве знает остров, что однажды поднявшиеся воды погребут его, и он распадется, рассыплется, раздробится, рассеется по дну, дну... А поверхностная гладь будет также радовать взоры проезжающих, да, да...

Вон вдоль поезда несется, трясется, бьется, громыхает «КамАЗ» с красным, железным, ребристым, нагруженным кузовом. Это он везет твою маленькую, большую, Великую Десятую Жизнь, Усен, Усен...

Кто может знать, знать? Сейчас он вывалит её, выгрузит, выбросит, развеет, посреди желтой, красной, солончаковой, пустынной степи. Вывалит...

Человек — мужчина в белой, как и у тебя, Усен, бейсболке, в серой майке с тонкими бурыми полосками и шортах, открывающих, демонстрирующих грязные ноги, читает, сидя под надписью на стене «Осторожно, проходит высокоскоростной поезд», газету, газету... А наш высокоскорост-

ной поезд стоит, стоит, он читает газету, а твою, Усен, жизнь везет «КамАЗ», «КамАЗ»...

Мы тогда этого не знали. А, не зная, шутили, смеялись, восхищались, наслаждались воздухом, свободой, лазурными водами, волнами Иссык-Куля, белоснежными шапками гор, горячим, мелким песком, песком...

А ты еще любовался двумя юными барсами — твоими сыновьями Жанибеком и Ниязбеком и женой твоей бывшей, уже иноженой, иногражданкой, иностранкой...

Её щёки, нетронутые паутиной морщин, рдели, расцветали, краснели, когда ты бросал на нее взгляд, взгляд... а глаза, глаза ее играли, вооруженные длинными, острыми, прямыми стрелами ресниц, ресниц... как было в твоей второй жизни, Усен...

И тогда я, глупый, близорукий, несмышленный, недоумевал: отчего, ах, отчего у них всё так сложилось? Они так любили друг друга!

Над темно-синими водами Ыстык-коля, от одного берега до другого, разлетелась цветная, манящая, дразнящая радуга, выгнулась, мостом, соединяя их. Их ли? Людей, быть может? Соединила она в тот миг меня с Усеном, Усеном, его с сыновьями-барсами, с женой, умной, сладкой, не прощаемой... Соединила! Ах, не забыть теперь ту радугу, радугу...

— Смотри, какой камень, — говорил ты и протягивал мне крупный, перечеркнутый, отполированный, переплетенный камень жилами, жилами; они играли на солнце, точно играли нитями судьбы. Камень был похож на сердце, сердце, сердце... большое сердце Усена, Усена...

— Я дарю тебе его, это будет твой камень; он имеет форму сердца; я дарю тебе свое сердце, — смеялся ты, ты, ты...

Десятая... Последняя жизнь Усена

Да, все это было и промелькнуло, будто во сне... будто во сне, приснившимся в беспокойную грозовую ночь, ночь...где всполохами высветились розовые поля, перламутровые деревья, серебряная луна, и вдруг откуда-то неожиданно надвинулась темнота, погребая несказанную красоту, а дальше начался кошмар, кошмар, кошмар...

Кошмар начался неожиданно, так происходит в жерле вулкана с раскаленной булькающей магмой, не предполагая, что она может взорваться в один миг и погresti под собой судьбы, судьбы, судьбы...

В той стране, которую ты любил, Усен, больше своей жизни, уже многие годы происходили чудовищные несправедности, ибо тот, кого избрали и возвели на пьедестал народовластия, стал властолюбцем, настоящим проклятием для твоего народа...

И вот в один из дней магма взметнулась и рванула через край, но могла бы убить невинных, и чтобы этого не произошло, ты и встал во главе смертоносного извержения.

Простой народ, называемый толстолоснящимися чернью, черной костью, запрудил площадь, и не было силы, способной устоять против этой стихии.

А ты бросился вызволять друга, Усен, того, которого жаднотрусливые, лизоблюдохитрые, толстопротивные, хотели поставить на колени, ты ринулся, оттого что для тебя друг, как брат...

Тот, кто стал проклятием, спасаясь, бежал, бежал, и огненная магма, перекинувшись, могла бы стереть вечнолюбимый город, потому что стихия неподвластна, но ты преградил ей путь, да, да...

Все эти дни я звонил тебе, Усен, Усен, раскалая телефон, но ты не покидал седла и конь под тобою истер копыта, копыта...

И вновь, как и прежде, вокруг тебя сплотились тысячи...

Тайна нации в том, что в каждой из них есть тьма отвратительных, недостойных и их охватил трепет, трепет...они испытали страх.

И тогда они направили черных убийц, что подобны ящерицам, таящимся в густой траве, выслеживающим добычу. Те, кто послал их, алкали твоей честной крови, да, да,... а ты не знал, не знал...

В кино есть состояние Саспенса, когда знает враг, но не знает герой, вот и ты, Усен, лучше кого-либо знавший, что есть Саспенс, не знал, не знал, оттого что ты и был герой, герой...герой! Ах, Усен!

Надрывно, совсем рано затрезвонил телефон в моем доме, где ты любил бывать, бывать... когда так рано, всегда это изобретение шайтана несет черный «хабар», «хабар», и я не стал брать трубку, оттого что сердце мое торкнулось.

Я сказал себе:

— Вот успею умыться и только чистым подниму ее и тогда с моим Усеном ничего не случится... - и принялся спешно лить на себя воду, воду...но не успел, не успел...он вновь раскололся.

— Усена убили! — голос в трубке дрожал, дрожал.

Они пришли убивать тебя в предзакатный час, час...

Всепределяющий наблюдал за тем, что происходило и рядом были ангелы...

Подкравшийся сзади спустил курок, но случилась осечка, ибо тот, у кого Девяносто Девять Имен еще испытывал тебя, но когда ты рассмеялся в глаза убийце...

— Это тот, кому я предначертал погибнуть за свой народ? — спросил Вечный.

— Да, Всезнающий — ответили ангелы.

Вот тогда Всевышний прикрыл тяжелые веки, веки ...

И тогда вбежал второй из них и принялся раз за разом пронзать твоё тело свинцовыми дротиками...

Шесть раз пронзил, и затем они бросились бежать сломя голову, ибо знали, что свершили мерзкое дело...проклинаемое, наказуемое. Потому и задыхались на бегу, спотыкались, падали, а дети, они ведь святые, оттого что чистые, не ведая, что сотворили эти люди-нелюди, стали швырять в них камни, камни...как бросали две тысячи семь лет назад от рождества великомученика в Каина.

Ты умирал, Усен, ах, о чем ты думал в последний миг?

Верно, пожалел, что не успел обнюхать детей. Да!

Верно, о жене, иногражданке, иностранке. Да!

Верно, о товарищах-каскадерах, как они будут теперь без тебя, кто о них позаботится? Да!

Верно, обо мне, что не довелось нашему братству растянуться на долгие годы. Да!

Но это длилось всего лишь доли секунд, а ты еще умирал, умирал... и скрипучей арбой в застывающем, сожалеющем, сокрушающемся мозгу тащилась мысль о том, как же будет жить твой народ, народ... что его ожидает?

Но ты знал одно твердо, ибо это тебе успели шепнуть на ухо обступившие ангелы, раскрывшие предопределение КУДАЯ... ты даже произнес это вслух:

— Моя жизнь была не напрасна, потому что спустя время, кыргызы станут жить достойно... достой...дост, — уже дух твой уходил, уходил... и печатью на губах остывающих застыло слово:

— ЮРТА!

Журавлиный клин разносил над притихшим Ортасем невообразимый птичий плач.

Тупая боль, идущая из сердец обступивших серую юрту людей, утекала в небо, в небо...

В хрусталике зрачка Черного вожака навсегда запечатлелось увиденное сквозь шанырак: тело мужчины-воина, закутанное в саван, и рядом с ним застывшая, точно камень-балбал, неподвижная фигура — МОЯ.

— Призрачно все, в этом мире бушующем... есть только миг...! — надрывно пел в веселом ресторане солист; он напоминал пьяным, удачливым, расчетливым, что жизнь — это миг, миг, миг...

А я плакал; я тихонько, незаметно рыдал, рыдал, рыдал... душа моя ярилась, хрипела, кричала, вопила, да, вопила... а белокурая дама в легкой кофточке и невесомой юбочке, не скрывавшей выдвинутых на обозрение колен, колен, смеялась мне; и по другую сторону лестницы мне улыбался белозубой улыбкой парень в джинсах, ковбойской шляпе и рубаше, с густой бахромой на рукавах; а над лестницей висели старинные пистолеты, пистолеты, и мне хотелось вскочить, схватить, сорвать их и расстрелять: даму, нагло смеющуюся в лицо, лицо, и парня в сомбреро; выпустить в них весь смертельный заряд, выпустить, выпустить...

Потому что они смеялись над моим горем, горем... тем, которое разрывало сердце и выбивало из глаз соленые, жгучие, горькие, непрощенные слезы, слезы...

Я скорбел, а они смеялись, я злился, но они продолжали скалить ряды белоснежных зубов; оказалось, они манекены; но песня продолжалась, а я пил от ярости, ярости...

— Именно он называется жизнь! — закончил вещать певец. Он, это миг, миг, миг... всего лишь миг! И не стало Усена, Усена, Усена!

Я смотрел сквозь затуманенные веки на толпу сытых, холеных людей и беззвучно продолжал скулить об утере, утратах, потерях...

И сквозь влажные зрачки вдруг передо мной проступили серые глаза Гоши; рядом с ними я увидел сочившийся невероятной грустью взгляд ушедшего Яши; я почувствовал удивительно теплые руки Усена, Усена, Усена... и тогда я стал крупными глотками глотать и глотать и глотать и глотать глухое, бесчувственное, тягучее вино, вино, вино...

— 27 ноября, Усен, твой День рождения!



ВАСЬКИНО ГОРЕ

Трагически погибшим шахтерам при взрыве метана на шахте имени Ленина посвящается

Часть первая

Из камерной писанины:

«Изо дня в день я сажусь за чистый лист и неловко излагаю что-то о своей жизни. Я уже перепортил кучу бумаги и всю ее изорвал, потому что по прочтении выяснялась некая тупая писанина. Но вскоре я понял, что писать надо не дневник, я ведь не какой-то там человек знаменитый и, тем более, что все мои записи стали напоминать показания подсудимого. Теперь я это делаю не в надежде на то, что это прочтут, а оттого, что мне так легче доживать свои последние дни в этой мрачной камере, потому что как только я закончу это делать, так сразу уйду.

Мои надзиратели совсем не препятствуют мне, возможно, потому, что многие здесь этим себя занимают, это видно свойственно человеку в моем положении. Нет, они наоборот приносят мне бумагу и дают ручку, а при шмоне не трогают мою писанину, и за это я им очень благодарен.

Итак, меня зовут Васька, к слову Василий я не привык, а в «бригаде» меня «познали» Белым за светлые брови. Когда я говорю за «бригаду», я подразумеваю не шахтерскую бригаду, а нашу, подвальную.

Я отзывался на эту кликуху и теперь все еще отзываюсь, хотя был момент, когда я твердо решил больше не отзываться. Белый,

Серый, Квадратный! Я просто человек и, как выяснилось, с непростой судьбой, как и у многих шахтинских пацанов, потому что, как сказал мне один умный человек, на нас висит рок.

Таких городов, как Шахтинск, немало, и можно бы взять в пример кузбасские города, в округе которых также добывается уголь и кругом одни зоны.

Я ведь раньше не задумывался об этом, жил себе да жил, а вот после того, как поговорил с тем умным человеком, многое понял.

Вот ведь глядите, чем печально известен наш край, здесь, словно грибы после дождя, раскидались шахты и зоны.

В свое время на шахты понагнали пленных немцев, поляков, хохлов, татар, а мясорубки-лагеря выплевывали ежедневно перекалеченный фарш человеческих судеб...

Освобождаясь и оседая тут, бывшие зэка продолжали творить свои дела, воровали, грабили и обучали молодежь, пропагандируя лагерную романтику. Так вот и сложилось, что на нас проклятье людей, которые страдали... сколько их тут сгинуло в Карлаге! Порой мне кажется, что все, что плохого происходит в нашем городе, это след тех проклятий и то, что авария эта произошла, это тоже из-за проклятья.

Порой я думаю, что если бы я вырос в Петербурге или в Москве, я бы по музеям ходил, картины рассматривал, в красоте бы соображал. Но я вырос в подвале, где старики учили нас бить всех, кто не наш, а потом пришла эта рыночная экономика и все погнались за «бабками».

Наш город остался без света, тепла, газа, без дорог и девкам была заказана дорога на панель, а пацанам — в «бригаду».

Беспрерывно затягиваясь сигаретой, Васька нервно поглаживал лоб и бросал тревожные взгляды на окованную железом дверь, точно оттуда могло прийти к нему избавление. Ему очень не хотелось глядеть на решетку, символизировавшую его пропащую теперь жизнь. Серость, скупо сочившаяся из-за нее, навевала ужасные мысли и всякий раз приводила его к воспоминаниям страшных дней. Все в Васькиной голове перепуталось, и видения менялись, будто слайды немой хроники. Вот красивое лицо Кати, с прелестной улыбкой, обнажавшей белоснежные жемчужины зубов и милые припухлые губы. Вот синие наколки на обнаженном по пояс теле Игорехи и топор с зазубринами в его руках. Вот седые пряди волос мамы и несущий смерть страшный взрыв в забое. А вот стройное, так любимое им Катино тело, летящее под стальные колеса.

Васька от ужаса схватился за остриженную голову и мысленно согласился с принятым решением, что жить ему не надо.

Вот только бы как-то прилично уйти...?

Но как же это было? А-а-а-а! Васька не смог удержать идущий изнутри почти звериный стон... и вновь принялся вспоминать.

Коробчатые стволы шурфов, разбросавшиеся посреди степи, в то утро гляделись особенно утрюмо на фоне темного снега. Низкое небо, едва озаряемое мертвенно бледной луной было безжизненным. Ни одной, даже самой крохотной

звездочки не пробивалось сквозь затянутый тучами небосвод. Набитый автобус, кренясь на бок, едва тащился под тяжестью ремонтной смены в сторону шахты. В полутемном чреве салона заспанные, небритые лица шахтеров серели измятыми салфетками. Противно скрипели старые истертые сиденья и раздавались тяжелые вздохи, каждый думал о своем.

Его отчего-то знобило, он сидел на заднем сиденье, нахохлившись, втянув шею в плечи, и, как сейчас, раздумывал. Он видел, что на передней площадке автобуса зажатый в тесноте стоит его младший брат Игореха. Прокутивший короткую зимнюю ночь, Игореха, прикрыв веки, покачивался в такт перегруженному транспорту.

Мысли в то утро текли бессвязные, рваные, но, как и теперь, без конца возвращались к Кате, к самой красивой девочке из тех, кто от нечего делать захаживал в местный вертеп «Уголек». Вертеп, со снующими копеечными официантками и скатертями в разводах, на которые никто не обращал внимания. По сравнению с пейзажами улиц, где в брошенных пустых домах с зияющими оконными проемами жутко по ночам кричали дикие кошки, там было даже приятно. Правда, всякий вечер вспыхивали неожиданные драки, которые и драками-то не назвать, а так, избиениями. Уж больно молодежь шахтинская озлоблена, и причин для этого было хоть отбавляй. Вон и брат Игореха теперь с ним в состоянии войны из-за Кати.

Ваську потряхивало, так стало с ним происходить после того, как Игореха взмахнул топором. Чуть было не зарубил его, если бы не окрик перепуганной насмерть мамы.

«Бедная мама! Сколько же она перевидала, натерпелась с ними, и хоть бы он ее пожалел, ведь все последние годы она только и делала, что

таскалась за ним по зонам. Вот ведь как бывает, как складывается эта сука-жизнь, ведь детские воспоминания воскрешали Игореху милым, веснушчатым пацаном, таким добрым, ласковым».

Да именно так размышлял он в то роковое утро.

До сих пор перед глазами у Васьки стоит картина: теплый весенний день, золотистое солнце, точно расплавленное, льется на землю, и Игореха, увязавшийся следом за ним, канючит мороженое.

«Как же меняет людей время! Лагерь не изменили внешность Игорехи, он остался таким же тонким, точно тростинка, с нежным лицом и большими серыми глазами, на первый взгляд доверчивыми, но от внимательного взора не могла бы ускользнуть их скрытая настороженность. В отличие от меня, Игореха кажется непорочным юношей, — подумал Васька.

Природа слепила Ваську плечистым, с мощными развитыми мышцами, да еще и многолетние тренировки дали о себе знать.

«Два срока искорежили тело Игорехи, расписанное татуировкой: «Тот, кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены!».

И душу подсадив его, словно на иглу, на блатные понятия.

Но мама, мама! Так она горемычная испугалась, что сердце у нее захолонулось! Можно, можно понять маму», — раздумывал Васька. — «Одной ведь пришлось ей, надрывая жилы на стройке, тянуть двух пацанов. Да и дали они ей жару, столько доставили хлопот, переживаний, страданий».

Сам Васька стал по-настоящему, по-взрослому рассуждать относительно недавно, да и то под влиянием Кати и тогда же в голову стали приходить шальные мысли о женитьбе.

При мысли о Кате у него тогда в сердце сладко защемило, и по телу растекалась истома.

«Какая же она желанная!» — думал он. — «Я все для нее сделаю и она будет мне хорошей женой! На зависть бывшим друзьям, которые стали косо на него поглядывать, с тех пор как он пошел работать».

Одного только слова Катеньки хватило, для того, чтобы он оставил «бригаду». Одного ее презрительного взгляда, движения, когда она так мило оттопырила нижнюю пухлую губку и вымолвила: «Тоже мне Диллинджер нашелся! — хватило.

Катя, конечно же, была права, ведь если подумать — он — по подвалам, Игореха — по зонам, а мама не спит по ночам и ждет старшего сына, терзаясь в горьких раздумьях о младшем.

Хотелось денег, красивой машины, Катиной любви.

С пятнадцати лет Васька рос в подвале, там и прошел свои институты, например, впервые девку попробовал, как затащили туда Зинку из соседнего дома. Там ее на хор посадили, и его, Ваську, пресытившиеся старшаки выпустили. А ему очень хотелось быстрее встать взрослым, чтобы с ним считались, а не пошел бы тогда, так презирали бы, у подвальных законы строгие.

Он хорошо помнит, как было ему стыдно за тот поступок, как и за многое другое, что составило его бандитскую жизнь. Не зря ведь Катя стыдилась пройти с ним под руку по улицам их разваленного городка.

Воспитанная, ухоженная Катя боялась ехидного смеха за спиной, что ходит с бандитом, и того, что узнают ее родители!

«Эх, Катенька, Катенька, на беду ты мне повстречалась. И мама! Только в этот год она тихо вздохнула, как освободился Игореха, и как я, оставив «бригаду», устроился на проходку, горнорабочим. Стала надеяться, что не сядет больше ее младшенький.

— Сколько же можно сидеть-то, ведь вся его жизнь так и пройдет? — так она сетовала».

Но как же она сильно испугалась в то утро, когда Игореха с топором! Что же она выкрикнула? Господи! Да ведь она Катеньку же с горяча прокляла!

Эх, мама! Конечно же, каково ей было! Ее сердце материнское страдало, разве тут сообразишь, что кричать, а чего нет. Но не надо было Катю проклинать... Эх! Эх!

«Что же делать-то?» — в отчаянии размышлял Васька в те дни, — ведь только я начал работать, а тут Игореха. Эх, Игореха! Насиделся, одичал в зонах, сердце его намучилось без девичьей любви, и вот он вбил себе в голову глупое, что Катя ему знак подает».

От накатывавшего отчаяния, мысли скакали блохами, перепрыгивая с одного на другое, превращаясь в бессвязные.

За стеной отвратительно квакал тюремный ревун, и внутри все всколыхивалось. Картинки воспоминаний возникали и рассеивались так быстро, что ополоумевший Васька не успевал их осмысливать. Где-то в глубине коридора раздавались отрывистые команды:

— Лицом к стене!

— Пошел!

— С вещами на выход! — громко лязгали металлические двери, чьи-то шаги увязали в наполненном горем воздухе и медленно растворялись. На минуту все затихало, чтобы вновь разразиться.

«Но как же было дальше, что было потом, потом, потом?» — Васька напрягся, вспоминая ... то утро...

Автобус подъехал к комбинату шахты, и, растворив двери, стал выбрасывать из чрева шахтерский люд.

Он еще глубже втянул голову в плечи, и отчего-то, крепко сжав кулаки, зашагал вслед за людьми. На душе было склизко, так что сердце замирало, будто предчувствовало страшную беду. Как после смерти паренька, избитого ими в вертепе, и того, что скончался, не приходя в сознание. Он проживал дни, цепenea от страха, в ожидании «ментов», и запястья вздрагивали при мысли о наручниках. Но все миновало без последствий, будто и не было того парня в помине. Будто и не жил он на этой земле, не любил, не мечтал. «Менты» взяли взятку и прикрыли «делюгу», спустили на тормозах. Парень оказался приезжий, да вдобавок еще и без родных, так что никто особо не ворошил то дело.

«Надо же было ему, приехав в этот разваленный городок, заявиться в вертеп и попасться им, пьяным, на глаза. Ведь ничего особенного он и не сделал им, а только позвал не вовремя официантку, в то время как они ее окликали. Вот, и нет человека! Господи! Как же мерзостно все это. Но почему такое предчувствие? Что же может произойти?».

Полный тревоги, он вошел в набитую проходчиками нарядную.

— Там, в забое, вентилятор чего-то захандрил, надо его отшаманить, но не забудьте, перед тем как включать, замерить метан.

— А письменное разрешение будет?

— Ты что, первый день в шахте работаешь? Может, тебе еще и бабу голую в забой?

— При чем баба?

— Вперед! Давайте расходитесь, в шахту пора, итак в этом месяце плана нет, что получать будете? Даже если немного метана будет, не ждать

же дегазацию, так и вовсе без штанов останемся. Так что, как отремонтируете, так и включайте этот долбаный вентилятор. Все! Расход!

«Как было потом, как же было?».

Игривая рукоятчица трижды дернула за ручку, и железная клеть заскользила вниз, точно в преисподнюю. Из зумпфа потянуло сыростью и холодным ветром, пронизывая тело сквозь влажную спецовку. Неожиданно клеть резко ушла из-под ног и стала стремительно падать вниз. Ее «болтануло» так сильно, что несколько мужиков, стоявших между ним и Игорехой, отлетели к центру. Васька хотел было что-то крикнуть ему, но в это время сработали парашюты, и клеть встала как вкопанная. Они столкнулись взглядами, по лицу младшего скользнула кривая усмешка. Они не разговаривали с того самого утра.

А в то утро он разоспался и проснулся от упавшего на глаза луча солнца. Он осмотрелся по сторонам, Игорехи не было, постель была пуста, но не заправлена. Он заглянул в расплывчатое старое зеркало на скособоченном, колченогом шкафу и внимательно оглядел себя. Проступавшее из мути отражение лица было молодо, с голубыми глазами и упрямой дерзостью во взгляде. Небольшой шрам на правой щеке не портил, а, наоборот, украшал.

— Мужчину шрамы украшают! — пробормотал он, направляясь на кухню.

Игореха пил из-под крана воду, и увидев его, нахмурился.

— Слышь, браток, а ты пойми одну вещь, Катя-то ко мне лепится, ты че этого не понял еще.

— Ты че, Игорех, не с той ноги встал сегодня, что ли?

— А ты че со мной так базаришь, я те че, шнырь какой что ли, тебе сказано она ко мне лепится.

— Да ты что, в самом деле, Игорех?

— Короче, ты от нее отвали, не считай, что ты круче меня, а то вы тут в подвалах поприпухли, вас бы на зону, я бы на вас посмотрел...

— Игорех, ты чего несешь, причем тут зоны, подвалы, я с Катей уже столько времени встречаюсь.

— Нравится она мне, понял?

— Да я же тебя все время «грел», пока ты сидел...

— Меня мать «грела», понял? И не тычь мне, ты за все время пару раз чаю завез, вот и весь твой грев...

— А я что, должен был ночевать возле зоны, я мать содержал, пока ты на нарах чалился между прочим.

— А «общак» вы куда толкали? А? А я знаю, вы все сами хавали, а понт пускали, что «общак» для братвы...

— Да ты что ли братва? — от злости вырвалось из его уст, но было поздно.

Бешеные глаза Игорехи дико сверкнули, он метнулся в обшарпанный коридор и выскочил с топором в руках.

— Убью!

И вот тут неожиданно вошла мама. Еще не старая, но рано поседевшая мама, в дешевой застиранной кофте и стоптанных туфлях. Мама! Мама застыла от представшей перед ней картины, словно ее хватил удар, и не бросилась отнимать топор, а только выкрикнула злобно:

— Да будь она проклята, эта ваша Катя!

Вот тогда-то из рук Игорехи и выпал топор, оттого что не ожидал он, что войдет мама

и уж более того, что она проклянет Катю, в которую он впервые в своей жизни влюбился.

«Господи-и-и! Как же меняет людей время!» — застонал снова Васька и, обняв пропавшую голову, спохватился писать.

Из камерной писанины:

«Тот, кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены! — кто-то мудрый придумал этот простой афоризм, и я столько раз, глядя на эту Игорехину наколку, усмехался, уж больно она мне казалась напыщенной, но теперь, находясь в своем положении, согласен с этой истиной.

Я ведь старше Игорехи на пять лет и очень отчетливо помню, как зимой таскал за собой санки, в которых лежал он, укутанный маминым платком, так что видны были лишь его глаза. Раньше я никогда не задумывался, люблю ли я его, и даже, когда он сидел в зонах, я лишь сострадал ему, но особо не скучал. Потому что у меня было полно дел и, честно говоря, я всегда недоумевал, чего уж так сильно надо убиваться маме. Видно, я был ужасный эгоист и опять же, только сейчас я это осознаю. Разве надо было мне совершить то, что я совершил, чтобы понять хоть что-то о себе, какой же я был человек. Нынче я уверен, что всякий человек не живет своей подлинной натурой, а все время меняет личину в зависимости от обстоятельств. Например: с мамой он один, с друзьями другой, с любимой девушкой третий и так далее...

Но почему бы ему не быть всегда одинаковым и возможно ли это? Но о себе я точно знаю, что

нет, потому что я всегда бывал разным. Маме я хотел казаться взрослым и рассудительным, для Кати представляться надежным и любящим, а в «бригаде» казаться крутым и жестоким. Итак, я в течение одного только дня менялся по нескольку раз и осознаю, что это ужасно.

Но я вернусь к Игорехе. Только когда его не стало, я почувствовал ужасную боль при одной только мысли, что его нет, и моя бедная мама его никогда более уж не увидит. Почему-то мне всегда казалось, что его она любит больше, чем меня, видно, из-за того, что он младший и вдобавок еще с ранних лет сел. Помню раз, он сильно затемпературил, горел так, что мама была в отчаянии, и я взял его ладонь в свои руки, она пылала, вот тогда я впервые захотел забрать тот жар себе, чтобы ему стало легче. Я глядел в его серые глаза и мучился из-за невозможности принести себя в жертву во имя облегчения его.

В свое время к нам на шахты понагнали пленных немцев, поляков, хохлов, татар, и кругом были одни лагеря, лагеря...кажется, я повторяюсь, но все же продолжу эту тему. Говорят, что недалеко от места, где теперь расположен наш городок, в те годы была пересыльная зона и там сидели до тридцати тысяч человек и посреди зоны стояли стога соломы, из которых заключенные набивали себе матрацы и подушки. Так что наше положение намного легче: матрацы и подушки у нас набиты ватой. Хотя, в общем-то, мне все равно.

В одной только Долинке было пять, шесть зон и лагерных пунктов и в Коксуне располагалась женская зона, сохранившаяся до сих пор. Из той самой пересылки отправляли еще дальше: в Каражал, Жезказган, а в Акмоле был известный лагерь жен изменников Родины — «Алжир». В те годы в них сидели очень много спутниц со-

ветских полководцев, ученых и я слышал, что в «Алжире» отбывали срока: жены маршала Тухачевского и академика Вернадского. И еще есть долина смерти, о которой рассказывают, что в один из сумасшедших буранов там шел пеший этап: больше двадцати тысяч ээка, и все они замерзли, даже конвоиры.

А в шестидесятых возник поселок Тентек, что означало «хулиган», переросший в городок Шахтинск. Вот и получается, что в самом наименовании были заложены хулиганские судьбы нашей молодежи, впрочем, какие только мысли не возникают теперь в моем воспаленном мозгу.

Моя мама рассказывала, что их родители пережили войну, а сама она в молодости столкнулась со многими трудностями.

Но вот и я, сидя в крохотной камере, приговоренный к «вышаку», начинаю отчетливо понимать, что и нашему поколению выпало не самое лучшее из времен. А мне всегда хотелось жить в эпоху рыцарей и биться на турнирах во имя прекрасной дамы. Мне однажды приснился красивый сон, и я о нем рассказывал Кате: будто на мне стальные, блестящие доспехи, подо мной могучий белый конь и на руке у меня развевается ее голубой шарф. Мой скакун грызет удила, роем копытами землю, я направляю тяжелое копье, поднимаю коня на дыбы и мчусь на соперника.

А теперь я сижу здесь, потому что все в моей жизни развалилось, точно карточный домик».

Васька отложил шариковую ручку и рассеянным взглядом стал осматривать нару, где должны были лежать сигареты. Он видел ее, сваренную из металлического уголка, выкрашенную черным

кузбаслаком, видел истертое арестантами суконное одеяло с серой подушкой, а вот сигарет не было.

«Да, где же они, черт возьми!» — пролетела мысль, возмущая и без того напряженный мозг. Он взялся шарить на столе, скидывая на бетонный пол листы, как вдруг столкнул алюминиевую кружку, наполненную водой, и успел подхватить ее на лету, поражаясь собственной быстроте. От молниеносного движения, совершенного им, в голове застучала кровь, и в одно мгновение стало прозрачно, так, что, наконец-то, он вспомнил тот чудовищный взрыв, настолько отчетливо, что, задрав голову кверху, Васька закричал нечеловеческим голосом, от невозможности пережить его заново:

— А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а!

В стенах тюрьмы порой раздаются такие крики и надзиратели на них почти не реагируют, но все же, подойдя к двери, заглянув в «волчок», постучат по ней дубинкой. Вот и сейчас Васька увидел, как сдвинулась «ширмочка», вкатывая на его место выпученное белесое глазное яблоко. Яблоко цепко понаблюдадо за Васькой, повернулось в направлении нары, сместилось по оси вправо, к «толчку» и, потеряв интерес, исчезло, а на его место упала «шторка».

Васька уронил лоб на стальную поверхность стола и стал грызть себе ладонь. Снова и снова он улетал в воспоминания...

Ослепительно белый огненный шар возник настолько неожиданно, что Ваське и теперь кажется, что между тем, как он услышал разрывающий перепонки взрыв, он успел подумать о сходстве его с экранизацией Голливуда.

Васька на тот момент бежал вослед Игорехе, и только повернул из штреха в забой.

Их крики, перекрывающие, как ему казалось, бешеный грохот трамвая, перешли в открытую ругань на штрэке и грозили вновь обратиться в противостояние. Никак не хотел Игореха рассуждать по-умному, по-взрослому, по-людски наконец-таки, и только злобно ворочал бельмами при упоминании Катиного имени.

В то утро, жалея маму, Васька решился начать трудный для него разговор, потому что, рассматривая дремавшего в автобусе Игореху, он неожиданно почувствовал прилив небывалой прежде теплоты и нежности к своему младшему брату. Впервые в своей жизни он осознал ответственность за нескладную Игорехину судьбу и мысленно простил ему колкий, ершистый характер, обидные слова, топор с зазубринами, претензию на Катю. Ему захотелось подойти и обнюхать Игорехино лицо, как делала это мама, заставляя его ревновать. Объяснить ему неразумному, что он даже смог бы усмирить свое сердце и заставить его не биться, не любить, пожертвовать ради него, отойти в сторону, если бы сама Катя того пожелала, но поступить так, пока она не сделает свой выбор в пользу его, он не может. Не может, потому что это будет нечестно по отношению к ней, чистой и умной, нежной к нему, избравшей простого парня, тогда как подруги ее встречаются с сынками богатеньких родителей. Ведь он же не какой-то там сука!

Он бы смирился, потому как больше понимает эту жизнь, и уступил бы ему, только ему на целой земле, а с другими стал бы биться за свою любовь насмерть!

Внутри Васьки полыхали самые добрые, самые искренние чувства, какие могли бы только проявиться между людьми, близкими по крови. Качаясь в душной утробе автобуса, Васька с любовью размышлял о маме, о малообеспеченном

детстве, о мебели, которую давно надо бы заменить, и не заметил как под воздействием собственных мыслей, уверовав в Игорехино понимание, вернулся обратно мыслями к Кате.

Он глядел в темноту окна и видел светлый зал бракосочетания, в котором множество людей с замиранием наблюдают за их танцем.

Этот танец назывался вальсом Штрауса и под эту чарующую музыку по зеркальному паркету скользят они с Катей. Вложив белые ладони с тоненькими, хрупкими пальчиками ему в руки и доверчиво склонив красивую головку на его широкие плечи, Катя счастливо смеется, рассыпая смех в простор зала. Длинный шлейф ее подвенечного платья бесшумно скользит за ней, невесомой, воздушной, прекрасной, и Игореха весело подмигивает ему, своему старшему брату. Из-за упитанных лиц удачливых Катиных родственников Васька явственно увидел покрытое паутиной ранних морщин лицо любимой мамы, безгранично радостное.

Вот с таким настроением вышел Васька из автобуса, и лишь только зимний морозный ветер остудил его лицо, как все грезы его рассеялись, подобно пелене тумана, и тогда он крепко сжал кулаки.

«Господи! Как часто нас уносит в мечтах. Хочется хорошего, — так подумал он, шагая вслед за тянущимися вереницей шахтерами, боковым зрением видя заспанного Игореху.

«Светлый зал бракосочетания, вальс Штрауса, зеркальный паркет. Это только в Караганде, а в нашем Шахтинске загс, со вздутыми полами, едва теплые батареи в это время года, дороги в рытвинах, точно в воронках от бомб, по которым не ездят вороватые наши акимы, бесконечно меняющиеся».

Васька чертыхнулся от досады, что опять его стали обуревать мрачные мысли, и решил больше ни о чем не думать.

Он специально сел в один вагончик с Игорехой, мгновенно насупившимся, и, дождавшись протяжного сигнала трамвая об отправлении, начал трудный разговор:

— Игореха, братишка, ну что ты дуешься, черт возьми? Давай поговорим начистоту. Там мама переживает, она ведь столько лет тебя ждала, я же видел, как она маялась, по ночам молилась, плакала. Разве тебе других девчат мало, ну хочешь, я тебя с одной познакомлю...

Игореха сидел напряженный, натянутый, словно тетива арбалета, не замечая, как на румяных щеках его стали проступать белые пятна.

Васька все видел, но продолжал разговор.

— Ты пойми одно. Тебя еще не было, ты сидел, когда я познакомился с Катей.

Игореха вытянулся, уперевшись каской в потолок вагончика, и зачем-то потянул к себе самоспасатель.

— Ты же понимаешь, мы богато никогда не жили и я вырос в подвале... ты по-своему рос, с блатотой пастал, мама целыми днями на стройке погибалась за гроши... так вот, когда я ее увидел, сразу понял, это моя мечта, мечта, понимаешь, Игореха...

Игореху мелко трясло, но распаленный Васька уже не замечал этого.

— Я ходил вокруг нее кругами и не решался подойти. Ее отец — бывший директор шахты, она из такой семьи, у них три машины в доме, она всегда так одевается, у нее подруги все дети «крутиков», а я? Я кто, Игореха?... — Васька хотел сбавить тон, но понял, что из-за грохота трамвая он его не услышит и радовался тому, что Игореха молчит, не перебивает.

— А я «качался» по пять часов в день и выезжал с нашей «бригадой» на «стрелки». Там «терки», разборки, опротивело, но жил с надеждой, вот-вот

тачку куплю, и тогда хоть не стыдно станет к ней «подъехать». А потом все случайно произошло, я и не думал, что так может случиться. Как-то шел домой с тренировки и вижу, Катя идет навстречу, а сама будто слепая... ты слышишь меня?

Игореха ничего не отвечал, он сидел, покачиваясь в такт вагону, и отрешенно смотрел в пол.

Васька продолжил свой монолог:

— Она идет, а на лице слезы, тут с меня робость спала и я к ней... Она мне — там один парень меня обругал грязными словами, я гляжу ей в глаза, а у нее во-о-т та-кие слезы и, самое главное, они не ка-тятся, а стоят в них... я туда... спрашиваю этот, она головой машет, я как треснул со всей силы того, ну и он с копыт. Она меня берет за руку, и мы пошли по улице, я в тот день ее домой проводил... Понима-ешь, Игоре-ха? — Васька почти орал.

Трамвай замедлил ход и скоро вовсе остановился, проходчики полезли из вагонов.

Игореха взмахнул самоспасателем и пошел по деревянному трапу, не глядя на Ваську.

— Ну, че ты молчишь? Я же тебе объясняю, тебя не было, когда у нас все началось..., я и маме ее со стороны показывал... я из-за нее «бригаду» оставил, в шахту пошел...

Они шагали самые последние.

— Не ори на меня! — вскричал Игореха. Трудно было ему все выслушивать.

— Давай присядем вот здесь в «кутке», поговорим по-человечески, — Васька потянул Игореху за рукав.

Разговор затянулся еще на полчаса. Игореха молчал, Васька оправдывался. Его злило Игорехино молчание. В полумраке «кутка» родное лицо братишки выглядело злым. Из-под грязного рукава спецовки синяя надпись на кисти «За все лягавым отомщу» выглядела зловещей.

— Уйди в сторону, братан, мне без нее не жить! — вдруг вымолил Игореха и Васька остался сидеть с открытым ртом, ловя воздух, точно рыба, выброшенная на берег.

— Как? Я же тебе все объяснил...

— Мне без нее не жить! — упрямо повторил Игореха.

— А как же я...?

— Не знаю... но нам тогда не разойтись... — ответил Игореха и, подняв голову, впервые за все время глянул в глаза брату. В его огромных серых зрачках стояла застывшая, непередаваемая боль.

— А ты ее спросил? Она что же кукла, что ли? — прошептал пораженный Васька.

— Полюбит. Ты не стой у меня на пути.

Игореха поднялся, кинул спасатель за плечо и, не глядя на брата, рванулся из «кутка». Васька сидел, точно его пригвоздили к деревянному лежаку, и переваривал услышанное.

— Вот тебе и светлый зал бракосочетания, вальс Штрауса, зеркальный паркет, — тупо протащилась в голове насмешкой мысль, еще час назад казавшаяся сбыточной.

«Что же делать?» — Васька стремительно бросился догонять упряма. Он бежал, спотыкаясь на бегу по трапу, и просил его остановиться, но настырный Игореха уже свернул за поворот, ведущий со штрека в забой, только и мелькнула его спина.

«Сейчас я догоню, его... он уступит мне... ведь он мой братишка... это он со зла... он хороший...» — как утопающий хватается за соломинку, так Васька убеждал себя, задыхаясь на бегу. Он уже тоже свернул за поворот и успел пробежать несколько метров, как в глубине забоя, там, где молотил комбайн, вспыхнул яркий ужасающий шар. ШАР! ШАР! ШАР!

— А-А-А-А-А-А! А-А-А-А-А-А! — вновь вскричал Васька и принялся молотить руками бетонную стену камеры, не чувствуя боли. Он бросился ничком на нару и стал беспорядочно кувыркаться на ней. Так кувыркаются волки на стилом снегу, получив от человека смертельный заряд под самое сердце, но не оттого, что хотят жить, а оттого, что после этого не смогут жить.

— У-У-У-У-У! У-У-У-У-У! — Васька неожиданно притих и стал вспоминать, как было дальше. Вдруг он вскочил, собрал с пола бумаги, схватил ручку и взялся размашисто быстро писать, словно бы за ним кто-то гнался.

Из камерной писанины:

«Когда я увидел этот страшный шар, я успел подумать, что именно таким бывает взрыв от ядерной бомбы, затем я успел осознать, что это взорвался метан и только после этого вспомнил про Игореху...все это за долюшку секунды...

Да! Я закричал диким голосом, услышал звук взрыва, увидел, как внутри шара полетели обрывки человеческих тел, бревна и... тут я плачу, слезы льются из глаз градом, не потому, что я трус, просто страшно, ребята, пережить такое, никому не пожелаю...

Я рванул к Игорехе, но он уже присел в тот момент, обхватив голову двумя руками, и последнее, что я увидел, это то, что шар прокатился над ним, а взрывная волна, летящая впереди шара, ударила меня в грудь и вышвырнула за поворот на штрек.

Когда я пришел в сознание, то долго соображал что произошло, и как только вспомнил, попытался

подняться, но ноги не слушались, меня страшно тошнило, голова раскалывалась на части... я пополз в сторону забоя. В забое уже полыхал сильный пожар... я полз, натываясь на куски тел, то на чью-то руку, то ногу... Игореха сидел в той же самой позе, в какой я его успел запечатлеть. Вначале у меня мелькнула мысль, что он жив. Я едва поднялся на колени и потянул его за руку... А-А-А-А-А-А! Рука Игорехи отпала и осталась в моих ладонях... Она была вся обуглена, куски спецовочной ткани остались с нее... А-А-А-А-А-А! Игореха весь был прожаренный... насквозь... Вы видели когда-нибудь барана, жаренного на вертеле? Я видел... и я не знал, что мне с ним делать, я боялся его тронуть, он бы весь развалился, я пребывал в шоке и пополз на четвереньках дальше в забой, думал, может, там кто есть живой... я не соображал, что делаю... или хотел уйти подальше от сгоревшего Игорехи. Дышать становилось невозможно, температура поднималась такая, что реишки привода были горячими, я наткнулся на металлическую сетку и... и... и, я никому не пожелал бы такого видеть... взрывом мясо продавило, точно сквозь мясорубку, а головы застряли в ячейках... А-А-А-А-А-А! Как было дальше, я ничего не помню. Говорят, что меня подобрала спасатели и вытащили на-гора, короче, я один остался в живых, из всего забоя... Если бы Игореха не побежал тогда из «кутка», он бы тоже... не могу писать... больно!».

«Прошло два дня, как я не притрагивался к бумаге, пытаюсь оклематься, да, видно, мне уже не суждено все забыть, но противно было, ребята, тогда, когда я стоял среди бастующих шахтеров, требовавших повышения зарплат. Они все кричали о плохих условиях труда, о травматизме, о нищенском существовании, но совершенно забыли о сорока одном погибшем, чьи тела пролетели, словно сквозь мясорубку,

а об этом надо было в первую очередь... есть ли правда на свете или так устроен сын человеческий? Моя бедная мама, на вопрос, что бы она хотела получить, в виде компенсации за Игорехину смерть, съежилась, лицо ее стало белее мела, и она не взяла ни копейки. Когда хоронили Игореху, она поражала меня своей выдержкой, потому что горе было не у нее одной, и я даже забеспокоился, не тронулась ли она рассудком? Но в момент опускания гроба она потеряла сознание».

Ваську хотели увезти в реабилитационный центр для шахтеров, чтобы он немного отошел, но он наотрез отказался и остался рядом с матерью, в одночасье ставшей маленькой ростом, переломившейся в спине. Катю он не видел ни разу и старался не выходить на улицу, чтобы случайно не повстречаться. Васька даже не мог себе теперь представить, как бы он мог встретиться с ней? Ведь все, что было до взрыва, это теперь оказалось другим измерением. Игорехино последнее: «Мне без нее не жить!» — эхом стояло у него в ушах.

Мама все время задавала ему один и тот же вопрос, точно чувствовала, что у них состоялся важный разговор:

— Вася, сынок, о чем вы говорили с Игорешенькой в тот день?

Она этим самым вопросом теперь, сама не замечая того, убивала наповал старшего сына. Что мог ответить ей Васька? Рассказать, как долго он убеждал младшего понять невозможность их с Катей союза, или как ему хотелось обнюхать Игореху, или про вальс Штрауса, или про то, что

задержи он еще на мгновение Игореху в «кутке», и он оказался бы жив... Что?

Жизнь для Васьки стала совсем невозможной. Он и не ел по несколько дней, лишь порой грыз зачерствелую краюху, не смея притронуться к свежему хлебу, потому что есть свежий ему казалось кощунственным. Целыми днями Васька вышагивал по комнате и невидящим взором тупо смотрел в мутное окно.

Один и тот же вопрос назойливо крутился в мозгу: «Как ему теперь быть с Катей? Отказаться ему от нее, но разве она в чем-нибудь виновата?».

И ясно понимал, что с ней он после происшедшего тоже быть не сможет. Это было бы предательством памяти Игорехи, он бы с того света кричал: «Я обжаренный, обугленный, а вы вместе спите на одной кровати!!!».

А встревоженная Катя уже неоднократно звонила и подсылала к нему его бывших дружков. Они звали в ресторан:

— Ну, че ты Белый? Че мы, не понимаем, что ли? Назад не вернешь братишку, пойдем, выпьем, помянем погибшие души...

Но он молча закрывал перед ними дверь.

Так пролетело шестьдесят долгих, мучительных дней и ночей, состоявших из восьмидесяти тысяч четырехсот минут, потому что каждую из них тяжело было протянуть.

Он не помнит, как очутился на карагандинском вокзале, это было следствием его бегства от людей и, набродившись бесцельно по городу, Васька оказался на малолюдном перроне. Помнится, он курил одну за другой сигареты, как неожиданно его словно пронзило раскаленным штырем от крика, им услышанного. Без всяких сомнений, голос принадлежал Кате. Только у нее был такой грудной, бархатистый тембр голоса и его имя, прозвучавшее столь вымученно, могло бы быть выкрикнуто одной ею.

Васька оглянулся и увидел бежавшую к нему Катю. Ослепительно белый пуховый платок слетел с ее плеч и раздувался на ветру, словно парус.

— Ва-ся! Ва-ся!

От прилившей в голову дурной крови он и не знал, и не слышал, что позади него на путь стремительно врывается скоростная электричка.

Так на тихий, измученный от жары берег обрушивается крутая волна, размывая прибрежный песок. Ее крик. Ее облик. Вся она, к нему бегущая. Белый платок, развевающийся за плечами.

Он вновь явственно почувствовал в своих руках отломленную Игорехину руку, а в ушах прошепестело: «Без нее мне не жить! Полюбит!». Ах! Если бы она не заговорила с ним в тот вечер, все было бы не так, как теперь!

Подбежавшая Катя вскинула руки и потянулась к нему губами, а он, ослепленный в тот миг, отпрянул, словно бы это была не его любимая Катя, а вампир, алчущий теперь его крови, и уже, изгибаясь в пояснице, бессознательно толкнул, что было силы ее от себя.

— А-А-А-А-А! — заревел Васька на весь тюремный продол, уподобляясь страшному зверю, поедающему самого себя. Окружающий мир перед ним треснул и раскололся гнилым орехом, и он увидел себя не в тесной, сырой камере, а парящим над мягкими, перистыми облаками, невероятно большого роста, с распростертыми руками. Как вдруг облако под ним разверзлось, и он отвесным камнем полетел вниз, больно ударяясь об землю, вот тогда... он увидел летящее на стылые рельсы тело любимой Катеньки, на мгновение, зависшее в воздухе, чтобы он успел

нагадаться в ставшие родными глаза. В ее глазах светилась любовь, а уголки красивых губ едва заметно дрогнули, и в них затаилась обида-да-да-да-да...

Из камерной писанины:

«Сколько же весит душа человеческая? А после пережитого она увеличивается, разбухая, болит, стонет, корежится, заполняя собой все пространство, из сосцов ее сочится кровь, и кажется, что стены темницы сдвигаются, и потолок опускается все ниже и ниже, придавливая двуногое, цепляющееся за жизнь существо... продолжающее поедать отвратительную баланду и подавать другие признаки жизни...

Да, я для себя решил уйти из нынешнего измерения, отчетливо понимая низость собственного положения, ибо могу ли я жить, погубив Катеньку?

Она была для меня светлым ангелом, моим нимбом, моей беззаветной любовью и то, что произошло, это ужасно...

Пусть бы мы расстались, и она со временем вышла бы замуж за другого человека и была бы счастлива. Но ее дивная красота смята грудой бесчувственного железа и единственным виновником тому являюсь я. Так вот, должен ли я жить после всего случившегося, это ли истина? И я не боюсь уйти, потому что глубоко убежден в том, что подлинная смерть наступает тогда, когда ты сам себя казнишь, а сейчас по камере волочется лишь мое брненное тело...

Если бы я не писал эти строки, ставшие для меня отчего-то необходимыми, я бы не секунды не колеблясь, прервал бы это жалкое существование...

Но милая моя мама, как же она переживет еще одну ступень горя, если я совершу то, что я замышлял?

Я все время пишу и рву часть из написанного мной с такой яростью, словно бы бумага мой враг...».

Наступило утро, когда Васька проснулся от отчетливого прикосновения к его обнаженному по пояс телу чьей-то ледянящей, покрытой густыми негнувшимися волосами руки. Спина, шея, ноги, даже глаза его налились такой невероятной тяжестью, что он не мог и пошевелиться, лишь усталый мозг продолжал отсчитывать время, словно часы-ходики. Он понял, что пробил час.

От этой мысли ему не стало страшно, все давно было продумано и только никак не верилось, что его время пришло.

Откуда-то сверху его подвальной камеры, с тюремного двора, доносились приглушенные звуки: вот где-то вдалеке стали разъезжаться стальные ворота, а вот, чихая выхлопной трубой, въехала машина, скорее всего автозак, и где-то совсем рядом с решеткой пролетела крикливая птица.

«Неужели все? Да, все... Но почему же не слушают ноги, как же я поднимусь, чтобы закончить... Неужели все же я...? Нет, нет, нет...»

Как вдруг серый потолок камеры сменился на беленый их тесной квартиры, и Васька разглядел проступавшие на нем полосы.

Он услышал голос, который мог принадлежать только одному человеку на этой земле, его милой маме. Она шуршала целлофановыми пакетами, что-то докладывая в них, и его мозг вдруг осенило, что она собирает ему передачку.

— Сигареты все равно высыпят из пачек, лучше-ка я соберу их букетиками. Чесночка надо доложить, как бы пародонтоз не развился, зубки ему надо беречь. Эти теплые носочки пока попридержу, их я уже в зону отвезу, как отправят... Господи, Господи Всемогуший, сжался же над моей бедой, ведь если с ним что случится, я на себя руки наложу, наложу, наложу-у-у!

Васька увидел ее, сухонькую, легонькую, почти невесомую, и был поражен. Но более всего он оказался сраженным тем, что маме помогала собирать его любимая Катя.

«Но разве это возможно? — раздумывал он, — ведь Кати нет, она среди тех, кого уже никогда не увидеть рядом с живыми».

Но он наяву слышал, как Катя произносила слова с присущей ей только запинкой в конце их.

— Мама, вы не беспокойте-сь, с Васей ничего не может произойти, потому что он очень сильный и очень нас с вами любит. А то, что все говорят, будто он меня толкнул, так это неправда, потому что я сам-а споткнулась, а он пытался меня удержать, да не смог. И я хочу, чтобы мы с Васей встретились, когда наступит время, потому что люблю его и буду ждать. А если он что-то с собой сделает, то останется неприкаянным, и его не пустят туда, где я, здесь такие строгие порядки.

Сердце Васькино всколыхнулось, забилося от услышанных им слов Кати, будто птичка, пойманная в силки, и он осознал, что и вправду не встретится с ней, сверши он задуманное. А ведь он этим жил последнее время в надежде вымолить себе прощение у нее там, где она теперь пребывала. А без ее прощения он не мог, не мог.

Он почувствовал, как каждую его клеточку пронзили длинные иглы нечеловеческой боли, и он лежал, пронизанный ими долго, очень долго, моля себе смерти и за того, незнакомого парня.

Это после тюремные надзиратели расскажут ему, что так продолжалось с ним, оставшимся без движения и речи, много месяцев, состоявших из неземных мучительно длинных минут. Только, изнемогая, билось сердце, стеноя, мучился мозг, корежилось от сознания содеянного, сознание.

Веление жить ему пришло свыше, в золотом утреннем луче, скользнувшем сквозь арматуру. Васька это понял, оттого что иглы медленно, будто нехотя вышли из него, покидая его распятое тело. Будто кто-то Всепрощающий вдохнул в него жизнь, потому что высохшие, словно у мумии, члены неожиданно разогнулись, расправились и подняли его на бетонный пол палаты. На металлической поперечине решетки сидел прилетевший неведь откуда сизый голубь.

Скоро Ваську отправят на этап. Он принял Сверху самое трудное для себя наказание — жить со своей болью! Он решил, что если ему доведется когда-либо выйти на свободу, пойти вновь в шахту.

От автора

Мне не хотелось так круто ломать Васькину, Игорехину, Катину судьбы и того незнакомого парня. Я безуспешно пытался повернуть свой рассказ в другое русло, но он неизбежно привел меня к этому финалу, где судьями теперь выступите Вы, читатель!

г. Алматы, ночь, февраль 2007 г.



БАЛЕК

«Мерседес» рассекал желтую, выжженную степь Бетпак-далы. Редкие кустики саксаула едва шевелились от тягучего знойного ветерка, намертво вцепившись в голую землю. Он залетал в салон сквозь опущенные стекла, с острыми, невидимыми глазу песчинками, больно секущими лицо. Однако о том, чтобы поднять их, не могло быть и речи, тогда бы стало невыносимо дышать. По обе стороны избитого, плавившегося асфальта неслась однообразная картина, навевая уныние на моего спутника.

— Боже мой, ну и скуотища! — словно читая мои мысли, протянул он, широко зевая.

— Это и есть знаменитая Бетпак-дала, Великая полупустыня! Летом она знойная, здесь всегда дует нудный суховей, превращая человеческую кожу в бронзу, а зимой сумасшедшие бураны безумствуют до такой степени, что переметает все дороги в округе.

— Проклятые места, я бы ни за что здесь не жил...

— Каждый живет там, где ему определила судьба... — невнятно пробормотал я.

— При чем здесь судьба? Жить надо там, где есть море и пальмы, — мой спутник, наживший в наши смутные времена деньги на контрабанде, поправил изящные солнцезащитные очки и потянулся до хруста.

— Настоящая жизнь там!

— Жизнь настоящей может быть всюду... — упрямо возразил я.

— Нет, братан! Ха-ха-ха... ты не понимаешь... вот наворуй «капусты» и махни в Испанию, в Валенсию! На побережье! Ах, какие там ходят женщины, уму непостижимо! Песок мелкий, точно сахарная пудра, лимонного цвета, а вино...?

И ты в белом льняном костюме, рубаха на тебе вот так, смотри... — спутник задрал футболку, обнажая загорелую грудь. — Нет, кайф там, братан...

Он еще что-то говорил, а мне неожиданно вспомнился удивительный, но непонятный для меня человек, Валек. И хотя прошло уже много лет с тех пор, как я видел его в последний раз, и память, словно пожелтевшая фотография, смутно отображала события тех дней, я вспомнил его настолько отчетливо, будто расстался с ним только вчера, и вновь возразил спутнику, решившему, что и я предался сладким мечтаньям.

— Не для всех деньги что-то значат а, кроме того, есть еще и понятие — Родина...

— Чего, чего? — контрабандист от изумления приподнялся с места и сдернул с лица очки.

— Ты, наверное, перегрелся... вымолвил он, закуривая сигарету.

— Да нет... — опять же невнятно пробормотал я, улетаая в свои сомнения.

Образ Валька все явственней проступал передо мной, и мне до одури захотелось еще раз в жизни увидеть его, и я принялся вспоминать все, что было с ним связано.

Теперь я уже и не помню, стал ли я повествовать спутнику, или лишь раздумывать о нем, но кажется, я все-таки рассказал, и он мне что-то возражал. Нет, он не возражал, он рассмеялся и обозвал его дуралеем, а я промолчал... но точно помню, что все внутри меня склонялось на сторону Валька.

Никто, даже сам Ладуш не мог бы теперь сказать, откуда появился Валек. Он возник на залитом солнцем дворе КПЗ, точно заблудившийся суфий. Весь его необыкновенный облик говорил о человеке,

давно отрешившись от мирских забот, материальных благ. Задрал патлатую голову вверх, беспомощно щуря выблекшие глаза, он глядел на безжалостное небесное светило. А может, обозревал вышагивающего по самому краю растрескавшегося, дощатого забора, безмолвного часового, мерные шаги которого могли его раздражать. Лицо его, изрезанное пунктирами тонких морщин, к изумлению наблюдавших за ним, ощерилось вдруг в крайнем восторге. В путаной серой бороде возник темный провал и в нем неожиданно зажелтел уцелевший квадратик зуба.

Ровное коричневое тело было продублено ветрами неизвестных географий, обращая внимание разглядывающих на руки. Они были необычайно длинными и сильными, напоминая конечности мезозойских прародителей человека. Внимательно приглядевшись было возможно разглядеть несуразно синеющую и, более того, загадочную наколку — НА ЗЕМЛЕ ШЕСТЬ КОНТИНЕНТОВ. Что это могло значить, кроме общеизвестного факта, догадаться методом дедукции казалось невозможным, если же только не устроить по привычке допрос. Штаны загадочного новичка оказались сделанными из грубой мешковины и по бокам простеганы алюминиевой проволокой, с лохматой веревкой на узле, вместо пояса. Одиноким нитям бахромы коротких штанин сиротливо телепались на беззлобном ветерке, гулявшем среди чахлах, рыжих кустиков, навевая тихое уныние. Такого же коричневого цвета, как и тело, икры казались невероятно тонкими и узловатость их, лишь вновь подчеркивала худобу. Широкие ступни с уже скрутившимися в трубочку когтями, не оставляя просвета, припечатались к выдутой земле, создавая ощущение, будто он являлся ее производным, таким же, как и сухие, голые кусты. Однако жидкая метла, с шероховатой ручкой в руках неведомой особи

возвращала заблудившиеся фантазии стражей к мысли, что он также состоит из плоти и крови.

Оказалось, что коричневый голубь опорожнился на фуражку часового, и теперь это сползало белой гусеницей к лицу последнего, вызывая немой крик, у похожего на безумца существа.

— Кто он такой? — выдавил пересохшим языком Ладуш. Ладуш — это мой друг, он начальник милиции, крупный армянин, полковник и хлебосольный человек.

— Ночью завели.... — неопределенно высказался помощник.

— Надолго к нам? — осторожно спросил Ладуш удивительного человека.

— Не знаю, как надоест, убегу.

Так ответил бомж, шумно высморкнувшись на сухую почву, и никто из прожженных милиционеров не возмущился, не усомнился. Будто не существовало для человека, похожего на суфия, высокой ограды и ржавой проволоки, нитями паутины разбегающейся в стороны от вышки.

Растерянные милиционеры попеременно переводили взгляд с начальника на новенького и хлопали глазами.

— Убежит, — согласился Ладуш, слотнув слюну.

— Так точно! — кивнули подчиненные.

— Раз убежишь, так может, поживешь у меня... на берегу озера...дом...помидоры там... — Ладуш отчего-то волновался и с нетерпением ожидал ответа.

Странный нарушитель спокойствия, однако, совсем не ухватился за предложение начальника, а продолжал смотреть на солнце, точно презрев своих охранников, установил с ним негласный союз. Наконец, он оторвал ото лба заскорузлую ладонь и, не глядя на главного, перед которым трепетали нижние чины, растяжно окая подал звуки, из которых можно было разобрать следующее:

— Одеколон будет?

— Адэкалон, какой адэкалон?

Суфий вновь хранил молчание, словно испытывая терпение окружающих, он теперь пристально разглядывал состав песчаного кусочка, разминая его пальцами и, наконец, поднеся его к губам, тихонько дунул. Красноватое облачко вспорхнуло и рассеялось в невидимом ветерке и вновь замороженные милиционеры перебросились взглядами с понимающим видом. ОНО всех закодировало, это словно свалившееся им на голову, похожее на инопланетянина, с отдаленным обликом гомосапиенс существо.

— Трой-ной, — вымолвил он вдруг отчетливо, что все разом вздрогнули и поежились, будто им было зябко, несмотря на жаркий день.

Подчиненные в ожидании взирали на начальника, а он с трудом переваривал странное условие, и можно было вообразить, как со скрипом ворочаются его мозги.

— Хорошо, будет тебе адэкалон. Трайной. Паехалы, — произнес Ладуш решительным тоном с видом человека, принявшего после мучительных раздумий судьбоносное решение.

Ладуш жил один в большом доме, на берегу у самой кромки воды, жил богато, но одиноко, не было в его доме детей. И жены у Ладуша никогда не было, хотя слабая половина не обделяла его своим вниманием, а, наоборот, всякая из них намеревалась окрутить, и причина эта крылась в тайном богатстве полковника. Уж, какие только не посягали на святое отшельничество, и молоденькие, но уже искушенные тонкие блондиночки, и яркие с положением дамы-брюнетки, но усилия их разбивались, подобно слабым волнам, что лизали берег у дома. Взгляду тех, кто бывал в нем иной раз, представляли одни из искусительниц и уже особо приближенные

к Ладушу порой нашептывали ему, указуя взглядом.

— Ну, взгляни какая женщина. И внешность, и хозяйка...

Но Ладуш даже не пытался отвечать, и разговор сам по себе прекращался, не достигая развития. Одна лишь страсть по-настоящему возбуждала его, которой он с упоением отдавал самые свои силы и именем той страсти служило слово «деньги».

Большой дом Ладуша был полон дорогих каких-то вещей и любил он среди них находиться, но так, чтобы, развалившись на упругом, массивном диване, мог их всех созерцать. И еще нравилось ему, чтобы о них его спрашивали, когда бы он мог обстоятельно рассказывать о происхождении их, при этом, ощущая свои знания, и другие могли бы их видеть. Одним словом, оказалось, что он человек тщеславный и надо же было ему столкнуться в зрелых годах с таким отшельником, каким явился его взору Валек.

Совершенно не имеет смысла рассказывать о том, как Валек, почесав за ухом, медленно направился в сторону нижних чинов, теперь стоявших навытяжку, так и не уразумев, что же задумал начальник, и вручил одному из них самую метлу.

И как принял ее испуганный чин, прижав к месту, где у него было сердце, словно то была не метла, а знамя их полицейского околотка.

И как один из них, пихнутый в бочину расторопным соседом, сбиваясь с ног, бросился к двери, набитой листовым железом и испещренной пахабными надписями, распахивая ее.

Ну и как равнодушно прошествовал через них Валек, для чего-то трогая во рту свой единственный зуб.

Натертые полы в большом доме Ладуша отразили ярко горящие лампы огромной люстры и силуэты двух мужчин, застывших на пороге залы. Темная, массивная мебель давила на паркет с причудливым орнаментом и была под стать дремучему характеру хозяина, любившего наблюдать, как прогибаются люди под тяжестью его власти.

Мужчины долго рассматривали собственные отражения, лежащие на зеркальных, плотно подогнанных паркетинах, и вдруг изумленно перевели взгляды друг на друга. Бомж и офицер настолько не стыковались рядом, что это было заметно даже им. В голубовато-серых глазах Валька промелькнула растерянность, но он тут же переборол ее и двинулся в глубь комнаты. Его хищно изогнутые черные когти гулко зацокали, оставляя за собой царапины рядом с отпечатками босых, грязных ног на окаменевшем лаке.

Ладуш и сам не понимал, зачем он привел в свой дом этого человека, и если бы теперь его спросили, он только пожал бы плечами. Но он внимательно наблюдал за тем, как странный бомж, приковавший его внимание на протоптанном дворе изолятора, с раскрытым от удивления ртом осматривает дорогие безделушки.

Ладушу было приятно, что даже такого невежу поражают собранные им старинные антикварные вещи. Но то, что ему привелось тотчас услышать, вначале возмутило, а еще через минуту заставило задуматься, глубоко задуматься.

— Ты что, старьевщик? — спросил Валеk, откровенно ковыряясь в носу.

— Пачему? Ти нэ панимаешь, что это такое!

— Гавно, оно и есть гавно! Где я буду спать? — бесцеремонно спросил Валеk.

— В пристройке. Ты будешь смотреть за домом, за агородом, за банэй, кстаты, сам памойса...

— Ты мне вначале одеколон давай, потом будешь командовать.

— Адэколон нэту, водка дам, толка чут-чут...

Они беззлобно перебранивались, и если бы кто из знакомых Ладуша слышал эту перепалку, был бы сражен. В том городе никто с полковником так себя не вел.

К моему удивлению, мы с Вальком легко подружились, в отличие от многочисленных посетителей дома Ладуша. Нелюдимый Валек их просто не замечал или не признавал, что очень их раздражало и заводило. Доходило до того, что они принимались наушничать Ладушу на безобидного странного человека. Уж, каких только страстей ему не наговаривали, мол, темной ночью он может прирезать и подпалить большой дом. Пропить за фанфур тройного одеколону его антикварные вещицы и после этого хоть кол на нем теши, какой спрос с бродяги? А многие диву дивились, пожимая плечами, никак не могли взять в толк, для чего богатому, всесильному Ладушу, понадобился этот уродец. Валек и впрямь мог сотворить все то, что нагнетали хозяину его недоброжелатели. Полоснуть по горлу ржавым ножом, ему и впрямь было просто, как и окучивать тяпкой помидоры. И петуха он мог бы пустить, не задумываясь, даже приплясывая, у разгоравшегося большого дома. А уж пропить, как он их называл, хозяйские безделушки, для него было легче и осмысленней, чем остричь на ногах собственные когти, приводившие гостей Ладуша в тихий ужас.

Но более всего в этой странной связи двух непохожих людей, поражало обоюдное терпение и непонятная привязанность, несмотря на их постоянную ленивую ругань.

Видимо, устал Ладуш от лести, на которую он был обречен, своим занимаемым положением и деньгами, суживаемыми вечно нуждающимся приятелям.

К пятидесяти годам он притомился от такой жизни и теперь щедро поглощал живительную энергетику, идущую от неунывающего Валька.

Валек мог запросто подойти к длинному, покрытому явствами в роскошном саду столу и, хлопнув по плечу сановитого чиновника, подпихнуть его в бок, усаживаясь рядом.

С серьезным, непроницаемым лицом нацепить на вилку тоненький огурчик, навалить себе полный фужер водки и, хлопбыснув, удалиться, похрустывая, словно ни в чем не бывало. За столом наступала заминка, и многие не знали, как реагировать им на неслыханную наглость, пока кто-то догадливый не переводил все в шутку, предлагая тост... за Валька!

Ладуш лишь тихо посмеивался, понимая, что его батрак превратился для приятелей в настоящее исчадие ада. Но от него не ускользнула нашта с Вальком возникшая доверительность.

А возникла она за тихой, неожиданной беседой, приключившейся во время растопки печи. После длительного, утомительного путешествия меня знобило, суставы мои выламывались, и так сильно недомогало, что я решился попросить Валька растопить мне баньку. На удивление, Валек не стал требовать ничего взамен, как он это делал даже по отношению к самому Ладушу, а молча принялся лущить березовое полено.

Он сидел на корточках у разгоревшейся печки, словно замороженный, глядя на огонь и вдруг, к моему ужасу, его не знавшие расчески патлы зашевелились, а по лицу пробежала гримаса боли. Я боялся проронить слово и лишь продолжал наблюдать, а Валек, тем временем забыв о моем

присутствии, протянул вдаль руку и с нежностью погладил ею... воздух.

Я понял, что он кого-то представил себе в эту минуту и боялся разрушить звуком его виртуальный образ, однако рождавшееся любопытство одолело меня и взяло верх.

— Кого ты гладишь, Валек? — спросил я, едва ворочая одеревеневший язык.

Он востропнул, оглянулся на меня и, распознав, успокоился, но еще долго ничего не говорил, мучительно раздумывая. Наконец, он решился, отщипнул от полена кусок коры, поднял на меня выплывшие зрачки и заговорил едва ли не шепотом.

— Дочку погладил.

— Как? У тебя есть дочь?

— Да...

— Но откуда у тебя могла быть дочь? — неосторожно изумился я, причиняя ему нестерпимую боль.

— От староверки...

Некоторое время я соображал над услышанным откровением, и вскоре возразил ему, не торопясь поверить в еще не рассказанную историю. Я проклинал себя за свою несдержанность, боясь вспугнуть этого нелюдимого, дремучего человека и потому тут же затаился, притих, словно охотник, подманивавший дичь.

К моему немому восторгу, Валек, уже проникшийся необходимостью раскрыться, стал говорить, не делая пауз, да так быстро, что я едва успевал осмысливать.

— Был я в одной деревне у староверов, подбатрачивал будто, а просто мне там понравилось, и я спал на сеновале, а они люди богобоязненные не гнали меня, а давали шамовку: салыца там, ковригу хлеба, крынку молока когда, и вот повадилась приносить хавку одна тетка, ишо не старая, а так,

староватая, в жизни своей мужиком не мацаная и все время диковатая, и хлядит мне промежду ног, там у меня дырка была, немигаючи, будты сова, и ее всю ломает от хотения, ажна стонет нет-нет, и я возьми да пожалей дуру...

Валек слотнул слюну, закатил зрачки вверх, задрожал, будто его протянуло током, и вновь затараторил, словно бы оправдывался, но не передо мной, а Богом, потому что к нему был обращен его взгляд.

— Мужик-то я крепкий, нерастраченный стал ее дурандорить, а она вся рыдает, прощения у Боженки просит, а сама меня прижимает к грудям, в точь, что железо, твердым, и так кажный день салыца принесет ковригу, молочко, ложится под меня, а посла бьет себя плетью, так мается, а мне чудно родила дочку, но меня уже изгнали.

Валек замолчал. Я сидел, переваривая его исповедь. Трещали в огне поленья, выгинались, корежились. Мне казалось, что душа Валька тоже корежилась. Он поднялся и, не глядя в мою сторону, ушел прочь.

Как-то спустя несколько месяцев, я вновь гнал машину, направляя ее в тот самый затерянный, среди неуютной Бетпак-далы городок и уже на подъезде обнаружил, что отчего-то волнуюсь. Что могло быть причиной моего волнения, да такого, какое можно бы испытывать перед суровым экзаменатором, я недоумевал... и только, въезжая в городок, понял, что жду встречи с Вальком.

— Как же он примет меня? Прошло уже немало времени, и с его капризным характером он может остаться равнодушным. Да и не сбежал ли он от Ладуша?

Было послеполуденное время и Ладуша в доме не оказалось, видимо, был на службе, а вечером как всегда мог нагряться с многочисленными гостями.

Припарковав автомобиль, я осторожно пересек двор и, к своему удивлению, никого не обнаружил. У ног моих крутилась какая-то мелкая собачонка. Я отпихнул ее и выглянул за забор, туда, где на бережку частенько любил посиживать Валек.

К моей радости, он действительно сидел у самой кромки воды, сторбившись, обхватив длинными руками колени, и задумчиво что-то чертил тонким кривым прутиком на песке. Спутанные серые волосы его развевались на ветру, а набегавшая светлая рябь лизала давно задубевшие ступни.

Стоило мне едва только толкнуть калитку, как он вздрогнул и мгновенно обернулся на звук. По загоревшему лицу Валька скользнула улыбка и спряталась в уголках губ, и у меня тут же отлегло от сердца, я понял, что и в этот раз могу рассчитывать на его откровения. Я подошел к нему и присел рядом.

— Как поживаешь, Валек?

— Поживаю, че мне делается, — он равнодушно пожал плечами.

Его черные, свернутые в трубочку, загнутые вниз когти впились в песок, и весь его облик в тот миг напоминал мне пощипанного, излетанного грифа.

— Ты что, так ногти и не постриг? — для чего-то задал я ему нелепый вопрос, тут же кусая себя за язык, но было поздно. Валек резко дернулся и вцепился в меня взглядом.

— Ты приехал чебы спросить за ногти...?

Я смешался и покачал головой.

— Нет, я так, к слову...

— А че их стричь? Я имя за землю держуся, — сказал он твердо, не оставляя для меня сомнений,

и я еще раз взглянул на погруженные наполовину в песок когти и подумал:

«А ведь Валек прав...так удобней...»

— Валек!

— Что?

— Валек, а ты в Бога веришь?

— Я?

— Ты.

— А как же? — он помолчал, глядя на воду, затем поднял лицо и, прислонив руку, вгляделся в далекий горизонт. Он разомкнул губы, от нарождавшегося признания во рту у него забулькало и он отчего-то шепотом произнес:

— Бога я боюсь!

— Скажи Валек, вот как ты относишься к деньгам?

— К деньгам?

— Да, к деньгам.

— А никак.

— Разве тебе не хотелось бы заиметь их когда-нибудь так много, чтобы ты, например, мог хорошо одеваться, пить не тройной одеколон, а хорошие напитки, иметь большой дом, как у Ладуша... путешествовать по миру...

— Неа...

— Почему?

— А для чего мне? Я Родину люблю. Вон Ладуш... плачет от богатства и не я раб его, а он мой...

Я оказался вновь поражен размышлением Валька, так, что даже дар говорить на минуту у меня утратился.

— Как же это? Он тебя кормит, поит...

— Не он меня, а я его... возделываю грядки...

— Но каким образом он раб твой?

— Он боится потерять свои безделушки и хочет, чтобы я стерег ему...

— Но все Ладуша боятся...

- Я не боюсь, жалею его...
- Отчего?
- Иногда он жалуется мне на жизнь, тогда я жалею... а че богатство? Он все хочет больше и поэтому бедней, чем я, у меня ничего нет.

Прошли годы, Ладуш перебрался в Испанию, построил большой дом на берегу моря, занялся строительным бизнесом и успешно процветал. Валька он забрал с собой.

В водовороте стремительно текущих дней многое позабылось, поистерлось, лишь иногда на ум приходили слова Валька, путанные, но такие глубокие... А как-то приехал один мой знакомый и рассказал, что был на футбольном матче в Барселоне и заехал к Ладушу.

— Ну, как же он там?

— Занимается бизнесом.

— А Валька ты знаешь?

Мой знакомый рассмеялся.

— Кто же не знает Валька? Я его еще и раньше знал...

— Чем он занимается?

— Вино пьет, купается в море. Ходит в белом костюме, белой шляпе...

Я представил Валька в белом костюме и белой шляпе на фоне сиреневого моря, кипящих, пенящихся волн, с бутылкой Валенского вина в руке, и в душе у меня возникли неясные, смутные чувства. Было некое ощущение того, что слова, которые когда-то произнес мне Валек о Родине, врут обесценились.

Я подлил знакомому холодненькой водочки в рюмку и, не дожидаясь его, махнул, продолжая слушать из вежливости. Знакомый что-то болтал

об Испании, ценах в отелях, женщинах, пляжах, как неожиданно вернулся к Вальку и рассказал мне занятную историю.

— Валек исчез, Ладуш забеспокоился, сел в машину, и мы поехали его искать по побережью. Доезжаем до небольшой кафешки и спрашиваем у хозяина. Не было ли у него такого длинноволосого иностранца, в белом костюме?

Хозяин отвечает:

— Был такой, попил вина, рассчитался и уехал на попутной машине.

Мы, значит, поехали дальше. Проехали несколько километров, вновь на нашем пути маленький приморский ресторанчик, расспрашиваем у хозяина, был ли такой иностранец?

— Был, попил вина, пел песню на русском языке, рассчитался и уехал на попутной машине...

— Вот гад, сейчас начнет пропивать вещи... — сказал Ладуш.

И так, от кафешки до следующей, мы проехали около ста миль... Везде говорили одно и то же: был, пил вино, орал песни на русском, не было денег, заложил костюм и уехал... Ладуш, отсчитав деньги, выкупил костюм.

— Вот гад, хоть бы часы не пропил... — выругался Ладуш, выслушивая очередного хозяина.

— Что за часы? — спросил я его.

— На день рождения купил ему хорошие часы...

И, словно в подтверждение тревожной догадки Ладуша, в следующем ресторанчике сказали:

— Да, был такой, пил вино, орал песни на русском, ругался матом, заложил часы и уехал...

Ладуш выкупил часы. Приезжаем еще в одно кафе и видим, пьяный Валек, в шляпе, закладывает рубаху... Ладуш на него матом, ах ты такой, сякой... опять напился, а Валек скинул с себя белые брюки, туфли и кричит ему в ответ:

— Отправь меня на Родину, гад, сам пей свое вино, надоели мне эти чернила...!

— Я так хохотал... — со смехом рассказывал знакомый.

А я мгновенно вновь зауважал Валька.

— Так, а что он запил-то?

— Где-то на Чукотке у него есть сын... — и добавил свое умозаключение: «Тоскует он без степей...».

Я размышлял. И мне, плоть от плоти кочевнику, конечно же, будет невыносимо жить без этих желтых, унылых степей. Здесь, по ним, выплевывая изо рта песок, вал за валом проходили туги Великого Рыжебородого, под колыхавшимися тугами шагали войска Великого Кира. За эти бескрайние просторы, не уступая и пяди врагу, бились насмерть наши предки, хотя, казалось бы, что в них, безжизненных? Дрожащее обманчивое марево на горизонте, однообразные горбящиеся холмы, колючие кусты перекасти-поля, несущиеся неведомо куда...

И зачем они нужны Вальку, твердившему, что в его жилах струится кровь кочевников? Почему он, напившись Валенского вина, кричит до хрипоты, разбрасывая вокруг себя лимонного цвета, мелкий, словно сахарная пудра, песок и строит рога, показывает язык Ладушу и проходящим мимо испанцам?

Мой спутник-грузин теперь живет в Африке, скучает алмазы.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Часть первая

Доля воровская

Тридцать три темные бусинки, нанизанные на свитую, шелковую нить — все, что осталось у меня от него. Эбонитовые четки и ворох слежавшихся в памяти, безвозвратно ушедших дней, плывущих теперь бесконечной, неспешной чередой воспоминаний, точно облака в голубой манящей бездонности, тянущиеся в неизвестную даль. Таким кучерявым облаком выплывает в ней жаркий июньский день, раскаленное, вспученное солнце, повисшее в самом зените, мы с Пушкарем, изнывающие от жажды в конце извилистой, подобно змее, очереди за квасом. Лузганье семечек и ленивая перебранка с желающими промочить глотку, скрашивающая нам мучительно скучное томление под палящими лучами и занудное ожидание. Наконец, мы вплотную приблизились к заветной бочке и толстой, с тройным подбородком продавщице, у которой из-под складок сочился мутноватый пот и стекал, скрываясь между огромными, словно арбузы, грудями. Толстячка вопросительно зыркнула на нас маслянистыми глазищами и протянула за деньгами полную руку. На материи халата у нее под мышкой расплылось темное влажное пятно, взгляд на которое сбил нас с толку, и в этот самый момент чья-то загорелая кисть швырнула на тарелку темные медяки.

— Один кружка! — раздался голос с акцентом.

Наши перегретые на солнце головы взметнулись в сторону наглеца, а руки напряглись, готовые отшвырнуть его в сторону. Незнакомец в модной

голубой майке, сидевшей на нем в обтяжку, так плотно, точно она была его кожей, с мощной грудью и осиной талией, был красив, как Бог! Среднего роста, с густыми иссиня-черными кудрями, стекавшими к широким, гордо развернутым плечам, он точно сошел на залитый желтоватым квасом горячий асфальт с экрана, удивительно напоминая нашего любимого киногероя — Гойко Митича.

— Ты кто такой, откуда взялся? — преодолев появившуюся сухость во рту и оправившись от замешательства, выдавил я.

— Меня зовут Яшар! Я из Баку приехал! — незнакомец миролюбиво протянул свою руку, настороженно рассматривая нас.

— Вы штангисты?

— Да!

— Я тоже штангист, — то ли признался, то ли похвастался он.

В сумерках в городском парке гремела музыка и вспыхивали, притягивая взоры прохожих к танцплощадке, забитой молодежью, разноцветные электрические лампочки. Патлатые парни перетаптывались с ноги на ногу, изображая модный в те годы шейк, а сбитые провинциальные девчонки, собравшись в стайки, скалили зубы и постреливали глазками по сторонам. Неожиданно вихрем, точно смерч, в самом центре закрутилась бешеная драка.

Мы с Пушкарем ринулись к яростно дерущимся и среди мелькающего многорукого, многоголового клубка увидели утреннего знакомого, отбивающегося сразу от нескольких парней.

Он сражался, как лев, вращаясь юлой посреди смертоносного круга, уклоняясь от ударов, молниеносно разя нападавших быстрыми и точными кулаками. Чьи-то тела падали и снова поднимались. Треск рвущейся материи, испуганные девичьи визги, хлесткие звуки ударов, выкрики угроз леденили сердца невольных

зрителей. Мы переглянулись и без слов врубились в жестокую круговерть и дружба наша, рожденная тогда, продлилась четверть века, став сплошной круговертью!

Старший Брат! Помоги же найти ответ на мучительный вопрос: отчего так несправедлива и жестока оказалась жизнь по отношению к нашему другу? Отчего она предопределила ему безвременный уход из жизни, взрослому мужу, в которой он на шатких ногах стал совершать первые шаги подобно малышу. Почему жизнь одного человека похожа на катанье на разноцветных каруселях, на веселый Диснейленд, а другого — на ужасающую американскую горку? Слабым утешением звучат слова о том, что там тоже нужны хорошие люди! Нет, это мы не смогли понять его и оценить по достоинству, ибо мы все злы и чрезмерно требовательны к другим, но не к себе самим.

В одночасье рухнул и низвергся Великий Рим, когда перестал уважать своих лучших сыновей и дочерей.

Широкогрудый, бесстрашный красавец Ромка, лидер окраинной шпаны и любимец девчат, неспешно обходил танцплощадку, считавшуюся его вотчиной. Беспорядочно толпившаяся молодежь безоговорочно расступалась перед ним, признавая его авторитет, когда он лицом к лицу столкнулся с Яшаром. Ромка взглянул на него уничижительным взглядом, но незнакомец не отвел глаз, не посторонился, а смело шагнул вперед, отстраняя его самого в сторону.

Приумолкла гремевшая музыка, выпрямились извивавшиеся гитаристы, барабанщик, сыпавший дробями, сбросил темп, а намалеванная певица сбавила на полтона, точно из нее выпустили воздух.

Яшар ударил первым, Ромка сильно пошатнулся, его повело в сторону, пол предательски ух-

дил у него из-под ног, но он устоял и, взбешенный дерзостью новенького, бросился в драку.

Они сшиблись и взорвались, словно тайфун! Оба крепкие, ловкие, они хлестались насмерть, нанося друг другу мощные свинги, кроссы так, что у окружающих от страха жмурились глаза. И вдруг, когда перевес сил склонился в сторону красавца Ромки, Яшар стремительно подсек его ногу, а затем уже падающего, прогнувшись, точно упругая рессора, швырнул прогибом через себя!

Это было потрясающее зрелище!

Старший Брат! Ты, наверное, поражен моим рассказом! Многого ты не знаешь из жизни нашего друга, того, чему мне довелось быть очевидцем. Рассказывая об этом, я с глубокой ностальгией вспоминаю о годах, безвозвратно прошедших, о времени, когда наши лучшие девчонки были трогательно провинциально милы, а сверстники — молоды и благородны, как рыцари!!! Помнишь ли ты, как зажигательно танцевал он лезгинку? Он был похож на бушующий огонь. Изменчивые симпатии нашей танцплощадки быстро склонились в его сторону и он стал ее любимцем. Взрывалась стремительная, как ветер, музыка, камнем, выпущенным из пращи, он влетал в образовавшийся круг и под стозвонное хлопанье в ладоши, раззадоривавшее его, вскидывал вверх красивые руки и, вращая кистями, шел первый круг, на носочках, точно балерина. Затем он запрокидывал голову, взметая волнующие девчонок кудри, забрасывал за нее согнутую в локте руку и виртуозно выделывал целую дробь коленец. А музыка металась по залу лихими па и он выдавал лихие па, красивый, полный дерзкой уверенности в себе, он напоминал лермонтовского Азамата из «Героя нашего времени».

Яркий электрический свет резанул по глазам узника, свернувшегося на бетонном полу, точно опавший с дерева листочек на фоне серой, штукатуренной под шубу стены. Узник едва среагировал, лишь приподнял руку, защищаясь от внезапно хлынувшего потока света. Отрастающие седые волосы его были грязными и оттого казались редкими. На впалых щеках островками торчала многодневная белая щетина, казавшаяся злоедей. На узнике «стакана» была лагерная, с куцыми рукавами куртка, с надписью «ШИЗО» большими, кривыми буквами. Свет преломлялся об его костюм и, казалось, дымился, придавая его лицу желтовато-серый оттенок, отчего он казался выходцем из преисподней. Бедняга, не отрывая руки от глаз, протяжно и мучительно простонал.

— Выходи! Считаю, что твой курорт закончился преждевременно, — с нескрываемой ядовитой издевкой произнес опер, сопровождавший меня, обращаясь к несчастному.

Я с трудом оторвал свой прилипший взгляд от узника и взглянул в лицо молодого опера. Оно поразило меня до глубины души, до мурашковых вдоль спины, до дремучего ужаса, шевельнувшегося в моем сердце. В его глазах не было ни крохи сострадания, ни чуточки человеческого участия, ни грамма стремления понять и великодушно простить! Это были безжалостные глаза мучителя, палача, инквизитора, рот которого растягивала от получаемого им наслаждения широкая улыбка садиста. Темные зрачки его глаз расширились, а хрусталики сузились, пока, наконец, не растворились совсем. Мне показалось, что они заплясали от кайфа, испытанного им в момент, когда узник застонал, точно он испытал оргазм. Тонкие, серые губы опера сжались, припечатываясь в узкую полоску, так что могли показаться скорбными, но в их уголках

продолжала таиться угроза. Опер повернулся вполоборота, предоставив мне возможность изучить его хищный римский профиль, и теперь мне была видна лишь одна сторона его лица, которая поразила так, что я едва удержал рвавшийся из груди крик. Паутинка морщин около его глаза съежилась, точно шагреневая кожа, стала глубокой и мне почудилось, что это в сети паутины, перебирая мохнатыми лапками, сидит наполненный ядом паук.

Старший Брат! Возможно, это машина времени в тот краткий миг перенесла меня в другое измерение, во мрачные казематы инквизиции. Я совершенно забыл, каким образом я очутился там и зачем...

У меня напрочь выбилась из головы взятка, данная мною главному инквизитору — бутылка дорогого французского «Курвуазье», распитая с ним. Я забыл о существовании своего тела, лишь только мысли моего ошарашенного мозга гулко сталкивались и разлетались в стороны подобно шарам на зеленом сукне бильярда. Бедный наш друг, горестный пленник каменной могилы показался мне в тысячу раз горше узника замка Иф. Отчего же, брат, людям, дорвавшимся до власти над другими, хочется их мучать? Отчего они, бывшие безгрешными детьми, сосавшие святое молоко матери, становятся алчущими чужой крови вампирами?

Узник с трудом осмыслил произнесенную опером фразу и зашевелился. Он с усилием оторвал словно приклеившуюся руку от лица и приподнял голову. Из-за яркого света он не мог разглядеть нас. Беззубый рот его раскрылся, и из него выпали шепелявые, трудно различимые звуки, похожие на плач. Но это оказалось песней. Он пел ее тихо, его плечи содрогались.

Доля, доля, доля воровская!
Десят лет туремная решетка.
Ай, мама-а-а — джа-а-а-а-н, —
выдохнул он стон из тощей груди.

Взгляд страдальца опустел, но не взывал к жалости, а говорил о бессмысленности муки. Кристаллики его глаз затуманились и в уголках их собралась предательская влага. Потолок в «стакане» нависал низко, чтобы сиделец не мог разогнуться и казался крышкой гроба. В страхе, что дверь вновь захлопнется и он не успеет выползти, узник подтянул к себе атрофированные ноги и встал на четвереньки.

— Яшар! — негромко позвал я.

Он застыл, задрал голову в направлении пришедшего звука, и в этот миг стал похож на каменное изваяние сфинкса. Серое бескровное лицо напряглось так, что кожа натянулась на нем, точно на барабане. Возможно, ему показалось, что он сходит с ума, слыша до боли знакомый голос. Узник собрал у переносицы брови, напрягая зрение, глаза его, уже освоившиеся к свету, сфокусировались и цепко разглядели контур мужчины, от которого, несмотря на затхлость и вонь коридора, веяло невероятно родным. Боясь оказаться обманутым, он призвал все силы, разогнулся и бросился к человеку, который, несмотря на невероятность происходящего, был похож на его друга.

— Это я! Ты не ошибся, мой друг! — бормотал я бессвязные слова, обнимая его, прижимая к себе. От него невыносимо дурно пахло. Не в силах вынести запаха этого смрада, я невольно отвернулся. Он сконфузился и отстранился.

— Нэ прикасайся ко мне! Я весь воняю! Издэсь такой запах, — произнес он с сильным акцентом, оправдываясь.

Спустя час его привели ко мне. Он был отмыт, начисто выбрит и волновался, как школьник перед экзаменом от предстоящей встречи.

— Ну как ты? — я ласково положил ему руку на плечо, чтобы прервать затянувшуюся, неловкую паузу.

— Как тебе сказать, — его голос дрожал, — из-дэсь всем тяжэло, приходится тэрпеть. Я сбился со счета дням, — тихо признался он.

На старом выщербленном столе я разложил разносолы, привезенные с собой. Его глаза лишь на мгновенье зажглись при виде этого богатства, но тут же медленно погасли. Я принялся угощать его, но он лишь отломил крохотный кусочек нежной курочки, чтобы не обидеть меня, и положил в рот.

— Ты сам паешь, радьной! — промолвил терпигорец, будто не он много дней был голоден, а я. В глазах его была неимоверная усталость и никак не таявшая грусть от самой мысли, что, явившись, точно наваждение, я снова скоро исчезну, а он останется вновь наедине со своим черным горем, со своими тяжелыми думами. Мое сердце невыносимо страдало, оно судорожно сжималось в груди и трепыхалось пойманной в силки перепелкой. Огромное чувство и желание самопожертвования растекалось по нему и мне хотелось склонить его седую голову себе на грудь, вымолвить слова утешения, но они, как и бывает в таких случаях, застряли в горле и я лишь продолжал неловко гладить его по голове, словно не друг он мне, а мой обреченный на страдания сын! И я, безмерно мучаясь своим бессилием забрать его оттуда, в тот миг взмолился к Всевышнему, умоляя наделить меня колдовскими чарами, чтобы, ударив перстом, я мог превратить моего друга в таракана, в мышь, в птицу, и тогда бы он сумел выбраться прочь за пределы этой жуткой крепости. Мы оба напряженно думали и молча вздыхали, беспрестанно затягиваясь дымом сигарет. Руки его, когда-то красивые,

сильные, теперь были исхудавшие, с тонкой, просвечивающейся, чешуившейся серой кожей. Они без конца теребили нервно сигарету, я чувствовал, что он силится сказать что-то очень важное, но ему не удается.

— Как там на свободэ? — выдавил он почему-то шепотом.

— На свободе хорошо, Яша, — прошептал и я в ответ ему, — вот выйдешь отсюда, оденем тебя, как принца, и загуляем мы с тобой, как прежде в нашей молодости!

— Как в молодости уже не будет, — обреченно возразил он.

— Проклятое время, оно безжалостно разбросало нас. Я долгое время не знал о тебе ничего, — пробормотал я в свое оправдание.

— Ты нэ виноват. Мне выпал Туз-пики, а эта казенный дом, — произнес он грустно. Он надрывно вздохнул, оторвал исхудавшие руки от колен и вновь опустил их на горьком выдохе.

— Нычего нэ асталося. Было всё, нэ асталося нычего. Была сэмья, дом, а тэперь вот, — его голос звучал глухо, в нем скользили нотки громадной усталости, разочарования, обиды за несложившуюся жизнь, а главное, огромной, невосполнимой потери.

— Что же случилось? За что тебя посадили? — осторожно, стараясь не причинять ему боли, спросил я.

Он долго молчал, вздыхал, глаза его, прежде задорные, туманились, влажнели, он потряхивал головой, пытаясь отогнать наплывающую обиду и держался рукой за сердце. Ему хотелось сказать, но он не мог произнести ни слова, как и у меня, они застревали у него в горле, он судорожно сглатывал слюну и тогда острый кадык перекатывался под тоненькой кожей его худой шеи и я боялся, что он прорежет ее и вырвется наружу. Мне

было больно смотреть на него — было жаль его и одновременно с этим я отчего-то испытывал стыд перед ним из-за своей чистой дорогой одежды, и украдкой, чтобы он не заметил, я перевернул усыпанный бриллиантами перстень на своем пальце вовнутрь.

— Всё началось из-за иглы, — наконец, собравшись с силами, выдал из себя он.

— Игла, наркотики, я и сам нэ знаю, как это магло случиться са мной. Вначалэ папробовал полкуббика, мнэ панравилаь, черэз нэкатарое время апят угаьтыли, уже куббиком, а патом пашло — паехало. Эта я тэпер поньял, што эты твары мэня таким образом прыстраивали на иглу. Выдишь, как всё банальна просто. Очень быстро я сэл на дозу. Жьена с дочкай ушьли от мэня, я прадалжал калоться, наступило врэмья, кагда угащать пэрестальи, нужны были дэньги, — он поднял опущенную голову и взглянул на меня, в его глазах, нарастая, появилось раскаяние.

Старший Брат! Исповедь причиняла нашему другу неимоверные страдания, мне показалось, что ему хочется выплеснуть всё из себя. Поверь, так бывает. Порой и у самого в груди заломит, захолонит сердце, так что оно, бедное, замирает, готовое умолк-нуть навеки, подушечки пальчиков онемеют, точно жизнь из них уходит, и страх, холодненькой, скользкой, противной змейкой так и скользнёт по тебе. И тогда становится плохо и мерзко, оттого что ты всего-то слабенький человек и, понимая величие Бога, начинаешь завидовать ему и пугаться от этих страшных, приходящих невесть откуда, помимо воли, мыслей. Ведь Он в миг, когда разгневался на наших прародителей, вынес приговор: ...что в поте лица своего будете добывать хлеб свой, а то мы жили бы в раю и не знали ужасов земной жизни. Подумать только, всего-то из-

за доверчивости нашего праотца к легкомыслию нашей прааматери обречены мы на полную трудностей жизнь Земную. А ведь и теперь Сатана не успокоился и продолжает соблазнять нас, слепых, вот и сбил он нашего несчастного товарища и потому он обречён платить по счёту. Но другой раз я счастлив оттого, что живу на Земле, такой нежной, доброй, хлебосольной, точно она мать, самая главная, и меня пугает сама мысль, что не съел бы то наливное яблочко наши праотец и тогда могло всё сложиться иначе. Прекрасны младенцы от рождения, но тяжесть земного испытания с годами становится все непосильней, оттого-то многие, их даже тьмы, шагая по дороге жизни, путают законы Добра и Зла и поддаются соблазнению их Сатаной.

— Что же случилось, за что ты несешь наказание? — для меня стало важным узнать об этом.

— Нэ надо, — остановил он меня, — кагда-нибуд патом, если вийду атсуда, я тэбе расскажу. Я нэ прэступил Закон Божий, а тот, что создан людьми, пэрешагнул, и за ето страдаю. Издэсь плохо. Скудно кормят, унижают в надежде сламить достоинства, хотят убить сам дух человеческого.

От своей невозможности смотреть на меня он вновь опустил голову вниз, а я стал рассматривать пустую камеру, любезно нам предоставленную главным инквизитором, раздобревшим после выпитого «Курвуазье».

Мрачные, серые стены были в сплошных бурых пятнах от убитых клопов, насосавшихся арестантской крови. Отвратительные их трупки, проткнутые использованными спичинками и вдавленные в «шубу» стен, иссохшими мумиями телепались на сквозняке, гулявшем по камере. Мой мечущийся взгляд привлекла тоскливая надпись, навевавшая безотрадное уныние:

«Преехал на ету крепост с ешо дватцаттю годами — Вартан Ереваньский» — так было на-карябано на одной из стен прямо над оконным проёмом с вбетонированными друг за дружкой решётками в мелкую клеточку. От этой надписи, вместившей в себя семь ошибок, в камере веяло безнадежностью и, глядя на моего скорбного друга, я мог предположить, какая горькая мука терзала Ереваньского Вартана, если он выцарапанные слова дополнительно покрыл кровью, чтобы их было отчетливей видно. Железные нары вдоль стен были также испещрены кривыми, судорожными словами, но от нар исходила незримая черная энергетика, я почувствовал ее каждой своей клеточкой и постарался не задерживать на них взгляд, лишь вскользь пробежал по ним, но одну надпись мои пытливые глаза всё же успели выхватить и прочесть.

Неизвестный автор на сером железе выплеснул свою жуткую боль: «Я верил в тебя, ласточка моя любимая, что ты дождёшься, а ты не дождалась — сука!».

И я стал думать об этой надписи, увековеченной на стальной полосе, о парне, который верил в неведомую мне девушку, самоотверженную, с доброй душой, и о том, что такая девушка могла ждать лишь человека, отбывавшего своё наказание, отмерянное и назначенное ему людьми, но не переступившего Закона Божьего. И о жуткой боли в сердце парня, заставившей выплеснуть его своё отчаяние на железной наре, перевидавшей не одну сотню узников, каждого со своей тяжкой ношей, вынудившей осквернить своего любимого человека, приговорив его к столь страшному ярлыку. Мои мысли полетели кувырком, спотыкаясь, разбиваясь вдребезги, как вдруг одна из них точно осенила меня и я догадался, что он был один в тот трудный час в этой камере, когда душа его плакала, хрипя

и ярясь от бессилия. Наверное, вначале он стонал глубоко внутри себя, но стон вырвался из тощей груди через гортань и дальше сквозь упрямые, сжатые, обескровленные губы и разнёсся в пустом помещении, отдаваясь эхом, и тогда в глубоком отчаянии, не ведая, что творит, он заставил атомы железа раздвинуться, чтобы поместить навсегда на нём свой плач об утрате. И вдруг я увидел его в преломлявшихся лучах скупого солнечного света, сочившегося сквозь стальные жалюзи, сторбленного, узкоплечего, сникшего перед судьбой, в голубых, еще не выплывших василькового цвета глазах его плескалась неимоверная тоска. Помимо своей воли, я поднялся с места и направился к нему, чтобы утешить, но прошел сквозь него, потому что это было всего лишь наваждение. В темном углу у «толчка» валялись обрывки газет, выпачканные коричневыми полосами человеческих испражнений, от которых мой взгляд стремительно метнулся прочь и уперся в стальную дверь, крашеную когда-то краской, цвет которой теперь невозможно было определить. За дверью невидимый кто-то иступленно визжал, выплёвывая из себя слова грязные, точно помои: «Козлы, была команда строиться».

Эти слова, словно хлыстом поперек обнажённой спины, перетянули меня, так что я скукожил лицо, крепко сжал зубы и растерянно оглянулся назад, точно за помощью. Мой друг обеспокоенно наблюдал за мной и меня осенило, что он понял моё состояние полной незащитности, потому что неожиданно засуетился, стал собираться, ссылаясь на то, что его с нетерпением ожидают сокамерники и он будет счастлив угостить их вкусностями, что я привез.

Мы оба молчали, отчетливо понимая, что никуда нам не деться от невыносимо тяжелого груза прожитых лет. Что все бывшее в нашей жизни — чистое, незамаранное, кануло в Лету и не вернуть нам никогда из ушедшей молодости ни веселого

беспечного смеха, ни легкости, с которой мы могли дружить. И хотя мы оба в тот момент находились в тюрьме, я знал, что на улице меня поджидает автомобиль, и я выйду отсюда и поеду куда только захочу. И он это знал и оттого молчал, потому что разное нас ожидало. Мы прощались без слов. Что могли значить слова?

Мой Старший Брат! Времени неподвластна память человеческая. Ветер времени беспрестанно дует, словно пустынный суховей, разнося заувябные, точно песни одинокого бедуина, звуки. Но даже он не в силах выдуть из памяти человеческой людей, события, выжженные тавром, отпечатавшиеся в ней. Так вот, арестантская судьба нашего друга несла его все дальше и дальше, по каким-то лагерям и тюрьмам, и я с дьявольским упорством продолжал ездить за ним, по «централам» и пересылкам. Единжды потеряв его, я теперь боялся оставлять нашего друга одного, среди недобрых людей в зарешеченных каменных казематах. Он рассказывал мне о том, как злы отчаявшиеся арестанты в условиях тотального недоедания, антисанитарии, разнужданного, безнаказанного режима содержания, повального туберкулеза и как поедают они друг друга день ото дня, точно крысы в бочке. А его везли и везли, он разменивал года на новые сроки, менял «воронки» на «вагонзаки», бараки на камеры, черную робу на полосатую. И вот в один из лютых, зимних дней, когда в округе бесновались круговертные бураны, а морозы набирали силу, крепчая день ото дня, его привезли в город, в котором я жил в то время. Я уж и не вспомню по прошествии лет, из каких источников я узнал об этом, но отчетливо помню другое. В тюрьме, куда я приехал в надежде получить свидание, закончился уголь и было нечем топить. Усталый, со следами хронического недосыпания начальник

пожаловался мне на кризис в стране, на опустошенный, скудный бюджет тюрьмы, у которой нет средств на покупку топлива и, если не выправить положение, то в скором времени заключенные начнут вымерзать, и тогда старуха-смерть повальными эпидемиями станет косить людей как косой...Я тогда разыскал необходимые средства и закупил пресловутое «черное золото». Если бы кто с высоты птичьего полета мог видеть наши крохотный караван, пробивавшийся сквозь голубые сугробы к занесенному учреждению. Впереди, отчаянно газуя черным дымом, таранил снег серый гусеничный трактор, за ним тащился «КамАЗ», доверху груженный спасительным углем, а следом на бордовой, точно погон «Ввэшника», девятке, кутая в ватное одеяло алюминиевую кастрюлю со сваренным дома борщом, в надежде накормить друга, к тюрьме, торчащей одиноко посреди степи, точно остров отчаяния, ехал я!!!

Часть вторая

Круговерть

Дождь хлестал как из ведра. И это в середине декабря. Такого она не припоминала. Тянучие, холодные струи били по водянистой, снежной каше, противно хлюпающей под ногами. Она тащилась мимо брошенных кварталов, где когда-то жили люди. Теперь там не встретить было даже бродячих котов. Им ведь тоже нужна пища и потому они пошли вслед за людьми, переселившимися на другой край города. Мрачные темные контуры покинутых пятиэтажек пугали. Ей стало страшно одной, совсем одной среди зловещих, безобразных

зданий. Из черноты оконного проёма с шумом, хлопая крыльями, вылетела огромная стая одичавших голубей. Не пугаясь человека, птицы пролетели мимо, ударяя её жёсткими крыльями по лицу. Она в ужасе исторгнула из себя чудовищный крик, такой что содрогнулась от своего же вопля, полетевшего эхом между мокрыми домами.

— Господи, прости меня Господи, всемилостивый и всемогущий! Не дай сдохнуть мне сегодня здесь, где от людей не осталось даже помоек!

Струи холодного дождя сотнями крохотных молоточков стучали по чернеющему среди снежного крошева листу жести.

«Может быть, ветром сбросило с крыши, а, может быть, это бомжи», — подумала она. «В последнее время их стали нанимать на разборку пустующих домов. То, что прежде возводилось, теперь бомжи рушат..»

— Господи! Прости же нас, Господи! Это и есть проклятье Твое. Слабы мы, чтобы устоять дьяволу, и не ведаем, что творим!

Когда-то это был город. С тех пор, как стали в округе разрабатывать шахты, город строился, возводился, радуя горожан. Натали остановилась, окончательно выбившись из сил. Сердце её бешено колотилось, казалось, оно вот-вот выпрыгнет из худой груди. Она прижалась спиной к холодной стене дома, но из слабости в коленях не удержалась и сползла вниз, плюхаясь в кисельную кашу. У неё был сильный жар. Ныли все косточки в бесконечно уставшем теле. Нашупав в кармане кусок полузасохшего хлеба, дрожащей рукой вытащила его, чтобы отщипнуть немного. В темноте кусок показался ещё меньше.

— Я хочу к своим деткам! — завывала она тихонько.

Слёз не было. Они давным-давно вытекли из неё. Она сунула кусок поглубже и втянула тонкую шею в ворот свальной шубёнки.

Из другого кармана вытянула тёмную бутыль, заткнутую куском свёрнутой газеты. На дне её оставалось ещё несколько глотков бурой жидкости. Исхудалыми, истрескавшимися руками она подтянула бутыль ко рту, упёрла доньшко в острые колени, по-змеиному изогнулась, вливая в себя содержимое. Остро защипали разбитые, вспухшие губы. Злыдень Симак избил её в кровь утром. Проклятый каторжник истоптал всё лицо ботинками. За жалкие объедки и вонючее пойло он принуждал её всякий раз мастурбировать ему грязную, похожую на старую толстую гусеницу, плоть.

— Проклятый город! Всё здесь проклято! — пробормотала она.

Миллионы людей поглотил Карлаг. В огромных, пересыльных лагерях и судьбы людские становились горошинами под ногами палачей. Злой дух безвинно убиенных, замученных, витал над этой землей с тех самых пор. Холодный пот, выступивший на лбу, струями потёк по мокрому от дожда лицу. Она решила укрыться на время в подьезде. Подняться на ноги не было сил. Натали опустилась на четвереньки и, скользя руками, преодолела скользкие ступеньки, скрываясь в зияющем неизвестностью провале! Здесь было немного теплей и не так сыро. Теперь злой ветер хрипел и ярился где-то за стеной.

Она вновь подтащила бутыль ко рту и вылила в себя всё без остатка. Наконец-то, долгожданное тепло мягко разлилось внутри. Ей стало легче дышать. Острая догадка вспышкой озарила её уставший мозг. Натали выглянула из подьезда. Так и есть, тот самый дом. Отсюда, именно отсюда начались её несчастья!

Ей было семнадцать и красивее её в те годы не сыскать было во всем городе. Невысокая точеная фигура ее вызывала восхищение у парней и взрослых мужчин. Ей это нравилось. Как-то

её, гуляющую по городу, остановила молодая женщина.

— Я из Мосфильма. Мы скоро начнем снимать кино, ты хотела бы стать актрисой? — спросила она.

— Конечно.

— А как тебя зовут?

— Натали.

— Какое замечательное имя. Нам для главной роли нужна исполнительница с таким ангельским лицом. Поедешь в Москву?

— Я не знаю, — нерешительно пробормотала она, — если меня мама отпустит.

— Какая тебе Москва. Это огромный город. Тебя там изнасилуют или обокрадут. Школу надо закончить, — рассвирепела мать, как только услышала.

Но школу она не закончила. По уши влюбилась в своего учителя. Историк был холост. Она напросилась к нему домой на дополнительное занятие. Жалуясь, что ничего ей не лезет в голову, тянула время, кокетничала. А потом наступила ночь. Она наврала историку, что родители уехали, а она забыла взять с собой ключ и теперь не может попасть домой.

— Можно, я останусь переночевать у вас? — умоляла она, трепеща от страха услышать отказ. Ее с детства влекло к мужчинам. Девчонкой подглядела она, как занимались любовью её родители. И это возбудило её детское сознание. Шли годы. Ей не терпелось заняться этим самой, но со своими сверстниками она не хотела. Новый учитель истории ей сразу понравился. Историк был молод, высок, роговые очки его не портили, они придавали ему умный вид. Полгода она пыталась кокетничать с ним, поджидая историка около школы, «случайно» оказываясь неподалёку от его дома. Историк избегал встреч, боясь запятнать

репутацию, но она видела, что он истекает слюной при виде её.

В тот вечер она так потрясающе разыграла историю с забытыми ключами, что сама поверила в нее, ощутив себя несчастной. И историк, потеряв вместо переносицы шейку очков, тоже поверил. Он постелил ей на единственном диване, а сам, раскатав матрац, устроился на полу. Слабый свет луны сочился в окно комнаты, она никак не могла заснуть, его близкое присутствие возбуждало ее и она стала доносить его вопросами.

— Правда, говорят, что девушке в первый раз больно? А какие у вас были женщины?

Историк смущался от неожиданности и открытости этих вопросов. Она смотрела на него сверху и видела, как вспыхивают огнем его щеки.

— А я в вас влюблена! Только не говорите, что вы не замечаете этого!

— Ну я..., да, ты мне нра..., — мямлил учитель, но она уже не дожидалась его ответа. Юркой змейкой соскользнула с дивана и в одно мгновение оказалась на его узкой груди.

Она накрыла его рот своими трепещущими губами и коснулась его взметнувшейся плоти. Всё с себя сорвала в порыве страсти, сгорая в жарком ожидании. Даже теперь по прошествии стольких лет помнит она, что была в ту ночь на вершине счастья. Она целовала его, скользила руками, обвивая шею, теребила пушистые волосы на груди, взлетая над ним вверх и опускаясь вниз. Это было похоже на скачку. Но не утомляло её, а распаляло. Сквозь собственный стон она слышала его прерывистое дыхание, сквозь распушенные, прилипшие к лицу мокрые волосы видела, как смешно прыгают на его переносице очки. И продолжала бешеный галоп, гордая оттого, что всё у неё получилось.

Даже теперь при воспоминании той бледной от рассеянного света луны ночи, сладкая истома

сотрясла её хрупкое, колотившееся в горячем ознобе тело.

Всю ту ночь они прозанимались любовью. Уснули лишь под утро. Историк позвонил в школу и, сославшись на недомогание, прыгнул к ней, сладко засыпающей.

Домой она больше не вернулась. Разразившийся в школе ужасный скандал закончился тем, что историка уволили с работы. В школу ему отныне дорога была закрыта, он долго мыкался и, наконец, устроился на шахту.

Много раз приходила мать, упрасивала вернуться, но Натали была непреклонна.

— Мы любим друг друга, — заявила она.

Постепенно всё успокоилось, страсти вокруг них поулеглись. Она почувствовала себя в полной мере женщиной, хозяйничала по дому, готовила обеды, дожидалась историка с работы. По ночам она с сумасшедшей энергией набрасывалась на него. Он, измотанный тяжелой шахтной работой, уже спал, вздрагивая и пугаясь чего-то во сне. Историк был слишком интеллигентным, мягкотелым и слабым для шахты. А ей, распознавшей сладость любовных игр, хотелось, чтобы он измывал её всю, внизу её живота разливалось тепло и ожидание и она бесилась, глядя на уснувшего историка. Так продолжалось долго, её неудовлетворенность росла, поднимаясь внутри, точно тесто на дрожжах. Она стала ловить себя на том, что кокетливо улыбается другим мужчинам, оценивая их, оглядывая.

И вот тут в их подъезде появился зеленоглазый, золотозубый Зардан. Пугливые соседки тут же остерегли её, рассказывая страсти, что их новый жилец — законченный бандит. Зардан сразу обратил внимание на молодую, красивую женщину, живущую этажом выше. По утрам дожидался её, спускавшуюся за продуктами и перегораживал дорогу.

Он говорил ей, что именно о такой он мечтал долгих десять лет в лагерях, произносил бесстыдные слова, божась, что очень хочет её, вынуждая её краснеть. К тому времени интеллигентный историк уже наскучил ей и она хотела, чтобы её жизнь изменилась как-то по-новому. И однажды утром она не удержалась от любопытства и вошла в квартиру, куда Зардан так настойчиво звал её. Ее буквально трясло всю от тайного искушения любовной связи.

Коварный Зардан мгновенно сумел разглядеть подлинные мысли красавицы. Он прямо в передней сорвал с неё пальто, заголил платье и, впившись губами в её губы, сильными пальцами проник в святая святых ее, замужней женщины. Его пальцы возбуждали, она понимала, что ей бы надо вскричать, позвать на помощь, драть, но бедра её предательски двинулись навстречу его пальцам, убыстряя движения. И всё случилось в одно мгновение. Он набросился на неё, точно оголодавший зверь, урча и покусывая до боли ее розовые соски. Целый день, до возвращения историка с работы, они прозанимались этим, не зная усталости. Он брал её каждый раз по-новому, смущая, будто точно знал, что долгими ночами, лёжа со вздрагивающим во сне историком, она, пугаясь собственных мыслей, представляла себя в этих позах с другим, более сильным мужчиной. И повела её кривая судьбы. Точно в круговертном непроглядном бурене, когда не видать не зги, бросая из стороны в сторону. Напрасно историк со слезами на глазах, стоя перед ней на коленях, просил её вернуться, умолая, обещая простить её грех. Познавшая дикую, мужскую силу Зардана, она смеялась над брошенным ею неудачником.

Ах! Если бы только знала она тогда, каким тяжёлым станет его проклятье!

Зардан стал для неё исчадием ада! Ищущенный наркоман, он и её понемногу пристроил к

неизведанному ранее кайфу. С утра и до вечера к ним приходили лихие люди. Это были отсидевшие сроки, татуированные, злые блатюки, безусая молодёжь, наслушавшаяся удалой воровской романтики. Они запирались на кухне, варили над газом опий, а потом, закатив рукава, вкалывали в еле видимые вены дозу и расчесывали себя до крови от блаженства. Зардан выходил к ней с набранным коричневой жидкостью шприцом, улыбаясь!

— Всего лишь кубик, моя королева! — и, склоняясь к уху, шептал, — станет так хорошо, мы займемся любовью.

Попробовавшая однажды этого зелья и опьянённая им, она не противилась Зардану. А позже сама с нетерпением ожидала, когда, наконец, будет сварено зелье, чтобы уколотся.

Зардан выгонял всех из квартиры и набрасывался на неё, выгибая точно ивовую ветвь. И она, клочоча от возбуждения, стгорая от страсти, сходя с ума от сладости ощущений, насаживала себя на него, словно на жаркий шампур.

Дождь не убавлялся, не стихал, наоборот, стервенел, бил с такой силой, точно кто-то наверху замыслил отыграться на этом никак не умиравшем городе, изо всех сил стараясь потопить его потоками студеной хляби. И ветер продолжал реветь, расхристанно врываясь в зияющие чернотой окна домов, беснуясь, метался там между пустых стен и ей казалось, что природа сошла с ума и все люди вымерли, и это и есть начало конца света!

Может быть, только одна она и выжила, пока пряталась в подвале среди крыс, боясь вновь угодить в лапы злыдню Симаку.

Она знала, что если это произойдёт, то её смерть будет лютой, потому в складках ее лохмотий был спрятан обоюдоострый сапожный нож.

После того, как он безжалостно избил её, она сделала вид, что согласилась доставить ему

удовольствие, но в её гудящей, покрытой шишками от ударов ботинками голове, вызрел жуткий план мести. Огромный, звероподобный Симак, высверливая её своим единственным, выпученным глазом, злобно ухмыляясь, спустил давно потерявшие форму штаны. Крохотная, присмирившая, она сидела на шатком ящике, слизывая с губ продолжавшую сочиться кровь. От его немытой плоти невыносимо дурно воняло и она не смогла удержать подступивших приступов тошноты.

— Ну давай, бери его, — приказал ей Симак и она, осознавая, что никто не защитит ее в темном подвале, в жутком отчаянии, переступая через судорожный страх, вцепилась в его омерзительную плоть ихватила по ней с силой, неведь откуда взявшейся в её изнемождённой руке, кривым сапожным ножом. Он взвопил так, что ей от этого смертельно жуткого вопля на мгновение показалось, будто тяжеленные плиты подвала приподнялись вверх, осыпая отсыревшую штукатурку. Черная кровь брызнула ей в лицо, она отшатнулась в сторону и в этом движении увидела десятки крупных крыс, мгновенно вынырнувших из щелей на запах крови. Изогнувшись пополам, она блевнула вырвавшийся из неё, точно из шланга, поток утренней баланды и бросила в крыс окровавленный кусок мертвой плоти. Гадкие создания, отвратительно пища, бросились к нему и тут же, обезумев, стали драться насмерть между собой. Мгновение, показавшееся ей вечностью, было пронизано этим многоголосым визгом, летящим эхом от голых стен и леденящим, парализующим рёвом Симака.

— О-о-о-о! — ревел он, оглашая мёртвые стены, а она уже бежала прочь, наступая на спинки скользких, мятущихся под её ногами зверьков, а навстречу ей, разнося топот, бежало еще множество их и некоторые прыгали на неё,

взбираясь к лицу, и она, испуская из себя дикий визг, хватала их и отбрасывала прочь, продолжая нестись к спасительному, светлеющему проёму.

Сквозь шум беснующегося дождя послышался противный скрежет и лязг железа, волочимого по земле. Натали сжалась в комочек, мгновенно подтянув под себя колени, стала прислушиваться к происходящему на улице. Так и есть, кто-то тянул за собой тот самый лист жести, на который она подумала, что его сорвало ветром с крыши.

«Кто бы это мог быть?» — заметалась в её лихорадочно работающем мозгу испуганная мысль. Однако она зря испугалась, это никак не мог быть злыдень Симака.

«Ему теперь не до железа!» — злорадно улыбнулась она в темноте. Любопытство, извечный враг женщины, раздирало ее, и, не удержавшись, она выглянула на улицу, но тут же отпрянула от двери, забиваясь обратно в угол. Человек, который тянул железо, взбирался на крыльцо подъезда, в котором она нашла укрытие. Она от страха ойкнула и незнакомец, расслышав звук, тут же зажег спичку, высвечивая её. Натали узнала заросшего щетиной, одетого в рваные лохмотья мужчину, она знала его давно и совсем другим.

«Неужели и его загнала в угол жестокая жизнь?» — пронеслось в её голове.

Она ещё не знала, чего ожидать ей, одинокой бомжихе, от него в этом брошенном людьми доме.

— Ты кто? — спросил мужчина сурово.

— Я Натали, а ты ведь Генаха. Да?

— Что за Натали? — мужчина вновь зажег спичку, пытаясь рассмотреть её. Увидев бутыль, он нагнулся и потянул к себе за горлышко, но она тут же среагировала, уцепившись за неё, демонстрируя, что готова постоять за себя.

— Она всегда пустая! — проговорила она.

— А чём носишь пустую? — возмущился было мужчина, но затем неожиданно присел к ней рядом, ожидавшей от него удара ногой.

— У меня есть, — блаженно произнёс он, — но тебе не дам, если не признаешься, откуда ты меня знаешь? — поставил он ей ультиматум.

Совсем потеряв страх, она заглянула ему в лицо.

— Ну, конечно, ты Генаха, — Натали подтвердила свои собственные сомнения. — Раньше ты был красивый и сильный.

— Во, теперь я узнал тебя, — радостно заорал Генаха. — Да, я Генка. А то, что было раньше, так то было раньше. И ты была когда-то не подарком. Как-то раз даже отшила меня в ресторане, когда я к тебе подкатился. А теперь мы оба в одинаковом положении, недолго, наверное, нам тянуть эту лямку, косая придёт, всех сровняет, — проговорил он мудро, извлекая из-за пазухи квадратную стеклянную бутылку дорогой, настоящей водки.

Он отвинтил от неё пробку и её чувствительное, как у зверька, обоняние тут же учуяло запах.

— Водка! Чистоган? — спросила она.

— Хо-хо-хо! Ещё и разбираешься! Чистоган! — протянул Генаха довольно. Он отхлебнул из горла и мечтательно произнёс:

— Дотащу, сдам это железо приемщикам, на пару пузырей дадут. Сегодня же Яшара хоронят, я оттуда плетусь, там и раздобыл водяру. Мне дали помянуть его.

— Какого ещё Яшара? — спросила Натали, щупая в кармане зачерствевший ломоть, готовясь занюхать им.

— Да знаешь ты, ну отсидел он много, штангист бывший, отчаянный такой был в молодости, лезгинку танцевал.

— Яшара хоронят? — изумилась она и запричитала быстро-быстро.

— О, господи! Господи! Что же это творится? Что же случилось с ним?

— Говорят, ехал на машине и попал под встречный «КамАЗ».

— О, Господи! Царство ему небесное! Так вот почему среди февраля этот ливень пошёл. Бедный Яшар, он много страдал при жизни, поэтому и природа отозвалась на его смерть. А я уж подумала, что Господь решил утопить этот проклятый город, — забормотала она.

— Откуда ты знаешь? И причём здесь город, не проклятый он вовсе. Почему это он проклятый? — стал вступаться за город Генаха.

— Потому что вокруг были лагеря, а в них страдали, — не запинаясь, скороговоркой выпалила Натали.

— Лагеря лагерями, а в этом городе прошла наша молодость. Классный был городок, весёлое было время, — блаженно произнес Генаха. — Шахтёры уголь добывали, город жил, у людей работа была, в каждом окне свет горел, а теперь что? Пустые дома! Ну ничего, всё ещё выправится, только нас с тобой уже не будет, — в голосе Генахи слышалась обречённость.

— А я своих деточек уж столько лет не видала, как забомжевалась, — заплакала горько Натали, склонившись к Генахе, тихо, протяжно.

Возмущенный Генаха взорвался, точно порох:

— Кто тебе не давал жить с семьёй, заблядовала ты, я же помню, как только появились первые иномарки, так ты только в них и раскатывала.

— Будь они прокляты, эти иномарки, круговерть меня закрутила, Генаха, не кричи ты на меня, Христом Богом прошу!

— Христом Богом! Христом Богом! Ладно, давай помянем Яшара, страдальца, — успокоился её ночной визитёр.

Генаха с удовольствием бултыхнул содержимым бутылки и резким движением руки запрокинул горлышко себе в рот. Он сделал несколько судорожных глотков, в темноте слышно было, как раздаются громкие бульки, проваливаясь внутрь его утробы. Цепкие глаза Натали следили за стремительным уменьшением содержимого бутылки, рука ее беспрестанно продолжала мять в кармане засохший ломоть. Ей хотелось предложить его Генахе, но она все еще продолжала сомневаться в правильности своего решения. Она потрогала пальцем острые края ломтя, продолжая бороться с искушением, наконец, решилась, мысленно утвердившись в благородности поступка и, не вынимая хлеб из кармана, отломил кусок и протянула Генахе. Генаха оторвал бутылку от губ и громко с присвистом выдохнул. Он на ощупь нашел в ее руке хлеб, взял его и, забросив себе в рот, принялся быстро жевать, полагивая зубами. Натали осторожно высвободила бутылку из его рук, так же, как и он, бултыхнула содержимым, устанавливая на звук количество оставшейся водки и, удовлетворенная, поднесла ее ко рту.

Водка приятно обожгла внутренности, Натали сделала несколько крупных глотков и закашлялась.

— Проклятье, так и не научилась пить из горла! — пробормотала она, кашляя.

— Пора бы! — беззлобно откликнулся Генаха.

— Царство ему небесное! Хороший человек он был, мне, божихе, помог вернуть веру в себя, — вновь забормотала Натали. Выпитая водка придавала ей сил и она вдруг засуетилась, засобиравшись, точно теперь боялась опоздать. Натали стянула с головы промокший, покрывшийся местами корочкой льда старый платок и встряхнула его. В темноте подъезда она беспрестанно двигала руками,

прибирая спутанные, сбившиеся волосы, для чего-то расстегнула пуговицы шубенки, затем вновь их застегнула, сопровождая свои беспорядочные движения сопеньем и шмыганьем, накинула платок на голову и, тщательно прибрав его, завязала на узелок под подбородком.

— Мне надо с ним попрощаться, обязательно, обязательно, — зачастила Натали, поражая Генаху своей проворностью.

— О какой вере ты говоришь? — удивился Генаха.

— Мы ведь знакомы были с ним с молодых лет. Потом долгие годы я его не видела, он, оказывается, сидел все это время, а я опустилась на дно. Вначале меня катали на иномарках, водили в рестораны, дарили дорогие подарки, называли самой красивой, понесло меня, понимаешь? Я проводила время в забавах, в роскошных номерах. Муж тем временем развелся со мной, лишил материнства, а детки были еще маленькие, Викулечка и Сереженька мои, крошки мои, — голос Натали задрезжал, она громко высморкалась и вытерла руку об полу шубенки. Генаха задумчиво смолил козью ножку, чадая густым дымом, огонек ее разгорался на мгновенье, освещая лицо. В низком, прижавшемся к крышам пустых домов, черном небе, одна за другой полыхнули молнии и, заглушая шум дождя, громынуло так, что звон долгое время носился внутри пустого подъезда.

— Господи! Господи! Что же это творится-то. Молнии, гром, дождь среди зимы, — Натали стала мелко и быстро креститься.

— Так чем же он тебе помог?

— Однажды я напоролась на Зардана. Он затянул меня в свою машину и хотел, чтобы я отдалась ему. Но я воспротивилась, он стал выкручивать мне руки, я звала на помощь и тогда он, взбешенный моим сопротивлением, полоснул ножом по щеке,

обезобразив мое лицо. Рана со временем затянулась, но прежние кавалеры отвернулись от меня и как-то разом пропали дорогие рестораны, ино-марки, подарки, и я в одночасье рухнула в темную пропасть, в жуткую страну бомжей. В зале ожидания вокзала, где я коротала ночь, на мою беду меня подобрал Симак. Ты же его знаешь, Генаха, это лютей зверь, зверь, зверь!

Генаха на всякий случай промолчал. Натали коротко всхлипнула и продолжила.

— Мы с Яшаром встретились совершенно случайно. Он увидел меня и поразился, мне впервые за годы моего бомжевания стало так стыдно за себя. Он долго рассматривал меня и поражался, затем посадил в машину и повез в частную сауну. Там он оставил меня совершенно одну, велел снять с себя все мои лохмотья и вымыться. Я, дура, даже было подумала, что он хочет отмыть меня для себя, а потом поиметь. А он уехал и вернулся через час. Привез мне платье, новые туфли, косметику. Я после горячей воды вся разомлела, разругнилась. Надела чистое платье, причесалась, подкрасила глазки, поглядела на себя в зеркало, оказалось, ничего еще! Потом он повез меня на квартиру, накормил, угостил вкусным вином и принялся ругать.

Заинтригованный исповедью бомжихи, Генаха погасил козью ножку, придавив ее сапогом. В подъезде стало совершенно темно. Натали, втянувшаяся в воспоминания, тяжело дышала.

— Че дальше-то? — нетерпеливо спросил Генаха.

— Он говорил мне простые вещи, которые всем известны, но в них была жизненная мудрость, что оспаривать ее у меня не хватило духу. Он говорил, что это переломное время сломало не только меня, но и тысячи других людей. Что я еще молода и красива и могу быть счастлива, а для этого мне надо вернуться к своим деткам, что им не

хватает матери, а мужу — жены. Он убедил меня в простых истинах, что раз мой муж до сих пор не женился, значит, он не теряет надежды, что я когда-нибудь вернусь. Он рассказывал мне, как кается сам, что потерял семью, рассказывал, как ему пришлось трудно в лагерях и что надо ценить жизнь, а не разбрасываться ею. Понимаешь, Генаша, миленький, он говорил, что всем нам придется каяться за свои поступки перед Господом Богом.

— И что? Так и не поймел он тебя? — хихикнул Генаха в шутку, но, почувствовав, как напряглась бомжиха, быстро интуитивно отодвинулся.

— Ты же вот сидишь, не трахаешь! Даже водкой угощаешь.

— Да ладно, я пошутил. Так че ты не пошла домой-то?

— Симак поймал меня, гад! Затащил опять в подвал, посдирал с меня вещи, которые Яшар подарил, и пригрозил, что если я еще раз попытаюсь уйти, он сам расскажет моему мужу, что я ежедневно делала ему минет.

Натали горько заплакала, ее плечи сотрясались. Бомж смутился от подобной откровенности, зашмыгал носом, делая вид, будто ничего не расслышал.

— Генаша! Родненький ты мой, почему наша жизнь такая? А?

— Потому что сами мы виноваты, — угрюмо пробормотал бомж, — а я не покушаюсь на тебя оттого, что давно уже импотент, если бы не шрам, ты и вправду еще ничего.

Натали мгновенно потянулась рукой к щеке, через которую от самого виска, до подбородка, глубокой бороздой тянулся шрам, оставленный Зарданом.

— Просто ты, как и Яшар, хороший человек. Ну я пошла, родненький, дай Бог тебе здоровья.

Может, я еще успею попрощаться, — проговорила она скороговоркой, затем стремительно наклонилась и чмокнула в небритую щеку изумленного бомжа, сама удивляясь неожиданному порыву, растопившему вмиг ее давно заledenевшее сердце.

— А с Симаком ты не шути, он и правда, зверюга еще тот, — пробормотал обескураженный бомж ей вдогонку.

Гроб с телом Яшара был выставлен посреди нового спортивного центра. Трёхэтажное здание с ярким фасадом среди разваливающегося, полузаброшенного города выглядело как горький укор пустым пятиэтажкам с зияющими чернотой оконными проёмами.

Около здания, несмотря на разбушевавшуюся, невиданную доселе непогоду и поздний час, сгуртовалось множество автомашин. На освещённом крыльце стояли люди. Натали робко приблизилась к крыльцу, остановилась, припав к стене, чтобы перевести дыхание, благо, что студёные потоки, льющиеся с неба, сюда, под навес, не проникали.

Её выдавшая виды шубёнка совсем промокла и с неё на сухой асфальт стекала вода. Она украдкой из-под надвинутого на самые глаза платка стрельнула по сторонам, пока не убедилась, что никто не обращает на неё внимания. Превозмогая резкие боли в коленях, донимавшие её в последнее время, она бочком поднялась по ступеням и прошмыгнула внутрь. В просторном зале перемещалось множество людей. Натали осторожно, боясь привлечь к себе чьи-нибудь взоры, бесшумно переставляя мокрые от дождя набухшие валенки, приблизилась к стоявшим у гроба людям. Самой себе она напоминала загнанную птицу,

общипанную, но хищную. Её грязные кисти рук с длинными, давно не стриженными ногтями поневоле напряглись, высовываясь из куцых рукавов шубенки, напоминая когти пернатой падальщицы.

Выбрав узкую брешь среди плотно обступивших обитый зеленым сукном гроб с телом покойного людей, она сумела боком протиснуться к нему и увидела его. В дорогом костюме молочного цвета, в белоснежной рубашке, ворот которой подпирали золотящийся галстук, он был величественен.

Редкие седые волосы отсвечивали серебром и были тщательно причёсаны. На лице его, ещё хранившем следы былой красоты, отпечатались горечь пережитых страданий и непостижимая живым мудрость.

— Яшар был мне старшим товарищем. Он учил меня не только поднимать штангу, но и искренности в человеческих отношениях, честности в поступках, чистоте мыслей и теперь, когда его не стало, я сохранила в памяти до конца своих дней его светлый образ. Он был достойным человеком, — произносил молодой, крепкого сложения мужчина с фигурой бывшего спортсмена. Натали напрягла память. Где-то она прежде не раз видела это лицо, как вдруг вспомнила. Это был худой, нескладный мальчик-сирота в пору её молодости.

— Как же он повзрослел, — внутренне поразилась она.

Мужчина закончил речь, из его глаз потекли светлые слёзы, он стал шарить по карманам в поисках платка, но не нашел и тогда вытер их ладонью.

У Натали впервые за долгие годы защемило в глазах, а сердце беспокойно торкнулось в груди.

Она вновь вспомнила сауну, из которой вышла, напарившись и начисто вымывшись под горячей водой, укутанная белой простыней, и взяла из рук

человека, теперь лежащего в гробу, цветастое платье. Нет, этого ей не забыть!

«Ты ещё молода и красива и у тебя всё ещё будет хорошо, не теряй надежды. Твой муж, твои дети нуждаются в тебе, иди к ним», — звучали пронзительно в ушах его слова, простые, но столь искренние, что она тогда и вправду поверила им!

Горькие слёзы хлынули по ее щекам, она попыталась сдержать их, но они полились сильнее. В отчаянии она напрягла веки, шрам её искривился, обнажив черные от чифира зубы и облик её стал ужасным.

А в ушах продолжали звенеть его слова: «Твой муж и твои дети нуждаются в тебе!».

На секунду ей показалось, что он чуть приоткрыл глаз и взглянул на неё строго, вопрошая, почему она нарушила обещание, данное ему в тот вечер.

— Я пойду, милый, я обязательно пойду, даже если мой муж и мои детки палками будут бить меня и гнать прочь, я подстилкой лягу у порога, но не уйду от них никуда, никуда, никуда!!!

Слёзы затекали ей в рот и она пила их, пила, пила!!!

— Жизнь человека — мяч в руках Всевышнего! Земная жизнь Яшара была соткана из лоскутков горя. Он мечтал уехать к себе на родину, о которой часто грезил, и мы, выполняя его волю, попрощавшись, отправим его сегодня в далёкий Баку. И это будет его возвращением! Спи спокойно, друг, — голос произносившего речь мужчины казался знакомым Натали, но слёзы застилали ей глаза и она не могла его разглядеть.

Лишь только закончилась речь, как мулла высоким тембром принялся читать длинную суру из Корана. Присутствующие присели на корточки, пронзительный голос муллы набирал обороты, взлетая под самый потолок, в зале стояла тишина, а когда

он словами «аминь!» закончил песнопение, толпа многоголосо повторила вслед за ним «аминь!».

Началась процедура прощания. Вначале прощались самые близкие, затем все остальные. Люди подходили к усопшему, некоторое время вглядывались в него, точно пытаясь запомнить, осознавая, что видят его в последний раз, ложили цветы и отходили, уступая место задним. Когда церемония прощания закончилась, зелёный гроб накрыли крышкой с позолоченным полумесяцем, оббитой золотистой бахромой, упаковали в цинковый ящик и стали запаивать.

Вскоре все было кончено. Тело погрузили в салон микроавтобуса и кавалькада автомобилей, прорезая фарами непрекращающиеся потоки дождя, разбрызгивая по сторонам снежную кашу, длинной змеей заскользила по полумертвому городу, в сторону аэропорта.

Мой Старший Брат! Вот и все! Бренное тело нашего друга, наконец-то, обрело вечный покой в своей родной земле, в солнечной стране Азербайджан. Долгие годы, с тех самых пор, когда он вслед за любимой девушкой приехал в Казахстан, в наш шахтерский городок, с тех пор он был желанным сыном в нашей стране, был нашим гостем. На нашей земле ему довелось познать мужскую дружбу, страсть к женщине, цену победы над звенящей металлом штангой, горечь утраты и долгие годы страданий! Я очень благодарен нашим землякам, пришедшим проводить его как почетного гостя в последний путь. Он заслужил это уважение к себе со стороны людей, ибо, будучи гостем, ни разу не попрал священных законов дома, принявшего его. Среди сильных он был сильным, среди слабых был слабым, со старшими — младшим, а с младшими — старшим. Его грешная душа еще сорок дней будет незримо витать среди

нас, не в силах расстаться, а потом ее возьмут с двух сторон ангелы смерти: Азраил и Жабраил, точно конвой, и потащат на высший суд, где придется ему держать ответ за все проступки земные и где зачитутся ему его добрые дела, и все будет взвешено на чаше весов, тех, что тоньше человеческого волоса, и ничто не сможет укрыться от всезнающего, всевидящего ока Всевышнего.

Опустел в одно мгновение большой зал, лишь шаги одинокого сторожа цокали, отдавая эхом, слышалось бряканье ключей и лязг закрываемых дверей. Натали стояла одна посреди пустого зала и впервые в своей многострадальной жизни почувствовала наполнявшую всю ее изнутри огромную ответственность перед ушедшим в мир иной человеком, который когда-то абсолютно бескорыстно взялся за наставление ее, падшей женщины, на путь возвращения.

«Господи Великий! Дай мне шанс доплестись до моих деток, брошенных мною уж несколько лет назад. О, Всепрощающий! Я грязная грешница, оттого никогда раньше я не произносила имя Твое и только теперь молю Тебя о помощи, когда решила направить свои стопы к ним. Великий и Всемогущий! Поддержи меня в тот час, когда станут судить меня строго муж мой и мои детки по законам людским», — искренне, в греховном отчаянии воззвала она к Богу, затем прислушалась к тишине зала, в ожидании знака себе, но, не дождавшись, подумала, что Господь сердит на нее настолько сильно, что не станет ей отвечать, и тогда она бесшумно скользнула вдоль стенки и, отворив дверь, вышла на улицу. Дождь никак не унимался, продолжая с шумом тарабанить по черному льду, низвергаясь сверху. А Натали шла и шла по пустому, ночному, хранившему за каждым своим поворотом страшные неизвестности городу и затупленные мысли

об ужасе предстоящей встречи уже не столько пугали ее, сколько разгоняли ее веру, которую она обрела, стоя у гроба с Яшаром. Но она в порыве слепой надежды продолжала идти!

Звонок в дверь прозвучал пронзительно громко, Натали вздрогнула и в страхе отпрянула от нее.

Ее голова, гудевшая целый день от пережитого, вдруг просветлела, в ней пошел тихий звон, она предельно собралась от того, что теперь могло произойти самое главное в ее жизни. Пока она остаток ночи под проливным дождем тащилась сюда, она не плакала, лишь сердце ее колотилось, точно хотело вырваться из груди. И теперь, стоя в страшном ожидании у родной двери, невероятным усилием воли Натали заставляла себя держаться, хотя сама мысль, что она посмела заявиться сюда, парализовывала ее.

Она ушами пила тишину подъезда так, что слышала вращение электросчетчика и телепанье отрывка веревки за темным окном на площадке.

Её напряжённый слух уловил щелчок выключателя, звук шаркающей ноги, сопровождаемый стуком неясного происхождения о деревянные половицы пола. Некто, тяжело дыша, подобрался к двери.

— Кто-о там? — прозвучал голос Некого сердито. Этот голос она узнала бы среди тысяч других, потому что он принадлежал её мужу.

— Папа, к нам кто-то пришел? — проник сквозь толстую дверь сонный голос её дочурки, её Викулечки.

— Спи. Чего ты соскочила, иди ложись, — в голосе мужа всё ещё плавали сердитые нотки.

— Мне только что приснилось, будто к нам пришла наша мама.

— Какая мама, доченька, о чем ты говоришь? Ваша мама давно умерла. Беги маленькая, беги, ложись.

— Папочка, ты говорил мне неправду. Баба Надя сказала, что мама жива, и я только что

во сне видела ее. Это она к нам пришла. Открой, пожалуйста, ей дверь!

Натали отчётливо слышала звонкие слова дочери, долетающие к ней как оглушительные пощечины, она лбом приникла к холодной стене, мучительный стон рвался из неё, но она прокусила себе язык и этой болью вогнала стон внутрь себя.

Ей хотелось броситься прочь, убежать подальше от родных голосов, забиться в темноте привычных подвалов, чтобы не слышать их больше никогда, никогда!!! Натали не выдержала и протяжно застонала.

— Папа, открой, открой, там мама! — полным детского отчаянья голосом закричала за дверь дочь. Слышно было, как она, шлепая босыми ногами, кинулась к двери и короткие звуки соприкосновения тел подсказали Натали, что муж пытается остановить её.

— Осторожней, доченька! Ты чуть меня не сбила. Я открываю, уже открываю....

Дважды прокрутился ключ в замке, дверь распахнулась и желтый квадрат света выпал во тьму площадки, захватив в себя её ноги в мокрых, разбухших валенках.

Натали не дышала, глядя из мрака на своего мужа, стоявшего на одной ноге, опиравшегося на деревянный костыль. Не ведавшая доселе, что ее муж потерял ногу, она была сражена увиденным. И, может быть, собрав остаток сил, она бросилась бы прочь, если бы не графика освещенного квадрата. В нем, залитая светом, стояла ее дочурка, крепко-накрепко обхватив единственную ногу отца.

Бессознательный импульс пронзил Натали от самой макушки до пят, вид дочурки с растрепанной прической и припухшими заспанными глазами вынудил ее сделать крохотный шагжок вперед, затем ещё один, ещё более мелкий, входя в освещенный четырехугольник.

— Доченька, Викулечка, дочушка моя сладкая, котен-о-чек мо-о-й!!! — посыпались с её омертвевших губ слова, трудноразличимые и едва слышные. Она уже вошла по пояс в квадрат света и увидела, как от страха расширились глаза дочери, прокусившей белыми зубками себе нижнюю губу.

Сердце Натали билось гулко, холодный пот бежал по лицу, ей казалось, что сейчас ее муж и дочь услышат его биение и в ужасе захлопнут перед ней спасительную дверь. Не в силах дальше противостоять судьбе, Натали опустила перед ними на колени.

Лицо мужа было неподвижно и ей на мгновение показалось, будто он навсегда окаменел от злобы, застывшей в его темных глазах. Костяшки кисти, сжимавшей перекладинку костыля, побелели и он слегка отстранился назад. Натали поняла, что он узнал её.

— Прости! — прошептала она, давая волю го-рючим слезам, текущим по мокрому от дождя лицу.

— Папа! Кто эта страшная тётя? — испуганно вскрикнула дочь.

Натали вскинула голову, заглядывая в глаза мужу, её взгляд, моливший о прощении, мог бы расплавить железо.

— Это твоя мама, доченька. Твоя мама!

— Мама! Папочка, ты сказал, что это моя мама! — Девочка исторгнула из себя не крик, нет, то был стук тоски по недополученной материнской ласке.

— Ма-ма-а-а-а! — В дальней комнате от испуга громко заплакал маленький Серёженька. Натали, точно обезумевшая, беззвучно шевелила губами, двигаясь на коленях к порогу и вдруг застыла, обратив умоляющий взгляд на мужа. Глаза его уже не источали ненависть, они слегка потеплели, льдинки презрения медленно таяли в его

зрачках, и тогда она переползла через порог. С её шубы на пол, растекаясь тонкими струйками, текла грязная вода, подбираясь к резиновому набалдашнику костыля и к его босой ноге. Он инстинктивно хотел отшагнуть назад от них, черными змейками ползущих к нему, но костыль предательски скользнул, потеряв равновесие, он рухнул рядом с ней на пол и, ошалевший, глядел на неё, давно уж вычеркнутую им из его жизни.

— Прости меня! — простонала она. — Простите меня! Прошу Вас, не выгоняйте! Я вернулась к вам!!!

— Ма! — заплакала Викулечка и прямо в байковой пижамке, босоногая, села в набежавшую лужицу, а из дальней комнатки, не прекращая крика, выскочил Серёженька и с разбегу упал прямо на них. Муж взвыл жутко и все трое ему вторили — страшным криком и плачем исходила в ярко освещенной передней израненная судьбой семья.

Родной мой Старший Брат! Прости и ты меня, разве мог я предположить, убеждая тебя в необходимости этой поездки, что может случиться с тобой такое, отчего я чуть было не сошел с ума. Трагедия, унесшая жизнь нашего друга, настолько шокировала тебя, что я почувствовал предел твоих жизненных сил, ту огромную нервную перегрузку, приблизившую тебя к опасному краю. И я, проявляя заботу о твоём здоровье, посчитал, что отдых на море, смена обстановки на экзотический Египет поможет тебе забыться и набраться новой энергии для дальнейших жизненных побед. Случившееся с тобой в чужой, далёкой стране ужаснуло меня и всех близких. Тысячелетние, хранимые космосом темные силы, таившиеся в древней пирамиде, опрокину-

ли тебя с самой своей вершины и низвергнули вниз, точно хрупкие спички, ломая твои кости.

Моё сердце страдало от невозможности оказаться рядом с тобой и разделить твою боль. Огромное расстояние лежало между нами: горы, пустыни, моря.

Переводчик—араб, нанятый мною, громко кричал в телефонную трубку, сокращая расстояние, приближая меня к международной больнице Шерм-Эль-Шейха, в которой, страдая от сумасшедшей боли, лежал ты с обеими переломанными ногами. Я звонил в компанию, умоляя отправить меня ближайшим рейсом в Каир и оказалось, чтобы попасть к тебе, надо было пролететь над Землей до Франкфурта-на-Майне, затем до Рима, затем до Каира, и лишь дальше в городок Шерм-Эль-Шейх.

Двое суток, истекших с момента несчастья, происшедшего с тобой, казались вечностью, полной нескончаемой тоски в сердце от бессилия помочь тебе, и тогда я тысячу раз проклял себя, бездумно отправившего тебя столь далеко от своей страны. Надрывно звонил телефон, я стремительно бросался к аппарату. Чужой женский голос объяснял мне о перегрузке на африканском направлении.

В горьком отчаянье я привез в Ахмадийскую мечеть кроткую, белую овцу и после прочтения имамом суры священного Корана, во время которой я неустанно молил Всевышнего, произнося: — Великий! Всемогущий! Справедливейший! Всепрощающий! Если из-за моих тяжких грехов наказал ты брата моего, прошу тебя, облегчи его страдания, верни его на родную землю, но накажи меня и я смиренно приму твою справедливейшую кару!

И после этих слов я исполнил акт жертвоприношения.

Мясо белой овцы было роздано обездоленным, томившимся у мечети, и после окончания этого обряда я просветлел и впервые уверовал в святость молитвы, космическими биотоками летевшей к Всевышнему. Точно йог, я остановил биенье своего сердца на все последующие часы, потерявшие деление на День и Ночь, до телефонного звонка, возвестившего, что ты уже на борту «Боинга», летящего полукружьем, пересекающего непомерно далекое расстояние, разделяющее нас с тобой, брат.

А ты в это самое время сидел в кресле и страдал от невыносимой, нечеловеческой боли в переломанных суставах, и молочно-белая обшивка самолета растворялась в твоих глазах и тебе казалось, что ты один, сидя в кресле, летишь в ночи над спящей черной землей, точно Икар.

Тебе чудилось, что самолет переворачивается и летит вверх ногами, затем вдруг срывается в глубокое пики, потом взмывает свечой, улетая во вселенную и что время отсчитывает обратный ход.

И сквозь крошечный ужас в предощущении небесной невесомости и жуть от мысли, что ты никогда не сможешь вернуться на землю, порой неласковую и суровую, ты успевал думать, что ты по-настоящему любишь ее и просишь прощения за мысль о ней, как о ненасытной, забравшей в себя твоего друга, но ты просишь ее принять себя, чтобы на ней жить!

И вот случилось так, что наш несчастный друг, столько лет мечтавший о ней, только в саване возвратился к себе на родину и Натали, женицина заблудившая, но нашедшая дорогу, возвратилась домой, и в тот час я умолял Аллаха лишь об одном — чтобы он вернул мне тебя!

В безграничной ночи, точно сосцы, набухая, нарастают звёзды, и я метался, не прекра-

щая ни на секунду произношение молитвы, и уже «Боинг», проблёскивая мигающими огнями, шел на посадку, а я всё выхаживал нервно, мне казалось, что время остановилось, и когда увидел тебя, лежащего на носилках, удерживаемых руками двух дюжих санитаров, я, точно надломленный, коснулся коленями земли.

— О, Аллах, земной Вам поклон! — прошептал я и подумал о том, что это ОН так решил, определив каждому из вас дорогу, которой вы должны были возвратиться!

Ночь. Поезд. Апрель.



ДЕВЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ИСТОРИЙ О БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ

«Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть левее наклон — упадет, пропадет,
Чуть правее наклон — все равно не спасти.
Но зачем-то ему очень нужно пройти
Еще три четверти пути...»

История первая

Хаджимэ!..

Два «каратэка», начиная бой, поклонились толпе на зрительских трибунах.

Сотни и сотни лет назад выходили гладиаторы на арену, приветствуя императора словами: «Идущие на смерть приветствуют тебя!», начиная смертельный бой.

Удар гонга вновь привел к оживлению на трибунах. Публика заерзала, зашевелилась в ожидании близкой развязки. Бой на центральном татами вновь разгорался. Это был завершающий бой престижного Кубка Мира среди профессионалов, который традиционно проводился раз в четыре года. Двое на татами скользили в белых кимоно, подпоясанные черными поясами. Черный цвет поясов, обхватывающих талии бойцов, свидетельствовал об их величайшем мастерстве. Они и в самом деле кralись, скользя, словно белые тени, друг напротив друга. Нет, они не изучали друг друга. Возможности каждого они знали достаточно хорошо, но они понимали, что это последний раунд. И победитель может быть только один. Потому-то они скользили, будто белые духи, вычерчивая ногами на жестком татами невидимые глазом галогаммы.

Один из двух был повыше ростом и выглядел мощнее своего соперника. Он был молод, полон энергии и желания сразить противника. У молодых всегда есть желание сломить претендента на их место. Пойти дальше, взобраться выше, получить на сильную шею самую тяжелую медаль, отсвечивающую тусклым золотом.

А для этого надо было раздавить, расстрелять мощными сериями рук и ног осторожно двигающегося пожилого «каратэка».

Где было знать молодому о том, что под выбеленной серебристой сединой прической у пожилого вся голова покрыта бугристыми шрамами. Одни из них образовались на турнирах, где пожилой был тогда еще молодым и показывал «тамашевари». Разбивал различные предметы руками, ногами, головой. «Пятидесятку» — доску, да еще и сырую, ломал он головой, рассекая при этом кожу, обтягивающую мощный череп. Да и в уличных боях дикого «Майкудука», — а он был его дитя, плоть от плоти, — не раз принимал этот череп удары колом.

Где было знать молодому о том, что печень у пожилого в одном из чемпионатов была порвана пополам от пропущенного мощного «йоко-гери». Два ребра слева вот только теперь срослись, а справа три заросли несколькими годами раньше, и там, где они срослись, можно было нащупать бугры, выпиравшие из-под кожи.

Где было знать молодому, что левая рука пожилого, которую он как-то странно прижимал к боку, еще сейчас в ключице держалась на стальном болту. А еще прежде она была сломана в предплечье и ее, неправильно сраставшуюся, дважды вновь ломали — уже врачи.

И колот был пожилой, и рублен, и стрелян. Но зачем-то ему надо было приехать на этот Кубок и встать тут, на пути молодого, на пути к заветной медали.

Уже не выдерживая сурового взгляда внимательно следящих за ним зелено-серых глаз, подхлестываемый выкриками со зрительских трибун, бросился молодой в атаку.

Левой ногой прямой пробивающий «мая-гери», правой — высокий «маваши» в голову и тут же с разворота мощный коварный «уширо».

Но нет! Только воздух со свистом рассекли ноги, но не достали пожилого. Ушел! Невероятно, но ушел. Высокоточный прибор мог бы определить галограммы, мгновенно выстроенные ногами пожилого, с помощью которых он ушел от готовых поразить его ног соперника.

Так было всегда. В минуты смертельной опасности, и на бесчисленных турнирах, и в темных обосанных Майкудукских подъездах, уводили пожилого от беды его ноги.

И опять кинулся молодой в атаку. Вот он левой ногой решил подсесть под переднюю ногу, а правой пробить, проламывая защиту, со всего маху «йокотери».

Чуть передвинулись с места ноги пожилого мастера, вычертив очередную «гала», и корпус тела, как показалось зрителям с трибун, как маятник часов, быстро качнулся вперед, навстречу молодому. Больше никто ничего не увидел. Молодой лежал на полу, распластав руки и ноги. Быстрый, короткий, которым крушил кирпичи и доски, удар «цки» здоровой рукой, пробил грудь летящему по инерции молодому.

Пожилой стоял, сверху вниз рассматривая повергнутого соперника. Сейчас он напоминал старого гладиатора из римского амфитеатра. Повернулся после того, как судья поднял ему руку, и медленно пошел с татами, как-то боком придерживая ту, в ключице которой выломился из сустава стальной болт.

А толпа, вначале застывшая в недоумении: чем поразил пожилой своего мощного молодого

соперника? — взревела ему, покидавшему арену амфитеатра, вспину, разражаясь аплодисментами. И тогда покидающий арену остановился, развернулся и, согласно древним самурайским обычаям, трижды глубоко поклонился толпе. Что делать, так уж устроена эта жизнь! В ней всегда рукоплескали победителям.

А тех, кто упал, как сегодня молодой, — по тем пройдет толпа, утаптывая. Кто подаст руку упавшему? Кто поможет подняться проигравшему сражение? Только сам он выползет, будто волк, поскуливая и зализывая раны. Пожилой мастер это знал точно. Сколько раз он падал, пораженный и уползал с татами, унося на себе презрительные взгляды толпы. А потом, залечив травмы, с еще большим ожесточением принимался тренировать свой дух и тело, чтобы в следующий раз выйти и победить. Так было. Падал он в Японии, затем побеждал в Америке, падал в Австралии, побеждал в Бразилии, падал в Корею, уходил с высоко поднятой головой во Францию.

История вторая

На дворе лютвал ужасный мороз, градусов под 40 по Цельсию. Сизоватый дымок выхлопных труб автомобилей тут же растворялся в морозном воздухе. Даже грязный, задутый ветрами снег казался замерзшим — так было дуборно. Старая, выдавшая виды «Волга»-такси ввезла нас на территорию какой-то автобазы. Здесь, как сказали мне, вел секцию каратэ Лутошкин.

В те годы имя Георгия всплывало в разговорах в каждом качковом подвале. И вот я, будучи фанатичным бойцом, решил разыскать Лутошкина и сразиться с ним.

В холодном, просторном спортзале бегали по кругу человек сорок, это была разминка. К нам (а я пришел с приятелем по имени Сергей), отделившись от бегущих по кругу бойцов, подошел крепкий парень в белом кимоно. Он стоял босиком на ледяном полу спортзала, и я невольно подумал — уж не сумасшедший ли он?

Я представился и тут же сказал ему о цели своего визита.

— Все говорят, что ты сильный боец, давай сразимся! — предложил я ему. Он как-то испытующе посмотрел на меня и, принимая брошенный вызов, подозвал невысокого чернявого паренька.

— Проводи тренировку! — приказал он ему. Нас же попросил подняться на второй этаж. Здесь, на полу лежали толстые борцовские маты. Я скинул с себя овчинный полушубок, ондатровую шапку и остался в широких джинсах «колокол» и свитере. Снял ботинки, ступив на маты в толстых вязаных носках. Георгий стоял, наблюдая за моими приготовлениями, и, дождавшись, когда я буду готов, строго сказал:

— Ну что, начали?

— Начали, — ответил я и атаковал первым. «Маягери», «йоко», «маваши» и опять. Мелькали руки и ноги. Словно в прицеле я увидел взгляд его серо-зеленых глаз. Он был строгим и внимательным, и безмолвно говорил: «Раз назвался груздем — полезай в лукошко». Вот этот «урамаваши» я не проследил. Это был быстрый и злой взмах ноги, и тут же чуть выше правого виска мой череп принял мощный удар. В голове глухо зазвучало, так разносится топот ног в длинном пустом коридоре. Еще какое-то время я двигался, наносил какие-то удары руками, ногами....Надо было устоять, продержаться, коль сам приехал.

Георгий, видимо, почувствовав, что мой пыл угас, первый благородно предложил:

— Может, хватит?

— Ну, что ж, хватит так хватит, — произнес я, кляня себя за пропущенный «ура-маваши». Другой кровожадный соперник добил бы, расстрелял бы ногами с дистанции. Ведь я уже после пропущенного удара как противник мало что из себя представлял. Но он не стал добивать. Его большое благородное сердце не позволяло так поступать. Он, как истинный боец, уважал своих соперников. Это теперь, когда его не стало, перебирая в памяти, словно старые слезавшиеся вещи, я в полной мере осознал красоту его сердца.

Когда я оделся, Георгий протянул мне руку и сказал:

— Ты сильный боец, давай будем друзьями.

Ничего себе друг. Как там у Высоцкого? Сэм Брук, обогнал на целый круг. Ничего себе друг. Гвинейский друг. Однако руку я принял, и, уезжая, спросил:

— В какие дни тренировки?

— Каждый день! — ответил он.

— А когда тебя нет, кто проводит тренировки?

— Не может быть, чтобы меня не было, единственная причина, по которой я могу пропустить тренировку — это моя смерть.

Тогда, злой за пропущенный «ура-маваши», я подумал о высокопарности этих слов.

С годами потом, позже, понял, что это были не высокопарные слова. Это была его жизнь.

Только на улице я надел на голову шапку. Но оказалось, что она не лезет на голову. Голова от пропущенного удара распухла, и шапка на ней не держалась. А еще подташнивало, состояние было плавающее. Проклиная Лутошкина, я упал на заднее сиденье ожидавшей «Волги». Мы ехали в город из Майкудука. В машине выстукивал противно счетчик и действовал на нервы. Наше

знакомство, переросшее постепенно с годами в дружбу, а затем в беззаветную братскую любовь, началось с поединка!

История третья

Стоял солнечный день. Июльская жара плавил грязный асфальт Караганды. В душном воздухе стоял запах гари от выхлопов бензина подъезжавших машин и автобусов. У здания аэропорта как всегда было много людей.

В те старые добрые времена, которые теперь называют «союзными», Карагандинский аэропорт работал как часы, принимая и отправляя в грязное небо лайнеры.

Мы столкнулись с Георгием прямо в дверях. Он был в белой футболке с рисунком бьющего «мава-ши» каратиста. Надписи на английском в те годы для нас, постсоветских «совков», казались таинственными и загадочными. И обладатели вот таких футболок, с надписями на иностранном, нам казались тогда причисленными к далекой загранице.

Ох, уж эта советская власть, почившая в бозе! Зачем она давала нам по школьной программе знания по географии? Если мы, зная как собственные ладони карту мира, не имели права выехать и посмотреть далекие страны. Это теперь, если «Господин Бакс» у тебя в кармане, и если их — тугая, пухлая пачка, то расплодившиеся, как грибы, турфирмы притянут к тебе дальние страны — ты уж только плати.

А тогда, встретившись в аэропорту и узнав у Георгия, что он летит сейчас в Москву, а оттуда в Мехико, я смотрел на него, словно на счастливого, отмеченного перстом Божиим. Для меня немыслимо далекая страна Мексика была как

бы виртуально существующей в сознании страной. А тут, вот он — молодой, красивый, полный неиссякаемой энергии Георгий, летящий в Мехико, самый многочисленный город на планете Земля.

За короткие минуты он успел рассказать мне о проблемах каратэ.

— Там, в центральном аппарате, в Москве, они дерутся за портфель, не могут поделить, а отражается это на нас, — сетовал он.

Мы обнялись, я пожелал ему успехов на предстоящем чемпионате. Он ушел на посадку, а я отправился на автобусную стоянку.

История четвертая

Вдоволь накупавшись в теплых, ласковых водах озера Бурабай, мы с друзьями возвращались на машине, намереваясь вернуться засветло в Кокшетау.

Вечерело. По обе стороны извилистой лесной дороги тянулся знаменитый, прекрасный Боровской хвойный лес. Воздух был настоян хвоей и пьянил словно молодой, бодрящий кумыс.

Кто бывал в Бурабае, в той ласковой жемчужине Казахстана, не сможет забыть особый, густой насыщенный воздух, которым хочется дышать и дышать во всю полноту легких.

Вдруг в проехавшей навстречу неспешно машине кто-то из ребят разглядел Георгия.

— Да вы что! — вырвалось у меня из груди. — Развернись, догони их машину! — попросил я друга.

Друг без слов виртуозно развернул автомобиль на 180 градусов и стал догонять проскочившую мимо нас машину с Георгием.

Как приятно встретить друга! Мои друзья тут же, чуть спустившись с обочины в лес, прямо

на покрытой бесчисленными, рыжими хвоинками, теплой земле, накрыли импровизированный дастархан. Встреча на лесной дороге, в отблесках прячущегося уже за кроны высоких елей вечернего солнца, была бурной и радостной.

Ах, как это замечательно, разрезать сочные помидоры, длинные, полные семян, огурцы, достать из целлофанового мешочка и положить на дастархан зеленые пучки свежего, только днем сорванного с грядки лука.

Истекая желтым жирком, нарезались кружочками превосходные кокшетауские казы и шужук. Позвякивающие друг об друга, ставили ребята бутылки с крепкими напитками. Это была холодненькая, светлая, как слеза, водочка и темное разливное, как молодая кровь, грузинское вино. Подарок, присланный мне моими грузинскими друзьями. И, наконец, из сумки, словно волшебник, мой друг вынул баночку с маленькими, аккуратными, как на подбор, слегка маринованными маслятами — дарами окрестностей Бурабая.

Кто встречал, вот так случайно, на лесной дороге своего друга, тот поймет с какой радостью, с каким вожделением произносились тосты. С каким удовольствием с хрустом разгрызались молодыми крепкими зубами холодные бараньи ребрышки, оправленные белыми полосками жира. Как сладок казы, тающий во рту, съеденный вот так, на лесной поляне, с другом.

Мы сидели с Георгием в обнимку. И он мне рассказывал о своем пребывании в Германии. Дольше, чем полтора года, он отсутствовал в Казахстане. Уже не помню, как он назывался, тот немецкий городок, в котором Георгий работал по контракту в спортивном клубе, тренируя местных немцев.

— Почему же ты не остался в Германии жить? — изумился я, расспросив подробно

об условиях жизни и быта, о зарплате, которую платили ему немцы.

— Ты понимаешь, Марат, дорогой, я очень скучал по Родине, по Караганде! — признался он мне.

И опять я не понял его в тот раз. Он попал жить в цивилизованную страну. Ему предоставили квартиру, машину, прекрасный спортивный зал, хорошую зарплату. «Что еще нужно для жизни?» — думал я в тот момент.

Это теперь, когда его не стало, я понял, что он был плоть от плоти дитя грязного полузаброшенного Майкудука, которому он сохранил верность в далекой Германии.

Это теперь я понял, что я такой же, как и он. Мы, дети засранных шахтерских городков, дети конца пятидесятих годов, воспитывавшиеся на образе Павки Корчагина из романа Островского «Как закалялась сталь», в школе и воровской романтике на улице одновременно.

Мы, дети из обоссанных подъездов, прошедшие вихревые, злобные драки по принципу «край на край», когда в ход шло все подряд: руки, ноги, зубы, колья, арматура, кастеты, свинчатки, когда крушились ребра и трескали черепа.

В этом во всем мы впитали в себя, вместе с кровью с разбитых губ и носов, вместе с болью в сломанных ребрах, понятие — Родина!

Расставались мы долго, шумно прощались, давая обещание созвониться. Опять и опять о чем-то заговаривали, в душе не желая расставаться. Но мы были еще молоды, еще полны сил и планов, еще полны решимости жить и дерзать.

О плохом нам тогда не думалось, и потому, обнявшись еще раз, мы разъехались в разные стороны, увозя с собой приятную теплоту от этой встречи на лесной дороге. Разъезжались, чтобы встретиться потом еще.

История пятая

Позже, когда его не станет, кто-то произнесет такие слова: «Я никогда не видел Георгия унылым, это был неунывающий человек»

Да, Георгий действительно был человеком с сумасшедшей волей.

24 часа в сутки он был в нескончаемых делах, даже когда спал. Хмурился, сдвигая упрямые брови, поскрипывал зубами во сне, на что-то негодуя, кого-то ругал незлобно.

А с утра просыпался, быстренько приводил себя в порядок, одевал неразлучный галстук, не завтракал, потому что как всегда куда-то опаздывал, прыгал в поджидавшую его у подъезда машину и мчался в город.

Надо было садиться за телефон, узнавать, как там их парни в Москве, дозваниваться в Горздрав, ведь они образовали центр по реабилитации наркоманов, посылать людей в Топар на выкупленную зону отдыха, где необходимо делать ремонт.

А как там дела в КФБИ — филиале? Привезли ли они необходимую на день для работы валюту, напомнить им о вечерней инкассации обменных валютных пунктов. Девочки в офисе, занимавшиеся под эгидой КФБИ туристическим бизнесом, докладывали в рабочем порядке о своих проблемах. Звонили раз за разом телефоны, он хватал то одну, то другую трубку, с кем-то подолгу говорил, кого-то невидимого убеждал, просил, на кого-то рычал в трубку, негодуя.

В его комнате, там, где он восседал, стены были увешаны цветными плакатами с его изображениями. На них Георгий ломает доски, танцует босиком на побитых для этой цели стеклянных бутылках, об него ломают квадратные деревянные бруски. Об живот — там, где стальной пресс, об голень — там, где кость самая

болезненная, об голову, которая у него была вся в шрамах.

Глядя на него, несмотря на то, что это был мой близкий друг, я всегда невольно восхищался, думая: «Что это за человек!».

Он куда-то срывался, ему надо было ехать в ОВИР — оформлять своим ученикам паспорта на загранпоездку, по пути заскочить в авиакомпанию, договориться о билетах. Звонил сотовый, и он выхватывал его из кармана и кричал в трубку, что необходимо проводить турнир, посвященный Сергею Шмакову, а для этого необходимо то-то, то-то и то-то. Глядя на него, думалось, что он повсюду и везде опаздывает, он разрывался буквально на части.

К вечеру он проводил тренировку, переодевшись в белое кимоно, он показывал, как правильно надо бить в той или иной ситуации, терпеливо объясняя тактическое построение боя. Сам разминался долго, а затем упоенно тренировался. Воистину он был СЭНСЭИ!

День пролетал, как мгновение, и только к ночи он вспоминал, что еще не завтракал. И не обедал. И не ужинал.

История шестая

Никогда я не отмечал дни рождения!

А тут юбилей! 40 лет! И не юбилей мне надо было отметить, а просто соскучился по друзьям. Вот и возникла мысль собрать их всех воедино, со всех концов и краев нашего разломившегося, словно гнилой арбуз, и распавшегося на десятки кусков, государства.

А февраль — это время продолжительных, занудных, крутовертных буранов в Кокшетау. Плюс пронизывающий ветер да крепчайший мороз!

Моя семья, мой кокшетауский круг друзей, все мы готовимся к встрече дорогих гостей. Наступил день, когда стали подъезжать самые первые гости.

Из Семипалатинска прилетели двое моих друзей. Молодцы! Прилетели за два дня загодя и отдыхали, проводя время в душевных беседах.

Следующими прилетели петербуржцы, по пути из Москвы захватив моего друга Нукрия. И так, несмотря на разбушевавшуюся непогоду, добирались гости.

Мой друг Юрий выехал из Балхаша и где-то за Астаной на трассе толкал впереди себя в снежном заносе четырнадцать машин, потому что он был пятнадцатый. Гости, летевшие из Грузии и Осетии, приземлились в Омске и оттуда, долгожданные, наконец-то, приехали на посланной мною за ними «Вольво». Как бы то ни было, в назначенный день, преодолевая, словно сошедшую с ума суровую зимнюю стихию, собрались почти все. Радости не было конца.

Как приятно встречать любимых друзей!

И вот мы сидим в теплом, уютном зале арендованного нами для этого банкета кафе, за помпезно накрытыми столами. Я не говорю о своих земляках, дружно собравшихся в тот день, чтобы вместе порадоваться.

Нет! Совсем не юбилею! Чему здесь радоваться? Неумолимости времени, ее синхронному отчету? Радоваться встрече, новым знакомствам. Как прекрасно, когда собираются друзья. А в тот день! Кого и откуда их только не было.

Из далекой солнечной Грузии, где, когда у нас в Казахстане от мороза сворачиваются уши, у них тепло и распускаются виноградники. Из Осетии, что на одной из сторон седоглавого Эльбруса, а известная гора Казбек — так ту можно прямо из Владикавказа потрогать рукой.

Из Чимкента, Алматы, Караганды, Астаны и других городов...

За одним столом собрались грузины, армяне, осетины, казахи, русские, ингуши и даже цыганский барон. Не было Георгия.

Я весь изнервничался. Как же так? Вот он, праздник! Для души! Но как без Георгия?

И вдруг, когда уже банкет стал разгораться, а тамада, набирая ход, все смелее произносил сам и раздаривал тосты, в зал вошел улыбающийся, счастливый Георгий.

В руках он держал обнаженный самурайский меч. Это был подарок для меня. Но сзади! Сзади Георгия шел невысокий парнишка — скрипач, а за ним разбитной есенинского типа гитарист-разгуляка!

Ах, как они красиво вошли! Это надо было видеть! Мой дорогой друг Георгий по-другому и не мог бы.

Виртуоз-скрипач нежно и задушевно провел смычком по струнам скрипки, а сзади в мах ударил по струнам гитары разгуляка-гитарист. И зал заполнили нотки моей самой любимой мелодии «Бессамэ мучо!».

Выскочив из-за стола, я обнял Георгия, и все его обнимали, а скрипач, видя все это, разрывал скрипку, вырывая из нее щипающие душу ноты, и гитарист не уступал, выбрасывая в зал сумасшедшей виртуозности аккорды.

Это была поистине встреча друзей!

Веселью не было конца! Все пили, гуляли, грянул оркестр, стали танцевать. Потом пели под эстраду и опять, опять все как в круговертном буране.

В какой-то момент Георгий выпал из моего внимания и, когда я, обеспокоенный, стал искать его взглядом, то оказалось, что он мирно спит, сидя за столом. Оказалось, он немного перебрал. Кто-то из моих учеников по моей просьбе увез его ко мне домой, и там уложили его отдохнуть.

Но когда в 6 часов утра уставшие гости и все мы приехали домой (а у нас было одних только приехавших из других городов человек тридцать), то изумлению не было предела. Нас на пороге встречал Георгий, с рюмкой водки в одной руке, с огурчиком в другой. Но самое главное, он как всегда был при галстукe!

Невзирая ни на какие отговорки, он усадил всех нас за накрытый на первом этаже стол, налил всем полные рюмки и произнес:

— Кто сейчас не выпьет, тот — Киркоров!

Кто-то сначала не понял, например, грузин или армянин. Ингуш — тот вообще хотел было возразить, но затем все, вдруг уразумев, подняли бокалы и выпили до дна. Даже те, кто не пьет вообще. Почему-то никто не захотел быть Киркоровым!

История седьмая

Его ученица, Ирина Тишина — чемпионка мира по каратэ в г. Нью-Йорке, чемпионка Азии, Азиатских игр в Сеуле, еще и еще обладательница каких-то немислимых, громких титулов, вдруг за совершение правонарушения попала в СИЗО.

Что такое СИЗО, наш читатель, наверняка, хорошо знает.

В последние годы много написано и пишется еще на тему лагерей и тюрем страны, в свое время породившей страшного, ненасытного, огромного паука под названием ГУЛАГ. Эта тема была закрытой семь десятилетий для советских писателей.

Хотя были «Колымские рассказы» Шаламова, затем, подобный раскату грома, «Архипелаг Гудог» А. Солженицына. А уж с начала девяностых книжные лавки заполонило «криминальное чтиво».

Так вот какая случилась беда.

Ирина попала в СИЗО по тяжкому обвинению. Неоднократно на соревнованиях получавшей серьезные травмы позвоночника, головы, ей, конечно, пришлось тяжело в условиях, существующих в отечественных СИЗО. Я уж не говорю о психологическом состоянии. Ведь шло следствие: допросы, очные ставки.

Моральное состояние, когда вокруг — давящие стены, стальные, лязгающие по-особому, по-тюремному, засовы, рев тюремного квакуна за решеткой.

Георгий был очень расстроен.

Я приехал в Караганду, чтобы хоть как-то поддержать друга. И застал его в своем офисе, вдохновенно работающего над бумагами.

Мы поздоровались, он попросил меня присесть и принялся рассказывать о своей беде:

— Вот составляю для Ирины план тренировок на полугодие, нам ведь необходимо готовиться на чемпионат мира.

Изумленный, я смотрел на своего друга, думая про себя: «О каком чемпионате он говорит? Ведь идет следствие, неизвестно, к каким оно приведет результатам. Вполне возможно, что суд установит вину Ирины, и тогда она получит срок. Ведь обвинение было тяжкое».

Осторожно, чтобы не обидеть, я поделился своими сомнениями с Георгием. Надо было видеть его в тот момент. Он даже поднялся из-за стола и сказал мне:

— Все может быть! Но я убежден в том, что ее вины, в той мере в какой она предъявлена обвинением — нет! И суд в этом разберется. А пока нам надо подготовиться к чемпионату мира, и вот здесь нельзя терять ни одного дня, потому что ее соперницы усиленно готовятся.

Это был монолог, достойный всякого уважения. Георгий — сам превосходный боец, тренер

до последней клеточки, истинный друг. Поступить иначе он не мог.

Мы часто говорим: друг познается в беде. В предыдущих эпизодах я рассказал читателю, как встречались друзья, радость этих встреч. А сейчас я должен поделиться, как должны поступать настоящие люди, друзья в беде.

Мы живем сегодня в трудное время. Я уже говорил об этом. Нас, наше поколение, родившееся в пятидесятых, воспитывали на образах Маресьева («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого), Олега Кошевого («Молодая гвардия» Фадеева) и Зои Космодемьянской. Мы беззаветно верили в то, что наша страна — самая лучшая и справедливая, и в ней «так счастлив человек». Мы вступали в пионеры, подражая Павлику Морозову, и шли в комсомол. Ехали в составе стройотрядов на БАМ, покорять тайгу, покорять время. Мы искренне верили в то, что партия — наш рулевой и она ведет нас к торжеству коммунизма, ибо были убеждены, подобно Че Геваре, что Америка — гнивающая страна, а Япония — это милитаризм!

Нам пришлось разочароваться в перестройке Горбачева, пережить ГКЧП и мы торжествовали, когда Ельцин, стоя на бронетранспортере, провозгласил демократию.

Мы пережили Беловежскую пушу, шоковую терапию Гайдара и потерю деревянного рубля. Становление нашего молодого, независимого государства происходило в невероятно трудных условиях. Словно разбушевавшееся цунами, вал за валом на наше общество обрушились вначале азиатский кризис, а затем — российский.

Почему я пишу о друге, а сам углубляюсь в политические, социальные, финансовые потрясения, катаклизмы? Не для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, как нам всем было трудно. Об этом ежедневно говорят и пишут

СМИ. Я хочу сказать, что в эти лихие годы, когда духовность и нравственность, закладываемые когда-то в нас, подобно «Титанику», напоролась на айсберг, нас всех спасла дружба.

Самое страшное, самое подлое — это когда тебя предадут! Вот тут наступает разочарование, озлобленность, проступает волчий оскал.

Георгий составлял планы тренировок для Ирины, на собственные средства покупал для нее продукты, лекарства и передавал ей. Ходил из кабинета в кабинет, добываясь для нее специального времени для тренировок, для себя — разрешения на проведение этих тренировок.

И свершилось, казалось бы, немыслимое. Ему удалось пробиться в высокие кабинеты, убедить суровых чиновников.

И он добился. Вот ведь, оказывается, если твердо верить, если самозабвенно хотеть — то можно достичь!

И отдельно, для прекрасной женской половины! Не только наши дорогие женщины, подобно княжнам из кинофильма «Звезда пленительного счастья», могут идти за любимым хоть на край земли, хоть за край.

Используя предоставленную ему возможность, Георгий заходил к Ирине в СИЗО и проводил с ней в специально выделенной камере тренировки. Он поддерживал ее морально, заботился о ее здоровье, убеждал в том, что суд ее оправдает.

Читатель, наверняка, уже и сам предполагает, что для защиты Ирины были приглашены лучшие адвокаты.

Так продолжалось более года.

Это было трудное время для Георгия, но он не опускал рук. Я периодически созванивался с ним и сопереживал вместе с ним.

Наконец, был суд. Для Ирины восторжествовала истина, и она была освобождена.

Счастьем и радости Георгия не было предела. Радовалась вся Карагандинская федерация боевых искусств. Радовался за Ирину весь спортивный мир казахстанского каратэ.

Сама Ирина была счастлива. Она упивалась вновь обретенной свободой. Радовалась тому, что наша Фемида оказалась не с завязанными глазами, а разобралась в ее случае. Радовалась встрече с родственниками, товарищами по команде, подругами. Но больше всего она была счастлива оттого, что друзья не предали ее, оказались рядом с ней в ее беде, подставили плечо.

А через неделю после ее освобождения в городе Темиртау КФБИ проводила ежегодный чемпионат Казахстана, посвященный памяти Сергея Шмакова. И Ирина, более года проведенная в неволе, в условиях камерной системы, выступила на этом чемпионате, как говорится, с ходу — в бой. Она провела пять поединков и выиграла в своем весе, а потом в интересах команды дралась в стенке и победила!

Друзья мои! Она стояла на высшей ступени пьедестала и получала золотую награду. А вскоре она уехала в Алматы на тренировочный сбор, а затем в составе сборной Республики Казахстан — на чемпионат мира в Австралию.

Вот и все, конец этой истории. Хотелось бы добавить для дорогих друзей, читателей, особенно для молодежи.

Я не зря писал обо всех тех проблемах, какие застигли наше молодое государство, совсем недавно ставшее суверенным.

Наше судно — наше общество — плывет в огромном океане, где его подстерегают тысячи опасностей. Если говорить языком моряка — это и подводные рифы, и мели, ураганы и штормы, вплоть до бунта на корабле. Если выражаться современной терминологией — геополитика,

политика, экономика, растущее социальное недовольство общества, интервенция ваххабизма.

Но я бы хотел особо сказать для тех, кому сегодня двадцать и более.

Мы приобрели суверенитет и независимость, мы сегодня шаг за шагом оснащаем наше, в начале плавания ветхое, судно новейшими навигационными приборами и оборудованием. Уверен, пройдет немного времени и наше судно превратится в надежный и комфортный океанский лайнер. Год, пять лет — во временном измерении это немного.

На примере этой истории хотелось бы показать, что там, где есть подлинная дружба, там преодолимы любые препятствия! Даже такие!

История восьмая. Про ВДВ

На правом плече у Георгия синела одна-единственная татуировка: десантник в свободном падении, за спиной которого тянется шлейф стабилизирующего парашюта. И на фоне перистых облаков, сквозь которые летит, раскинув руки, синий десантник, надпись «Помни ВДВ». ВДВ — воздушно-десантные войска. Георгий служил срочную службу десантником.

В тех далеких 70-х годах армия СССР была крепка и могуча, а воздушно-десантные войска, крылатая пехота — мобильна. Они были способны решать самые сложные стратегические задачи армии. ВДВ были гордостью армии, а гордостью ВДВ — разведдиверсионные роты. Это их позже назовут «спецназами», а тогда...

Георгий, попав служить в ВДВ, закончил учебную роту, получил звание младшего сержанта и добился того, чтобы его взяли в разведку. А попасть в разведку в те годы! Это была элита внутри элиты.

Я пишу об этом, потому что я сам десантник и сам разведчик.

Нет, мы не были сослуживцами, даже однополчанами. Мы служили в разных дивизиях. Но я знаю, что их разведроту готовили как «рексов».

Сегодня, когда мы смотрим американское видео, где из красавца Ван-Дамма готовят крутого десантника, мне хочется улыбаться. Уж больно все по-киношному. Служба в разведке в ВДВ в те семидесятые была такая, пусть уж Ван-Дамм не обижается. А я промолчу. Я лишь напишу, что Георгий был среди своих разведчиков самый «озверевший», как тогда называли, разведчик.

Кросс по полной боевой выкладке, а это — особый рюкзак десантника за спиной, набитый гранатами, автоматными рожками, минами, плащ-палаткой и еще черт знает чем, автомат, штык-нож, общевойсковой защитный костюм, противогаз и малая саперная лопатка.

Вот так — 20 км при полной экипировке. Георгий первый. Занятия по стрельбе — Георгий первый. Физподготовка — Георгий первый. Прыжки с парашютной вышки — Георгий первый. Экспериментальный прыжок внутри боевой машины десантника — Георгий вызывается добровольцем.

Он безумно любил армию, гордился тем, что армия СССР — самая сильная в мире. Еще больше он гордился воздушно-десантными войсками, но особой его гордостью была служба в разведке.

В то время воздушно-десантными войсками командовал легендарный генерал армии Д. Ф. Маргелов.

Георгий был настолько десантник, что когда демобилизовался, то они вдвоем с другом поехали прямо в Москву, неизвестно каким уж образом разыскали адрес командующего ВДВ Маргелова и навестили его.

Да, да! Невероятно, но это правда!

На всю жизнь это стало особой памятной страницей для Георгия.

Армия осталась позади, но десантник не перестает быть десантником, закончив службу.

Мы знаем, что в Москве ежегодно 2 августа в день ВДВ со всего Подмосковья, со всей Москвы собираются парни в голубых беретах.

Инициатором ежегодного проведения дня ВДВ в Караганде стал Георгий. Каждый год в этот день он собирал парней, бывших десантников, и они совершали традиционные прыжки с парашютом над Карагандой. Даже в трудные 1994-1995 годы, когда в республике был топливный кризис, он умудрялся где-то чудом раздобыть авиационное топливо — заправить самолет, чтобы парни из ВДВ могли прыгнуть.

А он, конечно, самый первый.

Как-то в один из дней нас с Георгием пригласил к себе в часть командир гарнизона генерал-майор Аубакиров.

Как раз военные проводили гарнизонные стрельбы. Мы приехали с Георгием на стрельбище. Я взглянул на него и поразился — он буквально преобразился, глаза сверкают каким-то особым блеском, удалью.

Нам было разрешено пострелять. И вот тут я увидел, что значит разведчик-десантник, несмотря на то, что после его службы прошло более двадцати лет.

В два счета Георгий разобрался с гранатометом. Первый его выстрел поразил мишень. Затем он стрелял со снайперской винтовки СВД. И здесь все пули легли точно в мишень. За пулемет он ложился с особым удовольствием. Чувствовалось, что он очень уважительно относится к этой машине.

В тот день мы настрелялись вдоволь. Пробовали и пистолет, и автомат. Я вслед за Георгием ударил из пулемета. Но мне никогда не забыть блеск в его глазах при виде оружия и мастерство обращения с ним.

Георгий был очень дружен с генералом Аубакировым. Возможно, в нем он видел человека, похожего на своего бывшего командующего ВДВ — Маргелова.

Так или иначе, мне было интересно со стороны наблюдать за ними. Особенно в те хорошие дни, когда мы отмечали бурно и радостно наши встречи.

Повеселевший Георгий обнимал генерала возбужденно и с горечью говорил ему, не говорил — почти кричал:

— Товарищ генерал, армия в развале. Воздушно-десантные войска, эту нашу мощь, реорганизовали мудаки-генералы, создали какие-то ДШБ. А что они сотворили с разведкой? Да раньше одна наша разведрота могла взять дворец Амина, да что там Амина. Если бы приказали, Белый Дом. А что сейчас? Что они сделали с нашей армией, товарищ генерал?

Генерал Аубакиров терпеливо объяснял бывшему гвардии старшему сержанту:

— Ты ж пойми, Георгий, твоя боль — это и моя боль. Ведь я, как генерал, вообще не могу без слез смотреть на эту хреновину!

И тогда, умиленный ответом генерала, пьяный Георгий обнимал его от всей души и говорил:

— Призывайте меня в армию завтра. Мы их всех построим, товарищ генерал. Всех их построим!

Кого он подразумевал под всеми?

Я знал, кого он подразумевал. Он был десантник по крови, с ним запросто в горы, в разведку, за линию фронта. Он бы никогда не предал!

История девятая

По делам издания романа «Каждый войдет на Голгофу» я приехал в Санкт-Петербург.

В это время года Петербург особенно красив.

Приближались белые ночи, которых с таким нетерпением ждут петербуржцы. В другое время года холодные, свинцовые волны Невы теперь бились о гранитные берега теплые, покорные. Горел на солнце золотом, наполняя сердца верой в завтрашний день, шпиль Адмиралтейства. Вздрыбленный конь под «Медным всадником», давящий копытом змею, олицетворял победу над злом. Как всегда, перед входом в Эрмитаж была длинная вереница очереди, на Дворцовой площади раскатывали фаэтоны, запряженные ухоженными красавцами-конями.

Я с удовольствием гулял по Марсовому полю, наслаждался красотой творенья рук человеческих — храмом «Спаса на крови».

Вот в один из таких памятных дней мои питерские друзья повезли меня знакомиться с президентом Петербургской академии каратэ Вячеславом Цоем.

Мы приехали, предварительно созвонившись, к нему в офис на Литейную. Специально встретивший нас парень провел в приемную Цоя.

Всегда интересен эффект первого знакомства. Навстречу нам вышел мужчина корейской национальности, невысокого роста, крепкий, с достоинством одетый.

Мои друзья представили меня. Он протянул руку, и мы познакомились. Вячеслав пригласил нас присесть, и первый вопрос, который он задал мне, приятно удивил и поразил.

Он спросил:

— Раз Вы из Казахстана и имеете отношение к каратэ, Вы должны знать моего друга — Георгия Лутошкина.

Возникла небольшая пауза, затем я ответил ему:

— Георгий Лутошкин — мой друг, и мне приятно, что Вы о нем спросили.

Надо было видеть, как обрадовался Вячеслав Цой тому, что я произнес.

Он встал из-за стола, подошел ко мне и обнял меня.

— Раз Вы друг Георгия, значит Вы — мой друг! — опять усадив меня и устроившись напротив, он принялся с нескрываемым интересом расспрашивать меня о Георгии, о каратэ в Казахстане. Затем принялся рассказывать о том времени, когда они с Георгием вместе выступали на тогда еще первых чемпионатах в СССР, сразу после снятия с каратэ запрета.

Он повел нас показывать свой спортивный зал, учеников — как раз шла тренировка.

Надо отметить, что спортивный зал был высококультурным, на тот момент это был первый спортивный зал такого высокого класса, увиденный мною. И я, и Георгий — мы, пионеры каратэ, начинали его изучение в полусырых, холодных подвалах, на грубых самодельных снарядах, на одном фанатизме.

«Академия каратэ», которую создал Цой, это было современное, европейского уровня спортивное сооружение. Воспитанники, соблюдая ритуал, кланялись своему сэнсэю глубоко в пояс — в знак признания его мастерства и уважения.

Принимая меня как друга Георгия, Вячеслав рассказал мне о том, что к нему в гости на днях прилетает его друг, знаменитый киноактер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал. Он очень настойчиво попросил меня задержаться на пару дней, чтобы вместе провести время.

Надо сказать, что эта просьба меня не обременила, и я с удовольствием принял предложение Вячеслава — одного из лучших мастеров каратэ на пространстве бывшего СССР.

Именитый киноактер прилетел.

Мы вместе с Вячеславом встретили его в аэропорту и я провел вместе с ними два незабываемых дня.

Стивен Сигал оказался большим, спортивным, а самое главное — душевным человеком. Он делился с нами своими планами — открытием в Москве филиала ресторана «Планета Голливуд», где учредителями вместе с ним должны были выступить Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер.

Теперь, по прошествии лет, я знаю — такой ресторан в Москве открыт и работает. Это очень респектабельный ресторан, и мне приятно, что я присутствовал при обсуждении этого большого проекта.

Читателю, наверное, становится все труднее понимать, причем здесь «Планета Голливуд» и т. д.

Для дружбы, подлинной человеческой дружбы, для нее нет пределов, географических расстояний, политических границ, языковых барьеров.

Дорогому читателю я лишь приоткрыл завесу на примере этой маленькой истории над тем, как дружба объединяет людей. Вячеслав Цой — кореец, Георгий Лутошкин — русский, Стивен Сигал — американец, Ваш покорный слуга — казах.

Мы живем в одном большом общем доме, называемом «планета Земля». Понятия: добро, честь, совесть, великодушие, благородство, интеллигентность — это общечеловеческие понятия для всех землян.

Гадость, подлость, предательство, даже в Африке — низменные качества.

Заканчивая маленькие истории о большом Человеке, я хочу подвести черту.

Он был очень похож на Высоцкого. Так же, как Владимир, жил и горел свечой на ветру. Как бывший десантник, он очень переживал за кризис

в Вооруженных Силах, как любящий сын своего государства он не раз одерживал победы на международных турнирах, победы одерживали его ученики, и когда в честь их побед поднимался национальный флаг и звучал государственный гимн, преумножалась слава нашего Отечества.

Десятки раз ему предлагали подписать самые выгодные контракты в самых разных государствах, но он никогда не мог оставить Родину, КФБИ, своих учеников.

Он вырос из грязных, еле освещенных, сырых подвалов — до мирового уровня. Вывел целую плеяду учеников, создал КФБИ. Заложил традиции. Он объездил весь мир. У него было шестьдесят медалей.

Когда его не стало, я осиротел. И не только я. Осиротели спортивный мир каратэ Казахстана и многие его друзья.

Он никогда не жил для себя. Ему нужно было везти детей на Чемпионат Европы, ему нужно было создавать центр реабилитации наркоманов, ему было необходимо открыть Фонд реабилитации заключенных, ночлежку для бомжей, организовать бесплатные обеды для малоимущих. Он жил на разрыв, не замечая, какого цвета на нем костюм. Он мог бы быть очень обеспеченным человеком, таким нуворишем. Но он жил для людей, наращивая мастерство своих учеников. Он остался верен своему Майкудуку и не изменил ему даже в те годы, когда там в самые лютые морозы не было света, тепла, газа. Он мог ездить на «Мерседесах», но он все отдавал своим ученикам на жизнь, на поездки, на обустройство.

Когда его не стало, кто-то из друзей сказал такую фразу:

— Пока мы зарабатывали себе коттеджи, иномарки, депутатские мандаты, Георгий жил, чтобы развивать каратэ. Все, что он зарабатывал

мыслимым и немыслимым образом, он отдавал своим ученикам, развитию каратэ.

Он ушел от нас бессребреником, но оставил за собой плеяду своих учеников, КФБИ, и самое главное — добрую и светлую память в сердцах людей!

Он был разбитной русский парень шукшинского типа. К нему абсолютно подходят строки из наших любимых песен:

*Шаланды полные кефали
В Одессу Костя приводил,
И все биндюжники вставляли,
Когда в пивную он входил...*

Телефонная трубка не покидала его рук. Он обзванивал весь Союз. В гостиницах Алматы половина суток у Георгия уходила на международные переговоры:

*Девушка, слушайте,
Семьдесят вторая?
Не дожидаться и часы мои стоят.
К дьяволу все линии, я завтра улетаю!
Вот, уже ответили.
Ну, здравствуй, — это я!*

А потом, поутру, платил огромные суммы за переговоры. Иногда на него нападала тоска по матери, которую он никогда в своей жизни не видел. Даже на фотографии!

*«Утоплю тоску в реке, украду хоть ночь я —
Там в степи костры горят, и пламя меня манит.
Душу и рубаху — эх! — растерзаю в клочья,
Только пособите мне, цыгане!*

*Прогуляю я все до рубля,
Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля!»*

Георгий жил, как на передовой. Каждое утро, каждый день он словно бросался в бой. Вся великая поэзия и песенное творчество Владимира Высоцкого могли бы быть применимы к Георгию. Потому-то, что он любил Высоцкого, и жил

так, чтоб хотя бы по мере своих возможностей приблизиться к своему кумиру.

Я потерял. Потерял друга, который ушел в бой и...не вернулся.

*Почему все не так? Вроде все, как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только он не вернулся из боя.*

Евгений Евтушенко написал такие замечательные слова на смерть В. Высоцкого:

*...Только явится парень необъятной души,
Иль замрет, как Гагарин
Иль умрет как Шукиин!..*

Спортивный мир каратэ Казахстана потерял Мастера спорта международного класса, Заслуженного тренера Казахстана, Чемпиона СССР, Серебряного призера Чемпионата мира, Кубка мира, Чемпионата Европы, Азии, единственного обладателя на пространстве СНГ черного пояса — 7 дан, Президента КФБИ, выдающегося тренера восточных единоборств.

Скорбит спортивный мир каратэ!

Скорбим мы, его друзья!



ОГНЕННЫЙ ПЕС

Жолбарс лежал на самом солнцепеке, под раскаленными лучами солнца. Сегодня оно было особенно знойным, и ему было лень переползти в прохладу забора, дающего тень. Он лишь слегка вздрагивал всем телом, вздыбливая поредевшую шерсть, чтобы выгнать из нее пропитанный зноем воздух. Отчего-то сегодня с самого утра его потянуло на воспоминания, он вспомнил день, когда был крохотным щенком и на слабых ногах приблудился в этот дом. Тогда еще не было забора, строений около домика. Это позже их строили, пристраивали, увеличивая для него, к тому времени подростшего, охраняемую площадь. И он добросовестно служил, охраняя хозяйское добро. Хозяина его звали Кумар, а хозяйку Балу.

Только их двоих он и признавал. Ему нравилось, что хозяин крепкий, независимый, с крутым нравом. Смуглолицый, с суровым лицом Кумар был прямой противоположностью светлой, покладистой хозяйке. Ему он стал подчиняться сразу же, а ее обожал с первого знакомства, с того самого момента, когда она поставила перед ним полную миску молока с крошенным хлебом. От Балы шел домашний запах и какая-то особенная аура доброты.

В те годы к Кумару и Балу часто приходили в дом люди. Иногда резали барана. Тогда ему доставалась еще горячая чашка крови, а позже сладкие, мягкие кости, которые он разгрызал с особым удовольствием.

Он не знает, кто дал ему кличку Жолбарс, но люди, говорившие меж собой, что это означает «тигр», не слишком ошибались. Он и вправду рос точно тигренок. Забавный, шаловливый, но уже тогда в горле прорезался ставший позже грозным рык, а острые клыки со временем стали пугать

в оскале. Подобно своему хозяину, он вырос независимым. Любил бродить по деревне, не пугаясь больших собак, отчаянно вступая с ними в схватку. Шерсть летела клочьями, и брызгами крови были усеяны стебли трав там, где разгоралась драка. Но он никогда не отступал. Конечно, иногда ему доставалось. То с перекушенной лапой припрыгивал к дому, то с располосованным брюхом приползал. Не скулил и не жалился, молча ложился в тени, морщась от боли, и только ночью, когда хозяева уже глубоко спали, а рана ныла нестерпимо, позволял себе разочек негромко простонать.

Так формировался его характер. К двум годам он стал разделять людей на хороших и плохих, на добрых и злых, щедрых и жадных. Собачий ум позволял ему угадывать в малознакомых людях тайные пороки. И уж если он на кого-то лаял, это и было реакцией его мировоззрения. Когда в дом приходили люди хорошие, то он даже не поднимался с места, лишь внимательно всматривался, точно проверяя себя еще раз. Не ошибается ли?

На жадных смотрел с презрением, отворачивая влажный нос будто от смрада. А со злыми упорно сталкивался взглядом. Вот тогда в его обычно карих зрачках вспыхивали зеленые, изумрудные всполохи, а бельма затягивало желтой поволокой. На холке вздыбливалась и вставала колом шерсть, точно каждая волосинка была из проволоки. Упругий хвост колотился о землю, взбивая тягучую, точно сметана, пыль, а задние лапы поджимались, становясь упругими, точно пружины, когда он готовился взметнуться в прыжке. И он бы прыгнул, не будь на шее крепкого, из толстой кожи ошейника, с пристегнутой к нему стальной цепью.

Когда-то Кумар на конце этой цепи привязывал кусок стального рельса. А он, тогда еще легкомысленный, по ночам уходил слоняться

по деревне, таща за собой, точно борону, тяжелое железо. И засыпал во дворе у очередной подруги, а утром туда приезжал по следу Кумар. Он отстегивал ошейник, сажал его в кабину трактора «Беларусь», а рельс привязывал к трактору и волок обратно до дома. Никогда Кумар не поднимал на него руку, только пристально глядел в глаза, отчего ему становилось не по себе. Так они сосуществовали, уважая силу и характер друг друга. Ему казалось, что по его реакции Кумар и Балу ориентировались и относились к приходящим в дом людям. Но иногда они вели себя совершенно странно. Вместо того, чтобы настораживаться приходу человека злого, выходили навстречу, протягивали руки, приглашали в дом, а на него, рвущегося с цепи, прикрикивали. Он смирялся, не желая выставлять хозяев в дурном свете. Чтобы не поползла по деревне черной змеей сплетня, будто не уважает Жолбарс своих хозяев. Отворачивался в обиду, свернувшись в клубок, поражаясь близорукости их, неразборчивости.

— Раз сами не разумеют, то хоть бы меня слушали. Ради них стараюсь, а иначе зачем мне врагов лишних наживать? Собачья жизнь скоротечна, — подумал он и тихонечко вздохнул.

Солнце било прямо в глаза. Жолбарс прикрыл их и отвернул морду, вновь погружаясь в воспоминания. В то время он был ненасытен в любви. Сколько их, если всех сейчас припомнить, то окажется, что немало на его веку перебывало подружек. Всякие попадались. Будучи молодым и несдержанным, ко всем подряд приставал, невзирая на возраст. И только позже, повзрослев, стал вести себя приличней, присматриваться стал, избрал свою линию поведения. Прекратил навязываться силой, а все больше проявлял знаки внимания, угощая приглянувшуюся девочку тем, что перепало самому. Не набрасывался на сладкую

кость с кусками недоеденного мяса, не разгрызал урча, а относил в укромное местечко и припрятывал. Ночью под покровом темноты украдкой покидал хозяйский двор, держа ее в зубах, бежал через всю деревню, вызывая оголтелый лай псов. Его очередная избранница встречала настороженно, поблескивая глазами, придерживая идущий из груди остерегающий рык. Но дразнящий запах вкусной кости сбивал ее с толка, а когда высокий, стройный ухажер, приблизившись, клал перед ней кость, тогда она понимала, что это гостинец для нее. Она обнюхивала лакомство, хранившее запах его слюны, осторожно брала, и, отойдя в сторону, припадала на живот, принимаясь грызть. Вот тогда Жолбарс, сдерживая дыхание, крадучись, подходил к ней и принимался обнюхивать свою желанную. Он бесшумно ступал вокруг, слегка поскуливая, возвещая о том, что очень хочет ее и не в силах сдерживать себя. Он дотягивался языком до ее губ и мгновенно отскакивал, опасаясь острых зубов, вновь приближался, заглядывая в глаза, негромко взлаивая, призывая стать покорней. Бывало, что вся ночь уходила на ухаживания, а он переживал за оставленный без присмотра хозяйский двор. Испытывал угрызения совести, осознавая, что хозяева спят спокойно, рассчитывая на него. Он опять взлаивал, торопя ее, уже начиная злиться за излишнее кокетство, поглядывая тревожно на начинающий сереть горизонт. И только когда во все горло кричали первые петухи и мычали коровы, она, наконец, уступала его настойчивости. И тогда он торопливо приступал к тому, во имя чего бежал, пересекая деревню, и всю ночь кружил вокруг нее. А потом со всех ног неся, не разбирая дороги, обратно, чтобы поспеть ко двору до того времени, когда Баду выйдет с подойником и обнаружит его отсутствие.

Было такое несколько раз, что он не поспевал. Стыдно становилось от того, что она с укоризной

глядела на него. Не выдерживал он и отворачивал взгляд. И долго после этого не покидал свой двор, заглаживая провинность, борясь с подступающим изо дня в день, опять все возрастающим желанием.

Однажды в село пришли волки, то была суровая даже для этих мест зима. Не было дня, чтобы не бурило. От лютого мороза трещал и крякал обступивший деревню сосновый лес. Все в округе замело высокими сизыми сугробами. И у домов надуло выше дощатых заборов, так что теперь они казались меньше и ниже, лишь из труб вился, отправляясь в серое небо, голубоватый дымок. Деревенские жители ходили укутанные в овчинные шубы и тулупы, в огромных подшитых пимах и озлобленно ругали погоду. День заканчивался быстро, уступая место вначале густеющим фиолетовым сумеркам, а затем наступала ночь. Небо над деревней становилось темным и точно прижималось к черным сугробам, по которым скользили непонятные тени. А само оно светилось сплошь зияющими дырами звезд. В такие ночи собаки поджигали хвосты и заползали в будки.

Это вплотную к деревне подходили волки. Со стороны леса отчетливо и грозно раздавался протяжный вой. А за ним, откликаясь совершенно с другой стороны, взлетал к небу короткий, тонкий. А уж потом отовсюду, со всех сторон, на все лады выла стая, нагоняя жуть, заставляя цепенеть все живое. В сараях, мечась от страха, блеяли овцы и мычали коровы. Испуганно ржали лошади, а люди боялись выходить из домов. Голодная стая нагела с каждым днем. Пустые желудки подстегивали серых хищников. Жолбарс слышал, как в окраинных домах перепуганно кудахтали куры и пронзительно до неба визжала разрываемая волками собака. Он отчетливо понимал опасность и тихонько поскуливал от страха, волнами содрагающего тело, но продолжал лежать посреди

двора и тянуть носом морозный воздух. На крыльцо вышел полуодетый Кумар в наброшенном на голое тело полушубке:

— Может, зайдешь в сени, Жолбарс? — предложил хозяин, как бы испытывая его.

Но он лишь отвернул голову, тем самым давая понять, что не стоит произносить обидных слов. Жолбарс слышал, как, потоптавшись на месте, хозяин зашел домой, запирая дверь на щеколду.

Ночь тянулась занудно, но все же стала переваливать за вторую половину. Вдруг в воздухе совсем рядом пахнуло волчьим духом. Он приподнял осторожно голову и увидел, как по выбеленной стене дома скользнули три тени. Сомнений не было, это они. Пришли все же. Соскочив с места, он крутнулся вокруг оси, и увидел окружающие его желтые огоньки. А через секунду снег во дворе взвихрился от начавшейся страшной битвы. Он дрался одновременно со всеми троими, молнией кружась на месте, не давая им возможности дотянуться к своему горлу. Худосочная волчица впилась ему в бедро и не выпускала его, вонзая все глубже острые зубы. Но и он, извернувшись, полоснул клыками, как клинком, располозовав ей переднюю ногу. Матерый самец бросался из стороны в сторону, то припадая на передние лапы, то взлетая в воздух в надежде сверху ухватить его за загривок. Но его мощные челюсти успевали лязгнуть у самого горла лесного разбойника. Летела клочьями шерсть и кровь, морозный воздух звенел от пронзительных визгов и рыков.

Краем глаза он успел заметить, как в темноте двора стремительно возник квадрат света, и в него вбежал с огромным ножом отчаянный Кумар. Молодой крепкий волк, дважды успевший вонзить в него свои клыки и уже торжествовавший предстоящую победу, метнулся к хозяину. Матерый на доли секунд отвлекся, прослеживая краем глаза

прыжок собрата, этого хватило обладавшему мгновенной реакцией Жолбарсу. Справа налево дернул он головой, разрывая гортань матерому. Прямо в лицо ударила горячая, соленая волчья кровь. И в это же мгновение бешено завертелся на снегу молодой волк. Из его серого бока хлестала упругая струя, и он от боли крутился, грызя себе лапы от отчаяния. Это Кумар, изловчившись, ударил его ножом. Предвидя свое поражение, волчица бросилась наутек и выскочила в щель калитки. Он кинулся за ней. Ее располосованная нога не давала возможности бежать быстро, и он ее легко настиг. Когда она повернулась к нему лицом, в ее желтых зрачках мелькнуло презрение. У нее брезгливо дернулась нижняя губа, обнажая в оскале крепкие, острые зубы. Это было извечным волчьим презрением к ним — псам. Боль, злость, ненависть, переданная ему по собачьим генам, точно взорвали его изнутри, и он обрушился на худосочную хищницу огромным телом, переламявая мощными челюстями ее тонкую шею. Все было кончено, она лежала под ним, еще вздрагивая телом, и была прекрасна и после смерти. Волчица была стройной и длинноногой. Холодный свет луны скользнул по ее блестящей шерсти. На красивой длинной морде застыла гордая усмешка, и весь ее вид выражал недоумение: как могла она погибнуть от песьих клыков?

Шатаясь, отступил он от мертвой серой самочки на пару шагов, продолжая любоваться ею и вдруг, нарушая вековой генетический закон, пожалел ее, подумав о том, что, если бы они встретились при других обстоятельствах, он бы мог стать ее возлюбленным. От этой шальной мысли его подбросило так, будто ударило током, и, испугавшись ее, он еле-еле заковылял домой, орошая снег густой кровью. Только теперь он почувствовал, что весь изорван и искусан.

Сколько же всякого-разного было в его жизни. Довелось ему испытать радость встреч, горечь и разочарование, лютую злобу и ненависть к некоторым людям. Всю жизнь его мучает вопрос, на который он так и не нашел ответа, сколько бы не пытался перемывать его. Почему люди не могут жить в мире и согласии меж собой? Почему одни с завистью смотрят на других, затаивают ее в глубине себя, а снаружи смеются и улыбаются? Отчего одни стремятся возвыситься над другими, втоптать их в грязь, надругаться? Мы хоть псы, но честнее. Уж если не понравились с первого взгляда, то сразу кидаемся в драку. Мысли текли вялые и тягучие, словно они тоже плавались под беспощадно палящим солнцем. Воспоминания скакали, точно блохи, начинаясь и тут же обрываясь, переходя в какие-то другие, разматываясь, словно ленточный клубок. В памяти неожиданно возникла юная девчонка в коричневом школьном платье с белым воротничком, задранным бесосебно до пояса, оголяя смуглые ровные ноги с острыми коленками. Она возникла вначале смутно, потому что это было давно забытое, девочка как-то забрезжила в сознании, размытый, неясный образ, он хотел было отмахнуться, тряхнув головой, но от этого она лишь ясней, отчетливей проступила в сознании. И тогда мозг, смирившись, стал воспроизводить картину, складывая ее, словно мозаику, из отдельных кусков. Он вспомнил крупные волосатые руки, загорелые, противно пахнущие машинным маслом, бензином. Одна зажала рот девчонке, а другая расстегивала длинный ряд пуговиц, обнажив еще не сформировавшуюся грудь с крохотным коричневым соском. Волосатая ладонь накрыла ее, будто поймала птенчика, затем полезла вниз. Ноги девчонки напрасно колотились о слежалую солому, та же рука, напрягая мускулы, одним движением

сорвала одежонку, одетую на бедра, и отбросила лохмотья в сторону, чуть было не попав в него, наблюдающего за происходящим, укрывшись за воняющим мышами деревянным ящиком. Теперь девчушка лежала совершенно нагая, пытаясь своей тонкой рукой прикрыть темнеющий между бедрами треугольный завивающийся пушок. Лицо мужчины с волосатыми руками было горбоносым, с плотоядными, изогнутыми, точно тетива лука, толстыми губами. От него пахло сивухой, этот запах Жолбарс часто встречает в деревенских дворах. Он узнал в нем одного из тех, кто приехал на уборку кукурузы. С их приездом в селе стало шумно. Вечерами они напивались, и с ножами в руках гоняли деревенских парней, а потом танцевали с девушками и уводили их в темные, укромные места, а там лапали, лазая под юбки, и никто из сельчан не осмеливался перечить им, даже участковый на своем дряхлом, чихающем мотоцикле старался объезжать клуб стороной.

Из глаз девчушки, бившейся, точно рыбка, выброшенная на песок, под тяжелым крупным телом пьяного кавказца, непрерывно ручьем катились слезы, и взгляд был полон мольбы и отчаяния. Хотя кто ей мог помочь в этом давно заброшенном ветхом строении, куда он сам забрел случайно, услышав шорох и сдавленные девичьи стоны. Он долго наблюдал за ними и вдруг понял, что она нуждается в нем, что, если он промедлит еще мгновение, то свершится зло. Он оскалил клыки, ощеривая губу, и рыкнул предупреждающе, но волосатый мужчина, занятый своим делом, не обратил внимания. Тогда он зарычал громко, предупреждая в последний раз. Кавказец неохотно обернулся, и на мгновение они встретились взглядами. Его веки были опухшие, а в глазах с красными прожилками мелькнули вначале удивление, а затем угроза, испуга в них не было.

Мужчина скосил взгляд на лежавшие рядом старые, ржавые вилы, и Жолбарс с опозданием понял намерение пьяного. Мгновенно схватив вилы, кавказец метнул их в него, уже прыгнувшего, и угодил в заднюю ногу. Страшная боль пронзила его, но не остановила. Он полоснул клыками прямо по волосатой руке, которой мужчина пытался закрыться, располосовывая ее. Отчаянный крик вырвался из утробы насильника, а он продолжал рвать его зубами, не обращая внимания на боль, и только столкнувшись со взглядом девчушки, лучившимся благодарностью, случайно забыл о враге. А тот, на четвереньках, визжа и лопоча на незнакомом гортанном языке, бросился к выходу, едва не сорвав дохлую, всю в щелях, дверь, висевшую на ржавых петлях. Девчушка утирала руками слезы, размазывая их по щекам, совершенно забыв о том, что сидит перед ним нагая, разбросав ноги. Жолбарс смущенно отвернул морду и принялся лизать кровоточащие раны, боковым зрением видя, как она поспешно оправляет платье, прикрывая себя. Он с трудом поднялся, опираться на раненую ногу было очень больно, еще раз посмотрев на нее, заковылял прочь.

Вот и сейчас, как только вспомнил об этой драке, у него заныла та раненая нога, и он осторожно подтянул ее, подмяв под себя.

Тогда искусанный кавказец пришел к ним во двор в сопровождении еще двоих с намерением убить его, но им навстречу вышел хозяин с ружьем в руках. У Кумара твердый характер, он взвел курки и поднял ружье на уровень груди пришедших, не вымолвив ни слова при этом. Дрогнули, не выдержали нервы у приезжих, посверкали они глазами, пятась назад, а он стоял наготове, подрагивая весь от нетерпения и желания подрасть и стоять рядом с Кумаром до конца. Да, ему повезло с хозяевами, они люди добрые,

степенные. И дети у них хорошие. Вот только все выросли, поужезжали кто куда. Теперь лишь изредка показываются в родительском доме. В последний раз приезжала их дочь с маленькой девочкой. Та совсем еще плохо держалась на ногах. Она напомнила Жолбарсу его самого, приковылявшего сюда много лет назад.

Растроганный навеянными картинами, он милостиво позволял ей потрогать себя за холку и при этом ни разу не разгневался, не зарычал. Наоборот, прикрыл от удовольствия глаза. Миниатюрные руки девочки были забавные и прохладные. Вышедший на крыльцо Кумар, довольный, любовался этой идиллией. Уж он-то знал его своенравный характер. Ни один человек во всей деревне не отважился бы на то, чтобы трепать его за холку, приблизиться к нему.

Сколько? Сколько лет прошло с тех пор? Сколько весен, прекрасных, звонких своими ручьями и запахами, прогримыхало первыми ливнями? А зим? По-настоящему лютых, снежных, завывающих по-звериному круговертными буранами? Но Жолбарс больше всего любил осень. Это самая прекрасная пора в природе, размышлял он. В воздухе летают в ту пору невидимые паутинки, из лесу пахнет переспелыми ягодами, а по ночам в тишине слышно, как отрываются от веток и, кружась с тихим шорохом, падают на сырую от росы землю листья.

Он очень любил, задрав голову в высокое, пугающее своей бездонностью небо, наблюдать за тем, как, переключаясь, тянутся неведомо куда журавлиные клинья. А гусиные стаи, что по утрам оглашали своими криками округу? Глупые деревенские собаки начинали лаять, пугаясь звуков, доносившихся с неба. А он лишь усмехался им, огорченный тем, что пустобрехи нарушили предутреннюю гармонию мира.

«Собачий век короток», — снова подумал он с тоской. — «Вот и я стал совсем старым. Нет прежней ясности во взоре, все предметы вокруг стали расплывчаты, шерсть, прежде лоснившаяся, теперь вся свалаялась клубками. Да и в ногах ужасная слабость. Аппетит давно пропал, ничего не лезет в глотку, в голове постоянный посторонний шум. Вот и Кумар тоже постарел за последние годы. Жизнь никого не щадит», — подумал Жолбарс огорченно.

Что происходит у людей? Уж несколько лет, как они потеряли покой и уверенность. Не отрываясь, слушают радио, а затем мрачнеют пуще прежнего. Давно уж в деревне не слышно песен. Единственный клуб закрыт, не доносится оттуда дробный стук каблучков молоденьких сельских девчат.

Жолбарс уже тогда с тревогой прислушивался к разговорам людей, приходивших в дом Кумара. Говорили о том, что старые, добрые времена ушли безвозвратно, что на смену им пришла рыночная экономика.

Кумар все мрачнел. Теперь он реже и реже заводил свой трактор. Жаловался Балу, что нет запчастей и горючего. В деревне стали отключать свет, отчего она становилась точно вымершей. Даже псы скулили и жались от страха. В доме Кумара давно перестали резать баранов и встречать гостей. Ничего не мог понять старый Жолбарс. Лишь неунывающая хозяйка дома — Балу радовала его. Добрая улыбка никогда не сходила с ее красивого лица. Местный лесничий гусаком vyhаживал вокруг нее в отсутствие Кумара. Заявлялся в своей темно-зеленой форме, в фуражке с блестящей кокардой. Люди говорили между собой, что Тасым, так звали лесничего, стал самым важным в округе. Если позволит кому-нибудь валить лес, значит, появится у той семьи работа и заработок. Но не любил Жолбарс лупоглазого Тасыма. И знал,

что лупоглазый ненавидит его, Жолбарса. То была старая история, даже вспоминать ее Жолбарсу неприятно и стыдно. И хозяйка Балу стыдится его как свидетеля. Ну да чего уж, коль вспомнил. Жолбарс опять прикрыл веки.

Несколько лет назад это было. До этого он интуитивно чувствовал дурное, исходящее от лесничего, но как-то раз он без дела слонялся по лесу и услышал знакомый до боли голос. Жолбарс остановился, как вкопанный. Другой голос был мужской. Но нет. Не Кумара. Жолбарс напряг свою память. Да, он явно принадлежал лесничему. Он бы наметом выскочил на опушку. Но его сбивал с толку веселый смех Балу. И тогда он осторожно, крадучись на своих мягких подушечках лап, подкрался и выглянул сквозь ветви.

Лесничий Тасым ухаживал за его хозяйкой, а она, точно потерявшая разум, принимала ухаживания лупоглазого. Тот, совсем осмелев, касался своей тонкой, с синими прожилками рукой тела Балу. Жолбарс как сейчас помнит, что от лупоглазого разило чесноком, и он тянул свои слюнявые губы навстречу жарким, сочным губам Балу. Вот тогда не выдержал и вышел из своего укрытия Жолбарс. Встал напротив хозяйки так, чтобы увидала она его и глядел на нее с укоризной. Не взаял, ни тем более не зарычал. Только глядел, дескать, «что с тобой хозяйка? Опомнись же! Как потом посмотришь в глаза моему хозяину, Кумару?». Вскрикнула от ужаса Балу, всплеснула руками, оттолкнула в грудь лесничего и понеслась в деревню, точно быстроногая лань.

А лупоглазый Тасым выругался в сердцах, обзвав его, мощного тогда, бесстрашного, шелудивым, и швырнул в него тяжелым ножом. Не шелохнулся Жолбарс, хотя страх пробежал по телу. Нож пролетел мимо и упал в кусты. Даже клыки не стал показывать ничтожеству,

лишь, широко разинув пасть, зевнул с презрением и пошел прочь. Не соперник!

Долгое время потом Балу старалась не встречаться с ним взглядом. Да и сам он, завидев ее, стремился сделать вид, что дремлет. Знал, что трудно ей, переживает хозяйка.

Однако лупоглазый, видно, не оставил своих грязных намерений. А уж теперь, когда стало от него зависеть благополучие людей! Раздобрел он за последние годы. Морда стала круглой, так что голова не умещалась в фуражку. Лупоглазые его глаза теперь вовсе превратились в глазенки, узкие, щепкие щели. Зато брюхо стало будто у беременной суки. Так и вываливалось за ремень.

Жолбарс последние дни сильно болел. Нос был сухой и горячий. Во рту было вязко, по ночам из груди рвался старческий вой. Но не позволяя он себе этого, усилием воли вгонял внутрь рвущийся наружу вопль.

Устав от мыслей, разомлев от солнца, он ненадолго задремал. И снилось ему, будто он снова молоденьким щенком, радостно вздаивая, неугомонно носится по праздничному лесу. Сквозь раскидистые кроны сосен льются, прошивая их насквозь, на землю золотые лучи солнца. Лес полон неизведанных звуков, пения птиц, и его предстоящая жизнь также полна щемящего таинства.

Сквозь сон Жолбарс услышал голоса мужчин. Говорил его хозяин, Кумар. В голосе его звучали нотки почтения. Жолбарс прислушался.

— Жизнь стала совсем трудной. С тех пор как совхоз рассыпался, вот уже сколько времени я без работы. Дети все в городе, там, говорят, жить еще сложнее. Они только и ждут помощи отсюда, от нас с Балу. А мы чем им поможем, который год сами без зарплаты сидим. Совсем прохудилось хозяйство наше, — вздыхал Кумар. — В прошлом

году Марта — хорошая корова была, сломала ногу, пришлось ее прирезать. Повез мясо в город, продал, а тут деньги обесценились.

— Да, я слышал, что кобылка твоя при жеребах сдохла.

— И жеребенка не удалось спасти! — занял Кумар. Кумар вообще сдал за последние годы. От бывшего хозяина совсем ничего не осталось.

«Надломил его пришедшая новая жизнь», — подумал участливо Жолбарс, продолжая слушать.

— Ты бы помог мне, Тасым. Как-никак мы друг другу не чужие.

Хлопнула входная дверь.

Жолбарс чуть приоткрыл веки и с трудом из-за болезни глаз разглядел Балу. Вначале даже не разглядел, а почуял ее запах, хотя запахи теперь стали для него, дряхлого, труднодоступными.

— Ты уж подсоби нам, небось сочтемся, не последний день живем, — пропела Балу, и Жолбарс увидел, нет, нет, он не ошибся, ясно увидел, как взлетели, расширяясь, узкие глазенки лесничего на сохранившую былую красоту Балу. Дрогнули и загнулись плотоядно вечно мокрые губы его.

— Хорошо, мы тут, мужчины, что-нибудь решим, — забормотал лупоглазый, — только надо будет помнить, что долг платежом красен, а то бывает, щас, как трудно стало, все бегут к Тасыму, а Тасым все помнит, кто и как прежде к нему относился.

От старого, благодарного Жолбарса не ускользнуло, как лесничий вдруг ни с того ни с чего покосился в его сторону. Тасым взял под руку хозяина и они пошли за дом. Лупоглазый стал что-то нашептывать Кумару. Все понимал мудрый пес Жолбарс, только говорить не мог. Но вот вдруг страшная догадка осенила его мозг, когда стал он анализировать гнусный намек Тасыма.

— Горельник-то разрешили валить. Хе-хе-хе, об этом пока никто не знает. Тебе, так уж быть, говорю, помни, потом не забывай, что от меня зависит твой хлеб теперь на столе.

— Не забуду вовек, не забуду, — торопливо зашептал хозяин. Только я никак в толк не возьму, какой горельник ты имеешь в виду.

— Хе-хе-хе, — положи пухлую руку на отвисший живот, хитро хихикнул Тасым.

— В том-то и дело. Горельник-то можно устроить.

— Как это? — никак не мог взять в толк хозяин.

— Бор поджечь надо. Я дам тебе солярку, ты заправишь трактор. Когда он разгорится, ты первый бросишься тушить его. Лето нынче жаркое, то, что надо. Лес сухой, — мечтательно произнес лупоглазый, — выгорит много, на пару лет горельника хватит.

— Но как это?

— Т-с-с, слушай меня, болван, не перебивай, когда с умным человеком разговариваешь, тебе, как геройски бросившемуся тушить пожар, я и отведу потом самую большую деляну, под повал. Лесопилку поставим, у Тасыма все есть, денег тебе дам, через тебя буду у других лес скупать. Хе-хе-хе, тебя в деревне уважают, верят тебе! Уметь жить надо! — слюнявый лесничий хлопнул хозяина по загорелой, в глубоких складках морщин шее.

— Так отчего же бор загорится вдруг? Сам по себе, что ли?

— Ну и болван же ты, хоть и умным считают тебя. А пес твой на что? — расслышал Жолбарс.

«Что он имел в виду, сказав про меня?», — старый Жолбарс обеспокоенно заскреб лапами землю. Ему мучительно захотелось пить. Он приподнял голову и посмотрел в сторону, туда, где стояла его чашка. Она была пуста. «Что

он имел в виду? Неужели? Нет, хозяин ему этого не позволит никогда», — обманулся он, успокаивая себя. Прохлада ночи принесла ему облегчение, хотя сон никак не приходил. Болезненно ныли внутренности, боль спазмами сжимала все внутри, и лишь к утру постепенно стало отпускать. Измотанный Жолбарс задремал. Проснулся он от фыркания давно не заводимого трактора хозяина. Было раннее утро, деревня спала, пропели только первые петухи. Кумар приглушил заведенный трактор и зашел в дом. Сквозь открытую дверь Жолбарс расслышал нервный голос хозяина.

— Это же грех. Он столько лет верно служил нам.

— А то, что дети в городе разуты, раздеты, это не грех? Пришла такая жизнь, что приходится чем-то жертвовать. Его, конечно, жалко, но выбора нет. Тасым правильно все решил, не противься ему, сделай так, как он приказывает.

— Ах, Балу, Балу, нехорошо все это.

— Знаю, что нехорошо, — взвилась хозяйка, — тебе будет работа, деньги появятся, людям будет работа. У Тасыма власть, лесопилка, лес на доски станешь распускать, торговля пойдет.

— Но ведь бор-то реликтовый, уникальный!

— Бор уникальный, пес заслуженный, а жрать что. Вот до чего дожилась я, в дырявом платье хожу, — зарыдала Балу горько, и Жолбарсу вдруг стало жаль ее. Он еще так и не понял до конца, о чем идет речь, только подсознание подсказывало ему что-то страшное.

Звякнула тихо щеколда калитки, это во двор семенящими шагами вошел лупоглазый Тасым. Он остановился посреди, высморкался, хитро глянул на Жолбарса и прошмыгнул в дом. Время тянулось мучительно, тревога все сильнее забиралась в сердце Жолбарса. Как вдруг из дома вышли хозяин с лесничим. Хозяин, непривычно горбясь



и волоча ноги, подошел к нему, отстегнул цепь и продел в кольцо ошейника старую веревку.

— Пойдем, Жолбарс, пойдем, — промолвил он надтреснутым голосом.

Жолбарс тяжело выдохнул и с трудом заставил себя подняться. Увидав в руке лупоглазого ведро с бензином, пес все понял в одно мгновение. Еще хватило бы сил порвать эту дряхлую веревку. «Хозяин, наверно, специально ее продел мне в ошейник, — подумал он, — все же Кумар порядочный человек», — еще хватило бы сил в один прыжок собрать все силы и ударить сточенными, сломанными остатками клыков ненавистного толстяка. А потом перемахнуть через забор и уйти в лес. Там, там, дотащиться в глухие буреломы и залечь в ожидании смерти. Все благородные псы так поступают. «Но как же тогда дети Кумара и Балу в городе. Они останутся разутые и раздетые? А Балу будет продолжать ходить в дырявом платье. Слюнявый Тасым все равно исполнит свою страшную затею, даже если он, Жолбарс, убежит. Но тогда его хозяин останется без работы. Тасым не простит ему», — Жолбарс отвернул голову, чтобы не смотреть на Балу, и двинулся вслед за хозяином.

Шли долго, Жолбарс хорошо знал лес, он понял, что они ведут его в глубь бора. Он прислушался к лесу и поразился, кругом стояла тишина, не слышно было птиц, да и сосны застыли в напряженном ожидании, свысока наблюдая за странной процессией. Впереди шел невысокий сторбившийся мужчина, за ним плелся, еле передвигая ноги, старый пес на ветхой веревке, замыкая их двоих, бодро семенил, тряся огромным, как бурдюк, брюхом мужчина в форме лесничего с ведром бензина в руках.

— Хорош! Отсюда начнем, — снимая фуражку и вытирая пот с жирного лба, проговорил

Тасым, — давай своего тигра сюда. — Он окатил Жолбарса с ног до головы бензином. От одного запаха Жолбарсу стало нечем дышать.

— Хорош лес, хорош, быстро разойдется огонь, так что первая доля будет твоя. На спички, сам поджигай, — скомандовал Тасым, протягивая коробок хозяину. Все понимал старый пес Жолбарс, хотелось еще немного пожить, подышать этим воздухом, послушать на рассвете крики петухов, мычание коров, шум леса, до конца понять смысла этой жизни. Боковым зрением он следил за хозяином. Коробок трясся у него в руках и одна за другой ломались спички.

— Рохля, размазня, поджигай, тебе говорят.

— Прости меня, Жолбарс! — заплакал вдруг хозяин. Спичинка, наконец, вспыхнула, зажглась в его огрубелых руках, Жолбарс посмотрел хозяину в глаза, прощая его, он увидел, как крохотный огонек полетел прямо на него.

Он взорвался, точно порох, пламя мгновенно охватило его всего, сумасшедшая, никогда прежде не испытанная адская боль пронзила его всего. Жолбарс взвыл так, что от его воя ужаснулось все живое в том лесу. Огненный пес, он мчался по лесу с огромной скоростью, колесо пламени, поджигая за собой вековые сосны, которые теперь нужны людям как горельник. И застонал лес, изгибаясь и корежась в бессилии, отдавая себя в жертву двуногим.

Не в могилах разбойного сада,
Будет рота во веки веков
Рядом с ратниками Александра
И в ряду Куликовых полков
Владимир Берязев

Псковский десант

*посвящаю памяти жертв
чеченской войны*

— Почему стоим до сих пор, японский бог? — орал, брызжа слюной, недавно контуженный майор Головко, перекрывая могучим басом рев двигателей.

— Так почему стоим, кэп?

Капитан Суворов, высокий, гибкий, дожидался, когда Головко закроет рот. Тогда он ответит. А причина, по которой псковская десантная рота до сих пор не выехала, была банальна до одури. Как все банально на войне. Даже смерть.

— Иванова ждем, майор! — выкрикнул капитан, как только Головко на секунду смолк, чтобы набрать побольше воздуха в грудь.

Майор открыл было рот, но в это время БТР за его спиной так газанул, что черное облако сгоревшей солянки накрыло их. Головко сомкнул губы, но выкатил устрашающе глаза. Вокруг суетливо бегали бойцы, обвешанные с ног до головы оружием.

— Какого еще Иванова? Охренели, что ли? Ты приказ слышал? Приказ слышал?

— Да слышал я все. Фули ты орешь? У меня уже уши болят от тебя. Сказал же, Иванова ждем, щас уже выезжаем.

Майор Головко серьезный, сердитый вояка. Но вот после контузии какой-то суетливый стал.

— То ли понт гонит, то ли крыша потекла? — подумал капитан Суворов, шагая прочь от шумного майора.

— Ну где этот Иванов, бя? Постоянно подставляет! Ну, в этот раз я ему устрою! Вернемся с боевых и все, хана, бя! — бормотал Суворов, не замечая, как спину ему свирепым взглядом дырявит майор Головко.

— Ну, яп-понский бог! Ну ох-хренел совсем кэп! Погоди, вернешься с боевых, ответишь мне по полной программе, — сипел он.

Вытянувшиеся в колонну БТРы очумело газовали. Сидевшие на броне десантники колотили по ней автоматами и угрожающе орала механикам:

— Че газуешь, козел?

— Пришел Иванов? — громко спросил Суворов у бойцов роты, сидящих на броне.

— Вон он!

— Я здесь, ротный! — подал голос Иванов.

Капитан вскинул глаза и споткнулся об улыбку. На открытом лице бойца расцветала широкая улыбка.

Она была обезоруживающей, его белозубая улыбка. Взгляд голубых глаз заманчиво подкупал, в них плескалась извечная русская удаля.

Он весь, этот Иванов Ваня, был с головы до ног русский. Отросшие русые волосы, несмотря на то, что были в пыли, курчавились. Саженные плечи богатырски развернуты. Но каска была в руке. И вот она точно говорила — «мол, повинную голову, капитан, даже меч не сечет!».

Некоторое время командир и подчиненный молча смотрели друг на друга. На мгновение вдруг стало тихо вокруг. Это БТРы перестали реветь. Рота сверху наблюдала за ними.

Нужно было разорвать наступившую тишь.

— Ты где был, Ваня? — ласково спросил капитан. В ласке слышалась буря. — Ты разве не слышал

приказ, мать твою? Или мы на свадьбу собрались? И сидим здесь и ждем тебя, бойца Иванова, точно жениха? И еще... — капитан хотел было рассвирепеть, но опять споткнулся об улыбку.

— Ну че ты лыбишься, как...?

— Поехали, ротный, — примирительным голосом вымолвил Иванов, поправляя сбившийся броник на груди, — я потом все объясню.

— По машинам! — заорал Суворов, хотя рота уже давно сидела, облепив БТРы, точно огромные зеленые мухи-мутанты.

Они запрыгнули на броню, и ротный махнул над головой флажком.

— Давай!

БТРы взревели, точно раненые бронтозавры, и с пробуксовкой, вздымая завесой пыль, рванули с места.

Все повторяется в жизни. Вот и сотни лет назад где-то в этих местах ржали и крутились под седоками злые кони. И приказ был таким же, как сегодня — перекрыть горное ущелье. Через него, узкое, как горло кумгана, стремились просочиться немирные чеченцы. Вот и тогда всего лишь двести отчаянных рубак и наездников, подняв на дыбы, бросили коней в сумасшедший галоп, вздымая за собой клубы пыли.

Скакали долго, всю ночь. В крошечной тьме, рискуя свалиться в пропасть и сгинуть бесславно.

Кони дико храпели, шарахаясь в сторону, когда из-под копыт срывались и летели в бездну камни. Лишь под утро, когда засерело вокруг и крупные звезды как-то пожухли, а из-за далеких вершин стали бить в небо алые лучи готового вырваться солнца, капитан дал команду «Привал».

Это было здесь. Капитан рассредоточил притомившихся гребенских казаков и подозвал к себе сотников.

— Явились, ваша скородия! — доложили по форме дисциплинированные казачки.

Капитан был хмур. Весь измочаленный ночной бешеной скачкой, он терпеливо сносил денщика, чистившего на нем запыленный мундир. В длинную подозрную трубу он пытался разглядеть белеющее в дымке тумана, точно затопленное в молоке, ущелье.

— Покормите людей, лошадей. Костров не разводите, осмотрите оружие и приступайте рубить засеки, — не глядя на сотников,скомандовал капитан.

— Так точно, ваша скородия! — вытянулись сотники по струнке и бесшумно исчезли.

Вскорости все пришло в движение. Казаки завтракали сами, осматривали и кормили коней, задымили свои длинные трубки. Послышался стук топоров. Валили вековые лиственницы.

— Бойся, эй, бойся! — доносилось до слуха.

Капитана с утра трясло, его снова была нещадно давняя, изматывающая лихорадка.

— Водки! — потребовал он.

— Сей минут! — денщик метнулся к развьюченным переметным сумкам.

— Вот вам пожалте, ваше высокоблагородье! — заботливый денщик поднес капитану штоф водки. Капитан взял тонконогую рюмку и махом выпил. Занюхал ломтиком копченой свининки и покосился на оторванный серебряный эполет.

— Как думаешь, Ванька, побьют нас сегодня чеченцы? — спросил он денщика, молодого крестьянина, призванного в солдаты из тамбовской губернии.

Денщик прищурился, точно взвешивая ответ, и, не увидев подвоха, ответил честно.

— Как пить дать побьют басурмане, ваше высокоблагородье!

— Почему так думаешь, Иван?

— Я-то? Слышал, как вашему высокоблагородью комендант говорил, что их — тьмы.

— В том-то и дело, что — тьмы. А устоять должны. Нельзя их пустить здесь. Так что будем держаться до прихода солдатиков с пушками. К завтраму поспеют, если скоро будут идти.

— Эх, ваше благородье! Иногда жизнь-то сужается до величины всего одного-то дня!

— Ишь, как заговорил. Точно философ. Ты что, изучал сию науку, когда быкам хвосты крутил?

— Ниче не изучал, ваше благородье! — испугался Ванька, — я ить необразованный, только что крестик поставить.

— А что, Ванька, страшно умирать? Жить охота? — весело спросил капитан, пропустив второй штоф.

— Да я ить не жил ишо, ваше высокоблагородье барин. Когда жить-то было? С малства разве что чуток, так-то невсознанку шло. А как подрос, так в работу впрягся, от зари до зари, точно ломовик. Ротов-то много было в семье, одних сестрицев четверо.

— А ты что, Ванька, говоришь обо всем, как в прошедшем времени? Будто умирать собрался. Капитану хотелось поговорить, чтобы отвлечься от мелко бившей его лихорадки.

— Налей-ка еще одну, окаянная не проходит что-то, — пожаловался он на хворь.

Ванька вновь потянулся к штофу. Капитан терпеливо наблюдал, как денщик наливал, аккуратно, стараясь не пролить.

— А что, Иван, выпей-ка и ты одну чарочку. Может, вспомнишь когда добрым словом?

Ванька смутился, затем сорвал с головы бескозырку, обнажая русоволосую голову

с длинным, набок завившимся чубом и плеснул себе в алюминиевый котелок.

Он расправил свою широкую грудь, отчего линиялая гимнастерка треснула по швам, окинул синим взором окрестные горы и опрокинул в себя содержимое котелка. Проглотив последний глоток, он с удовольствием облизал розовые губы и занюхал рукавом.

— Покорно благодарю барин, ваше благородье! — помолчав немного, добавил, — а говорю я, будто уже все прошло, оттого, барин, что впереди лямка солдатская, двадцать годов. Если не убьют. А я только и насобрался-то с девками ношничать. Силу почуюл. А тут уже солдатчина приспела.

Капитан лежал на конской попоне, укрывшись теплой буркой. Лучи еще не вставшего солнца били по опушке, на которой лежал он. От их тепла и от выпитой водки стало ему тепло и не верилось, что должен быть бой. Все кругом дышало покоем. Высоченные лиственницы улета́ли макушками в голубеющее небо. Хотелось лежать так бесконечно и смотреть ввысь. Только стук топоров, незлобная ругань казачков да всхрапы лошадей настойчиво возвращали в явь. С надрывным скрипом валились деревья, вскрикивали невидимые, испуганные птицы, взлетая.

И все же не верилось ему, что бой грянет.

— Красота-то какая, Ванька! — зачарованно проговорил капитан.

— Не. Не люблю я горы. Злые они. И небо здесь низкое, невысокое. У нас-то на тамбовщине лес добрый, полный грибов да ягод. А степи! Так и золотятся от жнивья-то. Вот где красота впрямь! Бабы идут по полю, машут серпами, ухватисто заворачивают снопы. Да так ловко. Любил я, барин, в ночное с конями уходить, бывало, костерок наладишь, да слушаешь всю ночь старых воинов.

— Девка-то была поди, Ванька? — равнодушно спросил капитан, думая о чем-то своем.

— Девка-то? Была, ваше благородье барин. А как же! Я ить парень неслабый, — похвастался Иван, — любили меня они. — Одна была, Варенькой звали. Добрая, грудастая. А как запоет, бывало, так слезы запросто вышибает.

— И у меня в Петербурге осталась любушка. Я ведь что на Кавказ-то угодил? Заигрался в карты, дуэлянтом стал. Вот и сослали. Эх, вернуться бы поскорей назад, да живым и здоровым, другую жизнь бы повел. Взял бы ее в жены, детей нарожал! Эх! — капитан сладко потянулся до хруста.

Туман, затопивший ущелье, уже рассеялся.

Солнце, наконец-то вырвавшееся из-за зубчатых вершин, вставало алое, точно воспаленное. Оно залило ненадолго окрестные склоны красным цветом.

Ванька, вытянув шею, с удивлением наблюдал за происходящим в природе явлением. Не выдержал и изумился, оглянувшись на разговорчивого сегодня барина.

— А? Что ж это, барин, ваше благородье? Почему солнышко-то такое?

Капитан и сам, отбросив бурку, прищурившись, глядел на красные склоны гор. Он покрутил в зубах травинку, сплюнул вбок и сказал зло:

— Это значит, много сегодня прольется крови русской, Ванька.

А на другом конце вытянутого коридором ущелья эту же картину наблюдала небольшая группка всадников. Передний из них на белом коне, в белой папахе, укрытый белой буркой, всматривался в склоны, приложив ладонь ко лбу. Горячий конь под ним не стоял на месте, плясал.

— Ы-ы-ых! — гортанно выкрикнул он. — Шайтаны-гяуры, выпустим вашу поганую кровь.

Белый конь поднялся на дыбы, отчего бурка на всаднике разметалась, точно святой Мансур дал крылья ему. Мюриды, сгрудившиеся сзади, стали стрелять в воздух из винтовок и громко восклицать.

Всадник в белом взмахнул рукой, указывая направление, и послал скакуна вперед, обжигая его плетью. Из сбегającego к склону в ущелье леса стали выезжать конные чеченцы. Их было много. Уж голова колонны змеилась по дну ущелья, а из леса выезжали все новые и новые воины — джигиты.

— Когда я был маленький, мой отец говорил мне: «Изучай язык русских, их повадки, потому что они — наши враги. И что придет время, и мы объявим им священный джихад». Я хорошо изучил язык поганных гяуров, их повадки. Много раз я ходил за Терек, угонял их табуны, воровал их женщин. Это подлинное счастье для джигита — насладиться женщиной врага! Ы-ы-ых! — заскрежетал зубами предводитель.

— Ащцада билла! — завопили мюриды.

Колонна все глубже втягивалась в ущелье. Их действительно была тьма. Не меньше тысячи воинов.

Болезненно красное солнце продолжало отбрасывать лучи, отчего залитые алым цветом кони и люди казались зловещими.

А в далекой России, в ее столице, во дворце, начинался бал. По булыжной мостовой Сенатской площади к Зимнему дворцу подъезжали роскошные кареты. Крикливые кучеры в расшитых позументом ливреях осаживали разгоряченных коней прямо напротив ярко освещенного входа. Подскакивали метрдотели и торопливо откидывали раскладные ступеньки карет, давая возможность вновь прибывшим сойти прямо на длинную красную дорожку, ведущую к вызолоченной двери. Из карет пташками выпархивали юные княгини и баронессы. Глаза их сверкали от предвкушения



бала, загадочных знакомств. На лицах дам лежала печать таинственности, ожидания интимных встреч. Титулованные старухи, ступив на край дорожки, подносили морщинистой рукой к глазам монокль, рассматривая метрдотелей точно в лупу, напуская на себя больше важности. Им не терпелось наслышаться последних сплетен. Обожаемым предметом их разговора становились все те, с кем они любезнейше расшаркивались и целовались. «Кто кому изменил, да с кем, ах каков был ужасный скандал!».

И тут же притворно жалели: «Ах, бедная баронесса, она еще так молода! А он прекрасен, этот юный корнет! Как же несладко ей принадлежать старому барону. Ой! Да что же я говорю! Господи! Это все из-за любви к красавице баронессе! А вон и она! Она чудо! Видите, какие темные круги у нее под глазами? Это, вероятно, от слез. Говорят, барон ее ударил! Это ужасно!».

Все вокруг — потолки, стены были украшены позолотой. До блеска натертый паркет отражал сотни сжатых в корсеты столичных красавиц и их галантных, обвешанных серебряными аксельбантами и эполетами, кавалеров. Играл негромко оркестр, пары грациозно скользили в танце. Там и тут рассыпался игривый негромкий смех, хлопали пробки от шампанского. Нафуфыренные лакеи со сверкающими подносами бесшумно сновали между гостями.

Огромные хрустальные лампы отбрасывали блики на золото эполет, на сверкающие бриллиантами ордена, украшающие тощие грудные клетки стареющей знати.

— Говорят, в чеченской кампании наступил перелом. Армия графа Воронцова вплотную окружила их главные силы.

— Ах, оставьте, князь! Скучно! Давайте же переберосимся в покер. Новый карточный

столик доставлен из Африки, он сработан из лучшей слоновьей кости. Идемте же!

Чеченцы атаковали уже в третий раз. Дважды пытались конными перемахнуть через засеки, срубленные казаками. В третий раз пошли спешенными. Не пошли. Они бежали плотной тучей, с криками «Алла», размахивая обнаженными шашками, дико визжа и стреляя на ходу. Казаки в ответ дружно палили залпом, укрывшись за толстыми стволами поваленных лиственниц. Уж перед самой засекой было навалено множество трупов людей и коней.

— Алла!

— Пли!

Громыхали ружья. Дым от сторевшего пороха слезил глаза. В небо неслись стоны, мольба о помощи. Все вокруг смешалось.

— Целься, Ванька, лучше, береги заряды, палишь в белый свет, курва! — наигранно весело кричал капитан денщику.

— А вот и нет, барин! Ужо троих пеших срезал, да конных несколько! — скалился Иван.

Капитан, положив винтовку на ствол дерева, долго водил дулом. Он метил в главного.

Предводитель чеченцев бешено крутился среди плотной массы джигитов, посылая их на штурм.

Конный мюрид на пике держал над его головой развевавшееся зеленое знамя.

Капитан выстрелил. Пуля пробила белую папаху. Предводитель погрозил в сторону засеки кулаком, что-то выкрикнул.

Слева и справа от капитана падали замертво казаки. Тяжелые чеченские пули, несущиеся роем, глухо цокали, попадая в тела деревьев.

На фланге завязалась рукопашная. Там всюду мелькали сабли, обливаясь кровью, падали вниз, срываясь с засеки, люди.

— Подналяжьте, братцы! — кричал капитан. Чеченцы отступили.

Капитан поднял голову и посмотрел на небо. На противоположной стороне ущелья, выкрашивая алыми рваными полосами фиолетовое небо, разгорался закат.

— Где же наши солдатики с пушечками! Эх! — с горечью выдохнул капитан. — Не успеют! Все поляжем. Говорила мне мама, не играй в карты, сынок! — Сотники! Доложить количество живых и убитых! — приказал он. А Ваньке сказал:

— Ну что, Ванька, загрустил? Либо Вареньку жалко?

— Не удержимся мы, барин. Святой истинный крест, не удержимся! — Иван мелко, суетливо крестился. — Кони наши целы. Можя, отступим, ваше благородье?

— Куда отступим, дура? Приказ у нас держать их, не пустить сквозь ущелье. А то уйдут! Ну, чего там? Сколько нас еще живых?

— Так точно, ваша высокоблагородья! — начал было сотник, да капитан отмахнулся.

— Около осьми десятков. Столь же — убитых. Остальные ранены, — доложил сотник оловянным голосом.

— Водки, Ванька! — тихо вымолвил капитан.

— Что, барин?

— Дай водки! — и, обращаясь к сотнику, глухо произнес, — пусть все оденутся в чистые рубахи. Выдайте им водки, сотник, — и тихо, почти с просьбой, проговорил: «Давайте приготовимся к смерти».

С гор дохнуло прохладой. Близкие вершины засерели, точно подернулись дымкой. Откуда-то ветер принес легкий запах кизячного дыма. Из-

за спины, где за холмами спрятался мирный аул, донеслось блеянье овечьего стада.

На мгновенье наступила странная тишина вокруг. Смолкли все звуки.

Вдруг со стороны, где засели чеченцы, послышалось стройное пение.

«Ля илляха иль алла! Ля илляха иль алла! Ля илляха иль алла!»

Оно нарастало, подхваченное сотнями голосов, катилось теперь гулом по ущелью, перекрывая дальний шум реки. Становилось страшно. До дрожи в суставах, до мороза по коже. Стало ясно, что чеченцы готовятся идти на решительный штурм.

Капитан пошел вдоль засеки, подволакивая раненую ногу, опираясь на обнаженную шашку. Прошел, хмурясь, мимо положенных в ряд убитых.

— Нельзя нам отступать, казачки! Все смерть примем сейчас. Да благословит вас господь, — говорил он монотонно, как-то буднично.

Казаки молчали, молились, стараясь не смотреть в лицо капитану. Готовились. Заряжали винтовки, пристегивали штыки, пробовали шашки.

— Алла! Ал-ла-а-а! — завопили чеченцы, бросившись в атаку. Они буквально заволокли ущелье, облепили склоны.

Из-за засеки не стреляли. Берегли заряды. Вот уже стали хорошо различимы лица бегущих.

— Пли! — скомандовал капитан.

Дружный залп скосил первые ряды наступавших. Чеченцы валились, точно снопы, получив в грудь горячие казачьи пули.

— Пли!

Но их и в самом деле было — тьмы. На место павших тут же вбегали все новые и новые горцы, паля из ружей. Навалились с флангов. Там уже закипела рукопашная.

Казаки дрались храбро. Кололи штыками, рубились пашками. Гора трупов чеченцев почти сравнялась с высокой засекой. Джигиты вбегали на засеку по трупам убитых.

Капитан рубился зло и нахраписто. В предзакатных лучах багрового солнца пашка его мелькала красной молнией, поражая врагов.

— Держись, Ванька! — успевал крикнуть он, подбадривая денщика.

— Держусь, барин, язви их в гробину мать! — ругался богатырь, денщик Иван. Орудя винтовкой, точно оглоблей, он крушил бритые черепа горцев, стараясь прикрывать спину своему барину.

С десяток их навалилось на капитана. Он едва успевал отражать удары. Но вот сразу несколько клинков вонзились в него. Он еще стоял, весь залитый кровью.

Ванька рванулся к нему с диким, нечеловеческим криком.

— Барин!

Сверху, с засеки, за ним наблюдал горец в белой бурке и папахе с обнаженным клинком в руке.

Над его головой мюрид склонил обвисшее полотнище зеленого знамени.

— Барин! — Иван пробивал себе дорогу к пораженному капитану. Богатырского роста, с рассеченной спиной, он крутил взятой за дуло винтовкой над головой, выписывая смертельный круг.

Он двигался шаг за шагом в плотном кольце врагов, к своему командиру. Чеченцы отскакивали, яростно щеря в оскале зубы от бесстрашного гяура.

Вот, ловко изогнувшись в пояснице, горец таки достал клинком богатыря.

Иван охнул и опустил винтовку. И тут же десятки пашек стали полосовать его. Рука, державшая винтовку, отпала в сторону, а он все шел и изумленным горцам показалось, что

он бессмертен, этот русский солдат. Тот же чеченец ударил прямо в сердце.

Иван покачнулся, колени его надломились, он протянул вперед единственную руку, точно пытаясь ухватить ею ловкого врага, и вдруг рухнул на спину.

Ловкий чеченец тут же запрыгнул ему на грудь, выхватил из ножен огромный кинжал и замахнулся им. Он хотел отрубить голову страшному гяуру.

— Не смей! — закричал горец в белой бурке. Он спустился с засеки и, не обращая внимания на обступивших мертвого русского джигитов, подошел к поверженному врагу.

Предводитель нагнулся к телу солдата, приподнял его и заглянул в открытые синие глаза. На лице русского рдела широкая улыбка.

Он склонился и поцеловал гяура в холодеющие уста.

О чем думал предводитель, держа в руках изрубленное тело?

Дорога все круче уходила в горы.

БТРы надсадно ревели, упорно карабкаясь вверх. Головная машина осторожно въезжала в небольшой чеченский аул.

По обе стороны дороги, наперекор всякой симметрии, там и здесь вразброс стояли выложенные из камня дома. На первый взгляд могло показаться, что он брошен людьми. Так уж уныло он смотрелся на фоне гор. Но Суворов знал, что это обманчивая картина и люди тут есть. И, словно угадывая его мысли, шевельнулась занавеска за окном и в образовавшуюся щель просунулось чье-то лицо. Громко заорал во дворе ишак и забил крыльями по воздуху тощий, общипанный петух.

Тут же в глубине каменных построек закудахтали куры, замычала корова. Из стоящего

поодаль от дороги квадратного дома стремительно побежал мальчишка и скрылся из виду в высоких стеблях подсолнуха.

— Стой! — Суворов поднял руку, отдавая приказ остановиться. — Глушить моторы! Рота, строиться!

БТРы напоминали неуклюжих носорогов. Вот они съехались один за другим и, заглушив двигатели, застыли на месте. В наступившей тишине слышно было, как грохочут о броню автоматы и спрыгивают на землю десантники.

Рота быстро построилась. Рассчитались по порядку.

— Шестьдесят второй. Расчет окончен.

Рядовой Иванов, весь серый от пыли, на полшага вышел вперед.

— Проверить оружие, подогнать броники, двадцать минут привал, затем выступаем. БТРы возвращаются назад, — кратко распорядился ротный.

Они лежали на выгоревшей, пожухлой траве рядышком. Командир и солдат.

Суворов раскинулся на спине, широко разбросав ноги. Иванов свернулся калачиком на боку, положив под голову каску.

— Так где же ты был, Ваня? — злость у Суворова уже прошла, было любопытно узнать, где шляется Иванов.

— Командир, я влюбился, — произнес тот.

— Чего? — Суворов приподнялся, чтобы взглянуть на сумасшедшего. Он мог ожидать чего угодно, что солдат начнет лгать, изворачиваться, что-то выдумывать. И это было бы нормальным явлением. Но теперь все становилось еще интересней.

— В кого, если не секрет?

— Она чеченка, командир. Приехала из Москвы к родителям, а тут опять боевые действия. Вот и застряла.

— Ты, Иванов, своей смертью не умрешь. Да тебя же ее братья на куски изрежут.

— Никто не знает. Мы с ней тайно встречаемся.

— А где ты ее нашел, твою мать, Ваня!

Иванов промолчал. Видно было, как по его лицу пробежала судорогой боль от воспоминаний. На скулах заиграли желваки.

— Ты чего, Иванов? — поторопил его капитан.

— Дайте слово, что наш разговор здесь умрет, — попросил солдат.

— Ой-е-ей! Какие мы! Ну, хорошо, даю слово офицера, — согласился вконец заинтригованный командир.

— Когда зачистку делали месяц назад, мы шли правой стороной улицы, а краповые береты из МВД левой. Вдруг слышу в одном из домов крик. Да такой пронзительный. Я не выдержал и туда. А там двое краповых на нее навалились. Я хотел приструнить их, один мне крикнул: «Давай, третьим будешь!». Пришлось помять их малость.

— А че ты полез-то? Тебе что больше других надо, Иванов? Ну стал бы третьим, если невтерпеж было, а так и ни себе, ни людям.

— Вы что, командир! А не противно? Она ведь чья-то дочь, сестра.

— Послушай, Иванов! — зло выкрикнул капитан, — ты мне тут голову не морочь. Здесь, между прочим, идет война. И эта твоя чеченка вполне, может быть, по ночам фугасы ставит, на которых утром подорвется российский солдат.

Суворов замолчал. Иванов тоже молчал. Наверное, он теперь жалел, что рассказал капитану.

— Ну и что дальше у тебя с этой чеченкой? — как ни в чем не бывало разорвал молчание ротный.

— Не знаю я никакой чеченки! — отрезал Иванов, — понос у меня! Может, дизентерия! Поэтому опоздал. Заражу всю роту, будете знать.

— Это бывает перед боем, — равнодушно произнес капитан, поднимаясь.

В часы пик улицы Москвы всегда забиты машинами. На кремлевской площади стайки туристов, разинув рот, рассматривали сверкающие золотом купола.

Крупный, тучный президент заканчивал теннисную партию. На скамейке для зрителей вот уже два часа подряд его терпеливо дожидался известный в стране олигарх. Умные, цепкие глаза олигарха оживленно бегали под низко посаженными густыми бровями. Лошяные руки нервно перебирали какие-то бумаги.

— Не надо нервничать. Президент в курсе ваших дел и в принципе согласен подписать документы, — успокаивал олигарха плотного телосложения мужчина с хитроватым крестьянским лицом. Это был глава всемогущего ведомства, отвечающего за безопасность президента.

— Я не, я не нервничаю. Просто, знаете, до тех пор, пока они не подписаны, мне как-то не по себе. Знаете ли?

— Понимаю вас. Это очень крупная сделка. Слияние двух крупных нефтяных компаний, это ведь не каждый день происходит.

— Вот именно. Вот именно. Мы все от этого выиграем. Вы же в курсе всей нашей схемы. Как только этот проект будет САМИМ подписан, на счета, которые вы мне предоставили, в течение нескольких часов я переведу условленные суммы.

— Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Все. Сам идет. Закончили игру.

Президент шел в отличном расположении духа, после хорошо сыгранной партии. В правой руке он все еще держал ракетку. Олигарх и глава службы безопасности поторопились навстречу.

— Видали, как я его. Последнюю мою подачу видали? — шумно радовался президент.

— Здорово. Ей-богу, ей-богу, здорово подали! — зааплодировал олигарх.

— Ну, давай документы. Убедили вы меня с этим слиянием. Как, говоришь, будет называться новая компания?

— ЮКСИ. ЮКСИ, — зачастил олигарх, забегая то слева от крупного президента, идущего мощно, точно ледокол во льдах, то справа.

— Почему ЮКСИ? Что это значит? — насторожился глава государства.

— Абвеатура. Это всего лишь абвеатура, — вновь зачастил олигарх. Слова отлетали от его губ с частотой пуль, вылетающих из скорострельного пулемета.

— ЮКОС и «Сибнефть». При слиянии образуется слово ЮКСИ. ЮКСИ. Да. Вот, — замолчал олигарх.

Президент уселся на стул, любезно подвинутый ему главой безопасности. Поискал взглядом ручку. Олигарх мгновенно вложил во всемогущую руку «паркер». На девственно белом листе бумаги разлетелась размашистая подпись президента.

С длинного носа олигарха сорвалась вниз крупная капля пота.

Всю ночь карабкалась рота десантников по горам. Шли строго по компасу. Лишь к утру, когда все окончательно выбились из сил, вокруг

засерело. Вначале стали прорисовываться близкие деревья, кусты, затем высветились дальние холмы.

Суворов сверился с картой. Это была именно та высота. Она доминировала над распадом. Если идти с противоположной стороны к границе, никак не миновать этой высотки. Приказ был получен занять ее и держать до прихода главных сил.

Командованию объединенной группировкой войск поступили разведанные, что здесь попытается перейти за кордон, в соседнюю республику, крупное подразделение известного полевого командира.

Суворов шатался от усталости. Армейская роба на нем была насквозь мокрой и оттого потемнела.

— Рота, слушай приказ. Выкопать окопы в полный профиль. Занять круговую оборону. Сюда направляется крупный отряд духов. Мы должны удержать высоту до подхода наших, нельзя здесь дать пройти духам. Выполняйте приказ! — проговорил капитан и уселся на цинк с патронами.

Застучали саперные лопатки. Рота стала вгрызаться в землю. Не слышалось шуток, смеха. Десантники были вымотаны ночным переходом, но собрались после того, как заслушали приказ. Всем было ясно — бой неминуем.

С гор подул прохладный ветер, прижимая к земле окрестные кусты. Низкое небо еще сильнее прижалось к вершинам гор. Так на кабаньей охоте трусливые псы жмутся к ногам хозяев. Сворачивая в клубочки свежеврытую землю, упали вначале крупные капли дождя. А потом заморосило мелко, противно.

Распадок вниз стало затягивать белесым, как папиросный дым в непротягиваемой комнате, туманом.

К обеду отоспавшиеся под плащпалатками десантники зашуршали по одному, выглядывая наружу.

— Всем подкрепиться! — приказал капитан Суворов. Он в сопровождении Иванова обходил окопы.

— Пулеметные гнезда вынесите еще на полметра вперед. Радиус обстрела станет больше, — посоветовал он.

Десантники, вырубившие окрестные кусты на склоне, по-хозяйски вновь и вновь осматривали высоту.

— Укрепляются гяуры! — с ненавистью произнес высокий сильный чеченец с зеленой повязкой на лбу. Стоя в укрытии высоких кустарниковых зарослей, он внимательно рассматривал в мощный полевой бинокль окопавшуюся роту.

— Десантура! Этих не так просто будет выкурить! — подал голос пожилой горец, стоявший рядом с командиром.

— Десантура не десантура, если мы не пройдем сегодня, завтра, как туман рассеется, вся гяурская авиация будет здесь. Аллах помогает нам, даруя этот день, Магомед!

— Я к слову говорю, ащшада билла, Леча! По трупам пройдем, как по мостовой, — стал оправдываться пожилой, обращаясь к высокому, который был командиром. Тот, не отрываясь, продолжал смотреть в бинокль, как вдруг охнул и присел.

— Что такое, Леча? — встревожился пожилой.

— Олай биллай, эт он!

— Кто он? — не понял пожилой

— Олай, Магомед, эт он, тот русский пацан, который Макку от позора спас.

Теперь пожилой Магомед стал водить биноклем.

— Который? — спросил он.

— Видишь двоих, первый, видимо, командир, а за ним следом идет здоровый парень. Мне его

Макка издаലെка показала однажды, когда я в город ходил стариков проводить.

— Может, ты ошибаешься, Леча?

— Нет, эт он. Сто процентов он. Слушай меня, Магомед, и передай всем. Эт парень мой. Его не убивать.

— Ты хочешь этого гяура живым оставить? — спросил пожилой.

Глаза командира чеченцев гневно сверкнули. Крупная ладонь его легла на рукоятку ножа.

— При других обстоятельствах, Магомед, эт парень был бы мой кунак. Я сказал, его не убивать! — грозно повторил Леча, сведя к переносице орлиные брови.

— Может, снимем командира русских из винтовки? — предложил Магомед, поднимая ствол с оптическим прицелом.

— Нет. Мы подойдем как можно ближе, — Леча отстранил рукой длинный ствол.

Дождь с неба сеял нудно, непрестанно. Распадок был полностью затянут белесой пеленой. Окрестные вершины тонули точно в молоке. Деревья вокруг стояли промокшие. Не шумели. Присмирели. Мокрые листья покорно обвисли, свернулись. Не слышалось щебета птиц. В природе было сыро и неуютно.

— Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка! — пел Михаил Шуфутинский. А в это время в крутом московском клубе взревела публика, подогретая дорогим виски, кокаином, возбужденная толстыми пачками баксов в карманах, присутствием валютных проституток.

— О - о - о - о! — ревела она. Ей не терпелось теперь оставить к черту шумную, опасную Москву и полететь на острова Майорки, под сень вечнозеленых пальм, к бирюзовому морю.

— О - о - о - о! Браво! Браво!

Легендарный бородатый шансонье возбуждал новых русских.

А бой на высоте то затухал, то разгорался с новой силой. Густые пулеметные струи с высоты скашивали кусты на склонах. Ответный огонь был ураганным.

— Охватите их с флангов, — приказал высокий чеченец.

— Сколько же их здесь, а, командир? — спросил Иван у ротного.

— Многовато, Ваня, очень много. По десятку на каждого из нас, а то и по двадцать. Если наши не подойдут, все поляжем тут.

— За что, командир, мы поляжем? За Россию? Так Россия где? Это их земля! ...

— А приказ, Ваня? Ты солдат или философ? Так что ни шагу назад, — и помолчав, добавил, — передай по цепочке, перевязать раненых, подготовиться к атаке. Сейчас полезут.

Суворов замолчал. Раздумывал. Иван наблюдал за ним. Он был странный, их ротный. То злой, как собака. Беспощадный. То вдруг милосердный.

Иван вспомнил, как однажды застал командира помогающим старой чеченке латать разбитую бомбой крышу.

— Че, командир, с женой так и не помирились? — спросил вдруг, не удержавшись, Иван и тут же прикусил язык.

— С женой? Да ну ее нафуй! Затрахалась, стерва, пока я воюю здесь. Так ты говоришь, это их земля?

Суворов насупился, набивая автоматный рожок патронами. Затем поднял красивую голову и посмотрел на мокрого насквозь, перепачканного в грязи, продрогшего радиста.

— Ну что там, где они? Вояки хреновы? — зло, очень зло спросил ротный радиста.

— Помехи, товарищ капитан. Все трещит в наушниках. Только прорежается чей-то голос и опять пропадает.

— Херня, продолжай вызывать. Докладывай, отбили три атаки. Духов около тысячи. Рота тает, бля! Как снег. Че они не торопятся, еханный бабай?!

*«А путь земной еще пылит,
а тот, кто любит, слез не прячет
ведь не напрасно душа болит! ...*

Навороченные разожратые нувориши лениво рукоплескали знаменитому певцу ладонями со сверкающими ослепительно бриллиантами на пухлых пальцах. Женщины в платьях от Версаче, Валентино, сопровождавшие новоиспеченных богачей, визжали от восторга. Праздник жизни гремел во всю ивановскую.

А Суворов обходил окопы. Десантники перевязывали раны. Белые бинты были грязны, окровавлены. Солдаты делились водой и патронами. На ротного не смотрели. Каждый хорошо знал

свое дело. Некоторые писали последние письма матерям. Или девочкам.

Суворов сорвал за бруствером голубенький, чудом уцелевший цветок, и поднес к носу. Понюхал. Покачал головой и произнес огорченно — «порохом пахнет».

— Товарищ капитан, командир! — раздался ликующий голос за изгибом окопа. Это, спотыкаясь, бежал радист, молоденький, веснушчатый паренек.

— Только что прошло сообщение. Помощь к нам идет. Они движутся на марше.

Десантники, услышавшие новость, оживились, их глаза блеснули радостно, с надеждой. Вдруг в низком, сером небе, ненадолго прекратившем сеять дождем, послышался вертолетный рокот. Он нарастал. С запада, рассыпая магниевый свет, шли «вертушки».

Радист бросился к рации. Десантники наблюдали за «вертушками», улыбались, обнимали друг друга, стыдливо пряча влажные глаза.

А те уже пошли боком, посылая «птурсы» туда, где залегли духи. Высота заходила ходуном. Затряслись и стали осыпаться стенки окопов. Все смешалось: взрывы, пламя, гул «вертушек», хлопанье «стингеров».

Стало стремительно темнеть. «Вертушки» улетели. Наступила тревожная тишина.

— Так как ее зовут, Иван? — вдруг ни с того, ни с сего спросил ротный Иванова.

Иванов долгим взглядом окинул командира.

— Макка! — ответил он.

— Интересное имя. И чем же она тебя так заинтериговала?

— Она красивая, командир, как тот цветок, который вы сорвали!

— Тебе что своих, русских мало?

— Это здесь ни при чем. Если бы не эта война, вы бы не задали этот вопрос. Нации ни при чем, —

опять упрямо повторил Иван. — Нефть кто-то не поделил, а при чем здесь Макка? Или я?

— Ваня, Ваня, Ваня! Иванов Иван! А ведь ты прав, солдат. Они там нефть делят, — Суворов неопределенно мотнул головой, — а мы тут смерть принимаем. И прав ты, еханный бабай, Россия там! Но есть приказ. И присяга! И честь, еханный бабай! Наша с тобой, Ваня, честь!

Он опять надолго замолчал, потом вдруг вымолвил, будто самому себе.

— Если выживу, черт с ней, прошу ее еще раз.

Духи ползли в ночи, как бред, как угар, как всепожирающие термиты. Уже все склоны к высоте были усеяны трупами. Но они лезли, изрыгая огонь стенами. Над горой стоял сплошной грохот от разрывов гранат и не стихали автоматные сполохи. Полуоглохший, контуженный капитан Суворов умолял по рации:

— Господин генерал! Товарищ Трошев! Капитан Суворов говорит, воздушно-десантные войска. Перенесите огонь на нашу высоту! Добивайте их! — Раздался взрыв. Рацию отбросило в сторону. Ротный упал навзничь. Иванов бросился к нему, приподнял и обрадовался, что тот приоткрыл глаза. По лицу капитана струилась кровь. Вся грудь была иссечена осколками и быстро темнела, набухая при ярком свете ракет.

— Ты прав, Вань-ка-а, — прошептал он. Его рот был в крови, она пузырилась у него на губах, — нации не при-че-м! — Ротный откинул голову, даже вся в крови, она была очень красивой.

— Русские! — донесся голос духа откуда-то снизу, с сильным акцентом. — Мы отдадим миллион баксами и не тронем тех, кто ишо живой. Пропустите нас. А не то всех убием!

— Русские! Никто не прыдет на помош. Возмита бабки и пропустите нас, — орали снизу.

Ванька поднял голову и пустыми глазами посмотрел в темное небо. Он все еще держал капитана на своих коленях. На мгновение перед ним открылось чудо, так, видно, он жаждал помощи. Он увидел, как небо просветлело, затрепетало, и в небе появились вооруженные ангелы, с «калашниками» в руках, с крыльями за спиной, они спускались к земле, поливая духов огнем. Их было много, очень много.

— О, Господи! — закричал Ванька.

Рассветало. На земле, в этой ее части, расцвело. Разрывая предутреннюю серость вспышками автоматов, духи — их были тьмы, стеной пошли на решающий штурм.

Иван поднялся из окопа. Высокий, богатырского роста, каску он где-то потерял. Русский чуб его колыхался на ветру, веющем снизу из ущелья.

— Духи пошли на штурм! Прощайте! Прощай, Маруся! — плача, кричал радист по радиии.

Иван стрелял длинными очередями. Боковым зрением он видел, что на флангах бесовской каруселью завертелась рукопашная.

Прямо на него бежало с десятков духов. Рвануло левое плечо и рука повисла плетью. Тупая боль хлестнула по бедру. Иван припал на колено, продолжая стрелять из автомата одной правой рукой. «Куда же делись ангелы с неба?» — мучительно успевал раздумывать Ванька.

Слева и справа один за другим падали десантники. Высота была сплошь усеяна тусклыми латунными гильзами.

— Не трожьте белобрысого русского. Он мой! — кричал высокий, сильный чеченец с бородой и зеленой повязкой на лбу.

«Это он про меня, что ли? Счас! Как бы не так!» — Иван с трудом разогнал надвигавшуюся пелену с глаз и нажал на курок. Его автомат изрыгнул смерть.

Вдруг остро и больно, строчкой разорвало живот. Ванька опрокинулся на спину, ему вдруг все стало безразлично. Показалось, что лежать вот так хорошо. Он хотел было пошевелить рукой, но его пронзила такая жуткая боль, будто кто-то невидимый вытягивал из него внутренности.

Он поспешно прикрыл глаза и ясно услышал песню. Это пел его любимый певец Михаил Шуфутинский:

*«Потемнеет серебро, померкнет золото,
поизносятся и вещи, и слова,
из альбомов улыбнется нежно молодость
и окажется, душа еще жива!..»*

Шуфутинский пел, длинноногие дивы из его подтанцовки пытались разжечь толстосумов, но пьяные, сонные новые русские с подругами в «Версаче» разъезжались в шестисотых «Мерседесах». Их ожидали роскошные джакузи в фешенебельных коттеджах и эрзацлюбовь на изящных кроватях.

А Ванька, истекая кровью, умирал на неотданной высоте!

Напрягая последние силы, Ванька разлепил глаза и увидел над собой наклонившегося к нему бородатого чеченца с зеленой повязкой на лбу и широко улыбнулся.

— Мак-к-ка! — шевельнулись его губы. Ванька умер. Его светлая душа вырвалась из истерзанного тела и полетела вдогонку за душами боевых товарищей. Догнала их и соединилась с ними, встав в один строй. А впереди среди белых-белых, красивых, курчавых облаков, выстроившись

ровными квадратами, их встречали души ратников Александра Невского. Сам Александр в сверкающем шлеме из светящегося нимба. Сбоку выстроились полки погибших на Куликовом поле воинов. Впереди них Евпатий.

Смеясь, шли навстречу их десантной роте души панфиловцев. Все приветствовали новый отряд.

Чеченец с зеленой повязкой на лбу наклонился над мертвым белокурым русским и, прищурившись, смотрел на застывшую улыбку славянина.

— Ты что, Леча? — изумился пожилой.

Леча приподнял бездыханное Ванькино тело, поцеловал его в холодные уста и опустил на землю. И еще долго сидел рядом с убитым.

О чем он думал? О сестре? О джихаде? О нефти?

Никто не знает!...



АДРАСПАН

День был знойный. Раскаленный воздух жег старые больные легкие старухи. На такой жаре становилось совсем не вмоготу передвигать давно ставшие немощными ноги. А сколько же им можно носить ее бренное тело? Давным-давно ей исполнилось девяносто. После того уж прошло никак не меньше десятка зим и весен.

Когда-то ее ноги были сильными и быстрыми, точно у лани. Это когда длинноносой девчонкой с острыми, как бритва, глазами, она неустанно носилась по аулу, уступая дорогу старшим, заботясь о младших. К восемнадцати годам ее бедра налились той самой упругой силой, когда юным кочевницам природой предопределялось великое время рожать. И она, сама не замечая того, в последнее время выгнулась в стане, подняв горделиво красивую головку с тяжелыми толстыми косами. Движения ее стали мягкими, поступись бесшумной и взгляд черных глаз долгий, изучающий. При виде аульных джигитов она теперь не старалась свернуть, как прежде, за угол, а наоборот, приостанавливалась, не отводя лица, не укрывая его за легкой косынкой. Из-под густых, точно опахала, ресниц, следили за действиями мужчины большие глаза. Так молоденькая олениха, услышав веление природы, подчиняется высочайшей воле и не прыгает больше прочь в сторону от могучего самца. Наоборот, изогнув грациозно шейку, покорно ступает навстречу, не отрывая взгляда.

Вот и в ее жизни появился джигит. Высокий, статный, волнующий. По ночам Акбопе выгибалась в постели и тянулась белыми стебельками рук куда-то в темноту. Точно там мог быть он. Хотелось прижаться к нему тонким телом, слиться, срастись в единое целое. Обмотать его смуглую крепкую

шею своими толстыми косами, прижаться тутими изнывающими грудями к его широкой, будто плита, груди. Отдать во власть загрубелых, мозолистых рук свои крохотные ладошки.

До сих пор Акбопе, несмотря на то, что ее старческую память занесло илом прожитой жизни, помнит, как однажды, когда она в степи собирала кизяк, позади послышался приглушенный цокот копыт. Она тогда даже не обернулась назад. Лишь разогнулась в пояснице и отбросила за плечи косы. Всем вострепёнувшимся сердцем почувствовала Акбопе, что это он. И когда ее за пояс обвила чья-то сильная рука, и нежную кожу лица щекотнули жесткие усы, она не сопротивлялась. Рука джигита взметнула ее высоко вверх и усадила в седло перед собой. А потом они лежали среди сочного адраспана на конской попоне, и слушали, как где-то неподалеку крикали осенние, жирные утки на сонном, степном озере. Сбылась ее девичья мечта, она теперь всецело принадлежала человеку, чьи глаза смотрели на нее сверху-вниз так нежно и кротко. Акбопе теперь стала женщиной.

А время тогда было горячим, как сегодняшний воздух. Сколько там длилось их счастье? Прозвенело кобызье струной над степью и угасло, затерявшись в густых зарослях тамариска. Остались только бередящие душу звуки. До такой степени саднящие, царапающие сердце, которому давно уже впору огрубеть, окаменеть. Ан нет, рвут они, эти звуки давнего счастья крохотное сердце старухи, выбивая мутные слезы из выбеленных старостью глаз. Стоит тренькнуть чарующей мелодией, как согнутое скрюченное тельце ее начинало выпрямляться, разгибаясь, и голова поднималась над костлявыми ключицами. И смотрела Акбопе по сторонам, вдыхая в себя раскаленный воздух, и вдруг спешила куда-то так, будто боялась теперь опоздать. Соседи, делая вид, что ничего не замечают, удивлялись живучей старухе.

— Куда это она поспешила?

Акбопе собирала древнюю степную траву — адраспан. Она делала это так любовно, неспешно. Пучок укладывая к пучку, ровнехонько подрезая стебли. Уже вся ее кособокенькая избушка была наполнена адраспаном. Отовсюду свисали их пучки. Одни уж давно иссохшие, осыпавшие свой цвет. Другие свежие, в пыльце, будто в инее, не растерявшие дурманящей силы. И в сених, и на улице перед входом. И на падающем к земле заборе — повсюду висели пучки адраспана.

Всю гражданскую провоевал, проносился на горячем скакуне ее любимый батыр. И еще потом гонялся за какими-то байскими бандами. Возвращался к ней ненадолго, но любил ее так, точно одна она была для него женщиной в этом огромном мире. И с каким трепетом она ухаживала за ним. Принимала сырой от пота повод узды его боевого коня, задавая ему корм. Кротко сидела у жаркого очага, помешивая в казане коже, наблюдая, как он ест. А когда он, уставший, наевшийся досыта, отваливался на заботливо подложенные подушки и засыпал, бережно, боясь разбудить, стягивала с него сапоги и спящему омывала тепленькой водицей ноги. Каждый палец отдельно, любовно. А потом долго глядела на его хмурившееся во сне лицо и ложилась тихонечко рядышком, подкладывая свое тонкое плечо под его тяжелую руку.

Старуха Акбопе резко распрямилась и посмотрела куда-то вдаль. Оттуда, из дрожащего знойного марева, ей послышалась знакомая дробь копыт.

Это он.

Сердечко дернулось и забилося, будто крылья перепелки, попавшей в силки.

Свиснув на шею тулпара, точно обняв

его, уткнувшись лицом в шелковистую гриву, он будто спал. Он был мертв. Он покинул землю с растрескавшимся от солончака такыром. В небе парили большие орлы, наблюдая за одинокой молодой женщиной, хоронившей батыра-мужа. Боевой его конь поднимался без конца на дыбы, и ржал пронзительно, одиноко. Степной ветер нес к ней густые запахи адраспана. Хотела было закричать страшно Акбопе, так, чтобы содрогнулась земля, да ощутила в животе резкий толчок. Там зарождалась новая жизнь. И звуки, идущие из степи, заставили ее сердце сжаться, сморщившись до некрасивости, так, точно оно хотело плакать. Подавила она тогда идущий изнутри нечеловеческий вой, услышав те звуки. Сухой брюхатой понесла свое тело прочь от рыжего холмика.

Чему-то в небе клекотали орлы, то ли одобряя, то ли негодуя на нее.

Сегодня темная, коричневая, иссеченная кожа ее лица напоминает такыр. Так много времени прошло.

Явила она миру продолжение своего любимого мужчины. Вырос и стал точно отражением его. И лицом, и статью, и походкой. А уж как он заботился о ней, омывая, как прежде она мужу, ей ноги тепленькой водой. И он тоже очень любил траву-адраспан. А когда он за руку привел в дом быстроногую девушку, постеснялась она спросить его: «Были ли они в гуще древней степной травы?».

Полыхнули далеко на западе зарницы. По древнему такыру передавалась дрожь земли. То рвались немецкие бомбы и где-то плакали осиротевшие дети. И когда она собирала в степи высушенный кизяк, то видела, как на запад змейкой тянулись военные эшелоны, разнося по округе стук торопливых стальных колес. Густо

пах адраспан, из глаз скатывались слезы, падали и сворачивались бусинками на пыльной земле. Она слушала степь и боялась. И однажды потек тот самый звук. Тренькнул он кобызьей струной.

— Ку-а-ай! Ку-о-ой! О-ой! ! Ку-о-ой!

То в далекой Белоруссии рухнул в заросли полыни ее сын-батыр. И закричала от разрывающей боли в доме невестка. В чреве ее живота что-то бунтовало, требуя выхода в мир.

— Ку-а-ай! Ку-о-ой! О-ой! ! Ку-о-ой!

Степь вновь посылала ей звуки, и воздух был полон запаха адраспана.

— Кулыным! — закричала Акбопе, и все внутри ее рвалось и лопалось, будто рвались струны, оттого, что не могли они передать ее боль, ее страдания. Как? Как? Как их передать? До самой смерти не забыть ей этих звуков.

От внука пошли дети, ее правнуки и от них, точно молодые побеги, пошли дети. Жизнь вокруг наладилась, стала сытной. Давно все позабыли, как торкалась от взрывов земля. Праправнуки жили где-то в далеких городах. Говорят люди, что они стали большими и важными, и ездят не как когда-то ее батыр, на тулпаре. У них теперь другие, сверкающие лаком тулпары. К ней давно уже никто из них не приезжал. Как-то несколько весен назад был один из них. Молодой, толстый, весь лоснится от бешбармака. Женщину, которая сопровождала его, он представил невесткой. Да та даже в дом не вошла. Возмутилась, зачем столько насобирала полыни.

— Это адраспан! — возразила Акбопе. Знали бы эти побеги, откуда они пошли все. От батыра, которому она с любовью мыла ноги тепленькой водицей.

Сегодня в теле появилась неведомая усталость. Да такая она была, что Акбопе присмотрелась вокруг. В воздухе несло прозрачные паутинки.

Их было так много, и они все летели к пучкам адраспана. Ноги ее ведь стали немощны. Давно уже она не могла выбираться в степь, к чарующей траве. Тогда-то она стала собирать ее в пучочки и развешивать их в доме.

Акбопе вдруг вся напряглась. Откуда-то изда- лека ветер, дохнув, принес ей звук. То тренькнула и потянула кобызья струна.

— Ку-а-ай! Ку-о-ой! Ку-ку-ку-ой! Ку-ку-ку-ой! Ку-о-ой!

Старуха, откуда в ней только взялась сила, поспешила в дом. Хоть и бедно все внутри, но чисто. А тут она принялась опять все мести, перебивать начисто. Всю посуду надраила до блеска, вытерла насухо, сложила горочкой. Цепко осмотрела поверхность старого истрескавшегося стола, смахнула невидимые крошки.

А музыка уже неслась всюю и заполонила воздух во дворе, ворвалась в дом.

— Ку-о-ой! Ку-у-о-ой! — она сотрясала ее небольшое костявое тельце.

— Тез! Тез! Уақыт келіпті! — шептали ее бескровные губы. Иссохшие пучки адраспана на ее глазах ожили, наполнились соком и пахнули густым запахом. Закружилась голова, как тогда в молодости, когда его глаза смотрели сверху с любовью.

— Ку-о-ой! Ку-у-о-ой! Ку-ку-ку-ой!

Акбопе отбросила крышку кебеже, достала чистые одежды и стала сбрасывать с себя повседневное.

Вдруг на доли секунд она увидела свое тело юным и сильным. Таким, каким он любил его. Она провела ладонью по высоким тугим грудям, по впалому упругому животу. Ладонь ее скользнула по бедрам, желающим сильных мужских рук, и устыдилась себя Акбопе. Набросив все чистое, оправилась, застегнулась.

А воздух в доме был густ, и настоян, как крепкий кумыс.

Акбопе сняла со стены пучок адраспана, подожгла его и понесла по дому, окуривая.

Пришло время! Уақыт келді!

Она легла на кровать. Прибранная. Величественная. Вокруг звенела мелодия.

— Ку-о-ой! Ку-у-о-ой! Ку-ку-ку-ой!

И она увидела над собой его лучащиеся, несущие свет глаза, вспомнила сына, вздохнула, прикрыла усталые веки и напоследок во всю мощь истерзанных легких вдохнула в себя запах адраспана.



Позови меня в даль светлую

Посвящается
Василию Макаровичу Шукшину

(Вместо предисловия)

Сростки. Деревушка, прилепившаяся к Чуйскому, известному тракту. Сростки. Сюда я, казахстанский писатель, притащился из далекого Алматы. Я почувствовал в себе необходимость соприкоснуться с этой замечательной землей. С землей Алтая, откуда когда-то пришли мои дальние, дальние предки. Современники Культегина и Туньюкука. Ишпака и Атиллы. Шли, сотрясая эту ласковую землю — Алтай. Мимо этих лесов: ель, сосна, кедр. Мимо этих милых опушек. Вдоль разъяренной Катунь от тюркского «Хатын» — женщина, вдоль Биш, от тюркского «Бий» — судья. Через прозрачную Аргунь, что с тюркского — «Аргын».

Алтай, точно пуповина Евразии. Здесь завязаны стыки древних культур. Земля, которая дала литературе Шукшина. Я сегодня читал его письма матери, сестре, другу и поражался его огромной любви, искренности, заботе. Это надо чувствовать! А письмо, последнее письмо матери ему, Макарычу. Уже мертвому. Уже ушедшему. У меня сердце разрывалось, у меня слезы стояли в глазах. Оно написано крупным почерком, со многими ошибками. Емельян Пугачев писал грамотней! Там, в письме, нет ничего другого, кроме: «сокол мой ясный, дитяtko мое сердешное, сердешко мое задыхается, отрада ты моя, Васенька! Господи!».

Это воистину невозможно было читать! Я много видел горя на своем веку, горе бывает разное. А здесь! Сердце ее действительно захолонулось. И у меня — захолонулось. В ту же минуту захотелось

стать добрей, потянуться к людям. Первой встречной бабушке упасть в ноги, попросить прощения за то, что не в силах сделать ее мир светлее. Свет, светло, светлее. Позови меня в даль светлую. Я теперь только понял, что им двигало всегда. Он любил свет, светлое, он нес этот свет людям в своих поразительно светлых рассказах. Я постоял у его памятника. Над ним цветет куст калины красной. О, боже! Я впервые увидел калину, да такую красную, да за спиной у Макарыча. Мороз бежал по коже. Эти чудные фото его детства, юности, его вещи. Как он прожил! Как прожил! Он много, очень, очень много работал. И правда, он в работу за письменным столом впрягался, как в плуг. Хороший музей, хорошо, что я приехал сюда. Это тебе не Мальта, да, я ночью в грязной деревенской гостинице, но не брезгую, а принимаю как часть мира Макарыча. Как могу морщиться при виде его, сидящего на земле, босиком. Эта фотография, как она удачна! Он и был такой, уставший, но любящий трепетно эту Русь, свой Алтай, просто сел на землю, разулся, чтобы ступни почувствовали, взяли тепло земли.

Эх, Макарыч! Я хожу по твоей деревне. У тебя расстреляли отца, двоих дядьев кровных. Ты им сказал! Вампирам! Ты встал! Твои слова: «Милые, милые люди, как я люблю вас!».

Вот старые дома, улочка, вот дом твоей мамы, вот дом, где прошли твои детство и юность. Я там чай попил. Стены потрогал. А потом спустился к Катунин. Когда-то и ты спускался там же. Ты ее очень любил. Я окунул в нее руки. Я поеду к ней туда по тракту за Семинский перевал. Найду то место, которое ты описывал в «Живет такой парень», и взгляну оттуда на красавицу лесную Катунь.

Я хожу и говорю с тобой и прошу у тебя совета светлого. Жалуюсь тебе, что мало написал, редко

впрягаюсь в плуг, балуюсь, роскошествую — в этом признаюсь тебе и мне стыдно перед тобой. Я вешаю голову на грудь. Но вот поднял и говорю тихо, тихо:

— Макарыч, я фильм снял.

Ты говоришь: «Молодец, Марат!».

Я говорю: «Я напишу, я сниму еще», — точно убеждаю и обещаю одновременно.

Ты говоришь: «Жизнь коротка, Марат, я не успел сделать Разина «Я пришел дать вам волю».

Мне так обидно за тебя, Макарыч! Мне очень обидно. Ты бы его сделал!

Любка то пускала к себе на постой, то вдруг не пускала. Приезжали в деревню люди разные, кто в музей, кто в отпуск, кто на Катуня порыбалить. Здесь она у них плавная, притихшая, будто кем-то пристыженная. Это там, выше, у Семинского перевала, она злая. Там с обеих сторон точно мощными мужицкими руками она зажата. Красавица. Недотрога. Будто могучий алтайский мужик, опившись медовухи, навалился, дыша на нее перегаром и запахом табачища. Вот и взъерепенилась она, взбеленилась. Ах так! Ну и держись тогда! И вцепилась зло в берега, точно из спутанной, густой бороды, выдирая из них кусты и камни. Зазмеилась в крепких объятьях, побелев от злости, шипя и пенясь. Запрыгала, перемахивая через огромные валуны. А когда уж вырвалась, еще долго злилась, то ненадолго успокаиваясь, то вновь стервенев от неприятных воспоминаний. И только добежав сюда, к Сросткам, дальше пошла быстрым шагом. Красиво. Изогнув спинку. Понесла высокую грудь,

да так изящно, что и впрямь казалось, что порой не успевают за ней серебристые сильные ноги — рукава вокруг острова.

— Да-а-а! Краса-ви-ца! — Любка восхищенно вздохнула и провела себя рукой по груди. — Только ей, Катюни, дано соперничать со мной по красе! А нашим деревенским вешалкам — куда им! — оценила она себя безо всякой скромности и расстерялась.

Расцвела. Зарделась.

— Да пусть болтают! Пусть у них глаза белеют от зависти. Кто им виноват, что они такие уродины! — заводила себя она.

В душе Любка не была злой, она была доброй. Только вот почему-то так получалось, что ее считали злой. И побаивались. А за спиной шушукались длинные языки:

— Опять взяла в дом нового-то. Говорят, художник какой-то приехал. Все сидит целыми днями на Пикете, с досточкой, Любка альбертом его называет.

— Не Альберт, а мольберт — это доска для красок.

— Альберт, мольберт, ты меня не перебивай, ясно одно, у ней крыша поехала на мужиках.

— Ну эт ты зря, Клавка! Лишка плетешь. Ясно, хороший мужик нынче в цене. А где его взять-то? У нас, сrostкинских девок, хоть какой шанс есть. Сюда то и дело разные приезжают. И умные, и актеры, городские, с телевизора многих знаем. А вон, закатунские, тем и вовсе хоть караул кричи!

— Точно, — согласилась Клавка, — спасибо за это земляку нашему, Макаровичу.

Вот так судачили о Любке. И было за что. Красива была уж больно. Такая уродилась.

Волосы длинные, тяжелые. Бывает, заплетет их в косы, так бьют больно в грудь. А как распустит,

а как потряхнет ими назло глядящим в спину, так сердца у мужиков холомятся. Даже у грубых, хмельных от медовухи сrostкинских.

Брови густые, темные. Глаза большие, серые. То вскипают, тогда белеют, а так серые, немного грустные. Носик ровный, капризный. А губы — точно в них сок от калины красной.

Есть, как видите, предмет для судачеств. И одна. Выгнала она своего мужа. Непутевого Ваньку. Это она считала его непутевым. А те, кто не любил ее за красоту, за характер дерзкий, жалели его. А он уж и впрямь спивался.

А хвастун был Ванька знатный. И чем больше пил, тем больше развязывал свой язык. Послушать его, так он и на Севере был, в горящем самолете пожар тушил, самолет в море упал, он на надувной шлюпке спасался, свистком акул отгонял, одна глухая попалась, так он ее веслом по голове шандарахнул.

— Свят, свят! Страсти-то какие Ванька рассказывает, — передавали бабки сrostкинские одна другой.

Но все бы ничего. Смирилась бы Любка и с этим. Так он, гад ползучий, ее, красавицу, по пьянке променял на корягу — Таньку-белобрысеху. С красными, кроличьими глазами, с плоской, как доска, грудью.

Ух, и побила она его тогда, коромыслом-то. Да и прогнала прочь. С глаз долой — из сердца вон, как говорится.

Любила Любка Катунь. Хоть и соперничала. Ходила она в минуты, когда сердце становилось тяжелое, на берег и жаловалась подруге:

— Совсем уж извести хотят меня, изживают со света! Намедни проплели, будто я режиссера-то московского под себя положила. Ох, гадины! Мне ить после Ваньки-то не до мужиков. Я их всех бы сама передушила. Но деньги-то нужны.

А у меня изба светлая, чистая. А им, заезжим, привыкшим к чистоте, неужто в гостиницу идти? Да там от грязи и неуютства волком завоешь! А я и постирну. И поглажу. И есть наготовлю. Если платят, чего не окружить вниманием. Мужики, они ведь беспомощные, особенно эти, интеллигентные. Попадают из города в деревню, озираются по сторонам, все им боязно, стыдно, неудобно. А у меня они, как за стеной каменной.

Но и неправду говорила Любка Катунь. Вернее, не всю правду. Что и говорить. Иногда и вовсе нравился ей кто-то из постояльцев. Глядишь: умный, рассуждает правильно, вежливый, не то что пьянь какая-нибудь, сrostкинская.

Но боялась в этом признаваться Любка Катунь. Точнее, стыдилась, что укорять станет подруга ее.

— Не успела с одним расхлебаться, а уж на других заглядываешься! Ему что? Он приехал, помиловался и уехал. Конечно, удобно. Тут тебе и еда, и постирушка, и угол, да еще и красу такую в постель!!!

Подруга-Катунь здесь, в Сrostках, текла успокоившейся. Она уж и забыла, как сама беленилась в нелюбых объятьях. Не злопамятной была красавица. И не завистливой. Любке она не завидовала. И не соперничала. Встречала ее на берегу, и когда та прибегала в слезах, рано утром. И тогда, когда глубокой ночью в одной сорочке приходила к ней Любка. Тихонько вздыхала она, слушая Любкины рассказы, ласково приглаживая своей водой ее голые ступни. И берега — ее спутники здесь, ее добрые друзья, поросшие березками, сосной, лиственницей, тихонько шумели, прикрывая Любку от ветра, прилетевшего с гор.

— Не права ты, подруга! — в сердцах восклицала упрямая Любка. — Не в этом дело. Тут я ухо остро держу. Правда, тянется моя душа к ним. К таким умным, вежливым, обходительным. Хочется

побольше узнать о мире. Я-то нигде и не была. А теперь и вовсе. Куда без денег? Одежда нужна, чтоб не стыдно было. Да меня одень, я....! Косметику хорошую! — печально жаловалась Любка.

— Вот опять защелкают языки длинные, — подумала Любка, ведя из сельсовета за собой парочку. — Хотя на этот раз, может, и не защелкают. Вроде муж и жена. Так их представили в сельсовете. А кто их знает, городских? Запросто может быть, что любовники. Какая мне разница, раз платят, — промелькнула мысль в путаной Любкиной голове.

— А мужик он интересный! — и улыбнулась себе, чтоб незаметно было им.

За Любкиной спиной остались старуха Маланья да бабка Ньюра. Тоже не подарки. Любка была уверена, что у них сейчас разговор о ней. Витька, щегол, проехал на «велике». Улыбнулся с иронией, так что веснушки, собранные у носа, разбежались по лицу. Нос стал похож на бульбочку.

Любка пошла еще быстрее. Назло глядевшим в спину из окон добавила шаг.

Откинула голову назад, отчего высокая грудь стала еще выше, и задышала глубже.

Когда проходили мимо Клавкиного дома, из-под дощатых, старых ворот выскочил петух с издерганными перьями и бросился ей прямо под ноги.

Высоко подняв ногу, даже не сбившись с шага, она переступила через него, точно его и не было. И пошла дальше. Нутром почувствовала, что идущий сзади с сумками писатель восхитился ею.

— А как ты думал, милоч? — улыбнулась опять себе, пряча улыбку. — Вот так!

— Заходите, осваивайтесь, не Мальта здесь Сростки! Дальняя комната ваша.

На дворе было тепло. Ало цвела калина гроздьями. Ветерок с Катуня прилетел легкий, свежий.

— Истопить вам баньку? — спросила она, войдя в комнату новых жильцов.

Писатель вскинул глаза голубые-преголубые. Он был высок, строен, взрослый. Она симпатична.

— Смазливая, — отметила еще раз Любка про себя, — наверно, хваткая, такая не выпустит.

— А что это у вас наволочки такие застиранные? — жена писателя брезгливо ворошила подушку. Бровки ее были собраны у переносицы.

— Они свежестиранные. Вы вдохните их запах, они пахнут солнцем! — посоветовала Любка.

— Ну, что ты, Маша! Не сердитесь, пожалуйста. Вам большое спасибо! — торопливо зачастил писатель.

— Как величать-то вас? — спросила напрямую Любка.

— Дмитрий! — он протянул ей руку. Рука была благородной.

— Дмитрий Сергеевич! — внесла ясность особа, продолжая держать в пальцах угол наволочки.

— Так затопить? — опять спросила Любка.

— Пожалуйста, если это нетрудно. Если надо, я могу помочь. Мы бы были рады, с дороги-то.

Любка, не ответив, вышла.

Ее небольшая рубленая банька стояла неподалеку от берега.

Любка неторопливо налушила щепы в печку и подожгла спичку. Язычок пламени лизнул сухие щепки и стал разгораться. Одна за другой они вспыхивали. А у ней перед глазами стояло его лицо. Дмитрий Сергеевич. Дмитрий. Дима. Так назвала она его сейчас, в своих мыслях. Голос его красивый так и звучал в ее ушах.

Любка положила на разгоревшуюся щепу березовых поленьев, прикрыла дверцу и теперь смотрела в щель на огонь. Она расстегнула ворот платья. Жарко ей стало. От огня. От огня ли?

— Его взгляд меня жжет, — призналась она стыдливо себе. — Что, опять вечером бежать к Катуні? Что это со мной? Неужто и впрямь Клавка права, повернута я на мужиках?

Время текло незаметно. Вечерело. Громко в каменке потрескивал огонь, бросая блики на красивое Любкино лицо. Она неохотно оторвалась от размышлений. Поднялась, принесла воду в кадку, стоявшую в моечной. Доверху наполнила ее. Тщательно вымела полы, тазы сполоснула начисто. Принесла веник непаренный еще, сунула в кипяток.

— Хорошо ему будет, в моей баньке! — опять улыбнулась одними губами. — Пойду, скажу им, пусть идут уж, парятся, городские.

Она прошла, перешагивая через капустные грядки. Светло-зеленые кочаны туго кругтели из листьев. Картофельная ботва в ровных рядах розовела цветами.

— Хорошая нынче будет картошка! — подумала она.

Ей столько пришлось спину намаять, чтобы избавиться от противного колорадского жука. С каждого листочка ботвы собирала по десятку их. Целыми ведрами выносила их к берегу и сжигала. Да и полола ее, и окучивала тяпкой. Деревенская жизнь такая. Это только со стороны легко кажется. Романтика! Грибочки соленые на столе, ягодка свежая, картофель молоденький, с тонюсенькой, просвечивающейся кожурочкой, капуста хрустящая на зубах.

А попробуй-ка, помайся тут. Где твоя краса, где молодость осталась и не вспомнишь.

— Можете идти мыться! — нарочито громко и холодно сказала Любка жильцам и вышла за порог.

Золотящееся солнышко уже пряталось за мыском у Катуні. Над рекой протянулись

розово-алые полосы от заката, а под ними, скрывая ноги молодым сосенкам, собравшимся на том берегу, потянулась полоска белая, туманчика.

Красота была неопиcуемая. Любкино сердце захолонуло. Торкнулось в груди. Забилося чаще. Она прогнулась в пояснице, склонившись к прохладной воде, и окунула в нее, струящуюся тихо, свои руки.

Смочила пылающее лицо. Провела по тяжелым распущенным волосам.

Сжалась на корточках на речной гальке и, чувствуя неловкость, глянула на подругу-реку.

— Не сердись, пожалуйста, — прошептала, попросила Любка. И потом долго еще сидела.

Квартиранты уже спали. За дверью у них не проблескивал свет.

Любка скинула с себя платье и нырнула под легкое одеяло. Пододеяльник пах свежестью, она вдыхала в себя этот запах и светилась улыбкой.

— Наволочка ей не нравится! — она тут же отбросила в сторону ненужное, но липкое воспоминание и принялась вновь думать о нем.

Незаметно Любка погрузилась в сон. Сон был дивный, светлый.

Утром она открыла глаза. Ей на веки упал лучик солнца. За стеной слышался голос Маши. Она будила его.

— Вставай, Димулечка, вставай, мой хороший. Ты ведь не спать сюда приехал.

— А я бы его не будила. Пусть бы спал. Может, ему снится что-то красивое, а я его разбужу, — подумала Любка и зачем-то погладила пустую, вторую подушку, точно там лежала Димина курчавая голова. Любка зачем-то перебирала пальцами, будто пропускала сквозь них его волосы, потянулась. Выгнулась дугой.

Сладкая истома пробежала по ее молодому телу. Очнулась. Встала. Быстро одела платье

и, мягко ступая босыми ногами по широким, деревянным половицам, подошла к обшарпанному, помутневшему зеркалу.

Вид был у ней еще сонный, веки припухшие, тяжелые волосы сбиты, но в этом была какая-то особая чистота.

Пошла на улицу. Во дворе стоял сруб колодезный под крышей. Доски крыши уже зацвели по краям зеленоватым мхом. Она взялась рукой за кривую ручку и, стараясь не греметь цепью, набрала ведро.

Вода в колодце студеная. Из глубины. Родниковая. Любка только ею и умывалась. Перед тем, как умыться, опять глянулась в поверхность воды. Она шла кругами в ведре, оттого лицо шло тоже кругами. Искажалось.

Любка незлобно погрозила воде пальцем.

На завтрак она как всегда выпила молочка холоденького, из холодильника, сжевала горбушку.

Жилыцы завтракали долго. Маша готовила ему яичницу. Возюкалась. Затем ели. Она слышала звук телевизора в их комнате и ее капризный голос:

— Не хочу я в музей. Это же не Эрмитаж и не Лувр. Ну что я там потеряла? Ну, что, тише! При чем тут хозяйка? Я лучше посмотрю что-нибудь по «ящику». И ты сам, пожалуйста, недолго. Мне же тут будет скучно одной. Завез меня в тьмутаракань. Бр-р-р!

Скрипнула дверь. Шаги его были осторожные, несмелые. Любка почувствовала спиной его взгляд. Обернулась. И увидела его голубые глаза.

— Вы не проводите меня к дому-музею Шукшина? — робко попросил он.

— Отчего же? Пойдемте, провожу! — Любка проходя мимо, ей Богу случайно, задела грудью его плечо и вся вспыхнула.

Они шли по утренней улице и негромко разговаривали. И не подозревали, что в окно за ними следит пара Машиных глаз. В них мелькали и пропадали шевельнувшаяся ревность, злость, мстительность.

— Почему вы, такая красавица, живете в деревне?

Любка рассмеялась. Ее негромкий смех рассыпался по пустынной в это время улице, теряясь в густых, качающихся на высоких стеблях, цветах — колокольчиках.

— Оставьте вашу Машу здесь, а я вместо нее поеду в город. С вами! — Любка и в мыслях не допускала сказать такое, как у нее вырвалось? Но было поздно. И она смело взглянула на писателя.

Он смутился.

— Маша никогда не останется жить в деревне. Она городская, — проговорил он.

— Я пошутила, — защитилась Любка.

В музее она бывала не раз. А теперь решила войти вместе с ним. Ей было интересно увидеть его реакцию на соприкосновение с Шукшиным.

Они медленно передвигались внутри. Он подолгу глядел на пожелтевшие фотографии, хмурился, вздыхал, подносил руку к сердцу.

Рассматривал кадры Шукшина из фильма «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки», «Ваш сын и брат», его матросскую форму со службы, его костюм заключенного из «Калины красной».

Он сжимал кулаки, когда читал о том, как киношные чиновники тормозили его со съемками фильма «Я пришел дать вам волю» — о Разине.

Он умилялся, читая письмо Шукшина своему другу, художнику Попову.

Любка наблюдала незаметно. И поймала себя на том, что его боль родственна ей.

Она любила Шукшина. И заходя одна иногда

в музей, глядя на его портрет, грустно просила про себя: «Позови меня в даль светлую, Макарыч!».

Теперь же она увидела его таким чистым, она имела в виду Дмитрия, таким светлым, что ей стало жалко его. Квартирант показался Любке беззащитным, в нем что-то проглянулось от ребенка.

— Ты умер! Как это больно! Макарыч! — шептал Дмитрий, точно блаженный, у стенного стенда, читая телеграмму тогдашнему правительству страны с просьбой разрешения похорон на Новодевичьем.

И когда вслух стал читать письмо матери Шукшина Марии Сергеевны, адресованное сыну на могилу, Дима заплакал. Просто из глаз его голубых покатались слезы. Он скрипнул зубами и рванул рубаху на себе.

Мне васне абазрел ты мае истерзана сирдечушка милый, милый ты моя дитеньк, чежа стабой дите мая случилась не думала атаком виликим горюшки. Сынычка приснишь Расскажи дитеньши мой ненаглядный навалил на меня таску.

Любимый сынечка ты их любил жену и малых детишек да всех ты нас. Любил никакво ниабидил сын ты мой ненаглядный дитя мая дитя милый расступися ты мать земля накажы мне дитя милаго дитенок мой дитенок прости меня. Я тебя натапила своей слезою немагу нинадну минутычку забытца.

Писала она очень крупным почерком, со многими ошибками, сливая слова, пишущиеся раздельно, вместе. Точно боль, жгущая ее сердце, не давала ей разделять слова. Он плакал, и Любка плакала вместе.

Ей было жалко Василия Макарыча, сказавшего: «Милые, милые люди! Как я люблю вас!».

Его, Диму, взрослого, если не сказать пожилого мужчину, умного писателя.

Себя. Такую согласную во всем со своим земляком, в миропонимании. Да с несложившейся, нескладывающейся никак жизнью.

Дмитрий читал вслух. Его голос трепетал.

Была бы у меня крылушки ябы кажды день слитала натваю магильчику. Мне бы легчи была дитеньк милый дитеньк. Любил ты атминя писмы получать. Вот я и пишу Может добры люди прачитают ну милый мой дите сын ты мой любимый светлыя тебе память ласка ты мая нисчастныя.

Мамычка.

Произнеся последнюю фразу, он оглянулся к ней, как за помощью. Протянул к ней руки. Что же это? Люба? А? Василий Макарыч умер? Как же так? — словно спрашивали мокрые от слез голубые его глаза. Любка была сильной по духу женщиной. Жизнь научила. Она взяла за руку задыхающегося Диму и вывела его на улицу.

— Пойдем к Катуні. Она моя подруга, — призналась Любка квартиранту. — Там посидим, уймется твоя боль, — тихонечко произнесла Любка.

— Возьмем бутылку. Я так не могу. Я задыхаюсь. Мне очень больно, — попросил Дмитрий.

Они пошли.

На берегу Катуні, в этом месте, всегда бывало безлюдно. Зная это, Любка привела его сюда. На песке, чуть покачиваясь, гнила старая, с почерневшим от влаги дном плоскодонка. Они сели в нее. Писатель сорвал зубами крышку и выпил из горлышка.

— Ты же не станешь? — не то спросил, не то утвердился в своем вопросе он.

— Почему не стану? Стану! Мне так же, как и тебе, — Любка взяла у него бутылку и отхлебнула из нее.

Ласковая в этих местах Катунь молча наблюдала за ними. То боялась за Любку, то порой тихонько радовалась. Прозрела она, что протянулась между ее подругой и этим мужчиной какая-то тонюсенькая ниточка чего-то. Река булькала, выбрасывала к лодке плески, журчала, стараясь не нарушить их светлый мир.

Они смотрели друг на друга. Он смотрел, Любка не отводила взгляд серых глаз. Тогда отворачивался, не выдерживая, он. И все без слов. Багровое солнце садилось, словно намереваясь спрятаться в густых кронах сосен, обступивших вплотную реку, сгрудившихся, точно ратники вокруг полководца.

Его предзакатные лучи туго били в прижавшиеся к серебристой ленте воды облака. Оттого все вокруг дышало каким-то особенным покоем, гармонией.

Птаха ли вспорхнет с дальней макушки, рыба ли всплеснет хвостом.

Дальний ветер, проскользнув по-над Катунью, игриво дернул, завернул Любкино ситцевое платье, на секунду приоткрыв белые ноги.

По завихрившейся вокруг крупного валуна прозрачной струе принесло крупную щепку. Она прибилась к лодке, зацепилась об нее и долго, недоверчиво телепалась, притянув к себе взоры сидящих в ней.

А они думали — каждый о чем-то своем. Солнце еще било из-за крон, как на противоположной стороне, будто чудо, возшла белая луна. Потемневшая река вновь засеребрилась, заиграла.

Ее загибающийся край, почти было слившийся с горизонтом, вдруг просветлел, образуя даль светлую, манящую. Приткнувшаяся щепка крутнулась и понеслась к этой дали.

— Господи! Она тебя потеряла! Скandal же будет! — вскинулась, испугавшись, Любка.

Дмитрий промолчал. Они встали и пошли в направлении дома.

Шли, молчали. То он споткнется. То она вдруг оступится. И опять сталкивались взглядами. Вечерело.

В доме, посреди комнаты, расхаживала гневная Маша. Желтый свет лампочки не мог скрыть густую косметику на смазливом лице.

— Вместе ушли, вместе пришли. Музей-то, кстати, давно закрыт. Да-а, не зря о тебе говорят, что ты шалава, — зло выплеснула Маша.

Лицо Любки напряглось. Серые глаза побелели.

— Прекрати, Маша. Что ты говоришь? — попросил Дмитрий.

— Что между вами было? Ты уже успел спутаться с ней?

Слова Маши точно хлестали Любку тонкой веткой по щеке. Мало она натерпелась от деревенских, теперь городская набросилась.

— Разве мы что-то совершили? — думала Любка. — Я видела, как ему было больно, и не смогла оставить его одного. Это было бы бесчеловечно с моей стороны. Василий Макарыч заслужил того, чтобы кто-то выпил за него глоток водки. Пусть сидя в прогнившей лодке. Пусть с горла. Если в горле ком, — думала Любка, продолжая выслушивать нечистые Машины обвинения.

Она хотела сказать. Слов не было. Она не услышала свой голос. Любка напряглась:

— Вы совершенно напрасно, Маша, наговорили кучу злых слов, — вымолвила она. Любку порывало взорваться.

Уж у нее-то характер был, ой-е-ей! Враз бы поставила на место городскую. Да вспомнила Шукшина и остыла. Не позволила себе поднять голос.

— Маша, уходи, пожалуйста, — вдруг проговорил негромко, но отчетливо Дмитрий.

— Что? Что ты сказал? — прошипела его жена. Или любовница.

— Уходи! — повторил писатель. Он опять, как тогда у стенда, скрипнул зубами.

— Скотина! Голос прорезался? На коленях приползешь!

Маша метнулась в комнату. Было слышно, как она с грохотом двигает стулья, хлопает дверями шкафа. Цокот каблучков ее модных туфель бил Любке по мозгам.

В своем доме она стояла, стиснув зубы и прикрыв глаза.

Вот каблучки простучали зло мимо нее. Маша задела больно Любку сумкой по ноге. Ничего. Стерпела.

Когда хлопнула входная дверь, а затем калитка, Любка распахнула глаза и посмотрела на Дмитрия. Он тоже стоял с закрытыми глазами, зажав ладонями уши.

— Что ж ты не догонишь ее? — спросила Любка.

— Пусть идет. Это все равно бы когда-нибудь случилось. Можно, я останусь? Не прогоняй меня, пожалуйста, — несмело попросил Дмитрий.

Любке опять захотелось заплакать. Захотелось прижаться к нему всем телом. Попросить его: «Позови меня в даль светлую».



ОДНИ СУТКИ С ВЫСОЦКИМ

Голова трещала, казалось, лопнет по швам. Сознание возвращалось мучительно медленно. Мужской, мягкий, с хрипотцой голос обволакивающе призывал подняться.

— Вставай, сколько можно отходить всего-то от одного литра.

Я с трудом поднялся со скрипучей кровати. Протерев глаза, начиная судорожно соображать, увидел Володю, склонившегося над гитарой.

— Ты что, так и не спал?

— Всю жизнь проспийшь, — прохрипел он, — а жизнь, она вон как мала. Эх, братец! Ну, иди, сполосни лицо, а потом мы с тобой почаёвничаем.

Вода в кадушке, в холодных сенях, подмёрзла, затянувшись корочкой сизоватого льда. Пришлось дном эмалированного ковши пробить лунку, чтобы зачерпнуть.

Вылив на голову весь ковш ледяной воды, я вскрикнул: «У-у-ф-ф!».

— Холодно?

Володя стоял в двери, насмешливо улыбаясь.

— Это что! Помню, на съемках фильма «Вертикаль» в горах бушевал сильный ветер, но мы каждое утро выбирались из палаток и голыми по пояс бросались в снег. А снег там, Марат, точно сахар, такой крупитчатый!

Печка, набитая сырыми дровами, никак не разгоралась. Я весь вывозился в саже и чертыхался от досады.

— Брось! Если суждено им сгореть, загорятся. Только немного пообсохнут. Попей, на-ка вот, крутого чайку. Ух ты! — удивился он, глянув на окно.

На стекле, изумительно выложенный, серебрился мохнатый иней.

— Ах, какие узоры! Вот захочешь, а не нарисуешь такого! — восхитился он.

Горячий чай обжигал нутро. Я дул на кружку и исподлобья наблюдал за Володей.

— Так чё ты начал пить? А?

— Да так! — отмахнулся я, — от горечи! Понимаешь, проходит определённый период времени, и мне кажется, что я вновь что-то делаю не так. Не то пишу, не то снимаю. Понимаю, что можно делать лучше. И всегда присутствует ощущение того, что недоработал, поспешил.

Я вздрогнул, хапнув чересчур большой глоток, чувствуя, как кипятком прожигает мне внутренности.

— Во хмелю слегка, лесом правил я, не умел я петь, петь за здравие, — тихонько напевал Володя. Он был задумчив. Вдруг лицо его стало ясным, он резким движением отложил гитару и встал.

— Надо добраться до станции, — произнёс он.

— Зачем?

— Там есть связь. Мне надо дозвониться в Париж, Марине.

— Во-первых, оттуда не дозвонишься, у них спецсвязь. Во-вторых, зачем куда-то ехать. Вот, — я порылся в глубоком кармане и достал спутниковый телефон «Турайя». — Звони!

— Что это? — спросил Володя

— Ну, это такой телефон. По нему отовсюду можно звонить.

— Ничего себе. А что ж ты вчера молчал?

— Ты не спрашивал, — пожал плечами я.

Голова моя гудела, как в разгорающейся печи. Меня всего выворачивало, это была ответная реакция организма на затянувшуюся, беспробудную пьянку.

— А как этим пользоваться?

— Код Парижа знаешь?

— Да откуда!

— Ладно, сейчас узнаем!

Я набрал друга и попросил его выяснить код Парижа. Через пятнадцать минут он стал нам известен.

Взглянул на Володю, он был весь в ожидании. Кончик носа и щёки его побелели, точно обмороженные. Я понял, что он весь на нервах. Пощёлкав по кнопкам, я набрал для него номер дорогого ему человека.

— Вот, уже набрал. Если ответят, сразу же говори, — я протянул ему «трубу», а сам, набросив телогрейку, вышел на улицу.

Багрово-красное, точно воспалённое, солнце вставало над тайгой. Верхушки вековых елей казались суровыми, оттого смотрелись величаво. Девственно белый снег нетронутости простирался до самых опушек. Я двинулся с места, и снег тут же мгновенно отозвался на тяжесть моих подшитых пим.

«Как же мы встретились с ним?» — попытался я восстановить в памяти свою встречу с Высоцким. «Так, помню, я сидел в избе уже хороший, вдруг отворилась дверь, впуская в комнату клубы пара, и тренькнули струны гитары».

Это Володя зацепил ею об косяк. Он возник из белых клубов, точно наваждение. В белом полушубке, какие носили офицеры в войну, в белых валенках, покрасневший от мороза. Он вошёл и прикрыл за собой дверь.

— Гостей здесь принимают? — спросил он. Лицо его мне хоть и спьяну, но тут же показалось знакомым. Но я не стал ворошить свою память, чтобы разобраться.

— Проходи! Правда, выпить нечего, всё уже оприходовал, — развёл руками я с сожалением.

— Ну-у! Хороший гость никогда не приходит без ничего. Есть и выпить, — пришедший

достал из-за пазухи одну за другою две бутылки водки, — и закусить, — с этими словами он вынул из карманов две банки говяжьей тушёнки.

Скинув с себя полушубок, он остался в черном свитере. Ровно подстриженный чуб скрывал глаза. Он взял гитару с белой окантовкой по деке и, присев на грубо сколоченный табурет, тронул струны: «В дом заходишь, как всё равно в кабак,
А народишко — каждый третий враг.
Своротят скулу, гость непрощенный,
Образа в углу, перекошенный!»

Вот тогда хмель отпрыгнул от меня, точно ошпаренный кот. Я поднял тяжёлую голову от стола и спросил:

— Слушай, а ты случайно не Володя Высоцкий?

— Ха, ха, ха, ха! — рассмеялся он. — А как ты узнал меня?

Тут я разозлился. Повело меня не в ту сторону.

— Как я узнал? Как я его узнал? Да вся страна рыдала, когда ты умер. Чего ты взял да и умер? Впереди столько дел было! Страна, видел, что с ней теперь стало? — чуть не кричал я.

— Да вижу я всё! — захрипел он. — Потому и не лежится мне спокойно. То хриплю, то кричу, ворочаясь, весь выламываюсь в тесном гробу. Давай-ка лучше выпьем, братец! — предложил он уже миролюбивым тоном. Раскупорил бутылку и плеснул, резко наклоняя горлышко сначала в одну, затем в другую кружку. Мы подняли их и, стукнувшись, вылили содержимое в рот.

— Хорошая тушенка, ну-ка вспори ей брюхо, — он протянул мне банку, — раньше, в моё время, дефицит на это был жуткий. А теперь пруд пруди!

— Да, пруд пруди! Только не это главное! — опять взъелся я. — Тогда хоть ясно было,

шли к коммунизму! А теперь вообще летим в тартарары!

«А у дельфина вспорото брюхо винтом,

Выстрела в спину не ожидает никто.

На батарее нету снарядов уже,

Надо быстрее, на вираже!» — опять запел Володя.

— Я вот летом к Макарычу съездил. В Сростки, — стал рассказывать я, — по музею побродил, на Катунь сходил, каждой половицы коснулся, где ступала нога Макарыча. Вы-то ушли! А каково теперь нам? Никто никого не признает. Ампиловы в Госдуме. Литература мертвая, пишут о каком-то «Слепом». Вот что бы ты делал, если бы жив был сейчас?

Владимир сидел молча, теребил волосы и курил одну за другой.

— Откуда я знаю! Не знаю, что делал бы! Не знаю! Любил бы! Любил бы Марину, друзей любил бы, а другого не знаю! — он треснул кулаком по столу от злости, душившей его, и рванул ворот свитера на себя.

Мы молча выпили. Вспомнили покойных Александра Кайдановского, Андрея Миронова. Володя свирепел. Он пил и пел, а я слушал с затаённым дыханьем, чувствуя, что не туда веду разговор.

— Ё-моё! — ворочал я пьяные мозги. Володя пришёл, а я его загружаю проблемами. Я приблизился к нему и склонил пьяную голову ему на плечо. А как уснул и не помню.

Свежий морозный воздух приятно холодил лицо. Наконец-то, в башке стало проясняться.

— Надо баньку затопить, — подумал я и поспешил к чернеющему сруб.

Через полчаса, войдя в избу, я увидел Володю, сидевшего в обнимку с гитарой, очень одинокого, заброшенного. У меня в горле схватило комом, так что трудно стало дышать.

— Дозвонился? — спросил я.

— Дозвонился, — мрачно произнёс он и горько заплакал. Светлые слёзы побежали по его лицу. Он смахнул их рукавом свитера и громко скрипнул зубами.

— Услышал её голос. Она кричит в трубку «алло, алло», а я ответить не могу. Что скажу? С того света явился. Она поди замужем за другим?

— Я читал где-то, что она вышла замуж. Но она как прежде любит тебя.

Это видно по ней.

— Моя сероглазая колдунья, — прошептал Володя, утирая слёзы.

— Может, ещё кому из близких позвонишь? — разорвав горе, спросил я.

— Нельзя мне. Запрещено строго-настрого. Я и так нарушил его волю, — он вновь заскрежетал зубами, — но не мог, не удержался я, ты меня понимаешь?

— Понимаю! — вымолвил я, пряча глаза.

Я взял трубу и со всей силы хрястнул её об пол. Она разлетелась на мелкие кусочки.

Наступило тягостное молчанье. Володя сидел, тяжело, прерывисто дыша.

— Я баню затопил, через час-другой будет готова, — промолвил я.

— Баня — это хорошо, — обрадованно произнёс он. — Меня отпустили на побывку сюда, на землю. Только я не знал, с кем встречусь. А к вечеру я должен уйти обратно. Ты хоть Расскажи мне о Москве, о тех, кого я любил.

— Что знаю, расскажу. А знаю я немного. Всё в своей жизни пытаюсь разобраться. Да никак не удаётся.

Я с любовью наполнил обе кружки, одну поднёс Володе и обнял его за плечи. Мне казалось, что я знаком с ним целую вечность, буквально с малых лет. В глазах у меня защипало, я стал вертеть головой в надежде, что остановлю слёзы.

— Москва сейчас стала неузнаваема. Красивая. Но покоя в ней нет. Напряжённая. Как струна твоей гитары. Откуда-то появились олигархи. По десять миллиардов имеют денег. Каким образом? Что это за люди такие, сам ничего понять не могу. Театр на Таганке разделится надвое. Тебе у Петровских ворот всё-таки поставили памятник. Любимов постарел жутко. Твой сын Никита играет в театре, хороший актёр. Про другого не знаю. Умер Леонид Филатов.

Володя судорожно всхлипнул.

— Я знаю, — произнёс он. — Мы ещё не встретились. Он пока ещё по небесным канцеляриям бродит. Ответ держит. Там ведь ещё сложнее, чем здесь. Спрашивают строго. Но мы встретимся, он мне привет передавал через Юру Никулина.

В черной, рубленой бане пар был что надо. Володя плеснул ковш горячей воды на каменку и завалился на полок. Он лежал, глядя в потолок, и промолвил:

— Я, когда писал песню про баню, тогда ей цены подлинной не знал. Конечно, хороша банька, когда хочешь напариться. Но вот я намерзся в стилой земле на Ваганькове и эта банька мне сейчас, представь, какова! — воскликнул он.

— Эх, протопи ты мне баньку по-белому-у,
Я от белого света, от-вы-ы-к!

Угорю я, и мне угорел-ло-му

Пар горячий развяжет яз-з-зык.

— Не горюй ты, братец Марат. Живи эту жизнь, пока живётся. Пей всю её. И горечь, и сладость! Если есть что лишнее, дари друзьям, помогай людям, туда, — Володя показал на потолок, — ничего не унесёшь! А если серьезно, поторапливайся, надо летом запрягать сани к зиме. А то мы всегда так. Кажется нам, что жизнь вечная. А потом скрипим в робу. Эх, того не успел, этого не сделал! Днем

и ночью надо работать, чтобы что-то успеть, что-то оставить после себя. Я тоже хорош. Как увлекусь, бывало, горячим, так столько прошляпил, — с сожалением выдал он.

— Да что ты, Володя! — робко возразил я ему, — ты и так оставил после себя восемьсот песен, столько ролей сыграл в кино. Один твой Жиглов чего стоит.

— А-а, Жиглов? — рассмеялся Володя, — и всё равно не могу себе простить, что порой уходил от работы. Вот ты меня спрашиваешь, что бы я делал, если бы жив был сейчас? Да откуда я знаю, мил человек. Может, бизнес имел бы. А? Каково? Долларами швырялся бы! Люди-то оценили меня после смерти, а пока жив был, как у всех, проблемы были. Но одно я знаю точно, из страны я бы не уехал. Что бы то ни было!

— Хочешь, веничком побью? — предложил я.

— Веничком, говоришь. Что ж, давай веничком!

Я подобросил жару, так что Володя заохал. Потряс веничком над его покрасневшимся телом, а потом загулял по спине ему, по ягодицам, по ногам.

— Ах! Ах ты! Как здорово! Березовый! — восхищался Владимир под хлесткими ударами.

— Всё-таки жизнь прекрасна, братец Марат! — хрипел он, — дорожи ею, каждым мгновеньем! По спине, ещё, вот так! Угорю я и мне угорелому! А теперь водицей, — он соскочил с полка и окатил себя из таза холодной водой. Я вышел вслед за ним в предбанник и сел рядом, протягивая ему ковш с хлебным квасом.

— Спасибо! — поблагодарил Володя, возвращая ковш. — Вот мы с тобой и познакомились. А ты ничего парень. Жаль, что раньше не довелось нам общаться.

Я подумал и ответил.

— Раньше, до того, как не понял твою жизнь,

жизнь Макарыча, я не такой был. Тогда мог тебе и не понравиться.

Володя промолчал, ничего не ответил.

— А ты с Макарычем там встретился? — робко спросил я.

— Об этом рассказывать вообще-то запрещено. Никто из живущих на земле не должен знать, как и что там происходит. Но тебе скажу по секрету, мы с Васей там вместе.

— Ты можешь ему привет передать?

— Нет, нельзя мне этого делать. Ну он сам всё видит и знает. Там другие законы, правила. Ты сейчас этого не поймёшь. Да и не надо тебе. Живому человеку жить надо. Старайся только правильно.

— Стараюсь я!

— Вот и старайся! Ну что, ещё разочек? — предложил он.

После бани мы опять сидели за дощатым столом. В избе было тепло. На печи в чугунном казанке исходила паром картошка, сваренная в мундире. Я поставил на стол капустку из бочки, наловил из банки помидорчиков, принёс из сеней бутылку, мгновенно запотевшую в жаркой комнате.

Володя наблюдал за моими хлопотами. Я чувствовал, что он благодарен мне. Выглянул в окно, сердце мое замерло. Багровое солнце нацеливалось спрятаться за верхушками елей.

— Да, братец! Ход времени неумолим. У нас осталось не так много его. Я выйду на минуту, обойду избу, так, чтобы снег поскрипел под ногами, да пар пошёл изо рта и вернуся.

— Если хочешь, давай подольше погуляем, — предложил я.

— Зачем? — Володя сощурил взгляд, из глаз его сочилась неизвестная мне мудрость. — Я при жизни ходил по ней, не находился. Сейчас только вокруг избу обойду.

Потом мы сидели и пили. Володя с удовольствием грыз косточки, хрустел капусткой и нахваливал помидорчики. Бутылка быстро пустела, осталось всего немного, и я разлил водку по кружкам.

— Давай выпьем, братец, на прощанье. Уже возвращаться пора. Я так рад, что он меня прислал к тебе, ты хороший парень, раз душа твоя трещит по швам, оттого что ты любишь людей, а жизнь вокруг полна ненависти.

Я хотел ответить ему, но опять предательские спазмы сдавили накрепко горло. Я чувствовал своё бессилие перед ним. Что я мог? Он для меня был таким большим.

— Может, споёшь на прощанье, — несмело попросил я. — Столько раз слушал по телевизору, на магнитофонных лентах эту твою песню про коней. А ты что-нибудь новенькое не написал там?

— Там, братец, другая жизнь совсем. Там песни петь нельзя. А музыка там небесная, божественная. Она выше, чем земная.

— А как же гитара? — спросил я, изумлённый.

— А-а-а! Гитара? Он мне позволил в виде исключения иметь её с собой. Но играть на ней нельзя. Ведь там очень много заслуженных людей, праведных, со мной вообще долго разбирались, пока определили. Конечно, спою! Для тебя. Чтоб не поминал лихом.

Володя с огромной нежностью тронул струну, а потом пальцы его легко побежали по грифу.

— Во хмелю слегка, лесом правил я,

Не устал пока — пел за здравие,

А умел я петь песни вздорные:

Как любил я вас, очи черные!

Я сидел, совершенно зачарованный его пением. Гитара звенела в его руках, мне казалось, что это во мне трескаются и рвутся жилки.

У него на правой стороне набухла жилка от напряжения. Но он всё-таки закончил куплет.

— Я ору волкам: «Побери Вас прах!»

А коней пока подгоняет страх.

Шевелю кнутом, бью кручение,

И пою притом: «Очи чёрные!»

— Ты, когда топишь печь, прошепчи ей следующие слова: «Печка, печка, растопись. Прими как жертву мои дрова, разгорись и обогрей, без твоего огня мне будет худо», и тогда она будет послушной. Володя встал из-за стола и посмотрел в окно. За замёрзшим стеклом было черно. Он взял в руки полушубок, помял его и протянул мне.

— Возьми, я теперь без него доберусь. Он мне нужен был, пока я тебя искал.

Я боялся шелохнуться, сжимая Володин подарок. Лишь с огромным трудом выдавил из себя слова благодарности:

— Спасибо! — хотелось столько сказать, но он уже шёл к двери, прижав к себе гитару.

У самых дверей плавно обернулся и вымолвил:

— Не обижайся, что не попрощался за руку. Это была бы плохая примета.

Он открыл дверь, и в избу ворвались клубы пара. Они мгновенно обволокли его, и он растворился в них. Слышен был только хлопок двери об косяк.

Я стоял посреди избы. Мне хотелось завывать по-звериному. Хотелось биться головой о бревенчатые стены. Я проклинал себя за то, что пьяным уснул у него на плече, когда он пришёл ко мне всего на одни сутки. Как же я мог так поступить? — думал я. Ничего не успел, ни поговорить толком, ни пожаловаться, ни посоветоваться. Хорошо хоть выпили по-человечески. Мне было так больно, что хотелось разорвать к чёрту собственную грудную клетку. Я взял в руки кружку, из которой пил Володя. Там на дне ещё оставался глоток. Я допил его.

Что было делать?

Набросил на плечи подаренный Володей белый полушубок и лег, свернувшись калачиком, на кровать. Душа моя плакала кровавыми слезами. Я устал и заснул. Проспал всю ночь и проснулся оттого, что где-то вдалеке кукарекал жизнерадостно петух и от скуки побрёхивали собаки.

В комнате было зябко. Видно, печка потухла ещё ночью и изба выстыла. Вставать не хотелось совсем. Я и не знал, для чего надо было вставать.

Хотелось умереть! Всё тело болело так, будто накануне его били палками.

Превозмогая боль, я поднялся. Нужно было растапливать печь. Вышел в сени. Взял оттуда охапку дров. Они были сыроватые. «Опять не будут гореть», — подумал я. Выложил их колодцем в печи и вдруг вспомнил Володины слова.

— Печка, печка растопись, прими как жертву мои дрова. Разгорись и обогрей. Без твоего огня мне будет худо! — прошептал я, поднёс горящую спичку к дровам и — о, чудо!

Сырые дрова вспыхнули в одно мгновение, занимаясь ярким огнём. Пламя весело заплясало в печи. Я прикрыл дверцу, изумлённый, и подумал: «Что мы, живые, можем знать!».

На столе всё было так, как при расставании с Володей. Я поставил на печь чайник, закурил сигарету и сел на своё место, глядя на тот табурет, где сидел вчера Володя.

Я пытался понять смысл сказанных им слов, вроде, всё он ясно сказал и в то же время в них был какой-то невысказанный, глубочайший смысл. Вот уже и чайник вскипел. Я налил себе крутого чайку и пил, с шумом отхлёбывая из кружки. На душе было склизко, темно и муторно. Хотелось, до зубовного скрежета хотелось опять напиться. Но я вспомнил слова Володи: жить надо!

И отбросил мысли о пьянке в сторону. Походил по избе, выглянул в окно.

Багровое, точно воспалённое, солнце вновь вставало над верхушками елей. Тайга выглядела суровой и оттого величавой.

Убрал со стола. Любовно завернул все предметы, которых касался Володя, в бумагу и спрятал в рюкзак. Достал оттуда стопку белой, чистой бумаги и положил на стол.

Подумал, постояв у стола, и передвинул их на то место, где лежали Володины руки.

Я сел на тот самый табурет, на котором сидел Высоцкий, взял в руки ручку и стал писать эту большую, как целая жизнь, и крохотную, на бумаге, историю.

Потому что не всегда можно отразить то, что ты чувствуешь!

Ночь. Окрестности станции Тайга.



ОХОТА

Это рассказ, в котором, как в доброй сказке, удивительно гармонично жили люди, в согласии с окружающей их природой и представителями животного мира, стараясь не бить их по головам, памятуя о том, что они — их младшие братья, но, как в страшной были, в нее вторглись плохие, злые люди и принесли несчастье всем.

Иван Северьянович был знатный лесник. Выросший в этих чудных, красивых краях, он очень любил здешних людей, природу края и зверье, населявшее его. А природа в округе впрямь была удивительной.

Белоствольные березовые колки стайками стыдливых девчонок стояли отдельно от сосен, будто сбежались в кучу, чтобы хороводиться и шушукаться над мужской половиной леса.

А густые сосновые леса верхушками вечнозеленых крон улетаали в высокое, синее небо, гляделись щегольски, с вызовом и напоминали парней, сбившихся на бескрайней танцплощадке и высматривавших себе невест по нраву. Иногда они перемешивались с березами, точно с женами, взятыми ими замуж, жившими летом в гармонии с ними — мужьями. Счастливые пары сплетались ветвями, перешептывались листвой, но осенью вдруг: желтели, худели, роняя зеленые наряды, плакали вместе с дождями, быломu счастью приходил конец, деревья с наступлением зимы отстранялись друг от друга, стояли сиротливо, как разведенцы, объятые кручиной.

Но весной, когда сходили глубокие снега, влага впитывалась в землю, веселые ручьи, журча, сте-

кались в причудливо тихие лесные озера, на них, замерзших после суровой зимы, отогревшихся теперь под ласковыми лучами солнца, набухали крупные почки, на повеселевших ветвях распускались нежные, крохотные листочки, и они вновь становились нарядными. И снова искали близости друг с другом.

И зверья было много, но оно пряталось от людей в густых буреломах, лишь вольные птицы, прилетавшие к здешним озерам, свободно плавали посреди зеркальных поверхностей. По утрам белесый туман стелился над водами, постепенно уплывая в сторону лесов, и тотчас начинали трубить сохатые лоси, переполашивая сонный лес и несчетное количество пернатых, которые тревожно молотили крыльями, отрываясь от воды и покружив, вновь приземлялись.

Люди в Красном кордоне жили тихой, сытой жизнью, много трудились, изредка на свадьбах или поминках выпивали, однако напивались редко, еще реже дрались, не приняты были кулачные бои в деревне, не прижились издавна.

Большой рубленый новый дом Ивана Северьяновича стоял неподалеку от леса, а старая, еще дедова, а позже отцова изба была по соседству. Старожилы хорошо помнили его еще мальчишкой, голубоглазым, чуждым, редко принимавшим участие в бесчисленных детских играх, дичившимся девчонок и пропадавшим в окружающем деревню лесу, полном грибов и ягод.

Дед Ивана Северьяновича был уважаемым в деревне человеком, прошедшим две войны, дожившим до глубокой старости и скончавшимся тихо, греясь под теплыми лучами солнца, сидя на колоде у дома.

Бабку свою Иван Северьянович не помнил. Он от отца получил в наследство неимоверную физическую силу и крутой нрав, а от матери лю-

бовь и уважение ко всякому зверю. В юношестве Северьянович, как уважительно, несмотря на молодость, называли его в Красном кордоне, был поразительно робок к женскому полу, всячески избегал его, особенно деревенских вдов и бесстыжих молодых, любовавшихся им, набравшим уже в ту пору полную меру мужской силы.

На подводной лодке, куда угораздило попасть на службу лесного парня, за щедрый, участливый характер и особенно золотые руки его продолжали называть Северьяновичем. Все он мог сладить, любую поломку устранить, редкой посылкой из дома поделиться с друзьями, дать добрый совет и выслушать наболевшее чье-то сердце.

Лишь после службы на флоте истосковавшийся по лесу Северьянович, с радостью возвращаясь в родную деревню, преодолел свою робость и на радость матери стал посматривать в сторону девчат.

Особенно он засматривался на Марию, Машу — высокую, с тугой русой косой до самой осиной талии, дочку местного участкового. Он набирался храбрости, шел через весь зал сельского клуба, чтобы пригласить ее на танец. Мария, Маша удивленно вскидывала на него свои серые глаза, протягивала белую руку, выходила вслед за ним в круг, ее насмешливые подружки посылали ему колкости, от которых он буквально вскипал, она лишь звонко смеялась и просила его не злиться. Танцевал он неумело, все чаще наступал ей на ноги, во время танца молчал, провожая до дома, старался идти так, чтобы ненароком не коснуться рукой ее теплого бедра и отводил синие глаза в сторону. Парни в кордоне, выросшие на вольном воздухе, все большей частью рослые, крепкие, тоже тянулись за красивой Марией и случалось, что пересекались пути Северьяновича с кем-либо из них, пытавшихся отбить ее у него.

Он никогда не объяснялся, лишь с силой отбрасывал претендента, отлетавшего прочь с дороги, и продолжал идти рядом с полюбившейся девушкой. И когда Мария, Маша пыталась укорять его за это, отвечал ей тихо, но упрямо:

— У нас на флоте так не поступают!

Так продолжалось до тех пор, пока вдруг Северьянович с разрешения лесничего, на удивление земляков и изумление Марии, Маши, не принялся высаживать целую лесосеку молоденьких сосен. Все лето пропадал он в лесу, не видя ее, переживая, беспокоясь, что уведут у него девушку, и не мог с собой ничего поделаться, потому что еще на флоте дал зарок высадить полосу.

А когда вернулся из леса, то узнал, что и вправду Мария, Маша теперь встречается с другим и тот, другой, уже засылал сватов к ее родителям и по деревне от избы к избе плыли слухи, что свадьба уже намечена на осень.

Вот тогда закручинился Северьянович, вспомнил свою подводную лодку, сослуживцев и разговоры про неверных подруг, девичьи измены. Дымком от костра завилась его обида и залегла, точно медведь на спячку, глубоко в душе, в надежде, что время излечит недуг. Ушел опять Северьянович в лес и стал промышлять зверя, побил много волков, бродивших вокруг деревни, резавших скот, и подкармливал кабанов, косуль, бродивших в глубоком снегу несатыми. Целый год провел он в лесу. От приезжавших за дровами мужиков слышал он новости, и были они одна безрадостнее другой. Мужики, подвыпив самогонки, судачили меж собой, обсуждали разные кордоновские слухи и в том числе несчастливый брак дочери участкового, красавицы Маши.

Зять участкового оказался пустым, никчемным парнем, не работал, целыми днями пропадал в местном кафе и бывал замечен в компании мест-

ных разведенков. Мужики говорили, будто Мария от стыда за своего мужа лишний раз не выходит из дома, и сильно подурнела внешне. Змеиным ядом действовали на него эти разговоры, после них он ходил тучей, сведя брови на переносице и поскрипывая зубами, а следующим жарким летом случился пожар.

Загорелось где-то далеко, за распадом. Но лесной пожар стремителен, кровожаден и несется от дерева к дереву, закручиваясь вихрем, взлетающим вверх. Заскрежетал горящий лес, заплакал, и, не в силах помочь ему, бросились, спасая свою жизнь, прочь от прожорливого пламени сотни, сотни голов зверья. Ветер нес к избушке Северьяновича горячий, удушливый дым, он гнал свой гусеничный трактор в сторону идущего стеной огня, полыхала жаром кабина и сидеть в ней было невыносимо, точно в раскаленной сауне.

Опустив плуг, он стал взрывать землю, сбивать с пути горящие сосны. Спасая здоровый лес от бросающихся подобно остервенелым псам, языков пламени, не вспомнит потом, сколько времени продолжалось это. Сквозь перекрывающий вой огня, рев трактора, он вдруг услышал вызывающий о помощи женский крик. Черный от сажи, страшный от яростной борьбы со стихией, Северьянович выскочил из машины и ринулся на крик прямо в огонь. На горевшей снизу сосне ему удалось разглядеть молодую женщину, обезумевшую и объятую ужасом, неизвестным образом попавшую сюда, может, вышедшую по ягоды. Огонь уже подбирался к ее ногам, она висела на одной руке, раскачиваясь на толстой ветке, и пыталась сбить его со вспыхнувшего подола платья другой.

— Прыгай! — закричал ей Северьянович. — Прыгай, сгоришь!

Женщина все еще колебалась, затем прыгнула в руки спасителя, рухнувшего с ней на горящую

землю, вскочившего, вскинувшего ее себе на грудь и бросившегося в сторону от падающей сосны к спасительному трактору.

Так она оказалась в его лесной избушке, чудом уцелевшей, оттого что вдруг всполохи молний разорвали затянутое дымом небо, разверзнувшееся, обрушившее сверху черную воду, заставившую огонь укротиться, заскулить, утихая, подобно обезумевшей собаке, теперь присмирившей и свернувшейся клубком.

Каково же было удивление их обоих, когда они неожиданно обнаружили: она в мужчине, пахнущем дымом, соляркой, потом, своего прежнего молчаливого провожатого, и он в обгоревшей местами молодой женщине свою любимую Марию, Машу.

Долгое время они молча смотрели друг на друга, не зная, как себя вести, потом пришедшая в себя Маша стала говорить ему удивительные слова, о которых он не мог бы и мечтать даже в самом своем смелом сне.

Она рассказывала ему, как жестоко ошиблась в своем выборе, какие страдания причиняла ей мысль, что она так поступила с ним, просила теперь простить ее, глупую, не выгонять от себя, потому что долгими зимними ночами думала только о нем и с нетерпением ждала наступления лета, чтобы пойти в лес, разыскать его. Все горькое, обидное, что накопилось в Северьяновиче за это время, точно в тонкой оболочке, лопнуло, вылилось из него, он уже целовал ее вымазанные сажей губы, гладил, ласкал обожженные ее руки, и она не замечала своей боли, в ответ прижималась к нему стыдливо, все еще не веря в то, что он простил ее. Потом была ночь, где-то в отчаянии выли волки, растерявшие во время пожара своих волчат, ухали совы, жалобно пищали зайчата в поисках матерей, кругом пахло дымом, гарью, но крохотная лесная избушка была наполнена

счастьем, на жесткой деревянной кровати они лежали, не размыкая ни на секунду рук, и говорили, говорили, говорили.

Больше Мария, Маша в деревню не вернулась, она осталась с Северьяновичем, не боясь пересудов, людских кривотолков, но в кордоне к этому событию отнеслись с пониманием, даже муж Маши ни разу не появился и только, оказывается, в компании мужиков за бутылкой прослезился, сказал:

— Маша заслуживает лучшей доли, чем быть моей женой, пусть они будут счастливы...

Шло время, к сорока годам Иван Северьянович отпустил небольшую бородку, стал главным лесничим, ему выделили новый рубленый дом, предоставили машину и он стал грозой вырубщиков леса, разного рода браконьеров.

Мария, Маша к тому времени нарожала ему двоих детей: мальчика с девочкой, стала еще красивей, теперь она была женственней, поступь грациозней, она ступала, точно находившаяся в самом соку олениха, знающая себе цену и дорожившая своим самцом, добытчиком, защитником.

Северьянович работать любил, делал это нахраписто, удадо, денно и нощно заботясь о достатке своих кордоновцев. В лесу он сработал кормовые базы для зверья, чтобы в суровые, снежные зимы они могли приходить к ним и питаться, потому что всем, кроме волков, в такую пору становилось трудно добывать себе пищу. Так он познакомился с молодой лосихой, которую позже назвал Зойкой, удивительно доверчивой, ласковой, в которой уже проглядывалась стать и чувствовалось, что великое веление природы призывает ее стать матерью. Зойка приходила к кормушкам, подолгу, с перерывами, ела, насытившись, не уходила в лес подобно другим травоядным, оставалась у стогов с сеном, тянула ноздрями северный воздух и, ка-

залось, будто она точно знает, откуда придет ее суженый. Она безбоязненно подходила на призывный, ласковый свист к Северьяновичу, позволяла гладить себя, слушая, как он говорит с ней, слегка вздрагивала и брала из его рук душистое сено, касаясь ладоней шелковистыми, нежными губами.

Но еще больше Зойка позволяла Олегу и Насте, детям Северьяновича, не чаявшим в ней души, разрешала им влезать на себя, чистить и поить себя сладким, теплым молоком, специально ими привозимым.

Она поразительно быстро привязалась к ним, когда их долго не было, вопросительно глядела на Северьяновича, в черных, больших глазах ее вырастала немая, мучительная тревога, и тогда Северьянович ласково успокаивал Зойку:

— Приедут, приедут! Скоро уже каникулы, они и сами по тебе соскучились, просят, но им надо учить уроки, а не то учительница понаставит колов, тогда будет нам с тобой от Марии, от Маши моей.

Зойка выслушивала терпеливо все, что он ей говорил, не смея отворачиваться от своего спасителя, она отчетливо помнила день, когда этот большой, добрый человек на ее глазах встал против ревящего шатуна, шлявшегося по лесу и настигшего ее недалеко от кормушек. Тогда Северьянович, выскочивший на ее трубный голос, призывавший о помощи, стал между ней, в ту пору только затяжелевшей, и беснующимся зверем, поднял ружье, но не выстрелил, сумел уговорить того убраться вон подобру-поздорову.

Зойка помнит, что ни один мускул на лице этого человека, ставшего ей близким, не дрогнул в тот миг, и был он полон решимости отстоять ее. А после того, как ушел тот ужасный зверь, еще долго гладил ее по спине, что-то приговаривая, и она инстинктивно поняла, что он очень рад ее скоро-

му материнству. И еще раз, позже, он снова спас ее, уходившую крупным наметом, припадающую на ногу, раненную в бедро злой пулей приезжих людей, выследивших ее при помощи длинноногих собак. И в тот раз он на лыжах выскочил между ней и бегущими вслед плохими людьми и стал часто стрелять им под ноги, взвизывая пулями снег у них перед ногами.

Аким области — мужчина крупный, непомерно располневший, с большим животом, грозный, испытывавший гордость при виде трепещущих в страхе подчиненных, бессильных, точно дети малые, растаивавшихся перед ним подобно ковровой дорожке, предоставляя тем самым возможность думать ему о себе как о властителе, вершителе их и множества других судеб. Акиму безмерно нравилось, что его речь конспектируют, он догадывался, что позже листы летят в мусорное ведро, мысли эти его не злили, подобно стрелам пролетали мимо, и, забросив ногу на ногу, он плотоядно вспоминал сладкий щебет своих любовниц.

В дверь бесшумно вошел, точнее, вплыл, помощник, невысокий, круглолицый, с двойным подбородком, ловкий человек, поставивший ему женщин, знавший многие его тайны, угодливо называвший их «маленькими разгрузками большого государственного человека», и буквально расплывшийся у самого стола.

— Зная вашу истинную страсть, хочу осмелиться и предложить вам в эти выходные выехать на охоту.

— Ну что же, тебе всегда в голову приходят правильные мысли...э-э-э-э, вот только надо определиться, куда выехать...

— Я уже обо всем позаботился, местные акимы предупреждены, они станут встречать нас по дороге, устроят вам крайне необходимый хороший отдых, вы же совсем себя не жалеете и с утра до поздней ночи переживаете за работу, работу.

— Вот так и живем! Кто же станет думать о народе, коль все мы будем бредить только об отдыхе? А-а-а?

И вот наступило утро охоты. Во дворе огромного дома акима ревели, исходя белым дымом, два здоровенных джипа. В охотничью команду были взяты несколько приближенных к акиму крупных бизнесменов, несколько других, кого необходимо было приблизить, точнее, накинуть на них витой волосяной аркан, чтобы сбить спесь и показать, кто в доме хозяин.

Стали выносить ружья акима, их было не меньше десятка, винтовки с нарезными стволами, с оптическими прицелами, автоматические ружья и двуствольные вертикалки. Бизнесмены выпорхнули из джипов, в желтом свете фонарей стали разглядывать их, понарошку прицокивали языками, делали вид, что искренне восхищаются и стремились как можно скорей вернуться в теплые салоны автомобилей.

На крыльцо вышел аким, имитируя утреннюю зарядку, нелепо взмахнувший руками, притопнувший хрустящий снег, крякнувший от удовольствия, получивший одобрительные возгласы подчиненных, внимательно осмотрев присутствующих, удовлетворенно хмыкнул и стал спускаться во двор. Выпятив вперед толстый живот, аким лениво поздоровался с учтиво протянувшими ему руки чиновниками, бизнесменами, взобрался

в джип и хлопнул дверью. Машины, взревев двигателями, стали выезжать со двора.

Первым пунктом остановки стала встреча его с районным акимом, выехавшим прямо на трассу на небольшом, но довольно комфортабельном джипике. Несмотря на раннее утро, уже был накрыт походный стол, на котором желтели заманчиво тонкие кружочки только что нарезанного казы, выстроены в шеренгу бутылки с водкой и расставлены хрустальные рюмочки.

Оба акима, соблюдая положенный их рангу этикет, с деланным видом стали обниматься и после окончания важной процедуры районный взмахом руки пригласил охотников к столу.

— Ночь сегодня была звездная! Хороший знак для большой охоты... Вы, вероятно, давно уже не были на свежем воздухе... такой воздух как в моем... районе, есть не везде!

Лексика у районного хромала и он, не мудрствуя, лукаво предложил всем скорей выпить. Замелькали рюмки, тонкие кружочки нежного казы стали стремительно исчезать во ртах у новоявленных и настроенных на великую охоту нуворишей.

Вновь все расселись по машинам и, выстроившись в цепочку, тронулись по трассе. Впереди, как положено, ехала машина акима области, вслед за ней двигался юркий автомобиль районного, за ними, подминая широкими колесами свежавший снег, замыкающим и оттого оскорбленным тянулся джип бизнесменов.

Задние ехали резво, точно подтверждая скоростные качества своих иномарок, выделявали маневры вслед за идущим впереди джипом, пока не наступила вторая остановка.

Не желая ударить в грязь лицом, раскинув сбorkу от трассы нарядную юрту, стоял у своей новенькой «Волги», встречая их, сельский аким.

Одна за другой остановилась маленькая колонна у самой юрты, пораспахивались двери, но никто не вышел из машин, субординация соблюдалась крепче, чем в армии, и так продолжалось до тех пор, пока из переднего джипа не вывалился областной бастык.

Сельский на невысоких, но устойчивых ножках подбежал к районному и стал рапортовать последнему о готовности к охоте, облегченно вздохнувший районный тут же бросился к переднему джипу, положил обо всем вездесущему помощнику, и невысокий, круглолицый, с двойным подбородком ловкий человек важно поспешил к боссу с докладом.

Вскоре в нарядной юрте стало тесно, душно, на круглом, низком столе высилась горка свежеспеченных баурсаков, подали на завтрак горячее кеспе с кониной и сопровождали все это ловко представляемой напротив каждого водкой.

Сельский зачастил народными афоризмами, пересыпая ими здравицы большому человеку, каким был областной, пожелания азартной охоты и счастья всему народу.

Вновь сытая, разогретая ловко сплетенной лестью и спиртным, толпа испеченных охотников расселась по автомобилям, как и прежде, соблюдая субординацию, выстроились по ранжиру занимаемых должностей и тронулись в направлении деревни Красный кордон. Теперь, замыкая вереницу машин, позади всех в снежной пыли, поднятой передними, телепалась серая «Волга».

Северьянович с кучкой поднятых им спозаранку местных охотников стоял у деревенской конторы в ожидании приезда высоких гостей, он негромким голосом наставлял односельчан.

— Заводите на них лис и зайцев, не дети, сами знаете, что в каких лесах у нас водится...

— Но Северьянович, это ведь зверье, трудно будет что-либо прогнозировать, — пробасил, возражая, пожилой мужик.

— Знаю! Потому и ночь не спал. Они приедут и уедут, а нам здесь жить, им — развлечение, а зверью — горе!

— Понимаем твою озабоченность, Северьянович, но и ты тоже попусту не лезь на рожон, постараемся помарьяжить их по пустым лескам, пока не устанут, а как вымотаются, выгоним на них зайчишек и лис, пусть постреляют, отведут душу.

Быстро движущаяся колонна автомашин влетела на пустынную деревенскую улицу, направляясь прямо к конторе, где их поджидали мужики и покрытые густым инеем оседланные лошади.

Джип областного остановился точно напротив Северьяновича, выступившего на два шага вперед, как наставлял его сельский аким, из открывшейся передней двери, демонстрируя свою демократичность, вышел бастык и стал поочередно здороваться с местными мужиками за руку.

Северьянович подал ему самого статного коня, бастык, крихтя, стал вдевать ногу в стремя, крикнул на бросившегося к нему услужливо сельского, самостоятельно перевалился через спину коня, падая в седло, отчего тот присел на задние ноги и громко, протестно заржал.

Все вокруг пришло в движение, приезжие рассаживались верхом, заряжали ружья, щелкали затворами и выстраивались вновь в колонну по статусу.

Кавалькада напоминала теперь небольшой, вооруженный до зубов отряд, тронувшийся вперед, как только областной дал всем бата — благословление.

Весь день проходил по заранее установленному Северьяновичем плану, местные охотники составляли приезжих в засаде, сами въезжали в заведомо известный им пустой лесок, стреляли в небо и делали вид, что выгоняют зверя. Уже и стылое солнце клонилось к закату, приезжие, как рассчитывали мужики, притомились, подумывали о горячем бешбармаке, поговаривали, что зверя

не стало как в прежние времена, и Северьянович подмигнул пожилому мужику — пора!

Мужики редкой цепью окружили лесок, где, по расчетам Северьяновича, должны быть лисы, зайцы, стали стрелять в небо и громко кричать, чтобы вспугнуть мелкое зверье.

Северьянович был доволен такому раскладу, но продолжал молить Бога, чтобы в нем не оказалось серьезного зверя.

Приезжие с неохотой вновь повалились в снег, имитируя засаду, все чаще поглядывая в сторону деревни, обещавшей тепло и уют, как вдруг из леса выскочили несколько быстрых лисиц, зайцев, стремглав бросившиеся врассыпную от загремевших выстрелов, и вслед за ними, широко махая длинными ногами, бежала отяжелевшая Зойка.

Бизнесмены расстреливали лисиц, как в тире, лупили со всех стволов, крупная картечь хлестала по ним, они кувыркались на бегу через голову, еще живые пытались ползти, но новые струи тяжелого свинца вырывали из них внутренности и разбрасывали по девственному снегу. Зайцы ошалело неслись наугад, на авось, но уйти им была не судьба, на их горе приехали сюда эти люди, горячие заряды разрывали длинноухих на части и белый пух разносила поднимающаяся пороша.

Зойка тяжело дышала, бежать быстро у нее не было сил, боковым зрением она видела лежащих в засаде людей, среди них Северьяновича, но интуитивно поняла, что не сможет в этот раз помочь ей ее благодетель, придется ей распластаться под смертоносными пулями, прокляла себя, необдуманно зашедшую в этот лесок, подставившую под смерть неродившегося теленка, и заранее простила доброго Северьяновича.

А сердце Северьяновича замерло от увиденного, районный, сельский завизжали при виде лосихи, но не стреляли, ожидали, когда первым

выстрелит областной, а тот медлил, нельзя было ему по рангу промахнуться и потому тщательно наводил оптику винтовки.

Вот его широко расставленные ноги напряглись, узкое веко глаза плотнее прижалось к резиновому окуляру, толстый указательный палец потянул на себя спусковой крючок, невысокий, круглолицый, с двойным подбородком ловкий помощник с нетерпением взвизгивал, и тогда Северьянович изо всех сил ударил по стволу винтовки бастыка.

Грянул запоздалый выстрел, пуля ушла высоко в небо, не причинив Зойке вреда, она бежала теперь быстрее, увидев, как в очередной раз, рискуя собой, ее жизнь спас сильный и добрый человек, с которым ей посчастливилось повстречаться в своей еще недлинной жизни.

Вслед Зойке часто затрещала яростная пальба, невысокий, круглолицый, с двойным подбородком ловкий помощник крутился на снегу, он забыл про свое ружье, верещал так, будто на него напал крупный, хищный зверь и уже терзал его на части.

Назад возвращались молча, будто везли покойника, приезжие злобно косились на мужиков, особенно на Северьяновича, без того знавшего, что ему теперь предстоит испытать всю ненависть сельского, белого то ли от мороза, то ли бледного от страха за насиженное годами место, трясущегося в седле, резко вздрагивавшего от страшной мысли и оттого предательски бившей его лихорадки.

У самой конторы приезжие сползли с коней, областной, ни с кем не попрощавшись, втиснулся в свой джип, сопровождавшие попрыгали в автомобилях, передний рванул с места, строй рассыпался, задние стали догонять, вслед им точно обрадованные, громко заржали усталые лошади и Северьянович, сгорбившись, поплелся в направлении дома.

Мария, Маша встретила его у порога, в окно успела заметить, как, газуя, рванули машины, мужиков, разбредавшихся по сумеречной, деревенской улице, мужа, идущего ссутулившись, втянув шею в плечи, поняла, случилось плохое и, ни о чем не спрашивая, прижалась к нему, вошедшему, пахнущему морозом.

Ужинали также молча, дети, Олег, Настя, были притихшие, Северьянович хмурился, понимал, что его уход с должности главного лесничего плохо отразится на жителях кордона и ему от этого становилось еще горше.

Ночью белая луна стала заглядывать, проситься в окно, высветив деревянную кровать, жену, тихонько прижавшуюся к нему, хмурому, она нимбом засеребрилась над ее головой, он неожиданно рассмеялся и стал по порядку все рассказывать Марии, Маше.

— Ну надо же, никогда она не заходила в тот лесок, я глазам своим не поверил, вижу, Зойка машет по сугробам, снег там глубокий и... ты не поверишь, Машенька, бежит и смотрит на меня виновато...

Пошли дни напряженные, в ожидании, к Северьяновичу заходили мужики, смотрели на него вопросительно, уходили, вздыхая, не дождавшись ответа, в глубокой тревоге, и скоро из города пришел приказ уволить Ивана Северьяновича.

Но недаром говорят в народе «Пришла беда, отворяй ворота!».

После увольнения на Северьяновича возбудили уголовное дело, налоговая полиция надела так, что дышать — воздуха не стало хватать, шерудила бу маги за прошедшие годы, обвинили в краже леса,

нашлись какие-то свидетели и, наконец, за ним приехали с наручниками, словно за преступником.

Увезли Северьяновича, наступили в кордоне черные дни. Олег, Настя затаенно глядели на мать, мужики чувствовали себя виноватыми, сворачивали с дороги перед ней, не уберегли любимца, заступника и только сельский вышагивал, точно гусь, торжествовал.

Потянулись дни, ночи тяжелых испытаний для Северьяновича, слились в беспросветную череду, бородку пробила предательская седина, закручинился, камнем тянула душу тоска по лесу, отданному на откуп, зверью обреченному, Зойке, ожидавшей теленка, мужикам кордоновским, которым даже во хмелю не говорил грубого слова, детям, Олегу, Насте и главное, сердце его трепетало в думах о любимой Марии, Машеньке.

Так прошла зима, отпетые уголовники относились к нему с уважением, величали его Северьяновичем, пытались отвести темные думы, народ тертый, опытный, умышленно расспрашивали про повадки лесного зверя, зная, что тогда он оживает, предрекали ему скорое освобождение, что и случилось — в один из дней, когда собрались в кружок пить чифир, за ним пришли.

— С вещами на выход!

В родном кордоне ничего не изменилось за время его отсутствия, только кто-то спилил полосу, когда-то им высаженную, часто стала доноситься из леса беспорядочная пальба, мужики всю зиму сидели без зарплаты, большой рубленый дом, машину конфисковали и семья теперь переселилась в старую, еще дедову, а позже, отцову, избу.

Встретился Северьянович с деревенскими сдержанно, точно стыдно ему было за свои тюремные думы, порасспросил коротко мужиков о житье-бытье, попавшемуся на дороге сельскому плюнул

прямо под ноги (тот, зная его крутой нрав, юркнул в чужую подворотню), ласково прижал к себе Олега, Настю и только тогда дал себе полную волю, лаская ненаглядную свою Марию, Машеньку.

Время все лечит, весеннее солнышко день ото дня стало греть щедрей, посуровевший за зиму лес отходил постепенно, отогревался, задышал полной своей грудью, по ночам из него доносились голоса зверья, приходили вести, вселявшие надежду, сняли областного, проворовался, сгинул районный, сельский теперь заискивал перед Северьяновичем, звал на прежнюю работу и бил по чувствам: браконьеры одолели, за лесом пригляда нет, обещал вернуть большой рубленый дом, машину.

Был день, стоявшее в зените солнце лило на землю золотые лучи, лес под легким ветерком тихонько пошумливал, восстанавливалась великая гармония природы, зажмурившись от наслаждения, Северьянович сидел на колоде у старой, еще дедовой, а позже, отцовской избы, проходившие мимо мужики прятали в усах улыбки, видели, оттаивает, верили — наладится жизнь в кордоне.

Неожиданно у себя за спиной Северьянович услышал шорохи, подумал, жена, еще сильнее зажмурился от счастья, кто-то легонечко толкнул его в плечо, продолжая ждать, когда обернется, он вытянул руку назад, наткнулся на что-то нежное, волосатое, распахнул синие глаза и увидел Зойку, не одну — рядом на слабых ножках, пугово вздрагивая, стоял маленький теленок.

— Мужики! Олег, Настя! Мария, Маша, Машенька!

БАНЯ

*Светлой памяти писателя
Саина Муратбекова посвящаю*

Дело было днем, сразу же после обеда. Я ехал навестить приболевшего Саина-ага. Ласковый белый снежок, падавший, кружась, на лобовое стекло автомобиля, не вызывал у меня никакой тревоги, но по мере того, как я отдалялся от города, погода вдруг стала меняться на глазах. Стремительно потемнев, словно темным шарфом, небо окутало горы, и из него, будто из дырявого мешка Алдаракосе, повалил густой, фиолетовый в свете включенных фар, снег. Дорогу, спиралью уходящую в гору, буквально на глазах засыпало толстым слоем бесконечно сыпавшегося сверху снежного крошева, и я переживал, что моя «МАХИМА» не взберется на крутой склон, на котором стоял доброжелательный дом Саина-ага. Покрышки с визгом пробуксовывали, шлифуя до блеска мокрый снег, двигатель жалобно завывал, а разум подсказывал мне, что лучше бы отложить эту поездку до лучших времен. Но ситуация осложнилась тем, что я перед выездом позвонил Саину-ага и известил его о своем приезде, и теперь добрейший аксакал стал бы волноваться, не приедь я. Звонить же вновь и оправдываться в том, что моя машина из-за гололеда не может преодолеть крутой склон, мне было крайне неудобно.

Поэтому я продолжал упрямо давить на газ, неустанно пришептывая, уговаривая свой автомобиль: «Ну давай, давай же!». И он вдруг, на удивление цепко вгрызаясь в почву, стал метр за метром карабкаться вверх, всфыркивая, точно жалея, с невероятным усилием, но все же преодолел самый крутой подъем. Ну вот и все. Я облегченно выдохнул и вытер со лба холодный пот. Дальше

дорога была более пологой, и «МАХИМА» бодро двинулась вперед, будто бы говоря мне: «Это что! По сравнению с тем, что пришлось преодолеть, теперь остаток пути для меня просто смехотворный, сущий пустяк!».

У двухэтажного белого дома Саина-ага мне с трудом удалось развернуть автомобиль на узкой дороге и припарковать его. В ответ на длинный звонок слышался хруст снега под шаркающими, старческими шагами, легкое покашливание, слышно было, как аксакал нарочито сердито ругает подкатившегося с лаем к дверям услужливого пса. Звуком стылого железа брякнула щеколда, дверь заскрипела на петлях и в расширяющемся в желтом свете лампочки проеме, поражая меня, возник аксакал.

— Аман-есен жеттын бе? Добрался ли живым-здоровым?

— Зачем же вы поднялись, дорогой Саин-ага? Разве, кроме вас, некому отворить дверь? — открыл было я рот.

— Если ты, не считаясь с непогодой, решил навестить своего больного ага, то почему бы мне не встретить тебя у порога? — произнес он нарочито сердито, недовольный тем, что я его пожурил.

— Проходи в дом, сегодня настолько внезапно сыпал с неба этот снег, что твоему ага напомнило это быстропеременчивое настроение его draжайшей супруги.

Аксакал пошел впереди меня, сильно сутулясь и, словно улитка, втянув шею в воротник старого овчинного полушубка, загребая белыми фетровыми, модными в свое далекое время, пимами белую порошу. Несмотря на болезнь, неожиданно свалившую его в постель, он пытался держаться молодцом. Возможно, он догадывался о том, что я, следуя за ним сзади, пристально рассматриваю его.

Угадав состояние аксакала, я мгновенно среагировал и перевел разговор в другое русло, намереваясь задать сердитому писателю вопрос о возникновении в их доме чудного полушубка.

— Саин-ага, вы такой интеллигентный, светлый, с благородными чертами лица. Глядя на вас, сразу же видно ваше белокостное происхождение (этим самым определением в степи всегда отмечали людей с глубоким интеллектом), — произнес я целую тираду.

— Так в чем заключается твой вопрос? Видимо, он не прост, коль скоро ты так издалека к нему подходишь, а? — Саин-ага, приостановившись, обернулся и с лукавинкой во взгляде посмотрел мне в лицо. На мгновенье я смутился, но тут же решил идти до конца и во что бы то ни стало разузнать историю заскорузлой, выблекшей от времени шубейки.

— Откуда у вас взялся этот полушубок? Он так не подходит к вашему облику...

В тот самый миг я и думать не мог о том, что его рассказ вначале вызовет у меня взрыв хохота, а потом вынудит сесть за изложение этой незамысловатой, но полной иронии и горького юмора истории. Впрочем, не стану забегать вперед, а, подстроившись в темп шагам аксакала, войду в обширную прихожую, сброшу с себя отсыревшие ботинки и пройду вслед за гостеприимным хозяином в теплую кухню. Аксакал в предвкушении вынужденного повествования уже тихонечко посмеивался себе под нос.

— Ну, как же ты добрался, проходи, проходи в зальную комнату, а я пока соображу горячего чайку. Твой ага, наверняка, не успел ты ступить за порог, стал жаловаться на мой несносный, переменчивый, как погода в нашем городе, характер, — быстро проговорила располневшая к своим годам тетушка Кульзипа, поражая меня удивительной прозорливостью.

— Ты, наверное, удивлен, каким образом я догадалась об этом? С годами жизнь с человеком становится настолько предсказуемой, что, даже не видя друг друга за стенами комнат, мы можем догадываться не только о том, что делает в ней твоя половина, но и о чем он думает в эту минуту. Поэтому, когда я на свою голову рассердилась на твоего ага, что он поднялся открывать тебе дверь, я по одному только движению его бровей уже знала, что он тебе сейчас расскажет на улице.

— Я скажу вам по секрету, — прошептал я, поражаясь тому, насколько быстро «завербовала» меня тетушка Кульзипа своей осведомленностью и откровенностью, — он действительно сетовал на ваш характер. Но вы, пожалуйста, ничего об этом не говорите, не то ага рассердится на меня и не станет рассказывать мне историю полушубка.

— Какого полушубка?

— Вон того, в котором он вышел встречать меня, — уточнил я кивком головы в сторону вешалки. Я кожей почему-то чувствовал, что неспроста эта жутко старая шубейка до сих пор не на мусорной свалке, а на плечах аксакала.

— А-а-а! — только и протянула тетушка.

Чуть позже мы сидели на кухне и пили чай с вкусным клубничным вареньем. После уличной непогоды, непреодолимого подъема кухонное царство тетушки Кульзипы казалось мне тихим, уютным раем. Мирно, возбуждая взор, желтели разбросанные румяные баурсаки, в крохотных тарелочках плавилось крупитчатое коровье масло. Саин-ага шумно отхлебывал из пиалы и раздумывал, с чего бы начать. Я соблюдал положенный в таких случаях такт и тоже потягивал чай.

— Я ведь выходец из аула, из многодетной семьи, — негромко начал Саин-ага. — Так вот, из нашей семьи, так сказать, в люди, пробился я один. Остальным не удалось. Ведь наше детство

проходило в трудное для страны, для людей время. Я отчетливо помню голодные годы. Но не будем о грустном. Ты очень внимательный молодой человек, тебя заинтересовал мой выдавший виды старый полушубок. Конечно, с тех далеких лет, когда я, будучи мальчиком-сиротой, вечно ходил в обносках с чужого плеча, с тех пор, когда я зацепился зубами за эту жизнь и шаг за шагом поднимался по шатким ступенькам судьбы, вот уже много лет как я не носил такой старой одежды. Да и этот полушубок не мой. Я не знаю, откуда уж он взялся в той разваленной котельной, но я подобрал его там. Настолько непривлекательным был его вид, что, кроме меня, никто на него не отважился позариться.

А дело было так...

Саин-ага тяжело вздохнул, выговорив мудро:

— Ай, омир-ай! (Эх, жизнь!) — затем вдруг весело рассмеялся и продолжил:

— Долгие годы у меня не было возможности поехать в родной аул, уделить должное внимание тамошней родне. Вначале учился, не разгибая спины, один вуз, за ним другой, потом Высшая партийная школа. Затем, не разгибая спины, работал, все время мотался в творческих командировках. Писать приходилось даже верхом на двуторбом верблюде, под изнуряющей жарой.

— Им и так неплохо жилось в то время! — подала реплику молчавшая до этого тетушка. — Никто их не обижал, зная, что это твои родственники, ни агроном.

— Да, что правда, то правда, если не считать их паршивого зоотехника, — согласился Саин-ага, — в советское время им жилось в ауле неплохо. Дети учились в школе, в соседнем райцентре, работой они все были обеспечены. В те годы ведь как было, ходишь на работу, значит, в конце месяца будет тебе зарплата. А тут, как гром среди ясного неба, вдруг свалилась какая-то рыночная экономика! Что это та-

кое? С чем ее едят? Мажут ли ее на хлеб, точно густой каймак? Вначале стал разваливаться райцентр. Перестала работать автобаза. Ее директор, прежде один из самых уважаемых людей, остался не у дел. Закрылась «Райсельхозтехника», вслед за ней стали закрываться детские садики, кинотеатр. Прежняя жизнь затрещала по швам. Крутом началась массовая безработица, невыплата пенсий, да что там говорить, ты и сам это все знаешь! В один из таких дней я и приехал в аул, в дом моего среднего брата. Его жена, моя невестка, всегда отличалась острым языком, которым с утра и до позднего вечера пилила его. За его природную лень, за то, что не встретил пятнистую корову, за то, что кто-то из шустрых аульчан выдоил за это время половину ее вымени, за то, что так называемый писатель, его брат, не заботится о них и если бы они были ему хоть немножечко дороги...

Конечно, ей было за что сетовать на жизнь. Средний брат, как и все аульчане мужского пола, увлекался спиртным в ожидании — что же будет дальше с этой жизнью? Но будь она умной женщиной, то, наверное, сумела бы каким-то образом перевоспитать его.

Так вот, не успел я, как говорится, войти в дом, как невестка стала рыдать, жалуясь на судьбу, ставшую совсем беспросветной.

— К тебе судьба отнеслась чересчур милостиво, — тараторила она, не давая и рта раскрыть, — а вот к нему? Почему она так несправедливо устроена? Одному дает все: красивую одежду, дорогую машину, квартиру с горячей водой, почет и уважение, в газетах про него пишут! Ты и за границей бывал не раз. Как говорится, весь жизненный интерес повидал. А вот что видел, к примеру, твой средний брат? Да и другой твой братишка, живущий здесь? С утра до вечера вокруг навоз, а вместо музыки, которую вы, наслаждаясь, там слушаете, в городах своих, нам здесь блянье овец!

— Ладно, хватит, баба! Рот не закрывается с самого утра... Уй-й! — в сердцах закричал средний брат, швыряя в занудливую жену грязным сапогом. — Ставь, давай, чайник на печь, все-таки это твой кайн-ага приехал, — и, помолчав, видно, найдя этот довод важным, добавил слова: — Как-никак!

Невестка с воплем выбежала из дома, успев схватить на ходу в руку зеленый эмалированный чайник.

— Не обращай внимания, в какие-то годы ты приехал, а тут эта баба, будь она неладна, проклятая, будто взбеленилась, — стал оправдываться средний брат. Он всегда был добр по отношению ко мне. Нелегкая аульная жизнь наложила на него свой отпечаток. Лицо и шея его и зимой, и летом были темно-коричневого цвета, изрезанные глубокими, словно овраги, морщинами. Крупные кисти рук с набухшими голубыми жилами изнутри были сплошь покрыты окаменелыми мозолями.

К вечеру баран, зарезанный, несмотря на все мои возражения, был сварен.

— Ты и тут хочешь оскорбить нас, подчеркнуть свое положение, когда это было видано у казахов, чтобы к приезду гостя не зарезали барана? Мы, может, хоть и нищие по сравнению с вами, но гордые. Последнее отдадим гостю, но не осрамимся, — опять заверещала неугомонная невестка. К ней присоединилась и другая, жена самого младшего, подпевая тонким голоском. Если жена среднего была хоть и чрезмерно толстой, но шустрой бабенкой, на которой и держалось все хозяйство, то жена младшего за то время, что я ее не видел, совершенно высохла, напоминая египетскую мумию. То ли от болезни, то ли от бессильной злобы на весь белый свет, и вдобавок ко всему была ужасно ленивой, как раз в пару моему бедному младшему брату. Они так и жили, с самого утра проводя время в бесконечных спорах, кому

из них идти за водой, либо кто должен давать сено скотине, мычащей от голода во дворе.

Наконец-то, за низкий стол на большом блюде была подана баранина, отдельно от нее подали голову. Проворная толстая невестка, вытерев об лоснящийся от жира поношенный байковый халат руки, откуда-то из сеней, словно драгоценность, принесла бутылку дешевой водки и почти торжественно водрузила ее в самом центре. Средний брат оживленно заработал ножичком, нарезая дымящееся мясо, а младший, сорвав зубами пробку с горлышка, принялся разливать водку по большим граненым стаканам. Делал он это со знанием, с удовольствием, побряхтывая, для чего-то причмокивая. Когда водка была разлита, средний брат растолкал нарезанное горкой мясо по сторонам, подвигая ко мне лучшие, на его взгляд, куски.

— Хватит тебе толкать всю вкуснятину в одну сторону, у нас тоже рты есть, — пропела тонким голоском жена младшего, и я не понял, то ли это была такая шутка, то ли она и вправду забеспокоилась за судьбу мяса. Однако аппетит у меня после всего пропал, хотя очень хотелось есть.

Мне было очень больно наблюдать эту картину, но и винить я мог только себя. С ранней молодости, с тех пор, как уехал тогда в город, так и бросил интересоваться по-настоящему судьбой своих братьев. Я был поглощен своими творческими проектами, новыми книгами, встречами с читателями, поездками. Аул для меня всегда был местом, где я мог почерпнуть новые силы, мои братья жили себе вольно-привольно, не жалуясь на судьбу и мне всегда казалось, что их устраивает их жизнь, и тогдашнее выступление взбунтовавшихся жен окончательно сбilo меня с толку.

— Так вот, — Саин-ага отхлебнул горячего чая, зачерпнул ложечкой сахар, бросил его в пиалу, помешал и неспешно продолжил, — братья мои

пили водку, а невестки буквально насели на меня, видно, в отчаянии решили выдоить из своего кайнага хоть какие-то деньги.

— От него у вас четверо племянников, — толстым, как сосиска, прокопченным пальцем со сломанным наполовину синим ногтем старшая сноха ткнула в сторону не обращавшего на нее внимания среднего брата, точно она была непричастна к появлению на свет своих детей, да и племянников было не четверо, а двое, и две племянницы, — и от этого, — она перевела направление пальца на младшего — две. Младший брат взбеленился, соскочив с места, забыв совершенно о моем присутствии. Он с самого детства рос у нас несдержанным, оберегаемым старшими, а нас в ту далекую пору было с десяток человек, это потом многие покинули этот мир, уйдя в лучший. Это право младшего дало ему возможность сохранить себя, несмотря на то, что ему тоже на тот момент было под пятьдесят. Но он все еще чувствовал себя таким аульным баловнем судьбы. Взгляд его карих глаз так и бегал стремительно, стоило ему увидеть молодуху на улице, а уж коль эта встреча происходила где-нибудь в тесном, темном месте, то проходу от него не жди.

— Вырвать бы тебе твой этот палец! До каких это пор ты будешь тыкать им в меня? — буквально задохнулся от бешенства он и тут же яростно напал на свою жену. — А ты что молчишь, почему позволяешь ей бесчестить меня? Или до сих пор переживаешь, что мясо было сдвинуто не в твою сторону? Тут, забыв про мясо и про все другое на свете, точно ужаленная, соскочила с места жена младшего.

Саин-ага вновь ненадолго умолк, чтобы перевести дыхание, а мое бурное воображение мгновенно нарисовало портрет жены младшего брата аксакала. Кроме того, что Саин-ага сказал о ней, что она была похожа на египетскую мумию, я увидел ее узкие раскосые, рысьи глаза, острые желтые ску-

лы, плоскую грудь, руки — тонкие, но удивительно цепкие. Таких рук вполне могла бы и побаиваться толстая, неповоротливая жена среднего брата.

— Который год это происходит, сколько же можно терпеть ее язык, не зря говорят в народе «терпеливому мулу достается больше поклажи»! — запримечала она протяжно.

— Эй! Кто ты такой, чтобы грозить моей жене? Пока еще ты мой младший брат, а не я твой, — энергично вдруг встрял в спор средний, до той поры молча наблюдавший за происходящим. Он уже тоже не обращал внимания на меня, голос его набирал обороты.

Но младший непокорно взвился:

— Когда в позапрошлом году подыхала твоя пятнистая корова, не в состоянии разродиться, к кому ты прибежал среди ночи? Кто, если не мы с женой, по ночам, не смыкая глаз, дежурили и молили бога о том, чтобы он не лишил тебя приплода. А теперь ты, когда пузо твое полно, обо всем этом забыл!

— Да как ты смеешь, сидя в моем доме, негодник, поедая мясо нашей овцы, повышать голос на своего старшего брата. Кто, как не он, вытащил тебя из уголовного дела, когда зоотехник собирался ехать прямо в прокуратуру, чтобы писать на тебя бумагу за пропажу совхозного скота.

— Да они сами с директором совхоза поразбазарили весь этот скот и решили свалить все на меня..... «у сильного всегда бессильный виноват», — взбеленился опять младший, удивляя меня знанием одноименной басни Крылова. Воспоминания о тех нелегких, хоть и давно прошедших днях, точно впрыснули адреналин ему в кровь.

— Ой, бедные мы, бедные! Был бы у нас, как у других в роду защитник, разве посмел бы зоотехник оклеветать его на весь район. Ведь еще немного и оказался бы он за решеткой! — подхватила худышка.

— А как же! Самый старший живет в городе в почете и уважении. Зачем ему нужны братья, их семьи. Разве не одна мать вас родила, почему вы, уважаемый кайн-ага, столько лет не интересовались нами, живы ли мы, а может, половину из нас уже на погост снесли? — толстая сноха обрадовалась такому обороту и мгновенно повернула их возмущенный разум, направляя его в другое русло.

— И вправду, ты бы помог нам выбраться из этой грязи. Столько лет мы живем в ауле, ты же живешь в городе, мы целыми днями ходим за скотиной, а ты в это время ведешь заумные беседы. Ты же у нас заслуженный писатель, перевези нас в город, хоть мы и младше тебя, но и наша жизнь уже катится к старости. Дети выросли, теперь они сами по себе, а мы с ней еще понежимся на перинах, а-а-а? — средний брат, не стесняясь меня, шутиливо хлопнул свою толстуху ладонью по заду.

Младшему, видно, понравилась перспектива жизни в городе, где, на его взгляд, мгновенно снимались целые ряды вопросов.

— Давайте, действительно, подадимся в город, авось, не пропадем с голоду там, где другие выживают. Столицы нам не нужны, а вот областной центр будет в самый раз. Там и родня наша есть, будет с кем пообщаться.

Тут, забыв, что только сейчас они яростно поливали друг друга грязью, загалдели, как сороки, сразу обе снохи.

— Перевезите нас в город. Хотим тоже попробовать пожить, имея в доме горячую ванну, теплый туалет.

— Чем же вы станете заниматься в городе, ведь надо на что-то жить?

Снохи мгновенно переглянулись сначала между собой, а потом со своими мужьями, в растерянности. Об этом никто из них почему-то не думал. Всем грезилась жизнь — сладкая, сытая, беззаботная.

— Ну, чего замолчали сразу, — вдруг гаркнул средний, — как что, так в кусты. Не хуже других, что-нибудь да придумаем.

Чай в наших пиалах уже давно остыл. Тетушка Кульзипа взялась его подогреть. Саин-ага надолго замолчал. Точно старые, слежалые вещи, перебирал он события тех минувших дней. Я выдержал паузу, соблюдая положенный в такие мгновения такт, но, не имея больше терпения, спросил аксакала.

— Что же было дальше, ага?

Он отозвался не сразу, через некоторое время.

— Были у меня на тот момент кое-какие деньги. Скопленные гонорары за мои книги. Я и вправду испытывал искреннее желание помочь им. Одно меня очень беспокоило, на что они станут жить в городе

— Но ведь была же у них, наверное, какая-то скотина, ее можно было продать, — вклинился я со своими примитивными знаниями рыночной экономики.

— По ночам мне спать не давал, донимал сомнениями. Я и говорю ему, откуда же я знаю, принимай сам решение, — вздохнула тетушка Кульзипа.

— Да какая уж там скотина! По паре коровенок на семью, да по несколько худых овец, вот и все, что нажили мои братья за целую жизнь в ауле. Советская власть всех развратила. Разучила работать, да и еще пресловутое раскулачивание многие помнили. Одним словом, купил я им в городе квартиры, перевез их в них из аула. Если бы ты видел, дорогой, с какой завистью смотрели на них аульчане, точно они ехали туда, где все сахаром посыпано.

— И как же они обустроились в городе? — спросил я, искренне увлеченный этой историей братьев аксакала.

— Устроились неплохо. Квартиры им понравились. Целыми днями мои братья со своими женами, принаряженные, ходили по улицам города, показы-

вая себя, осматривая других. Ну, а я после долгих раздумий и переговоров с местным акимом, который, как оказалось, был старым поклонником моего творчества, выкупил им новую городскую общественную баню. Баня была построена всего за три года до того, на нее было любо-дорого смотреть. Высокая, светлая, с большими окнами, с собственной котельной, огороженная красивым забором.

Аким так и сказал тогда:

— Если бы не ваша просьба, Саин-ага, я сам выкупил бы эту баню.

Одним словом, на семейном совете, продолжавшемся несколько часов подряд, с ссорами, склоками, ковыряниями в стародавних обидах и обвинениях друг друга в грехах невероятных, все же утвердили, кто будет старшим, кто кассиром, кто ответственным за работу котельной. Когда все обсуждения закончились, я вздохнул, и, как мне показалось, помолодел на несколько лет.

Саин-ага утомился от собственного рассказа, горечь воспоминаний сушила ему полость рта и он без конца отхлебывал из пиалы. Он сидел, подперев голову ладонью, взгляд его был ясным, но грустным.

— Жалган-ай! Жалган-ай! — говорил он, покачивая головой, отчего его седые волосы в свете галогенного освещения отливали серебром.

— Я тогда уехал в Алматы, пару лет специально не звонил, чтобы потом невестки не сказали, что я, купив им квартиры и пресловутую баню, вмешивался в их дела, чуть ли не требуя с них отчета. Эй, жалган-ай! Омир-ай! Ах, эта жизнь, сложная и смешная! Одним словом, когда я приехал в их областной центр, то первым делом, не заходя к ним домой, пошел глянуть на баню. Глазам моим предстала страшная картина. Ко всякому я был внутренне готов, чего уж греха таить! Но только не к такому. Забор куда-то исчез, точно его там не было сроду. Внешний фасад бани был похож на тело прокаженного, покрытого безоб-

разными язвами, столь уродливо он выглядел. В окнах бани не было рам, а там, где они чудом сохранились, заколоченные крест-накрест черными досками, вместо стекол зияла чернота. Входной двери тоже не было, и я, пересилив себя, перешагнул через порог и вошел внутрь этого бывшего храма чистоты. Внутри было пусто, куда-то подевались все эти шкафчики, лавочки, посреди невообразимого бардака и наваленного хлама, там и тут, словно в очередной раз подтверждая, что жизнь — дерьмо, темнели крохотные кучки человеческого дерьма и по залу гулял сквозняк. С тяжелым сердцем я обошел баню и зашел в котельную, чтобы уж испытать чашу, отпущенную мне, до дна. В котельной не было ни одной трубы, ни одного вентилля, ни тех самых котлов, которыми так гордился аким, когда показывал мне баню. Оказывается, все ушло на металлолом, как я потом выяснил. Братья мои и их несносные жены не смогли вместе работать. Никто не хотел никому подчиняться, кассир не желала отчитываться о количестве проданных билетов и вырученных денег. Младший брат, что был ответственным за работу котельной, поистратил назло жене среднего деньги, отложенные на покупку угля, а потом пошло и поехало! Средний продал за бесценок саму баню, младший — котельную, после этого они, оказывается, все эти годы не общались между собой и только перед моим приездом стали разговаривать. Так вот, ты спросил у меня, откуда этот полушубок в нашем доме. Ты очень внимательный молодой человек. Когда я вошел в котельную, там на стене и висел этот самый полушубок, заскорузлый, почти не сгибающийся и, видимо, никого уже не прельщавший. Я и забрал его с собой, не пропадать же добру!

Реальная история, выслушанная мной в предгорьях АЛМАТЫ.

19.05.2004.

НА ЧТО ПОХОЖИ ОБЛАКА?

Я сидел на самом краю земли. Вокруг едва поскрипывали березы, пахло дичью, свежей травой, болотом и комарьем, а прозрачный воздух был преисполнен тихой тоски. Черная рубленая деревенька с вросшими в землю домами и покосившимися трубами и пятнами нерастаявшего снега вокруг и разлившимися озерцами, наполненными талыми водами, открылась взору, когда я, выбившись из сил, выбрался на опушку из темного леса. Здесь была ранняя весна, от нагретой земли парило, и дрожащее марево стояло над ней, и удивительно щедро лились сверху солнечные лучи и, казалось, если потянуть за эти золотящиеся нити, то можно притянуть солнце. После долгих шатаний в дремотном, влекущем чащобами, наполненным ночными, вгоняющими в оцепенение таинственными звуками царстве, сюда привели ноги мое бренное, усталое тело. Как великая милость, посланная свыше, как дорогая награда явилась мне эта наполненная светом тихая опушка, куда я притащился с израненной душой и искромсанным, кровоточащим сердцем. Обессиленный, я сидел в сухой, прошлогодней траве и смотрел на точно сошедшую с иллюстраций, прочитанных в детстве и уже забытых сказок, заброшенную в бескрайних лесах и топях причудливую деревушку. Занесло их илом жизненных событий, оттого что многое, во что я верил с чистым, еще незамазанным детским максимализмом, очень и очень многое из тех сказок в моей жизни не сбылось.

Не приплыла ко мне золотая рыбка с прозрачным вуалевым хвостом, не поймал я и жуку в стылой проруби. Сбылись лишь те из них, в которых властвовали Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Да и Бабы-Яги уж чрезмерно часто попадались мне. Отчего же вышло все наоборот с моей

Василисой Прекрасной? В той чудесной сказке Василиса, сбросив с себя ненавистную зеленую шкуру лягушки, обратилась в милую красавицу, а моя, из прекрасной, как утро в горах, чистой, как божья роса, качающейся на тонком стебельке травинки на моих глазах обернулась в бессердечную лебедь-птицу и, сложив крылья, непокорная, скользнула в воду и уплыла по журчащей струе, растворяясь в поднимающемся тумане.

Я кричал ей вслед, умоляя не оставлять меня одного, потому что больше всех на свете верил ей одной, как можно верить только матери, но она уже плыла к другому, и ее уже не трогала судьба того, брошенного ею одиноким на пустынном, ветреном берегу.

Стало зябко обескровленной душе, да так зябко, как не бывает в самую лютую стужу. Бывает в природе состояние, когда светлый день неожиданно темнеет, точно неведомая сила давит небо к земле, в один миг все вокруг сгущается и тогда сразу становится поздно.

И для меня наступил тот самый день, когда вдруг все стало поздно.

Все краски мира, огромного мира, разом поблекли и стали серыми, и не в силах больше оставаться среди людей, безжалостных и бессердечных, обманчивых и расчетливых, очертя голову, я бросился бежать и очутился в полном загадок и тайн волшебном лесу.

Тогда, тогда, тогда, в сумрачных полосах света я увидел, что покрываюсь жесткой, серой шерстью и почувствовал, как вздыбилась на мне холка и мне не стало страшно от обращения в волка, я широко раскрыл пасть и вдохнул холодный, морозный воздух, который нес северный ветер, и громко лязгнул клыками. Боль, трепавшая мое человеческое сердце, зажглась теперь и в волчьем и, поселившись в нем, стала терзать

его с нарастающей силой, которую невыносимо было терпеть. Она стремительно нарастала, точно само сердце увеличивалось, наполняясь ею, и, достигнув критической отметки, грозило разлететься на ошметки.

И тогда я стал кружиться выюном вокруг самого себя, пытаюсь поймать и отгрызть себе хвост, хотелось выть и валяться на темном снегу, истукая себе до крови лапы и исцарапывая морду, в жутком порыве распороть свой живот и пожрать собственные внутренности.

Я кувыркался в стилом и мрачном лесу, на холодных сугробах, усыпанных острыми хвоинками, перечеркнутых длинными, черными тенями вековых елей, и визжал от ярости и бессилия, а лес скрежетал и хохотал. Я был до хрипоты, до надрыва лёгких, растопил вокруг себя крупинчатый снег солеными слезами и, собрав остатки сил, поднялся и побрел на изгрызанных лапах куда глядят глаза, на край земли.

Путь мой был труден, я истощал, бока мои проваливались, меня шарахало из стороны в сторону и серая шкура кровоточила, изодравшись об колючие и злые ветки, и с подгибающимися и дрожащими от усталости лапами я неожиданно выбрался на эту самую опушку.

Духмяный запах свежееиспеченного хлеба, идущий из деревни, мучительно дразнил, и я тянул его во влажные ноздри и косил гнойными глазами в сторону ставших родными буреломов, но еще живший во мне от человека немой зов к людям поборола, и я, озираясь в надежде передумать, боком засеменил к черным избам.

Пьяное деревенское мужичье, на которое я напоролся, точно на свою погибель, злобно было набросилось, похватав вилы и топоры, еще бы миг и разнесся бы по округе несущий сивухой призыв:

— Ату его, серого! Ату! Ату!

И погнали бы на меня своих блохастых псов и началась бы Великая травля. И не выжить бы мне, не напусти я на себя запах говенной дворняги, слишком неравны были силы и не убери гневный, волчий блеск из глаз и не заковыляй, уподобившись шелудивому, припадая на одну ногу, вымаливая к себе жалость со стороны лютого мужичья.

Моя хитрость сработала, путая руки, мужики покрестились спяну от пуза ко лбу и успокоились, разбрелись по домам, разочарованные, доедать сивуху, бормоча в прокуренные усы:

— Не зря говорят, что первак на махре, настоящий по бельмам, бьет! Вот псину за серого и приняли...

Я бы и проковылял мимо той деревушки, если бы меня не окликнул от избы крайней к лесу, куда я так стремился, чтобы укрыться в нем, слабый, почти детский голос. Я обернулся и стал вглядываться туда, откуда ко мне пришел тоненький, словно писк комара, голосочек, и с трудом разглядел древнюю, худую старуху и, жусть, острыми иглами пробежала по коже парализовавшая меня мысль, что вновь мне повстречалась Баба-Яга.

Лицо и одежда ее сливались с серостью стены дома, сплошь покрывшегося зеленым мхом и изъеденного жуками-короедами с истрескавшимися от дождя, снега и солнца, выгнутыми кверху досками крыши. Рубленые венцы углов разъехались и торчали нелепо, точно прогнившие зубы, и первым желанием было броситься наутёк к спасительным и желанным трущобам, но я сумел одолеть в себе первородный страх и приблизился к ней на безопасное расстояние.

— Я слышала твои шаги. Почему ты припадаешь на правую ногу? — раскрыла рот и প্রশамкала грозно старуха.

— Потому что в бессильной ярости я изгрыз ее, — дерзнул я ответить Бабе-Яге.

— Тебе очень больно ступать на неё. Ты не волк, я это чувствую, хоть и обрядился в серую шкуру. Ты не сможешь идти далеко, тебе надо набраться сил.

Слова ее сразили меня, я взглянул ей в глаза и понял, что старуха совершенно слепа, и тогда я безбоязненно шагнул к ней, чтобы разглядеть ее руки.

В тот миг для меня это было важно. Узкие, сухонькие, с крохотными кистями ручки мирно лежали на острых коленках, выпирающих из-под ветхой и выцветшей материи юбки, и кожа на них была удивительно прозрачной и под ней по тонюсеньким жилкам струилась светлая, голубая кровь.

У меня отлегло от сердца, ведь я знал, что у ведьм кровь чёрного цвета, но следующая фраза старухи окончательно повергла меня в шок, оттого что она спросила у меня такое, что никто и никогда не спрашивал у меня.

— Я живу уже больше ста лет, давно ослепла и потеряла счет своим годам, и все же я продолжаю смотреть на небо и пытаюсь распознавать облака. Подними голову и Расскажи мне, на что сегодня похожи они? — попросила робко грозная старуха. Точно горячей пулей в сердце сраженный наповал ее необыкновенной просьбой я задрал вверх голову и пошатнулся от увиденного на небе.

Небо в тот миг было бездонное, манящее к себе, и голубое, цвета крови старухи.

Меня зашатало, земля зыбко уходила из-под ног, и голова моя закружилась, и окрестный березовый лес хороводом побежал вокруг меня, и прямо к сердцу подступила тошнота. Я качнулся из стороны в сторону, пытаясь удержать равновесие, но земля всей плоскостью выворачивалась из-под меня, точно корабельная палуба во время страшного шторма.

ма. Так выворачивается из-под ног плоская доска у безумца-серфера, у безумца, возмнившего себе, что он может оседлать дикую волну. Я рухнул рядом со старухой, успев ухватиться за ее тонкую ручечку, которая должна была отломиться, но, чудо, я почувствовал в той руке старухи удивительную силу, которая удержала меня от смертельного ушиба. В ушах у меня плыл причудливый звон и сквозь него я впервые явственно услышал, о чем шепчутся берёзы и о чем они жалятся, и как всхлипывает болотная топь, и занудно пищат, переругиваясь между собой в непримиримом разладе, мириады комарья.

И как близкая к нам скособоченная берёзка, рыдая, сетовала соседке, что нижние ветви ее почернели и стали отмирать, и пышная, и оттого, наверное, добродушная соседка ее сжалилась, проникнувшись горем многолетней знакомой, и тоже всплакнула, всхлипывая, и по полному стволу её потекли светлые слёзы.

А другие, дальние, шептались между собой о том, что весенние, паводковые воды окончательно вымочили их и потому они теперь останутся без шелестящей листвы.

Всё, что я услышал в тот миг, происходило лишь краткое мгновение, но в следующий я набрался смелости и вновь поднял к небу голову.

Там, в безбрежной голубизне небесного океана, плыла она, моя Василиса! Отчетливый портрет ее прекрасного лица скользил прямо надо мной. Я был сражен. Из ее больших, выразительных серых глаз то сочилась к земле немая просьба понять и простить ее, то сквозила какая-то немая жалоба, то вдруг они суживались и в них мелькало злое удовлетворение над покинутым, брошенным мной, и мне увиделось, что ее красивые, пухлые губы слегка растянулись и ядовито улыбнулись.

Я скосил свой взгляд чуть правее и увидел большую белую юрту, перехлестнутую арканами

и с закрытой дверью. Это были плохие приметы: не стоял мальчик в национальном чапане с кувшинчиком в руках, чтобы слить на руки, и дверь юрты, закрытая наглухо — эти образы неприятно шевельнули мое дремучее волчье сердце и, ошарашенный и оглушённый, я не понял посылаемого мне Высоким ТЭНГРИ знаменья и в страхе отбросил взгляд правее, туда, где оно слилось с полукружьем земли.

— Так на что похожи облака? — крепко, до боли, такой, что я чуть было не вскрикнул, сжав руку, спросила старуха.

— На мою Василису! — прошептал я вмиг пересохшими губами, повесив голову, будто из меня вынули стержень, державший ее на протяжении всех лет.

— Ты любишь её?

— Любил. И теперь люблю. Но хочу забыть.

— Отоспись у меня на печи, тебе не надо быть волком, ты не сможешь быть им, слишком много в тебе человеческого, просто выплачься, — проговорила старуха, вновь поражая меня своим голосом, что-то произошло, и он уже не был так скрипуч и неестественно тонок.

У меня не было сил обдумывать эту мысль, и я посмотрел на темнеющий лес, неприветливый и дальний, и оттого пугающий и, пошатываясь, точно возвращавшийся с хмельной пирушки мужик, побрел в избёнку.

В передней, лубочно миниатюрной комнатке, среди темной древней мебели, расставленной по углам, можно было чувствовать себя перешедшим в сказку, если бы не горевшая под низким потолком тусклая, засиженная мухами электрическая лампочка.

Отяжелевшие веки тянули вниз, словно на каждое из них повесили гирьку и я, вскарабкавшись на печь, вытянул усталое, ноющее тело и в голове

скрипучей телегой протащилась мысль о гениальности этого изобретения.

Я провалился в сон, точно бухнулся в темноту колодезного сруба. Всю ночь противный и липкий пот лился с меня, точно вода, и снились мне остро заточенные топоры и угрюмые, пьяные рожи мужичья, и Кощей Бессмертный со Змеем Горынычем налетали на меня, и зеленый Водяной тянул в болото, уцепившись длинными и когтистыми пальцами за мой волчий хвост, и упыри скакали по берегу, заросшему молодой осокой. Я чувствовал, как стягивается с меня заживо серая волчья шкура и, наконец, выхлупываясь, мне удалось выскочить из нее, покрытому лишь тонкой человеческой кожей, и как ненавистный Водяной со шкурой ухнул в воду и только булькнула она и по поверхности пошли большие круги.

Мое обретенное заново человеческое сердце, лихорадочно бившееся точно в ознобе, разом посветлело и застучало тихонько и равномерно, измотанный борьбой, я дал ему волю и почувствовал, как оно, сжавшись до крохотного комочка, полное боли, стало плакать.

Оно оплакивало жестокую Василису, отравившую его навек любовным колдовским зельем и затем превратившуюся в надменную и злоую лебедь-птицу, и удивительным в том сне было то, что волчий вой в пустом, стозвонном лесу было тяжелей перенести, чем этот плач сердца. Под утро, выплакавшись и окончательно выбившись из сил, я ушел в глубокое забытие, в котором гудело какое-то эхо, что-то ухало, бухало и громыhalo, точно все происходило в огромной и пустой пещере. Первые лучи солнца настойчиво пробились сквозь мутное, годами немывтое стекло в комнатку, и в моем еще спящем сознании что-то негромко треснуло, мозг очнулся и тут же зависшим компьютером выдал мне

мысль о ней. Сразу же во рту появилась горечь, и я подумал о том, что лучше бы я не просыпался, а ушел прямо отсюда, с этой пахнущей известью, тараканами, и мышами печи, прямо в мир иной. Я лежал с закрытыми глазами, думая о парадоксах этого мира, бросающего человека то в сладчайшую негу земного рая, то в смертельный пруд, наполненный ядом земного ада.

Сухой скрип половицы вырвал мое смутное сознание из струи этих рассуждений, и я услышал грудной и идущий глубоко изнутри старушечий шепот, показавшийся зловещим и отпугивающим.

— Асэры, матэры, зибуры, тибуры, сварты, хамарты, стеги, метеги, злобуты, маобуты, зыдени, поитени, зулиса оборотень, Василисою нарекш, в пустомять, в злобу, синь-траву превратши, у зверья под ногами топчая, чист сердце витьязя обманув, за то пока тебе не будет, буде ты росно лить вечно слёзы, сужде те тело сво тащить, худо от памяти и не вытеть обра те со перьев лебядя.

На лицо моё упали капли воды, веки предательски вздрогнули, но я не посмел шевельнуться и, чувствуя, как от ужаса происходящего немеют конечности, продолжал лежать в жутком оцепенении.

— Асэры, масэры, зибуры, сибуры, осэры, мосэры, въздру, выбру. Будешь ты сила, в смяте, в суге, убряже зла дева! — продолжала шептать старуха.

Боль, все эти дни пронзавшая и корежившая мое тело, стала потихоньку отступать и вытесняться, и вместо неё вливалась прежняя сила.

Преодолев страх, я слегка размежил веки и увидел склонившуюся над собой старуху.

Маленькая головка ее не была покрыта. Белые волосы нависли, заслоняя остренькое личи-

ко, и сквозь открытые веки прямо на меня смотрели пустые глаза без зрачков, маленький рот был скошен, и узкие губы зловеще шевелились, а когда смыкались, верхняя собиралась в десятки морщин.

По щекам старухи струями текли слёзы, они затекали в глубокие впадины морщин и оттуда вливались в уголки её бескровных губ.

Старуха уже прекратила нашептывать свой наговор и теперь безмолвно размахивала тонкими ручками над моей головой, и я чувствовал себя не взрослым мужем, нет, крохотным ребенком, слабым и беспомощным. Пытаясь наблюдать за ней, я не заметил, как погрузился в сладкую негу сна и проспал неизвестно сколько времени и, проснувшись, обнаружил, что из тела моего куда-то делась усталость и мысли стали легковесней и прозрачней.

И я вновь вспомнил, что происходило со мной, осмотрел комнатку и убедившись, что она пуста, быстро спрыгнул с печи и вышел на улицу. Старуха сидела на прежнем месте, положив руки на колени. Со стороны казалось, что она дремлет, как вдруг плотно сжатые губы ее разомкнулись.

— Ты сказал, что хочешь её забыть. Я могу заставить ее вечно мучаться. Скажи мне, за свою боль и обиду хочешь ли ты, чтобы она до конца дней своих мучалась в думах о тебе?

— Нет, бабушка, нет! Не хочу!

— Тогда будешь мучаться ты. Я напою тебя охранитравой и дам с собой в дорогу. Но она не сразу поможет, любовь твоя к ней необыкновенно крепка. Возьми в сенях горшок, в нем охранитрава, выпей сейчас и пей каждый день. Когда она закончится, ее печать будет стерта с твоего лица. А теперь уходи, путь твой будет долг, до тех пор тебе не будет покоя, пока

ты не выпьешь ее всю. Иди! — старуха взмахнула рукой, то ли благословляя меня, то ли изгоняя прочь, рассерженная за мой ответ.

Я взял в сенях глиняный горшок с охранитравой и пошел задами, спотыкаясь, но не оглядываясь, через огороды, в сторону пролегающего большака, и черный лес не манил меня больше и впереди ждала дорога очищения.



НЕКРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДНЯ

Чья-то волосатая, огромная рука просовывается сквозь стену. Она со скрежетом раздвигает кирпичи, осыпая куски штукатурки. Огненно-красные волосы на ней колышутся. Я с ужасом наблюдаю за происходящим, но ничего не могу предпринять. Все члены тела скованы, безжизненны. Алчная, страшная лапа на ощупь ищет выключатель. Шевеля толстыми, сосисочными пальцами, отвратительная рыжая кисть добирается до него. И тут яркий взрыв, коротко вспыхнув, замыкает проводку. Белая электрическая дуга хищным пауком вцепляется в руку. Рассыпая пучки искр, слепя глаза, она начинает разрезать ее. Непрошенная гостья корячится, безумно мечется. В огне трещит шерсть. Комната наполняется тошнотворным запахом горящей кожи. Струя темной, густой крови зависает в воздухе. Затем плавно, в рапиде, опускается вниз. Я вижу, как плавится кисть и, отделившись от предплечья, со стуком падает на пол. Из опаленной плоти наружу вылезают омерзительные черные черви. Твари, извиваясь, ползут по ней, большими ртами отрывая куски жженого мяса. И, причавкивая, поедают.

Пронзительно звенит будильник, разгоняя страшный сон. Хриплый стон вырывается из груди. По груди струйкой сбегает холодный пот. Тело мелко трясется в ознобе. Шокированный мозг медленно приходит в себя, осознавая явь. Вжимаясь в спинку дивана, с трудом поднимаю голову. Долго, пристально всматриваюсь. На паркете валяется безобидная плюшевая кукла. У-у-у-ф! Горячий душ ободряет и приводит мысли в порядок. По телевизору идут утренние новости.

«...В Европе, на железной дороге, произошла чудовищная катастрофа. Десятки убитых и сотни

раненых. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

...В Нальчике террористы продолжают удерживать захваченный накануне дом и заложников. Бойцы СОБРа готовятся к штурму здания. Имеются сведения о принадлежности их к группировке полевого командира Руслана Дадаева.

...Продолжается суд над гражданином России Виталием Балаевым. Он обвиняется в убийстве авиадиспетчера. Напоминаем вам, что в результате крушения самолета «Боинг» погибли жена и дочь обвиняемого. Суд оправдал авиадиспетчера, однако неудовлетворенный решением присяжных, Виталий Балаев убивает его».

— Час от часу не легче! — тащится в голове досада.

Едва слышимый щелчок и телевизор умолкает, оставив в себе недослушанные новости.

В офисе чисто и тихо. Недавно взятая секретарша сообразительна. Увидев шефа, рисует на симпатичной мордашке улыбочку. Пунцовые губы расплзаются, обнажая сахарные зубки. Вид юной красоты приятно щекочет нервы, развеивая утренние страхи. Можно начинать рабочий день.

Требовательно звонит телефон. Порой он напоминает мне живой организм. Еще не прикоснувшись, чувствую, как от него незримыми биотоками исходят неприятности.

Все же поднимаю трубку. Так устроен городской человек. Голос в трубке напоминает о несданных отчетах.

— Конечно, сдадим сегодня же. Спасибо за напоминание.

Новый звонок не менее настойчив.

— Алло! Да. Слушаю. Да, да, конечно, без вопросов. Не сомневайтесь, пожалуйста.

— Вам чаю?

— Заварите покрепче.

— Дз-з-з-з, дз-з-з-з, дз-з-з-з....

— Слушаю вас...

— Звоню вам из банка, деньги еще не поступили.

— Они только что звонили, я пообещал им...

Очередное дребезжанье аппарата бросает в дрожь.

— Я на студию. Буду у художников.

Только в машине удается отряхнуться от навалившихся проблем. Немного газу, скорость всегда встряхивает. На повороте с волшебной палочкой в руках словно из-под земли возникает гаишник. Его жезл повелительно предлагает остановиться.

— Ну, вот! Вдруг, откуда ни возьмись...!

С сожалением покидаю салон и надеваю на лицо маску непорочного водителя.

— Будем выписывать штраф.

— Я очень тороплюсь, в следующий раз обязательно, а пока примите это, — вкладываю в ладонь стража улицы купюру.

Блеститель раскрывает пальцы и смотрит на ее достоинство.

— Больше не превышайте, — предостерегает он.

— Тогда ты останешься с одной зарплатой, — произношу про себя.

Еще только полдень, а у художников уже застолье. Хотя хорошую пьянку рекомендуется начинать с утра. Алкогольный градус бросает их обниматься. Небритая щека главного живописца царапает мне скулу. Осторожно отстраняюсь от него и присаживаюсь на стул.

На столе водка, в бумажном пакете сок, на промасленной газете куски курицы.

— Предлагаю выпить за кино стоя, — хрустя соленым огурцом, призывает декоратор.

На моей картине, декорируя богатый стол, он поставил дорогой коньяк и к нему соленые огурцы.

Круглое лицо сидящей напротив девицы напоминает мяч. Она жеманно держит граненый стакан двумя пальчиками. Белеющие из-под коротких рукавов пухлые ручки кажутся отрубленными руками Венеры Милосской. Водка катится по нутру обжигающим шаром. Через минуту в животе приятно жжет.

Творцы пьют размеренно, упорно. После тоста за кино вообще пьют персонально. Я выворачиваюсь, пропускаю, слегка пригубливаю, отбиваюсь:

— Я за рулем.

— За рулем у нас президент, а вы за баранкой, — вносит ясность лунолика. Ее взор к тому времени уже туманится. Масляно поблескивают зрачки. Взгляд ассистентки все чаще останавливается на мне. Приходится убирать свой в сторону.

По ящику передают:

— Президент Грузии Михаил Саакашвили и вновь избранный президент Украины Виктор Ющенко номинированы на Нобелевскую премию мира.

— Во дадут, суки! За что им премию? — возмущенно выдавливает декоратор и кладет голову в тарелку с салатом.

— Серега, очки хотя бы сними, — просит главный художник.

— Не буду. Жиды нас одолеют... — голосом Нострадамуса предрекает Серега.

Прямо над моей головой, тускло поблескивая, висит обоюдоострая боевая секира.

Шея невольно втягивается в плечи. Мраморная ручка девицы оказывается на моем колене. Пальчики осторожно шевелятся, поглаживая. Перед глазами всплывает другая, утренняя. Аналогия настолько сильная, что я спешу ретироваться. Когда ухожу, Сергей отрывает лицо от тарелки и мутными очами обводит сотрапезников.

— В-выпь-ем за кино. С-с-с-тоя!

В это время, в час пик, город как всегда страшно загазован. Это чувствуется даже в салоне «Максима». В заборник потоком льется угарный газ, дышать становится все трудней. Начинает поташнивать, словно на палубе. Отвлекает сочащаяся из колонок песня Лозы «Мой плот». Она вселяет необъяснимую зыбкую надежду.

— Но мой плот, свитый из песен и слов,
всем моим бедам назло

вовсе не так уж плох, — пел он.

Вниз, ближе к парку «панфиловцев», улица напоминает водоворот. Скопище машин не может разехаться. Какие-то отчаянные головы пытаются вырваться из затора. В воздухе гудит от разнотембровых сигналов. От бессилия пересчитываю количество «Мерседесов» вокруг себя. В поле зрения их оказывается немного. Не удовлетворившись, начинаю считать иномарки. На этот раз счет увеличивается. Почти во всех автомобилях по одному человеку.

— Если бы эти люди пересели на мопеды, затора могло бы не быть, — возникает мысль.

О своей готовности поменять вид транспорта я почему-то не думаю. Пираньями между машинами носятся замызганные пацаны. Они наспех размазывают тряпками грязь по лобовикам. Тут же требуют денег. В зеркале заднего вида показывается одноногий сборщик подаяний. В лихорадочной спешке костыли разъезжаются по отшлифованному асфальту. Он с дьявольским упорством возвращает их на место и продолжает собирать «урожай». Его ловкости можно позавидовать. Всеми силами он пытается выжать максимум из ситуации.

У многих автомобилей из приспущенных стекол валит дым. У соседнего роскошного «Лексуса» тонированные стекла плотно задраены. Разди-

раемый любопытством, то и дело бросаю на него взгляды. Интерес определить статус водителя раздражает меня. Я загадываю.

— Скорее всего, это криминальный авторитет. Понятно, что он не любит демонстрировать свое лицо.

Но мысль кажется вялой, неубедительной. Я принимаюсь думать, что владелец — преуспевающий коммерсант. Возможно, он тесно связан с криминальными структурами. Расставаться с мыслью о криминале мне интуитивно не хочется.

— В нашей стране все переплелось, — думаю я.

— Но, возможно, что за рулем изнуренный водитель этого коммерсанта, — мелькает шальная догадка, но тут же умирает.

— Изнуренных водителей за рулем «Лексусов» не бывает, — возникает похожее на истину убеждение.

В момент, когда моим вопросам в голове становится тесно, тонированное окно ползет вниз. От нетерпения я натягиваюсь, как гитарная струна. В узкую щель показываются русые волосы. Они могут принадлежать и мафиози, и коммерсанту, и неизнуренному водителю. Но они оказываются прической симпатичной мордашки. У обладательницы недурной внешности под дугообразными бровями огромные синие глаза. Я успеваю разглядеть их цвет за мгновение, в которое она окидывает мою особу. Взгляд юной владелицы «Лексуса» даже не спотыкается на мне. Я глубоко внутренне оскорбляюсь.

— Неужто моя внешность столь пресная?

В отместку за это я приступаю к размышлениям о ее социальном статусе. Теперь хочется думать о ней с пренебрежением.

— Кто она? Дочь или сестренка того самого авторитета, либо все-таки преуспевающего коммерсанта? Мысль, что она может быть дочерью

или сестренкой изнуренного водителя, я отмечаю. У последнего дочь или сестренка может быть владелицей изношенной «Мазды». Это в лучшем случае. В худшем, она пешеход.

В это время «пробка» начинает медленно разжиматься. Она напоминает пришедшую в движение змею. Из тонированного окна «Лексуса» летит сигаретка с золотым ободком. Синеглазка так и не удосуживается взглянуть в мою сторону. Настроение, как на шкале градусника, резко падает. Я тоже демонстративно отворачиваюсь. Так я успокаиваю свое возмущенное Эго.

У парка «панфиловцев» руки внезапно дергают руль. Я съезжаю на обочину и останавливаю «Максиму».

— Что это со мной, черт побери? Что на меня подействовало столь удручающе? Пробка, мальчуганы с грязными тряпками, нищий или надменная синеглазка? Надо дать легким свежего воздуха, — решаю я и выбираюсь из машины.

В глубине парка царит тишина. По аллеям неспешно прогуливаются немногочисленные посетители. У старого дуба пожилой мужчина кормит из рук доверчивую белочку. Темп проведенного дня продолжает двигать мной. Прервать его можно, лишь применив силу воли. Я сбавляю частоту шагов и нарочно останавливаюсь напротив мужчины. Белочка осторожно берет из его рук орешек и стремительно отпрыгивает в сторону. Повиснув на задних лапках, двумя передними она подносит его к зубам и смешно разгрызает. Картина становится забавной и трогательной.

У памятника двадцати восьми панфиловцам надпись «ЗА НАМИ МОСКВА» убрана на реставрацию. Из-за памятника виднеется храм. Можно подумать, что бойцы с гранатами поднялись заклонить его.

На снегу у паперти сидят нищие инвалиды.

В спутанных бородах белеют крупные крошки. Распахнув рты с почерневшими зубами, убогие хором шамкают:

— Доброго вам здоровья! Подайте, Христа ради!

При этом не затрудняются рассмотреть мою азиатскую внешность. Вопрос моего вероисповедания для них не стоит. Они жаждут милостыню. Крайний оказывается ловчей.

Я подаю крайнему.

В храме у кассы томятся старушки. Кассирша пересчитывает деньги. Видно, и здесь деньги любят счет. Выстояв очередь, я прошу свечу.

— Есть за тридцать, пятьдесят, семьдесят...

— За семьдесят, — примитивная мысль: дороже свеча, другу будет лучше на том свете.

У распятия Христа укутанная черным платком женщина устанавливает свечку. На безликом лице из черных проваленных глазниц фанатичной верой горят глаза. В воздухе пахнет тающим воском, молитвами. Я долго выбираю гнездо. Будто на грехи покойного может повлиять место. Несколько женщин крестятся. Наконец, управившись, произношу про себя:

— Да упокоится душа твоя. Да обретет она царствие вечное, — поколебавшись, добавляю:

— Да встретятся души наши в том мире. — О том, что мы исповедывали разные религии, не думаю.

Я задираю голову к потолку, взгляд мой испуганно наталкивается на Иисуса.

Синие зрачки сына Божьего глядят прямо на меня.

— Мужчина, пожалуйста, купите мне журнал.

Незнакомая женщина дотрагивается моего рукава. Я оборачиваюсь, бледная, сухая рука испуганно отпрянула. Серое лицо, исполосованное сетью глубоких морщин, напоминает испепеленный такыр. Она нуждается в этом религиозном журнале. Возможно,

собирается черпать в нем силы. Кто знает? Собирая в кармане медяки, чувствую, что покрываюсь лиловыми пятнами. От стыда. За нее, за себя...

Путаясь в длинной сутане, на выходе меня догоняет священнослужитель.

— Я видел ваш фильм. Вы хорошо сыграли. Мне было жалко вашего героя.

В картине мой герой, вор в законе, погиб. Священнослужитель сожалеет, что погиб вор в законе. Ему жаль короля преступного мира. Может быть, он простил его?

Ведь по просьбе Иисуса простил преступника Бог!

Я чувствую, как в голове у меня вновь закипает путаница.

— Спасибо, — я спешу покинуть святое лоно церкви.

У ног нищих семянят дикие голуби. Распугивая их, тащатся два глянцевого негра. Промозглая погода действует на них удручающе. Они размахивают желтыми ладошками, чтобы не растянуться на гололеде. На фоне заснеженной церкви их тощие фигуры с курчавыми головами глядятся причудливо. Вдалеке одинокая студентка, пряча носик в ворот легкой шубки, скользит мимо стайки парней. Молодцы смотрят ей вслед. Взгляды их раздевают девушку. Внезапно, вскинув вверх руки, пытаясь зацепиться за воздух, студентка, точно подкошенная, обрушивается на лед. Ее сумочка долго летит, описывая полукруг. На лед сыпется женская косметика. Молодцы перегибаются в поясницах от смеха, притоптывают ногами, присвистывают.

Резкий звук милицейской сирены отрывает от незамысловатой картины. Среди вековых дубов наметом уходит от погони мужчина. Алая спортивная куртка пламенеет и действует на преследователей, точно красная тряпка на быка. В ру-

ках убегающего поблескивает вороненый ствол «фигуры». На бегу он прицеливается в желтый «УАЗ» и выстреливает. Эхо выстрела раскатывается по пустынному парку залпом из царь-пушки. Кучка черных грачей хлопьями сторовшей бумаги взлетает вверх. Они каркают так громко, точно ликуют по поводу чьей-то смерти. Синяя мелькающая сирена затыкается на полуноте.

— Ура-а-а! — кричат молодцы. Отчетливо слышится одинокое хлопанье ладошек. Это аплодирует поднявшаяся со льда студентка. С ее лица еще не сошла гримаса боли от ушиба. Обернувшись, я смотрю на нищих и выходящих из храма людей. Они не обращают внимания на стрельбу и погоню.

Мужчина легко, красиво перемахивает через чугунный забор. «УАЗик», не сумев увернуться, втыкается в толстый комель мохнатой ели и глохнет.

— Разъездились, козлы! — брюзжит тетка с охапкой пакетов в руках. Из-за охваченной злобы она едва не сбивает меня с ног.

— Зенки выкатил, ментов не видал? Парня насмерть чуть не загнали! — черный язык сочится ядом.

У отеля «АНКАРА», точно дорогие путаны, выстроены в ряд крутые «тачки». В фойе, в сверкающем мраморе пола, все отражается, как в зеркале. Лакеи в белых кителях с витыми золотыми погонами смотрятся корнетами. Публика в просторной, роскошной зале с важным видом ведет беседы. Возникает ложное ощущение предстоящего великосветского бала. Сборище проходит по поводу вручения премии «Тарлан».

Мелькают знакомые роговые очки. Девушка из obsługi сует журнал и юркает в толпу.

— Забредшему на чужой пир суждено испить чашу до дна, — незаметно вздыхаю я. На-

цепленные на кончик носа очки подтверждают признаки ума. Я решительно создаю образ. Раскрыв страницу, делаю вид, что рассматриваю. При этом не забываю оглядеть себя со стороны. Черты моего лица кажутся мне утонченными. Если это светское общество, то чужому глазу я предстану строгим человеком дворянского происхождения. Татуированную руку искусно прячу под разворот отечественного полиграфического достижения. Незаметно, точно шпион в стане врага, продолжаю наблюдать за прибывающими. Знакомых лиц, заполняющих местные программы, становится все больше. С удивлением отмечаю многих, выпавших из государственной кормушки. Приходится тратить время на поиск параллели между премией меценатов и «оппозиционерами»? Но скоро вспоминаю, что нувориши разругались с властью.

Почти вся публика расхаживает с фужером вина в правой руке. У мужчин левые сидят в глубоких карманах и беспокойно шевелятся. У женщин они что-то теребят. Правые ножки их отставлены назад. Мимо проплывают подносы. Подмывает потянуться за бокалом. Усилиям воли убеждаю себя не совершать этого. Рука с бокалом — это кажется мне, чересчур!

Лощеный молодой человек с атрибутами бизнесмена протягивает мне руку. Лицо его мне незнакомо. Однако я отвечаю взаимностью. Мы обмениваемся незначительными любезностями. Со стороны могут думать, будто мы ведем светскую беседу. У гардероба внезапно наталкиваюсь на знакомого. Он скандальный юрист, точнее, юрист по особо скандальным делам. Мы приятно здороваемся, рассыпаемся в поздравлениях. Я некоторое время пытаюсь сообразить, по поводу чего он поздравляет меня? К счастью, скоро догадываюсь, что поздравления по случаю пятилетнего юбилея ежегодной премии.

— Он поздравляет с пятилетием бесплатной премии, — смутно вызревает догадка.

Наблюдающий за мной мог предположить, что на этом пиру одни мои знакомые. Дальше я принимаю вид человека, увлеченного чтением и по этой причине не глядящего в зал. На самом деле я контролирую все происходящее в нем. Сам себе я кажусь, по меньшей мере, Рихардом Зорге.

Наконец, толпа рекой устремляется в сторону банкетного зала. Разделившись на рукава, она втекает в него через две золоченные двери. Я отчего-то вдруг вспоминаю Катунь в месте ее слияния с Бией. При этом отдаюсь силе течения и оказываюсь среди празднично накрытых столов. Мой стол за номером шестнадцать. За ним уже сидят известный певец и два оппозиционера, он и она. К ней я отношусь с симпатией, разумеется, зрительской.

Я считаю ее смелой женщиной. Последние выступления по «ящику» подтверждают в ней наличие кругозора. К нему отношусь с сомнением.

Не меняя положения головы, прошупываю взглядом зал. Боковым зрением вижу, как в бокал налили вино. Мысленно укоряю официанта — я же предпочитаю красное!

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — решаю я и отпиваю глоток.

В зале вдруг раздался громкий знакомый голос. Мягкий завораживающий тембр принадлежит известному культурологу. Наконец, на экране возникает его изображение. Он говорит о важности данной премии. Неожиданно голос исчезает, в то время как он продолжает шевелить губами. Оппозиционеры начинают ерзать на стульях. Становится ясно, либо это диверсия, либо «звучаки» полные бездари. Публика утрачивает возможность дослушать умную речь. Вскоре пропадает с экрана и лицо. Зато голос из-под потолка возвещает: вести

божественный вечер будет привезенная из России дочь известного отца.

— О, времена, о, нравы! — поэт когда-то заметил точно.

Взявшись за руки, точно дети из детского сада, на сцене возникают импортная ведущая и ведущий местного разлива.

Они идут с высоко поднятыми головами. Идут красиво. Так в гражданскую шли в атаку «капельницы».

— Вечер вручения премии «Тарлан» разрешите считать открытым, — голоса их звенят. На подобной ноте в школе декламировали стихи о Ленине.

Цепочкой, точно на скамью подсудимых, на сцену выходят семь известных бизнесменов. К дополнению картины не хватало конвоя.

Чужестранка ликующим голосом оглашает их имена. Можно подумать, что премия присуждается им. Так оглашают имена боксеров, выходящих на ринг. Бизнесмены стоят в эпицентре освещенного квадрата.

Все семеро одеты в черные костюмы, белые сорочки с черными бабочками. Они стоят со скорбно скрещенными перед собой руками. Полная ассоциация с парнями из похоронного агентства.

Наступает торжественная минута оглашения первой премии. Она называется «Новое имя».

Номинантом оказывается поэт, которому пересекло за шестьдесят. Подтверждая свой возраст, морщась от боли, он с трудом поднимается по ступенькам.

Преодолев путь до микрофона, поэт отказывается от премии.

— Мне шестьдесят, — в его голосе звенят нотки отчаяния, — я не могу принять ее, — стихотворец с горечью покидает лобное место.

В тишине зала слышатся смешки. Торжественность церемонии нарушена.

В кармане настойчиво вибрирует мобильник. Выхожу из зала, ситуация требует личного контакта. Встреча должна состояться через полчаса. Надо собраться с мыслями.

Сажусь за столик в крохотном ресторанчике. Хлебать горячий чай вредно для желудка. Приходится ждать, пока остынет. Входит очаровательная девушка. Ее длинные ноги скрываются, к сожалению, под кожаной юбкой. Мой взгляд присоской прилипает к ней. Русые волосы разбросались по точеным плечикам. Я вижу только часть овала здорового лица. Нежной, упругой кожи еще не касался ветер жизненных невзгод. Она садится ко мне спиной, предоставив возможность любоваться осиной талией.

— Словно утонченный сосуд, — невольно сравниваю я.

— Мне б такую! Ах, какая женщина! — в памяти перевертышем всплывают слова из песни. Ловлю себя на том, что за целый день никому не сказал приятных вещей. И не слышал в свой адрес.

«Хочется любить, щебетать красивые глупости. Ах, какая женщина!» — продолжаю я внутренне восторгаться.

— Мадам работает. Если вам она нравится, можно устроить, — шепчет мне на ухо официант с погонями корнета. Опытный лакей проследил за траекторией моего взгляда. На фронте он мог бы просчитывать полет невидимой мины.

— Но должен вас предупредить, мадемуазель стоит дорого...

В этот миг объект внимания поворачивается в мою сторону. Челюсть мгновенно сводит судорогой. Она оказывается синеглазкой из «Лексуса». Синеокое чудо поднимается и несет воспеваемое тело за мой столик.

— Вас заинтересовала моя особа? Я почувствовала призывные волны, исходящие от вас.

— Вы запеленговали меня? В контрразведке вам цены бы не было, — делаю я комплимент.

— Еще два часа я в свободном поиске. Потом у меня клиент.

— Богатый клиент! — с пафосом произношу я.

— Бедные люди не проводят время в пяти звездах.

— Такой, как вы, место где-нибудь на островных пляжах...

— Ну, что вы решили? — соблазнительница высовывает розовый язычок и облизывает им нижнюю губку.

— Два часа? Как жаль, что всего два часа. Мне может не хватить...

— Я профессионал, — дива произносит фразу с гордостью.

— А я родился на ядерном полигоне... — мне хочется мстить за свою легкомысленную увлеченность. За восторгание. За нежность лицезрения.

— Ваш чай остыл, — она бросает уничижительный взгляд на мою физиономию. Точно окатывает ледяной водой. Больше всего женщины презирают импотентов.

Я гляжу на часы, время встречи оттянулось на пятнадцать минут.

— Привет вашему клиенту, — отчаливаю я от столика и направляюсь к выходу.

В этом районе города не живут богатые. Извилистая улица ведет на окраину. Притормаживаю у продуктовых рядов и тупо гляжу в окно. Забыл, для чего остановился.

Помятый микроавтобус едва не сшибает «Максиму». Выругиваюсь трехэтажным матом. Ловлю себя на мысли, что день ожесточил меня. С неба трухой сыплется мелкий снег.

— Может, в этом придорожном баре удастся согреться, собрать в кучу рассеянные мысли?

В полумраке у стойки сидят небритые мужики. Заржавленные кожаные куртки на них стоят колом. Они едят бутерброды и громко чавкают. Лоснящиеся пальцы жлобы вытирают о рукава. В глубине, у игрального автомата, слышатся сдавленные крики. Бородатый детина пытается овладеть подругой. Он уже вытащил ее обнаженные перси наружу.

— Козел!

Звук удара, хруст сломанной кости. Неуступчивая подруга летит на заплеванный кафель. Платье на ней задирается, обнажая белые ноги. Бородатый подхватывает ее ногой.

— Ничего ляжки! — мужики у стойки равнодушно доедают «хавку».

При таком свете попасть точно трудно. Все же чувствую, как твердый подбородок бородача проваливается. Он рухнул подобно срезанному дубу. Стол с тарелками из солидарности сопровождает его падение.

— Убил, сволочь такая! — в ворот пиджака истерично вцепляется недобитая. Она норовит когтями дотянуться к моему лицу.

— Ха-ха-ха, — мужики от смеха вырывают проглоченную мякину.

— Плати за посуду, — верещит плюгавый бармен.

— Ваши документы, — требует появившийся, словно джин из бутылки, молоденький милиционер.

Предъявляю членский билет Союза кинематографистов. Милиционер подносит его к свету и с десяток раз перечитывает вслух.

— Как же вы, интеллигентный человек, попали в этот бордель?

— Замерз, хотел выпить чашку кофе.

— Я кино уважаю. Идите, этот тип давно заслужил трепку.

Сдержанно благодарю участкового и покидаю проблемное заведение.

Дома я включаю «ящик» и тупо уставляюсь в него.

— Мы ведем репортаж у дверей резиденции Ватикана. Еврейский раввин выступил с обращением к главе католической церкви с требованием вернуть детей, освобожденных в годы Второй мировой войны из фашистского концлагеря. После освобождения еврейские дети с измененными фамилиями были отправлены в христианские школы. Шестьдесят лет об этих детях нет никаких известий. «Верните наших еврейских детей!» — требует раввин.

— Мир сошел с ума! — невольно вскрикиваю я. С тех пор прошло шестьдесят лет. Детям уже не менее семидесяти. Большая часть их отправилась в царство вечного блаженства. Для них всю земную жизнь были забронированы места в раю. Переключаю на другой канал.

Горы трупов, запеленованных в целлофан. Груды мусора, останки домов, яхта на крыше устоявшего от цунами отеля. Огромные щиты с фотографиями пропавших без вести. Рыдающие люди, полицейские кордоны, волонтеры-добровольцы, разбирающие останки.

— Кто покинул остров после случившейся трагедии? — вопрос полицейскому задает усталая журналистка с серым лицом. Под глазами от длительной бессонницы у нее темные круги.

— Уехали немцы, французы, испанцы.... Международные туристические агентства временно прекратили направлять сюда поток туристов. До сих пор мы извлекаем из-под завалов тела погибших. Возникла угроза массовых эпидемий.

— Скажите, кто остался на острове?

— На острове из отдыхающих остались русские...

Сто пятьдесят тысяч погибших. Земная ось сдвинута на двадцать метров. То расстояние, которое матушка должна была преодолеть за двести тысяч лет.

В баре уцелевшего отеля пьяная карусель. За длинным столом крепкие ребята с толстыми золотыми цепями на шеях. Они пьют виски со льдом.

— Эпидемии нас не возьмут, — кричат они в камеру.

— Нас, русских, ничем не возьмешь!

— Скажите, вы слышали сказание о Содоме и Гоморре?

— При чем тут геморрой?

— Вам не кажется, что ваше разгульное пребывание здесь, когда вокруг столько горя, напоминает пир во время чумы?

— На свои деньги гуляем! Все, не мешай, иди, пока цел. Омской братве физкультпривет. Всем, кто нас слышит, мы здесь по полной программе отрываемся. Ну-ка, подтверди, — требует амбал у изящной девы, сидящей на его коленях. Он развязно шлепает ее по аппетитному задку.

Дева поворачивается лицом к камере. О, проклятье!!! В третий раз за день я вижу синеглазку из «Лексуса». В страхе жму кнопку «ящика», выключая его. Поворачиваюсь лицом к стене, натягиваю одеяло на голову. Хочется быстрее провалиться в сон. Быстрее, быстрее, быстрее!

Я жалею, да, я жалею, что не остался навсегда в утреннем сне. Лучше бы я не просыпался! Никогда! Проклятый будильник! Ибо кошмары яви — страшнее жутких снов.

Вообще-то, должно быть наоборот.



С НОВЫМ ГОДОМ!

(Новогодняя зарисовка)

Коридор интерната был выкрашен в темно-синий цвет. Белые пятна вывалившейся штукатурки напоминали гигантские раковые метастазы. Рваные швы однотонного, дешевого линолеума, устилавшего пол, были заклеены желтым скотчем. Издалека казалось, что он украшен орнаментом. Снегурочке и Зайчихе — театральным актрисам милостиво выделили один из классов для переодевания. Будущая Зайчиха, как только за ними хлопнула дверь, потрогала радиаторы и удивилась:

— Бр-р-р! Как они живут в таком собачьем холоде?

— Ужасно! Бедные дети, — ясные глаза Снегурочки затуманились.

— А главное, как играть? На этой елке будут слабослышащие дети! От шести до восемнадцати лет...

От страха предстоящего у актрисы-Зайчихи округлились глаза. В ее облике и впрямь появились черты схожие с заячьими.

— Будем работать. Постараемся втянуть их в новогоднюю сказку.

— Господи, какие ужасные парты. Даже во время моей учебы в школе, они были лучше, — Зайчиха все еще негодовала.

Актриса-Снегурочка, колеблясь, тянула с себя шубку. Она искала глазами куда бы ее положить. Взгляд ее, завершив метаться, упал на парту, где лежала ее рука.

На ее поверхности были выцарапаны: обнаженная девица и слова:

— Секс не требует слуха!

На другой половине вырезан скрипичный ключ. Выплеск отчаянья делал текст почти осязаемым:

— Музу не обязательно слышать, я научусь ее чувствовать!

В конце письма стоял восклицательный знак.

Два разных человека сидели за одной партой. Один хотел утвердиться через секс, другой, покорив музу.

На глазах у актрисы-Снегурочки набухли крупные слезы. Она почувствовала сопричастность к боли этих незнакомых ребят.

Пока Снегурочка боролась с эмоциями, Зайчиха успела раздеться. Ее белоснежное тело от холода да покрывалось лиловым цветом.

Зайчиха тащила из сумки поролоновый костюм, пританцовывая на холодном линолеуме:

— Бр-р-р-р! Бр-р-р-р!

В соседнем классе переодевались Дед Мороз и Волк. Их костюмы гляделись великолепно. Волк был объемный, как настоящий. Несоответствие виделось лишь в том, что он стоял на задних лапах. Волки не ходят на задних лапах.

Дед Мороз вертел в руках завитую колечками бороду. Без нее он смотрелся обыкновенным мужиком, влезшим в чужую шубу.

В дверь постучали. У стука был хозяйский отенок, короткий, требовательный.

Волк поспешил открывать. В класс вошла чопорная заведующая с лицом старой девы. Роговые очки с толстыми стеклами казались биноклем. У дверей стоял объемный мешок.

— Это подарки для Деда Мороза! — указала она тонким мизинцем.

— Холодно. Как здесь выживают дети? — отважился спросить Волк.

— Шестнадцать, это нормально, в прошлый Новый год было двенадцать.

Волк перевел растерянный взгляд на Деда Мороза.

— В лесу холодней, — смутился Дед Мороз. — Так глядишь, будто я его принес.

— Не в этом дело, — ответил Волк.

Дама недоуменно дернула плечами и удалилась. Ее нервная походка точно задавала вопрос:

— Для чего Волчаре и старому Морозу тепло?

Дед Мороз от волнения приладил бороду и его образ сотворился.

В дверь вновь постучали.

— Вы готовы?

— Заходите! — разрешил Волк.

В класс вошли Снегурочка и Зайчиха. У Зайчихи на толстом костюме игриво повиливал куцый хвостик. Озябшая Снегурочка была похожа на Королеву, изваянную из льда. Дед Мороз накрыл ее плечи хилой курткой.

— Сильно замерзла? Тебя всю колотит.

— Она плачет из-за детей, — лицо Зайчихи разругалось от негодования.

— Возьми себя в руки, давайте поторопимся, — заспешил Дед Мороз.

Большой актовый зал светился разноцветными гирляндами. Огоньки крохотных лампочек интригующе подмигивали. Елка посреди зала была высокой и разлапистой. Из-за редких игрушек она гляделась сиротливо.

Детей было много. Они стояли, переминаясь, затаив дыхание. В их глазах отражалась ущербность.

Первой в зал вплыла ослепительная Снегурочка. Она была очаровательна. Дети, еще минуту назад тоскливые, радостно зааплодировали.

— Здравствуйте, дети! Я спешила именно к вам, из густого леса, — объявила Снегурочка.

Дети интуитивно повернулись к окнам. Сквозь стекла виднелись горы.

— Обитатели леса шлют вам новогодние подарки. Их скоро привезет Дед Мороз.

Корона Снегурочки мерцала, отбрасывая тонкие лучики. Дети мгновенно влюбились в нее.

— Со мной из леса к вам в гости приехала Зайчиха. Я сейчас познакомлю вас с ней.

Вошла кокетливая Зайчиха. Она забавно подпрыгивала, лица благодарных детей расцвели улыбками.

— Здравствуйте, дети! — пропищала длинноухая гостья.

— З-з-з-дра-дра-й-й З-з-зай-иха!

У детей вследствие нарушения слуха была изуродована речь.

В широкий проем, дурачась, запрыгнул Волк.

— И я торопился, чтобы успеть поздравить. Здравствуйте, сладкие, вкусные!

Дети насторожились, Волк мог испортить им ожидаемый праздник. И все же ответили разноголосым мычаньем.

— З-з-з-дра-дра-й-й В-в-о-к!

— Я буду вместо Деда Мороза! — заявил он.

Детки нахмурились.

— Не надо нам такого Деда Мороза. Мы будем ждать настоящего!

— Правда, дети? — Снегурочка была обеспокоена.

Дети громко замычали.

— П-п-п-ра-да!

— А что если мы вместе будем звать Деда Мороза! — предложила неутомонная Снегурочка.

Зайчиха ликовала от радости и пищала:

— Давайте звать!

— Не согласен, я буду Дедом Морозом, — продолжал упорствовать Волк.

— Тогда давайте поиграем, — Снегурочка решила обмануть хищника.

— Мы разделимся на две команды. Твоя половина Волк будет собаками, а моя — кошечками. Вы будете лаять, а мы мяукать. Победят те, чей крик будет громче. Ну, как, ты согласен, Волк?

— Ну ладно, давайте сыграем, — Волк не чувствовал подвоха.

Снегурочка разделила детей на команды.

— Начали! — скомандовала Зайчиха, занявшая роль арбитра.

Команда Волка начала изо всех сил лаять:

— Гав-гав-гав-гав!

Команда Снегурочки пронзительно мяукала:

— Мяу-мяу-мяу-мяу!

— Стоп! — вскричала Зайчиха. — Я отдаю победу милым кошечкам.

— Нет, я не согласен, это мы победили, — зарычал Волк грозно.

— Ну, хорошо, давайте еще раз. Волк, дай нам обещание, если твоя команда проиграет, вы не будете спорить.

— Обещаю! — недалекий Волк был вынужден согласиться.

— Тогда наша команда будет лягушатами, а ваша золотыми рыбками.

— Начали! — скомандовала Зайчиха.

Детвора, облепившая Снегурочку, стала пронзительно квакать. Команда Волка лишь широко открывала рот.

— Стоп! — взмахивала воздушными шарами радостная Зайчиха, — победили лягушечки.

— Ур-р-р-р! — радостно вскричали дети, игравшие лягушек.

— Мы выиграли! Теперь зовите Деда Мороза! — ликovala обворожительная Снегурочка, перехитрившая глупого хищника.

— Де-де —де-у-ка М-м-м-оз! — хором замычали воспитанники. И те, кому было шесть, и те, кому было восемнадцать. Им всем нужен был праздник. Они его долго ждали.

— Де-де —де-у-ка М-м-м-оз!

— Де-де —де-у-ка М-м-м-оз!

Двери широко распахнулись. С красным мешком полным гостинцев, вошел настоящий Дед Мороз.

Начался чудный новогодний праздник.

У глухого забора машину встретили. Встречающие женщины были необыкновенно рады.

— Здравствуй, уважаемый Дед Мороз!

— Ой, а какая восхитительная Снегурочка!

— О-о-о! Ка-кой Волк, чудная Зайчиха! Милости просим!

— Заходите, пожалуйста. Наши все ждут, не дождутся. Принарядились, все такие красивые сегодня — я — я!

В доме престарелых было свежо и чисто.

Коридоры нарядно убраны. Ото всюду с протянутых нитей свисал серебряный дождь. От легкого сквозняка дождь колыбался, точно он змеился.

Дед Мороз шел впереди размашистой походкой. Он нес с собой ощущение большого праздника. Из открывавшихся дверей выглядывали сморщенные лица и прятались от неожиданности.

— Ой! Дед Мороз уже приехал, а я еще не одета! — донеслось из-за дверей.

— Ой!

Новогодние персонажи вошли в ослепительный зал. Грянула божественная музыка. На изрезанных морщинами лицах стариков заиграли невольные улыбки. На глазах у многих появились слезы. Старики размазывали их заскорузлыми ладонями. Старушки утирали краями платочков.

— Вот и праздник. Вот и Новый год! Мы со Снегурочкой кланяемся и поздравляем вас, любимых, с этим днем! Узнав о том, что мы едем к вам, с нами приехали наши друзья. Это Волк и Зайчиха.

— С Новым годом! — радостно крикнули Снегурочка, Волк и Зайчиха и поклонились.

— Здравствуйте! — вскричали старики и старушки.

— Новогодний бал считать открытым! — провозгласил вошедший Дед Мороз.

Заиграл трогательный вальс «На сопках Маньчжурии». Дед Мороз направился к высохшей, седовласой бабушке и вытянул руку, приглашая на танец. Не ожидавшая такого внимания к ней, старушка растерялась. На нее зашикали соседки.

— Ну иди же, смелей!

Старушка, вставая с места, качнулась. Подвела больная нога. И все же одернула кофточку и приняла руку Деда Мороза. Они направились к сверкающей елке.

Каких только игрушек не было на этой елке! Она была потрясающе нарядной, точно залитой светом. Она вся играла, переливалась, золотилась, будто и впрямь явилась из сказки!

Дед Мороз осторожно повел старушку по кругу. Чувствовалось, что он пытается вести ее бережно. А музыка набирала обороты. Вальс гремел во славу чудному празднику. Неожиданно старушка запрокинула вверх маленькую головку. И чудо!

Она сама повела растерявшегося Деда Мороза.

О, как она танцевала! Ее морщинистые щеки покраснелись. Давно выцветшие глаза засверкали былой удалью. Шерстяная, клетчатая юбка разлетелась. Крохотные ступни, обутые в истертые ботики, вытягивались на носочки.

Снегурочка, топнув каблучком, подхватила легонького старичка. От самой груди до пояса, на костюме дедка теснились бесчисленные орден и медали. Они позванивали мелодично, словно ждали этого часа.

Волк глубоко наклонил голову перед хранившей на лице следы достоинства бабушкой.

Она благодарно кивнула, приняла волчью лапу и направилась за ним. Зайчиха весело подхватила крупного деда, с усами и седыми бакенбардами.

Закружилось счастье: волшебная, в огнях елка, нарядные, красивые бабушки и дедушки.

— Я решила уйти, — призналась старушка, Деду Морозу.

— Дети в бизнесе, а супруги, а жены их, Господи! Лишь бы сыновьям было хорошо! А я тут занимаюсь любимыми делами. Тку холсты, читаю книги, всю жизнь некогда было... Связала красивые варежки младшему, так он их не носит, говорит, ну кто их, такие....!

На лице старушки проявилась виноватая улыбка.

— У вас столько наград! Какой нежный у них перезвон, — восторгалась Снегурочка, желая угодить деду.

— Я всю войну прошел, дочка. Дважды в танке горел. От Буга до Сталинграда за каждую сотку... Обратно на пузе до Будапешта! — кричал, чтобы его слышала Снегурочка, дедок.

— Мы еще поживем, дочка! — кричал старичок.

— Конечно, поживете, надо чтобы вы жили!

— Правда?

— Правда!

Волк танцевал обходительно. Его дама поясницу держала натянутой, глядела на кавалера с вызовом.

— Сразу видно, что мне напарница попалась, чувствующая партнера в танце, — лыстил Волк.

— А как же! Муж был вторым секретарем горкома партии. Новогодние вечера мы всегда танцевали под этот вальс. Он его так любил!

— Как же вам здесь живется?

— Вначале было трудно, сейчас привыкла. У меня характер еще тот. Здесь ведь народ с разной судьбой. Первые дни я ерепенилась, все-таки жена известного бонза. А затем уразумела, что все мы просто люди! И сразу стало легче....

— Эх, какие со мной раньше девушки танцевали! — басил седовласый дед.

Он был похож на генерала времен Ермилова. Точно сошел с портрета. Не хватало эполет.

Дед вел Зайчиху аккуратно. Глаза его из-под суровых бровей, цепко оглядывали зал.

Зайчиха ненавязчиво флиртowała:

— Какой же вы бравый! Кружите так, что у меня в голове все захороводилось.

— А как ты думала? Не заржавели еще сабли козацкие! Есть еще порох! — громко смеялся дед.

— Ты, наверное, хочешь спросить у меня, отчего я здесь!

— Что же у вас нет детей?

— У меня? Да у меня такие соколы! Все как живые. Ванька от сердца умер. Гришка, тот подводником, лодка на боевом рубеже, ну и...эх! Ну, а Игорешка, любимец младшенький.... Из выцветших глаз деда лились прозрачные, мерцающие слезинки. Они скатились к усам и растворились в них, точно их и не было.

— Игорешка...- застонал он.

— Не надо! — попросила Зайчиха.

— Игорешку, того в Чечне сгубили. Разве бы я оказался здесь? Если бы Игореху, младшенького, любимца, не сгубили!

— Ну, пожалуйста, не надо. Ну хотите, я буду приезжать к вам! — в голосе Зайчихи метались отчаянье, жалость, сердоболие.

— Разве ты сможешь?

— Ну, конечно, смогу.

— Хочу, дочка!

Вальс «На сопках Маньчжурии» доигрывал последние ноты. В огромном зале не было престарелых. Здесь танцевали парни и девушки. На лицах блуждали счастливые улыбки.

— С Новым годом! — закричал Дед Мороз, как только всхлипнув, стих последний аккорд.

Захлопали пробки шампанского! Дедушки и бабушки на мгновение печально опустили глаза. Они невольно подумали о том, что еще один год вытек из чаши жизни. Что еще на один год сократился и так теперь не длинный земной путь!

Улицы города празднично разукрашены. На главной площади в шапках снега великолепные тянь-шаньские ели. В воздухе царит предновогодняя атмосфера. Сверкающие гипермаркеты торгуют наперебой. Сегодня для них самый продаваемый день в году. На зеленый глаз светофора торопливо перебегают через дорогу старушка-одуванчик. В руках у нее ядовито-зеленая искусственная елка. Модный в шестидесятые смятый плащ от бега раздулся, точно парус. Свободной рукой она виртуозно успевает отбросить лезущий на глаза платок.

— Наверное, внуку елку несет, — предполагает Дед Мороз.

— Скорее всего, домой. Такие старушки всегда беспокоятся обо всех, а о себе в последнюю очередь, — делает умозаключение Зайчиха.

— Нам сейчас предстоит трудный экзамен. Женская зона, это вам не тигли-мигли, — Волк озабоченно потирает лоб.

Микроавтобус резко тормозит. Новогодние персонажи больно стучаются друг об друга.

— Ух-х, ур-р, эх, хотел заругаться, да передумал. Все-таки Новый год, — добродушно произнес Волк.

— Вы бы поаккуратней, нас тоже ждут дома, — смеется Зайчиха.

— Кажется, мы уже приехали? — Снегурочка торопливо укладывает рюшки длинного шлейфа.

К микроавтобусу подходит прапорщик.

— Дед Мороз приехал? — спрашивает он у водителя.

— Точно!

— Ждем, ждем! Хозяйка уже дважды звонила.

— Какая хозяйка?

— Хозяйка — это начальница зоны. А я — прапорщик Челиков, старший вахты.

— Понятно, — тянет водитель. — Что же дальше?

— Заезжай! — машет рукой прапорщик Челиков.

Оглушающе громыхая, сдвигаются с места железные ворота. Часовой с вышки тянет шею, словно гусак. Он с интересом рассматривает сидящих в автобусе персонажей.

Микроавтобус въезжает в предзонник. К машине направляются двое солдат с автоматами на ремнях. Светлая немецкая овчарка с темным ремнем по хребту, беснуется на коротком поводке.

— Фу-у-у! Ты че, шаболда, нюх перепутала. К нам Дед Мороз со своей бригадой приехал.

— Наркотики, оружие, запрещенные предметы есть? — спрашивает боец в дверь салона. Видно, что он спрашивает для бравады, злости в его голосе нет.

— Мы же не террористы, — остроумно вворачивает Зайчиха.

— Ого! — солдат удивленно рассматривает Волка. Взгляд на Снегурочку заставляет его прицокивать языком от восхищения.

— Заберите меня с собой! — вы будете поздравлять, а я там решу свои проблемы. У меня там любимая девушка сидит.

— Поехали, служивый, если надо... — басит Дед Мороз.

Солдат ухмыляется.

— Меня не пустят! Да ей немного осталось до свободы, потерплю. С Новым годом! — поздравляет он.

— С Новым годом! — зачем-то хором отвечают актеры.

Публика в нарядном зале дружно аплодирует, как только входят артисты. Тусклые, разноцветные лампочки, пятнами слабенько озаряют лица. Сотни женщин разного возраста. Часть их одета в лагерную униформу. Многие из них в вольной одежде, скромной, но довольно стильной.

— Ура-а-а! — радостно кричат женщины-заключенные, приветствуя актеров.

— С Новым годом! — хором выдают Дед Мороз, Снегурочка, Волк и Зайчиха.

— Мы к вам прямо из леса...- начинает Дед Мороз.

— С лесоповала что ли?

— Да тихо, Червонка, сегодня плоские шутки неуместны, — одергивает выкрикнувшую девушку, красивая женщина. Она выступает на шаг вперед.

— Красотули вы наши, Дед Мороз, Снегурочка, Волк и Зайчиха — мы очень рады. Разрешите открыть наш новогодний вечер?

Снегурочка взмахивает рукой. В ее руке, точно она чародейка, оказывается белая газовая косынка. Она грациозно изгибается в поясище.

— Бал в честь Нового года начался! — объявляет она.

Точно в волшебной сказке, мгновенно загорается невероятное количество разноцветных огоньков. В руках у женщин, разбрасывая искры, вспыхивают бенгальские огни. Становится ярко, хлопают петарды. Многочисленные бусинки осыпают столпившихся женщин. От потолка, серебристо мерцаая, змейками летят вниз тонкие дождинки, блестящие конфетти.

Потрясающая елка, увеличивая обороты, начинает вращаться, сражая красотой женщин. Из много-

численных колонок, точно благодать, льются заволаживающие слова:

— Очарована, околдована,
с ветром в поле, когда-то повенчана,
вся ты, словно в оковы, закована,
драгоценная ты моя женщина!

Дед Мороз, наполненный переполняющих чувств, кладет в сторону мешок и идет к суровой, вольно одетой заключенной. Он учтиво кланяется ей. Она подает ему руку. Они выходят к центру и начинают танец.

Красивая женщина, оборвавшая Червонку, смело приближается к Волку и, изогнув ногу, делает па. Волк, не ожидавший подобной галантности со стороны безумно красивой зэчки, торопится ей навстречу.

Глаза суровой заключенной подернуты легкой грустью. В ее зрачках отражаются вспыхивающие разноцветные блики с елки.

— Отчего вы так строги в этот прекрасный вечер? — разрывает молчание Дед Мороз.

— Я хожу, ем, сплю, только с одной мыслью, никогда, верите ли, больше не причинять зла людям. Прощать, прощать! Научиться прощать, вот о чем я не устаю размышлять.

— Я верю! — Дед Мороз чувствует прилив необъяснимой теплоты к ней.

— Не веселая, не печальная,
словно с темного неба сошедшая,
ты и песнь моя, обручальная-я-я,
и звезда моя сумасшедшая, — льется песня.

— Замечательный контраст, обворожительная женщина и Волк, — неумело шутит Волк.

— Ты целый Волчара, — смеется красивая зэчка, — сними маску, хочу любоваться на тебя, — просит она.

— Не могу. Исчезнет тайна.

— Ты прав, Волк. Эх, где же мои воронье? — прикикивает она в залихватском отчаянье.

— Все еще будет. И вороны тоже.

— Жду! Жду этого часа, отгуляю за все... Никогда не садись, Волчара, — просит красивая женщина.

— Постараюсь. Хотя кто его знает, от тюрьмы и от сумы...

Червонка направляется к Снегурочке и приглашает ее на танец. Снегурочка улыбается и принимает приглашение. Через минуту они летят в танце, будто скользят в отражении бесчисленных гирлянд.

— Счастливая ты, выйдешь за зону и поедешь с любимым в кабак.

— Не-е, я Новый год всегда дома отмечаю, — тонко успокаивает Снегурочка.

— Все равно твой будет рядом.

— Ну, конечно, — мнется Снегурочка.

— Будет и на нашей улице праздник! — восклицает Червонка.

— Конечно, будет. У вас так красиво! — восхищается Снегурочка, — так здорово, настоящий праздник!

— Девчонки старались. Праздник-то он праздник, да воли нет.

— А ты за что сидишь? — робко вопрошает Снегурочка.

— За убийство, — отвечает Червонка.

— Я склонюсь пред твоими коленями, обниму их с неистовой силою...

Зайчиха весело танцует с пожилой тетей с крестьянским лицом.

Песня заканчивается. В зале вспыхивает свет.

— С Новым годом! — кричат радостно женщины-заключенные. Они принимают обнимать друг друга. Обнимают и Деда Мороза, Снегурочку, Волка и Зайчиху.

— С Новым годом!

— С Новым годом! — метаморфоза в том, что им новый год не добавился.

Сидеть им остается на один год меньше.

Белый микроавтобус карабкается вверх по горной улице. Асфальт от мокроты скользкий как никогда. Поперек дороги, загородив ее, стоят две машины с включенными аварийками. Одна из автомашин, мутно выкрашенная «Жигули». Другая, поблескивающий лаком крутой «Мерседес». Микроавтобус притормаживает. Водитель пытается объехать пострадавшие машины. Владелец «Жигулей» типажный мужичок, сконфуженно пытается что-то доказать разъяренному франту. В желтом свете фар, на гладко выбритом лице мужчины, заметна печать власти. Причем власти оскорбленной. Власти, на которую осмелились покуситься. Он явно преуспевающий чиновник. Судья или прокурор.

Он взмахивает рукой перед лицом мужичка. На его пальце, отбрасывая брызги, сверкает крупный бриллиант. Мужичок сгибается от ужаса. Видно, что он проклинаят глумливую судьбу.

— Ты знаешь, кто я? — рукав мягкой дубленки оттягивается.

— У него КАРТЬЕ, — изумляется Колдун, переодевшийся Волк.

— Гололед виноват. Меня потащило, — вскрикивает мужичок в отчаянии.

— Я тебя! Я тебя! Я тебя сгною к чертовой матери.

То ли судья, то ли прокурор, щурится от фар микроавтобуса.

— Проезжай! — делает он указующий жест рукой — мол, микроавтобуса, это не касается.

— Разрешите спросить? — в приспущенном окне во всей красе Снегурочка.

У нее доброе сердце, оно заболело при виде мужичка, угодившего в жуткий переплет.

— Уже десять, а мы не можем найти виллу, — она называет фамилию крупного государственного чиновника.

— Нас там ждут дети на елку, — поясняет она то ли судьбе, то ли прокурору.

С лица последнего вмиг слетает ярость. Он, как и солдат на вахте женского лагеря, заглядывает в салон микроавтобуса.

— С Новым годом! — поздравляют его Дед Мороз, Колдун и Шехерезада.

— С Новым годом! — буркает в ответ то ли судья, то ли прокурор. Он спохватывается и глядит на часы.

Дед Мороз, Колдун, Шехерезада и водитель в недоумении переглядываются.

«Крутик» машет рукой в сторону залитых светом, фешенебельных вилл.

— За целый день натаксовал, домой продукты вез. Надо же! Перед самым Новым годом! — убивается мужичок.

Ему хочется участия. Хоть сидящим в микроавтобусе пожалиться на злодейку-судьбу.

-Да езжай ты! — чиновник ныряет в слегка утративший щегольский лоск «Мерседес» и уезжает прочь.

— Да святится имя твое, Господи! — крестится мужичок. Он вдруг догадывается и бьет глубокий поклон Снегурочке.

— Мне бы не в жисть не рассчитаться! Благодарю, Снегурочка! — кричит он. Но микроавтобус уже ревет двигателем, трогая.

— Ну ты даешь, мать, — подпрыгивает на сиденье восхищенный Колдун.

— Молодец, дочка! — хвалит водитель. — А я кумекаю, зачем она спрашивает? Я ведь дорогу хорошо знаю.

— Уа-а-у-у! Хижина Дяди Тома! — восклицает Шехерезада, бывшая Зайчиха.

Микроавтобус останавливается напротив золоченых ворот. Мгновенно к нему подходит охрана. Просят всех выйти. Они досматривают прибывших чем-то вроде миноискателей.

По мраморным ступенькам вниз персонажи входят в освещенный домашний кинотеатр. Чванливые взрослые и дети хлопают в ладоши. Превосходная елка кружится в свете взлетающих разноцветных фонтанов. Вода переливается цветами радуги. Звучит Верди.

— Мы спешили к вам. Нам сказали, что в этом доме Новый год встречают красивые, послушные дети. Они уважают родителей, мечтают вырасти и стать большими людьми! — зазвучал голос Деда Мороза.

Дед Мороз подходит к юному рыцарю лет шести, в роскошных кованых средневековых доспехах.

Мальчик прекрасен. В огромных жгучих глазах светится ум и нетерпение окунуться в сказку.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Я хочу быть путешественником.

— Путешественником! Ха-ха-ха-ха! А я буду торговать нефтью, — заявляет подскочивший мальчик в ханском костюме. Рукодельный халат на нем инкрустирован камнями. Они спускаются от ворота к полам.

— Тебя зовут Алмаз? Я получил от тебя конверт. Ты хотел, чтобы Дед Мороз подарил тебе книгу о великом Марко Поло.

— А ты привез ее? — в глазах мальчика сверкнула радость.

— Это очень редкая книга. Но я разыскал ее специально для тебя. Я подарю тебе ее, если ты выполнишь одно мое условие. Согласен?

— Я согласен! — Алмазик утвердительно машет красивой головкой.

— Расскажи мне, пожалуйста, какие страны открыл нам Великий Марко Поло?

— Великий путешественник и географ Марко Поло сделал блестящие открытия для Старого Света. Он описал жизнь и быт тюркских государств, открыл им Джунгарию, Китай, Индию...

Дети вокруг захлопали в ладоши. Сияющий Дед Мороз торжественно вручил большую, толстую книгу умному рыцарю.

— Ха! Книга! Мне папа джип «РАФ»-4 подарил, — заявил будущий торговец нефтью.

Снегурочка тем временем кружит около себя хоровод деток. Колдун кричит хороводу:

— Не верьте ей. Она не Снегурочка. Это перелетая Баба-Яга.

— Нет. Ты нас обманываешь, — в отчаянии вскрикивают детки.

— Я ее заколдую! Ашары, машары, тутэры, бутэры, сары, бары, превратись Снегурка в бревно.

Снегурочка застывает, выпустив из рук ладони малышей.

— Не надо, она красивая, а красивые не бывают Бабы-Яги! — наперебой протестуют милые ангелочки.

Шехерезада приходит им на выручку.

— Пожалуйста, не расстраивайтесь, дети. Всегда против Злых сил есть силы Добра. Я сейчас вам ее расколдую. Но только с вашей помощью. Иначе ничего не получится. Слишком тяжелое заклинание противного Колдуна. Вы поможете мне? — спрашивает у детей Шехерезада.

— Поможем! — дети окружили застывшую Снегурочку. Девочка в костюме Томирис участливо гладит по ее лицу.

— Тогда повторяйте вслед за мной! — командует Шехерезада.

— Силы добра...

— Силы добра, — хором вторят ей дети.

— Услышьте нас...

— Услышьте нас!

— Помогите нам....

— Помогите нам!

— Пробудись, Снегурочка, ото сна! — закричала с верой в голосе Шехерезада.

— Пробудись, Снегурочка! — у детей на глазах от отчаянья выступают бусинки-капельки. Снегурочка едва заметно шевелит пальчиками, ее длинные ресницы вздрагивают.

Она делает ножкой шаг вперед и радостные дети, ликуя, кричат: УРА-А-А!

И прыгают от счастья. Силы добра победили!

— Друзья! Жизнь — это сказка! — восторженно заявляет Шехерезада.

— Жаль, что она закончилась, — Снегурочка убирает с головы блистающую корону.

— Ребята! Да вы только гляньте на часы! Через пять минут завершится старый год!

— Не успеем доехать, — с сожалением машет головой Колдун.

— Поворачивай на обочину! — дарит идею Дед Мороз и срывает бороду. Микроавтобус заворачивает под сень размашистых елей.

— Доставай!

— Я бы тоже... если бы не за рулем! — обернувшись, говорит разочарованный водитель.

— Перебирайся сюда. Подумаешь, ГАИ испугался. Да с нами сам черт... Снегурочка вон какого гуся умирила!

Запоздалые прохожие могли бы видеть, как трясся автобус. В его салоне весело хохотали, бахали пробки шампанского.

— Эх! Была, не была! Наливай! — машет рукой водитель.

— С Но-вы-ы-м го-о-до-о-м! — разносится многоголосый хор в салоне.



ТАТЬЯНА

Только там, на Севере, могло приключиться такое, о чем невозможно забыть, сколько бы не утекло времени.

В тридцати километрах от Верхневилуйска дорога резко сворачивает вправо. В неожиданно наступившемся лесу потрясающей графикой на фоне ослепительно-белого снега вольготно разбросались черные срубы Намцов. Точно кто-то щедрой рукой, словно семечки, рассыпал их сверху, вдоль извивающегося толстой змеей, скованного синим льдом, Вилюя.

От мороза под пятьдесят тайга крикала, и казалось, что устремившиеся в низкое серое небо вековые лиственницы, заходятся в гулком кашле.

Облаченные в белый иней строгие деревья точно испытывающе всматривались в меня — незнакомца, все кругом было чужим, неприветливым, пугающим настолько, что хотелось немедленно вернуться в аэропорт и улететь обратно на материк.

Суровость природы не предвещала ничего хорошего искателю приключений, молодому бродяге, каким был я, решивший заработать в краю северного сияния — длинные рубли. Но дорога назад была отрезана!

Артель из пятнадцати старателей расположилась в большом двухкомнатном срубе с дощатой верандой. Люди здесь собрались большей частью немногословные, хмурые, все, как на подбор, крижистые, крепкие, словно их специально подбирали по неведомому мне тесту.

Когда сверкающий золотыми фиксами «бугор» представил меня коллективу и сказал, что я теперь один из них, сидевший у печи на корточках мужик с квадратной спиной произнес глухим голосом, не оборачиваясь:

— Пусть не стоит, как бревно, а тащит дров из поленницы, а потом дует за водой, вода кончилась!

Я хотел было возразить ему, возмутиться, но вместо этого повернулся и вышел на улицу.

Над тайгой опускалось красное, будто пылающее солнце. Прямые, словно натканные в снег зубочистки, деревья тоже были окрашены в красный цвет, точно облитые кровью. При виде этой изумительной красоты из моей бедовой головы прочь вылетели предательские мысли о бегстве.

Где и когда еще судьба могла бы отнестись ко мне столь снисходительно, предоставив возможность наслаждаться в полной мере счастьем ощущения сопричастности матушке — Природе!

Неподалеку от дома высилась громадная поленница стелых, желтоватых дров, из которой я набрал полную охапку и перетащил их на веранду. Затем из сложенных штабелем квадратов нарезанного мотопилой льда отобрал крайние и наносил их в накуренную, сизую от голубого папиросного дыма, переднюю.

Мужики сидели за столом, пили неразбавленный спирт, непрестанно дымили и сумрачно наблюдали за моими действиями.

— Знакомиться будем? Или у вас не принято? — вызывающе спросил я.

— Ты еще ехал сюда, мы уже знали твое имя, — беззлобно выдавил татуированный на всю обнаженную грудь, приятного вида мужик и подал мне руку.

— Борис.

Я стал обходить вдоль стола, с вытянутой, раскрытой для пожатий ладонью.

— Зяма.

— Колун.

— Это что — кличка? А имя?

— Зови так. Все так зовут.
— Серега Беда.
— Сахалин.
— Почему Сахалин? — соскользнуло у меня с губ.

— С острова Сахалина освободился, сидел там.
— Тульский.
— Так и называть?
— Так и называй.
— Эдик Бесфамильный.
— Почему бесфамильный, что фамилии нет?
— Фамилия моя — Бесфамильный. А вообще — подкидыш... я.

— Сам-то чего сюда забрался? — спросил не-приветливый мужик, отправивший меня за дровами.

— Как и все, за приключениями и длинным рублем.

— Ну, этого добра тут нахлебаешься... Ты вот что... у нас тут контингент сурьезный, помаракуй... как тебе прижиться.

— Ты что, пугаешь меня что ли? — озорно спросил я.

— Здесь закон — тайга, прокурор — медведь! Я уже не слушал его, но, протягивая руку следующему, сделал в мозгу засечку, отмечая щербатого как вероятного противника.

— Не журишь! Здешние аборигены-якуты меня Сенькой прозвали, а так — Семен.

Парень добродушно пожал мне руку и улыбнулся обезоруживающей широкой улыбкой:

— Вы че как волки! Налейте пацану, человек не успел на порог ступить, а уже клыками защелкали! Присаживайся, — Сенька отодвинулся, уступая мне место рядом с собой.

Толян, хмуро покосившись на наколку на моей кисти, молча плеснул в поставленную Сенькой для меня кружку из высокой бутылки.

«СПИРТ ПИТЬЕВОЙ — 98 градусов», — прочел я надпись на этикетке и невольно поежился.

Так началась моя северная одиссея, без выдумок и приукрас, потому что всякий, кто хоть раз бывал в тех краях, знает, что такое прииски в верховьях реки Алдан!

Ранним утром мужики, кряхтя и сопя, вытащили свои натруженные, не разгибающиеся тела из-под стеганых одеял. Угрюмый, заросший рыжей щетиной Сахалин поскоблил ногтем иней на стекле, глянул в сторону стылой тайги и крепко выматерился. Витеевато закрученные матерки были нормальным языком общения этих еще сонных людей, которым предстояло весь короткий северный день работать, не разгибая спины на морозе. Меня же наоборот радовало нарождающееся утро, я выбежал на улицу и до красноты обтерся крупитчатым снегом, вызывая громкое брюзжанье вечно злого Толяна.

Дни потянулись, как близнецы, похожие один на другой и вскоре я стал понимать, что суровый Север поневоле делает людей дикими, жестокими подобиями хищников. Эти унылые мысли-льдины, точно плывшие по кисельной воде, гулко стучаясь меж собой, неизвестно к чему бы привели, не случись со мной история, которую я навоображал себе еще на материке.

В меня влюбилась красивая якутянка с нежным именем Татьяна.

Она была непосредственной, с большими раскосыми, изумрудными глазами, высокого для здешних обитателей роста и мягкой, скользящей походкой. Татьяна жила в поселке, что располагался рядом, знала всех артельщиков и прибегала сюда на лыжах. В поселке ей было тесно, недоставало общения и общаясь с артельщиками, она расширяла свой кругозор, восполняя житейскую

несправедливость. Я ей казался загадочным, интересным, а незнакомые слова, произносимые мной: музей, метро, троллейбус, ресторан, швейцар — возбуждали ей слух, разжигали природное любопытство.

Ее диковатое лицо становилось еще прекрасней, оно словно расцветало и весь ее облик казался частичкой окружающей буйной природы.

Она вошла в дом бесшумной походкой, лишь клубы пара, ворвавшиеся с ней, заставили обернуться ужинавших артельщиков, и на их каменных лицах засветились улыбки.

— А, Татьяна! Проходи, проходи! Садись вместе с нами, поужинай.

Артельщики задвигались, освобождая ей место. Пришедшая легко скинула с себя меховую, расшитую бисером малицу, кто-то, смахнув рукавом с тарелки, стал накладывать тушеную оленину, ей подали мутный, граненый стакан со спиртом и учтиво спросили:

— Ты как, чистый или разбавить?

Очаровательная дитя тайги обнажила в улыбке изумительно белые зубки.

— Вы бы об этом еще у Володьки Бурята спросили! Конечно, чистый, портить водой спирт!

Артельщики шумно расхохотались.

— Да! Володька бы сказал, это ты точно заметила!

— Бурят бы сказал!

— Кто это Бурят? — спросил я, не в силах удержать раздражающий меня интерес.

— А вот у нее спроси. Она тебе лучше расскажет за Бурята. Кстати, познакомься, Татьяна, нашему полку прибыло!

Пришедшая подняла свои изумрудные глаза, и по моему телу пробежала легкая дрожь. Мне показалось, что я вспыхнул, воспламенился!

— Татьяна!

Я протянул ей руку и едва выдавил из себя имя, и не от того, что был робок с женским полом, было в ней что-то колдовское!

— Ты не знаешь Володьку? Он скоро выйдет из тайги... а ты ничего, парень! — выдала она мне комплимент, на который никто не обратил внимания, после рабочего дня все были поглощены олениной.

— У вас всего один стол. Отдайте мне этого парня, я вам принесу еще один, — без тени смущения произнесла она.

— Пойдешь? — серьезно спросил меня «бугор».

— Ты че, очумел что ли?

— Смотри! Татьяна у нас разборчивая! Не каждого позовет, — спокойно объяснил мне он.

И, обращаясь к ней, добавил, точно извиняясь за меня:

— Он еще дикий, не отошел от материка.

Прошло немногим больше месяца, Татьяна приходила еще дважды, подолгу глядела на меня диковым взором, потом вдруг исчезла и однажды, когда я был один в пустой избе, появилась так тихо, точно ветер скользнул в дверь.

На окнах лежали дивные, причудливые узоры, в печке мирно потрескивали дрова, в руки мне попался «Тихий Дон» и я решил перерисовать иллюстрацию с Григорием Мелеховым и Аксиньей, чтобы украсить бревенчатые стены избы.

На ней Григорий, подбоченившись, едет на коне, Аксинья с игривой улыбкой глядит на казака, из полных. болтающихся на коромысле ведер плещется вода. Увеличенная копия получилась великолепной, и внезапно в голову пришла сумасбродная идея изобразить этих замечательных персонажей обнаженными. Работа спорилась, я стер резинкой с Григория рубаху, затем штаны, скинул с него сапоги и вскоре на вороном коне

восседал смуглотелый, крепкий, жилистый казак. Исчезла широкая юбка Аксиньи, с покатых плеч улетучилась белая сорочка и на ватмане явилась белокожая, пышнотелая кустодиевская красавица.

Ее груди оказались крупными, налитыми, словно спелые вызревшие кисти винограда, роскошные бедра, казалось, колыхались в бесшумной поступи, а пушистый, темный треугольник внизу мягкого, белого живота, изогнутого в талии, невольно притягивал взор.

Я так увлекся своим художеством, что не заметил, как открылась дверь. Кто-то, мягко ступая, вошел в избу и, склонившись над моим плечом, зачарованно разглядывал мое творение.

Почувствовав этот взгляд, свежее дыхание человека, стоявшего сзади, я обернулся и увидел полные ревности, раскосые глаза Татьяны, от бешенства покусывавшей губы.

— Тебе нравятся такие, да? — тихо спросила она. — Что в ней хорошего? Мое тело лучше! — заявила Татьяна безальтернативно.

— Ты не поняла, Татьяна, это же это Григорий и Аксинья из «Тихого Дона»!

— Она тебе нравится, ты хочешь такую, да? — Татьяна внезапно скинула с себя малицу, затем так же решительно вязаный свитер, юбку, и не успел я опомниться, как она представила моему пораженному взору обнаженное, юное тело.

Черные, как смоль, волосы рассыпались по точеным плечикам, нежные, крохотные грудки вызываяще напряглись в острых розовых сосочках, тончайшая талия могла бы переломиться, если бы не упругий живот. Мой пристыженный взор метнулся обратно вверх, к лицу, испугавшись увидеть ее святая святых!

— Почему ты не смотришь, боишься? Мое тело красивей! — упрямо повторила она, ее зубы ослепительно блистали, словно алмазы.

— Оденсья, вдруг кто-нибудь войдет, — попросил я испуганно и вышел из избы.

Я стоял на высоком крыльце, нервно курил, из распахнутой двери вышла Татьяна и, не глядя на меня, пошла прочь. Природная грация и пластика изумительно сочетались в ее походке. От темных елей на снегу лежали длинные, пугающие тени, кругом стояла тишина.

В один из поздних вечеров, когда артельщики как всегда ужинали, вошел маленького роста мужичок, с винтовкой за плечом, крест-накрест перетянутый поверх малицы лентами с патронами и перерубленным носом. Он напоминал таежного партизана времен гражданской войны, каких я видел в кино, и изуродованный нос лишь дополнял образ, нарисованный мной навскидку.

И опять, как в прошлый раз, когда приходила Татьяна, артельщики заерзали и засуетились, а длинный «бутор» отодвинулся, освобождая конец лавки прищельцу:

— А то все спрашивают, когда Бурят из тайги выйдет?

Прищелец неторопливо, как у себя дома, разделся, скользнул ногами, обутыми в мягкие чуни, к умывальнику, тщательно умылся, провел мокрыми руками по седому ежику волос и с явным раскаянием в голосе, промолвил:

— Уходил, Надька не разговаривает, молчит, обиделась, видно, что я ее оставляю, а на кого все бросишь, кто-то должен присматривать...

— Ее тоже можно понять!

— Да твое никто не тронет, Володька!

— Кто знает! Тайга есть тайга! Нынче не те времена пошли...

Володька пил неразбавленный спирт, а я украдкой глазел на него и по сердцу растекалось странное, неясное чувство.

С того дня, как я впервые услышал о Буряте, мое воображение нарисовало лохматого богатыря, способного победить шатуна-медведя. А этот маленький, точно лесной гномик, человечек, конечно же, обманул мои надежды. Но витающее в атмосфере избы уважение, если не сказать раболепие артельщиков и незримый страх перед ним, будоражили мой возбужденный мозг.

— Давно тебя не было?

— С прошлой зимы! — ответил Бурят.

— А в тот раз мы славно погуляли!

— Да! Если бы не Лосяра — бешеный волк! — проговорил Бурят и при этом пронзительным взглядом осмотрел меня, точно взвешивая на своих, невидимых другом, весах.

— Да нет, Володька, этот пацан нормальный, — заступился за меня «бугор».

Позже он мне расскажет, что прошлой зимой, выйдя из тайги, Бурят получил сразу за год большие деньги и всех угощал, раздарилая подарки. Кому-то цветные шали, кому-то пряники, кому-то дубленку; поил всю округу и схватился со здоровенным Лосем, матерым каторжником. Бурят порубал его топором, а потом прислонил окровавленного Лося у ели и расстрелял, как в тире.

Я чувствовал, как кровь в моих жилах густеет, а кожа становится гусиной.

— Он что, изверг? Душегуб? Убийца?

— Да ты что! Он хороший, просто много отсидел в свое время, стал лютым, и, снизив голос, продолжал рассказывать «бугор». — Он бежал из лагеря, с Колымы, это еще в сталинское время было. Шли они по тайге, шли, шли, впереди несколько тысяч верст, уже с голоду умирали и тут наткнулись на чью-то могилу; раскопали, а мертвяк, как в холодильнике, лежит себе, его они и ели, пока не вышли к людям.

— А кто ему эта Надька, о которой он убивался все время?

— А, Надька...! Это его лайка. Ну, собака его. Он с ней круглый год, людей вокруг на сотни верст нет, с ней как с человеком разговаривает.

— А что, за убитого Лосяру его не посадили?

— Эх, пацан...! Тебе же сказали — здесь закон — тайга, а прокурор — медведь. Да и всем этот Лось давно надоел. Беспредельщик был еще тот. Его якуты не любили, он местных девок насильничал, все боялись его, один якут стрелял в него в тайге, да так и сгинул потом без вести, говорили, что это Лось свел счеты...

Дни нанизывались, точно крохотные бусинки на невидимую нить, тянулись полярные ночи, и жизнь казалась вечной, нескончаемой, что спешить было совершенно некуда, незачем...

Мы подружились с Бурятом. Когда он жаловался на терзавшие его боли в суставах, я принимался мять ему ноги, убеждая бросить все к чертовой матери и уехать на юг, к морю, на грязи.

Зима стояла лютая, по ночам тайга была, вгоняя в сердца людей ужас, и якуты вздыхали, предупрекая круговертные бураны. Старик, приехавший накануне с оленьего стойбища, покуривая длинную трубочку, предостерег «бугра»:

— Зима нынче плохой, Лешка! Тайга, однако, осторожно ходи, шатун много бродит.

В эти дни мы втроем валили лес на отдаленной деляне, как внезапно заболел мой напарник — чеченец Алихан, у него поднялся сильный жар, и «бугор» вынужден был везти его в поселок к фельдшеру. Когда стих рокот двигателя, я остался один посреди бескрайнего зеленого океана, с ружьишкой за плечами, с топором за поясом и остро почувствовал засосавшее под ложечкой чувство одиночества.

— Эге-ге-ге! — сказал я себе, — не успел отъехать трактор, а ты уже скис. «Бутор» обещал быстренько смотаться и привезти мне другого напарника.

Запустив «Дружбу», я попытался начать «валку», но мысли в голове скакали, точно блохи, всплыли слова старика и, заглушив пилу, я стал озираться, вглядываясь в надвигающиеся тени. Неожиданно с кроны высокой ели взлетел огромный ворон и принялся пронзительно каркать, взбудораживая округу. Вскинув ружьишко, я попятился в направлении охотничьего «балка», где мы расположились на эти дни.

До «балка» шагать было верст пять, я осторожно ступал по снегу, вздрагивая на любой треск, не убирая пальца со спускового крючка, и раздумывал о Буряте, живущем в этом кошмаре один-единешенек годы напролет.

Войдя в спасительный, желанный «балок» я интуитивно, нутром почувствовал витавшую в воздухе опасность. Оставленных здесь продуктов и след простыл, сердечко забилось учащенно, куропаткой, попавшей в силки. Это значило, что здесь побывали злые люди. По закону тайги не принято забирать продукты из «балка», наоборот, в нем оставляли соль, спички и другое.

Таежное правило гласит: увидел незнакомого человека — уходи в другую сторону. Я вышел из «балка» и в бинокль разглядел на дальней опушке вооруженных людей — они скрывались в зеленой чаще. Распахнув малицу, к своему ужасу я обнаружил отсутствие патронтажа — он «уехал» в тракторе, и я тысячу раз проклял себя, «бугра», чеченца Алихана, вздумавшего разболеться посреди тайги.

Итак, очки складывались не в мою пользу. Начинался буран, продукты были украдены, я остался без патронов, рядом бродили лихие люди.

Мне захотелось взвыть волком, задрав голову к грозно темнеющему небу.

Не Робинзоном я себя чувствовал — нет, я трясся от предчувствия надвигающейся беды!

И все-таки мне удалось совладать с собой и выгнать из сердца противный, липкий страх, загнав его куда-то вниз. На одной из полок я обнаружил небольшой мешочек с манкой, наносил из сложенной напротив «балка» поленницы дров, весело запыхала буржуйка и я стал подумывать, что дела мои не так уж плохи.

Но вскоре тайга стала подвывать, словно жалиться, снег взвихрялся вверх, охапками залетая в узкий, без стекла, оконный проем и спустя некоторое время за дверью заматался сумасшедший буран, такой, что не видно — ни зги!

— Час от часу не легче! — бормотал я. Было жутковато, хотелось жить, и в голову закрадывались мысли сбежать домой, если удастся выкарабкаться на этот раз.

Я размышлял о вооруженных людях, ушедших в тайгу, застигнутые бураном, они могли вернуться, нервы были на пределе, и в этот момент в сколоченную из «тонкомера» крепкую дверь, громко постучали.

В ружьишке оставался единственный заряженный дробью патрон, я взвел курки и спросил:

— Кто это? — но голоса своего не услышал, от волнения он пропал.

— Кто? — закричал я грозно, зверея.

— Откройте, я заблудилась в тайге, — за дверью слышался девичий голос, и мысли всполохами метнулись в воспаленном мозгу.

— Верить или не верить? Эх, была, не была! — я распахнул дверь и остоленел. В проеме облепленная снегом с ног до головы стояла Татьяна, на поясе ее висели две белки.

— Ты? Откуда?

Татьяна несказанно обрадовалась, узнав меня.

— У нас пропали олени, я пошла их искать, по пути увлеклась охотой, расстреляла все патроны, тут начался буран, и я заблудилась.

За стеной бесновалась природа, тайга корежилась, стонала, но я чувствовал, как внутри меня оттаивают недавние страхи — они, взвизгнув подобно кошке, отпрыгнули прочь.

— У тебя есть патроны? — спросила Татьяна.

Я растерянно помотал головой и, наверное, был смешон в тот момент.

— Ой, худо, худо! — встревожилась она.

Я рассказал ей о людях, забравших продукты, Татьяна слушала, качала головой, глаза ее неожиданно потемнели, она распорядилась идти за дровами.

Татьяна сварила манку и, к моему восторгу, достала из мешочка хлеб, луковичу и чай.

После еды мы курили — Таня маленькую трубочку, я смолит «Беломор». Таня снова смотрела на меня долгим, странным взглядом, зрачки ее подергивались дымкой, туманились, она порывалась мне что-то сказать и не могла никак решиться.

Я отворачивал лицо в сторону, рассматривая ее лежавшие на топчане расшитые узором красные варежки, на душе от ее присутствия было тихо и покойно.

Вдруг «балок» качнулся, точно во время землетрясения, накренился, угловые венцы заскрежатали, я еще не успел сообразить, что происходит, как Татьяна вскочила на ноги и вырвала из ножен длинный, узкий нож.

— Беда парень, амакан пришел, амакан! — закричала она.

И в это время в оконный проем ворвалась огромная, лохматая медвежья башка, с злыми желтыми глазами и распахнутой в оскале клыка-

стой пастью, из которой в «балок» пахло отвратительной вонью.

Дикий звериный рев потряс крохотный «балок», Татьяна крепко сжала мои пальцы и прокричала в отчаянье:

— Смерть пришла, парень! Зачем я стреляла в белок, зачем ты забыл патроны?

Медведь ревел так, что страх, недавно загнанный мною вглубь, вновь стремительно влетел в мое затрепетавшее сердце, и я поневоле превратился в жалкий комок страха, сжавшего все мое тело.

Но теперь я был не один, ответственность за Татьянину жизнь неожиданно протрезвила мою голову.

«Балок» ходил ходуном, казалось, еще минута и он рассыплется на части, я поднял ружье.

— Не стреляй, нельзя, у тебя дробь, ты его только ранишь!

— Но он сейчас развалит «балок»!

— Когда бревна распадутся, он встанет на задние ноги, я подойду и воткну ему нож в сердце, а ты ударь топором. Его надо убить, не то он сожрет нас!

— Но ты не сможешь ударить его ножом...

— Не болтай! — вскричала Татьяна — Гляди, сейчас бревна не выдержат, гляди внимательно, мы должны убить его!

Ее глаза метали молнии под длинными ресницами, покрытыми инеем, маленький носик заострился, и она показалась мне сном, предутренным сном. Иссиня-черные волосы девушки разметались по малице, в крохотной ручке она решительно сжимала нож, рот ее был полуоткрыт, обнажая белые ряды похожих на крупные градины зубов, и вся она, напоминала сжатую до предела, тугую пружину.

Я крепко сжал топор, готовый биться насмерть, а мое внутреннее Я молило Всевышнего

наслать на «шатуна» паралич, столбняк или тех самых людей из тайги, которых еще недавно я ужасался.

Он пытался взобраться на крышу, бил боковую стену, расшатывая ее, вновь и вновь возвращался к окну, заставляя нас цепенеть от ужаса.

Амакан вырвал башку из квадрата окна, слышалось, как он побежал вокруг и задел всей своей тяжестью дверь, теперь его рев доносился откуда-то издали.

Буржуйка давно погасла, я взглянул на ручные часы и обомлел, с момента, как пришел «шатун», прошло уже не менее часа.

В «балке» стоял жуткий холод, организм, все это время игнорировавший его, теперь мгновенно продрог, то же происходило и с Татьяной, мы стали замерзать.

Таежный мороз суров, он промораживает все тело и добирается до костей, руки мои дрожали, ноги выбивали чечетку, зубы, предательски лязгая, прокусили язык. Я понял, что судьба послала на мою долю эти испытания, чтобы удостовериться — чего я стою!

Все мои мысли крутились вокруг медведя, я гадал про себя, ушел он совсем или ходит рядом и придумывает, как выманить нас из неподатливого «балка».

Татьяна, не выпуская нож из руки, плотно прижалась ко мне спиной. Невзирая на малицу, на то, что она была плоть от плоти дитя Севера, мороз добивал ее, она резко вздрагивала, пугая меня и вдруг, словно читая мои мысли, неожиданно проговорила с тоской в голосе:

— Мы умрем, парень. Амакан здесь, он не ушел, он хитрый, спрятался...

И точно накликала беду! Раздался глухой удар, показалось, что на «балок» рухнула вековая лиственница, он зашатался и, перекрывая вой бура-

на, разнесся утробный рев, от которого сжались внутренности.

Изогнувшись, Татьяна впиалась мне в губы, обжигая их сладчайшим поцелуем, на долю секунды я рухнул в ее изумрудные зрачки, но новый удар и последующий рев отбросил нас в разные стороны, мы приготовились к смерти.

Вновь мокрая от снега медвежья башка просунулась в проем, заревела, парализуя волю, и вдруг она как-то обиженно простонала, омерзительная пасть, пряча клыки, медленно закрылась, она соскользнула вниз и все разом стихло.

Стало отчетливо слышно, как всхлипывает тайга, и мне почудилось, что до моего воспаленного слуха доносится скрип крадущихся шагов.

Дверь затрещала под тяжелыми ударами, Татьяна стояла прямая, словно натянутая гитарная струна, я понял, что стучит человек и в голове вспыхнула мысль, что схожу с ума.

— Открой! — прошептали обескровленные губы Татьяны.

На нестигающихся прямых ногах, все еще раздираемый сомнениями, я добрел до двери и скинул тяжелую перекладину засова.

В двери, пятясь спиной, появился маленького роста человек с винтовкой наизготовку, снег налип на него пластами, и казалось, что в «балок» всплывает сугроб.

Когда «сугроб» повернулся, Татьяна завизжала, точно «сука», нашедшая потерянного кобеля, и бросилась на шею вошедшему.

Это был Володька Бурят — буран и его застал в тайге.

Прекрасно ориентирующийся в лесу, он шел к «балку», чтобы укрыться от непогоды и столкнулся с шатуном.

— Слышу — амакан ревет! Думаю, значит, в балке кто-то есть! Гляжу, его башка в дырку ле-

зет, я подкрался и выстрелил в сердце, — спокойно рассказывал Бурят, шелуша полено, чтобы растопить буржуйку.

— Если бы не ты, он бы нас задрал! «Балок» уже едва стоял...

— Хо-ро-ший «балок»! — Бурят любовно пощупал темные бревна «балка», давшие широкие щели.

— Сами строили. Еще мой друг «Росомаха» живой был, потом его амакан скушал.

Татьяна, бесстрашная Татьяна сидела на топчане у стены и плакала, поражая меня.

— Испугалась девка! Шутка ли, амакан пришел. Такое не всякому мужику выдержать! — приговаривал Володька, вгоняя меня в краску, события происшедшего еще не отпустили мой мозг, и я понял, что он говорит это мне в утешение.

— Поплачь, девка! Зачем одна в тайгу ходишь? Я тебя потом поругаю, а сейчас — на! Возьми, отдашь кривому Секле, на деньги купишь себе красивые сапоги... тебе перед женихами, надо!

Поражая меня, Бурят протянул Татьяне тускло мерцающий самородок золота, при этом хитро подмигнул, отчего нос его выпрямился и перестал выглядеть уродливым.

В тот миг я впервые задумался над тем, что же это за создание человек?

Одного он может поставить у ели и беспощадно расстрелять, а другому отдать самородок, чтобы остановить слезы!

И вдруг понял! Понял, что душа человека, не потемки, а темные лабиринты, непонятные не то чтобы постороннему, а порой и самому себе!

Север! Край трескучих морозов! Он точно высокий тест, на прочность! Безмолвные, бескрайние, сливающиеся с горизонтом — стылые льды Заполярья! Весенняя, раскинувшаяся, словно сама Вечность — зелень тундры! Манящая от опушки к опушке, влекущая неповторимыми запахами — тайга! Однажды побывав здесь, навек остаешься опоенным его колдовским зельем, он снится ночами, приходит во всей своей красе — суровый и ласковый!

Мой роман с Татьяной так и не сложился, слишком разными мы были! Она — искренняя, первородная в своих чувствах, вольное дитя Севера, я — напичканный городскими стандартами, материковый повеса!

Я не был готов принять ее чистую любовь!

Теперь, по прошествии лет, когда я вспоминаю об этом, легкая грусть всплывает в мое давно зачерствевшее сердце — что могло стать с моей судьбой, если бы я женился на ней? Возможно бы, жил до сих пор в тайге и был бы так же как и она — первороден и счастлив!



ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

«Простота — хуже воровства?»

Он помнил своего друга с тех пор, как начал помнить себя в детстве. А детство, точнее память о нем была рваной, как и вся его последующая жизнь. И сколько бы он не пытался упорядочить в памяти крошечные события, происходящие на заре детства, никак ему это не удавалось. Точно слайды, всплывали разрозненные картинки и застывали неподвижно, не подчиняясь его желанию припомнить, а что же было дальше?

Он помнил высокий, крутой берег, а под ним мутные воды широкой, глубокой реки. Кажется, он нырял в нее, хотя этого никак не мог бы делать. Плавать он научился гораздо позже. Значит, он лишь смотрел на нее.

Но зато ярко и красочно высвечивался следующий слайд: кучка отчаянных мальчишек плещется в той воде, блестя на солнце мокрыми худыми тельцами, и с дерзкими криками «Последний раз и... напоказ» ныряют так, что над поверхностью мелькают тощие ягодицы. Выныривая, при этом отчаянно хохочут, показывая для чего-то друг на друга пальцами.

На другом берегу стоял дом. Выкрашенные пожарной краской металлические щиты ограждали большой скотный двор. Отец говорил, что в том доме живет неведомый бездетный старик Бегай, и, если он будет плохо себя вести, то его отдадут старику. Это очень пугало, и он старался быть прилежным. Но порой бежал на берег и, затаившись в редких колючих кустах, подолгу смотрел на ту сторону реки.

Друга же он помнил вначале так же отрывисто. Мальчик с невымытым лицом, с босыми ногами в засохшей грязи, с бараньей полуобглоданной

костью в липкой руке. Под носом мальчика мокро, и он слизывает эту мокрень, высовывая розовый язык, а затем грязной рукой утирает, оставляя на ней светлую полоску.

Когда он напрягался вспоминать дальше, следующим слайдом выхватывался зимний день, обилие искрящегося снега и пологий склон, с которого он катился на самодельных санках. Он не один. Тот же мальчик, одетый в изодранный полушубочек с чужого плеча! Когда они тянули тяжелые санки в гору, мальчик то и дело наступал на волочившиеся по снегу полы, и от этого падал на снег.

И на других картинках вместе с ним вырисовывался этот смуглый мальчик с черными, как у верблюжонка, глазами.

На соседней улице, в низком, точно вросшем в землю доме с высокой травой на плоской крыше, жили два брата. Они были старше их и злее, и за ними по пятам всегда ходила большая черная с белыми пятнами собака. Нахрапистые братья, выследив, отнимали все, что находили в их карманах, будь то пряник, конфеты, холодный засохший баурсак или кислый овечий курт.

И еще он отчетливо помнит, как они с мальчиком ели, спрятавшись за конюшней, боясь попасться на глаза безжалостным сверстникам.

Не успел он оглянуться, как пролетело время. Уже взрослым, он часто глядел на бесшумно струящуюся внизу засыхающую речку, и удивлялся тому, что она могла быть когда-то полноводной.

Умер старик Бегай, которого он так никогда и не увидел. А братья давно сидели в тюрьме за пьяную поножовщину. В детстве казавшийся большим аул теперь смотрелся крохотным и сиротливым. Жизнь в нем, прежде видевшаяся загадочной, оказалась серой и пустой. Особо затосковал он после того, как ушла из дома его жена Асель.

А ведь как он радовался, когда привел к старой матери невестку! Точно стены их дома расширились, когда в них поселилась она. Ему бы было трудно ответить, любил ли он ее. Но он ею гордился, тогда еще подспудно, не осознавая, что она, его жена, есть одна из положительных вех на его жизненном пути.

Он рос трудолюбивым мальчиком, даже по аульным меркам. Его можно было назвать «трудоголиком», и очень покладистым. В нем никогда не замечалось стремления к лидерству, мстительности, зависти. То ли по генам перетекло к нему ненапускное великодушие, доброта и какая-то неиссякаемая готовность помочь.

Его смуглый друг, как только немного окреп, стал давать отпор двум нахальным братьям. Так и росли в переменных успехах. То друг поколачивал братьев, упорно выслеживая их по одному. То братья, объединившись, расквашивали ему нос. А он всегда был в проигрыше. И тогда, когда друг побеждал, он не пожинал лавры, и когда друг проигрывал, за компанию получал и он.

Вот так, год за годом, он вырослел, оставаясь неизменным. Переделав всю работу в своем доме, он шел по аулу и никогда не мог пройти мимо, видя, как кто-то работает. Он подходил и предлагал свою помощь. А со временем среди аульчан как-то уж так сложилось, что даже если его не видели на улице, то шли к нему домой и просили помочь. А его добрые, как и он сам, родители, никогда не прогоняли прочь нахалов, не советовали ему брать плату за труд. Наоборот, говорили:

— Барып келесің бе, балам? Сходишь, сынок?

Сосед, привезший тележку сена, озабоченный необходимостью перекидать его на сеновал, кричал кому-нибудь из домочадцев:

— Эй, кто-нибудь! Сходите-ка за Асаном! Попросите его помочь!

И он шел, помогал. Не было для него разницы, какая это была работа.

К зиме ли в чьем-то доме собирались резать согым. Слышалась инициативная мысль:

— Надо бы Асана позвать, чтобы помог освежевать и разделать.

А кто-то трактор чинит, да не хватает собственных двух рук. Одному нужно ломом приподнять, пока другой поставит железаку на место. И опять Асан. Доходило и до того, что некоторые наглецы смели возмущаться ему в лицо:

— Ну где тебя носит? Мне надо было помочь колесо демонтировать! Обыскался тебя!

Но он не сердился, а как-то мягко, по-девичьи, улыбался в ответ, произнося:

— Кенжебек попросил помочь подковать пегую кобылу. Да она строптивая оказалась, с ней и провозились.

Но как бы то ни было, аульчане любили его и где-то внутри уважали. И в учебе у него всегда ладилось. По всем предметам хорошие отметки у него были. А вот друг хромал в школьном образовании. Очень хромал.

Но прошли вереницей годы. Поуходили они в армию, и он, и его смуглый друг, и оба злых брата. На службе вообще все быстро раскусили его характер. А он и не пытался быть другим. Вот и использовали многие нечестные сослуживцы его отзывчивость, со временем видя в нем выючную лошадь, оправдывая себя пословицей «А что не выючить, если везет».

Друг пришел из армии крепким, с перебитым носом. Стал жадным до девочек. То одной голову заморочит, то другой.

— Асан, сходи к Айнагуль, скажи, пусть придет, как стемнеет, к старой конюшне. Ты же мой друг.

Или:

— Слушай, я вчера видел, к старику Каракоже приехала в гости из города краля. Я мимо их дома проскакал, а она мне долго глядела вслед. Ты же мой друг, иди, сходи к ним, улучи момент, скажи, мол, я схожу с ума по ней и буду ждать за аулом, около фермы. И он не отказывал другу.

Друг купил «Москвич» и стал целыми днями пропадать в городе. Лишь среди недели он приезжал в аул и тут же находил его. У друга появилось много новой одежды. И однажды он приехал на новенькой «девятке». Он ходил по аулу с прямой спиной и открыто смотрел в лица аульчан.

Он же тогда работал на тракторе. А как-то пришлось ехать в город, нужно было найти запчасть. Целый день мотался он по разным предприятиям, пока нашел ее и купил. Решил заскочить в ЦУМ, купить матери платочек новый, и встретил случайно друга.

Около магазина множество людей сгрудилось в кучку. Подошел и он. Там играли в «три наперстка». Он знал, что это обманщики и лишь на минутку остановился. Его друг сидел на корточках за фанерной дощечкой и говорил нараспев:

— Я приехал из Америки, на зеленом велике. Велик мой сломался и я здесь остался. Пустой возьмешь — деньги мне отдаешь. Полный поднимаешь — выигрыш получаешь. На какой ставишь?

А вскоре наступили времена рыночной экономики. Теперь друг приезжал в аул на большом, красивом БМВ. Он любил друга и радовался за него. И когда друг однажды сказал:

— Ты же мой друг! Кого, как не тебя, попрошу построить дом старикам? У меня сейчас в городе большие дела.

Он ответил:

— Ни о чем не беспокойся! Привези стройматериал и дай мне план дома. Я его выстрою.

И выстроил. Хороший дом получился. Самый лучший в ауле. Друг так радовался! Привез ему в подарок джинсовый костюм, модный, дорогой. Но он попросил друга надеть джинсовый костюм на себя. Тот, удивленный, ничего не мог понять.

— Для чего?

— Ну одень, я прошу! — сказал он. Друг надел.

— Очень тебе к лицу! Когда-нибудь потом мне привезешь, а этот, пожалуйста, не снимай! Он на тебе сидит, как литой.

«Когда-нибудь» как-то забылось. Да он и не помнил об этом.

Зато никогда ему не забыть день, когда он познакомился со своей будущей женой, Асель.

Она приехала в их аул из города, на свадебный той двоюродной сестры. И Асан был приглашен на той. Вначале были соблюдены все приличия. Был и беташар, и шашу, и другие обряды. А ближе к ночи для молодежи включили музыку и устроили танцы. Вот тогда он и увидел ее, и остолебел. Обе ноги, точно смазанные клеем, прилипли к земле. Лишь расширенные зрачки фиксировали каждое ее движение. Ах, до чего же заразительно она смеялась. И глаза ее вспыхивали во время смеха, ослепляя на мгновение, словно всполохи молнии в ночи! Все кругом танцевали, лишь он один стоял. И вскоре она это заметила. Что-то приезжая красавица, глядя на него, спросила у аульной девушки. Та ответила. И обе рассмеялись. И вдруг музыка закончилась, а гостя направилась к нему, держа в руках домбру. Она шла, не отводя взгляда от его восхищенных глаз. Ему показалось, что идет она долго. Целую вечность. И он наблюдал, как колышались складки ее платья, когда она выбрасывала ногу вперед. Как скользила вдоль тела ее белая рука. И хрупкая талия изгибалась в такт ее шагу. Она протянула инструмент ему, напряг-

шемуся и готовому отказаться. Но она вся светилась изнутри, словно жаркое пламя полыхало в ней. И он не смог. Взял домбру. И заиграл. Просто пальцы побежали легко по грифу.

А потом прошла та ночь. Они увиделись на следующий день. И на следующий. Когда она уехала, он слег. Заболел. Такое бывает с влюбленными. Он просыпался с мыслью о ней. Целыми днями, что бы он ни делал, ни на минуту она не покидала его мозг.

И ночью он вновь засыпая, в тысячный раз просматривал, точно видеокассету, один и тот же фрагмент: как она шла к нему.

Он уже тогда организовал крестьянское хозяйство. Взял землю в аренду. Из металлолома слепил себе трактор. И борону собрал. И плуг. И косилку. И сеялку. И веялку. Вставал, чуть заря и ложился затемно.

А когда она приехала вновь в аул, он прямо на тракторе подъехал к дому старого Каракожи. Все ей рассказал, высказал. Откуда только смелости набрался? До сих пор не может понять. Одним словом, в конце сказал прямо: выходи за меня замуж, я парень трудолюбивый, непьющий, буду тебе хорошим мужем. Думал, прогонит. Рассмеется. А она... согласилась. Будто во время крепчайших лютых морозов в одночасье прямо все вокруг стало таять. Потекли ручьи, приподнялась травка. Зазеленело, зацвело и проклюнулись подснежники. Вот то и произошло с ним, когда она согласилась.

А еще затем как-то шли дни. Он много работал. Но наступил день, когда Асель вошла в их дом. Она оказалась хорошей женой. Вот только была дерзкой, как и его друг. Но его старики души в ней не чаяли. И побаивались временно. Нет, не ее. А того, что выпало на долю их сына счастье огромное, а от этого всегда становится страшно.

Потом однажды приехал друг. Он уже в то время был редким гостем в ауле. Где-то в городе воровал большими деньгами. С большими людьми общался. А в этот раз он не приехать не мог. Скончался его отец. Много скота зарезали. Муллы понаехали. Как положено в таких случаях, проводили старика. А когда остались наедине, друг обратился с просьбой:

— Сам понимаешь, я в городе, дела не оставишь. А отцу надо мазар поставить. Ты же мой друг.

И он тут же успокоил друга, произнеся:

— Ну, о чем ты говоришь, у тебя такое горе. Отправь материал из города, а я уж постараюсь. Все сделаю.

Друг обнял его признательно. И уехал. Вскоре пришла машина с материалом. И он выгнал мазар. Издали было видно его.

Как-то в проблемах прошло лето. Затем осень. Урожай собранный он отдал за долги. Ведь ГСМ с неба не свалился. В долг он его взял. Но он не терял присутствия духа. И Асель утешал. Надеялся весной отсечься хорошо.

А весной у друга еще большее горе случилось. Умерла его мама. Друг приехал. Имама из города привез. Опять скот под нож пошел. Похоронили по чину. Друг был в глубоком потрясении. Он сам к нему, к другу подошел. Обнял его и сказал:

— Я для твоей мамы выложу рядом с отцом. Он должен быть из белого кирпича. У нее душа была светлая.

Друг улыбнулся через боль и выдохнул в ответ:

— Вот теперь у меня в ауле только ты и остался, мой друг.

Этот мазар для покойной матери друга он строил с особым вдохновением. Все свободное время, не разгибая спины, проводил он на кладбище. Сам

готовил раствор. Сам вел кладку. Сам вывел купол и выкрасил его голубой краской.

А это было время страды. Он хорошо отселялся. Вот только с ГСМ опять вышла проблема. Денег не было. Пришлось влезать в долги под будущий урожай. А его цена вновь подорожала. Он был на поле, говорят, что в это время друг приезжал, осматривал мазар матери.

Тут Асель, его жена, что-то стала взбрыкивать, точно необъезженная кобылица. Неуважительно обращалась с его смирными родителями. Шипела на них, словно змея, которой нечаянно наступили на хвост.

А в самый разгар сенокоса неожиданно на него обрушилось великое горе. Отец, его отец, тихий, спокойный человек, вдруг не проснулся утром. Умер.

Тяжеленной чугунной плитой придавило его. Он даже согнулся в поясе и голову теперь трудно стало держать прямо. Но отца похоронили. Как могли, постарались все сделать достойно. Он так ждал друга, но друг не приехал. Наверное, не смог. Надо было ставить мазар отцу, но средств на покупку материала пока не было. И он решил, что поставит после уборки, как продаст излишки зерна.

Целыми днями пропадал он в поле. Возвращался поздно. Но и, вернувшись, не сидел без дела. Трактор сыпался постоянно, надо было его чинить. Скот напоить, убрать под ним, корм задать.

Он замечал, что старая мать тоже стала сдавать после смерти отца. Она ему не жаловалась, только глядела на него как-то с сожалением. А Асель тем временем совсем перестала заниматься домашними делами. Похорошела вся, зрачки блестели вновь всполохами. По ночам она быстро засыпала, отодвинувшись на другой край кровати. По утрам завтрак готовила ему мать, в то время как жена спала. Стала воротить нос Асель от его запаха:

— Вечно от тебя солидолом и навозом пахнет!

Он помалкивал, коротко вздыхая. Не до ссор ему было. «Перебесится!» — думал он.

К осени стало еще хуже. Она вовсе отбилась от рук. Стала возвращаться домой под утро. На его вопросы отвечала дерзко, голову держала вызывающе высоко. Точно кислотой разъедали ему сердце мысли о ее неверности. А вскоре он получил им подтверждение.

Оказывается, спуталась она с одним из братьев, вернувшихся в аул после заключения. Они вели праздный образ жизни. Пропадали где-то в городе, а к ночи возвращались в аул. Постоянно возле их дома собирались приезжие машины. До утра из окон гремела музыка, вырывался женский смех — шла гулянка. И местный участковый стал завсегдатаем их гульбищ. Да и бывший председатель совхоза, ныне самый богатый в ауле Кошкарбай, сдружился с ними. Ходили слухи, что братья руководят бандой рэкетиоров. На всю округу теперь нагоняют они страх.

Наступило время уборки. Да точно сама природа издевалась над ним. Затянулись дожди из хмурого неба. Льют и льют. Все кругом утонуло в хляби. Дороги развезло. Не выехать на коне. А налитые колосья упали на землю от влаги. Он молил небо остановить дожди. И, кажется, оно услышало его. Вняло его молитвам. Но урожай уже пропал. То, что ему удалось собрать, то были жалкие крохи. Даже на посевную не хватит. А тут надо долг возвращать за ГСМ. Но нечем! Он пытался это объяснить приехавшим из города людям, и они уехали ни с чем.

Но в один из дней приехали к нему за этим долгом братья. Тот, который теперь спал с его женой, злорадно улыбался, глядя на него. Ничего не хотели они слушать. Забрали у него трактор.

Вывели весь скот со двора. А потом пришли землю отнимать.

И вот тут он взбунтовался. Вековое, то, что по жилам перетекло к нему от непокорных предков, проснулось, выиграло и взметнулось, ударив в голову. Схватив вилы, погнал он их со двора. Да не те люди братья, чтобы уступить. Завязалась драка. Того, кто был любовником его жены, он проткнул вилами. Да и сам не уцелел. Получил лопатой по голове от второго брата. Упал, обливаясь кровью.

Возбудили на него уголовное дело и арестовали. Вот тогда он и узнал, что такое тюрьма. И насколько беспомощен человек, попавший в руки правосудия. Он становится муравьем, червем, воробышком, попавшим в силки.

Точно бусинки, нанизываемые на веревочку, потянулись черные дни. И он глубоко страдал в неволе. Думы о старой матери выложили на его лице глубокие морщины. Незвестность мучила его. Да и в самой камере жить было невыносимо. Разные бандиты и тут пытались сесть ему на шею. Но, единожды взбунтовавшись, он теперь ничего не боялся. Да и нечего было ему терять. Осталась только собственная честь. А ее он не мог позволить топтать.

Шло следствие, но его даже не вызывали на допросы. Просто томили. А он не жил, он существовал. Ел черную баланду, проглатывая липкий вонючий хлеб. Огрызался, точно пес, на любые посягательства. И ужасно тосковал по земле.

Уже прошла в неволе зима. И, перепрыгнув через высокий тюремный забор, сквозь камерную решетку прокрался веселый дух весны. Это значило, что его земля сейчас исходила парами, в ожидании семени. И он метался. И душа его была по-песью от неумной тяги к свободе.

А потом был суд, защитник, которому нечем

было заплатить, сидел вялый и сонный. Прокурор же, наоборот, рвал удила, точно застоявшийся же-ребец. И всякий раз после атаки на подсудимого, поглядывал на торжествующих братьев.

Он же был одинок. Вот только мама, ставшая еще меньше ростом, испуганно жалась в конце зала.

Дали ему три года и разрешили получить передачку от мамы. Старушка передала ему курт и немного сушеного мяса.

Три года. Три. Время, достаточное для того, чтобы заросла его земля сорняком и бурьяном. Так уж устроен этот мир для таких, как он кара-паим — простолюдинов. Только успевай уворачиваться от беспощадных пинков судьбы.

Он еще был под следствием, когда Асель ушла из дома. Просто теперь она жила через дорогу, в доме проколотого им вилами одного из братьев.

Переваливаясь, точно квадратное колесо, прошли три года лагеря. Не прошли. И даже не протянулись. А вытягивали из него живого жилы. И вот, в одно утро выпустили его, выхолощенного, точно мерина.

Он стоял стриженный, в выцветшей, с чужого плеча, залатанной куртке, и не знал, куда ему податься. Хотелось заплакать, но слез не было. На душе скребли кошки и было мерзко. Он вспомнил о друге и обрадовался. «Я поеду к нему. Просто поговорю, посоветуюсь», — решил он и отправился в столицу.

С поезда он сошел ранним утром и несколько часов сидел на холодном вокзале. Лишь к началу рабочего дня он поехал к другу на работу. Друг теперь занимал большой пост, был большим человеком. Кое-как он пробился сквозь охрану в приемную. Но дальше приемной пройти не удалось. Он, стыдясь и краснея, упросил высокую секретаршу доложить шефу, что пришел друг его

детства по имени Асан. Но у друга то проходило совещание, то какие-то важные люди, добротню и дорого одетые, прорывались к нему.

На него косились, словно на заблудившегося. Но он твердо решил ждать. Прошел обед. Его он провел в коридоре. И вот уже и заканчивался рабочий день. Всякий раз, когда он напоминал о себе секретарше, она морщилась, как от зубной боли. Наступил момент, когда она, точно приговор, объявила ему, что закрывает приемную и ему придется уйти.

— А как же я? Я ведь так и не увиделся со своим другом! — пролепетал он растерянно.

— Он не сможет вас принять, его срочно вызвали в правительство, — безапелляционно заявила дива.

— Да, конечно, конечно. Я понимаю, — закивал он стриженной головой, покидая приемную.

Зазвонил телефон, дива уже не слушала его, схватив трубку, как до него, шагнувшего прочь от двери, донеслись ее слова:

— Сансызбай Каримович просил вам передать, что он ждет вас в сауне. В какой? Он сказал, что вы знаете, в какой, — послышался звонкий смешок дивы.

Сансызбаем звали его друга.



ЛЮБОВЬ ЗЛА, ПОЛЮБИШЬ И СТЕРВУ

Сегодня он проводил собеседования. При его кошмарной занятости было очень непросто уделить этому целый рабочий день. Фирма его росла, дела шли блестяще, удавался всякий проект, за который он брался, принося все новые доходы. Однако он никогда не расслаблялся, зная суровые законы, вернее сказать, капризы бизнеса. О том, как легко можно свалиться вниз, и о том, как зыбко благополучие при тех диких законах рынка, существующих в их государстве. Однако опыт, приобретенный за долгие годы бессонных ночей, дум, размышлений в бесчисленных километрах кошмарных казахстанских дорог, наматываемых на спидометр, точно нескончаемая нить на клубок, предупреждал его от ошибок.

Первый его опыт коммерсанта на пришедшем рынке он получил с перепродажи шурупов. А дело было так.

Один его знакомый, начальник строительного ПМК, как-то за совместным застольем советовал, что организации срочно необходимы шурупы, а они дефицитны. Было это в самые первые годы развалившейся плановой экономики огромного архипелага СССР и наступившей эпохи дикого капитализма, когда продать можно было абсолютно все.

Так вот, судьба свела его в одном из уездных городков с директором какой-то древней базы то ли «Сбытстрой», то ли «Стройсбыт», но это и неважно. Важно было то, что тот директор обронил, что склад забит шурупами. Бывает же такая удача!

Вот с этого все и началось. Он тогда еще понятия не имел, что из себя представляет счет-фактура, и как правильно оформляется накладная.

Но машину шурупов тут же оплатил наличными без раздумий. На следующий день он эти шурупы перепродал в то самое ПМК с рентабельностью в триста процентов.

Этот натиск он пронес в бизнесе через все годы, ему он обязан своим успехом в бизнесе. Нет, конечно, и шишек он набил немало за это время. Ведь дальше все пошло гораздо сложнее, чем та первая сделка с шурупами. Путь его в бизнесе был нелегок, все доставалось с трудом. Но фарт всегда присутствовал в его делах. Он был легок на подъем, просчитав выгодность того или иного предприятия, не медля, прыгал в машину и отправлялся в путь. Никакие расстояния не смущали его. Ах, этот опыт первых лет дикого разгульного бизнеса, когда банки нарождались, как грибы после дождя. Время, когда платеж мог идти месяцами, а проворные нувориши находили в огромных кучах бумаг свои авизо с печатью банка и сами отвозили адресату. Куда угодно! В Москву, на Украину, в Белоруссию, на Сахалин, в Тьмутаракань. В самый разгул беспредельного рэкета, когда всякий городишко порождал, словно кусок падали на солнцепеке, кишашие, точно черви, рэкетирские бригады. В этот период контрабандой, бездорожными степями он вывозил казахстанские товары в Россию, ввозя обратно «КамАЗами» востребованный российский. Это были годы не сформировавшихся таможен, налоговых органов, не выплаченных за год пенсий, простаивающих без топлива ТЭЦ и стремительного падения нравов и совести.

Все вокруг оготело бросилось в коммерцию. Заброшены были заводы и фабрики. Всякий бежал в банк за кредитом, тогда и появилась специальность «пробивателя кредитов», понятия «шапка за кредит» и «откат». Бизнес-планы в то смутное время составлялись в темных коридорах немых

банков на листках бумаги, написанных корявыми почерками, когда слово «холодильник» новоявленные бизнесмены писали через букву «А».

Бригады молодых крепких «качков» со стриженными «под площадку» прическами, в китайских «адидасах», нагло заваливались в первый попавшийся офис, объявляли фирму своими подданными и назначали день сбора дани.

Это было время, когда газеты пестрили леденящими душу репортажами об убийствах, и в лексикон людей прочно вошли слова «разборка», «положенец», «стрелка», легко укоренившись, как когда-то «встречный план» или «пятилетку — досрочно». А пенсионеры со слезящимися глазами все еще глядели на Собес в ожидании пенсий.

Но, несмотря ни на что, он энергично брался за всякую тему, сулящую доход. Торговал продуктами питания, лесом, автомобилями, железом, пока, наконец, не взялся за производство. Ему повезло познакомиться в Петербурге с интересными людьми, занимающимися не менее интересной темой — производством казеина. Все его первоначальные знания об этом составляло лишь то, что он что-то слышал о казеиновом клее. А когда он увидел, с каким размахом было поставлено дело у петербуржцев, то сразу же загорелся. В результате долгих переговоров решили создать СП и ставить перерабатывающие установки.

Вернувшись домой, он зарегистрировал предприятие, обзавелся офисом, оргтехникой и секретаршей. А вскоре появились и первые успехи, достигнутые совместно с питерскими предпринимателями.

Бизнес стал стремительно расти, соразмерно стали расти и доходы. Он обзавелся хорошим джипом, стал дорого одеваться, пить хорошее вино, покупать шикарные пейзажи.

Он был еще молод, полон сил и энергии, от-

лично сложен и тренирован. Он не был красавцем, черты его лица были суровы, однако несли на себе печать мужественности. Большинство сотрудников были убеждены, что их шеф высокомерен и чрезвычайно холоден. Но кто мог доподлинно знать, что таилось внутри него, за его внешней замкнутостью. А он был нормальным человеком, может, только излишне категоричным. Любил людей хороших и ненавидел плохих. Боготворил Пушкина и всеми фибрами души ненавидел Дантеса. Корил Печорина за его свинский поступок по отношению к Белле. Обожал Высоцкого и готов был биться насмерть за каждое слово в его песне «Я не люблю».

Постепенно наступало время вкладывать деньги в новые сферы деятельности. Как раз сегодня он отбирал людей, формируя новую команду. Будучи убежденным в правильности принципа, что «кадры решают все», он лично просматривал лежащие перед ним кипы резюме и проводил нудные, похожие на первый допрос, собеседования. Он был скрупулезен и не совсем этичен, но его интересовало все, и он не стеснялся задавать вопросы.

А когда вошла она, то выработанная за прошедшие годы интуиция мгновенно подсказала ему, что это тот человек, который ему нужен. Она понравилась ему с первого взгляда. Буквально ослепив, затмила собой свет ему, работавшему с раннего утра и до глубокой ночи, не зная устали.

Это была высокая, красивая молодая женщина с сочными губами. И, конечно же, все остальное — длиннющие ноги, томные влекущие бедра, высокая грудь — все это было при ней.

Дождавшись, когда претендентка сядет напротив, он внимательно, очень пристально осмотрел ее, так тщательно, словно рассматривал, прицениваясь, очень дорогую вещь. Ее губы дрогнули.

— Я чувствую себя перед вами, точно под микроскопом, — нервно произнесла она.

— Я не согласен с вами.

— В чем же.

— Возможно, вы нарочно скромничаете, представляя себя крохотной, почти невидимой молекулой, которую можно рассмотреть только через микроскоп.

Она невольно улыбнулась, обнажая крупные, ровные зубы. На ее розовых щеках заиграли соблазнительные ямочки. Однако нечто другое заворожило взгляд бизнесмена. Его взор притягивала томная ложбинка между упругими выпуклостями груди, укрытых тканью платья. Обнаженной была только высокая шея и эта самая ложбинка.

— Какой же вы меня увидели?

Ему показалось, что она смутилась под его взглядом, и он ломал голову, действительно ли она застыдилась или же это искусная игра молодой женщины. Он ответил ей, как бы шутя, но честно, удивляясь самому себе.

— Вы столь красивы и ярки, но в то же время от вас веет холодом. Так в ночи вызревают крупные звезды, заставляя любоваться собой, забыв обо всем на свете. Так что на вас нужно смотреть в телескоп, — заключил он.

Возможно, устав от однообразных резюме и расспросов, он захотел расслабиться, отвлечься ненадолго, слегка пофлиртовав с красивой женщиной. Все ж таки, он в первую очередь мужчина, и уж потом бизнесмен. Однако ему удалось вовремя остановить себя и принять сухой официальный тон. Он взял резюме посетительницы и принялся вчитываться в него.

Послужной список был довольно посредственным, кроме этого она даже не имела высшего образования. Он раздумывал над тем, что может предложить.

— Есть вакансии офис-менеджера. Будете работать?

— Если меня заинтересует зарплата, то я приму ваше предложение, — ответила она.

— Я думаю, оклад вас устроит. Ну, а потом вам потребуется показать свои возможности для его дальнейшего повышения, — сказал он, подписывая резюме.

Вот так все началось.

Работы у него было столько, что он долгое время не имел возможности заглянуть в свою молодую дочернюю фирму, хотя строго контролировал ее деятельность. Но вот как-то он решил заехать в новый офис.

Он выслушивал отчет исполнительного директора, когда она внесла в кабинет чай. Встретившись с ней глазами, он точно ошпарился кипятком. Ее зрачки прожгли его насквозь, словно лучи лазера. Поставив перед шефами чашки, сахарницу и чайник с кипятком, она развернулась и вышла из кабинета, неслышно притворив за собой дверь.

— Как она справляется с работой? — спросил он.

— Претензий у меня нет, все делает своевременно, быстро, грамотно.

— А как насчет доступности? Ты, наверное, не терял времени даром? — он впился взглядом в лицо подчиненного.

Тот стушевался под буравящим взглядом босса.

— Ну что вы, шеф. Разве мне до этого, работы непочатый край. Да и потом, мне кажется, она очень серьезная женщина.

— Ну, хорошо. Ты ведь знаешь, кадры — это все, — назидательно произнес он.

С этого дня его посещения дочерней фирмы участились.

Стояла июньская жара. Асфальт буквально

плавился. Воздух был знойным, и в автомобиле без кондиционеров стало невозможно ездить. Горожане разъехались по дачам, стараясь в эти дни быть поближе к горам. А в горах и впрямь было хорошо и прохладно. Они манили к себе белыми снежными шапками, величаво нависая над суетливым городом.

В один из таких дней, в выходной, он с коллективом нового офиса оказался на берегу шипящей, точно гигантская змея, горной речки. Рядом шумел водопад, вкусно пахло дымком и мясом от мангала, где жарился шашлык, в студеной воде охлаждалось пиво.

Случилось так, что, лазая по нависшим склонам, он случайно отделился с ней от остальных.

Ах да! Это было позже. А до этого она, раздевшись до купальника, больше открывавшего, чем прятавшего тело, чем-то натиралась. Украдкой он смотрел, как она выдавливая блестящие струи из тюбика на свои длинные загорелые ноги, тщательно втирая в кожу ароматную мазь, как проводит ладонями по бедрам, талии, по плечам и груди.

— Что вы делаете? — спросил он.

— Мажусь кремом, чтобы не сгореть. Кстати, вам тоже не мешало бы намазаться, вы совсем белый, еще сгорите. Намажьте мне, пожалуйста, спину, а то я не достаю.

Налив жидкость на ладони, он водил ими по ее гладкой шоколадной спине, пояснице и плечам, стараясь не задеть полоску бюстгалтера, чувствуя себя несколько неловко.

— Спасибо, давайте я вас тоже намажу.

Она растирала нагретую от солнца жидкость по его спине, а он, лежа на животе, прикрыл глаза от удовольствия, от прикосновения к его телу удивительно нежных рук, и вдруг поймал себя на мысли о том, что бизнес отнимает все его время, и у

него совсем нет никакой личной жизни. Начал размышлять о несправедливых парадоксах жизни. Намазывая ноги лосьоном, думал, что правильно должно было быть так, что человек занимается работой, чтобы жить. На деле же происходило с точностью наоборот: живешь, чтобы работать. От этих мыслей нужно было немедленно отряхнуться, неизвестно, куда еще они могли его завести. И тогда, размазав на груди и по плечам остатки крема, он предложил всем походить по горам.

Позже, когда они вдвоем оказались на склоне почти вертикальной скалы у грохочущего водопада, он вдруг почувствовал в себе необычайную потребность взять ее за руку. И когда он это сделал, она взглянула ему в глаза удивленно и немного с укором. Кто знает, что пронеслось в ту секунду в ее голове. Может, мысль о том, что патрон решил позабавиться. Да, скорее всего, она подумала именно это. А может, даже произнесла вслух. Он теперь и не вспомнит. Да это и неважно, какая разница, что сказала она в тот момент. Ведь и он что-то говорил. Он точно помнит, как, стараясь перекричать шум падающей воды, что-то твердил, подкрепляя слова жестикulyацией рук.

Солнце било прямо в то место, где, прижавшись спинами к каменной стене, стояли они. Тела их были мокры от брызг и блестели, смазанные кремом от загара. Рассмотрев вблизи ее чувственные губы, он потянулся к ней, чтобы поцеловать. Ему не терпелось накрыть их своими иссохшими, жаждающими этого поцелуя. Но она почему-то отвернулась, но сделала это мягко, чтобы не обидеть его, не обозлить. И это не ускользнуло от его внимания.

Она нравилась ему всем. Каждым движением своего тела. Он следил за ее лепечущими губами, рождающими хорошие слова. За движением бровей, изогнутых, точно крылья птицы, что намеревается взлететь.

После этого пикника в горах он стал приглашать ее на ужин. Они посещали дорогие рестораны, плавали в бассейнах, дурачились в голубой воде джакузи, ходили в кино, в театр.

Время стремительно бежало вперед. Он как-то быстро освоился с мыслью, что вот теперь, наконец, в его жизни произошло необычное. Появилась женщина, которая стала ему нужна так же, как необходим человеку воздух. Недоверчивый к людям, он стал доверять ей, шаг за шагом впуская ее в темные лабиринты своей души. Ему казалось, что она тот человек, с которым он мог бы пойти в горы, в разведку, в отчаянной попытке на утлой лодчонке переплыть море.

Так прошел год. Триста шестьдесят пять дней, когда он просыпался и засыпал с мыслью о ней, и радовался тому, что уже не одинок в своей бесконечной борьбе с жизнью, что рядом есть она.

А потом в его жизни случилось страшное. Погиб друг, которого он любил, может быть, как самого себя. Так же, как и ей, он умилялся каждому его движению, речи, шуткам.

Друг был необыкновенным человеком, сильной личностью. Очень одаренным, прошедшим трудные университеты жизни. Ему он верил. С ним можно было хоть куда. Хоть с парашютом с жуткой высоты, хоть по натянутому между небоскребами канату. Хоть пить до умопомрачения и петь потом давно забытые старинные трогательные песни и обливаться жгучими слезами, заливая ими какую-то горечь.

Вот такой у него был друг, которым он гордился. И вдруг его не стало. Будто мир раскололся, точно пустой изнутри орех, будто земля ушла у него из-под ног, словно замерли ее звуки, заполняющие все вокруг. Жизнь для него остановила свой ход. Небесная синь поблекла и стала выцветшей, точно застиранная пожеванная просты-

ня. Звезды. Прежде завлекавшие его, зарождаясь на небосклоне, теперь казались дырками в ветхом небе. Он задыхался от боли этой страшной потери, и тогда от невозможности думать об этом принимался пить, чтобы хоть ненадолго забыться.

Скажите, люди! Было ли такое с вами? Если да, то тогда вы поймете его. Но недаром говорят, что беда не приходит одна.

На глазах стал рушиться его бизнес. То, что он создавал годами, бессонными ночами. Одна за другой посыпались неудачи, влеча за собой финансовые потери. По каким-то причинам срывались поставки, нарушался график, следовали штрафные санкции. Пришедший товар нельзя было растаможить по причине допущенных нарушений в оформлении бумаг. Росли непредвиденные расходы за простой, возникли трения с партнерами, клиентами. Какие-то новоизданные законы увеличили вдвое ставки акцизов, пошлин.

Его било со всех сторон. Каждое утро он садился в свое кресло с тяжелым предчувствием, ожиданием новых бед. И они не заставляли себя ждать. От телефонных звонков он съеживался. Ему хотелось стать крошечным, незаметным, превратиться в струйку воды и затечь в какую-нибудь щель, спрятаться там от хлещущих безжалостной плетью неудач.

Его империя стала разваливаться. Так по бревнышку разваливается могучий увязанный плот, попавший в стремнину быстрой коварной воды.

Уже увольнялись сотрудники по причине задержки зарплаты. И напрасно он убеждал их, что это временные трудности. Дочернюю фирму пришлось закрыть, распродав за бесценок сначала мебель и оргтехнику, а позже и само помещение. Потом пришел черед головной фирмы.

Он звонил ей, надеясь у нее почерпнуть утраченные силы, отвести душу в общении. Но ей в по-

следнее время вдруг стало почему-то не до него. Какие-то неотложные дела возникали тут же, стоило ему попросить о встрече. А когда он слушал ответ компьютера, что ее сотовый отключен или недоступен, то сердце его сжималось до крошечного комочка. И это уже не было тем его сердцем, бесстрашным всегда, а только ступком крови в груди.

Однажды она ответила. Услышав ее голос, он от волнения облизал высохшие губы.

— Это я, — произнес он тревожно в трубку.

— Я поняла, что это ты, — ответила она.

— Ты мне очень, очень нужна сейчас, я хочу увидеть тебя. Ты одна?

— Да, да, одна. Но я не могу, у меня ужасно болит голова.

— Но я же слышу, что у тебя играет музыка. Где ты находишься?

— Я же объясняю, что не смогу встретиться с тобой, мне нездоровится.

И вдруг он явственно услышал в трубку звук поцелуя. Сомнений не было, она с кем-то там целовалась...

И... Да... Он не... Как же все в жизни бывает по-сволочному. Он действительно не ошибался.

Она не просто целовалась с кем-то. Она в этот момент занималась любовью, отдаваясь другому мужчине. И делала это так, как могла делать только она, яростно, с упоением, до слез от восторга, до крика от страсти и выворачивающих ее оргазмов.

Никому не нужны неудачники. А этот, тот, что лапал сейчас ее везде, несмотря, что толст и лыс, и весь заросший пучками скатанных, словно шерсть, волос, богат. У него прекрасно идут дела. Под ним роскошный джип, личный водитель, охрана. У него прекрасный офис и куча длинноногих, точно цапли, секретарш. Так что ей надо быть очень запоминающейся, отдаваться ему так, чтобы он не видел никого в упор, кроме нее. А уж она сумеет раскошелить

его. Ничего с ним, с толстым боровом, не случится, если он купит ей шубу, обставит квартиру, подарит видеотехнику. Пусть платит, гад, за удовольствие.

Ей на самом деле было жаль его, брошенного ею. Но, что делать, таковы правила жестокой игры, называемой жизнью.

На следующее утро он добрался до офиса на такси. Его джип вместе с другими машинами забрали судебные приставы за долги. А сегодня они станут вывозить мебель из офиса, да и все, что там еще оставалось.

День подходил к концу, начинало смеркаться, над городом висел смог и нечем было дышать. Он сидел в офисе, который ему уже не принадлежал, на полу своего бывшего кабинета, совершенно опустошенный. Мучительно хотелось курить, он достал из кармана пачку, раскрыл ее, но пачка оказалась пустой.

Ему безумно стало необходимым услышать ее голос. Родной голос. Он нащелкал номер ее сотового, но на дисплее возникла злая надпись «Доступ к номеру запрещен». Это значило, что у него на депозите не оставалось денег, от обиды дышать стало совсем нечем. Он подошел к окну и распахнул его настежь. Было высоко, девятый этаж бизнес-центра.

Друг всегда говорил ему, что самые счастливые — это птицы. Потому что они испытывают счастье свободного полета. И ему так захотелось хоть на мгновение вновь стать счастливым! Он шагнул!

P.S.

Возможно, вы слышали эту историю. Хотя, кто знает, в потоке информации могли и не заметить.

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

В детстве я был худеньким, легким мальчиком. Я почти что светился насквозь, до того был прозрачным. И со мной то и дело случались курьезные случаи.

Как-то зимой на улице лютовал сильный буран. Я вышел в одной рубашонке и отцовских галошах на босу ногу из дома, чтобы сходить «до ветру». Вдруг налетевший яростный порыв ветра играючи подхватил меня и понес. Я бежал, попав во власть стихии, и никак не мог остановиться. Обронил на бегу галоши, и, поскользнувшись, упал на заледеневший снег. А ветер кувыркал меня, точно щепку. Напрасно я кричал, взывая о помощи. Мой тонкий голос тонул, терялся в завывающем безумии природы. И тогда я понял, что надеяться нужно только на себя. Осознание этого придало сил и в момент, когда меня с бешеной скоростью несло мимо электрического столба, в отчаянии, вывернувшись по-змеиному, я схватился за бетонное основание. Промерзший бетон жег окоченевшие детские ручки, но я продолжал тянуть свое хрупкое тельце к столбу. Ветер рвал мое тело, рубашонка, надуваясь парусом, больно хлестала, а я, сжав намертво руки, продолжал свою борьбу.

Сколько это продолжалось, теперь уж и не вспомнить, но ветер неожиданно, точно смилостивившись, ослаб. Вскочив на негнущиеся ноги, я бросился к дому.

А в другой раз, выполняя поручение отца, я погнал молодого бычка на выпас. Конец длинного аркана я обвязал вокруг пояса и завязал на узел. До сих пор не пойму, почему я так поступил. Ретивый бычок вдруг стал дурковать. Он пошел как-то боком, низко нагнув к земле голову. Я прикрикнул на него, призывая к порядку. Но не тут-то было.

Он резко и длинно скакнул, веревка натянулась, точно струна, и я упал. А придурочный бычок, задрав хвост и высоко вскидывая ноги, помчался вскачь. Я волочился на конце каната, безуспешно пытаюсь развязать узел. Животное мчалось, не разбирая дороги, и несло вниз по глубокому склону. Не останавливаясь перед мелкой, мутной речушкой оно несло, вздымая вверх брызги. Но я не хотел покоряться воле, точнее, безумию дурного бычка, и ломая на пальцах ногти, рвал затянувшийся узел. И, наконец, мне удалось это. Мне это удалось!

Но что самое чудное в этой наивной детской истории, то, что бычок, как только почувствовал освободившуюся веревку, мгновенно, как вкопанный, остановился и глядел на меня выпученными глазами. Охая и стелая, я поднялся. Одежда на мне была изодрана в клочья. Коленки, плечи, грудь и локти были в крови. Я поднял конец веревки и, проклиная идиота животное, вновь погнал его впереди. И я исполнил поручение отца.

В шесть лет я пошел в первый класс. Школа была далеко, и мне приходилось пешком идти из одного конца деревни в другой. В подшитых пимах, в шубейке, с ранцем за спиной я был похож на Филипка.

В нашем классе училась рыжеволосая девчонка с веснушками, разбросанными по обеим сторонам капризно вздернутого носа. Но глаза! Глаза ее были удивительно умные, взгляд немного насмешливый, но полон лучащейся доброты. Волосы ее были схвачены капроновым бантиком, а ворот коричневого школьного платья украшал белоснежный воротничок.

И я влюбился в эту девчонку. Бесповоротно, на всю жизнь. Мы оба были отличниками, и наши фотографии висели рядом на доске по-

чета. Они до сих пор сохранились у меня. Потому что однажды я, трясаясь от страха, оглядываясь и потея, украл их. Снял с доски почета. А потом всю жизнь благодарил и уважал себя за этот поступок.

На фотографии она, такая милая, такая забавная. Но уже тогда гордая. И я с оттопыренными, точно у слоненка, просвечивающимися ушами, и почему-то уже тогда грустными глазами. На мне вельветовая курточка с белым отложным воротничком и звездочкой с маленьким кудрявым Володей Ульяновым, приколотой на груди.

Теперь, когда прошло столько лет с тех далеких пор, глядя на эту звездочку, я вижу поразительное сходство мальчика с октябреньского значка с двоечником и забиякой Валерой Руденко. Того самого, который до седьмого класса всякий раз, когда я тащился провожать Валю, подкарауливал и бил меня. За нее. А я упрямо продолжал набиваться ей в провожатые, и, как верный Санчо Панса, нес ее пухлую от учебников сумку, хотя ужасно трусил при мысли, что обречен вновь швыркать разбитым носом. Но самое поразительное было в том, что Валя хотела, чтобы я любил ее, но не противилась насилью надо мной со стороны двоечника Руденко.

Мы закончили 7 класс и наш классный руководитель долговязый, нескладный Багдаулет Исмагамбетович повез нас на живописный курорт Боровое.

Я был полон затаенного счастья. Наконец-то, я смогу там, на берегу чудесного озера, признаться ей в своей великой любви!

Мы жили в частном доме у родственника нашего учителя. В одной комнате девочки, а в другой мальчишки. По ночам, когда устраивались спать, слышно было, как наши замечательные девчонки чему-то весело прыскали от смеха, а пацаны в от-

вет дико ржали. И до сих пор не могу понять, что же рождало тот веселый, беззаботный смех?

А в один из вечеров так случилось, что, полный грусти, я отстал от класса и стоял, укрывшись в темноте деревьев, наблюдая за Вале́й. Весь класс остановился у воды, любуясь гладкой, как стекло, тихой поверхностью озера. Лишь где-нибудь у берега всплескивала вдруг рыба, и этот плеск было слышно далеко и долго.

А Валя стояла отдельно, взобравшись на гладкий валун и, изогнув красиво шею, смотрела вдаль, куда-то за горизонт. Мое бедное сердечко наполнялось кровью от избытка чувств. Как я любил ее в тот момент!

Я еду в поезде, возвращаюсь из поездки в Алматы. В моем чистом накрахмаленном СВ я один. А за окном плывет унылая зимняя степь.

На фоне изломанных, заснеженных сопков, волоча за собой длинный курук, не спеша, едет всадник на низкой косматой лошаденке. Из окна не определить его возраста. Далековато. Он мне напоминает одинокого батухановского воина. Овчинная шуба его перехвачена в поясе ремнем, а на голове лисий малахай. И я завидую ему. Его неспешности, гармоничности и сродненности с природой. Я же все время куда-то еду, еду, не уставая поражаться собственной внутренней неустроенности.

В тот далекий вечер в Боровом я так и не решился подойти к Вале, за что себя кляну по сей день. Мне почему-то кажется, что в тот момент она бы приняла мою любовь. Но я не подошел. Смалодушничал. А еще через день мы уехали. В тесно набитом автобусе так получилось, что я оказался рядом с ней. Я слышал ее дыхание, и замирал, не дыша, точно ловец птиц. А она наобо-

рот, шутила, громко смеялась с подругами, совершенно не обращая на меня внимания.

Мы вернулись в нашу деревню в день, когда в местном клубе давал концерт знаменитый певец Арно Бабаджанян. Он исполнял «Восточную песню».

«...Льет ли теплый дождь...» — пел он красивым бархатным голосом с завораживающим акцентом. И вновь я, затаив дыхание, наблюдал за Вале́й, прислонившейся к своей лучшей подруге Наташе Кулипановой.

Арно пел «...Жду, что ты пройде́шь, а быть может, нет. С каждой строчки...».

Вечером того же дня я отважился и написал длиннющее письмо Вале. Выложил в нем все. Огромную любовь перенес на бумагу, цепenea от собственной смелости. Через всю деревню, ночью, отнес и положил ей в почтовый ящик то письмо. А потом ждал целую вечность ответа. И он пришел. Никогда мне не забыть, как дрожащими пальцами я вскрыл голубенький конверт и вынул из него тетрадный в линейку листок. На нем, в одну строчку была жестокая, лаконичная фраза:

«Я не люблю тебя!».

Белый свет померк в моих глазах. Жить стало невозможно. Жизнь была разбита, точно стеклянный сосуд. Листок выпал из рук. И с тех пор лежит в моих личных вещах, как дополнение, укор к нашим фото.

Я смотрю сквозь стекло на унылую степь, на морщинистые, словно затылок старика, сопки и думаю о том, что весной растает этот снег и веселые ручьи побегут, питая землю влагой. Степь запарит под золотистыми лучами солнца, распрямит свою грудь, и даже одинокая могила в степи, возможно, беззвучно вздохнет от долгой студености.

Вот наш поезд равнодушно проплыл мимо сиротливо стоящего, одного в степи, дома. Возле него навалена груда желтой соломы и большая темно-коричневая куча навоза. А чуть поодаль от дома чернеет колодезь с оледеневшими краями.

Что это за дом? Кто в нем живет? Что за судьбы укрыты за его обсыпавшимися стенами? И я думаю вот о чем: если бы вслед за зимней стужей не приходила веселая весна, не было бы смысла жить. Если бы не было надежды увидеть в этой степи размеренно вышагивающий кош, идущий на джайлау, то продолжать жить не имело бы смысла.

Поезд размеренно несется среди задутых сугробов, загоняя в сердце тихую тоску. Вот вновь промелькнул какой-то полустаночек из трех покосившихся домиков. Сирая убогость в этой картине. У одного из домов стоит полуразобранный трактор «Беларусь», около другого — привязанная кляча под седлом. А из третьего выбежал худенький мальчик в одной рубашонке, напомнив мне себя самого в далеком детстве. Не обращая внимания на поезд, мальчонка, едва добежав до сарая, спустил штаны и уселся, сверкнув смуглыми ягодичками.

У меня защемило сердце от этой убогости, но вдруг в окне дома вспыхнул желтый свет, как бы олицетворяя жизнь внутри.

Я заглянул себе в душу и содрогнулся: она оказалась мне пепелищем. В свои неполные сорок лет я, не бедный, респектабельный мужчина, был пуст внутри, пустее, чем карман самого последнего нищего.

Это было время службы. Нашу часть перебрасывали из Азербайджана в Литву.

Эшелон встал в Харькове на сутки. Я знал, что Валентина живет в этом городе. Как уж мне

удалось упросить ротного, как удалось не попасть в руки военного патруля, я не знаю, но я разыскал ее на огромном заводе.

Когда мы с ней встретились, радость от этой встречи вдохнула в меня надежду. Я подумал, что еще не все потеряно. Она бросилась мне на шею и осыпала поцелуями. А потом повезла к себе домой. И опять надежды запылали пламенем.

Она усадила меня в зале приличной двухкомнатной квартиры на диван, а сама, обещая скоро напоить чаем, убежала на кухню. А я оглядывал комнату и не находил доказательства проживания здесь мужчины, как вдруг раздался звонок в дверь и вошел мужчина.

Он обнял и нежно поцеловал Валентину, вышедшую к нему навстречу. Она подвела его ко мне и представила как земляка и одноклассника. Валя была необычайно красива и спокойна, а я глубоко несчастлив.

Выждав момент, я взял в руки свои кирзовые сапоги, шинель и сбежал в незапертую дверь. Обулся на первом этаже и зашагал прочь. Я был раздавлен, уничтожен. Но еще больше любил ее.

Прошли годы. Судьба меня, объехавшего полмира, вновь забросила в места, где я когда-то рос и любил Валю.

Я вел шикарный белый «Мерседес» и заехал на крохотную заправку. Сидящая внутри заправщица, выглядевшая лет на шестьдесят, увидев меня, долгое время всматривалась в мое лицо, а потом неожиданно спросила:

— Ты не Марат?

Я, в свою очередь, спросил, откуда она меня знает.

— Я Наташа Кулипанова, — ответила она.

Господи! Мысли роем понеслись в моей голове. Это было ужасно. Моя одноклассница так выглядит! Что, что заставило ее так состариться?

Я зашел к ней, и мы некоторое время говорили о себе, прежде чем, решившись, я спросил о Вале.

— Валю год назад похоронили. Ее привезли сюда из Харькова. — Я онемел от услышанного.

— Почему? Что произошло? — спросил я одеревеневшими губами.

— Она была тяжело и неизлечимо больна, — ответила постаревшая одноклассница.

Я упрямился Наташу проводить меня на могилу. В степи я нарвал жидких полевых цветов, чтобы положить их к ее изголовью.

О Боже! На бетонном памятнике была установлена ее фотография в металлической рамке. Ее детское фото, точно такое же, какое я когда-то снял со школьной доски почета. С нее смотрело на меня открытое веснушчатое детское лицо.

Ноги мои ослабли. Я сел у самой ограды и захлопал глазами. В носу защемило, взгляд затуманился.

— Почему это фото? — спросил я.

— Ее мама настояла. Она хотела видеть Валю маленькой девочкой. А теперь вот и сама она рядом с ней лежит.

В высоком небе заливались птицы. Вокруг было тихо, лишь легкий ветер трепал листья березки в изголовье могилы.

Я сидел и проклинал эту подлую жизнь, которая безвременно отняла у меня мою бесценную первую любовь. Она была настолько чистой, эта любовь, а теперь, с ее утратой, я словно сам лег в могилу. Никто никогда не узнает, как я молча пил свои слезы, как мне было больно.

Почему я не знал об ее болезни? Почему в последние годы я никак не пытался узнать что-либо об ее судьбе? Ах, если бы я знал! Я бы постарался что-нибудь сделать для нее! Я бы повез ее на операцию за границу в Израиль, в Герма-

нию, на край света! Я бы потащил ее на своих плечах! Ведь денег, этих зеленых купюр, у меня было сколько угодно!

У меня прекрасно складывались дела, точно жаворонок в небе я купался в деньгах. У меня было все: положение, бизнес, жена, дети, любовницы, солидные счета в банках. Но я плакал. Оттого, что от меня точно отрезали половину.

Я еду в поезде. Смотрю в окно, словно в экран телевизора. Я гляжу на степь и размышляю о судьбе и о жизни. Боль утери Вали до сих пор саднит мое сердце. Я поотключал сотовые телефоны, чтобы остаться наедине со своими мыслями.

Я по-разному жил, дрался за свое место под солнцем, кусал зубами и рвал ногтями. Много работал, упивался своими успехами. Иногда бывал самодоволен, насосавшись денег, точно клоп крови. Я отдыхаю на элитных заграничных курортах. С умным видом иногда произношу назидательные тосты.

Я смотрю в окно и чувствую себя глубоко несчастным. И в голове точно вспыхивает озаряющий свет, словно в ней зажглась ослепительная лампочка.

Шальная, невесть, откуда взявшаяся, спасительная мысль: «Может, мне выйти вот здесь, вот на этом полустанке. И остаться. К черту эти сотовые телефоны! К черту эту долбанную «крутость»! К черту счета в банках! К черту неискренние вымученные улыбки на лицах во имя очередной аферы! К черту продажных любовниц, заглядывающих в глаза в ожидании подачки, точно сучки, поскуливающие при виде кости! К черту эти белые «Мерседесы»! Все! С меня довольно! Я схожу здесь и стану доживать. Подобно тому всаднику, буду ехать неторопливо по бескрайней заснеженной степи, волоча за собой курук.

Поезд медленно, будто угадывая мои затаенные мысли, замедлил свой ход. И вот он, лязгнув, остановился, застыв ненадолго. Может быть, пропускал встречный.

Времени вполне достаточно, для того чтобы сойти. Безоглядно.

«Решайся же! Ну!»

Но, нет! Вместо этого — рука моя потянулась к сотовым телефонам, включая их. Они тут же разразились звонками. На один звонили из банка, на второй из центрального офиса.

— Алло! Да... Да... Еду... Буду... Отправляйте... Оставьте на подпись...

Я налил полную рюмку дорогого коньяка, выпил вмах и отвернулся от задернутого мною шторами окна.



АНЯ

У нее были лисьи глаза на светлом лице, она была высокой и статной. Сказывалась русская кровь ее матери. Она носила на голове высокую копну выбеленных перекисью волос и смотрела на мир игривым взглядом. Она любила шумные застолья, деньги и юную племянницу. Только теперь, когда ее не стало, я понял, что душа ее была всегда величественной. А тогда, что мог понимать я, играющий с жизнью несмышленный юноша.

Она всегда говорила о деньгах и работу себе находила такую, где можно было срубить так, чтобы было ощутимо. Мужа, кудрявого немца, отправила на север, в далекую Якутию чего-то строить. Он уехал и пропадал целый год. Вернувшись, рассказывал про Север, про тайгу. Он привез денег, поднабрался сил и вновь укатил. Она не сопротивлялась этому, рассчитывая на предстоящие деньги. Их сын, белокурый мальчик с голубыми ангельскими глазками взирал тогда на мир кротко и робко. Так и остался в Якутии непутевый, кудрявый немец, женившись на якутке. Он только приехал чтобы разделить имущество. Я помню их чистую, уютную квартирку полной осенней грязи. Какие-то люди что-то несли из квартиры и грузили на стоявшую во дворе машину. Я спросил у немца:

— Что вы делаете?

— Аннушка вывозит мебель, — ответил он.

Потом она жила в другом городе и там вышла замуж за стареющего вдовца, металлурга. Говорили, что он имеет «Волгу» и выращивает песцов. Сегодня это кажется абсурдом. У старика своих было пятеро детей, но молодая жена родила ему девочку.

Через год старик умер, оставив ее с девочкой на руках и собственными детьми, ненавидящими мачеху. Начались опять тяжбы за квартиру,

за пенсию, за мебель, за «Волгу», за не выращенных песцов. Аня оставила им квартиру, в расчете оставить себе «Волгу», но «Волгу» угнал старший сын покойного, и опять она осталась ни с чем. И в очередной раз она извернулась и оказалась устроенной на работу на выгодное место. Я до сих пор ношу шорты, подаренные ею в тот далекий период. Она теперь работала заведующей магазином, продающим дефицитный товар по низким ценам для работников гигантского комбината. Опять у Ани появились деньги, вещи. Квартира ее наполнилась мешками, которые по ночам увозили куда-то какие-то мутные типы. Под утро она считала прибыль и прятала ее.

Девочка росла и крепла. А голубоглазый мальчик превратился в стройного юношу. Он уже женился на симпатичной девушке, и все могло бы быть хорошо, и Аня могла бы почувствовать, что она чего-то достигла в жизни. Может быть, от сына пошли бы внуки, и она бы нянчила их, убаюкивая, напевая песенки. Но сына понесло не в ту сторону.

С детства выросший эгоистом, он был лентяем, а тут еще попробовал наркотики. И стал пропадать парень. Он кричал на мать, требуя с нее деньги, стал тырить ее золотые изделия и менять это на наркотики.

Я тогда был вдалеке, в России, когда мне позвонили и сказали, что у Ани беда. У нее вскрылась крупная недостача, и ее закрыли в следственную камеру. Уж и не вспомню теперь что и как мне все удалось. Всю ночь я просидел на телефоне, одним друзьям звонил, где взять деньги, которые потребовал ее следователь, других просил отвезти их. Однако к утру деньги были отданы и Аню выпустили.

Она тут же уехала из города. Квартира куда-то делась, вещи кто-то вывез, и долгие годы я вообще не знал, где она. Потом она объявилась, позвонила

из далекого Салехарда. Сказала, что у нее все хорошо, она работает, дочка растет.

Еще шли годы, я узнал, что Аня тяжело больна. Ей сделали трудную операцию, в сердце вшили моторчик, качающий кровь.

Я уже тогда знал, что ей там плохо. Она совершенно одна в огромном мире, если не считать сожителя-пьянчужку.

А дочь? Дочь она любила и растила. Мечтала, скопив деньги, вернуться на родину, в родные края. К старости в ней стала пробуждаться тяга к степи. Сказывалась кровь отца. Она знала, что ее голубоглазый сын сидит в лагере за кражу. И как бы ни огорчала ее его наркоманская сущность, она разыскала его и наведала в далекой зоне.

Когда по прошествии стольких лет я увидел ее, был поражен.

Аня была старой, болезненно толстой женщиной с пустыми, выцветшими глазами. И все же я был рад. Не знаю, почему. Может, в ней я увидел и свою жизнь, порой так больно и беспощадно бившую меня. Может, она напомнила о молодых чистых годах, когда мир казался выпуклым и красивым, когда казалось, что нет в мире силы, способной сломить тебя, и все девчонки твои, и все деньги будут твои, и в роскошных ресторанах для тебя будет всегда роскошный стол, и вокруг полно друзей.

Я был рад, но молчал, не показывая свою радость, приученный жизнью вести себя так.

Она рассказывала о далеком Салехарде, о том, какие там чистые снега и крепкие морозы, а я видел в ней волчицу — суку, притаившуюся в родные места. Да не одну, а с выводком. На светлом лице ребенка зеленели такие же лисьи глаза.

Аня поспешила в соседний городок и позвонила оттуда с радостной дрожью в голосе, что купила квартиру.

— Квартира очень хорошая, дом очень хороший и район в будущем перспективный.

Я был рад за нее. А она в спешке стала покупать какую-то мебель, какие-то вещи. Затем позвонила и сказала, что на днях приедет. Но утром мне поступил другой звонок. Мне сообщили, что Аня умерла. Показалось, что внутри все остановилось.

Одинокое кладбище в знойной степи и свежевыкопанная могила. Ее принесли завернутую в ковер и положили на землю. Я вслушивался в себя, хотелось знать, что я чувствую в эту минуту. Внутри была пустота, мысли были плоские и вялые. Лишь порой щипало в носу и хотелось плакать. Жалко было Аню, всю жизнь, пытавшуюся что-то создать для себя, да так и не успевшую.

Жалко было себя, чужаком стоявшего над ямой. Мне думалось, что все напрасно, что все вокруг суета. Чьи-то руки приняли ее, укутанную в саван, и опустили вниз. Я взял мягкую теплую землю и посыпал в могилу, прошептав:

— Пусть земля тебе будет пухом... — опять щипало в носу, надо было взять лопату, чтобы бросать землю. Но в голову пришла мысль, что запылюсь. И я сделал полшага назад, предоставив это другим.

Потом мулла долго нараспев читал молитву, а я отворачивал лицо от солнца, боясь, что стгорит нос и покроется пятнами.

Вот и все. Аня, обернутая белой тканью, осталась глубоко под землей, я сел в «Ниссан» и поспешил в свой город. «Ниссан» шел мягко, было комфортно, я слушал музыку, льющуюся из колонок. Как вдруг я понял страшную истину жизни, что когда-нибудь вот так оставят меня и все сядут в роскошные тачки и поедут прочь, слушая музыку.

ВОРОВАННОЕ СЧАСТЬЕ

Господи! На земле живут тысячи народов и народностей. На Крайнем Севере в оленьих чумах и безводных песках Сахары, в техногенной Америке и далекой Австралии, где папуасы бегают в набедренных повязках с копьями в руках и счастливы. Знойные сиреневые мулатки в жаркой Мексике отбивают танец живота, а их мужчины в огромных сомбреро сохраняют собственное достоинство. Где-то льется на пыльную землю рубиновая кровь, а где-то за зеленым сукном роскошных казино дымчат до рогами сигарами богатые мэны.

Господи! Кто есть он в этом безжалостном и огромном мире, на крохотном во Вселенной шарике под названием Земля? Он, этот маленький мальчик, точно затерявшийся волчонок, выбравшийся на широкую тропу жизни, которая протянулась через раскинувшуюся выжженную степь, бескрайнюю дремучую тайгу, знойные гибельные пустыни, поднебесные седые горы, через тысячи шумных говорливых народов.

Что подстерегает его, по-настоящему еще неспособного отличить друга от врага, шурящегося на солнечный свет, бегущего легкой трусцой по самой дороге жизни? За спиной уже немало пройденных тропок, десятки острых заноз, садня, сидят глубоко под кожей, и пятки кажутся истертыми о неровности дорог и сам себе он порой кажется не волчонком, а матерым волком.

Он и есть не мог, и пить не мог, и спать не мог, когда неожиданно почувствовал, что влюбился. Когда явилась, точно из космоса, вся светящаяся пылью та, о которой мечтал и ждал.

Он вскакивал оттого, что внутри слышалась чарующая музыка, возникшая ниоткуда. Глаза загорались блеском, губы трепетали, а язык обводил вмиг пересохшие, прежде холодные губы.

Он помнил свою первую и единственную кражу, на которую пошел, чтобы утвердить себя. Это была чья-то богатая квартира, куда он проник как настоящий вор, тайно и тихо, и растерялся среди множества роскошных и дорогих вещей. Старинных статуэток, звонких китайских ваз. Среди ворсистых ковров и мягких кресел, ко всему хотелось успеть прикоснуться, и хоть разум подсказывал, что это чужое, он отгонял эти мысли как рой назойливых мух, желая быть обладателем, хозяином.

Она понравилась ему сразу же, с первого взгляда. А он всегда, как только ему нравилась женщина, отворачивался, опасаясь более пристально рассматривать, но в этот раз с ним все происходило наоборот — он не мог оторвать от нее взора, словно зачарованный, продолжал любоваться прекрасным лицом, белокурыми завитыми волосами, стекающими, точно струйки воды, вниз, к точеным плечам. Она оживленно шепталась с подружкой, секретничала, нагибаясь к ней, и тогда платье ее натягивалось на тонкой талии, вычерчивая контур тугих, высоких грудей. Будто два вызревших яблока манили они к себе.

Ее руки — две тоненькие ветви молодой березки, без конца теребили, поправляя, медальон на высокой шейке.

Сердце его трепыхнулось в груди. Точно битая перепелка, упавшая в гущу молодой осоки. Необъяснимые чувства толчками густо полились внутри — так из опрокинутого кувшина течет заворачивающе белое, чистое молоко.

Велика планета Земля! В тот миг где-то в густом предрассветном тумане гулко ухнула ночная сова, а на другой стороне шарика, вскинув вверх морды, заржали вольные лошади.

С треском, словно сухие ветки, треснули рога могучих самцов-олений, сошедшихся в последнем

бою. Разевая розовые ротики, зарыдали тысячи новорожденных, явившихся в мир. И, испустив последний выдох, уходили смиренно из суровой, безжалостной жизни те, кто еще вчера топтал поверхность шарика в обреченном осознании, что скоро превратится в тлен.

Она явилась в его жизни как завязь добра и света. Израненная душа его, давно уж покрытая коркой окаменелости, всколыхнулась, подобно магме в жерле вулкана, сквозь образовавшиеся отверстия выпались тонкие язычки жаркого пламени.

Ему показалось, что явилась та, которую он ждал все последние годы, пугаясь при мысли, что она не придет в его судьбу. Откуда-то издалека, изнутри шел, поднимаясь к самому горлу, немой призыв, подталкивая его к решительным действиям.

Так на ранней заре трубит могучий лесной царь, спускаясь в белесой рассветной дымке к прозрачной струящейся воде.

Дни нанизывались на нить, подобно бусинкам, а он не спешил. Так опытный сапер идет по полю, начиненному минами, осозная, что каждый шаг может стать последним. Чрезмерно откровенный взгляд, неудачная шутка, оброненное не в той интонации слово. И тогда из-под ног ускользнет почва. Столб огня взметнет его ввысь, разрушая привычный закон земного тяготения... и все.

Рассеется дым и уляжется пыль, застрекочут замолкшие на миг стрекозы и защелбечут небесные невидимые птицы. Только не станет его. Вот потому-то он не спешил.

Так прибившийся к чужому табуна суровый жеребец очерчивает широкие круги вокруг облюбованной им кобылицы, прядая ушами, тревожно поводя дикими глазами, выбрасывая из могучих легких душающий жар.

Он должен все взвесить. Так его научила жизнь. И самое главное — увидеть, что она внимательно следит за его сумасшедшим галопом. Время от времени отрывает от сочной зеленой травы свою маленькую точеную головку, и взгляд ее огромных прекрасных глаз обращен к нему. И когда по ее телу прокатится непокорная дрожь и по жилам заструится быстрее молодая кровь, и когда она игриво перебросит шелковистую гриву с одного плеча на другое, он почувствует тот великий немой зов.

Ах, как холодны ее тонкие, хрупкие пальцы, чуть заметно подрагивающие в его руке. Взгляд насторожен, недоверчив. Что принесет в привычный, уложенный быт этот ее необдуманый поступок? Отколотой от дерева щепкой ее несло в стремительной бурлящей воде.

Так, устав от нескончаемого пира на надежной палубе, своенравная красавица отвязывает от борта шлюпку, спуская ее на воду в крошечный туман, и отчаливает, отправляясь в рискованное плавание.

Он закрывал глаза, и ему виделась эта морская гладь, по которой наперерез ему плыла спасительная шлюпка. А он, изнемогающий, усталый от бесконечной борьбы, выгребает навстречу ей, то появляясь, то исчезая в зеленых водах. И эти пальцы, что в его ладони — есть протянутая в помощи ему рука. И вот уже на борту шлюпки, отдышавшись, понимает как прекрасно, черт побери, все-таки жить.

Заглядывая в глаза своей спасительнице, угадывая в них бездонность морской толщи, он теперь тонул в них.

Ему захотелось поехать с ней стремя в стремя к подножьям великих каньонов, к прекраснейшему озеру очищения. На привале вынимать ее из седла уставшую и стягивать с ее крохотных ступней

мягкие, расшитые разноцветным бисером мокасины. Разводить огонь у ее ног и готовить на костре пишу. А потом, прикрывая от падающего на ее лицо серебристого света луны, всю ночь умолять звезды затаиться и не шуршать, чтобы не нарушить священный ее сон.

Ему хотелось позвать ее с собой. Но куда? Давно уже найдено золото ацтеков и герои Джека Лондона покорили Аляску. И на крутых вершинах Тибета выстроены даосские монастыри, и не бьются на турнирах закованные в латы рыцари.

Что может он предложить лесной колдунье, всемогущей королеве, очаровательной багире? Тонувший в студеной воде, умиривший в знойных песках, стрелянный врагами, плывущий в водах людской неправды. Игру в сказку о прекрасной принцессе, которая забыла на балу свой хрустальный башмачок?

Он был весь в глубоких раздумьях.

С тех пор, как в его жизни возникла она, стал проясняться туманящийся взор, а в груди зарождалась мелодия.

Она возникала внутри его первыми каплями дождя, взимала силой хлесткого ливня, тихо пела несущейся под мощью ветра песчинкой, вскрикивала испуганной птицей над тихой гладью.

Он теперь замечал оторвавшийся от ветви осенний листок, что кружа, точно плывя в воздухе, медленно ложился на жаркий асфальт.

Переломанную кем-то тонкую веточку, яблочко, налившееся соком с солнечной стороны.

И вместе с этим в его сердце закралась необъяснимая тревога. А она, что могла видеть и чувствовать она? Что сидящий перед ней мужчина загадочен подобно древнему скифскому кургану.

Что внутри него таится неведомая дьявольская сила и притягательность.

Глядя на него, она чувствовала, что Человек этот подобен сгоревшему костру, и душа его выжжена, лишь сгоревшие головни его жизненного костра залиты безжалостно водой и только невидимые глазу остатки пепла летают над костром. Ее сердце готово было сострадать ему, почти незнакомому человеку, казалось бы, что ей за дело, ведь невозможно же сострадать каждому.

И она, сопереживая, слушала произносимые им бессвязные слова, точно ночной бред. Они слетали с его губ, вынуждая ее вникать, он искал сочувствия. Ей хотелось поделиться с ним, напоминая о зябшем воробушке на стылом снегу, своим теплом, а потом делилась своим великим горем, как тайной, впуская его в святая святых своей души. Не задаваясь вопросом достоин ли, тот ли он человек? Безоглядно пошла она к нему вдоль образовавшейся тонкой нити доверия. По щеке ее, подрагивая, текла прозрачная слезинка, и в тот миг он был бесконечно признателен ей за ее подвиг.

Сигарета, догорев дотла, давно уже нестерпимо больно жгла ему пальцы, но он не обращал внимания, боясь оторвать от нее взгляд.

Он держал ее пальцы в руках и тихонько вздыхал. Губы ее были сухими и скупыми. Они интуитивно боязливо поджимались, а его ищущие жаркие тянулись к ним. Пальцы его осторожно достигли нежной кожи груди и замерли, нащупав, точно спелую земляничку — ее взволнованный сок. Что происходило с ней, она и сама не знала. Его ласки были нежными и все более требовательными. Она и сама не хотела себе признаться в том, что нуждается в этих ласках. И стоило в ее замутненном сознании возникнуть образу мужа, как она тут же, мотая головой и гривой своих шелковистых волос, отбрасывала прочь возникающий укором ее совести образ. Она верила и не верила

всему тому, что он говорил ей, нашептывая на ухо сладкие, как шербет, слова признания.

Целый мир цветов хотелось положить ему к ее ногам. Читать обвораживающие строки великих стихов, раскрывающих неведомые тайны, нехоженые земли, несказанные слова. Утонуть в объятиях фиолетовой тени ночи, сгорая в пламени поцелуев, а затем, когда она пройдет, очарованно наблюдать, как робко, вначале высветив край горизонта, выкатывается над еще не проснувшейся степью лиловое солнце.

И скакать по ней навстречу ему, наперегонки с утренним бодрящим ветром на сказочном белоснежном иноходе.

Ах, если бы он понимал шелест степных трав, пение птишек, волшебный цокот стрекоз, поребачьи доверчивый посвист сурков!

Он бы все эти звуки перевел на язык слов и поведал своей возлюбленной.

Он уходил из города, в котором он задышался, поднимаясь по вьющейся тропинке, с каждым шагом все выше и выше. Оборачиваясь, глядел на раскинувшийся в котловине, в дымном сером смоге город, продолжая упрямо карабкаться вверх.

Свершилось то, что должно было свершиться. Он стал владельцем ее прекрасного тела. Когда произошло это, он не думал, что будет потом, и только теперь, как после глубокого похмелья, тряс головой, пытаясь восстановить в памяти мельчайшие подробности. Тропинка вкручивалась спирально в гору, как вдруг впереди послышался отливающий серебром тонкий чудный звук колокольчика, то возникая нежно, то пропадая. Он пошел на этот звук, как из толщи деревьев впереди справа донесся еще один. А чуть левее эта чарующая тоненькая мелодия колокольчиков плыла над горой, переливаясь, созвучиваясь, откликаясь.

Дзень-дзень-дзень. Дзень-дзень-дзень. Он терпеливо шагал на этот завораживающий звук, как неожиданно на залитой золотящимися лучами солнца поляне, под огромной, словно райское дерево, яблоней с крупными вызревшими плодами он увидел чудо. Вороную статную кобылицу нежно сосал тонконогий месячный жеребенок, пошатываясь на нетвердых ногах.

Вдруг из ближайших кустов можжевельника раздалось громкое ржание, и оттуда, развивая гриву, задрал кверху голову, раздувая, словно меха, нервно ноздри, вырвался высокий, сильный серый в яблоках жеребец. Он скакал прямо на него, всем своим грозным видом как бы предупреждая незнакомца: «Нечего тебе здесь делать, это моя кобылица». Он отступил в смущении, в смятении, и теперь издали наблюдал, как серый в яблоках недовольно куснул кобылицу, дескать, смотри у меня, а то ходят тут всякие.

Эта картина молнией поразила его, высветив простую истину, что никогда нельзя оставлять прекрасных кобылиц одних без присмотра. Никто не знает, куда может она уйти и кого встретить на том пути. Когда он осознал это, ему до боли стало грустно за того неведомого, чье счастье он украл, как вор.



ПОЭТЫ ХОДЯТ ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

Край горизонта в стороне, в которую направлялась бричка, заслоняли двумя жирными верблюжьими горбами холмы. Выбеленное, точно выгоревшее, солнце, пряталось между горбами, озаряя небосклон с редкими кучерявыми облачками, похожими на новорожденных ягнят. Бричка, скрипя и грозя вот-вот развалиться, громыхала, заглушая цокот копыт неказистой, низкой лошаденки, с редким хвостом и неухоженной косматой гривой. Отбитые вконец внутренности Абена жалобно болели и он был не рад тому, что согласился, не устоял перед соблазном провести старую тетку, которую не видел уже много лет. Растопили-таки его сердце скупые слезы теткинoго мужа Жакупа, расплакавшегося при виде его на похоронах отца Даулета. Даулет был его коллега. Совсем недавно закончив институт, он устроился работать в их газету, нештатным пока корреспондентом. Абен же — журналист со стажем. И в газете он, можно сказать, с первых дней. До этого он работал в областной газете и прослыл тем, что писал стихи и публиковал их. Стихи были разные, как и весь он сам изнутри. Много раз заглядывал в себя Абен, пытаясь разобраться и убедиться в целостности своей, но видел, к стыду, нутро свое, сшитое, точно безрукавка, из разноцветных кусков овчины. В этом жилете были и хорошие, крупные куски, чистые, не выкрашенные поспешно, но дальше шли куски другие, за которые, тайно от других, перед самим собой было стыдно. Так и стихи его. Были среди них мощные, чистые, звонкие, точно звук молота о наковальню, гневные. Но откуда-то за ними рождались и складывались и записывались его рукой

жалкие, мелкие, горбатенькие вирши, воспевающие то одного, то другого акима. И отношение к нему со стороны областных высших чиновников было соответственное. В нужный момент его звали, сажали за край стола так, будто делали ему огромное одолжение. А как же? Ведь кто он на самом деле? Поэт не поэт? Скорее всего, придворный стихотворец. Его угнетало это отношение к себе со стороны номенклатуры. Как бы то ни было, все же он рожден на земле величайших поэтов. Бунтарский дух, так или иначе, по незримым неизвестным генам невидимыми биотоками, но верно проник в него, в поэта. И когда он размышлял об этом, то начинал чувствовать, как наполняется изнутри, делаясь сильным, большим, в собственных глазах. Абен сел за стол, взял ручку, и на чистый, девственный лист легли строки. Строки яростные, гневные, точно пенный прибой, катящий с грозным гулом к твердому, непробиваемому, скалистому берегу. Лег он успокоенный, в самосознании того, что все же он восстал, намереваясь опубликовать их в самое ближайшее время. Наутро же, прочитав на свежую голову, испугался собственных строк и убрал их в стол от греха подальше, торопливо собираясь на работу. Должность, которую он занимал, была благородной. Ее нельзя было назвать службой, это было скорее служением народу. И все же она была назначаемой акимом. Он был директором дома-музея великого, признанного миром писателя-бунтаря.

Телефонный звонок акима прозвучал, точно поданный разряд тока в мышцу лягушки. Поэта передернуло от повелительного голоса в трубке, лоб мгновенно покрылся мелкой испариной.

— Ну как дела, поэт? — спрашивал голос главного в городе человека. — Стишки пописываешь?

— Нет. Сейчас нет. Времени не хватает, работы много, — отвечал оцепеневший от ужаса Абен.

— Ну, времени, его никогда не будет хватать. А писать надо, это не каждому дано. Хорошие стихи дают окружающим надежду, побуждают на подвиг. Написал бы обо мне, ведь не ради себя одного тружусь, как говорили в старину, не жалея живота своего. Ха-ха-ха! — довольный рассмеялся градоначальник.

Абен тоже как-то жалко подхихикнул в трубку в ответ.

— Ты вот что, поэт, я знаю, ты порой такие вирши набрасываешь, что тебе самому потом страшно от них бывает. Так ты рви их к чертовой матери. Скоро день города, выступил бы перед общественностью, народу хорошие стихи почитал бы. Нам ведь сейчас как никогда важно единство народа. Не так ли?

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Абен.

— Есть мнение о выделении ряду почетных граждан города автомобилей «Жигули». Это, конечно, не «Мерседес», но все-таки людям будет приятно. Как-никак, а оценка их заслуг. И, помоему, ты тоже есть в том списке. Я правда, точно не знаю, но что-то подобное я слышал.

— Правда? — ляпнул вдруг Абен и покраснел, покрываясь пунцовым румянцем.

— А что, ведь ты наш, так сказать, доморощенный поэт. Кому, как не тебе — человеку, несущему бремя высокого искусства? Ну, ладно, успехов тебе и давай, давай пиши. Твое перо не должно пылиться.

Аким положил трубку. Абен, услышав продолжительные гудки, трубку свою положил медленно, осторожно. Отер рукавом пот со лба и облегченно вздохнул.

Остаток дня он проерзал в высоком директорском кресле, дожидаясь конца работы. И все же недосидел, ушел раньше времени, сославшись на то, что плохо себя чувствует. Всю дорогу к дому его беспокоила мысль о том, что жена, убирая в его кабинете, могла открыть ящик стола и прочесть стихи. Эта мысль бросала его то в жар, то в холод. И когда он, наконец достиг своей квартиры, поспешно скинув башмаки в прихожей, не раздеваясь, прошел в кабинет, вынул ящик и достал исписанный ровным, крупным почерком лист. Вновь с самого начала перечитал стихи, поражаясь их силе, гордой непокорности и... стал рвать бумагу на мелкие-мелкие кусочки. И чувствовал при этом, будто не бумагу он рвет, а его самого рвет на кусочки огромный великан.

— Нелегко быть поэтом, — размышлял он. — Все время надо ходить босиком по острому лезвию.

Вечером он, заперев дверь, вновь сел за рабочий стол, достал чистый, девственно белый лист и взял в руки ручку. И по белому листу, как следы беспощадных танковых гусениц, рвущие покрытое свежевыпавшим пухом-снегом поле, протянулись первые витиеватые строки, восхваляющие... градоначальника.



Бастык Сайлаубек

К одному человеку на огонек завернул путник. Был тот путник сед, суров, изможден дальними дорогами. Тихим голосом попросился на ночлег. Скучавший хозяин в радости что нашел «свободные уши» принял его, усадил за стол, забросав вопросами:

— Где был, что видел, как там в дальних краях люди живут?

Стал рассказывать путник о горе-страданиях, которые довелось ему испытать, о высокой, чистой, как утро в горах, великой любви. О войнах, в которых брат идет на брата, о крови людской, текущей вперемежку с черной золой от пепелищ.

Стал говорить о незаживающих ранах на сердце, оставшихся после всего увиденного, испытанного.

И тогда хозяин произнес, прерывая откровение путника:

— Да, что ты можешь знать о жизни этой, я же алиментщик.

Вот так. Каждому свое. Так было написано мудрыми людьми.

Каждому свое. Богу богово, а гаишнику — гаишниково!

С детских лет, когда еще КПСС была прочной, а Союз нерушимым, в семье Сайлаубека слышались тосты:

— Пусть ваш сын вырастет здоровым, красивым, пусть станет гаишником, пусть станет бастыком гаишников!

Он тогда плохо понимал, что бы это значило. Лишь с возрастом, когда научился считать деньги, понял Сайлаубек, силу и могущество ГАИ.

И он не ошибся, поступив и окончив школу милиции. Рухнул, как колосс на глиняных

ногах, СССР, экономика впала в кризис. Повсюду была разруха. Люди ходили мрачные, как в годы войны. Никто не знал, что же будет завтра. Лишь в ГАИ не было кризиса. Лишь в ГАИ даже смуглые лица были светлыми, сытыми, уверенными в завтрашнем дне. Да не только в завтрашнем. Эта чудо-палочка, полосатый жезл, воистину была волшебной. Вот и не верь после этого в детские сказки.

А теперь ее модернизировали. Она теперь с красным фонарем на конце. Оттого Сайлаубек стал чувствовать себя еще мощнее.

— Че там Илья Муромец со своей булавой по сравнению со мной. Вот я! Махнул палочкой, и десять баксов как с куста, — бахвалился он пьяный, сидя в ресторане, измазав рот в красной аджике, поданной к шашлыку.

Оттого выглядел Сайлаубек грозно, если не сказать зловеще, что рот его казался испачканным в крови.

— Я теперь собственный радар приобрел. Из Москвы ребята прислали. Вообще, работать лафа стала. Машина под жопой государственная. Спрятал ее в кустах и ждешь. Не проходит и минуты, кто-нибудь да и вылетит, превышая скорость. Да мы, сами зачастую, как надо срочно заработать, знак поставим, сорок. И как мотыльков, летящих на свет, хлопаем. А под утро ко сну клонит, тут самое главное выстоять, самая пахота. Из ночных клубов, с ресторанов едут, из них многие употребившие. Вот тут не зевай. Стольник баксов с тачки, к утру бывает тысяча зелены в кармане.

— Неужели правда? Редко какой бизнесмен может похвастаться такой прибылью, — восхитилась ярко накрашенная Ляззат.

— Ну и дура ты! Бизнесмену надо пахать и пахать. У нас тоже, конечно, не мед. Я вот

взводный. А ротному надо отдать пятьдесят процентов. Иначе держать не будет, если не можешь лавэ зарабатывать. А он батальонному отстегивает, бастыку, бастык крупным агашкам. На том и стоим! И будем стоять!

Сайлаубек ленивым движением толстого, как сосиска, пальца согнал с офицерского погона большую, зеленую муху, покривившись.

— Сайлаучик, да ты просто лапочка, зайныка, рыбка моя! — пропела Ляззат, проглотив сочный кусок шашлыка, — ты же не забыл, что обещал мне шубку норковую подарить? Она игриво склонила размалеванное личико с раскосыми глазами на тяжелую грудь офицера.

Предстоящая ночь обещала быть страстной, в случае правильного ответа. И он не поскупился на слова.

— Ну что ты, козочка моя! Разве похож твой Сайлаубек на болтуна? Будет тебе шубка, не сомневайся. Ты только меня жарче целуй, вытягивай самую сладость с кончика языка моего.

Ляззат, преданно прижимаясь к взводному, еще сильнее весело смеялась.

А позже на широком белом ложе ее уютного гнездышка, сливаясь, разметались их обнаженные, белые, как сахар, тела.

Тело Ляззат пухлое, точно сдоба, аппетитное, недаром у других гаишников слюна течет при виде ее, елозило по растекшемуся брюху Сайлаубека.

А потом, когда он довольный, насытившись ее горячими ласками, уснул, то приснился ему дивный сон: «Будто бы сидит он тучей в большом, овальном, похожем на юрту, кабинете.

К нему, заискивающе сложив на груди руки, подобострастно кланяясь, входит его зам и произносит:

— Бастык-ага, батальон на развод построен.

Не поднимая глаз, рассматривающих в модном журнале тела обнаженных, точно пери, девиц, он буркает:

— Казыр келем! Турсын! Сейчас приду! Пусть стоят!

Через некоторое время, отложив журнал в сторону, он выходит из кабинета-юрты, становится на эскалатор, который спускает его вниз и ясно слышит как за углом в страхе передается по цепочке точно эхо:

— Бастык едет! Бастык едет!

Зазвонивший китайский будильник, не давший досмотреть сон про батальон, где от каждой головы в месяц по сотне баксов, разозлил его. Сайлаубек в гневе смахнул будильник на пол. «Это же сколько с батальона соберется? — попытался подсчитать он в сонной голове. Однако надо было спешить к разводу. Бастык не терпел опозданий.

Рабочее утро южной столицы всегда так похоже одно на другое. И это было очень скучно, хотя для Сайлаубека хлопот хватало.

Дороги города были забиты автомобилями. Они шли плотными рядами, точно солдаты на марш-броске. В основном, иномарки. Новые и подержанные. Последних больше. Среди них нет-нет да и проскальзывают отечественные, хотя какие они теперь отечественные, российские. «Жигули». Если случалось им, «Жигулям», высовываться в первый ряд, тут же раздавались сердитые, возмущенные, мощные сигналы «Лексусов», «шестисотых», «крузеров».

Мол: «как смеешь ты своим нечистым рылом!...», лезть в первый ряд.

— Все в жизни социально! — философствовал Сайлаубек, невыспавшийся после бурной ночи, проведенной с Ляззат. — «Гелены»,

«Крузеры», «Мерины» в первом ряду должны идти, во втором вперемешку «Максимки», подержанные «стодвадцатьчетвертые», прочая б/у, а уж «жиги», как ниже среднего, в третьем, вдоль обочины. Логика Сайлаубека была убийственной.

Он, когда тормозил «квадратики», то сам подходил к крутой автомашине.

— Нюх нельзя терять, — так считал он. К «япошкам», «стодвадцатьчетверкам» направлялся, но выжидал, когда водитель сам выйдет. Тут он был настоящий психолог. По тому как быстро машина подчинялась взмаху его волшебной палочки, как резко, испуганно она сворачивала на обочину, через сколько секунд выскакивал водитель, мог определить старший лейтенант социальный уровень хозяина автомобиля. А уж останавливая «жигулек», тут он отпускал себе вожжи. Если было настроенное подергать водилу, пощекотать тому нервы, он начинал с долгой проверки документов. Затем просил открыть капот и скрупулезно сверял номера шасси, двигателя. Видя краем глаза как пританцовывает «водила», требовал предъявить огнетушитель, аптечку.

— Тэ-э-к! А почему, товарищ водитель, вы едете без ремня? Что? Не волнуйтесь, сейчас я выпишу вам штраф, и вы преспокойненько отправитесь дальше.

Сайлаубек неторопливо взмахивал волшебной палочкой, останавливая еще одну «жигу», краем глаза видя, как водитель предыдущей, суетливо комкает в ладони купюру.

— Командир, пожалуйста, ради Бога, ну я очень спешу. Прими, прошу тебя. И отпусти, а? Я поеду.

Он уже совал сзади, ловко, в полураскрытую ладонь его купюру. Сайлаубек, не глядя,

точно знал сколько и возвращал нерадивому документы.

— Впредь пристегнутым надо ездить! — нравоучительно выговаривал он, на ходу вычеркивая отработанный материал из памяти.

Из бодренького «мицубиси», гнавшего точно за рулем сидел по меньшей мере Микаэл Шумахер, выскочил разболтанный, борцовского вида шустрый казачонок, стриженный под площадку.

Поправляя толстенную витую золотую цепь на шее, он подкатил к Сайлаубеку.

— Чо, старшой, проблемы?

— Нет проблем. Проблема у вас. Вы нарушили скоростной режим в черте города. Ваши документы, пожалуйста! — вежливо попросил он.

— Да ты че, старшой, не узнаешь, что ли меня?

Сайлаубек взгляделся в наглое лицо. Он его видел впервые.

«Бандит, шестерка с какой-нибудь группировки», — определил он точно. — Документы предъявите, — вновь потребовал, теперь уже, закусив удила.

— Слушай, братан, в Талдик на днюху торопимся. Праздник у кента. Не омрачай дорогу, лады? Вот полтинничек баксами. За твой нелегкий хлеб, считай, что мы здесь не проезжали.

Солнце стояло в зените. Было очень жарко. Асфальт плавился под ногами. «Надо бы в тенечек, отдохнуть, минералочки отхлебнуть», — подумал Сайлаубек.

«Ишь как напирает! Поразвелось их, кривоногих, с бандитской площадкой, как паролем. Можно, конечно, заставить его сбавить тон. Э-э-э, да какая разница, все равно полтишок на дороге не валяется, возьму. А будет гнать,

убьется, туда ему и дорога. Зачем мне врагов наживать. Такой и пальнет ночью».

— Давай свой полтишок, да не ори, как потерпевший. А то отгоню сейчас на экспертизу, а тачку на стоянку. Быстро твой гонор слетит.

— Да будет тебе, братан. Чо нам друг другу жути гнать. Держи. Твое. Честно заработал, — золотоносный борец сунул потный полтинник баксами.

— Давай, командир. Неси службу, — покровительственно ляпнул кривоногий, удаляясь.

— Давай, давай! — многозначительно произнес Сайлаубек и понюхал полтинник, он вонял потом.

— Деньги не пахнут, — отрезал в мозгу старлей.

В этом месяце он планировал прикупить мебели на квартиру. Располневшая жена его, найманка, совсем запилила.

«Целый день пашешь, пашешь, придешь домой, а там она. То ей то не то, то ей это не так. Скентовалась с женой ротного, на нее и равняется. А ротный-то поболее имеет, — злился Сайлаубек в мыслях, направляясь в тенек.

«За пацана в колледж надо отвалить, специализированный какой-то. Зато будет не хуже чьих-то. Хотя бы взять комбатовского. Тоже в одном колледже с моим учится. Да и с «субарой» надо покончить».

Месяц тому назад эта «субарка» сбила старушку. Та, бедная, по пешеходной «зебре» плелась. А после дождя от асфальта отсвечивает. Вот тут-то «субарка» и выскочила. Тр-а-а-х! И бабуся лежит. А ему повезло. Он домой возвращался. Злой. Целый день был не в масть. Когда дождь, вообще никакой работы. А тут улица пустынная, лишь впереди «субарка» и он сзади на службеке.

Ну он сразу догнал, тормознул. За рулем коммерсант поддатый сидит. Взмолился.

— Забери машину, только это не я.

Понял Сайлаубек, что это его случай. И не стал упускать его. Заставил водилу оттащить бабку с «зебры» на проезжую часть, а самого за хобот и в круглосуточный нотариус. Переоформил, как милый. На найманку. «Теперь надо бы ей морду подшлифовать» он имел ввиду «субарку».

«Зато найманка утомонится, прекратит рыскать за мной, когда я с Ляззаткой забавляюсь».

Он стоял возле «служебки», промокая платочком, положенным заботливой Ляззаткой, непрерывно выступающий крупными каплями пот.

Как вдруг ударил себя по лбу и тут же взглянул на часы. Было около шестнадцати. Он выхватил из кармана «сотку» и спешно набрал найманку.

— Ало! Мен гой! Ты почему не звонишь, сегодня же гости у нас соберутся! — набросился Сайлаубек на жену.

— А ты сам не помнишь, что сегодня твой день рождения? Заработался, милый! — сбавила она тон. — Бросай все и пулей домой. Гостей-то приглашал!

Сайлаубек захлопнул телефон, отключаясь. Достал из кармана деньжата сегодняшние. Подбил. Негусто. Всего около полторы сотни баксов.

«Хорошо, этот Шумахер пропылил. А то и этого бы не было», — успокоил он себя.

Застолье удалось на славу. Найманка расстаралась. Чего только не нагромодила на стол. Икра и черная, и красная, и какая-то белая, называется, бывает. Истекающие желтым жиром казы, тающий во рту конский шужук. Грибочки с крохотными шляпками. Серебристая селедочка под запотевшую из морозильника водочку.

Сочные дольки лимончика, поливать форельку. Вина грузинские, французские.

Приглашенные все пришли. Сам комбат уважил. Пришел с женой. Жена сухая, как доска. У ротного — модница, ультрасовременная. Своевременная, как они шутят.

Сайлаубек режиссера позвал. Чтобы с культурной стороны был представитель. Налоговика знакомого. И таможенника.

— Пусть будут. Пригодятся. Много не съедят, не выпьют. А держаться мы должны вместе. Рука руку моет, — подумал он мудро.

К горячему бешбармаку подали золоченную, хрустальную рюмку комбату. Сайлаубек сам суетливо наполнил.

— Агатаю, тост! — провозгласил он.

Найманка захлопала в ладоши. Гости поддержали.

Комбат, подполковник, поднялся из-за стола. Был он светлолиц, надменен.

— Когда я был маленьким, в нашем доме гости, произнося тост, произносили следующее пожелание. Они желали моим родителям полный дастархан, высокого шанырака, и чтобы я вырос по жизни до бастыка. Я тогда слабо понимал значение этого тоста. Но теперь с высоты занимаемой должности осознал. Хочу, дорогой Сайлаубек, вручить тебе главный подарок. Это... — тут комбат напрягся, многозначительно, замолчал. Гости зааплодировали. — Это капитанские погоны! — бастык вынул из внутреннего кармана погоны с четырьмя звездочками и под рукоплексание присутствующих вручил их Сайлаубеку.

— Ты хороший, братишка! Ты член моей команды. Держи нюх всегда по ветру. И не забывай с чьей руки ешь! — он покровительственно похлопал подчиненного, искренне смутившегося, по плечу.

Сайлаубек бросился наливать всем.

— Ну, давай, скажи что-нибудь нам, именинник! — позволил бастык.

Рука, держащая высоко хрустальную рюмку, наполненную до краев водкой, предательски задрожала, это была рука, теперь уже капитана, Сайлаубека. Он вспомнил свой сон и затуманившимся взором посмотрел вдоль комнаты, вверх, выше потолка. Стена и потолок раздвинулись. Он увидел себя ясно, отчетливо. Совсем в недалеком будущем. Уверенным, подтянутым, значительным. Бастыком! И произнес. Голос был благодарный, уважительный, но не мечтающий, а убежденный.

— Бастык есть бастык. Сайлаубек тоже станет бастыком!

Гости заплодировали. Теперь уже ему.



ДРУЖБА — ПОНЯТИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ

(Вместо предисловия)

Сказки начинаются «Жил-был» или «В некотором царстве», но то, что я хочу вам рассказать, это не сказки, а самая что ни на есть правда и лучше было бы назвать эту серию юмористических зарисовок «Живет такой парень», но про того парня уже сказал Василий Макарович Шукшин, а я расскажу о замечательном человеке, которого зовут Шурик Кавтарадзе, и которого до сих пор, хотя ему уже шестьдесят, все кто его знает, зовут просто Шурик.

Однажды старший брат Шурика Валико сказал:

— Сколько я тебя знаю, Шурик, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь хоть раз тебя назвал по имени-отчеству. Тебе сейчас сколько лет.

— Шестьдесят.

— Со сто первого года начинай всем представляться как Александр Георгиевич!

— Если встречаются два жезказганца, вместо «здравствуй» спрашивают:

— Ты Шурика не видел?

— Жезказганские кавказцы решили создать традицию: каждое воскресенье собираться на базаре и выезжать на природу. Чтобы пообщаться, поиграть в карты, нарды. А так как никакой природы вокруг города нет, кругом выжженная степь, — выезжать на родник. Это маленький оазис в степи. Десяток чахлых деревьев, а между ними из-под земли бьет родник. Решили установить очередность: кто накрывает стол. То есть закуску и выпивку.

Первому жребий выпал Шурику. В воскресенье, когда все собрались на роднике, подъехал Шурик и стал выгружать из багажника ящики с водкой.

Публика мгновенно оживилась. Шурик выгрузил водку и захлопнул багажник.

Публика настороженно переглянулась.

— А где закуска, Шурик? — в один голос спросили кавказцы.

— Вот! — Шурик достал из кармана здоровенный огурец.

Директором рембыттехники был кавказец. Он прослыл человеком жадным. Кто бы из кавказцев не приходил к нему, чтобы одолжить денег, он всем отказывал.

Как-то Шурик решил у него одолжить. Вбежав в кабинет директора рембыттехники, Шурик стал обнимать его, с участливым видом спрашивая последнего:

— Как твое здоровье, земляк?

— Плохо, Шурик, болею.

— А-а-а, болеешь, да? А здоровье как?

— Да вот, Шурик, ноги болят, гляди, распухли, ходить не могу совсем, — директор задрал брюки, демонстрируя распухшие ноги.

— Да-а, брат! — сочувственно протянул Шурик, — не прекращая обнимать стенающего директора. — А как здоровье? — вновь задал вопрос Шурик.

— Денег взаймы не дам, не проси! — отрезал директор рембыттехники.

Шурик жарил шашлык. Вокруг на снегу стояли кавказцы, и не сводили глаз с мангала. Саксальные угли пылали жаром. Палочки с шашлыком румянились над углями. Ароматный запах туманил взоры собравшихся. В предвкушении они глотали слюну.

— Валико! Тебе, как брату, первому, — сказал Шурик, сняв с мангала палочку готового, истекающего жиром, сочного шашлыка.

— Шурик, ты же знаешь, у меня от горячего зубы болят, — пошутил Валико. Шурик озадачился, затем сообразил. Он сунул горячий шашлык в сугроб, от которого зашипел снег, затем вынул и вновь протянул Валико.

— На, я остудил!

Как-то утром я выехал вместе с Шуриком. Мы планировали проехать в соседний городок. Встречная машина стала моргать фарами Шурику с просьбой остановиться. Шурик вышел из машины и обнялся с человеком, управлявшим этой встречной машиной.

— Шурик, я получил вагон с сахаром. Ты всех в городе знаешь. Все тебя знают. Помоги быстро продать. Долю свою получишь, — просил незнакомец Шурика.

— Хорошо. Ты заедь ко мне в офис и подожди меня там, я скоро подъеду.

Не успели проехать и полквартала, как вновь Шурику поморгали.

— Шурик, братан, помоги муку продать, срочно надо. Ты будешь в доле.

— Ладно, решим. Жди меня в офисе.

Пока мы выехали из города, Шурику еще много раз моргали. Он выходил, обнимался. Его о чем-то просили.

Он отправлял их в офис.

Мы приехали в соседний городок. Там Шурика встречали грузины. Началось долгое застолье, говорились тосты...

В это время офис Шурика лопался от посетителей, ожидавших его.

Я сказал:

— Шурик, тебя в офисе столько людей ждут, может, поедем.

На что он ответил:

— Я же им нужен, а не они мне!

В городе распоясалось хулиганье. И хоть их в лицо все знали, они курочили машины. Срывали с них зеркала, откручивали колеса.

Шурик же свою машину круглый год оставлял на ночь около дома. Причем, оставлял открытой. Я удивлялся этому и однажды спросил:

— А ты не боишься, что хулиганы ее угонят или что-нибудь сделают с ней.

— Нет. Все хулиганы ночью греются в моей

машине, заодно мне машину прогревают.

Вскоре некоторые из друзей Шурика стали ставить свои автомобили на ночь около его машины.

— Мы к Шурику приехали, — говорили они хулиганам, произнося имя Шурика, как пароль. К концу зимы во дворе дома, где жил Шурик, к ночи стало собираться несколько десятков машин. И все говорили хулиганам:

— Мы к Шурику приехали, — и волшебное табу мгновенно распространялось на их машины.

Тогда озадаченные хулиганы пришли к Шурику и сказали:

— Со всего города едут на ночь в наш двор ставить машины, называют твоё имя! С кого мы скоро будем снимать колеса? Что нам делать Шурик?

— Как что? Откройте автостоянку, — ответил Шурик.

Хулиганы поставили шлагбаум, будку и открыли автостоянку.

Шурик путал все на свете. Имена, города, улицы, названия, наименования.

Как-то он с кислым видом держался рукой за щеку.

— Зубы болят, Шурик? Что с ними? — спросил я.

— У меня парадокс, — ответил он с умным видом вместо — пародонтоз.

Один человек пришел в офис к Шурику. Там сидел Валико.

— Шурик, у меня в семье проблема. Жена ушла из дома, все имущество забрала. У меня осталась только проволока.

— Что осталось? — не понял Шурик.

— Проволока. Платиновая проволока, Шурик. Помоги продать. Надо же жить как-то.

С этими словами человек вытащил из-за пазухи моток белой проволоки и протянул Шурику.

Шурик долго вертел моток в руках, раздумывая.

— Она что — дефицит? — наконец, спросил он.

— Это платина! Она нужна ювелирам, еще кому-то. Здесь 500 граммов, по 20 долларов за грамм.

— Ювелирам, говоришь? — Шурик уже толком его не слушал. — Валико, брат, поехали. Они приехали к одному ювелиру — еврей. Этот ювелир побаивался Шурика.

— Есть брат, платиновая проволока всего двадцать граммов по пятьсот долларов за грамм — перепутал Шурик, добавляя... — Только для тебя такая цена...

— Спасибо, Шурик, спасибо, дорогой, но для меня это дороговато, — стал вежливо отказываться ювелир, выпроваживая за дверь непрошенных гостей.

В коридоре Валико «наехал» на Шурика.

— Вечно ты все путаешь. Не двадцать граммов, а пятьсот и не по пятьсот баксов за грамм, а по двадцать. Дай ее сюда, у меня лучше получится.

Валико забрал проволоку у обескураженного Шурика. Они поехали к другому ювелиру.

— Вот платиновая проволока, всего пятьсот граммов, один грамм стоит тридцать долларов, — сказал Валико.

— Валико! Теперь ты перепутал! — воскликнул Шурик. Ты мне только что говорил, что один грамм стоит двадцать долларов, — запротестовал Шурик.

— Тьфу! — ругнулся Валико, швырнул в Шурика моток и ушел.

Шурик много лет не был в Грузии, на Родине. По телевизору показывали, что там свирепствуют мародеры из военного подразделения «Мхедриони».

Мы отговаривали Шурика лететь, но он был неуправляем.

Когда он вернулся из Грузии, мы спросили его:

— Как съездил, Шурик?

В ответ Шурик сказал.

— Я ихнюю маму в гробу видал!

— Что случилось?

— Я схожу по *траку* самолета, на мне *невелировый* костюм, на голове фуражка — *аэропорт*, весь я как папа *Крымский*, а он автомат наставил и говорит: «Карманы выворачивай».

— Кто он? — спросили мы хором.

— Мхедрионец. Я ему говорю, биджо, зачем ты меня хочешь ограбить, ведь я грузин. А он мне в ответ говорит: «Биджо, в Грузии все грузины, а кого тогда мне грабить? Выворачивай карманы!».

— Я ихнюю маму в гробу видал! — возмущенно закончил Шурик.

Мы с Шуриком сидели на диване. Он шарил руками, что-то искал.

— Что ищешь, Шурик? — спросил я.

— Калькулятор от телевизора. Только что тут валялся, — ответил он.

Я подумал: «Что еще за калькулятор у телевизора?».

— Лейла, ты не видела калькулятор от телевизора? — крикнул он, спрашивая дочь.

Лейла вошла в комнату.

— Папа, сколько раз тебе говорить, не калькулятор, а пульт.

Один ингуш по имени Макшарип рассказывал мне про Шурика.

— Мы с ним вместе пошли в первый класс. Когда я поступал в институт, Шурика в пятом классе оставили на третий год.

Однажды Шурик обедал у Макшарипа. На кухне висел портрет Есенина с трубкой во рту.

— Это кто? Твой отец? — спросил Шурик.

— Ты что, это же Есенин, — возмутился Макшарип.

— Весенин, говоришь? — Шурик зачесал затылок. — Это который летчик, что ли?

Женился племянник Шурика, Отари.

Шурик приглашал на свадьбу одного интеллигентного человека.

— Шурик, я очень ценю ваше любезное приглашение, однако я опасаюсь, вдруг там возникнет драка...

— Какая свадьба без драки?! Как напьются, сразу начнут драться, — ответил Шурик.

Шурик был молодоженом, а его тесть — крупный, уважаемый грузин.

Однажды жена Шурика неожиданно вернулась домой из поездки и застала его с любовницей. Она пожаловалась отцу и попросила наставить зятя на путь истинный. Тот завел Шурика на кухню.

— Негодяй! — услышала она гневный голос отца и съезжилась от страха. Отец был скор на расправу.

— Сколько раз тебе говорил, не вади их в дом, вывез бы куда-нибудь на прыроду!

Романтический племянник Шурика Отари рассказывал мне:

— Мы с Шуриком ехали по трассе мимо знаменитого курорта Боровое. Я упросил Шурика вернуть к озеру, очень хотелось полюбоваться чудной, зимней красотой озера.

На берегу стояло несколько машин. Их хозяева посреди озера занимались зимней рыбной ловлей. Я, разинув рот, стал рассматривать причудливо

окутанные инеем, заснеженные сосны, с шапками искрящегося на солнце белого снега на мохнатых ветвях... Как вдруг Шурик дернул меня за руку и прошипел:

— Ты че хавальник разынул, давай бистрей калеса аткрытым у той машины!

Шурик и Отари ехали по Парижу. Гид красочно описывал улицы, дворцы, мимо которых медленно проезжал их туристический автобус. Туристы в салоне вертели головами то влево, то вправо. Романтичный Отари тоже вертел, пытаясь успеть разглядеть, запомнить. Во всем салоне был лишь один невозмутимый человек. Это был Шурик. Вдруг гид произнес:

— Справо от нас во всем великолепии открываются знаменитые Елисейские поля!

Возбужденный Отари воскликнул:

— Поля, Шурик! Елисейские поля!

— Гдэ? — равнодушно спросил Шурик.

— Справа!

Шурик пристально посмотрел вправо, сквозь окно. Затем спросил:

— А пачему нэт камбайнов, трактаров?

Всех умных людей Шурик называл депутатами.

Шурик и Макшарип в молодости жили на одной квартире. Макшарип любил Есенина и читал Шурику вслух его стихи. Шурик добросовестно дремал. Вдруг он спохватился, что у него кончилось курево. Он уговорил Макшарипа выйти на улицу, «стрельнуть» сигарет. Город спал глубоким сном. Стоял лютый мороз, прохожих не было, лишь у здания театра, прислонившись к стене, стоял мужчина.

— Дай закурит, мужык! — крикнул Шурик. Мужчина не ответил.

Они подошли ближе.

— Закурит нэ найдется? — вновь выкрикнул Шурик. И опять в ответ ни слова.

Когда подошли вплотную, увидели — мужчина был мертв. В руках мужчины была папироса. Они от страха бросились бежать. Вдруг Шурик развернулся, подбежал к мужчине, разжал ему пальцы и забрал папиросу.

— Все равно атсыреет на холоде, — объяснил он.

Как-то раз Шурик, в свою бытность директором магазинчика по продаже строительных материалов, завез бочку водоэмульсионной краски.

Шурик закатил рукава сорочки, прикатил порожнюю бочку, перелил туда половину краски из первой, а затем обе долил водой и уехал с чувством собственного достоинства.

В это время в магазин приехал его брат Валико. Увидев две бочки эмульсионной краски, подумал — «маладэц Шурык, выбил краску».

Он засучил рукава сорочки, прикатил две по-

рожные бочки, наполнил их до половины из двух первых, долил водой все четыре доверху и уехал с чувством собственного достоинства.

Скончался один грузин. При жизни он был крупный, вельможный. Шурик и Лерик оказались в числе близких людей к покойному. Им доверили выносить гроб из дома. Так как Шурик и Лерик оба были маленького роста, а другие, поднявшие гроб — высокого, то вся тяжесть легла на их плечи. Лерик быстро семенил на коротких ногах, Шурик не поспевал за ним и возмущался:

— Чатлах! Куда бэжишь?

— Биджо! Чем быстрее закапаем, тем быстрее выпьем!

Они продолжали нести гроб, их почему-то никто не сменял. Забыли. Тут Шурика прорвало, он закричал:

— Я его маму в грабу видэл! Пачему ныкто нас нэ мэняет. Можно падумат, я его к себе дамой нису!

Шурик был пионером пришедшей рыночной экономики. Он приехал к знакомому директору совхоза и предложил последнему выгодную схему. Директор должен был выделить Шурику сорок крупных, упитанных коров. Шурик же — переработать бедных животных на тушенку, тушенку продать в воинскую часть, а прибыль поделить с директором совхоза. Директор был человек разумный и сразу же увидел выгоду, кроме того,

он уважал Шурика и считал его ловким человеком. Шурик тут же из кабинета директора совхоза позвонил директору мясокомбината. Тот был грузин и сказал:

— А чом ты гавариш, Шурик, дарагой! Все что хочиш для тэбя зделаим, хочиш, тушонку, хочиш калбасу.

Затем Шурик позвонил генералу, тот сказал:

— Шурик, дорогой, конечно, купим!

— Слышал? — спросил Шурик у изумленного директора совхоза. — Давай, грузи!

Директор совхоза загрузил сорок сытых упитанных коров в «камазы».

Шурик сказал племяннику Отари:

— Вези каров к Гиви. Он все знает.

А сам улетел на Дальний Восток, двигать другие дела.

Стоял знойный июль. Отари вез коров полторы тысячи верст «без воды и пищи» и привез в Жезказган. Оказалось, что директор мясокомбината — Гиви, срочно улетел в Москву и никого из сотрудников не предупредил про Шурикиных коров, и не оставил собственных координат.

Несколько дней коровы мычали у стен мясокомбината без «воды и пищи». Они мычали так, что жители города затыкали уши. Нет, они не мычали, они плакали, они рыдали крупными, прозрачными слезами, проклиная собственную судьбу. Они молили принять их скорей и переработать на тушенку!

Кавказцы собрались на совет.

— Что будим дэлат, — спросил Лерик?

— Надо накасит сена и дат им, — выступил один с предложением.

— Водычку надо дат им, биджо, — подал голос другой.

— Шурыка надо найти, сказать, пусть прилэ-тыт, карови кушат хочут! — заключил Лерик.

Прилетел Шурик. Директора мясокомбината — Гиви нет. Без него не принимают.

— Шурык, брат, дабай отнесем их знакомый чапан. Там они покушают травку. Потом сдашь, — посоветал один сердобольный казах Шурику.

Так и решили. Завели «КамАЗы» и повезли еще двести верст.

Когда их выгружали, картина была страшной. Узники Бухенвальда не могли бы без содрогания смотреть на это.

Кожа да кости! Бедные животные выходили шатаясь, точно пьяные, мычать уже не было сил, на слезы не осталось влаги. Они падали на колени, их поднимали. Из сорока двадцать — лежали мертвые, с раздутыми ужасно животами. На выпученных, остекленевших глазах сидели огромные, зеленые мухи.

— Нэ переживай, Шурка. Одын год кормым хорошо, следщий год двадцать теленка даст. И все сорок будит на место! — утешил Шурика чабан — старый казах.

— Спасибо, атэц, — Шурик от умиления, что такой хороший человек ему попался, чуть не заплакал.

Прошло два года. Кто-то из грузин сказал Шурику, что тушенка теперь стала трижды дороже. Шурик вспомнил про коров. И поехал к чабану.

Его не было два дня. Вернулся печальный, тихий.

— Что случилось, Шурык? Гдэ тваи карови? — спросил Лерик.

Шурик долго молчал, курил, подперев щетинистую щеку, тяжело вздыхал.

— Что вздыхаешь, биджо? Расскажи тольком. Так вздыхаешь, как будто кто-то умэр!

— Умэр! Чабан умэр! — вновь горько вздохнул Шурик, — какой хароший чаловэк бил!

— А карови где, Шурык, — нарушил Шурикину скорбь Лерик.

— Аба, биджо! Причем карови! Нэту каров. Гаварят, их волки съели. Чаловэк умэр, биджо, а ты гаваришь, карови!

Будучи в Ташкенте, Шурик убедил одного директора базы отправить в Москву ингушу Мовлади три вагона с маринадами. В стеклянных трехлитровых банках помидорчики, огурчики, баклажанчики. Тут же позвонили ингушу Мовлади. Тот сказал:

— Здесь эт товар три раз дороже. Атправляй, Шурык!

Директор базы отправил. Прошел месяц. Товар в Москву не пришел. Прошел еще месяц. Стали искать. Нашли на какой-то Москве — Сортировочной.

Оказалось, адрес был указан с ошибкой. Вагоны полтора месяца болтались. Их толкали то туда — то сюда. Одним словом, насчитали за простой, за маневровые паровозы. Выкатили круглую сумму, Шурик ахнул. Кое-как уговорил он железнодорожное начальство и отдал им за расчет один вагон с маринадами, чтобы получить остальные два.

Когда вскрыли, Шурик опять ахнул.

В обоих по одной трети оказалось стеклянного боя. Повсюду лежали помидорчики, огурчики, баклажанчики. Погоревали грузин Шурик с ингушом Мовлади и стали выгружать на склад.

Шурик уехал, Мовлади взялся искать покупателей. Прошел месяц.

Вдруг он звонит Шурику.

— Шурык, — говорит он, — у этих марынадов срок годности давно кончился.

— Как кончился? — взвился Шурик.

Делать нечего. И тут он нашел выход. Привез Шурик в Москву новые этикетки, с нормальным сроком годности. Нанял из монастыря десяток монашек, чтобы переклеили этикетки.

Ингуш Мовлади ожил. Закрутился व्यоном. Черные, как смородина, глаза его засверкали. Он вышагивал в своих остроносах, как жало кинжала, туфлях, взад-вперед. Монашки были молоды и целомудренны.

Месяц, а то и больше переклеивали. Когда закончили, им выкатили счет за аренду склада.

У грузина Шурика и ингуша Мовлади онемели челюсти. У Шурика загло под лопаткой и открылся старый пародонтоз. У Мовлади орлиные брови как сомкнулись, так и не размыкались.

Пришлось за аренду отдать маринадом из оставшихся полтора вагона — полвагона. Из последнего вагона одну десятую часть маринадом отдали монастырю, за работу целомудренных монашек. Из оставшейся части одну двадцатую часть маринадом рассчитались за «КамАЗы», перевозившие этот самый маринад на другой склад, на другой край огромной Москвы.

Мовлади, огорченный тем, что ему, отчаянно-му сыну гор, не удалось совратить одну из целомудренных монашек, долгое время не мог найти покупателя.

А когда нашел, то позвонил Шурику:

— Шурык, — сказал ингуш Мовлади, — я нашел хорошего пакупатэля. Но оказывается, товар уже не наш. Помидорчики, огурчики.

— Как нэ наш? — возмутился Шурик.

— Склад забрал все сэбе. В счет оплаты за аренду!

— Я его маму в гробу видел, — выругался Шурик и замолчал. В трубке что-то долго щелкало, трещало, — затем Шурик рассмеялся:

— С ингушами работать нэльзя! — сказал он. — Я тэбе тры вагона отпавил, прыеду в Москву, хот пузырь паставиш?

— О чем ты гаварышь, Шурык, канэшна!

Юный дерзкий сын Шурика Зураб убедил юную симпатичную девочку Юлю в своей любви и уговорил ее уехать с ним в Москву.

Родители девочки были в шоке. Юля была еще школьницей. Зураб же бросил свою школу после шестого класса.

Родители Юли потребовали от Шурика разыскать беглецов. В противном случае, грозились они: «обратимся в милицию».

Шурик поехал в Москву.

Капитан Жеглов да и сам столичный МУР со всеми его сыскарями мог бы поучиться таланту сыска у простого грузина Шурика Кавтарадзе.

В многомиллионном мегаполисе, не имея никаких следов, каким-то чудом Шурик, потратив уйму денег, нервов, разыскал их на одном из заброшенных железнодорожных тупиков. Юные, школьница Юля и забросивший школу Зураб, жили в вагоне, который стоял на отстое, в резерве.

Появление Шурика внутри вагона несчастные влюбленные расценили так, точно к ним вошел инопланетянин.

Они оторопели!

Юлечка, увидев гневного Шурика, из всех сил прижалась к Зурабу.

Шурик влепил звонкую пощечину сыну и сказал:

— Сколько раз тебе гаварил, не наси такую идиотскую прыческу!

По делам бизнеса я находился в Санкт-Петербурге. Шурик тоже прилетел в этот город по бизнесу. В один из вечеров я предложил Шурику вдвоем поужинать в одном из дорогих ресторанов отеля «Прибалтийский».

— Шурик, в какой ресторан пойдем? Есть голубой, розовый, белый.

— Что это такое? — насторожился Шурик.

— Ну, в голубом, там все голубое. Весь интерьер, — видя, что он не понял слова интерьер, я стал пояснять обширно. — В нем все голубого цвета, от штор на окнах до скатертей на столах.

— А-а-а, — протянул Шурик и тут же добавил: — нэт, туда не пайдем, туда, навэрно, голубые ходют.

— Ну, ладно, тогда пойдем в белый, — не стал настаивать я.

— В белий! — поддержал Шурик. Белый цвет его не смущал.

В белом зале было потрясающе. Все вокруг дышало белизной, свежестью, даже рояль был белого цвета.

Официант весь в белом. В белых перчатках на руках, с накрахмаленным белым полотенцем, перекинутым через руку, был подчеркнута предупредителен.

Он подал нам меню в обложке из тисненной белой кожи.

Шурик стал листать и хмуриться. Я знал, что ему тяжело ориентироваться в закрученных, витиеватых, вычурных названиях блюд. Однако продолжал наблюдать.

Официант же накручивал. Предлагал Шурику молодую кабаргу под гранатовым соусом, отмоченную в красном вине Ле Бурже 1905 года, фаршированное филе стерлядки.

Шурик вспотел и вытер лоб рукавом рубашки. Официант тут же подал ему накрахмаленную белую салфеточку.

— Осмелюсь рекомендовать вам замечательную севрюгу, маринованную в специальных марокканских специях, зажаренное на знаменитом прованском масле фаршированное филе моллюсков.

Шурик нахмурился пуше прежнего и вдруг громко спросил:

— Катлеты у тэбя ест?

Однажды в одном дорогом Петербургском ресторане Шурик долго наблюдал за тапером. А тот величественно грел кисти рук над свечкой, стоявшей в позолоченном подсвечнике, столь же величественно отпивал глоток шампанского из высокого бокала, а затем величественно ударял по клавишам.

Тапер исполнял замечательные вещи. Я на салфетке набросал список мелодий, положил в нее сто долларов и попросил официанта отнести таперу.

— Сколько ты дал? — спросил Шурик.

— Сто долларов.

— Сколько, сколько? — присвистнул он. — Эх, умел бы я играть на этом кампьютере!

Я жил в «Прибалтийской» в Санкт-Петербурге, приехал Шурик. Денег у него не было. Я привел его к себе в номер. Он спал на моей кровати, я на полу. Мне надо было уехать в Москву, проводить жену в Казахстан. Денег у меня тоже не было, лишь на дорогу в одну сторону.

Я отдал Шурику визитную карточку отеля и объяснил ему:

— Вот по этой карточке ты сможешь завтракать. Там шведский стол, так что наедайся сразу на весь день.

Я уехал. Когда я в Домодедово проводил жену на самолет, напоследок помахав ей рукой, в моем кармане оставались немногим больше двадцати центов. Я стоял посреди огромного аэропорта и чувствовал себя круглым сиротой. ... Кто-то сзади обнял меня за плечи.

— Ходят тут разные Мараты!

Я обернулся. Это был цыганский барон из Караганды.

— У тебя деньги есть? — спросил я вместо «здравствуй».

— Есть!

— Дай мне двести долларов, — попросил я. Барон выдал и повел меня обедать. Не сделал я и десяти шагов, как увидел ребят из Жезказгана. Мы обнялись.

— Дайте долларов триста, остался без денег, — пожаловался я.

Мы с бароном уже что-то ели, как я увидел еще знакомых казахстанцев. Одним словом, вечером того дня я возвращался в Санкт-Петербург в спальном вагоне «Красной Стрелы». В кармане у меня было полторы тысячи долларов. Когда я вошел к себе в номер, обомлел. На кровати, укрытый с головой, проглядывался силуэт человека.

Я отдернул одеяло. Это был Шурик. Он лежал заросший седой щетиной, в костюме, брюках и ботинках.

— Ты что, Шурик? Ты хотя бы разделся, костюм ведь помнешь? — возмутился я.

— А какая разница! Все равно дэнег нет!

— Железная логика, — мелькнула в голове у меня мысль. Я достал из кармана полторы тысячи и посыпал ими Шурика.

— Сколько? Гдэ взял? — Я ему рассказал.

— Если бы вместе поехали, сейчас три тысячи было бы, — пожалел Шурик.

У Шурика на кисти левой руки была наколка — горы.

А под ними надпись «Кавказ».

Однажды он решил вбить в стену дюбель. Это было для него непривычное занятие, он промахнулся и со всего маху ударил молотком по кисти левой руки. Раздосадованный Шурик отбросил в сторону молоток и от боли схватился правой рукой за травмированную кисть.

Я бросился к нему.

— Что такое?

— Прямо по Кавказу попал! — простонал Шурик.

В Жезказгане бытует загадка:

— Может ли миллиардер стать миллионером?

Разгадка:

— Может. Если возьмет в долю Шурика Кавтарадзе!

Жил-был в Жезказгане в эпоху начала рыночной экономики зять бывшей директрисы горторга по имени Эдик. Это был толстый, холеный, похожий на Карсона человек. Видимо, Шурику он тоже показался Карсоном. Одним словом, они стали вместе делать бизнес. Скажу сразу, у Эдика была прекрасная по тем временам квартира, навороченная жена, три легковых машины, два грузовых рефрижератора, склады и деньги в банке.

Операции, которые они затевали, пахли большими цифрами со многими нолями.

Я им тайно завидовал.

В Грузии полным ходом шла война. Они отправили боевикам бензин. Не знаю, может, несколько цистерн, может, эшелон.

Меня колотил мелкий озноб от их бесстрашия и размаха. Потом был еще ряд безумных операций.

В конце концов Эдик остался без квартиры, денег в банке, склада, рефрижераторов, продал и легковые машины.

Я прилетел в Санкт-Петербург и поселился в «Прибалтийской». Вдруг внезапно в холле встречаю Эдика. Мы обнялись.

— Ты что тут делаешь? — спросил я.

— В залоге сижу, — ответил он.

— Как в залоге, — я ничего не понял.

— Обыкновенно. Шурик с дагестанцами затеял крупную сделку по нефти. Они вошли с финансами. Он с нашей стороны, гарантируя сделку, оставил меня в залог.

Я долго молчал. В горле было сухо.

— Ну и дела, — подумал я, а сам спросил — и давно ты в залоге?

— Да, уже три месяца.

Он жил в шикарном трехкомнатном люксе, который оплачивали дагестанцы, пил и ел, что желала душа и стал еще толще.

Я пробыл в Петербурге дней десять и уехал. Через три месяца я вновь прилетел в Питер и поселился в «Прибалтийской».

И что вы себе думаете? Я вновь в холле встречаю Эдика. Еще пуще раздобревшего, холеного. Мы обнялись.

— Ты что тут делаешь? — спросил я.

— В залоге сижу, — ответил он.

— Еще с тех пор, — я был поражен.

— Да!

— Что, до сих пор сделку не закончили?

— Прежнюю закончили по нулям. Они опять вложили деньги в нефть. — Эдик кивнул в сторону, и я увидел здоровенных, звероподобных дагестанцев. — Шурик опять гарантировал сделку, и вот я снова в залоге! — горько вздохнул Эдик.

Шурик и Эдик снимали двухкомнатную квартиру, где-то в рабочем районе Петербурга. Денег у них не было. Они перебивались с хлеба на воду. Жена Эдика, имевшая лютую ненависть к Шурику, жила тоже в этой квартире.

Я приехал к Шурику на квартиру и был шокирован этим. Жена Эдика подала нам двоим обед. Сами же ели отдельно.

— Ты не боишься, Шурик, что она тебя отравит, — я опасливо оглядел тарелку.

— Не-е-еет! — засмеялся Шурик своим замечательным, эксклюзивным смехом.

- Почему ты так уверен?
— Без меня они не палучут сваих дэнег!

Валико построил коммерческий магазин.
— Чем торговать планируешь? — задал я ему вопрос.

— Хочу продавать меха! То есть изделия из мехов. Шубы из норки, песца, горностая.

В это время приехал Шурик. Он обнялся с братом, обернулся назад и крикнул кому-то:

— Заноси!

Какие-то мужики в спецовках занесли несколько промасленных ящиков.

— Что это, Шурик? — Валико был ошеломлен.

— Ты же магазин открыл. Вот я и привез гвозди, шурупы разные на продажу.

Мы с Шуриком снимали соседние номера в «Прибалтийской». Я у себя жил один, Шурик же с Эдиком.

Как-то днем, после сытного обеда, я придремал в своем номере, глядя телевизор. Проснулся от шума за стенкой.

Обеспокоенный, я поспешил в номер Шурика. Когда вошел, увидел следующую картину. Шурик о чем-то яростно спорил с Женей. Женя был двухметровый, Шурик — чуть выше его пояса.

Речь шла о дележе прибыли с последней сделки. Сумма была сладкая.

Женя был образованный. Он бегал пальцами по кнопкам калькулятора.

Шурик отмахивался от техники, как черт от лаdana. Он схватил большую, пустую коробку от телевизора и разорвал ее. Получилась длинная картонная дорожка. Он стал вести собственный подчет на картоне коробки. Через час ожесточенного спора баланс склонился в пользу Шурика. Размер его доли вырос. Женя отнял у него ручку, присел на корточки, и стал вести цифры в столбик.

Через час стрелка баланса качнулась в обратную сторону. Толстый Эдик смахивал со лба пот.

Я ушел. Это была их сделка. Вернулся к ним в полночь. Картонная дорожка была исписана с обеих сторон.

Столбиками вниз сбегали бесконечные цифры. Вариант-Ш. Зачеркнуто. Вариант-Ж. Зачеркнуто. И так до самого низа.

Шурик взволнованно ходил из угла А в угол С. Женя из угла В в угол Д.

Эдик дремал в кресле.

— Что, выяснили? — не удержался я.

— Нэт! Завтра закончим, — махнул рукой Шурик.

— Я купил хрустальный завод! — заявил мне Шурик, вновь поражая меня своим размахом.

— Поехали, покажу!

Когда приехали, выяснилось — это был не хрустальный завод, не по изготовлению хрусталя, а обыкновенный стекольный завод.

Там стояло три печи. В них жарко пыхало пламя. Они плавили стекло. Ловкие стеклодувы длинными трубочками выдували затейливые вещи.

Я опять был сражен. Эта красота буквально потрясла меня. Я стал приезжать на завод в свободное время и постигать эту чудную науку.

Вскоре я уже сам выдувал из красного раскаленного стекла причудливых «мишек», лопоухих «заяк» — копилки для монет, но больше всего мне нравилось выдувать лебедей — пепельницы. Лебеди получались дивные. С высокой, гордо изогнутой шейкой. Маленькой аристократической головкой. Со сложенными крыльями.

Я их ставил на ленту и отправлял в сушилку. У меня получалась плывущая лебединая стая. Замирало сердце.

Вскоре печи потушили, завод опечатали, а потом отняли. За долги.

Оказывается, Шурик, когда брал завод, не посчитал расходы, только прибыль!

Зато у меня до сих пор екает в груди, как вспомню тех лебедей.

Шурик несколько месяцев пробыл в Стамбуле. Доходили слухи, что он работает с неким банкиром. Какие-то финансовые схемы. Когда я говорил с ним по телефону, он называл невероятные цифры, от которых меня бросало то в жар, то в холод.

Это была памятная пора американских окорочков в Казахстане.

Однажды ночью он позвонил мне и сказал:

— Хачу отправить тебе пароход акарачков.

Я плохо ориентировался, много это или мало, но так как товар скоропортящийся, на всякий случай сказал:

— Шурик, ты что! Пароходом можно весь Казахстан накормить!

— Да? — Шурик ненадолго замолчал, — тогда полпарохода!

Это было в эпоху деревянных российских рублей.

Мы с Шуриком сидели во Владикавказской квартире Отари.

Отари занимался розничной торговлей аудио-, видеокассет. Когда Шурик говорил о деньгах, Отари слушал, приоткрыв рот. Цифры не могли оставлять равнодушным.

— Скоро там, в Стамбуле, мы должны крупный кредит взять, — заявил Шурик.

— Крупный — это сколько? — поинтересовался я.

— «Лимонов» десять.

Я понял, что речь идет в долларовом измерении.

— Шурик, а нельзя пару «лимонов» мне на раскрутку дать? — попросил Отари.

Шурик задумался.

— Пару, говоришь? Так, если два отдать, восемь астанется, — считал он. — Давай один дадим, — предложил он Отари.

— Одного мало будет, — посетовал Отари и вдруг спросил Шурика, — я про пару «лимонов» рублей говорю, а ты что подумал, что я про доллары?

— Я думал, что ты про доллары, — разочарованно ответил Шурик.

Лерику уже за пятьдесят, а он все еще был не женат. Он был притчей во языцех на каждой посиделке.

Стоило кому-нибудь спросить:

— Когда ты, Лерик, наконец, женишься? — как друзья тут же хором подхватывали:

— Женись, Лерик, женись!

У него была однокомнатная квартира. В ней стояла деревянная, односпальная кровать. В углу на тумбочке сиротел телевизор.

Когда кто-то из общих друзей ругался с женой, то собирался и приходил ночевать к Лерику. Лерик никому никогда не отказывал.

В стенном шкафу у него сложенными хранились с десяток матрацев.

Поругавшийся с женой брал из стопки один из них, расстилал на полу и заваливался спать.

В одну из ночей один за другим в квартире Лерика собрались девять человек.

Десятым под утро пришел Шурик. Он тоже разругался со своей.

Низкорослый пузатый Лерик в сатиновых трусах до колен открыл дверь.

При виде Шурика он сонно проворчал.

— Один остался, как раз тэбэ!

Шурик вошел в квартиру, увидев вповалку спящих на полу, хлопнул себя по щеке и сказал:

— Я его маму в гробу видел! Что мы будем делать, батоно, если ты вдруг женишься? Нэ жэнись, Лерик, нэ жэнись!

В Грузии была разруха. Экономика, торговля, все лежало на боку.

Шурик приехал в родное село Мухрани. Грузины-односельчане, узнав об этом, собрались и шумной, многолюдной толпой пришли к дому Валико.

Они сказали:

— Шурик! Мы знаем, ты везде ездишь. Европа биваешь! Ми здесь погибаем. Скажи, батоно, что надо, ми найдем. Надо что-то продат, чтобы кушать!

Шурик многозначительно подумал, затем сказал:

— Шерсть надо!

— Найдем, Шурик, сколько хочиш найдом, — клятвенно заверили грузины и, пятясь задом, покинули двор.

Шурик уехал. Его не было полгода. Не успел он вновь приехать в родное село, как двор набился полным, грузинами.

— Шурик, всю шерсть Грузии собрали для тэбя! — восклицали бедные.

Шурик пошел во главе многочисленной процессии к огромным амбарам, на краю села, куда отовсюду свезли шерсть.

Отворились огромные ворота. Амбар от пола до потолка был завален мешками с шерстью.

Шурик вскрыл один мешок, взял несколько ворсинок и посмотрел их на свет. Взял из другого, посмотрел на свет. Взял из третьего.

— Нэ пайдот! — вынес он приговор. Бедные грузины открыли рот. Так и стояли.

— Пачиму, Шурик? — решился спросить один.

— Нада висеннюю, танкарунную, митую и чesanную, — отрезал Шурик, — у вас асенняя, грубашерстная, немитая и ничесаная!

— А пачиму ти сразу нэ сказал? — не унимался решительный грузин.

Шурик выступил вперед. Одну руку он держал за спиной. Другую поднял указательным пальцем вверх.

— Что я вам, зоотехник?

Одни хитрые армяне, зная дружбу Шурика с Александром Антоновичем, попросили его достать им краску, десять килограммов. Посулили за это приличные деньги. Шурик было насторожился.

— Что это за краска? — спросил он.

— Обикновенная краска, Шурик, залатистага цвета, — успокоили армяне.

Шурик позвонил Александру Антоновичу, который очень любил его, и попросил в трубку:

— Антонович, ты же знаешь дырэктара фарфоваго завода, папраси у него краску, надо дэсять кылаграммов.

— Вот формула, Шурик, — подсунули хитрые армяне Шурику клочок бумажки с химической формулой.

Еле, еле Шурик выговорил формулу в трубку. Антонович верил Шурику и, не откладывая в долгий ящик, позвонил директору фарфорового завода.

Перебросились о том-о сем.

— Послушай, Евдокимыч, выпиши мне краски, говорят у тебя есть на складе. Килограммов десять надо.

— Что за краска? — спросил Евдокимыч.

Антонович продиктовал формулу.

— А зачем тебе столько этой краски? — спросил удивленный, ошарашенный директор.

— Да моя Люда затеяла подоконники красить, — соврал Антонович.

— Ладно, вечером будем собак выгуливать, поговорим, — ответил директор фарфорового завода и положил трубку.

Вечером Антонович выгуливал кобелька и встретился с ожидающим его Евдокимовичем.

— Добрый вечер, золотодобытчик! — ехидно поприветствовал его тот.

— Не понял! При чем тут золото? — смутился седой Антонович.

— Как это причем? Если у тебя жена хочет золотом подоконники красить, а тебя просит добыть аж десять килограммов. Та формула, что ты мне по телефону зачитал, это же чистое золото! Мы на

весь завод ее на год пятьсот граммов получаем, этой краски, каемки золотые на тарелки делать.

— Ай да Антонович! Ай да золотодобытчик! — издевался директор фарфорового завода над незадачливым Антоновичем.

Седой Антонович удрученно бормотал под нос:

— Ай, да Шурик! Ай, да подставил...

То ли это была, то ли это легенда.

Какой-то человек принес Шурику из толстого стекла капсулу, в которой хранилась поменьше — другая. То ли это был уран, то ли миниатюрная атомная бомба.

Но это надо было продать! За границей! Шурик подошел к Лерику и попросил машину.

— Дай-кась ключи, нада съездить! — сказал он.

Лерик подумал, что Шурику надо проехать по городу и отдал ключи.

— Смотри, Шурик, аккумулятор слабый! Замок зажигания заедает. Движек масле хаваит. Ризина тоже старей!

Шурик молча взял ключи, документы и уехал.

Уехал и пропал. Как в воду канул. Все переполошились, а его все нет и нет. Прошло двадцать дней. Вдруг он звонит и спрашивает у Лерика:

— Как дэла?

— Ти аткуда звонишь? — еле сдерживая себя, спрашивает Лерик

— Как аткуда? Ыз Стамбула?

— А как ти туда папал? На чем?

— Как на чем? Прыехал. На тваей машине, — невозмутимо отвечал Шурик.

— А куда ты дел ампулу человека?

— Как куда? Сюда прывез, вон в шкафу лижит.

— Как ти ее провез? — чуть не назвал идиотом

Шурика Лери.

- Как провез? Палажил под сиденье и провез.
- Через пят границу? Нэ шманали что-ли!
- Как нэ шманали. Шманали!
- А ти, дурак, знаишь, если бы тибя паймали — эта расстрел!
- Как ни знаю? Канечнэ, знаю!

На стыке перехода из собственности социалистической в рыночную Шурика посадили. Дали ему пять лет. Отправили его сидеть в буранные окрестности города Кокшетау. А я переехал в Кокшетау жить.

Стояла лютая зима.

Я отправился на «девятке» в зону, к Шурику. Думал, выпрошу свидание, передам продуктов. Хотелось сделать что-то милосердное для него.

В штабе мне сказали:

- А Кавтарадзе нет в зоне!
- Как нет? — я показал им адрес.
- Его нет в зоне, он в командировке, — заявила женщина в форме из спецчасти.

Обескураженный, я решил, что его отправили сидеть в другую зону.

— Вы приедьте через недельки две-три, а то и через месяц. Он вернется. Он в Новосибирске, — сказала вдогонку мне женщина в форме.

— Как это он в Новосибирске? Уехал. Вернется. Он сидит у вас или не сидит? — не выдержал я.

— Он сидит! А как же! Но не сидит. Ездит. Все время ездит. Он же у нас директор коммерческий. Сейчас из Новосибирска нам кирпич отправляет.

Шурик долгое время пропадал в Германии. Я все гадал, на что он там живет? Ведь там все дорого. А он звонил мне по телефону и подолгу разговаривал.

Я не выдержал и спросил у него однажды:

— Ты так долго говоришь по телефону, у тебя хватит денег оплачивать переговоры?

Он в ответ рассмеялся.

— У них хватит. У них денег много, ани рассчитываются.

— Кто они, Шурик?

— Немцы!

— Какие немцы?

— Наши бившие жезказганцы, тэперь немцы. Я их всех здэс нашел! — Шурик опять рассмеялся.

Однажды я решил подшутить над Шуриком. Я позвонил ему по сотовому и сказал, что сижу в тюрьме и, чтобы мне выйти, нужны деньги. Тридцать тысяч долларов.

Мне было интересно, как он себя поведет.

— Патерпи, брат. Пасиди пака. Щас я заработаю, есть одна сдэлка. Как «бабки» палучу, сразу приеду тэбя «отмазывать».

Второй раз я позвонил ему через три месяца.

— Шурик, дела плохи. Могут большой срок дать. Нужны деньги!

— Сколько, гаваришь, нада?

— Тридцать тысяч долларов!

— Патэрпи, брат. Пасиди еше чут-чут. Вот-вот «бабки» будут.

Прошло еше полгода. Я позвонил Шурику.

— Шурик, ну что там. Будут деньги?
 — Сколько, гаваришь, нада?
 — Тридцать тысяч.
 — Патэрпи, брат. Будут деньги! — пообещал он.

Когда я, будучи в гостях в Жезказгане, рассказывал эту историю Лерику, он сказал:

— Тебе бы пришлось пажизненно сидеть, пака Шурик заработает. Он меня абецал атправить с пэрвых дэнег в Поты, к радытелям старым. Уже пятый год еду. Наверно, нэ увижу отца, маму.

К Валико приехал из Грузии Амиран. Амиран совсем плохо говорил по-русски. У него было туго с арифметикой, но более того с чувством юмора. Валико же, напротив, был неистощим.

Они немного выпили, Амиран задремал, Валико это злило. Тут зазвонил телефон. Валико схватил трубку и со всей силы толкнул в бок Амирана. Тот соскочил, пытаясь сообразить, что происходит.

— Бери ручку, записывай бистрей. Из Масквы звонят. Такая сделка!!!

Амиран схватил ручку, приготовился писать.

— Пиши! Шкуры кракадилы — 60 тонн. Акулы ноги — 60-тонн. Языки заячы — 60 тонн. Записал? Маладэц! — и в трубку вежливо: «Спасибо, спасибо, все записали».

Валико положил трубку и потер довольно ладонями. Амиран сидел немного ошалевший. Валико, еле сдерживая себя, чтобы не рассмеяться, предложил выпить.

Когда выпили, закусили, Валико спросил Амирана:

— Ти а чем так напряженно думаиш? Даже атсюда слишно как у тэбя мазги скрипят!

— Я считаю, Валико, сколько зайцев надо убить, чтобы 60 тонн языки сабрать!

— А про акулы ноги не думал?

— Еще нэт!

К Валико приехали какие-то крупные коммерсанты из Москвы.

Валико решил подшутить. Он договорился со своей женой Люсей о следующем:

— Ровно в 18⁰⁰ ты вайдешь и внесешь горячие хинкали. Ровно в 19⁰⁰ ты внесешь горячие хачипури.

Они сверили часы.

Застолье было на славу. Гости шумно ели, пили, произносили тосты.

Валико посмотрел на часы. Было без одной минуты 18⁰⁰. Он предложил гостям.

— Хатите горячие хинкали?

Гости дружно закивали.

— Хотим. Конечно. Хинкали!

Валико повернулся к стене и нажал на торчавшую из нее шляпку дюбеля. Распахнулась дверь, вошла Люся. На огромном блюде исходили паром горячие хинкали. Гости дружно налетели, расхваливая, запивая холодной водкой.

Прошел час. Ровно без одной минуты 19⁰⁰ Валико воскликнул:

— А не хатите ли горячих хачипури?

— Хотим, конечно! Хачипури! — возрадовались хмельные гости.

Валико повернулся и нажал на дюбель.

Распахнулась дверь. Вошла Люся, держа в руках блюдо с еще дымящимися хачипури. И вновь оживленные гости хватали, разрывая руками тонкие, золотящиеся хачипури. Ели, запивая водочкой.

Прошел еще час. Вдруг один из крутых, новых русских поднялся, пошатываясь, подошел к дюбелю и стал давить на него.

— Ты чего? — спросил Валико, прыскаая от раздиравшего смеха.

— Хочу горячий шашлык!

В советские, застойные времена Валико шабашил. Со своей бригадой он строил овощехранилище. Работали зло. День и ночь. В те годы такая работа называлась аккордной. Однако бухгалтерия все время задерживала выплату денег.

— Бугор, что за дела? Пашем, как Папы Карлы, а денег не выдают! — возмутились работяги.

Валико пошел в бухгалтерию. Толстые, обюрократившиеся тетки-бухгалтера целыми днями распивали чай с вареньем и гоняли сплетни.

— Денег нет! Не знаем, когда будут! — отмахнулись они от Валико, точно от мухи.

Валико стало обидно. Он решил заставить толстячек оторвать зады от стульев и заявил:

— Ви сидите здэсь, нычего не знаете, а там Ваня-Будолом аднаго кувалдой как дал по черепу, череп разлетэлся на куски, адин шейный пазвонок тарчит из трупа. У нэго апять замкнуло!

— Ой ужас! Да, что вы говорите! — замахали руками толстячки.

Все знали огромного, звероподобного двухметрового дебила Ваню по кличке Будолом.

Валико ушел. Бухгалтера остались гадеть.

На улице Валико подал здоровенную кувалду Ване-Будолому и сказал:

— Иди в бухгалтерию. Там надо дюбель забить.

Тугодум Ваня принял за чистую монету и пошел в бухгалтерию.

Как только он, резко распахнув дверь, переступил порог с кувалдой в руках, в бухгалтерии раздался страшный визг. Оттуда донеслись нечеловеческие вопли, а потом в открытое окно, одна за другой стали выпрыгивать, шмякаясь о землю, толстые бухгалтеры.

Вся бригада держалась за животы от хохота.
— Ваня! Ваня! — звал Будолома Валико.

Валико был страстный охотник. Когда он жил в Казахстане, часто выезжал на сайгу. Тучные, многотысячные стада их мигрировали по знаменитой Бетпак-дале. Когда он переехал в крохотную, горную Грузию, то сильно заскучал по огромной, плоской до горизонта степи. По выжженным такырам.

И тогда он стал рассказывать грузинам невероятные вещи про Казахстан. Как-то разговор зашел об охоте, кто-то из грузин рассказал о том, как на днях бил фазанов.

— Какие фазаны? Эта разве ахота? Вот в Казахстане ахота! Виеду бывало на «Камазе» в Бэтпак далу километров за пятьсот. А стэп такая ровная, как паверхнасть вот этага стола. Впэреди касяк сайги ыдет, всю степ заслониет. За час польный с верхом кузов ее набиваю. Ставлю «Камаз» по компасу в направлении города, включаю скорость, на педаль газа кладу кирпич, заводжу будильник, а сам в спальник и спать. Всю ночь «Камаз» ыдет, а кагда до города астається километров двадцат, званил будильник. Я прасыпашю и сажусь за руль.

— Вай, Валико! Вай! Разве так бывает? — млели грузины.

— Бывает! — передразнивал Валико. — Вот эта ахота! А ви гаварите «фазаны»!

Валико очень любил хороший инструмент, дорожил им. Когда он переезжал из Казахстана в Грузию, с ним случилась следующая история.

Он уже отправил груженный немудреным скарбом «Камаз» и прохаживался по пустому двору, как вдруг заметил одиноко лежавшую кувалду. Делать нечего. Валико выбил деревянную рукоятку, а саму кувалду, полюбовавшись, положил в сумку.

Это было время развала СССР и установления первых таможен.

Так вот, в Жезказганском аэропорту таможенники смотрели то на билет, выписанный на Тбилиси, то на кувалду. Благо, они его знали.

— Ты что, Валико! Зачем кувалду везешь? — спрашивали они.

Не объяснять же им, что ее забыли! А он не может бросить хороший инструмент.

— За столько лет в Казахстане ничего не нажил. Вот только эту кувалду! — отвечал он.

В Москве таможенники кувалду изыали и стали царапать острым предметом, пытаясь выяснить — не золотая ли она.

Потом сделали надпил. Потом выматерились, показали Валико пальцем у виска, мол, того, и отдали.

В Тбилиси бедную кувалду грузинские таможенники, проливая пот, распилили на части.

— Первый раз в жизни видим грузына, везущего железную кувалду! — заявили они злые.

— Первый раз в жизни вижу грузин, пилящих железную кувалду! — ответил злой Валико.

Мой друг Миша Опескин в пору расцвета кооперативного движения сбил с толка хорошего парня

Вадима. Вадим работал костоправом на СТО и имел нормальные деньги.

Миша убедил его, что надо собирать кору от деревьев, пробки от пивных бутылок и битое стекло.

— За этим будущее! — заявил он, — кору у нас будут аж бегом скупать кооперативы, занятые отделкой квартир, пробки станем продавать производителям как вторсырье. Они их станут выправлять и опять закупоривать бутылки. А стекло необходимо мозаичникам.

Бедный Вадим не устоял под тяжестью столь радужных перспектив, бросил работу.

Они расставили по магазинам, у пивнушек специальные ведра для пробок. Натащили в арендованный склад без крыши кучи битого стекла. Днем и ночью собирали кору на всех пилорамах и свозили в склад.

К осени он был забит всем этим добром под завязку. С осенними дождями кора стала гнить, пробки брякали меж собой, а стекло скрежетало, точно плакало.

Миша со свойственной ему энергичностью взялся за другие, еще более утопичные проекты, а бедный Вадим сокрушался:

— Столько коры, столько коры насобирали!

Как-то раз в поезде мне Миша заявил.

— У меня есть идея, но я тебе не расскажу. Ты опять станешь смеяться. А я на ней стану миллионером. Вот увидишь! Я ее японцам продам.

Я был ужасно заинтересован. Стал убеждать Мишу, что не буду смеяться.

— Расскажи!

Миша еще немного поломался, затем с видом волшебника вытащил из кармана коробок спичек и спросил меня:

— Что это?

— Спички!

— Это миллион за мою идею!

Он вынул из коробки одну спичинку, чиркнул, зажег, прикурил сигарету, и потушил.

— Видишь, я прикурил, сгорела лишь треть спички, а я ее выбросил. Надо обливать ее серой с двух сторон. Прикурил, потушил, остаток спички опять в коробку. Тогда экономия леса, а у них в Японии с лесом туго.

Миша замолчал и смотрел на меня испытывающе в ожидании: засмеюсь я или нет.

Мне хотелось ржать на весь вагон, но я дал слово.

— Ну ты замахнулся, Миша! Миллион! Может, тысяч сто долларов дадут... — еле, изо всех сил сдерживаясь, выдавил я.

— Ну хотя бы сто! — вздохнул Миша.

В то время было трудно с платежами через банки, между Россией и Казахстаном. Я отправил в Петербург товар и прилетел туда за деньгами. Денег у людей не было, они предложили мне за расчет — пальто. Да, да! Классные, модные, длинные, кашемировые пальто.

Я одно примерил на себя, сидело как влитое. Тут же поменяло мой имидж.

За расчет мне отчитали семьдесят восемь пальто. Семьдесят девятое было на мне.

Мы с Мишей приехали в офис к крупному, известному бизнесмену-еврею. Он хотел меня ему представить.

В роскошном офисе пахло дорогим парфюмом. В огромном кабинете, по ковровой дорожке, на-

встречу с протянутой рукой шел бизнесмен-еврей. Он был ложенный и изысканный.

— Очень рад познакомиться! — сказал он, пожимая мне руку.

— Это мой лучший друг! — с гордостью произнес Миша.

— Очень, очень рад!

— Он самый крутой бизнесмен в Казахстане!

Еврей принялся еще энергичней трясти руку.

Однако Мише казалось, что он не до конца подчеркнул мой уровень в Казахстане.

— Он здесь приобрел партию товара. Семьдесят восемь пальто, — сказал Миша и тут же переспросил меня, — семьдесят восемь или семьдесят девять?

— Семьдесят девять, — ответил я, сгорая от стыда, чувствуя, что сейчас провалюсь сквозь землю.

— Да, правильно, семьдесят девять, одно же на тебе! — подсчитал Миша.

— Ну, не будем уточнять! — поморщился еврей.

Миша очень боялся своей жены.

Когда я работал над очередным романом, он до-нимал меня:

— Напиши что-нибудь обо мне.

Как раз в те дни я создавал эпизод, в котором мой герой приезжает в Питер, на презентацию банка. Его на перроне встречает сам банкир.

Они, значит, едут на роскошном «роллс-ройсе». Банкир везет моего героя в шикарную сауну.

Там сервирован прекрасный стол. Ну и, как водится в таких случаях, приехали девочки.

Так вот, чтобы мне было легче работать, я придал банкиру точную внешность Миши, описав его подробно, вплоть до волосиков на груди и родимых

пятен. И дал банкиру имя и фамилию Миши — Михаил Борисович Опескин.

Итак! Миша Опескин садит на каждое колено по обнаженной девочке. Они умиляются его волосикам на груди, ну и так далее.

И тут ко мне в номер заявляется Миша.

— Что делаешь? — спрашивает он.

— Работаю над романом.

— Там я есть?

— А как же, — отвечаю я.

— Я возьму рукопись, дома читаю, а завтра принесу.

— Возьми, — соглашаюсь я, без задней мысли.

Он ушел. Я лег спать. Ночью в дверь номера кто-то громко постучал. Я, сонный, открыл дверь. На пороге стоял Миша с глазами навывкате.

— Ты что понаписал?

— Что я понаписал? — удивился я, — ты попросил, я написал.

— Нет, что ты понаписал? Я ведь пришел домой, дал Галке почитать. Смотри, говорю, Марат меня в своей книге описывает. А ты! Когда это я тебя встречал на «роллс-ройсе», вез в сауну и двух голых девок сажал на колени?

В то время я занимался бизнесом, Михаил приехал ко мне погостить. Тут случилась такая история. Стояла июльская жара!

Я привез на хладокомбинат фуру сливочного масла. Был конец рабочего дня и женщина — заведующая морозильником отказывалась принимать. Возникла угроза: масло за ночь могло растаять.

— Рабочий день кончился, — отрезала она.

Я стал ее уговаривать, суля сверхурочные и прочее.

— Все равно грузчики уже ушли, — пыталась она отговориться.

— Мы сами все выгрузим, — не сдавался я.

«Карщика нет» отбивалась заведующая.

— Я «Карщик»! — назвался Миша, чем удивил меня. Оказывается когда-то в молодости он работал на «Каре».

В общем, уговорили мы заведующую и принялись разгружать фуру.

Время шло, стало смеркаться, конца выгрузке еще не было видно.

Женщина — заведующая все чаще, тревожно поглядывала на ручные часы.

— Переживаете, что муж ругать будет, — посочувствовал я.

Женщина глубоко вздохнула и скорбно произнесла:

— Нет у меня мужа, — и, помолчав, добавила:

— Погиб он в Афгане.

Это услышал проезжавший на «Каре» Миша.

— Он что, воевал там?

— Да, — опять горестно всхлипнула заведующая.

Мне стало неловко, оттого что мы берем вопросы ее утихшую боль и, сведя брови, посмотрел на Мишу. Однако тот не унимался!

— А кем он был на войне?

— Летчиком.

— Сбили его?

— Да, — женщина снова всхлипнула.

— Из чего сбили, из стингера?

— Да, откуда я знаю, ну что ты меня мучаешь! — воскликнула она, заламывая руки. Миша понял, что перегнул и поехал прочь.

Вдруг он развернул «Кару» и опять подъехал к ней:

— А почему он не катапультировался?

**КИНОШНЫЕ
И НЕКИНОШНЫЕ
БАЙКИ**

ПРО МАТЧ КОРОЛЯ С ЧЕМПИОНОМ МИРА КОРЧНЫМ

В тот вечер мы пили в офисе у Сапарыча. Там всегда царила творческая обстановка. Там обсуждали старое и новое кино. Потом переходили на политику. Кто-нибудь бежал за бутылкой. Запасы всегда имеют свойство рано заканчиваться. В самый разгар!

Когда все вокруг приобретает яркие краски. Когда, кажется, что сейчас разговор идет о самом главном. Когда ты чувствуешь в себе, что можешь повернуть Земной шарик в обратную сторону.

И когда уже добираются до зачерствелой краюхи.

Каждая свежая бутылка встречается возгласами одобрения! Со стола сметается нехитрая закуска.

В ту ночь за окном валил снег. Промозглая погода загоняла людей в дома. Нас было шесть человек.

Неожиданно в распахнувшуюся дверь вкатился кругленький человек. На его лице блуждала загадочная улыбка Моны Лизы.

— О, Эдик! — вскричали собутельники.

— Как дела?

— Что нового?

— Давно тебя не было, старик!

— Да как-то все времени нет... — принялся слабо отбиваться кругленький человек.

— Наливайте Эдварду...

— Нет, нет, я не пью... вернее, пью, но не могу... сегодня не могу...

— Что случилось?

— Ты заболел?

— Как это так?

- Да у меня... утром матч...
 - Что за матч?
 - Футбольный?
 - Ты что стал играть в футбол?
 - Да нет... шахматный матч...я ведь выиграл чемпионат города...
 - Ну, поздравляем... как раз и обмоем это дело...
 - Да я не могу, ребята...
 - Ты что, старик!
 - Не уважаешь нас?
 - Да уважаю, но у меня матч... с Корчным...
 - С кем, с кем?
 - С Корчным...
 - Это который бывший чемпион мира?
 - Да!
 - Ну... это очень серьезно.
 - Да! Это серьезная причина, старики...
 - Ну, тогда... мы за твою победу выпьем...
 - Давайте за Эдика...
 - Спасибо, ребята...
- Все подняли рюмки и стали чокаяться.
- Давайте за Эдварда...
 - Давайте...
 - Желаем удачи!
 - Спасибо...
 - Так может чуть-чуть...за победу...
 - Давай Эд... мозги станут лучше работать...
 - Конечно, Эд... кровоснабжение улучшится...
 - Да не могу я, ребята...
 - Ну ладно... на нет и суда нет...давайте.
 - За Эда!
 - За победу!

Разговор полился вокруг шахмат. Стали вспоминать Ботвинника.

Все разом оказались знатоками шахмат. Перешли к Алехину. От него плавно к Карпову. Эд вставил про какого-то испанца. Я молчал

и слушал. Я ничего не знал о шахматах. Я, вообще, в них ничего не смыслил. И играть в шахматы я не мог. Вернее, мог, но ни разу не поставил МАТ.

— Давайте за шахматы!
 — Великая игра...
 — За Каспарова!
 — За Эдварда!
 — За Короля... Эдварда!
 — Лучше всего королева...
 — Куда замахнулся...
 — Я имею в виду, что у королевы ходов больше...

— Да, я, вообще, имел в виду Короля Эдварда.
 — А-а-а-а!

Все вновь подняли рюмки.

— Так, может, чуть-чуть?
 — Всего для толчка... Эд?
 — Да чего там... ты выиграешь!
 — Да нет, ребята, ну ...мне же играть!
 — Да всего рюмочку!
 — Ну, только если одну!
 — Конечно, одну, тебе же играть!
 — Налейте Эду.

Эдварду налили полную рюмку. Все оживленно стали чокаться с Королем Эдвардом. Желали ему удачи.

— Сделай его, Эд!
 — Чтобы знал наших!

Разговоры стали плавно сдвигаться в другую плоскость. Напрасно Король пытался вернуть его в русло шахмат. Его никто не слушал. Вновь разлили. Когда очередь дошла до рюмки Короля, он стал отмахиваться.

— Иначе удачи не будет, Эдик, — заявил кто-то.
 — Конечно, раз начал, теперь надо...
 — Без пары не живут татары...
 — Ну, давайте только эту... и все! — реши-

тельно заявил Король Эдвард. Он был серьезно настроен. Я не успел понять: то ли на последнюю рюмку, то ли на матч. Выпили, громко чокаясь.

— С чего думаешь начинать, Эд?

— С какого хода?

— Ну, я думаю начать с сицилианской защиты, а потом перейти в контрнаступление.

— Мощно!

— Ты его сделаешь!

— Наливай!

— Эдварду налей!

— Ну, ребята...

— Бог любит троицу!

— Не иди против бога, Эдвард...

— Да причем тут бог, ребята...?

— Как это причем? Бог захочет, и ты выиграешь!

— Представляешь, какая слава?

— Самого Корчного выиграть!

— Все газеты с ума сойдут!

— Давай, Эд, за тебя!

— За Эдварда!

— Только я последнюю, ребята...

Слова Короля потонули в общем потоке. Все выпили и закурили. Сапарыч сидел молча. Он чем больше пил, тем больше замыкался. Он казался мне мудрым змеем. Внезапно он поднял глаза и произнес:

— Важно сыграть!

Что это значило, я не понял. Однако кивнул головой. Публика решительно поддержала Сапарыча. Стали вновь разливать. В ход шла пятая бутылка!

— Так что, еще раз за победу?

— За нее!

— Ребята, мне же играть! — слабо отбивался Король.

— Мы за тебя пьем, а ты не будешь?

— Так не честно!

— Ну ладно, еще одну и все! — заявил Король.

— Конечно, тебе же играть!

Крякнули, выпили, закурили.

— Вот когда мы снимали «Абая»...

— Да на съемках «Чокана» воды не было в степи...

— Ну, как твоя машина... бегают?

— В Индонезии опять переворот...

— Рокировку будешь применять, Эдвард?

— Давайте за Эдварда выпьем!

— Конечно, у него же утром матч!

Король уже не сопротивлялся. Его несло по течению. Так несет одинокую щепку в стремительном, бурлящем потоке. Его уже тянул к себе засасывающий водоворот всепоглощающей пьянки. Он размахивал руками, напрасно пытаясь притянуть нить разговора к шахматам. Но ситуация была выпущена из-под контроля.

Теперь пили кто за что!

Кто-то за женщин. Кто-то за армию. Кто-то пил за кино. На часах было далеко за полночь. Откупорили еще одну. Затем появилась половинка коньяка. Сапарыч, точно чародей, достал из шкафа недоконченное кем-то виски. Король вытирал пот со лба. Уходить не хотелось. Я еще надеялся выведать что-то важное для себя. Какой-нибудь секрет кино. Когда допивали чье-то недопитое шампанское, Король сказал, что шампанское — напиток королей!

Никто особо не возражал. Всем было все равно. За окном стало сереть. Одинокий воробышек что-то выковыривал из черного снега. Кто-то подал идею расходиться. Все вспомнили про матч и заторопились. Жали напоследок руку королю. Король напоминал моряка на палубе. Его штормило. Он заранее принимал поздравления. Всем щедро улыбался. Будто матч с Корчным был уже выигран.

Весь следующий день я пролежал с больной головой. Позвонил знакомый режиссер. Он искал Короля. Сказал, что у него должен был быть матч с Корчным. Я ответил, что про матч знаю, но результат мне неизвестен. Прошло несколько дней. Я сторал от любопытства. Наконец, удалось созвониться с Королем.

— Ну, как, Эдвард? Как прошел матч? — спросил я.

— Какой матч? — недоуменно удивился Король.

— Как какой? Шахматный матч с Корчным!

— А-а-а-а! Да я же проспал, Маке, матч! — ответил Король. Я положил трубку и подумал: только истинные короли могут проспать матч с бывшим чемпионом мира!



КАК КОРОЛЬ ЭДВАРД ДУШИЛ ДИРЕКТОРА РЫНКА

После шумной презентации «Потерянного рая» расходиться не хотелось, и мы тесной компанией отправились поужинать. Путь наш лежал в уйгурское кафе, где в это время суток можно было отведать жареных мант, лыток, коровью требуху и шикарный лагман.

Тихая ночь покорно приняла нас в свои объятия, — и оттого настроение было приподнятым.

— Смотрите, какая белая луна! — удивился Эдвард Кульбаев, он же Великий Драматург, он же Король Эдвард.

— Что это значит? — спросил я.

— Неприятности могут быть, — многозначительно произнес драматург ради красного словца. Мне о такой примете слышать не доводилось.

— У нас в Мордовии говорят, что белая луна к драке, — чтобы не остаться в накладе, заявил Миша Еделькин, бог компьютерной графики.

Миша, большой и высокий, с доверчивым лицом пятнадцатилетнего юноши. Эдвард, которого мы в шутку зовем Королем Эдвардом, похож на добряка Карлсона с крыши, меня все время норовит заглянуть ему за спину, нет ли там пропеллера. Если доведется, кому-то из вас спросить, отчего его назвали Эдвардом, старый убежденный холостяк с гордостью пояснит вам:

— В честь Эдварда Грига.

Король Эдвард — человек добрый и мягкий, но умный, а, значит, с собственным мнением по всякому вопросу. Он всегда одет в одну и ту же куртку, которую одновременно называет пиджаком и напоминает мне сонного, ленивого, забывчивого Оскара Шалго, венгерского разведчика,

интереснейшего литературного персонажа. В молодости Король выпекал рассказы про дядюшку Ульмеса, и они пеклись, такими же, как сам, добрыми. В них не хватало интриг, крутых драк, потому что Король не любил их, считая выяснениями отношений неандертальцев. Любимыми занятиями Короля были рассуждения про кино, и здесь он находился на своем поле. Еще Король мог покритиковать власть, хапуг-акимов и прочие безобразия. Время, потраченное на хорошую пьянку, Король не считал напрасно утерянным, потому что в доброй пьянке оно течет незаметно и есть возможность всласть порассуждать.

Кроме Короля и Миши, нас сопровождали два профессиональных боксера, а еще напарник Миши, Андрюха, паренек с длинной, как у Марьюшки из сказки, косичкой.

В кафе было пусто. Мы заняли один из длинных столов, мгновенно заставленный вкусностями. Когда в центре возникла покрытая инеем бутылка, на лице Короля расцвела улыбка. Позабыв про белую луну, Король предвкушал добротную пьянку. Даже осторожный Миша, выбросив из души сомнения, с энтузиазмом принялся разливать. Боксеры налегли на еду. Обглоданные кости со стуком падали на поверхность стола. Вначале пили за кино, потом за великих актеров, вспомнили про операторов и уж на шестой рюмке вплотную подошли к художникам. Король взялся пространно размышлять о принципах монтажа, Миша талдычил о графике, боксеры-мухачи про чей-то нокаут, а мы с Андрюхой мусолили образ смазливой актриски.

Никто уже не слушал собеседника, и в комнате стоял гул переплетающихся голосов.

— Да, я вам из одного солдата создам целую армию, — утверждал Миша.

— Ты пойми, Миша, что в параллельном мон-

таже необходимо соблюдать принцип развивающихся событий...

— Эдвард, я могу сделать так, что они будут совершать каждый свое действие...

— В том-то и соль, что зритель одновременно видит события, происходящие в совершенно разных местах.

— Он колымен согыведы, кубинец калпактай кулады! — восхищались мухачи.

— Что он руками машет? — с опаской спросил Андрюха.

— Канат рассказывает про нокаут кубинца.

— А-а-а-а!

— Так у нее, Андрюха, эти штуки вот-т такие!

— Таких не бывает, — усомнился Андрей.

— Ты просто не видел. У вас в Мордовии солнца мало.

— Причем солнце и груди?

— Солнце необходимо.

— Когда идет параллельный монтаж, Миша...

— Ты просто не хочешь признать возможности компьютерной графики...

После второй бутылки незаметно приплыла третья, еще более покрытая инеем. И вот тут, в распахнувшиеся двери в сопровождении дюжих телохранителей вошел дорогой одетый молодой мужчина.

Он сел за соседний стол и безразлично покосился на нашу шумную компанию. Мы продолжали пить. По мере того как она пустела, иней сходил с бутылки. Утерявший бдительность, я прозевал момент, когда мужчина очутился напротив меня. Я стал пространно рассказывать ему о презентации. Вид роскошных часов, обвивавших его хрупкую кисть, отвлекал меня. Мне никак не удавалось сосредоточиться. Однако мы мимолетно уяснили, что мужчина является директором известного рынка. И не заметили, как его покорило, что

должность не произвела на нас впечатления. Король продолжал говорить о параллельном монтаже. Миша перешел на возможности монтажной программы Тарго. Боксеры, тонко чувствующие запах приближающейся драки, насторожились. На всякий случай они сжали кулаки.

— Ты когда-нибудь видел, чтобы были во-т такие? — наседал на чиновника Андрюха.

— Я директор рынка...

— Понятно, но во-т та-ких не бывает!

— Почему не бывает? — директор незаметно для себя втянулся в спор.

— Ну, во-т та-кие еще могут быть, а во-т та-ких не бывает! — уперся Андрей, точно герой-панфиловец под Москвой.

— Я директор рынка...

— И че, на рынке у вас есть во-т с та-кими?

— Ты как разговариваешь с директором рынка?

— Директор, ты ведешь себя, будто ты барин, а мы твои холопы, — выплеснул я.

— Да у меня, таких как вы, больше тысячи человек работает.

— Ты что думаешь, надел дорогие часы и стал человеком?

— А что я не человек?

— Ты торгаш... продавай свою редиску и не морочь голову, — Миша, отбросив графику, тоже переключился на директора.

— Телохранители тебе не помогут, — я подавлял нувориша тяжелым взглядом. Он чувствовал себя кроликом, застывшим перед удавом. Боксеры напряглись. Они тоскливым взором разглядывали мощь тяжеловесов. Последние, в свою очередь, оценивали скоростные качества мухачей. И те, и другие проклинали судьбу!

— Я могу их отправить.

— Отправь, а то они зря страдают... — сказал я.

— Езжайте! — приказал директор. Он пренебрегал нами. А может, решил геройски умереть.

Телохранители, не слишком возражая, поспешно ретировались. Боксеры-мухачи облегченно вздохнули. Они смахнули со лба холодный пот.

— Да ты обречен всю жизнь носить рваные ботинки, — с презрением изрек потерявший осторожность директор.

— Ты ворюга, наживающий деньги мелкими махинациями, а возомнил себя крупным бизнесменом, — парировал Андрюха.

— Давай, выйдем — сказал я.

— С тобой не выйду, — отказался нувориш.

И вот тут возник Король. Он стоял, навесив над столом край живота — точно сама Угроза!

— Ты отнял у меня два часа, — произнес Король, не разжимая зубов.

— Ты кто такой? — директор осмотрел мятую куртку Короля, называемую пиджаком. Она не произвела на него впечатления.

— Я драматург, — изрек Король Эдвард.

— А я директор рынка.

И вот тогда Король произнес слова, от которых я мгновенно протрезвел.

— Ты мне надоел, — сказал он. — Пойдем, я тебя сейчас убивать буду!

— Ты меня? — искренне удивился директор. Вид помятого Короля не внушал ему опасения.

— Я тебя!

— Пойдем! — директор смело поднялся, но его повело в сторону.

Король тоже напоминал космического туриста, шагающего по поверхности Луны. Его жутко штормило. Директор казался рядом с ним маленьким и щуплым. На долю секунды его стало жалко. Но, вспомнив теорию Ницше, я отбросил в сторону ненужную жалость. Ведь жалость — удел слабых людей!

— Тебя сейчас будет убивать не кто попало, а Великий Драматург! — с гордостью произнес я в ожидании благодарности от директора. Будто умереть от рук Великого Драматурга менее страшно, чем от рук кого попало. Будто мы оказывали ему великую честь — принять смерть от сценариста.

Они прошагали в обширный, пустой зал.

— Маке, закройте, пожалуйста, дверь, — бесстрашно попросил Король. Он как всегда был предельно вежлив, но сосредоточен.

— Пожалуйста, закройте, — не желал оставаться в накладе и директор.

— Может, у тебя есть последние пожелания? — спросил я на полном серьезе директора.

— Маке, если что, передайте Рустаму, что недописанный сценарий лежит в рабочем столе, — сказал Король.

— Передам, — заверил я Короля и прикрыл дверь, оставив узкую щель.

Никогда еще так меня не подмывало подсматривать, и я не удержался. Я знал Короля как человека мирного, не злого и уж вовсе не воинственного.

Представшее взору было столь неожиданно, что из груди рванулся клекот немого восхищения.

В глубине полутемного зала стояли напротив друг друга Король и директор рынка. Король захватил руками концы яркого галстука и хладнокровно тянул их на себя. Петля намертво затягивалась на шее директора. Он все выше поднимался на цыпочки, судорожно хватая воздух. Он стоял на кончиках пальцев ног, раскинув руки, и напоминал застывшую в полете балерину. На лице Короля не было ни единой тени жалости. В ту минуту он был похож на Чикатило. Я понял, что директору пришло время прощаться с жизнью.

— Зря он не оставил завещания, — подумал я.

— Ты отнял у меня два часа времени, — прошипел Король сквозь зубы.

— Про-с-ти! — выдавил бедный директор.

Король подумал и немного расслабил петлю.

— Ты знаком с Шекспиром? — спросил Король.

— Нет, — директор замотал головой. Глаза его стремительно мутнели.

— Шекспир — великий драматург, тебе полезно почитать его.

— Я про-что, — пообещал директор.

Король отпустил концы галстука. Я облегченно вздохнул. Директор опустил подошвами на пол. Он схватился приводить себя в порядок. Король отряхнул мятую куртку с видом человека, замаравшего ее об дорожное пальто директора.

— Сколько время? — задал он вопрос.

Директор с готовностью взглянул на свои роковые часы.

— Три часа ночи, — выпалил он.

— Пора ехать по домам, — воспитательным тоном произнес Король Эдвард и направился к выходу.

Он был похож на Макаренко, выполнившего нелегкую воспитательную миссию.

На улице все восхищенным взором глядели на Короля. Мужики с уважением распахнули перед ним дверь авто.

Король посмотрел на ночное небо и произнес:

— Какая белая луна!

— Что это значит? — спяну задал я старый вопрос, забыв, что уже спрашивал.

— Неприятности, — многозначительно произнес Великий Драматург.

— У нас в Мордовии говорят, что белая луна к драке, — заявил Миша, бог компьютерной графики.

— Поехали, Маке! — повелел Король Эдвард. Шумная, пьяная компания уселась в салон. Никто не смеялся. Еще оценивали происшедшее. В салоне царило немое восхищение Королем. Машина, будто кто-то ее стегнул плетью, рванула с места и скрылась в тихой ночи.



РЖАЛИ, СЛОВНО КОНИ

— Одна!
— Ха-ха-ха-ха!
— Две!
— Ха-ха-ха-ха!
— Три!
— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!
— Четыре!
— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!
— Пять!
— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — мы с Андрюхой катались по полу и ржали, словно кони. В шесть часов утра так могут смеяться только люди с пошатнувшейся психикой. Я это осознавал. И все же не мог остановиться. Я умолял Андрюху:

— Прекрати! — но вновь хватался за живот.

— Шесть! Семь! Во-семь! — звучало в ушах отсчитывание сонного, не успевшего протрезветь, Короля.

При счете девять я соскочил с пола, подобно боксеру, готовому драться. И замолчал. Потому что, несмотря на то, что был пьян, вспомнил, как Король выиграл у Сарсена сто ящиков пива. Он теперь систематически посещал пивную Сарсена и бесплатно выдувал пиво. При этом не забывал вести строгий учет.

— Девять бутылок коньяка! — такой счет предъявлял нам Король. В лучшем случае, это четыре тысячи тенгушек. Если отделаться коньяком «Казахстан». А если он потребует молдавский, счет увеличится в разы. Поэтому я прервал истерический смех и умоляющим взглядом заглянул в глаза Андрюхе. Нам удалось продержаться с минуту. Как вдруг нас снова разорвало.

Куранты на часах пробили шесть раз. Это значило, что наступило шесть часов утра.

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — и мы вновь повалились на пол.

— Я надеюсь, — ха-ха-ха-ха! — что тебе будет — ха-ха-ха-ха! — очень комфортно — ха-ха-ха-ха! — ржал я. Рядом ржал Андрюха.

Мы пили всю ночь. Вначале собутыльников было пятеро. Борец Канат не пил. Соблюдая принцип младшего, он честно подливал. Миша в двадцатый раз спрашивал у Короля:

— Все хорошо?

Мы с Андрюхой не заикливались на его вопросах. Возможно, потому что были чрезмерно наивными. В ту ночь нас волновали проблемы мира. От казни Саддама Хусейна до давшего трещину моста через Босфор. Спустя время Рая незаметно испарилась. Мы разливали пятую или шестую. Мужественно, словно это была наша последняя в жизни водка. Будто с утра нам предстояло восходить на плаху. Слово то был не зеленый змей, а сладкий нектар. Уже отваливалась печень, а мы продолжали желать друг другу здоровья. Борец, не выдержав нашего распродажа, уснул на полу соседней комнаты. Рая свернулась калачиком на кушетке другой. А мы продолжали пить с упрямством отрешенных. И все было хорошо. Но неожиданно, точно в рапиде, поднялся Миша и взял Короля за руку. Он повел его мимо стола, не обращая на нас никакого внимания. Точно нас и не существовало! Расстояние от стола до двери они преодолевали столь долго, будто мы их снимали замедленной камерой. На миг мне показалось, что эти двое сошли с картины: «Иисус, шагающий по водам». Настолько они были целеустремленными. И вот тут Миша произнес, нет, не произнес, а изрек:

— Я надеюсь, что тебе будет очень комфортно!

— Надеюсь! — прошептал сонный Король.

Они скрылись за дверьми, будто вышли из кадра. До нас с Андрюхой закадровым текстом доносилось:

— Ой! Здесь кто-то есть!

Там на полу лежал Канат. Мы уже не могли сдерживаться. Причем, не стоваривались. Однако никакая сила не могла бы нас удержать от ржания. Мой воспаленный от чрезмерного питья мозг живо выстроил мизансцену: В темную комнату входят двое. Они настроены на тайное занятие. Их сердца стучат в унисон. Горячие ладони подрагивают в нервном тике. Всезахватывающее чувство уже нельзя остановить. Отчет времени идет на доли секунд. Вот, вот, вот! Как вдруг они обнаруживают, что в комнате они не одни!

Нас с Андрюхой разнесло от смеха по разные стороны комнаты. Мы упали на пол и стали дрыгать ногами. От бессилия Андрюха принялся длинно икать.

— Убейте его! — кричали мы и тут же жалели, — бедный Канат, спит, как младенец. Не подозревая, что над его жизнью нависла смертельная опасность!

Как люди богобоязненные, мы, было, подумали, что они смутятся. Но мы наивно заблуждались. Тайное чувство, похоже, целиком завладело ими. Они сунулись в другую комнату, и чуть было не наступили на Раю.

— Ой! — вскрикнули они хором.

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — Андрюха в спазмах перекатился через меня. Он покатился дальше. Пока не ударился об стену.

— Как они шли, Андрюша! — захлебываясь от смеха, не унимался я. — Точно каппелевцы в психическую атаку. Взявшись за руки!

— Будто дети, идущие играть в песочницу! — восхищался Андрей.

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Высокий Миша с лицом девственника и Эдвард, похожий на добряка Карлсона, — ржал я.

— С лицом старого развратника, — добавлял перца Андрюха.

— Но инициатор-то Миша! — возражал я, — помнишь, как весь вечер он заботился об Эдварде: «Все хорошо? Все хорошо?».

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Эд его провоцировал, а наш юноша не выдержал такого глубокого подвоха, — умирал Андрюха.

— Когда Миша произнес «я надеюсь, тебе будет очень комфортно», он, вероятно, забыл о нашем существовании! — не в силах больше смеяться я бился головой об спинку дивана. Внутренности тянула невероятная боль. Словно их распоролло осколком шальной мины. Их буквально разрывало. Казалось, что вот-вот они не выдержат и лопнут.

— Он был ослеплен чувством! — гоготал Андрей и пел «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой...».

— «Словами нежными он будто окрылен» — подпевал я.

— «Горбун отверженный с проклятьем на челе, я никогда не буду, счастлив на земле... Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» — Андрюху колотило в припадке.

«и после смерти мне не обрести покой, ха-ха-ха-ха! ха-ха-ха-ха! я душу дьяволу ха-ха-ха отдам-м-м, за ночь-ь-ь с тобой! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» — я уже не смеялся, а рыдал.

— Одна! Две! — раздавалось, словно набат. Так считает упавшему арбитр на ринге. Он считает до девяти. После этого лежащий должен подняться. Иначе он выкрикнет:

— АУТ!

Мне слышалось: — Раз! Два! Три! Че-тыре! П-п-пять! Ш-ш-шесть! С-с-семь! В-в-во-семь!

При счете девять меня подбросило вверх. Я заткнулся. Я вспомнил бедного Сарсена.

КАК КОРОЛЬ ЗАЩИЩАЛ СЦЕНАРНУЮ ЗАЯВКУ

— Переходим к обсуждению сценарной заявки Эдварда Кульбаева, — произнесла заведующая сценарным отделом.

Король Эдвард напрягся. С похмелья жутко болела голова. Она буквально раскалывалась на части.

— Заявка состоит из трех частей, — выпалила секретарь редколлегии и уселась на стул. Она огляделась по сторонам с видом человека, внесшего существенную поправку. Секретарь коснулась пальчиком спадающего локона и чему-то улыбнулась. Вне сомнения, она чувствовала себя важной птицей. Без нее собравшиеся персоны могли не знать количество частей в заявке. Половина зарплаты уже отработано.

Во рту было так сухо, что Король, собрав силу воли, слотнул вязкую слюну.

— Дали мы вчера, — тоскливо подумал он, — вначале все шло хорошо, пока не присоединился компьютерный бог, Миша. Молодые, а как пьют! — позавидовал Эдвард.

— Заявка Кульбаева написана для Сарсена. Сарсен много лет работает на студии вторым режиссером.

— Позвольте ремарку, — Король поднял вверх руку.

— Слушаем вас, — завсцен удивленно вскинула брови.

— Мы обсуждаем заявку, причем факт, кем работает Сарсен?

— Как это причем? — завсцен задохнулась от возмущения.

— Предлагаю говорить по существу, — выдохнул Король. В это время его голова снова дала о себе знать. Сбоку его толкнул локтем Сарсен.

— Не задирайся, — умоляющим тоном прошептал он. Сарсена легко было понять. Он столько лет отдал студии и ни одной постановки.

Последний год он чувствовал в себе композиции Тарковского.

— Я не задираюсь, — Король сжал распадающиеся части черепа двумя руками. События вчерашнего дня стали расплывчато проступать. Так в проявителе медленно выступает изображение на фотобумаге.

Пить они начали в мастерской Рустама.

«Но как же все началось? Когда вошли мы с Сарсеном, там сидели Рустам, Маке и Гена. Потом Гена ушел, сославшись на дела. А-а-а! — вспомнил Король, — Рустам сказал, что у него прошел день рождения, а Маке зацепился за эти слова. Он кого-то послал за вином. Пока человек нес, мы пили початую бутылку. Затем Маке позвал Байкала, затем он вызвонил Большого Даулета, дальше пришла Рая. Это мы уже довершали вторую бутылку. Еще все было хорошо! Появился декоратор Доттер. Маке обрадовался ему, словно увидел родственника, — Король Эдвард усмехнулся поведению Маке и стал вслушиваться в речь говорившего.

Говорил безликий человек, с трезвым лицом и грустными глазами.

— Такой не скажет ничего доброго, — подумал Король, — «потому что не пьет», — он вспомнил, что трезвенник когда-то давно снял короткометражку. Большого из послужного списка трезвенника Королю на ум не приходило.

Трезвенник рассасывал слова, точно получал от этого удовольствие. Можно было вообразить, что во рту у него тает щербет.

— По своей форме заявка не раскрывает всех событий, предшествующих сценарию...

«Господи! Что он несет? Как могут события

предшествовать сценарию?» — подумал Король, и захотел было возмутиться, однако вспомнил про Сарсена. Сарсен еще не осознавал надвигающуюся угрозу, идущую от трезвенника, и продолжал гладить бородавку.

В голове Короля раздался шум, напоминающий прилив морской волны. Он подпер ее ладонями.

— Когда смеялись над Доттером, кажется, пили уже четвертую. А чего смеялись? А-а-а! Вспоминали, как на съемках Голгофы, Доттер умудрился нализаться. Группа жила в ауле, где спиртное купить было негде. Но не для изобретательного Сереги. Вот тут вроде появились Миша с Андреем, — сознание Короля ненадолго прояснилось. — А чего они хохотали? Маке стал рассказывать, как я душил директора. Разве я мог допустить такое? Может, они это придумали?

В эту минуту поднялась завсцен. Лицо ее было наполнено решимости, точно перед последним боем.

Король был умным драматургом. И, глядя на этот концерт, его так и подмывало сказать:

— Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! — ему хотелось вскричать словами Высоцкого — «бросайте свои опыты, гидрид и ангидрид, езжайте на Тамбовщину...», — дальнейшие слова Король позабыл. Он и не заметил, что произнес их вслух.

— Что? — спросила удивленно завсценотделом.

— Небось, картошечку все вы уважаете, когда с салычем ее намять... — пробормотал Эдвард.

Сарсен обеспокоенно покосился на Короля.

— Так вот, я считаю, что заявка однобокая, у нее нет исторических корней....

— Так она на современную тему, — возмутился Король.

— Неважно, исторические корни обязаны быть, — отрезала строгая завсцен.

— Эдик! — Сарсен вновь толкнул в бок Короля. Он недоумевал над его политической близорукостью. Ведь надо молчать, в крайнем случае, сказать:

— Виноваты, исправимся!

Но Король спросил:

— Почему?

На его счастье этого никто уже не слышал. Потому что любовались поднявшимся с места замом Казахфильма — Альпиевым. Альпиев завоевал на студии репутацию человека неплохого. На студии все люди делились на хороших и неплохих. Плохих — не было, киношники терпимы ко всем.

Король внимательно наблюдал, как поднимался зам. Ему показалось, что последний нарочно со скрежетом двигает стул.

— Так бывает, когда хотят дать бой. Только вот кому? — задумался Эдвард.

— Сценарная заявка в самом деле плоская, но ее мо-о-ж-но было бы выгнуть и сделать объемной... н-но для чего?

Бывает, что судья должен вынести приговор:

— Повесить! Но ему не хочется запомниться безжалостным тираном. И тогда он рассуждает:

— Можно бы веревку мылом намазать... н-но зачем?

— Вот мое мнение, — произнес зам и опустился с чувством выполненного долга. Перед тем как сесть, он для чего-то взглянул на первого зама, Жубандыкова. Жубандыков по праву снискал себе славу талантливого продюсера. Иначе бы ему не доверили «Кочевников». А раз так, то значит ему и слово. Король Эдвард чувствовал, что оно станет последним для его заявки. На мгновение ему стало тоскливо.

— Если бы вчера не пили, можно было поспорить с ними... а так, с большой головой воевать! — протащилась унылая мысль.

— Сценарная заявка мне не нравится, потому что в России уже таких фильмов наснимали сколько угодно.

— Причем здесь Россия, мы живем в Казахстане, — хотел возразить Король, но стоило ему напрячься, как его тут же затошнило.

— Но мы живем в Казахстане, причем здесь Россия? — спросил Сарсен. Он только теперь стал догадываться о стоворе замов и завоов.

— У нас культура одинаковая, — отрезал первый зам. Присутствовавшие стали с шумом подниматься и покидать заседание редколлегии.

«Присутствовавшие стали с шумом подниматься и покидать «сходняк», — я бы написал так», — протащилась скрипящей телегой запоздавшая мысль в усталом черепе Короля. И уже совсем запоздало: «А правда что это вчера Маке и Андрей хохотали, точно сумасшедшие?».

Вечером того дня я позвонил Эдварду и спросил, как прошло заседание редколлегии.

— Зарезали, — ответил Король.

— Кого зарезали?

— Заявку. Собственно Маке я не расстраиваюсь, у меня ее в Москве с удовольствием покупают. А там она стоит дороже.

Король, он и в Африке король! Потому что никогда не унывает.



КАК В ШЕСТЬ УТРА Я ОТКРЫЛ СРАЗУ ДВУХ ГЕНИЕВ

Мы сидели на монтаже. Монтировали «Голгофу». Король всякий раз делал ценные замечания. С ним вообще было интересно монтировать. Он ходил следом за мной и канючил:

— Ну, Make, сами посудите, что это за кадр!

— Хороший кадр, — отвечал я.

— Что в нем хорошего? Вы посмотрите, как там выставлен свет.

— Свет неважный, но кадр нужный.

— Для чего?

— Это цепь общей драматургии...

— Да какой драматургии...?

— Эдвард, оставь, пожалуйста, этот кадр в покое.

Король помнил всякий кадр из десяти часов материала. Он обладал скрупулезным, аналитическим умом. С его слов, он считался лучшим учеником на своем курсе. Он и действительно был умен. И талантлив. Но ленив. Так бывает. То, что не позволено смертному, разрешено Королям. Он говорил:

— Make, давайте вставим кадр, где Единственный плачет.

И я с удовольствием соглашался. Работа наша спорилась, и мы не замечали времени. Так шел день за днем. Эпизоды клеились, как неожиданно приходили новые идеи. Тогда все начиналось заново. И становилось другое кино. Но в тот вечер мы застряли надолго. Оторваться не было сил. Впереди разворачивалась гражданская война. Я чувствовал, как начинаю закипать. Потому что очень переживал за героя. А его вело по горячим дорогам и кинуло в сабельную рубку. Герой зарубил беременную женщину. В пылу боя. Охва-

ченный идеологией большевизма. Мол, революция все спишет. Глаза Короля ярко поблескивали. Так происходило с ним, когда он зажигался.

Сапарыч молча висел в инете. Казалось, что его и вовсе нет в монтажной. За перегородкой незнакомый режиссер монтировал клип. Наконец, в два часа ночи монтажер откинулся в кресле. Он потер воспаленные глаза и предложил выпить чая. Мы проследовали на кухню. На столе красовалась покрытая инеем водка. Король отвел взгляд. Но бутылка привораживала. Король тихо посоветовался:

— Маке, а может по чуть-чуть!

— Давай, а то с ума сойдем от такого темпа.

— Надо пригласить Сапарыча.

Вскоре за столом образовалась компания. Лиха беда начало! Бутылка опустела в мгновение ока. Открыли вторую. Выпили, закусили. В ход пошла третья. Разговоры набирали оборот. Становилось все интересней. Я предложил Королю сварить пельмени. Он полез в холодильник Сапарыча. В это время вошел Сапарыч. Король напоминал воришку, пойманного за руку. Сапарыч нависал над ним, как гора. Вместе они напоминали Пата и Паташонка. Сапарыч сверху спросил:

— Что ищешь?

Король съежился и укорительно взглянул на меня.

— Мы с Маке решили отварить пельмени... Ты не возражаешь? — спросил он. Язык уже заплетался.

— Хорошая идея, — ответил Сапарыч, — давно надо было.

Я победителем посмотрел на Короля. Пока они варились, подняли еще по одной. Потом выпили с пельменями. Потом без пельменей. Их уже не было. Потом я не заметил, как остался на кухне один. Я стал скучать. Сапарыч показывал Королю

что-то в монтаже. До меня доносились их пьяные голоса. Вдруг вошел незнакомый режиссер. Он сел напротив меня и закурил. И стал говорить о принципах использования широкоугольной оптики. Я в ответ мычал нечленораздельное. Его это обидело. Режиссер с трудом поднялся и заявил, что он гений! Я искренне поздравил его. Он обиделся еще сильнее.

— Я гений! А ты так со мной разговаривал!

— Как? — спросил я.

— Неуважительно.

— Я же еще не знал, что ты гений, — нашел я оправдание.

— А-а-а-а, тогда я тебя прощаю, — он оказался великодушен. Когда он вышел, я облегченно вздохнул. Не хватало под утро скандала. В это время добрые люди спят. На кухню, качаясь из стороны в сторону, вошел Король Эдвард. Я обрадовался. На дне бутылки из-под вина оставалось немного бурой жидкости. Выпить одному мне не позволяла совесть.

— Что вы там застряли? — ляпнул я и тут же пожалел. Король вскинул голову, и глаза его гневно сверкнули.

— Маке, — произнес он, — как вы со мной разговариваете?

— Как? — спросил я тупо.

— Неуважительно. Ведь вы даже не подозреваете, с кем говорите.

— С тобой.

— А я кто в ваших глазах?

— Эдвард. Мы вместе монтируем.

— Вы разговариваете с гением! — заявил он.

— А-а-а-а! — промычал я. — Но я же не знал.

— Так вот, теперь знаете...

— Хорошо, — прошептал я и выплеснул остатки вина себе в бокал.

Гениям не к лицу допивать чьи-то остатки!

Когда я махом выпил, Король сожалеющим взором поглядел на пустой фужер. А я не жалел ни о чем. Ни о пролетевшей ночи. Ни о разбухшей печени. За окном завораживающе щелкали соловьи.

О чем можно жалеть, если за одну пьянку я открыл сразу двух гениев?



СНЯТОЕ КИНО

С Королем Эдом мы пьем не часто. Но случается! Пить с Королем интересно. Вернее, интересно наблюдать за его капризами. Человек он изнеженный, избалованный. А может быть, он просто гурман. Хотя, казалось бы, чего ему привередничать, при его-то холостяцком положении? Однако прежде чем выбрать блюдо, Король Эд засыпает официанта вопросами. Наконец, успокаивается и останавливается, как правило, на самом примитивном. И это радует! Особенно если в кармане не густо. Но вот к выбору крепких напитков он подходит со всей щепетильностью. Можно даже сказать принципиальностью.

— Коньяк? Да нет, коньяк, наверно, не надо, Маке! От него утром башка будет раскалываться! Может, лучше водки?

— Водки? Ну, хорошо, давай водки, — соглашаюсь я.

— Какая у вас есть водка? — спрашивает Король у официанта.

— «Ржаная».

— Не-е-ет! «Ржаной» не надо! Маке, мы пили «Ржаную», утром так болела голова. А еще какая есть?

— «Хлебная слеза».

— «Хлебная слеза»? Как вы считаете, Маке?

— Нормальная водка.

— Да нет, Маке, не стоит. Такая же дрянь, что и «Ржаная».

— Может быть, вам «Путинку» принести?

Тут уже в «перестрелку» вступаю я:

— Нет, что ты, «Путинку» ни в коем случае. А «Пугачевская» есть?

— А что это за водка, Маке? Я такую не пробовал, — оживает Король.

— Хорошая, нормально пьется.

— Ну, если вы так считаете. Нет, я вполне доверяю, так сказать, вашему выбору, Маке.

И, наконец, мы вплотную приближаемся к самому важному вопросу! Риторическому!

— А сколько возьмем, Маке?

— Завтра же надо работать над сценарием, так что предлагаю по чуть-чуть.

— Хорошо! Нет, я поддерживаю вас! Завтра надо закончить линию главного героя!

Официант нервно перетаптывается. Точно ипподромный конь в ожидании старта.

— Вы решили? — спрашивает он.

— Так сколько, Маке?

— Предлагаю двести.

— Вы имеете ввиду двести граммов? — уточняет Король.

— Да.

— А, может, триста? А-то двести ни туда — ни сюда!

— Ну, давай триста, — легко соглашаюсь я.

— Принесите нам триста граммов «Пугачевской».

Официант уходит. Мы облегченно вздыхаем. Консенсус достигнут!

Триста проваливаются в нас, словно в пустой, гулкий колодезь. Мы вопросительно смотрим друг на друга. Помня об уговоре, что завтра нам заканчивать героя.

Наконец, Король решается.

— Маке, а может, еще триста?

— Тогда давай уже бутылку, чего официанта гонять!

— Ну, хорошо, давайте бутылку, — вздыхает Король, с видом человека, решившего взвалить на себя тяжкий-тяжкий крест!

Мы начинаем обсуждать сценарий. К моменту, когда бутылка начинает предательски пустеть,

мы убеждены, что сценарий потрясающе талантлив.

Но вот, наконец, она порожняя! Достоинства сценария возрастают до шедевра!

— Маке, по этому поводу я предлагаю еще триста! — торжественно произносит Король Эд.

От радости заказываем еще триста!

— Принесите еще триста! — объявляю я официанту.

После этих трехсот, предметы на столе приобретают странные очертания: они раздваиваются и расплываются. Передо мной возникают два официанта, как две капли воды, похожих друг на друга.

— Вы что, двойняшки? — чуть было не спрашиваю я. Король Эд напоминает астронавта, плывущего в невесомости. Движения его словно в рапиде — плавны и величавы.

— Маке, — произносит он, растягивая слова, — даже не сомневайтесь, сценарий супер!

Нас обоих переполняет чувство, будто отснятое кино уже лежит у нас в кармане!



ТРИДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ДОЛЛАРОВ

Близилась юбилейная дата со дня вывода войск из Афганистана.

Я предложил Королю Эду совместно написать сценарий. Он долго не соглашался. Но я пообещал ему тридцать тысяч. Эта цифра подействовала магически. Чаша весов склонилась в пользу партнерства. Однако он принялся выяснять о происхождении размера цифры.

— Такова ставка в России. Причем я беру по самой высокой планке.

Король задумался. Я словно невзначай продолжал додавливать.

— Мы начнем в самое время. Подадим сценарий за год до юбилея. Год на съемки.

— Make, — все еще сомневался Король, — почему все же тридцать тысяч?

— Я же говорю, это российская ставка. У нас, как ты знаешь, гораздо ниже.

— Ну, хорошо, только пусть будет не тридцать, а тридцать одна тысяча.

Теперь уже удивляюсь я!

— А почему именно тридцать одна?

— Понимаете, Make? Я посчитал свои расходы. В общем, мне нужна тридцать одна тысяча. И вообще, тридцать какая-то цифра, ни туда — ни сюда! — привел Король свои аргументы.

Я пожал плечами. Нет, я не возражал! Распиливание несуществующего бюджета — дело, в общем, нехитрое! Он еще даже не брезжил в далекой перспективе. Даже в туманной! Поэтому я легко согласился. Тут несложно казаться великодушным.

Но в душе все-таки не мог успокоиться. Что за загадка кроется в тысяче? — гадал я.

Сценарий мы написали. Ругались, пили, спорили до хрипа, но написали.

И он успешно завис.

Прошел юбилей со дня вывода советских войск.

Афган растворился в тумане, точно Альбион.

Приближался другой юбилей, со дня Победы над Германией!

Я предложил Королю сделать совместно сценарий. Нарисовал тему. Тема понравилась. Но он снова уперся.

Я опять озвучил тридцать тысяч. Эта цифра вновь заработала. Чаша весов стала склоняться. Но Король и тут задумался над цифрой.

— Столько платят в России за хороший сценарий, — убеждал я. — Заявимся за год до юбилея. За год снимем!

— Маке, тогда не тридцать, а тридцать одну, — с упорством обреченного заладил Король Эдвард.

— Не вижу проблем! Тридцать одну так тридцать одну.

Подписали контракт. Согласно ему, я плачу тридцать одну тысячу. За соавторство.

Три месяца пролетели, как день. Сценарий был покорен. Мы испытывали удовлетворение, точно взяли рейхстаг. Он Егоров, а я Кантария!

Но тут разразился мировой кризис. Сценарий завис.

Юбилейная дата прошла.

С трудом оправившись, я сказал:

— Надо написать локальную историю. Московскую.

И красочно описал историю вора-домушника, который каждое утро везет дочурку на метро в Гнесинку, а оттуда едет на «работу», воровать!

Король загорелся.

— Маке, а сколько вы заплатите? — спросил он.

— Тридцать тысяч, — с готовностью ответил я.

— А почему именно тридцать, Маке? Каждый раз вы называете одну и ту же цифру. Уже третий сценарий и все по одной ставке! Вы бы хоть для приличия добавили, — возмутился Король Эдвард.

— Ну, ладно, я согласен, давай за тридцать одну тысячу, — предложил я компромисс.

— Ну, это другое дело! — обрадовался Король, — а-то заладили, тридцать, тридцать! Ни туда — ни сюда! Тридцать одна тысяча, это уже звучит! За эти деньги я готов работать!



ЗНАЧКИ

Мама Короля Эда получает пенсию десять тысяч тенге. Так мне сказал Король, когда мы обсуждали проблему достойной старости.

— А сколько она платит за квартиру? — спросил я.

— Десять тысяч, вместе с коммунальными расходами, — уточнил Король.

— А на что она живет?

— Подрабатывает, — невозмутимо ответил Эд.

— Где?

— Она значки продает.

— Что за значки?

— Обыкновенные значки.

— Где же она их берет?

— Маке, моя мама продает значки, которые я коллекционировал в детстве.

— И сколько же стоят эти значки, каков порядок цен?

— По-разному. Есть по тысяче тенге, есть по две тысячи, а есть редкие — по пятнадцать тысяч!

— И сколько ты их сколекционировал в детстве? — не унимался я, дотошно выпытывая.

— Было около сорока тысяч штук.

Я принялся в уме за умножение. Цифры выкатывались со многими нулями. Пришлось брать калькулятор.

Сорок тысяч значков, помноженные на одну тысячу тенге, выдавали сорок миллионов тенге. Я был сражен. Мой мозг отказывался верить.

Ведь если поделить эту цифру на десять тысяч, а именно таков был размер пенсии мамы Короля, то получалось — четыре тысячи пенсий!

Четыре тысячи пенсий я разделил на двенадцать месяцев в году и получил:

— Мама, не горюй!

Я получил триста тридцать три года. Это значило, что, продавая значки Короля Эда, его мама была обеспечена на триста тридцать три года, при условии, что она в месяц тратит также по десять тысяч тенге.

У меня на голове зашевелились волосы, а во рту пересохло.

Я понял, что свое детство я профукал понапрасну. Вместо того чтобы собирать значки, я запоем читал Дюма, Лондона, Майн Рида, Киплинга.

Какой тут к черту накопительный пенсионный фонд?

Чтобы обеспечить достойную старость, надо было в детстве и юношестве собирать значки!

Но, кто же знал?



ПЬЯНЫЙ РАЗГОВОР

Съемки проходили в одной из зон. Зэки были счастливы. Мы были разнообразием в их обрывчатой жизни. Мы казались им инопланетянами с квадратными головами. Мы виделись им сумасшедшими фанатами, снимавшими их безрадостный быт. Они мгновенно возгордились. Стали мнительными. Стали амбициозными. Значит, не зря они страдают. Не зря сидят. Коль про них снимают кино. Если вначале они охотно соглашались сниматься, то теперь стали требовать за это чай.

Но нам было присуще сострадание. Мы с готовностью провозили им чай и курево. Съемки проходили в штрафном изоляторе. Здесь мне случайно довелось услышать памятный разговор. Пока мы снимали в прогулочном дворике, ассистент оператора напился с зэком.

Они сидели на железных нарах и мирно беседовали.

Оба были пьяными в стельку.

Киношник выглядел сытым и довольным.

А зэк изможденным и усталым.

До моего слуха донеслись отдельные реплики. Именно они и привлекли внимание.

— Теплого света маловато... в основном, холодный...

— В восьмерке сидел, вообще света не было... кандей ледяной...

— Я-то из студии не вылажу, — посетовал ассистент.

— Да и я все время в трюме... меня как киллера держат.

— «Киллера» снимать не доводилось, все больше по мелочи, — признался киношник, — а так все время камера, камера...

— Про камеру талыкаешь. Я сам уже столько лет в камере, — посетовал пьяный зэк. — Я киллер со стажем...

— Ну, у меня стажа больше твоего.

Зэк с уважением поглядел на киношника.

— А я за тебя не слышал. Хотя я в последнее время на этапах был...

— Пока ты по этапам ездил, я все время снимал...

— А ты чем снимаешь? — язык каторжника заплетался, точно во рту была горячая картошка.

— Арифлексом?

— А у меня семь шестьдесят два была «плетка»...

— Австрийская что ли пленка?

— Да не, родная, русская ...

— А я, в основном, тридцатипятимиллиметровой...

— А тридцатипятимиллиметровка с оптикой?

— У меня к ней целый комплект оптики был. Лучшей была широкоугольная...

— Чем она мазевая? — икнул арестант.

— Крупный план хорошо рисует ...

— Да, с такой не промахнешься! — киллер цокнул языком от восхищения. — Так ты такие заказы выполнял, а здесь че? — этот вопрос не давал покоя арестанту.

— Здесь я случайно. Попросили снять в вашей зоне... А так, у меня другая бригада.

— Кого заказали-то?

— Тут целая серия будет исполнена, — киношник с придыханием махнул содержимое кружки.

— Тихо! — зэк прижал палец к губам.

— Да не бойся ты, все шито-крыто, — киношник подумал, что киллер боится попасться за пьянку.

— «Положенца» что ли?

— Я сам пока не знаю. Продюсер всегда в самый последний момент объявляет...

— Ты не боишься об этом мне говорить?

— Если надо будет, мы и тебя тоже снимем!

— Ты че, братан, я-то не при делах...

— Что? Забоялся?

— Да век воли не видать! Зачем мне ваши секреты. Мне освободиться нужно. Дочка у меня растет.

Зэк-киллер захлопал глазами и заторопился. Видно было, что хмель вылетел у него из головы.

— Подожди, давай еще накатим, — не отпустил киношник. Он стал закатывать рукава. Локоть его был вымазан кровью. Киношной кровью. У зэка глаза вылезли из орбит.

— Да нет, братан. У тебя свои дела, у меня свои. Я, короче, ничего не слышал, делов не знаю. Мне освобождаться надо!

Он уже выходил из камеры, как наткнулся на меня. Зэк отпрянул в сторону.

— Ни фиги себе! — вырвалось у него, — по локоть в крови...!

Что он подумал в ту секунду? Для меня это осталось загадкой. Ассистент, завидев меня, тоже протрезвел. Он посмотрел на испачканные руки и небрежно пробормотал:

— Гримировать помогал ...



КАК МАКС УРОНИЛ С КРЫШИ МИШУ

Всякий, кто соприкасался с кино, знает Макса Смагулова. Кто не знает Макса, тот не знает кино. Макс — великий кинодеятель. Он похож на Карла Маркса. Такая же белая нечесанная борода. Такой же фанат. Идеи Макса столь же безумны, как «Капитал» Маркса. Они не для простых смертных. Потому что мы состоим из комплексов. В нас преобладают страхи. А Макс по природе бесстрашен. Он азартный игрок. А, как известно, кто не играет, тот не выигрывает. Вот один из ярких примеров. Макс крупно проигрался. Он задолжал многим людям.

За ним велась круглосуточная слежка. Так, в свое время не следили даже за Лениным. С него не спускали глаз. Две машины, меняя друг друга, ездили по пятам. У кого-нибудь не выдержали бы нервы. Но не у Макса. Потому что он не обращал внимания на мелочи. Он был выше тревожных будней.

В один из дней Макс все же призвал на помощь.

— Ты подъедь ко мне, — сказал он.

— Что случилось?

— Приехали бандиты.

— Где они?

— Сидят в кабинете.

— Что они хотят?

— Денег.

— Ты им должен?

— Не им... я в карты проиграл... эти требуют...

— Сейчас приеду, — я положил трубку.

В кабинете Макса сидели вальяжные молодые люди.

Челюсти всех пятерых были квадратными. Зрачки глубоко утоплены в глазницы. Жалости в них не прочитывалось. Я понял, что Максу будет плохо. Однако я ошибался. Завидев меня, он сразу атаковал.

— Скажи им, пусть не мешают работать!

Я перевел взгляд на питекантропов.

— Он должен нам деньги.

— Макс, ты признаешь долг? — спросил я.

— Конечно, — заявил Макс.

— Видите, он не отрицает. Но ему надо работать. Не мешайте, покиньте кабинет.

Питекантропы почесали затылок.

— Мы с тебя глаз не оторвем, — пообещали они Макс.

Когда они ушли, Макс спросил:

— Как дела?

— Да вот, деньги ищу на картину...

— Подожди, — вымолвил он, — деньги скоро будут.

Надо заметить, однажды Макс разом запустил двадцать картин. Такое по плечу только титанам.

— Ну, я тогда начну снимать. У меня же девять серий.

— Начинай. Пока ты одну снимешь, я подгоню.

С этим я и начал. Я был наивен, как девственница, которой пообещали потом жениться.

Которой пообещали счастья, до самого горизонта!

Я снял одну серию и доложил Макс.

— Замечательно. Давай еще одну, как раз деньги подойдут.

Я снял еще одну. Макс сказал:

— Замечательно. Можешь пока еще одну снять, деньги на подходе.

Я снял сразу две серии. Макс обиделся и произнес:

— Не торопись. А-то банк денег не даст. По одной снимай.

Деваться было некуда, я снял еще одну. Когда стал докладывать Макс, он долго расчесывал бороду. Она напоминала гриву безумного льва.

Его подготовка к вступлению не сулила добра.

В кабинете стояла тишина, было слышно пролетевшую муху.

— Денег не будет! — глухо произнес он. — Но ты не отчаивайся! Всего-то осталось еще четыре снять!

Макс был великодушен. Я вежливо поблагодарил его. А себя десятикратно выругал.

«Надо же, поверить Макс!».

Но каждая клеточка во мне кричала:

— Нельзя жить без веры.

Позже я понял главное. Макс наделил меня верой! Без него я бы никогда не снял предыдущих пять серий.

В другой раз мы с Максом встретились в Москве. Он пришел в номер со старой потертой сумкой. В номере были — режиссер Мансуров и я. Оба находились в состоянии нокдауна. Это когда еще движешься, но вокруг уже прострация! Потому что выпито было — неприлично много. Но мы не могли остановиться. Нас несло, как ком с горы. Мы преодолели стадию потепления в животе. Затем перемахнули рубеж повеселения. Голос Мансурова становился похожим на голос Левитана. И в этот миг вошел Макс!

Мы здорово обрадовались. Пить вдвоем уже было неинтересно. Налили Макс. Он выпил и стал говорить. Из ста произнесенных слов с трудом удалось разобрать десяток. Великие люди не обращают внимания на мелочи. Им не важен собеседник. Он, вообще, его не интересуется. Такие, как Макс, в одном человеке не видят аудиторию. Им необходим масштаб. Толпы внимающих!

Тогда они держат речь! Провозглашают!

Он сказал, что сегодняшняя поэзия — дерьмо! Что поэты продались жидам. Что они не оценивают великую Степь! Что оттуда явилась культура — Миру!

Макс распахнул сумку. Мы внимательно наблюдали. Из нее полетели предметы нижнего белья. Протертые до дыр носки. Футболки — не помнящие утюга. Скользкие обмылки и скомканные носовые платки. Мансуров сидел оторопевший. Он не был готов к такому натиску. К такой ярости!

Наконец, со дна сумки Макс достал скомканную салфетку. На ней были следы жирных пятен. Макс принялся разворачивать ее. Мы терпеливо ожидали. Мы застыли, точно каменные балбалы. Наши сердца замерли!

Я чувствовал, как замедляется бег крови. Хотелось чихнуть, но я не мог осмелиться. Салфетка вдоль и поперек была испещрена почерком, похожим на иероглифы. Он принялся декламировать нам стихи.

Но прежде заявил, что ВЕЛИЧИЕ их — нет!

Седая борода на подбородке тряслась в унисон рифмам. Копна волос на голове разметалась. Казалось, что вот-вот они встанут дыбом!

Руки Макса летали, точно молнии. До меня дошли слова: табуны и батыры.

Еще я уловил слово: ветер. Я весь превратился в сплошной слух. Я ловил малейшие оттенки его тембра. Благодаря усилиям распознал слова: доспехи и копыя. Мансуров долил себе водки. Руки его подрагивали. Посторонний мог подумать, что он сражен мощью стихов. Однако с похмелья он еще не выбрал норму. Серые глаза Макса увлажнились. Искренне растрогался. Он закончил читать и сел. Салфетку он снова смял и закинул в сумку. Я налил ему полный стакан. Макс выпил и прохрипел:

— Вот так надо писать!

Мансуров не возражал. А я пожал Максу руку.

Я вспомнил чей-то рассказ: Макс мог погрузиться в поэзию посреди улицы. Тогда все машины объезжали его. На сигналы он не обращал внимания. Он соприкасался с Великим!

Так, однажды он уронил с крыши Мишу.

Миша — это младший брат Макса. Миша — любимчик студии. На голове у него шишка. Говорили, что это из-за полигона. Что он дитя ядерного Семея. Я же считал, что в ней у Миши дополнительный ум. Но бухгалтер Гуля раскрыла тайну:

— Когда Миша был крошкой, Макс декламировал стихи, стоя на краю крыши. В это время на руках у него был Миша. В момент кульминации Макс взмахнул руками. Миша же, согласно закону земного притяжения, полетел вниз.

Макс очень любил брата. Но позабыл про него. Такова температура Поэзии!

Он и сам мог шагнуть с крыши. Но судьба убежала их обоих. Для казахского кино!



КАК МИША ПОДРУЖИЛСЯ С КОРОЛЕМ

Мой друг Миша давно стал лысеть. Приговаривал, что это из-за избытка ума. В этом ему не отказать. Но он всегда при встречах глядел с сочувствием. На меня!

— Лысеешь? — вздыхал Миша.

— Да! — отвечал я. Не уточняя факта, что сам он был гораздо более...

Мы стояли с ним на Дворцовой площади. Ветер с Невы разметал волосы. Миша бросил на меня синий взгляд.

— Лысеешь!

Я не успел ответить, нас сняли. Прошло тринадцать лет. На днях я обнаружил то фото. У меня развеялся самый настоящий чуб. Редкие пряди Миши посдувало ветром. Спустя этих самых тринадцать лет, Миша прилетел в Казахстан. Мы встретились в аэропорту. Крепко обнялись. Он забыл поздороваться. Бросил на меня синий взгляд.

— Лысеешь! — сказал Миша. Я взглянул на него. У него ото лба до затылка пролегла автострада сверкающей лысины.

Я сказал:

— Да!

Мишина жизнь — это «хождение по мукам». Он перепробовал себя во всех сферах и аферах. Миша отливал из гипса страшные маски. Он собирал пробки от бутылок. Оказывается, они содержат цветмет. Он продал японцам идею обливания спичек с двух сторон. Дети восходящего солнца ухватились. У них дефицит древесины.

Утилизировал кору от деревьев. Порекомендовал мне устроиться на мясокомбинат. В убойный цех. Вырывать печени убиенных животных. Оказы-

вается, в желчных пузырях растут желчные камни. Точно жемчужины в раковинах. Я проигнорировал совет. Пошел своей дорогой. В то время я писал повесть «Нести свой крест». Миша предложил мне продавать сигареты с травкой. С самой настоящей. Не марихуаной. Травкой, которая якобы лечит от курева. Я проигнорировал его. Пошел своей дорогой! В то время я писал роман «Потерянный рай». Миша занялся скупкой значков. Однажды он позвонил мне.

— ГДР распалась, а значки, выпущенные в ту пору, теперь стоят денег, — сказал он, — собирай значки.

— Я спросил:

— Какие?

— Эмалированные! Поставь киоск на базаре.

Чтобы не обидеть его, я сказал:

— Ладно!

Но сам проигнорировал совет. Пошел своей дорогой! Я готовился к съемкам сериала «Каждый взойдет на Голгофу».

— Ты никогда меня не слушаешь, — посетовал Миша. Он от значков перешел к наградам. Стал мотаться между Стокгольмом и Мюнхеном. Между Хельсинками и Брюсселем. Собрал ордена всех стран Европы.

— У вас продают ордена? — спросил он меня по телефону.

— Продают! — ответил я.

— Так начинай скупать!

— Хорошо, — ответил я. Как я мог объяснить, что их продают в правительстве. В который раз я проигнорировал друга. Я опять пошел своей дорогой! В то время я снимал игровую картину.

Но вот мы с Королем Эдом приехали в Белокаменную. Поселились в тесной комнатке отеля. Она напоминала келью. В ней стояли две кровати. Оставался узкий проход. Когда один расхажи-

вал, другой был вынужден лежать. Король не был знаком с Мишей. Он его в глаза не видел. Как истинный монарх, он рано улегся спать. В четыре часа ночи позвонил охранник. Сказал, что ко мне гость. Я разрешил подняться. В дверь постучали. Я щелкнул ключом.

К неописуемой радости, в проеме стоял Миша. Мы обнялись. Он забыл поздороваться. Посмотрел на меня синим взглядом. И посочувствовал:

— Лысеешь!

Я сказал:

— Да!

— А это кто спит? — Миша покосился на спящего Короля.

Я сказал:

— Тише! Это Король!

— Какой король?

— Король Эдвард! Драматург!

— А-а-а! — Миша тут же утратил интерес к спящему. У него есть две плохие привычки. Он всегда их возит с собой. Первая — громко говорить! Вторая — жутко храпеть! Он начал с первой. Достал из сумки награды. Стал раскладывать. Выложил ими всю мою кровать. Стол стал похож на мозаику. Тумбочка тоже. Места больше не было. В проходе стояли наши с Мишей ноги. Он стал раскладывать их на спящем Короле. Король стал похож на Брежнева. От звона орденов он проснулся. Миша протянул ему руку.

— Миша, — произнес он.

— Эдвард, — сонно вытянул Король.

— Король Эдвард, — поправил я.

— А что это, — недовольно спросил Король, намекая убрать.

— На тебе ордена второй степени, — ляпнул Миша.

Королю не понравилось. В четыре часа ночи, второй степени!

— А где первой? — спросил он. Сон смахнуло как рукой. Его раздирало любопытство.

— Первой степени на кровати Марата. — Миша всегда поражал меня простотой. Чтобы загладить вину перед Королем, я предложил выпить. Меня поддержали. Мы выпили весь бар. Король великодушно простил Мишу. За то, что усыпал его дождем наград. И за вторую степень. Посовещавшись, легли спать. Мишу уложили в проходе. Он тут же приступил ко второй привычке!

Илья Муромец — по сравнению с ним ребенок. Кто-то стал тарабанить нам в стены. Я задремал, когда на стекло упал луч солнца. Проснувшиеся Миша и Король говорили про значки. Оказывается, у Короля их десятки тысяч. Я этого не знал. Рейтинг Короля стал рушиться в моих глазах. Не королевское это дело! Но потом выяснилось, что собирал он их в детстве. Они стремительно быстро нашли общий язык. К тому моменту я с Мишей дружил уже семнадцать лет. Всю жизнь я игнорировал его.

Наступил его звездный час! Теперь он игнорировал меня. Мы вышли на улицу. С неба сыпалась белая крупа. Мы с Королем были без шапок. Я едва успевал смахивать с головы снежную массу. Король тоже. Миша единственный был в картузе. Вдруг я не поверил своим глазам. Тому, что увидел! Без тени раздумий Миша сдернул с себя картуз и протянул Королю.

— Одень, а то простудишь голову, — сказал он. Про меня он даже не вспомнил.

В тот единственный раз я не пошел своей дорогой.

Я пошел вслед за ним!



ЗАВТРАКИ

На фестивале детективных фильмов я жил в отеле «Космос». На завтрак там был шведский стол.

В гости ко мне приехал Миша из Питера. Я заявил его как сопродюсера. Миша поселился в моем номере.

— Сколько у тебя денег, — спросил Миша прямо.

— Не густо, — ответил я.

— Тогда на завтрак надо наедаться так, чтобы потом целый день не есть.

— Я, вообще, не привык завтракать, — ответил я.

— Придется научиться, я тоже без денег, — Миша был неумолим.

— У меня другое предложение, — высказался я.

— Какое?

— Давай составим список наших казахстанских земляков в Москве и будем их обзванивать.

— И что?

— Разобьем график. Они станут приезжать. А так как они меня давно не видели, наверняка, станут приглашать на ужин.

— А обед? — спросил Миша.

— А обед нам станет заменять завтрак.

— Хорошо, — согласился он.

Составили график, стали обзванивать.

Все пошло по плану.

По утрам мы шли на завтрак, Миша брал два подноса. Себе. Он нагружал их так, что с трудом доносил до стола. Было ощущение, что он набирал на десять человек.

Я брал пару сосисок, хлеб, масло, чай.

За столом, переполненный заботой обо мне, Миша предлагал:

— Будешь гуляш?

- Нет.
- Тогда съешь котлеты.
- Я не могу.
- Ну, хочешь вот эти сардельки?
- Да нет, Миша, я уже наелся.
- С чего ты наелся? На вот фрикадельки с гречкой. Или спагетти с сыром.
- Ты ешь сам, Миша.
- Тогда ты выпей эти два томатных сока, а я три яблочных и оладьи доем.



Я ГАЛКЕ НЕ ИЗМЕНЯЮ

Фестиваль детективных фильмов закончился. Шла торжественная церемония награждения.

Мы с Мишей сидели за столиком. Было душно. Решили пройтись в бар. В баре было просторней. Всего несколько пар и две скучающие женщины балзаковского возраста. Мы уселись на высоких стульях. Заказали водки. Дамы с интересом принялись разглядывать нас. Особенно Мишу. Миша казался им интересней. Он был лыс и похож на Иванова — министра иностранных дел России.

Точно был его младшим братом. На Мише была солидная тройка, яркий галстук подпирал выбритый подбородок.

В общем, пили водку, говорили о пустяках. Вдруг ни с того, ни с сего Миша заявил мне, что он Галке не изменяет. (Галка — его жена.)

— Молодец, Миша! — похвалил я его.

Одна из дам попросила прикурить. Миша галантно преподнес ей огонек.

— Ах, какой галантный кавалер! — восхитилась дама.

Я понимал, что огонек был прелюдией. Стал наблюдать. Синеокая затеяла разговор. Миша на удивление с интересом поддержал. Я делал вид, что скучаю. Молчал, как рыба.

— А что ваш товарищ молчит? — спросила другая, — он всегда такой серьезный?

— Волнуется, наш фильм прошел в финал.

В этот момент объявили мою картину. Победила!

Надо было идти за призом, но не хотелось. Я послал Мишу. Миша вернулся с дипломом, статуэткой, с цветами и в роскошной ковбойской шляпе.

Синеокая пригласила Мишу на танец. Она

преобразилась! В ее глазах засияли лихорадочные огоньки охотницы, почуявшей добычу. Стала похожей на богиню Диану. Она подумала, что это Миша режиссер. Дважды коснулась Мишу высокой, острой грудью. Заглянула ему в глаза. Улыбнулась зовущей вдаль улыбкой. Подняла волосы, демонстрируя высокую белую шейку. Точно случайно распахнула разрез, оголяя длинное бедро.

И вдруг! Миша отказал ей!

— Я не могу!

Это прозвучало подобно грому, разразившемуся в тихом, уютном баре.

— Почему? Вы не танцуете? — удивленно спросила синеокая. Видно было, что она уязвлена. Была задета за самое живое!

Миша, надо отдать ему должное за самообладание, произнес сакраментальную фразу:

— Я не изменяю своей жене!

Взгляд синеокой мгновенно потух, замутнел. Она повела мраморным плечом, хмыкнула, и обе подружки в ногу, точно почетный караул, шагнули от стойки бара.

— Почему ты отказал ей? — спросил я Мишу.

— У нас же нет денег, — ответил он, и я переломился в животе от хохота.

А я то было! По простоте душевной! Поверил, что он Галке..!



А ОЧАРОВАНУ ВЫ МОГЕТЕ?

Было далеко за полночь. В ресторане отеля из посетителей были: я, Миша, заблудившаяся в ночном отеле землячка-журналистка и несколько зевающих проституток.

На голове Миши красовалась роскошная ковбойская шляпа. Приз за картину! Он не снимал ее с вечера. Может, и вправду почувствовал себя им. По проходу мимо нас шел тоже в шляпе, с гитарой. То был ночной музыкант. Есть такая профессия!

— А очаровану вы можете? — спросил Миша.

Гитарист в черной шляпе благосклонно склонил голову. Он окинул, точно выкупал меня в своем взгляде, и учтиво спросил:

— Вы не вор в законе?

Я потупил взор и скромно промолчал.

Был бы я вор в законе, облеченный, к примеру, в сан министра индустрии или хотя бы образования, сидел бы я здесь! В кармане — блоха на аркане! Но, видимо, моя унылая поза в три часа ночи, соответствовала его представлениям о ворах в законе.

Гитарист тронул струны.

«Очарована, околдована!»

Я лихорадочно пересчитал в пьяном мозгу оставшийся бюджет. То, что у Миши в карманах гулял ветер, я знал точно. Но он вошел в раж. Стал пробовать подпевать. Землячка-журналистка активно поддержала. У обоих с нотой ЛЯ были застарелые проблемы. Капельки пота, выступившие на лбу, тут же застывали.

Мысли неслись галопом, обгоняя друг друга. Голос певца набирал обороты. Он уже звенел на весь холл, привлекая внимание оставшихся не у дел проституток.

Но надежда умирает последней!

Они косились в нашу сторону, как на проплывающий мимо пароход.

Себя они чувствовали брошенными в пустынном океане. Что же может сделать брошенный — пароходу? Правильно! Насылать ему вслед самые лютые проклятья!

Могли ли они знать, что в кармане у меня — последние сто долларов?



НАДЕЖДА — МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ

Часы на ресепшн пробили четыре часа утра. Все деньги были отданы за Мишины песни. Расчет произведен. Расчет — дело святое! Карманы были пустее карманов нищего. В огромном холле на мягких диванах не было ни души.

— Что будем делать? — спросил я Мишу.

Миша посмотрел на меня сытым взором и произнес:

— Пойдем на диваны!

— На диваны? — спросил я. — Ну, хорошо!

Мы прошествовали в холл и развалились на кожаных диванчиках.

У обоих была отключена входящая связь. Исходящая — естественно, тоже. Из-за отсутствия денег на счету. Мы ждали Мишиного знакомого. Он должен был привезти деньги. Ждать было нудно. Как только мы переселились в холл, проститутки напряглись. Стали совещаться. Я понял, что они решаются атаковать. Мы были их последним шансом!

— Давай разыграем любовников, тогда они отстанут, — предложил я Мише.

— Ты что, спятил?

Две ночные жрицы вихляющей походкой направились к нам.

Времени на раздумье не оставалось. Я обвил Мишу руками и стал жадно целовать его. Миша попытался вырваться. Однако, я продолжал цепко держать.

Это был страстный поцелуй истрадавшего мужчины!

Краем глаза я увидел, как жрицы резко поменяли курс. На их лицах проступило отвращение!

В этот самый момент возник Мишин знакомый, которого мы ждали, как манны небесной. Он был в замешательстве. Выглядел человеком, ставшим нечаянным свидетелем чужого интима.

Миша рванулся раненым тюленем. Он грубо разорвал мои объятия!

— Вот дурак! Ну, и дурак! Ты представляешь, у нас кончились деньги, а тут эти «бабочки» хотели приклеиться, ну вот он и разыграл их.. — понес Миша ахинею.

Мишин знакомый, молча, протянул две сотни долларов и поспешил удалиться.

— Ты представляешь, что ты наделал? — шумел Миша. — Что он подумает?

— Надежда — мой компас земной, — пел я. — А удача — награда за смелость!



СУМКА ОРДЕНОВ

Мы сидели в номере отеля «Космос». Выпить было нечего, денег тоже не было. Зато настроение зашкаливало. Когда я вижу Мишу, всегда хочется озорничать. В этот самый миг Миша извлек из сумки бутылку с мутноватой жидкостью. Это был самогон.

— Выпьем?

— Где ты его взял?

— С собой привез.

— Ты гений! Будто знал, что мы попадем в такую ситуацию! — ликовав я.

— Можно подумать, что это в первый раз! — парировал Миша.

— Наливай! — потер я руки.

Миша разлил. Мы проглотили. Самогон оказался отменным. Словно огненный шар прокатился по затосковавшим внутренностям.

— Сам готовил, — похвастался Миша.

— Круто! Но вот дилемма, где взять деньги?

— Это для тебя дилемма, у меня такой дилеммы нет, — пророчески произнес Миша и вытащил из шкафа свою объемную сумку.

Он перевернул ее и вытряхнул содержимое на кровать.

Я зажмурился от блеска, резанувшего по глазам.

Чего там только не было!

Это были ордена и медали всех стран мира!

Я стал перебирать их. Самые красивые навешал на грудь. На обе стороны пиджака. Он тянул к полу от тяжести. Леонид Ильич при всей его любви к наградам не имел их столько!

Тут были строгие кресты, кресты, покрытые эмалью, роскошные многоконечные звезды, замысловатые ордена с внушительными гербами

стран, звезды с подвязками, звезды без подвязок.

Я чувствовал себя генералиссимусом! Суворовым, Кутузовым, Ушаковым, Наполеоном, Чан-Кай-Ши!

— Едем на рынок! — объявил Миша.

— Зачем?

— Продавать ордена.

Через час езды в подземке, мы были на месте.

Еще через час, Миша избавился от пяти наград. В его кармане интригующе зашуршали купюры. Пачка утолщалась на глазах.

Вернулись в гостиницу. Пошли во вчерашний ресторан. Ноги, казалось, не чувствовали кафеля. Осанка выпрямилась, сутулость исчезла. Мы заказали хорошей водки.

Набив брюхо едой, благородно отрыгивая, поднялись в номер.

На дне бутылки оставалось еще немного мутной жидкости.

— Будешь? — спросил Миша.

Я взглянул на нее и ядовито поморщился!

— Да ну, пить такую гадость!

Миша задохнулся от ярости.

— Три часа назад ты пил ее за счастье!

— Так то три часа назад! Ты же видишь, как стремительно меняется жизнь! А к хорошему, Миша, привыкаешь быстро! — нагло процитировал я.



ПРО ГОВОРЯЩЕГО ВОРОНА, ГАЛОШУ САПАРЫЧА И БЕДНОГО ТРАВМАТОЛОГА

Это были съемки «Потерянного рая». Группа бабдела в крохотном горном ауле Курметты. Более шикарного ландшафта я не встречал. Он сгуртовался на дне ущелья. Со всех сторон его окружали величественные горы. Киношники расхаживали сытые. Любовались природой.

Актриса Захарова вышла на улицу. Она проснулась раньше всех. Долгий перелет не сказался на ней. Ей хотелось посмотреть на горы. Утренние горы другие, чем полуденные. И тем более, чем вечерние. Это она прочитала у Лермонтова. В Москве гор не увидишь. Разве что в Третьяковке. Во дворе дома было пусто. Улицы тоже гляделись безжизненными. Она приехала сюда, когда уже смеркалось.

Кроме режиссера, никого не знала. И того вчера увидала впервые. Он ей не понравился. Прискакал на взмыленном коне. Сполз с клячи с видом человека, вышедшего из «Бэнтли». Оглядел ее, точно купленную лошадь. Хорошо не стал заглядывать в рот. Чтобы осмотреть зубы. Сегодня она ему покажет. Не зубы, а школу игры. Актерской игры. Так размышляла актриса посреди двора. Пустого двора. В металлической клетке сидел черный ворон. Актриса не удостоила его вниманием. Подумаешь, невидаль! Она вспомнила Москву. Молодого японца, с которым играла в последней картине. В памяти всплыли его объятья. Она сладко потянулась. Как вдруг кто-то позади произнес:

— Аброй хороший!

Актриса Захарова обернулась. Никого не было. В дальнем углу двора понуро стоял ишак.

— Ишак не мог сказать, — подумала она. Актриса решила, что ей померещилось. Вернулась к сладким воспоминаниям. Почувствовала тепло его ладоней. На своих томных грудях. Из-за спины мужской голос произнес:

— Аброй хороший!

У актрисы Захаровой по коже пробежал мороз. Она вновь посмотрела на ишака. На этот раз пристально. Стала раздумывать о Востоке. А он, как известно — дело тонкое. Она вспомнила сказку о Насреддине. В ней был говорящий ишак. Напрягла память сильнее. Вспомнила, что говорил не ишак. Говорили с ишаком. Насреддин всегда говорил с ишаком. Мысли ее возвратились к режиссеру. У него был пронзительный взгляд. Точно он раздевал ее. Она вспомнила свое вчерашнее состояние. Почувствовала себя обнаженной. От стыда машинально прикрылась. Руками. Как это обычно делают женщины. Прикрыла низ живота.

Позади тот же мужской голос произнес:

— Аброй хороший!

Актриса Захарова со всех ног рванула со двора. Она бежала и думала:

— Что это со мной происходит? Ишак не мог говорить. Она в тот миг глядела прямо на него. Так кто? Говорили же ей в Москве. Перед отъездом. Гляди, Ленка, Восток — дело тонкое!

Актриса Захарова не учла, что ворон был говорящий. Он должен был произнести в кадре: «Аброй хороший!».

Вся группа учила его этой фразе. Вот он и болтал. С раннего утра.

На съемках «Этапа» Сапарычу сломало ногу. Точнее большой палец правой ноги. Сгнивший ствол вековой ели раздавил его. Он катился прямо на камеру. На раздумье оставались секунды. Сапарыч вспомнил подвиг Матросова. Он подставил под ствол ногу. Палец оказался расплюсчен. Истинный оператор спас технику. Но теперь волочил за собой гипс. Сапарыч два метра ростом. Обувь у него пятидесятого размера. Одна нога пребывала в кроссовке. Другая — в галоше шестидесятого. Натянутой поверх гипса. Его походка вызывала истерический смех. Та, что в кроссовке, делала саженный шаг. Как у Петра Первого. Нога в галоше волочилась, напоминая снегоступ. На котором ходят по снегу.

В группе было несколько женщин. Мужчины вились около них. Доносились слухи, что многие разбились по парам. Кому не досталось, обзавелись акульными. Мы с Сапарычем стойко держались. Уже третий месяц. В один из дней я зашел к нему в монтажную. Сапарыч сидел, обняв колени. Взгляд его был мутным. Он был всецело прикован к полумойке. Женщине — которая мыла полы. Она была местной. Крупной и сильной. Я видел, как она переносила бревна. В то время как мужик ее спал. С похмелья. Женщина всегда улыбалась. Точно была добродушной. На самом деле была тронутой. Не временем, умом. Совсем слегка. На дощатых полах это не отражалось. Сапарыч глядел, не отрываясь. На меня не обратил внимания. Женщина возила тряпкой. Крупное тело изгибалось. Она казалась крупной рыбой, выброшенной волной на берег. Сапарыч мог оказаться котом. Я интуитивно почувствовал, как он выпустил когти. Засаленный халат женщины приподнялся. Я увидел толстые белые бедра. Взгляд мой

скользнул выше. Таз оказался округлым. Он напоминал большой школьный глобус. Такой был у нас в классе, когда я учился в пятом. Я тогда уже сравнивал его с тазом. Не медным. Тазом женщины. Видно, я с детства был озабоченным. Нагляделся на Венеру Милосскую. Талия поломойки оставляла желать лучшего. Она не соответствовала мировым стандартам. Девяносто — шестьдесят — девяносто ей не светило. Я подумал:

— Если бы у нее талия была шестьдесят, она не смогла бы таскать бревна!

С такой талией здесь делать нечего. В горном ауле необходима сила. Тут женщин любят за нее, а не за талию. Мы с Сапарычем были извращенцами. В этом смысле. Потому что мы городские. Грудь поломойки нечаянно вытряхнулись. Они оказались совсем переспелыми. Она не смутилась. Запихала обратно. Одним движением руки. Сапарыч нервно дернулся. Я тоже желал, чтобы они повисели. Поколыхались. В такт ее движениям. Жалко ей что ли? Поломойка обернулась и улыбнулась. Я чуть было не взвыл. Сапарыч прошептал:

— А она ничего!

Я также ответил шепотом:

— Была бы еще талия шестьдесят!

Сапарыч вверг меня в ужас! Он произнес:

— С такой талией тяжело таскать бревна.

Я вытаращил на него глаза. Как он мог прочитать мои мысли? Потом вспомнил:

— Режиссер и оператор — единомышленники!

Вскоре после Сапарыча я сломал руку. Поехал к травматологу. Он сказал, что месяц назад накладывал гипс. Я спросил кому? Травматолог ответил:

— Одному оператору.

— Как его зовут? — я насторожился.

— Он сейчас снимает фильм «Потерянный рай». Знаете его?

Я промолчал. Подумает, что на картине одни членовредители.

Травматолог попросился сыграть. В массовке. Для него это было важно. Я дал согласие. Наутро была съемка. Массовки оказалось семьдесят человек. Костюмер передела травматолога. В костюме заключенного. Он слился с серой толпой. Солнце стремительно уходило. Массовка была неуправляемой. Сапарыч сказал:

— Сейчас не снимем, солнце уйдет.

Я стал нервничать. Попросил массовку не улыбаться. В кадре они должны были быть суровыми. Но они продолжали расплываться. Им было смешно. Может, они были жизнерадостными. Но у нас уходило солнце. А солнцу не прикажешь. Я стал вопить. Из рта вот-вот могла политься пена. Не сдержавшись, я сильно хлопнул. По груди масовочника. Он вытаращил бельма и изумился:

— Это же я — травматолог! — произнес он.

Я запретил ему смеяться. Во имя кадра он усмирил гнев. Подавил в себе бунт разума. Лишь бы остаться в истории. Через эту глупую съемку. На монтаже король Эдвард вырезал кадр. Он был безжалостней любого травматолога. Просто брал и отрезал. Безо всякого скальпеля. Нажатием клавиши. И все! Человека словно и не было. Да что там человека! Король есть Король! Он мог вырезать сотню людей. Что для Короля сотня человек? Как в этот раз. Он вырезал всю массовку. Всех семьдесят безвинных душ. Выбросил их в корзину, на свалку истории. За улыбки на лицах. В том числе и бедного травматолога. А он так жаждал остаться в истории.

Прошло пять месяцев. Картина оказалась законченной. Я чудом вновь оказался в травматологии. И встретился со старым знакомым. Он об-

радовался мне точно родственнику. Будто, чтобы доставить ему радость, я должен был все время что-нибудь ломать. Он спросил меня, закончена ли картина. Я сказал:

— Да!

— Ну, как я вышел? — спросил он.

— Потрясающе! — сказал я. Что еще мог я ему ответить? Тем более, предстояло вправлять вывихнутый сустав. Не мог же я сказать, что Король выбросил его в корзину. После всех жертв, принесенных им во имя кадра. Тем более, что он держал мою руку!



СКАЛОЛАЗ

Случай этот как смешон, так и трагичен. Есть такая достопримечательность, как Чарынский каньон. Он простирается в двухстах километрах от Алматы, если ехать в направлении китайской границы. Излюбленное место туристов и кинематографистов.

Надо заметить, панорама каньона, если на него взглянуть сверху и впрямь впечатляющая. Представьте себе, что когда-то, в какую-то эпоху, Царь Небесный разверз землю. Чтобы показать безумцам людям, им же созданным, что такое преисподняя! В итоге образовалось рваное ущелье, по дну которого текла река Чарын. Рассердившаяся, яростная сила Царя на что-то, землянам неведомое, рванула так, что ее гладкая поверхность разлетелась, точно тесная рубашка на могучем теле великана.

Но надо же такому случиться, чтобы на этом обширном плато с высоченными красными глиняными скалами, с высотой башен, достигающих местами трехсот метров, которым, как говорят люди маститые и ученые, около двенадцати миллионов лет, кинохудожники затеяли выстроить декорации для фильма.

Все было мирно и гладко. Просто художник-постановщик выбрал это потрясающее воображение место, чтобы построить там аул афганцев, потому что фильм был про душманов и в ущелье должны были влетать боевые вертолеты русских, а их из стингера сбивать эти самые «духи».

Одним словом, все шло по плану, и никто не мог предвидеть, что среди сорока человек — строителей, декораторов, реквизиторов — найдет-ся один, кто вызовет переполох на целых добрых полчаса. Почему на полчаса? Потому что киношники — народ битый, и к любой ситуации быстро

привыкают или смиряются, как подлинные рабы Господа Бога! Но о том, как полчаса длился переполох, вы узнаете несколько позже.

Итак, строительство шло полным ходом и, можно сказать, было в самом разгаре. Эти самые сорок человек жили отчасти в вагончике, когда другая их часть предпочла обживать уже выстроенные афганские сакли. Чтобы у читателя сложилась более полная, как говорят военные, рекогносцировка, отмечу, что ближайший поселок от этого душманского аула находился в сорока километрах. Именно поэтому водку завозили сразу ящиками, чтобы потом не посылать за каждой бутылкой в магазин, побивая рекорд грека-марафонца.

Уже посреди аула тянулись к небу минареты мечети, вокруг которой хаотично, словно гнезда вольных диких птиц, раскидались мазанки и, вообще, аул гляделся вполне живописно.

Работая целый день на знойном солнце, люди обгорели, кожа их стала бронзовой, губы обветрились, а черты лиц огранились, что можно было их одевать в костюмы «духов» и вводить в кадр. После работы, как все нормальные люди, строители, декораторы и реквизиторы пили теплую, противную водку. Другой-то нет и холодильников нет, а потому это расценивалось как издержки производства!

Пили все, а вот один не пил. Он, вообще, был странный какой-то. По утрам, застыв на месте, словно каменное изваяние, неотрывно глядел на высоченную скалу прямо напротив мечети. Что он при этом думал, никто, как потом выяснилось, не знал, да и мало это кого волновало — не до него. Но и после ужина он, когда основная масса киношников, совершив обильное возлияние, валялась на топчанах, снова занимал свой пост и, задрав голову к небу, не сводил взора с вершины глиняной скалы.

Рано утром, лишь только красное, точно невыспавшееся солнце брызнуло свои лучи на вершину описываемой скалы, наш герой, крадучись, выскользнул из сакли и, упруго ступая, направился к ее подножью. Он был гол по пояс, а на голове его был накручен «духовский» тюрбан, позаимствованный им из игрового реквизита.

Со спины он был похож на гибкого обитателя древних гор, а шаг его был настолько уверенным и твердым, что если бы оператор мог запечатлеть этот кадр, его можно было бы смело ставить в монтаж фильма.

Был еще ранний час и тридцать девять строителей, декораторов, реквизиторов еще крепко спали, как наш герой, подойдя вплотную к скале, вдруг подпрыгнул, зацепился рукой за выступ и стал лезть вверх, с упрямством обреченного.

Метр за метром, от щели к расщелине, от выступа к выступу, он поднимался все выше и выше и смотрелся на плоской груди скалы, точно крупный четвероногий паук.

Из сакли вышел длинный, худой декоратор, пописал на одинокий куст, смачно харкнул, последил взглядом дальность полета, равнодушно посмотрел на скалу и, увидев на ней гигантского паука, перекрестился с перепоя левой рукой и юркнул в прохладу сакли.

А герой все лез и лез!

На узкой площадке, выдутой вековыми ветрами, он устало уселся, свесив ноги вниз, и с орлиной высоты стал наблюдать за тем, как у столовой засуетились повара. Несомненно, он чувствовал при этом величайшее чувство превосходства над теми, кто, подобно муравьям, ползал внизу, не чета ему, дерзнувшему замахнуться на высоту свободных птиц.

С земли донеслись запахи готовящейся на завтрак каши. Он вспомнил, что не поел перед вос-

хождением, чтобы не утратить легкость в теле, и, осторожно выглянув из-под нависавшего над головой карниза, посмотрел вверх, оценивая еще не покоренное расстояние.

Проснувшись и запели первые птахи, видно, и у них прошедший день был нелегким, они так же, как и киношники, только теперь приходили в себя.

Высоко в небе, раскинув вольные крылья, парил черный стервятник.

Глядя на него, герой мгновенно отбросил к черту всякие сомнения, спешно поднялся на ноги, выискивая глазами выемку в стене, и заторопился продолжить свой победоносный путь.

Чтобы все было по честному, есть смысл признать, что герою временами по-человечески становилось страшно, и тогда у него немели руки и ноги, а тело наливалось смертельной тяжестью. Но на то он и герой, чтобы преодолевать страхи, препятствия, возникавшие при его восхождении, и двигаться вверх, к заветной цели.

Его самой жадной мечтой было: с вершины прокричать вниз этим алкашам, что они, ползающие по земле мураши, а он тот — кто стоит на самом верху!

Но, как говорится, всякому пути есть начало и есть конец и, сколько не заговаривай зубы читателю, но когда-то герой все же должен добраться до вершины!

Так вот!

С сжатыми до хруста зубами, с прокушенной от страха губой, со струйкой крови на подбородке и на исцарапанных руках, наш герой, сделав невероятное усилие, перебросил ногу через очередной и теперь уже последний на пути к мечте выступ, оказался на самом верху!

Виват! Виват! Виват!

Некоторое время он с переполнявшим его чувством превосходства свысока смотрел вниз,

где все эти строители, декораторы, реквизиторы расплозились, как тараканы по аулу. Он в полной мере наслаждался! Мокрые от пота штаны на нем полыхали под ветром, точно парусины на вантах, а конец «духовского» тюרבана развевался будто маленький флажок.

Герой был великолепен!

Наконец, насладившись в полной мере, он оглянулся и, к своему ужасу, обнаружил, что скала позади него не есть часть суши — позади была пропасть! Край ее от него был всего-то в каких-нибудь десяти шагах.

Герой обомлел!

Жуть происшедшего поразила его еще не остывший мозг, и мысли заметались в нем, словно крохотные, отвратительные змейки, в поисках норки, куда бы им юркнуть. Осторожно, едва переставляя одеревеневшие ноги, он подошел к краю и глянул в бездну. У него перехватило дух, и будто от хмеля закружилась голова. Он стоял на заветной вершине, на крохотном пяточке земли. А ведь он думал, что скала, на которую он лез, является частью матушки-земли!

Кричать! Звать на помощь? Но он же герой!

И потом начнутся вопросы, как он туда попал и для чего он это сделал?

Уж лучше смерть!

Строители, декораторы, реквизиторы двигались по ежедневно намеченному кругу, от сакли к сакле, к мечети и от мечети. Никто с перепоя не замечал его отсутствия. Да и не такая уж он была важная птица на этой декоративной стройке, чтобы все кинулись его искать.. Был бы он душой компании, пил водку из горла, не закусывая, тогда бы его тут же хватились.. а так!

Прошел день!

Герой хотел есть, но больше всего пить. Ночью его терзал невыносимый холод. Где-то

вдали были шакалы, до его слуха доносились тревожные шорохи.

Утро наступило безрадостное. Нужно было найти выход в создавшемся положении, а он был убийственным. Но делать нечего! Надо звать на помощь! Вниз ему самому ни за что не спуститься!

Герой стал громко кричать, размахивая руками!

— Э-э-эй! Э-э-эй! Э-э-эй!

Кто-то, шедший с бревном на плече, замедлил шаг и прислушался, затем, задрав голову, уставился на вершину скалы и долго-долго, не отрывая взора, смотрел, совсем как наш герой в еще недавнем прошлом. Он что-то крикнул проходящему мимо парню. Тот остановился, и тоже, задрав голову, долго-долго глядел вверх. Вскоре этот второй стал размахивать руками, созывая людей, приглашая их к просмотру бесплатного концерта. Толпа сбегалась мгновенно. Теперь все строители, декораторы, реквизиторы стояли с задранными кверху головами.

— Э-эй! Ты кто? — донеслось до слуха героя. Он понял, что его не узнают.

— Я же ваш строитель, Талгат!

— А че ты туда залез, мудака? Слезай!

Герой не ответил. Что он мог ответить этим глупым людям-мурашам? Что он мечтал сравняться с орлами?

— Я не могу! Это, оказывается, скала, спуститься вниз невозможно!

— И что ты предлагаешь?

— Помогите мне!

— Как?

Один из самых язвительных крикнул:

— Щас, выпущу крылья и подлечу к тебе!

Толпа закорячилась в хохоте. Она была безжалостна к горю героя.

Прошло полчаса!

Всем наскучило это зрелище, да и стоять с кверху задранными головами было непривычно, они стали потихоньку расходиться.

Герой остался наедине со своей бедой!

К обеду приехал главный художник. Он тоже долго смотрел ввысь, наконец, крикнул так:

— Талгат, я звонил на аэродром, просил вертолет, но они зарядили три тысячи долларов, я отказался. А в МЧС сказали, что смогут прилететь только завтра, так что ты держись!

Он еще некоторое время потоптался на месте, а затем выкрикнул речь такую, что изошреннее монолог мог придумать только законченный садист:

— Если бы у тебя была веревка, Талгат, ты бы мог по ней спуститься! Так что терпи!

Еще сутки прошли для героя в тревожном ожидании. Понемногу он свыкся со своим положением и целый день с удивлением рассматривал плывущие рядом причудливые перистые, кучерявые облака, напоминавшие маленьких ягнят. Временами, когда облако окутывало скалу белесой завесой, с земли он казался парящим в поднебесье Икаром.

Вечером строители, декораторы, реквизиторы вновь запили, и им было не до героя. Подумаешь, эка невидаль, киношники и не такое видали!

А наутро, как только солнце выбралось из-за дальней горы, в небе, нарастая, возник рокот, похожий на стрекотанье гигантской стрекозы — это, бешено вращая винтами, к вершине, похожей на гнилой, изъеденный зуб дряхлой кобылы, летел вертолет МИ-8.



ЗА ВОДКОЙ

На съемках фильма «Омпа» курьезы, как всегда бывает на съемках, следовали один за другим. То пилоты с похмелья забывали заправить свой АН-2, и в воздухе неожиданно у них кончался бензин. Приходилось планировать. То оператор забывал заправить камеру пленкой и после получасового полета, в момент, когда наступало время снимать, оказывалось, что летали напрасно.

Но самыми отчаянными приключениями, запомнившимися участникам тех съемок, были полеты на кукурузнике за водкой.

На дворе стояла первая половина 90-х годов, и с горючим была напряженка. Я имею в виду спиртное. Тем более, в сельской местности. А снимали где-то в богом забытой дыре, где была расположена съемочная группа, и надо было такому случиться, что кончилась водка. И это с полной ответственностью можно было назвать социальной катастрофой!

И так же ребром, как в романе Чернышевского, встал вопрос:

— Что делать?

Ждать, когда из города приедет машина?

Но кто-то резонно заметил, что эти растяпы про главное могут и забыть. Все жаждущие и страдающие тут же загрустили. Затосковали. Потому что дожить до следующей машины им не представлялось возможным.

Итак, с десятков человек напряженно размышляли над тем:

— Что делать?

Вдруг в палатку вошел летчик с кукурузника, страдающий заиканьем, и, увидев опечаленных киношников, спросил что случилось?

— Ч-ч-что с-с-случилось?

— Как что? Трагедия! — сообщил один шустрый осветитель.

— К-к-кто-то з-з-заболел?

— Хуже! Заболел, это что?

— У-у-умер?

— Пока нет, но это скоро произойдет. Массово!

— Ч-что, ин-ин-инфекция к-к-какая-нибудь, ч-ч-что ли?

— Какой ты, в натуре... — в сердцах выкрикнул осветитель. — Да у нас водка кончилась! И смотри, сколько человек страдают теперь!

Летчик снял шлемофон и почесал затылок. Он внимательно осмотрел присутствующих и затем медленно, растягивая слова, точно эспандер, произнес:

— Н-н-ну-у-у ..., э-э-эту п-п-проблему м-можно ле-легко решить!

— Как? — теперь все взоры устремились на летуна. За секунду он оказался самым главным. В эпицентре общего внимания!

— Да говори же, не тяни кота за одно место! — воскликнул осветитель.

— Д-д-да с-с-слетаем на-на самолете. Т-тут п-п-поселок ки-ки-километров д-двадцать отсюда.

— Во, гениальная мысль! — восторжествовал неутомимый осветитель.

— А мы тут гадаем, что делать? Полетели!

— Кто полетит от нас?

— Пусть летит Фара, — предложили оживленные киношники.

— А че я? — попытался засопротивляться увесистый Фара.

Тут надо остановиться, чтобы описать личность актера Фары. Фарой его прозвали, потому что он сыграл в фильме под названием «Фара». Толстый, весом под сто восемьдесят килограммов, с глянцево выбритой головой, он был поразительно добрый. Возможно, поэтому и согласился слетать.

Быстренько скинулись. Еще пять минут спорили сколько брать. Но на шестой минуте гонец с летчиком, обгоняя друг друга, уже бежали к самолету. Дружно погрузились, в салоне еще раз пересчитали деньги и облегченно вздохнули.

Заика-летчик мастерски поднял дюралевую птицу в воздух и не успел Фара глазом моргнуть, как самолет уже пошел на посадку.

Это был крохотный аульчик со скособоченным магазинчиком на самом краю.

В это время на единственную чистую от курстарников полосу хлынул поток блеющих овец. Это аульная отара возвращалась с пастбища, поднимая к небу клубы пыли. Все вокруг наполнилось многоголосым блеяньем, свистом, криками чабана, но главное, неведомо откуда взявшимся нарастающим жутким рокотом, от которого задрожала земля, а перепуганные овцы галопом поскакали врассыпную.

Собравшиеся встречать свой скот решили, что наступает Акыр-заман (конец света), и в ужасе стали молиться. И тут на глазах изумленных жителей из рассеивающейся завесы вынырнул кукурузник. Бешено вращая лопастями, он прокатился мимо застывших, словно каменные изваяния, людей, и лихо подкатил к магазину, от винтов которого саманные стены заходили ходуном, и из него выскочила ошарашенная продавщица.

Распахнулась овальная дверь и в проеме собственной персоной возник кинематографичный Фара. Медленно, точно в стоп-кадре, он спустился по дюралевым ступенькам, подошел к дрожащей, ничего не соображающей женщине, и, галантно протянув ей мятые купюры, произнес:

— Мадам, нам ящик водки! — и добавил:

— Пожалуйста!

КАК МЫ С ЮРОЙ ЕЗДИЛИ К ФЕРМЕРУ

Я искал деньги на картину. Позвонил другу в Омск. Мой друг большой и сильный. С богатым чувством юмора. В молодости он был лидером криминальной группировки. Позже одумался. Стал честным бизнесменом. Но репутация осталась. От нее трудно отделаться. Она тянется за человеком, словно шлейф. Я попросил его пообщаться с новыми русскими. На предмет инвестиций в кино. Прошло время. Однажды он позвонил мне.

— Приезжай, есть один крупный фермер. Хочет познакомиться. Там и поговорим.

Воображение мгновенно нарисовало грандиозные планы. Я воодушевился. Я пересек Казахстан с юга на север. В буквальном смысле. На автомашине. Добрался в столицу адмирала Колчака. Так я олицетворял Омск. Как край богатых людей. С размашистой сибирской душой. Мой друг поведал мне историю мецената.

— У него одних комбайнов штук пятьдесят. Коров не сосчитать. Коней! Полей!...

Мы направили руль к долготе фермера. Дорога должна была привести к нужной широте. Путь был не близок. По обестороны асфальта текли перелески. Я наслаждался видами. Мое одухотворение передалось Юре. Он заметил, что ромашки желтого цвета. Он увидел, что небо голубое. Что листья берез зеленые. В городе он этого не замечал. Там он вынужден крутиться. В поисках денег. Тут не до высоких материй. Потому что без них кранты. Даже кино не снимешь. Не говоря о другом.

Но вот, наконец, мы прибыли. Нас встретил молодой мужчина. На вид не испорченный. Что-то светлое проблескивало в его глазах. Это все-

ляло надежду. Он предложил нам объехать поля. Мы согласились. Подумали, что он хочет показать хозяйство. А затем говорить о кино. Но мы оказались наивны. В машине он поведал о своих планах. Они были захватывающими. Объемными. Точно он хотел объять всю Сибирь. Мы согласно кивали. Иногда что-то вставляли. Возможно, не совсем умное. Зато поддерживали разговор. Фермер назвал цену одного комбайна. Их оказалось и впрямь пятьдесят. Я посчитал без калькулятора. Цифра впечатляла. Кроме комбайнов, он владел парком тракторов. Количество автомобилей равнялось штатному автобату. Из-за перелеска показалось огромное стадо.

— Я привез их из Голландии, — фермера распирала гордость.

Мы с Юрой тихо радовались. За успехи фермера. Ведь он мог стать нашим инвестором. Или меценатом.

Дурак богатеет думкой! Второй вариант был предпочтительней. Коровы при виде нас радостно замычали. Я погладил тучный бок буренки. Хотелось, чтобы будущему меценату было приятно.

— Это одно из десяти стад, — сказал фермер. Юра внимательно поглядел на меня. Я молча кивнул головой. Взгляд друга означал:

— Видал, куда я тебя привез!

Поехали дальше. Взгляду предстало стадо телят. Неразумные, они тыкались мордами в машину. Чуть поодаль, нам встретился табун. Упитанные кони били землю копытами. Фермер казался мне Царем Салтаном. Так сказочный владыка открывал богатства перед Гвидоном. За пять часов езды мы осмотрели все. От комбайнов до выкупленных деревень. Жители при виде его машины выстраивались вдоль дороги. Они ломали шапки. Мелькнула мысль, что колесо времени провернулось. Что Юра привез меня в эпоху крепостного права. Мне

показалось, что фермер — помещик Троекуров. Юра претендовал на роль Дубровского. Я пожалел, что не хватает Маши.

Фермер сказал, что это лишь часть хозяйства. Он повез нас на базу. Путешествие закончилось. К нашей с Юрой радости. Нам грезился накрытый стол. Горы дымящегося мяса. Жутко хотелось есть. И мы ничего не смыслили в комбайнах. Со скотиной я еще был знаком. Аульное детство иногда пригождалось. Как в этот раз. Для поддержания градуса общения.

— Ну, все! — произнес фермер, — проблем выше крыши!

Он улыбнулся и сказал:

— Рад был познакомиться!

Всем видом он показывал, что нам пора ехать. Я беспомощно взглянул на Юру. Тот тоже пребывал в растерянности.

— Я хотел поговорить про кино, — вымолвил я.

— Про кино?

— Ну да...

— Хорошо, давайте пройдем в дом, — предложил «Троекуров».

Утраченная надежда на еду вновь обрела очертания. В просторном доме помещик усадил нас на диван.

— Пить хотите? — спросил он.

Я чуть было не вскричал:

— Пора бы перекусить!

Но с достоинством промолчал. Юра согласился на воду. Я принялся повествовать о сценарии. Глаза мои хищно засверкали. Я стал размашисто жестикулировать. Упускать шанс было нельзя. Он дается раз в жизни! От моего рассказа зависело финансирование. Я должен был вовлечь его в кинопроект. «Троекуров» внимательно слушал. Мне казалось, что я на пути к успеху. Оставалось немного поднажать. Юра в такт повествованию

кивал головой. При этом не забывал поглядывать на булькающую кастрюлю. Я уже дошел до момента — битвы за власть. Мой герой устраняет врагов и взбирается на Олимп. Я с пафосом выпалил:

— Наш герой становится лидером некой группировки!

— Например, «амурской», — язвительно добавил помещик. — Как Юра!

Мне хотелось расхохотаться. Но я сделал вид, что не заметил язвы. Юра тоже промолчал. Во имя кино! Усилием воли я вернул фермера к герою. Ведь он не предвидит, как за спиной собираются тучи. Ближайший друг собирается его взорвать. Это состояние Саспенса! Когда ведает зритель, но не ведает герой. Фермер напрягся. Он оказался поглощен сценарием. По его лицу прокатилась тень негодования. Я чувствовал, что нахожусь на верном пути. Успел подумать: «Черт с ней, с едой! Лишь бы дал денег».

Наконец, я приблизился к концу. Развязка неумолимо замаячила перед глазами. Сценарная и приговор фермера. Наступил конец. Я замолчал. Сил больше не было. Я чувствовал себя опустошенным. Все силы отдались вовлечению «Троекурова». Возникла минута молчания. Словно мы отдавали дань. Я, не моргая, глядел на фермера. В ту минуту, я был похож на удава Ка. Из «Маугли»! Юра тоже затаил дыхание. «Троекуров» приоткрыл рот и вымолвил:

— Ребята! Я занимаюсь сельским хозяйством. Я ничего не смыслю в кино.

Я уловил, куда он гнет. Но нельзя было отдавать инициативу.

— Тебе не надо смыслить, — уверенно произнес я. — Достаточно вложить деньги. Когда я продам фильм, ты получишь дивиденды.

«Троекуров» молчал, как рыба. Точно был членом мафии. Точно он соблюдал закон «Омерта». Но вот,

губы его разжались. Отчет времени шел на секунды. На лице помещика появилась злая улыбка.

— Вот до чего дошли современные «бандиты»! — вылетело из его уст. — Это же надо! Привлекают режиссеров! И все только с одной целью, выгрести деньги у предпринимателей!

Когда он это сказал, я чуть было не задохнулся от смеха. Я понял, что мы потерпели крах. Как шведы под Полтавой! Как Мамай на Куликовом поле! Он разбил нас единственной фразой. Надо было сдаваться! Другого пути не было. И быстрее ретироваться. Не солоно хлебавши! Мы с Юрой с достоинством попрощались.

Наша машина летела по нитке шоссе. Мы оба молчали. Было состояние рассекреченных агентов.

— Ну, гад! — произнес Юра. — Даже не покормил...

Я не отвечал. Казалось, что нас обоих, выкупали в дерьме.

— А для чего он возил нас по полям? — возмущился Юра, и сам же ответил.

— Я думал, покажет свой скот, потом покормит.

Юра помолчал, но не выдержал и снова взорвался.

— Ну, гад! Пошлю к нему «бойцов». Пусть перестреляют все его стада и табуны! Взорвут все его комбайны!

Перед моими глазами запылали взрывы. Американские комбайны «Жангир» взлетали в воздух. Они напоминали немецкие танки. Юра объявлял партизанскую войну. В ту минуту он был похож на легендарного Ковпака! В ушах загревели безжалостные выстрелы. Тучные пятнистые коровы падали окровавленные на землю. Прodelав далекий путь из Голландии. Чтобы умереть в Сибири!

Помещик «Троекуров» будет повержен! Мой друг в гневе выгонит его на паперть! С рукой, про-

тянутой за милостыней! Поруганная наша честь будет восстановлена!

Но что это давало кино? Было грустно, но я трясся в смехе.

— Как он сказал, Юра? Как сказал! — еле вымолвил я сквозь хохот.

— Привлекают режиссеров, лишь бы выгresti у нас деньги! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Юра не выдержал и тоже заржал.

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Но смеялись недолго. На пустой желудок тяжело смеяться. Уходят последние силы. Остаток дороги каждый думал о своем.



ОТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛУБЫХ

В моем друге Юре сто двадцать килограммов доброты, а на лице — огненно-рыжая борода. Мы выехали с ним из точки А в точку Б, между которыми лежали полторы тысячи километров.

В точку Б добрались глубокой ночью. Нас встретил другой Юра, в котором тоже было сто двадцать килограммов доброты. Только он без бороды. И вот, сто двадцать килограммов доброты без бороды повез нас в отель.

В нем оказалось — нет мест!

Поехали в другой — нет мест!

В третий — нет мест!

И тогда сто двадцать килограммов доброты без бороды робко предложил нам:

— Мы стоим в тридцати метрах от отеля, но он для голубых. Они тут снимают номера. Может, поспите до утра, а утром переедете в другой отель.

Мы валялись с ног от усталости, и я ответил так:

— Хоть для розовых! Лишь бы были кровати.

Заметьте, что я сказал — кровати! А это подразумевало — спать порознь!

Итак, я поднялся узнать о наличии мест.

За стойкой сидела ярко раскрашенная, расфуфыренная дородная женщина с сальной физиономией. В коридоре, на мягком пуфике, отчетливо голубел худощавый молодой человек. Завидев меня, он явно оживился. В его зовущих зрачках я заметил вспыхнувшие огоньки.

Я спросил у дамы, есть ли у них места?

— Вы один? — спросила она. И сделав вид, будто смущается, добавила ядовитый вопрос:

— Или с мужчиной?

Я ответил, что с мужчиной. Не мог же я право, назвать сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой — женщиной!

Дама понимающе, снисходительно посмотрела на меня и промолвила:

— Приглашайте своего мужчину.

Я крикнул в раскрытое окно ста двадцати килограммам доброты с огненно-рыжей бородой, чтобы он поднимался.

Голубеющий юноша напружинился от интереса. Ему не терпелось оценить мой вкус.

Когда вошел сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой, дама и юный голубой принялись разглядывать его с ног до головы. Особенно пристально смотрели на бороду.

По лицу дамы скользнула легкая тень усмешки. Она явно поразилась моему выбору. Было видно, что сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой ей не понравились. Она фыркнула, что можно было расценить как — извращенец!

Юный голубой с презрением отвернулся к стене.

Мы прошествовали в номер.

Сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой принялся раздеваться, с тем, чтобы отправиться в душ.

Я ехидно попросил его мыться тщательней.

Он назвал меня дураком.

Я сказал, что те двое в коридоре, тоже так считают.

Кровать в номере оказалась одна на двоих. Все толкало к греху.

Сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой положил посреди нее столовый нож и произнес:

— Это граница!

Я состриг:

— Я контрабандист!

Он второй раз обозвал меня дураком.

В ответ я привел убийственный, безжалостный аргумент:

— Кому ты что-то докажешь потом, проведя ночь со мной в одной кровати?

Сто двадцать килограммов доброты с огненно-рыжей бородой задумался, затем собрал в охапку одеяло и улегся на пол.

И тогда я окончательно добил его:

— Теперь нет разницы, где спать — хоть на полу, хоть на потолке, все равно ты в отеле для голубых!

Так я хохотал еще добрых полчаса и, наконец, уснул.

Утром, когда мы вышли из номера, дама плодово-ягодно спросила:

— Как вы отдохнули?

Я буркнул:

— Хорошо! — быстро удаляясь.

Она бросила вслед:

— Приезжайте еще!



ПОГОВОРИЛИ

(случай из жизни)

Встретились два человека среднего возраста, крепко обнялись. У обоих в тот миг было огромное желание заработать деньги. Оба горели, как дрова на ветру!

— Как дела? — спросил первый у второго.

— Альхамдулла, — ответил второй и в свою очередь спросил: «У самого как дела? Все хорошо?».

— Да, все нормально! А я как раз хотел тебя увидеть. Есть одна тема.

— Говори! — оживился второй, в глазах его промелькнула надежда.

— Из Китая сейчас выгодно завозить яблоки.

— Т-а-а-к! — протянул второй, застыв в ожидании.

— Понимаешь, в Китае цена на них очень дешевая, навар отличный.

— А сбыт где планируется? — задал вопрос второй, хотя его больше мучило главное — есть ли у первого деньги, чтобы вложить их в это мероприятие. Собственно ему было все равно, что завозить из Китая: иголки, нитки, зубочистки, дамские тампоны или изделия для любви. Лишь бы на чем-нибудь заработать! В последнее время он дошел до ручки, уже и жить было не на что. Хотя внешне, он все еще вполне мог сойти за человека денежного. Об этом говорила за него его одежда, купленная когда-то, во времена, когда его бумажник распухал от купюр. Да и она уже при пристальном осмотре предательски обнаруживала свои изъяны: рукава пообтерты, с пуговиц давно облез глянец. Но он не подавал виду и держался уверенно, оттого что твердо знал же-

лезное правило: никогда нельзя показывать, что у тебя нет денег!

Итак, его разрывал на части вопрос, для чего он понадобился первому и есть ли у него деньги?

Этот же вопрос терзал в это время и затеявшего сей разговор — первого! Но он продолжал тянуть, боясь, что второй может отказаться, и тогда он останется на бобах.

— Сбывать надо здесь, в Алматы, на рынке Алтын-орда. Говорят, что они влет уходят. Утром фура заезжает на базар, к вечеру оптовики уже приносят бабки. Там, короче, с одной фуры остается почти столько же, сколько вложил. Так как? — спросил, приглушая голос первый.

— Что ты имеешь в виду? — второй сделал мину, будто не понял вопрос, хотя и на самом деле он никак не мог уловить витающую в воздухе атмосферу безденежья.

— Ну, я имею в виду, может, попробуем, бабкок срубим, ты как?

Второй все еще держался, хотя и из последних сил. Пытка неизвестности, как известно, самая жестокая пытка.

— Ну, я не против, в общем-то, — тихо произнес он.

— Сколько ты можешь вложить? — спросил первый.

— А ты сколько?

— Ну, у меня, брат, сейчас небольшая натяжка с деньгами. Я подумал, может, ты вложишь, а я помогу все устроить.

Сердце второго ухнуло и полетело в пустоту. В один миг стало зябко и неуютно, по коже пробежал легкий морозец, а ступни закололо, точно иголками.

— Да нет, я не смогу, брат, не обижайся, дело в том, что я вложил крупную сумму в одно очень прибыльное дело и сейчас сам в режиме ожидания.

«Везет же человеку!» — позавидовал ему первый — «И одет, и обут, и тачка у него крутая! А тут ситуация, хоть в омут головой! Вот жмот, ну что ему стоит дать мне денег на сделку, я бы ее так классно провернул. Ну и что, что у него есть бабки, лишние-то не помешают!».

— Эх-х-х! — незаметно вздохнул он, а вслух произнес:

— Жаль, брат, что такая сделка провалится. Но ничего не попишешь!

Второй ответил первому:

— Не переживай, брат, я, правда, не могу. Может быть, в следующий раз как-нибудь, хорошо?

— Ладно!

— Ну, тогда давай, я поехал!

Они обнялись и разошлись.

Второй сел в машину и включил зажигание джипа. На панели загорелась лампочка топлива. Это значило, что бензин заканчивался, надо было заправляться, а денег не было.

«Проклятый кабан, жрет, словно крокодил, бензина на него не напасешься!» — с тоской подумал он и газанул со злости. Джип рванулся с пробуксовкой с места.

Первый грустно смотрел ему вслед. Надежды, что второй вложит деньги — рухнули!

«Нет, это же надо быть таким идиотом, просить у меня деньги! Да если бы они у меня были, я бы давно завез из Китая хоть нитки, хоть иголки, хоть зубочистки, хоть дамские тампоны, хоть изделия для любви, лишь бы заработать!» — в ярости бормотал второй.

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ — ХУЖЕ ТАТАРИНА

«Вай, вай убили негра, ни за что ни про что!» — поется в песенке. Я же хочу рассказать вам случай, как убили коня. Ни за что, ни про что! Пусть простят участников того кровавого события — все, кто станет читать! За давностью лет и осознанием вины. И уголовный розыск, и общество защиты животных! В то время о существовании такового они не знали.

Как на духу — это случай из жизни!

И даже умысла не было. Они мирно спали. Он и его друг Яша. В однокомнатной квартире на пятом этаже.

В те дни они остро нуждались в деньгах. Просто нечего было есть, и они питались в долг у знакомой официантки. Она кормила их из Великого русского милосердия.

Рано утром, еще не светало, в дверь постучали. Он слышал, как Яша открыл и стал с кем-то шептаться. Этот шепот окончательно прогнал сон, на голодный, ноющий желудок.

Оказалось, один их знакомый по кличке Шныра где-то угнал лошадь и приехал на ней по сонному городу к подъезду. Мгновенно вырисовалась перспектива решить все денежные проблемы. Колебания лишь мгновение терзали их сердца, в следующую минуту они решились! Теперь им стыдно, но из песни слов не выкинешь! Быть может, пересказ той истории облегчит их души!

Они спустились вниз и увидели привязанную к лавке лошадь. Уже светало, и укрыть ее где-либо не представлялось возможным. Было принято решение — поднять ее в квартиру!

Яша стал тянуть за повод. «Шныра» подгонял ее сбоку. А он шел сзади. Ничего не ведая, глупое животное шагнуло в подъезд. Это было время, когда все спят мертвым сном. Первые два этажа лошадь покорно поднималась. Она цокала копытами по бетонным ступенькам. А они молили Бога, чтобы никто не вышел на лестничную площадку.

Вдруг на повороте третьего этажа она заартачилась. Встала как вкопанная. Видно, передумала подниматься. Или заподозрила неладное. Нужно было что-то предпринимать!

Он ударил ее по ляжке ладонью. Лошадь прыгнула вперед. Раздался жуткий хруст и громкий стон. Оказывается, Шныра остался между ней и стеной. А так как бока у лошади выпуклые, она сломала ему несколько ребер. С тех пор ему дали кличку Придавленный.

Так или иначе они завели ее в квартиру. Говорят, она стояла посреди комнаты с гордо поднятой головой. А они не знали, что с ней делать. Наконец, Придавленный принял решение спутать ей ноги. Она ринулась на балкон и едва не выпрыгнула через перила. Насилу удержали и, наконец, с грохотом повалили на пол.

Опущу подробности убийства! Им потом всю жизнь было стыдно. Но молодо-зелено!

Итак, о событиях — дальше!

Придавленный содрал шкуру. Куски мяса покидал в наполненную водой ванну. Вся комната: стены, пол и потолок были залиты кровью. Куски мяса лежали в кроваво-пенной воде, выпирая суставами.

Придавленный и Яша ушли к грузинам. Хозяева пивнушки скупали краденое.

В этот момент прозвенел дверной звонок. Он открыл дверь. На пороге стоял Федулов. Что его принесло — ни свет ни заря в то утро осталось тайной.

Говорят же, «незванный гость — хуже татарина!».

— Проходи, — пригласил он его. Тот вошел и принялся. В квартире густо пахло кровью.

— А чем это у вас пахнет? — спросил незванный гость.

И тут его понесло — по бездорожью!

— Покаянись, что никому не расскажешь, — потребовал он.

— Клянусь! Ни одной живой душе! Могила! — для пущей достоверности пришелец приложил руку к сердцу.

— Яшка ночью зарезал двоих, — произнес он, позевывая и почесываясь. К тому времени Федулов уже вошел в комнату. Он остолбенел при виде стен, пола и потолка. Пришелец потерял речь. Только беззвучно шевелил белыми губами.

— Присаживайся! — предложил он, продолжая игру.

Федулов спросил: «А куда вы их дели?».

— Один в ванной лежит, а второго Яша унес закапывать. Он распахнул перед незванным гостем дверь в ванную.

Из широкой груди Федулова вырвался вопль. Он продолжался до самого первого этажа. И еще долго не растворялся в предутренней тиши. Все произошло молниеносно. Он не успел сказать ему, что пошутил.

Это было в субботу утром. В воскресенье тренировок не было. В понедельник они с Яшей пришли в зал. На них глядели настороженно и враждебно. Они никак не могли понять, в чем дело. Международник Панайдов с замирающим шепотом спросил:

- Это правда?
- Да нет, не правда.. — хором произнесли они. Помня о клятве Федулова.
- Да уже весь город гудит.
- О чем гудит?
- Что вы двоих человек зарезали!

Говорят же, «незванный гость — хуже татарина!».



СЛЕДЫ ТАБАКОМ ПОСЫПАЛ?

Жили они бедно.

Спали на полу, на старых газетах. В душные летние ночи истекали потом на пятом этаже. А по утрам долго, словно сумасшедшие, хохотали. На спинах у обоих отпечатывались целые статьи из газетных полос.

— Буровики Нового Уренгоя рапортовали о досрочном завершении... — по слогам читал безграмотный Яшка.

— А у тебя, вообще, стрем голимый! — кричал он, корчась в смехе. — Новый рекорд по надою молока установила корова по кличке Милка.

Наконец, им обрыдла горькая доля, и они решили изменить собственную жизнь.

— Знаешь.. — произнес Яша, приподнимаясь с пола, — я сегодня случайно зашел в детский садик..

— И что?

— В кабинете директора на полу лежит большой ковер, в серванте хрустальная посуда, диван мягкий и кресла.. — Яшка истекал слюной.

— Ты предлагаешь обокрасть?

— Ну, зачем? Просто перенесем все домой.. — предложил он простодушно, точно это было не одно и то же.

— А ты умеешь бесшумно снимать стекло? — спросил он расчетливо, словно был потомственный вор.

— Конечно! — заверил Яшка.

Они поднялись, обули кеды и пошли.

Шли без остановки, пока не остановились у выходящего во двор окна кабинета директрисы.

— Снимай стекло, — прошептал он.

— Сэйчас!

Яшка поднял с земли кирпич и ударил по окну.

В тишине ночи грохотнуло так, что эхо пятикратно передало звук на всю округу. И тут же, где-то на соседней улице, раздался вой милицейской сирены. Яшка растворился, словно волшебник. На стене соседнего дома замелькали блики проблесковой милицейской мигалки.

Он быстро нырнул внутрь, в разбитое окно, и лежал, прислушиваясь к вою. Вой отдалялся и, наконец, затих вовсе.

Он осторожно поднялся и стал звать друга. Но тот словно провалился сквозь землю.

Делать было нечего, и он стал упаковывать хрусталь.

Затем свернул ковер и выбросил его в окно.

С трудом, надрывая спину, выставил наружу диван и два кресла.

Вслед за ними на улице оказались стол и шесть стульев. Картина со стены, что висела в изголовье директрисы, тоже оказалась по ту сторону окна.

Он вылез наружу, еще раз покричал подельника и, поняв, что попытки тщетны, подлез под диван.

Поднял и понес.

Через два квартала. По ночному городу.

Пару раз попадались прохожие. Он не обращал на них внимания. После дивана отнес кресла, потом стол, за ними стулья, в завершение навьючился, подобно мулу: ковер, узел с хрусталем, а подмышкой картина. Сделал семь ходок! Последнюю ходку прошел мимо сонных людей на автобусной остановке.

Мало ли кто переезжает на рассвете?

Тщательно вымыл в квартире полы. Расстелил ковер. Диван придвинул к дальней стене. По бокам расположил два мягких кресла. Посреди комнаты установил стол со стульями. Картину повесил на самое видное место. В нем ожили врожденные качества дизайнера.

Квартира преобразилась. Он не верил своим глазам.

— Жаль, что быстро рассвело, — пожалел он, плюхаясь на диван, — холодильник не успел вытащить! Но где же Яшка? — забеспокоился он за друга.

В этот самый момент вошел его пропавший подельник. Он деловито осмотрел сверкавшую квартиру и обеспокоенно спросил:

— Ты следы табаком посыпал?



ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН ПРЕМЬЕРА

В Киргизии переворот. Президент Акаев бежал, оставив в спешке дворец. Народ кыргызов бурлил, как казан на огне.

В результате возник тандем. Бакиев стал президентом, а Кулов занял кресло премьера.

Вот тут и случилась эта история.

Билек по кличке Белый был телохранителем премьера. И этот самый Белый был поразительно похож на Кулова в молодости.

Одним из друзей Билека был Толстый, безобидный малый.

Все считали его безобидным. А тут вдруг угроза — раздло их подшутить над ним.

Произошло это при банальных обстоятельствах.

Как-то стояли у машин в ожидании Белого. Тот в последние дни стал позволять себе опаздывать.

Один из друзей в шутку, но серьезным голосом произнес:

— Вот смотрите! Стоило Белому стать сыном премьера, и он тут же поменялся на глазах!

Остальные вопросительно посмотрели на друга, произнесшего эту тираду. Они поняли, что стрела розыгрыша направлена на Толстого. Все приняли соответствующий вид.

Толстый же неожиданно засуетился. Лицо его набухло, мысли в голове заметались с фантастической скоростью.

— Это правда? — спросил он.

— Ты что ничего не знаешь? — в свою очередь искренне удивились все.

— Нет, не знаю. Это правда? — настойчиво продолжал допытываться Толстый.

— Ну, ни фиги себе, Толстый! Все знают,

а ты не знаешь! Белый-то оказался внебрачным сыном Кулова.

— Как?

— Да вот так! Ты посмотри внимательно на Белого, он же копия Кулова. Премьер сделал анализ ДНК Белому, и все сошлось — он его сын!

Толстый задумался. Глаза его засияли загадочным светом, на губах промелькнула улыбка Рихарда Зорге.

— Вот я дурак! Как я раньше не заметил этого! Вот это да! — он стал потирать руки от нетерпения.

В это время из подъезда вышел Белый. Толстый, оставив друзей, рванулся к нему навстречу.

— Здорово, братан!

— А, Толстый, привет!

— Поздравляю, братан! Ты не представляешь как я рад за тебя! — выпалил он скороговоркой.

— С чем ты меня поздравляешь? Что ты имеешь в виду? — недоуменно спросил Белый.

На долю секунды Толстый замялся, но тут же, решившись, выпалил:

— Ну, что ты оказался внебрачным сыном Кулова.

Белый моментально все понял. И решил подержать игру.

— А-а-а! — протянул он, на ходу соображая, как дальше дурачить толстяка.

— Говорят, вы сделали анализ ДНК? — не унимался Толстый.

— Да, сделали. Все совпало!

— И что Кулов говорит? — осторожно, на застенном дыхании, спросил Толстый.

— Отец? Он счастлив! Ну, представь себе, сына нашел!

— Да-а-а! Вот теперь мы с тобой прорвемся! — Толстый стал чесать зудящиеся руки.

— Ты о чем? — спросил Белый.

— Ну как, братан? Премьер — твой отец! Давай подкинем ему денежную тему.

— А-а-а, ну да, конечно.. посоветуемся с пацанами. — Белый виртуозно красиво разыгрывал шоу. Ему становилось все интересней.

И вот тут Толстый проявил себя во всей красе!

Он схватил Белого под локоть и увлек в сторону. Подальше от стоящих кучкой друзей.

— Слушай, Белый, — лихорадочно зашептал он на ухо, — причем тут пацаны? Их много, а нам надо вдвоем поработать. На всех не хватит. Ты доверься мне!

— А как же они, ведь мы же друзья.. — искренне засомневался Белый.

— В таких делах друзей не бывает. Вдвоем будем двигаться! Поднимемся, станем крутыми!

— Хорошо, я подумаю, — пообещал Белый, высвобождаясь из цепких рук толстяка.

— Дай слово, что только вдвоем будем работать!

— Ладно, вдвоем так вдвоем.. — равнодушно произнес внебрачный сын премьера.

— Братан, я, если понадобится, за тебя жизнь отдам! — клятвенно заверил шепотом Толстый.

Они уже вплотную подошли к стоявшим плотно друзьям.

— Толстый, ты не обижайся, но жизнь за меня ты не отдашь! — вдруг произнес Белый.

Толстый одернул Белого за рукав, предупреждая о тайне, которой они связаны. Но на всякий случай обеспокоенно спросил:

— Почему, братан?

— Да потому что никакой я не сын Кулова! Пацаны тебя разыграли, а ты и уши развесил! — и тут же объявил друзьям:

— Пацаны, Толстый только что заверил, что отдаст за меня свою жизнь!

— Да это мы ему навешали, что ты внебрачный сын премьера. Ладно, погнали, и так зависли здесь! — заторопились друзья, рассаживаясь по машинам.

Обескураженный Толстый растерянно перетапывался с ноги на ногу. Он не знал, как ему теперь быть.

— Толстяк, ты че, уснул что ли, садись скорей! — крикнул из машины Белый, — ишь, размечтался!

Толстый засуетился и полез в салон.

Машины рванули с места. Друзья отправились играть в бильярд.



КАСКУ СНИМИ!

В пекарню, к грузинам, нагрянули рэкетиры.
Гордые горцы дали дружный отпор.
Вспыхнула драка.

Раздались крики, визги испуганных женщин-пекарей.

Разнеслись первые стоны раненых.

Жарочный цех наполнился нецензурной бранью, на грузинском.

Матами отбивающихся рэкетиоров, на русском.

Звоном разбитых стекол.

Один из бандитов был в мотоциклетной каске.

Его бил громадный Гела.

Усевшись на поверженного захватчика, вероломно вторгнувшегося на их территорию, он тузил врага огромными кулачищами сверху по голове.

Вернее, по каске!

К тому времени драка уже стала затухать.

Не ожидавшие такой ярости рэкетиры уползли восвояси.

Грузины стали зализывать раны.

И лишь Гела, все еще продолжал лупцевать.

— Зачем по каске бьешь? — возмутился Гоча, — скажи ему, пусть снимет!

Гела похлопал лежавшего под ним скрюченного врага.

Тот осторожно высунул голову.

— Сними каску! — вежливо попросил Гела.



НЕ НАЛИВАЙ!

Живет в Балхаше парень по имени Руслан. Чеченец по национальности. Но пить не умеет.

Первые несколько рюмок он держит достойно. Но грузинское застолье долгое, тосты льются один за другим. И за каждый тост надо пить!

А как не выпьешь, когда тост поднят за матерей? Потом за отцов! Потом за братьев! Затем за сестер! Дальше следуют тосты за друзей, за Грузию, за Чечню! За гордый Кавказ! И так далее! Но к тому времени Руслан уже покорно спит за столом. Его грузят в машину и увозят домой.

Так продолжается каждое застолье.

Потом, за очередным застольем, собутыльники вспоминают предыдущее.

— Вчера еще долго сидели? — спрашивает Руслан.

— Да, до двух часов ночи, — отвечает Гоча.

— А я во сколько?

— Что во сколько?

— Во сколько я уснул?

— Ты уснул, еще десяти не было. Потом начальник милиции приехал. За ним грузины заехали на огонек. Потом Гиви приехал, еще шашлыки жарили...

Руслан заметно грустнел.

Так происходило каждую посиделку.

Но однажды, когда за столом собралось много народа и Гоча, разливая, дошел до Руслана, тот неожиданно заупрямился.

— Мне не наливай!

— Что с тобой? — спросил Гоча.

Руслан не ответил.

Все выпили за произнесенный тост. Гоча вновь принялся наполнять бокалы.

— Мне не наливай! — снова убрал свою рюмку Руслан.

— Ты что, не пьешь сегодня? — опять удивился Гоча.

И снова Руслан промолчал.

На этот раз выпили за дружбу. Гоча в который раз стал обходить стол, разливая.

— Я не буду! — шепотом сказал Руслан.

— Заболел, что ли? — удивился сраженный Гоча.

— Да нет, я здоров, просто хочу хоть раз увидеть, как заканчивается застолье, — признался смущенный Руслан.



ШАОЛИНЬ

С культуристом Васей мы много лет тренировались в одном спортзале. Он тягал штангу и избивал боксерский мешок.

Был чудовищно здоров. Об интеллекте судите сами.

Пришел Вася из армии и поступил в милицию. На тренировку стал приходить в форме. В длинной, серой шинели и яловых сапогах. При этом противно скрипел новой портупеей. Это меня раздражало. В один из дней, когда он заявился, я подошел к нему и сказал следующее:

— Вася, ты в курсе? Из числа сотрудников набирают добровольцев в Шаолинский монастырь.

— А как это? — громко спросил он. Надо заметить, что говорит Вася очень громко.

— Делают набор на два года. Живешь при монастыре, там тебя кормят, поят и тренируют. Через два года ты возвращаешься машиной для убийств, — проговорил я и перевел дух.

Вася некоторое время соображал. Мозги его скрипели, точно несмазанные колеса арбы.

— А как туда попасть? — громко спросил он.

— Завтра же иди к начальнику милиции с заявлением, а не то опоздаешь.

— А че писать?

— Бери бумагу, я продиктую, — выразил я готовность помочь.

Вася взял бумагу, ручку и замер в ожидании.

— Начальнику милиции, полковнику такому-то, от сержанта постовой службы такого-то — заявление. Прошу Вас отправить меня в Шаолинский монастырь для повышения квалификации сроком на два года. Подпись. Все!

— Написал? — спросил я.

— На два года? — переспросил Вася.

— На два, — мотнул я головой, — ты, главное, с самого утра зайди к нему, понял?

— Понял!

Следующей тренировки я ждал словно чуда.

Наконец, в зале возник гордый Вася. Он скрипел ко мне и важно подал руку.

— Ну? Был у начальника?

— Был.

— Заявление отдал?

— Отдал.

— Что он сказал?

— В этом году уже набрали, включил первым в список на следующий год.

— А-а-а! — протянул я с понимающим видом, — жаль, что опоздал. Ну, ничего, тренируйся хорошо, на следующий год поедешь, — утешил я его.



ЖЕНА

Мы с Васей выехали на машине из Караганды. Путь наш лежал в Кокшетау. Пятьсот километров пути. Всю дорогу молчали. Каждый думал свою думу. Наконец, к вечеру въехали в пригород. Справа и слева потянулись пятиэтажки.

Первым человеком, попавшимся нам при въезде, оказалась симпатичная молодая девушка.

Она переходила дорогу.

Длительное молчание утомило меня. Я направил машину прямо к милашке. Притормозив напротив нее, я принялся остервенело кричать:

— Где ты шляешься? Я целый день тебя ищу! Ну-ка бегом домой! После еще поговорим!

Девушка попалась с юмором. Она пригасила улыбку, и, покорно склонив голову, проговорила:

— Бегу, бегу!

Я поехал дальше. Мы уже проехали полгорода, как Вася неожиданно спросил:

— Это что, твоя жена?

— Да.

— А в Караганде же у тебя другая.

— Так то в Караганде, — ответил я.

— А-а-а, — протянул он и снова надолго замолчал. Я услышал, как закрипели его мозги: он что-то собирал в уме, выстраивал, складывал, анализировал.

И вдруг, подобно Ньютону, сообразившему, отчето яблоко падает на землю, громко закричал:

— Мы же всю дорогу ехали в машине?

— Ну и что? — спросил я.

— А как ты целый день мог искать ее?

— Мысленно, — ответил я Васе, — мысле-н-но!

— А-а-а, — Вася опять задумался.

Интуиция подсказывала мне, что он вновь размышляет.

ПОЦЕЛУЙ

Как-то Вася спросил меня на тренировке:

— Ты что, ее знаешь?

Я ответил:

— Да.

И тут же задал ему вопрос:

— А почему ты спрашиваешь?

Вася замялся, чем еще больше раззадорил.

— Она тебе нравится?

— Да! — ответил он, краснея.

— Так ведь и она в тебя влюблена! — произнес я.

— Откуда ты знаешь? — Вася напряг бицепсы.

— Да, когда я с ней разговаривал, она как раз об этом и говорила.

— А ты что сказал ей?

— Я сказал, что мы вместе тренируемся. Что ты супермен!

— А она что?

— Просила познакомиться. Пригласила в гости.

— Че, правда, что ли?

— Да.

— Когда пойдем?

— Как когда? Сразу после тренировки. Возьми цветы, шампанское, конфеты.

После тренировки Вася уже ждал меня с пакетом. Цветы он тоже сунул в пакет. Вниз головками.

Мы направились к ней. Благо, она жила неподалеку.

Поднявшись на этаж, я позвонил в дверь.

Она приятно удивилась. При этом покосилась на Васю. Однако пакет приняла.

— Проходите, присаживайтесь! Я на кухню, быстренько соберу на стол, — проворковала она.

Выждав немного времени, я проследовал за ней.

Обмолвился парочкой пустяков и вернулся к Васе.

— Вася, она просит, чтобы ты поцеловал ее, — прошептал я ему на ухо.

— А как? Она же на кухне.

— Ясно, что отсюда ты не дотянешься. Иди туда. Подойди и поцелуй.

— А если она не захочет?

— Вася! Она сама попросила. Пусть говорит, Вася меня поцелует.

— Ну, ладно! Пойду, — произнес Вася после недолгих раздумий. Он расправил плечи, напряг широчайшие мышцы и скрылся за дверьми.

Из кухни донесся звук оглушительной, звонкой пощечины.

— Ах ты гадюка! — голос ее был возмущен до предела.

Ошарашенный Вася пророскочил прихожую и вылетел в подъезд.

На его бойцовской щеке я успел разглядеть багровую пятерню.

— Ты представляешь, какой хам! Зашел на кухню и полез ко мне целоваться.

— Что это с ним? — недоуменно пожал я плечами, — может, перетренировался?

На улице я спросил Васю:

— Что произошло?

— Да она дура! Я ее поцеловал, а она ка-а-к треснет!

— А ты в губы поцеловал?

— Да.

— Дурак, надо было в щечку!

— Ты же не сказал!

— Не мог сам додуматься? В первый раз целуешь и сразу в губы! Конечно, она возмутится.

— Откуда я знаю! Сама же просила! Вот дура! — возмущался Вася и тут же добавил:

— Ай! Ладно, пошли! Ну, ее! — и Вася громко расхохотался. — Как даст, по щеке!

НУРЖАН И НУРЛАН

У старика Биляла два сына: Нуржан и Нурлан. И еще старый, «убитый» «Москвич-412».

На дворе стояли лютые морозы, бушевали бураны. Всю зиму Нуржан и Нурлан возились с рухлядью. С фанатичным блеском в глазах. В ледяном гараже! Они раскидали его на части. Кузов «Москвича» висел под потолком. Как они умудрились туда его прикрепить — уму непостижимо! Некуда было поставить ногу, чтобы не наступить на железку. Лица их до самых бровей были вымазаны солидолом. Я выкуривал сигаретку, терпеливо наблюдая за ними.

— Весной выедем, Мара! — мечтательно произносил Нуржан.

— Сделаем из него конфетку, — вторил Нурлан.

Зима тянулась долго и мучительно. Снег скрипел под ногами, точно зубы параноика. Бураны завывали, будто стая голодных волков. Я продолжал захаживать к братьям-Кулибиным.

— Весной выедем, Мара! — мечтательно произносил Нуржан.

— Сделаем из него конфетку, — вторил Нурлан.

Я курил сигарету, сплевывал на бетонный пол.

Но вот она и пришла! Зазвенела! Просели вечерашние сугробы, сделались черными. Побежали неуверенные, затем набравшие силу ручьи. Кругом стало высыхать. Я продолжал захаживать к Кулибиным. В «Москвиче» смутно стали проступать контуры машины.

Нуржан и Нурлан «курочили» ее, еще одержимей!

— Скоро уже выедем, Мара! — обещал Нуржан.

— Будет конфетка! — уверял Нурлан.

Улицы высохли. Я ждал их выезда, словно старта космической ракеты.

Отчет времени пошел на дни. И вот он наступил!

— После обеда выезжаем! — гордо сообщил Нуржан.

Нурлан молча, презрительно отшвырнул «бычок».

После обеда я прикипел к окну. Со скрипом растворились ворота гаража. На улицу вышли старик со старухой. Они благословили детей. Старик прочел суру из Корана.

Нуржан сел за руль и запустил двигатель. Он долго чихал, кашлял и вдруг завелся.

«Москвич» трясся, будто припадный, и гремел на всю улицу.

Они забыли одеть глушитель.

— А, ладно, и так пойдет!

Братья взревели, словно медведи. Нуржан толкнул вперед рычаг передачи.

Нурлан взмахнул, точно Гагарин, и крикнул: «Поехали!». «Москвич» козликотм скакнул с места. Вскоре они скрылись за поворотом.

Я долго ждал их возвращения, но они не возвращались. Старики тоже притомились, и ушли в дом.

Часа через два я заметил в окно бредущих пешком братьев.

Я видел, как на улицу выскочили старики. Братья размахивали руками и что-то объясняли им. Меня раздирало любопытство. Я тоже вышел.

— Представляешь, Мара, несемся километров под сорок, вдруг какой-то грохот и нас обгоняет чей-то задний мост на колесах. Оказывается, это наш задний мост!!! Оторвался!

Смеяться над чужим горем — тяжкий грех! Но я хотел так, что оба брата тоже стали ржать, словно кони.

— А что теперь с «Москвичом»?

— Ничего, притащим и начнем делать. Осенью выедем Мара, — пообещал Нуржан обреченно.

— Сделаем, как конфетку, — мрачно произнес Нурлан.

Содержание

НЕ ПО ЗАКОНАМ ЗЕМЛИ, НО ПО НЕБЕСНЫМ ЗАКОНАМ.....	3

РАССКАЗЫ

Двое шли по городу	12
Санька — Золотая ручка.....	19
Ночь в Курметтах.....	37
Три дня с Ролланом.....	55
Когда снег на земле не нужен.....	75
Маленький человек.....	95
Печаль о Широкогрудом.....	110
Камни очищения или про то, как чиновники тащили камни	132
Две тысячи сто девяносто дней тишины.....	154
Асыки	179
Тринадцатое ноября.....	198
Иргиз.....	214
Так мы живем.....	227
Десять жизней Усена.....	251
Васькино горе.....	278
Валек.....	306
Возвращение.....	322
Девять маленьких историй о большом человеке	364
Огненный пес.....	393
Псковский десант.....	413
Адраспан	442
Позови меня в даль светлую.....	449
Одни сутки с Высоцким.....	466
Охота	479
Баня	497
На что похожи облака?.....	511
Некривое зеркало дня	522
С Новым годом!.....	540
Татьяна.....	559
Если друг оказался вдруг.....	577
Любовь зла, полюбишь и стерву	590
История первой любви.....	602
Аня.....	612

Ворованное счастье.....	616
Поэты ходят по лезвию ножа	624
Бастык Сайлаубек	628
Дружба — понятие круглосуточное	638

КИНОШНЫЕ И НЕКИНОШНЫЕ БАЙКИ

Про матч короля с чемпионом мира Корчным.....	683
Как король Эдвард душил директора рынка	689
Ржали, словно кони	697
Как король защищал сценарную заявку	701
Как в шесть утра я открыл сразу двух гениев	706
Снятое кино	710
Тридцать одна тысяча долларов	713
Значки	716
Пьяный разговор	718
Как Макс уронил с крыши Мишу	721
Как Миша подружился с Королем	726
Завтраки	730
Я Галке не изменяю	732
А очаровану вы можете?	734
Надежда — мой компас земной	736
Сумка орденов	738
Про говорящего ворона, галошу Сапарыча и бедного травматолога	740
Скалолаз	746
За водкой	753
Как мы с Юрой ездили к фермеру	756
Отель для голубых	762
Поговорили	765
Незванный гость — хуже татарина	768
Следы табаком посыпал?	772
Внебрачный сын премьера	775
Каску снимите!.....	779
Не наливай!	780
Шаолинь	782
Жена	784
Поцелуй	785
Нуржан и Нурлан	787

Марат Конуров
Две тысячи сто девяносто дней тишины

Художник Е.А. Камкенов
Дизайнер-верстальщик Г.П. Солопекина

Формат 84x108 $\frac{1}{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура
«Lazursky». Печать офсетная.

Тираж экз. Заказ

Типография «PrimaLux»
Республика Казахстан
141200, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 15.

Теплым июньским днем 2001 года судьба подарила мне встречу с удивительным человеком. Этим человеком оказался Тасбулат Советович Абгужинов — председатель правления «Заман-банка». Надо отметить, что 2001 год для меня был чрезвычайно трудным годом, и не только в финансовом плане (я тогда снимал девятисерийный сериал «Каждый взойдет на Голгофу»), но и в творческом.

Роман «Потерянный рай», который я заканчивал к тому времени, отнимал у меня много духовных сил. Вместе со своими литературными персонажами мне приходилось переносить все их жизненные невзгоды, душевные боли, моменты отчаянья и страданий.

2001 год оказался для меня годом испытания, серьезным экзаменом на прочность, определяющим, насколько важно мне мое творчество и готов ли я идти по этому непростому, а порой тернистому пути — до конца!

В процессе непринужденного общения мы с Тасбулатом Советовичем обсудили многие аспекты общественной и культурной жизни Казахстана, а также этапы развития современной казахстанской литературы.

Энергичный, коммуникабельный, масштабно мыслящий Тасбулат Советович легко и органично вникал в корень существующих проблем и тем самым произвел на меня неизгладимое впечатление.

Он в полной мере ярко олицетворял собой человека, озабоченного не только своей профессиональной деятельностью, но и искренне переживающего за духовность казахов, отчетливо понимающего, что без развития культуры — у нации не может быть будущего!

И сегодня, пользуясь возможностью, я хочу выразить Тасбулату Советовичу Абгужинову огромную благодарность за его вклад в публикацию моего сборника «Две тысячи сто девяносто дней тишины», а заодно поблагодарить всех казахстанских меценатов, оказывающих неоценимую помощь развитию отечественной культуры!

С низким поклоном, Марат Конуров.